

Albert Camus

АЛЬБЕР КАМЮ

БУНТУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
ПАДЕНИЕ
ИЗГНАНИЕ И ЦАРСТВО
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ
1951–1959

Бунтующий человек. Падение. Изгнание и царство. Записные книжки (1951—1959)

Альбер Камю

Аннотация
Альбер Камю. Бунтующий человек. Падение. Изгнание и царство. Записные книжки (1951–1959)
Бунтующий человек
Введение
I. Бунтарь
II. Метафизический бунт
Сыны Каина
Абсолютное отрицание
Отказ от спасения
Абсолютное утверждение
Мятежная поэзия
Нигилизм и история
III. Исторический бунт
Цареубийства
Богоубийства
Индивидуальный терроризм
Государственный терроризм и иррациональный террор
Государственный терроризм и рациональный

террор
Бунт и революция
IV. Бунт и искусство
V. Философия полдня
Бунт и убийство
Мера и чрезмерность
По ту сторону нигилизма
Падение
Изгнание и царство. Новеллы
Неверная жена
Ренегат, или смятенный дух
Молчание
Гостеприимство
Иона, или Художник за работой
Растущий камень
Записные книжки (1951–1959)
Тетрадь № VII. Март 1951 года – июль 1954 года
Тетрадь № VIII. Август 1954 года – июль 1958 года
Тетрадь № IX. Июль 1958 года – декабрь 1959 года

Аннотация

В данный том вошли произведения Альбера Камю 1950-х годов – последний период его творчества, в котором, по мнению исследователей, бунтарские идеи писателя проявились наиболее ярко.

Не важно, идет ли речь о программном философском эссе «Бунтующий человек», о последнем законченном художественном произведении «Падение» или о новеллах из цикла «Изгнание и царство», отражающих глубинные изменения, произошедшие в сознании писателя, – Альбер Камю неизменно говорит о борьбе с обстоятельствами как о единственном смысле человеческого существования.

Кроме того, издание содержит полный текст записных книжек с марта 1951 по декабрь 1959 года – творческие дневники писателя.

Альбер Камю
Бунтующий человек. Падение. Изгнание и царство. Записные книжки (1951–1959)

Бунтующий человек

Жану Гренье

И сердце открыто отдалось суровой страдающей земле, и часто ночью в священном мраке клялся я тебе любить ее бестрепетно до смерти, не отступаясь от ее загадок. Так я с землею заключил союз на жизнь и смерть.

Гёльдерлин. Смерть Эмпедокла

Введение

Есть преступления на почве страсти и преступления, продиктованные рассудком. Грань между первыми и вторыми зыбка. В Уголовном кодексе удобства ради различие между ними проводится по принципу предумышленности. Мы живем во времена предумышленности и идеальных преступлений. Наши преступники перестали быть беззащитными детьми, находящими себе оправдание в любви. Напротив, они повзрослели и заручились неопровержимым алиби: подобная философия способна послужить любой цели и даже превратить убийц в судей.

В «Грозовом Перевале» Хитклиф готов ради обладания Кэти уничтожить целый мир, но ему и в голову не пришло бы заявлять, что это преступление разумно или найдет оправдание в обществе. Он совершит его, и все. У него нет никаких убеждений. Зато есть сила любви и сила характера. Но, поскольку любовь такой силы встречается редко, убийство остается чрезвычайным происшествием, событием исключительным. Однако с того момента, когда за неимением силы характера призывают себе на помощь доктрину,

когда преступление ищет для себя рациональных обоснований, оно начинает распространяться с невиданной прежде быстротой — как способен лишь разум — и берет на вооружение все фигуры силлогизма. Оно было одиноким, как крик, и вот оно уже универсально, как наука. Еще вчера судимое, сегодня оно диктует законы.

Мы не собираемся выражать здесь свое возмущение происходящим. Цель данного эссе — в очередной раз признать сегодняшнюю реальность, состоящую в появлении рассудочного преступления, и исследовать его мотивы: без этого я не в состоянии понять свое время. Возможно, кто-то сочтет, что эпоха, за пятьдесят лет поработившая, сломавшая и убившая семьдесят миллионов человеческих существ, должна быть в первую очередь подвергнута осуждению. При этом следует еще осознать ее виновность. В наивные времена, когда тиран, дабы прославиться, стирал с лица земли целые города; когда прикованный к колеснице победителя раб тащился через ликующий город; когда врагов на глазах собравшейся публики бросали на растерзание зверям — во времена столь простодушных преступлений никаких колебаний по поводу их оценки даже не возникало. Но лагеря смерти под лозунгом

свободы и массовые убийства, оправдываемые любовью к человечеству или стремлением к безграничному человеческому счастью, в каком-то смысле выбивают почву из-под возможности давать им оценку. Когда преступление рядится в шкуру невинности, все встает с ног на голову, что мы и наблюдаем в наши дни, и уже невинность вынуждена оправдываться. Цель настоящего эссе — признать и исследовать это странное явление.

Может ли невинность, способная к действию, запретить себе убивать — вот в чем вопрос. Мы можем действовать только здесь и сейчас, в окружении людей, среди которых живем. И мы ничего не узнаем, пока не выясним, имеем ли мы право убить другого человека или согласиться с тем, что он будет убит. Поскольку сегодня любая акция прямо или косвенно приводит к убийству, мы не можем предпринимать никаких действий, пока не ответим на вопрос, должны ли мы совершить убийство и почему.

Таким образом, главное не в том, чтобы добраться до исходной сути вещей, а в том — раз мир такой, какой он есть, — чтобы понять, как следует в нем действовать. Во времена нигилизма, возможно, имело смысл задаваться вопросом о том, что такое самоубийство. Во времена идеологий

надлежит спросить себя, что такое убийство. Если в убийстве есть своя правота, то мы, так же, как наша эпоха, несем за это ответственность. Если же нет, то мы должны расписаться в собственном безумии и нам необходимо либо найти ему обоснование, либо вообще перестать рассуждать на эту тему. В любом случае нам предстоит дать ясный ответ на вопрос, заданный кровавыми драмами века. Мы — допрашиваемые. Тридцать лет назад, прежде чем решиться убить себя, требовалось пройти стадию почти полного отрицания, включая отрицание себя через самоубийство. Бог жульничает, мир, в том числе я, жульничает тоже, поэтому я умру — вопрос стоял о самоубийстве. Сегодня идеология отрицает только других, только тех, кто жульничает. И убивает. Сегодня увенчанные наградами убийцы что ни день собираются в ячейку — вопрос стоит об убийстве.

Оба типа аргументации неразрывно сплетены друг с другом. Но главное, в эту ткань вплетены и мы сами, и так плотно, что больше не в силах выбирать, на какой из вопросов отвечать. Сегодня не мы выбираем вопросы, а они нас. Примем это как данность. Настоящее эссе ставит своей целью продолжить — столкнувшись с проблемой убийства и бунта — размышление, заданное про-

блемой самоубийства и понятием абсурда.

Пока что из этого размышления вытекает всего одно понятие — понятие абсурда. Оно, в свою очередь, не дает нам в том, что касается убийства, ничего, кроме противоречия. Если пытаться строить правила поведения на чувстве абсурда, отношение к убийству становится по меньшей мере безразличным, что, как следствие, делает возможным само убийство. Если ни во что не веришь, если ничто не имеет смысла, если мы не настаиваем ни на каких ценностях, значит, все возможно и ничто не важно. Нет больше никаких «за» и «против», а убийца не прав и не виноват. Можно подбрасывать угольку в печь крематория, а можно заниматься лечением прокаженных. Зло и добродетель суть дело случая или каприза.

Допустим, мы решим воздержаться от какого бы то ни было действия. Но это будет означать, что мы соглашаемся с тем, что кто-то кого-то убивает, в крайнем случае искренне сокрушаемся о несовершенстве человеческой природы. Также можно заменить действие трагическим дилетантизмом — тогда человеческая жизнь превращается в ставку в игре. Наконец, можно попробовать предпринять небескорыстное действие. В последнем случае, за неимением высшей

ценности, направляющей действие, оно будет устремлено на достижение конкретной ближайшей цели. Если отсутствует различие между истинным и ложным, добрым и злым, останется одно — показать себя наиболее успешным, иначе говоря, самым сильным. Мир тогда будет разделяться не на праведников и негодяев, а на хозяев и рабов. Таким образом, с какой стороны ни посмотри, в поле отрицания и нигилизма убийство окажется в привилегированном положении.

Если мы соглашаемся принять абсурдистский подход, нам следует приготовиться убивать, отдавая предпочтение логике перед угрызениями совести, которые мы назовем иллюзорными. Разумеется, потребуются некоторые оговорки, но, если верить опыту, существенно меньшие, чем нам представляется. К тому же, как мы обычно видим, всегда остается возможность убивать чужими руками. Все подчинено логике — если логика применима.

Но при подходе, подразумевающем, что убийство и позволительно, и одновременно непозволительно, о какой логике может идти речь? Одним из самых важных следствий, вытекающих из анализа, основанного на абсурде, является осуждение убийства — и это после того, как тот

же самый анализ доказал безразличие отношения к убийству. Действительно, из аргументации абсурда вытекает отрицание самоубийства и поддержание отчаянной конфронтации между человеком, терзаемым вопросами, и молчанием мира[1]. Самоубийство означало бы конец этой конфронтации, а логика абсурда не способна от нее отказаться, не отринув собственных предпосылок. В рамках этой логики подобный шаг означал бы бегство или избавление. В то же время очевидно, что эта аргументация признает единственным необходимым благом жизнь, поскольку именно жизнь является непременным условием для возникновения этой конфронтации; вне жизни логика абсурда не имеет основания. Чтобы заявить, что жизнь абсурдна, надо иметь живое сознание. Каким образом, не делая заметных уступок чувству комфорта, сохранить в неприкосновенности исключительное право на смерть? Как только мы признаем, что жизнь есть благо, мы должны согласиться, что оно распространяется на всех людей. Если самоубийство логически необъяснимо, то же самое относится и к убийству. Да, логика абсурда допускает фа-

---

[1] notes: 1
См.: Миф о Сизифе.

тальное убийство, но не признает рассудочного. Однако в рамках упомянутой конфронтации убийство и самоубийство суть явления одного порядка, и мы вынуждены либо признать, либо отвергнуть и то и другое.

Абсолютный нигилизм, признающий правомерность самоубийства, еще легче признает рассудочное убийство. Если наше время с такой легкостью оправдывает убийство, то именно в силу равнодушия к жизни, которое есть признак нигилизма. Наверное, были эпохи, когда страстная любовь к жизни заявляла о себе так громко, что это порой приводило к криминальным эксцессам. Но сами эти эксцессы были сравнимы с жаром, достигаемым в момент наивысшего наслаждения. В них не было ничего от монотонного порядка, устанавливаемого убогой логикой, для которой все безразлично. Эта логика обосновала ценность самоубийства, которой пропиталось наше время, доведя ее до крайнего выражения, каким стало узаконенное убийство. Одновременно она нашла свою кульминацию в массовом самоубийстве, наиболее убедительную демонстрацию которого мы увидели во время апокалипсиса гитлеровского режима в 1945 году. Саморазрушение ничего не значило для безумцев, готовивших себе

в подземных бункерах смерть как апофеоз жизни. Главное — не умирать одному, а прихватить с собой остальной мир. Человек, кончающий с собой в одиночестве, в каком-то смысле сохраняет понятие ценности жизни, потому что не считает себя вправе распоряжаться чужими жизнями. Доказательством служит тот факт, что в своем стремлении господствовать над окружающими он никогда не использует чудовищную силу и свободу, даруемую ему решением умереть; всякое одиночное самоубийство, не вызванное озлоблением, в некотором смысле благородно или исполнено презрения. Но презирать что-либо можно только во имя чего-то другого. Если мир безразличен к самоубийству, то лишь потому, что внутри самоубийства существует некая идея, к которой оно относится или могло бы относиться небезразлично. Мы полагаем, что, уничтожая себя, уносим с собой весь мир, но из самого факта смерти рождается ценность, возможно, говорящая о том, что жить все-таки стоило. Таким образом, абсолютный нигилизм не сводится к самоубийству. Он может реализоваться лишь при условии полного уничтожения себя и других. Во всяком случае, его можно пережить только при условии стремления к этому сладостному преде-

лу. Самоубийство и убийство предстают двумя гранями одной сущности — несчастного рассудка, предпочитающего страданию ограниченного бытия черную экзальтацию, при которой земля и небо взаимно уничтожают друг друга.

Точно так же если мы отказываем в резонах самоубийству, то мы не можем предоставить их убийству. Нельзя быть нигилистом наполовину. Логика абсурда не в состоянии одновременно сохранять жизнь рассуждающего и соглашаться на принесение в жертву всех остальных. Стоит признать невозможность абсолютного отрицания, то есть в какой-то мере признать право на жизнь, как из этого сразу же вытекает невозможность отрицания чужой жизни. Таким образом, тот же довод, в силу которого мы согласились, что нигилизм равнодушен к убийству, лишает его обоснований, и мы возвращаемся все к той же проблематике беззакония. На практике подобная аргументация убеждает нас, что убивать можно и в то же время убивать нельзя. Она не разрешает противоречия, не объясняет, что́ может помешать убийству и что́ может его оправдать; носители угрозы сами под угрозой, мы влекомы лихорадочной эпохой нигилизма и, с комом в горле хватаясь за оружие, ощущаем свое одино-

чество.

Но к этому основному противоречию добавляется куча других, стоит нам допустить, что мы живем в мире абсурда, и забыть о его истинном характере, который заключается в том, что абсурд — это пройденный этап, стартовая точка, экзистенциальный эквивалент методического сомнения Декарта. Абсурд сам по себе есть противоречие.

Он противоречив содержательно, поскольку, желая поддерживать жизнь, исключает ценностные суждения, тогда как жизнь сама по себе уже есть ценностное суждение. Дышать — уже значит судить. Было бы явным заблуждением утверждать, что жизнь есть вечный выбор. Но точно так же нельзя представить себе жизнь, лишенную всякого выбора. С этой простой точки зрения абсурд в действии невообразим. Он так же невообразим с точки зрения способа выражения. Всякая философия бессмыслицы опирается на противоречие, заключенное уже в самом факте ее самовыражения. Тем самым она сообщает минимум связности бессвязности и вводит последовательность в то, что, с ее же точки зрения, не может иметь последствий. Речь сама по себе восстанавливает связи. Единственным логич-

ным поведением, основанным на бессмыслице, было бы молчание, если бы молчание само по себе не могло быть значимым. Совершенный абсурд стремится к немоте. Если он говорит, значит, он собой любуется или, как мы увидим в дальнейшем, считает себя временным. Это самолюбование, эта оценка себя ясно указывает на глубинную двусмысленность позиции абсурда. Абсурд, претендующий на выражение одиночества человека, некоторым образом заставляет его жить перед зеркалом. Тогда возникает риск, что изначальный надлом станет для него естественным. Если с таким усердием расчесывать рану, в конце концов начнешь получать от этого удовольствие.

Кого-кого, а великих авантюристов абсурда нам хватало. Но в конечном итоге их величие измеряется тем, что они отказались от удовольствий абсурда, сохранив его требования. Они разрушают, но ради увеличения, а не ради уменьшения. «Мои враги — те, кто желает разрушать, а не творить себя», — говорит Ницше. Он разрушает, но ради попытки созидания. Он превозносит честность, бичуя жуиров со «свиным рылом». Чтобы избежать самолюбования, абсурдное рассуждение приходит к отрицанию. Оно отказывается

разбрасываться и стремится к произвольной развязке, вставая на сторону молчания, этой странной аскезы бунта. Рембо, воспевший «хорошенькое преступленьице, мяукающее в уличной грязи», бежит в Африку только ради того, чтобы жаловаться на одинокое, без семьи, существование. Жизнь для него была «фарсом, в котором играют все без исключения». Но в смертный час он кричит, обращаясь к сестре: «Я ухожу в землю, а ты — ты будешь гулять под солнцем!»

Итак, абсурд, понимаемый как правило жизни, противоречив. Что же удивительного в том, что он так и не дал нам оснований для законности убийства? Впрочем, это вообще невозможно — определить свое отношение к чему-либо, руководствуясь какой-то одной эмоцией. Чувство абсурда — просто одно из чувств в ряду других. Тот факт, что им оказалось окрашено столько мыслей и поступков в период между двумя войнами, доказывает лишь его мощь и его законность. Но сила чувства — еще не доказательство его универсальности. Ошибка целой эпохи заключалась в том, что она сформулировала — или думала, что сформулировала, — общие правила действия на основе непреодолимого чувства безнадежности. В начале рассуждения могут лежать

как великие страдания, так и великое счастье. Они играют роль ходатаев. Но мы не способны различать их и сохранять в ходе рассуждения. Если было законно принимать в расчет чувствительность абсурда и диагностировать зло в том виде, в каком мы находим его в себе и в других, то невозможно видеть в этой чувствительности и в подразумеваемом ею нигилизме ничего иного, кроме стартовой точки, изжитой критики, эквивалента — в экзистенциальном плане — систематического сомнения. После чего следует разбить застывшую зеркальную игру и влиться в непреодолимое движение, благодаря которому абсурд превосходит сам себя.

Если зеркало разбито, не остается ничего, что пригодилось бы нам для поиска ответов на вопросы этого века. Абсурд, как и методическое сомнение, есть чистая доска. Он заводит нас в тупик. Но, как и сомнение, он может, проделав обратный путь, дать нам новое направление поиска. Тогда рассуждение продолжится тем же способом. Я кричу, что ни во что не верю и что все абсурдно, но я не могу сомневаться в собственном крике: мне необходима по крайней мере вера в свой протест. Первая и единственная очевидность, которую я таким образом полу-

чаю из опыта абсурда, — это бунт. Лишенный знания, торопящийся убить или согласиться с убийством, я располагаю одной этой очевидностью, только крепнущей от того хаоса, в котором нахожусь. Бунт рождается из картины неразумности, из осознания несправедливости своего положения, не поддающейся пониманию. Но его слепой порыв требует порядка посреди хаоса и цельности посреди того, что улетучивается и исчезает. Бунт кричит, бунт требует, бунт хочет, чтобы прекратилось это безобразие и наконец-то зафиксировалось писанное вилами по воде. Бунт стремится к преобразованию. Но преобразование предполагает действие, а завтрашнее действие потребует убивать, тогда как до сих пор неизвестно, правомерно ли убийство. Бунт как раз и порождает действия, нуждающиеся в легитимации. Поэтому бунт должен черпать свой смысл в самом себе, поскольку не может черпать его где-либо еще. Чтобы научиться действовать, он должен себя изучать.

Нам предстоит осмыслить два века бунтарства — метафизического и исторического. Только историк мог бы претендовать на детальное изложение следующих друг за другом учений и движений. Но, наверное, возможно, по крайней

мере, нащупать в них путеводную нить. На последующих страницах приведены всего несколько исторических вех и одна гипотеза, которая не является единственно возможной, да и она, впрочем, проливает свет далеко не на все. Но она частично объясняет направление движения и почти полностью — присущее нашему времени отсутствие понятия меры. Рассматриваемая здесь огромная история есть история европейской гордыни.

Как бы то ни было, мы не определим причины бунта, не исследовав его поведения, его чаяний и его побед. Возможно, здесь мы обнаружим правило действия, которого не дал нам абсурд, или по меньшей мере кое-какие указания на право или обязанность убивать и, наконец, на надежду созидания. Человек — единственное существо, отказывающееся быть тем, кто он есть. Вопрос заключается в том, способен ли этот отказ довести его до разрушения других людей и самого себя, если бунт завершается оправданием всеобщего убийства, или, наоборот, бунт, не претендуя на невозможную невиновность, способен открыть нам принцип разумной виновности.

I
Бунтарь

Кто такой бунтарь? Это человек, который говорит «нет». Но, даже отрицая, он ни от чего не отрекается. Это человек, первым побуждением которого становится желание в то же самое время сказать «да». Раб, всю жизнь повиновавшийся приказам, вдруг осознает, что не станет выполнять очередной приказ, ибо он для него неприемлем. Что же кроется за этим «нет»?

Ну, например, следующие соображения: «Это уже слишком», «На это я еще согласен, но дальше — ни за что», «Они хотят от меня слишком многого», «Всему есть предел». В сущности, «нет» обозначает существование некоей границы. Та же идея границы обнаруживается в чувствах возмущенного человека, считающего, что кто-то «зашел слишком далеко» и пытается распространить свое право за некие пределы, за которыми начинается действие прав других людей. Таким образом, бунтарство опирается, с одной стороны, на категорическое неприятие недопустимого вмешательства, а с другой — на

смутное осознание собственных прав, точнее говоря, на ощущение бунтаря, что он «тоже имеет право». Бунта не может быть без сознания собственной правоты. Именно в этом смысле взбунтовавшийся раб говорит одновременно и «да», и «нет». Он не только обозначает границу, но и дает понять, что не позволит зайти за ее пределы. Он убедительно показывает, что у него в душе существует нечто, что «стоит защищать» и ради чего «стоит бороться». В каком-то смысле он противопоставляет угнетающему его порядку своеобразное право не поддаваться угнетению сверх допустимых пределов.

Наряду с отторжением «захватчика» во всяком бунте присутствует целостное и мгновенное слияние человека с некоей частью себя самого. Он формирует внутреннее ценностное суждение, вроде бы ни на чем не основанное, и придерживается его, несмотря ни на какие опасности. До сих пор он молча предавался отчаянию, считая свое положение, при всей его несправедливости, приемлемым. Молчание может означать, что человек никого не осуждает и ничего не желает, и в некоторых случаях он действительно ничего не желает. Отчаяние, как и абсурд, осуждает и желает все вообще и ничего в частности, что

и выражается в молчании. Но стоит человеку заговорить, даже если он говорит «нет», он начинает желать и осуждать. Бунтарь совершает крутой поворот (слово «революция» означает переворот). Раньше он подставлял спину под хозяйский кнут. И вот теперь он смотрит хозяину в лицо. Он противопоставляет то, что кажется ему предпочтительным, тому, что ему таковым не кажется. Не всякая ценность приводит к бунту, но всякое бунтарское движение подразумевает невысказанную ценность. Но ценность ли это?

Из побуждения к бунту рождается осознание, пусть неясное, что в человеке присутствует нечто такое, с чем он себя отождествляет, хотя бы временно. Прежде это отождествление практически не осознавалось. До момента своего восстания раб просто страдал от творимых над ним бесчинств. Нередко он получал даже еще более возмутительные приказы, чем тот, что заставил его возмутиться. Он проявлял терпение, возможно, возмущаясь ими про себя, но молчал, более озабоченный своей участью, чем осознанием своего права. Но, когда на смену терпению приходит нетерпимость, он начинает отвергать даже то, что ранее воспринималось как допустимое. Этот порыв почти всегда имеет обратную силу.

В тот миг, когда раб отвергает унизительный приказ хозяина, он одновременно отвергает свое рабское состояние. Бунтарство несет его дальше простого отказа. Он отодвигает границу, прежде установленную для своего противника, и теперь требует, чтобы с ним обращались как с равным. Яростное сопротивление человека превращается в самого человека, отождествляется с ним и сводится к нему. Он ставит ту часть себя, которую хотел заставить уважать, выше всего остального, считая ее самой важной, даже важнее жизни. Она становится для него высшим благом. Прежде согласный на компромисс, раб вдруг («потому что так уж вышло…») бросается на Все и Ничто. Вместе с бунтом рождается сознание.

Но мы видим, что это сознание одновременно отражает «все» — пока довольно туманно — и «ничто» — как предвестие того, что человек пожертвует собой ради «всего». Бунтарь хочет стать всем, полностью отождествить себя с тем, что он внезапно осознал как благо и что, по его мнению, должно быть признано за ним как личностью, — либо он станет ничем, окончательно раздавленный превосходящей его силой. Он даже готов принять окончательное поражение, то есть смерть, в случае, если будет лишен признания

своей исключительности, которое назовет, например, свободой. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

Ценность, по мнению ряда авторов, «чаще всего представляет собой переход от факта к праву, от желанного к желательному (обычно через желанное всеми)»[2]. Как мы уже видели, переход к праву проявляется в бунте — точно так же, как переход от «надо, чтобы было так» к «я хочу, чтобы было так». Но, возможно, еще важнее, что появляется понятие перехода индивидуального блага к общему благу. Появление Всего или Ничего показывает, что бунт, вопреки расхожему мнению и тому, что он зарождается как чисто индивидуальный человеческий порыв, ставит под сомнение само понятие индивидуума. Действительно, если индивидуум готов умереть и в некоторых случаях и правда умирает в результате бунта, он тем самым показывает, что жертвует собой во имя блага, превосходящего его личный интерес. Если он предпочитает смерть отрицанию защищаемого им права, то делает это потому, что ставит последнее выше себя. Следовательно, он действует во имя ценности, пусть и

---

[2] notes: 2
Лаланд А. Философский словарь.

смутно осознаваемой, но вызывающей в человеке чувство, что он разделяет ее со всеми людьми. Мы видим, что утверждение, имплицитно содержащееся во всяком бунтарском действии, распространяется на нечто такое, что превосходит личность бунтаря — в той мере, в какой бунт нарушает его предполагаемое одиночество и дает ему мотив к действию. Следует, однако, отметить, что ценность, предшествующая всякому действию, вступает в противоречие с философией исторической школы, в рамках которой ценность завоевывается (если завоевывается) в результате действия. Анализ бунта заставляет по меньшей мере задуматься о существовании некоей человеческой природы, в которую верили древние греки и которую отрицают постулаты современной философской мысли. Зачем бунтовать, если у тебя в душе нет ничего такого, что следовало бы защищать? Раб восстает во имя всех людей, существующих в одно время с ним, если считает, что установленный порядок отрицает в нем самом нечто такое, что принадлежит не только ему, но является общей чертой всех людей, включая его обидчиков и притеснителей, и что объединяет

их в некую общность[3].

Есть два наблюдения, подтверждающие выводы данной аргументации. Во-первых, бунт по своей сути не является эгоистическим движением. Разумеется, среди бунтарей могут находиться люди, преследующие эгоистические цели. Но ведь люди бунтуют не только против угнетения, но и против *лжи*. Кроме того, убежденный бунтарь в крайнем выражении своих побуждений ставит на кон все, что имеет. Да, он требует уважения к себе лично, но лишь в той мере, в какой считает себя частью естественной общности.

Во-вторых, бунт возникает не только и не обязательно со стороны угнетенного — точно так же взбунтоваться может свидетель чужого угнетения. Следовательно, в этом случае происходит отождествление себя с другим человеком. Необходимо уточнить, что речь идет не о психологическом отождествлении, когда индивидуум видит в роли угнетаемого себя. Напротив, случается, что нам невыносимо видеть, как при нас притесняют других, хотя сами мы готовы терпеть подобные притеснения. Прекрасной иллюстрацией к этому могут служить примеры самоубийств

---

[3] notes: 3

Общность жертв — это та же общность, что объединяет жертву и палача. Просто палач об этом не знает.

русских террористов-каторжан, выражавших таким образом протест против истязания кнутом их товарищей. Речь также не идет о чувстве локтя, основанном на общих интересах. Мы ведь способны возмущаться несправедливостью, допускаемой по отношению к людям, которых считаем своими противниками. Речь идет об отождествлении судьбы и выбора. Ценность, которую готов защищать индивидуум, не сводится к этому индивидууму. Ее выражением могут стать только все люди одновременно. В бунте человек поднимается выше себя, и в этом смысле человеческая солидарность носит метафизический характер. Просто в настоящий момент мы рассуждаем о солидарности, рождающейся среди оков.

Позитивный аспект ценности, подразумеваемой в бунте, можно подчеркнуть, сравнив ее с таким негативным понятием, как ресентимент в определении М. Шелера. Действительно, бунт — это нечто большее, чем требование удовлетворения своих прав, даже самое категоричное. Шелер определяет ресентимент как самоотравление, как внутреннюю интоксикацию долго длящимся бессилием. Напротив, бунт рвет ткань бытия и помогает гною выплеснуться наружу. Он

высвобождает потоки, которые в состоянии застоя оборачиваются яростью. Шелер акцентирует пассивный аспект ресентимента, отмечая его особое место в психологии женщин, обреченных быть объектом чужого желания и стремления властвовать. Напротив, в истоке бунта лежит принцип сверхактивной и сверхэнергичной деятельности. Шелер прав и в том, что ресентимент всегда заметно окрашен завистью. Однако зависть всегда направлена на то, чего не имеешь, тогда как бунт защищает то, что есть. Бунт не просто требует для человека блага, которым тот не обладает или которого был лишен. Бунтарь требует признать, что то, чем он обладает и что сам за собой, как правило, признает, более важно, чем то, чему он мог бы завидовать. Бунт мало считается с реальностью. Ресентимент, по тому же Шелеру, в зависимости от силы или слабости духа оборачивается либо карьеризмом, либо озлобленностью. Но в любом случае человек стремится стать другим. Ресентимент всегда включает недовольство собой. Напротив, бунтарь изначально противится тому, чтобы кто-то посягал на его сущность. Бунтарь борется за целостность части себя. Он стремится не завоевывать, но утверждать.

Наконец, ресентимент заранее наслаждается болью, которую в его мечтах должен испытывать объект его гнева. Ницше и Шелер совершенно справедливо находят иллюстрацию к этому чувству в отрывке из Тертуллиана, где автор сообщает читателям, что величайшим наслаждением попавших на небеса праведников будет зрелище горящих в аду римских императоров. Это то самое чувство, которое двигало благочестивыми гражданами, собиравшимися поглазеть на смертную казнь. Напротив, бунт ограничивается принципиальным отказом подчиняться унижению и не требует унижения для других. Мало того, бунтарь сам готов терпеть боль, лишь бы добиться уважения собственной целостности.

Поэтому нам непонятно, почему Шелер проводит между бунтарским духом и ресентиментом абсолютное тождество. Его критику ресентимента в гуманитаризме (трактуемом как нехристианская форма любви к ближнему) еще можно было бы применить к некоторым неясно выраженным формам гуманитарного идеализма или к методам террора, но она совершенно неуместна в отношении бунта человека против своего положения, то есть того побуждения, которое заставляет человека подняться на защиту челове-

ческого достоинства, свойственного всем людям без исключения. Шелер пытается доказать, что гуманитаризм сопровождается ненавистью к миру. Мы любим человечество, чтобы не любить его отдельных представителей. В некоторых случаях это действительно так, и позиция Шелера нам гораздо понятнее, если вспомнить, что под сторонниками гуманитаризма он подразумевал Бентама и Руссо. Но любовь человека к человеку может рождаться не только из арифметического расчета интересов или веры, вполне абстрактной, в человеческую природу. Утилитаристам и воспитателю Эмиля противостоит, например, логика Достоевского, нашедшая выражение в фигуре Ивана Карамазова, который совершает путь от бунтарского побуждения к метафизическому восстанию. Шелер, которому была знакома эта концепция, кратко формулирует ее следующим образом: «В мире слишком мало любви, чтобы расточать ее на что-либо, кроме человеческого существа». Но даже если бы это предположение было верным, то страшное отчаяние, которое за ним стоит, заслуживало бы чего-то большего, чем простое презрение. На самом деле речь идет об отказе признавать смятение, вызвавшее бунт Ивана Карамазова. Драма Ивана уходит корнями

в то обстоятельство, что любви слишком много, но она не находит себе предмета. Если Бога нет, то во имя благородного сострадания приходится переносить эту бесхозную любовь на человеческое существо.

Вместе с тем то бунтарство, о каком мы до сих пор рассуждали, не стремится к абстрактному идеалу, что могло бы объясняться нравственной нищетой или бесплодными притязаниями. Бунтарь требует уважения к тому, что в человеке не сводимо к идее, — к той теплой части себя, единственное назначение которой — быть. Значит ли это, что бунту неведомо чувство ресентимента? Нет, не значит, и в наш злобный век мы видели немало тому примеров. Дабы не извратить это понятие, мы должны трактовать его в наиболее широком смысле, и в этом отношении бунт буквально насквозь пропитан ресентиментом. Когда Хитклиф в «Грозовом Перевале» предпочитает Богу свою любовь и призывает все силы ада, лишь бы соединиться с возлюбленной, в нем говорит не только униженная юность, но и горячий опыт всей его жизни. Тот же мотив побуждает Майстера Экхарта в удивительном приступе ереси заявить, что небесам без Иисуса он предпочитает ад с Иисусом. Это побуждение и есть любовь.

Нашим главным аргументом в споре с Шелером служит страстное утверждение, вдохновляющее бунт и отличающее его от ресентимента. Бунт на первый взгляд явление негативное — ведь он ничего не создает, — но на самом деле он глубоко позитивен, потому что высвечивает в человеке его уязвимость.

В заключение остановимся на следующем вопросе. Не являются ли бунт и провозглашаемая им ценность относительными? Действительно, со сменой эпох и цивилизаций причины бунта все время менялись. Очевидно, что индусский парий, воин империи инков, дикарь из центральноафриканского племени и член общины первохристиан по-разному понимали идею бунта. Можно даже с большой долей вероятности предположить, что в упомянутых конкретных случаях понятие бунта вообще не имело смысла. Однако греческий раб, крепостной крестьянин, кондотьер эпохи Ренессанса, парижский буржуа периода Регентства, русский интеллигент 1900-х годов и современный рабочий, даже расходясь во взглядах на причины бунта, бесспорно согласятся с его правомерностью. Иначе говоря, проблема бунта обретает точное смысловое наполнение только в контексте западной мысли. Можно вы-

разиться еще определеннее, вслед за Шелером отметив, что бунтарский дух с трудом находит себе выражение в обществах, для которых характерно существенное социальное неравенство (например, в индусской кастовой системе) либо, напротив, абсолютное равенство (некоторые примитивные сообщества). В обществе бунтарский дух проявляется только в группах, существующих в условиях теоретического равенства и фактического вопиющего неравенства. Таким образом, проблематика бунта имеет смысл исключительно в рамках нашего западного общества. Здесь мог бы возникнуть соблазн заявить, что бунт связан с развитием индивидуализма, если бы предшествующие рассуждения не предостерегли нас от поспешности этого вывода.

Из концепции Шелера с очевидностью вытекает лишь следующее: согласно теории политической свободы, в нашем обществе наблюдается рост человеческого в человеке, тогда как практическое осуществление этой самой свободы приводит к росту недовольства. Рост фактической свободы отнюдь не пропорционален росту самосознания человека. Отсюда следует, что бунт есть фактическое действие хорошо информированного человека, сознающего свои права. При этом

речь не обязательно идет о правах индивидуума. Напротив, судя по всему, в силу возникновения уже упоминавшейся солидарности, наблюдается все более широкое осознание общности рода человеческого, с ходом истории проявляющееся все ярче. В действительности подданный империи инков или пария не задаются вопросом бунта, потому что этот вопрос за них уже решила традиция; еще до того, как он мог прийти им в голову, ответ уже существовал, и этот ответ сводился к священному началу угнетения. Если внутри сакрального мира вопрос бунта даже не поднимается, то потому, что в нем нет никакой реальной проблематики и все ответы даны раз и навсегда. Метафизика вытесняется мифом. Вопросов нет, есть лишь ответы и их вечное толкование, способное, впрочем, приобретать метафизический характер. Но до того, как человек войдет в сакральный мир — и чтобы он в него вошел либо если он из него выходит — и для того, чтобы этот выход стал возможен, — необходимы вопросы и бунт. Бунтарь — это человек, существующий до или после сакрального, требующий установления человеческого порядка, при котором все ответы человечны, то есть разумно сформулированы. Начиная с этого момента всякий вопрос

и всякое слово становятся бунтом, тогда как в мире сакрального всякое слово есть действие благодати. Итак, можно показать, что для человеческого духа есть всего две возможные вселенные — вселенная сакрального (в христианском контексте вселенная благодати[4]) и вселенная бунта. Исчезновение одной равнозначно появлению второй, хотя это появление может выражаться в формах, вызывающих замешательство. Здесь перед нами снова Все или Ничто. Актуальность проблемы бунта вызвана исключительно тем фактом, что сегодня целые общества захотели дистанцироваться от сакрального. Мы нацелены на десакрализацию истории. Разумеется, человек не сводим к восстанию. Но современная история, в силу недовольства людей существующим порядком, вынуждает нас признать, что бунт стал одним из главных измерений человеческой личности. Бунт — вот наша историческая реальность. Если мы не хотим прятаться от реальности, нам необходимо определить ценности бунта. Возможно ли, отказавшись от сакрального с его

[4] notes: 4

Разумеется, начало христианства отмечено метафизическим бунтом, но воскресение Христа, весть о втором пришествии и Царствии Божием как обещании вечной жизни суть ответы, сделавшие его бесполезным.

абсолютными ценностями, выработать правила поведения? Именно этот вопрос ставит перед нами бунт.

Мы уже говорили о нечеткой ценности, рождающейся на границе бунта. Сейчас нам следует задаться еще одним вопросом: имеется ли эта ценность в современных формах бунтарской мысли и бунтарского действия, и если да, то каково ее содержание. Но сначала заметим, что основой этой ценности является сам бунт. Человеческая солидарность базируется на бунтарском движении, а бунтарское движение, в свою очередь, оправдывается только чувством товарищества. Следовательно, мы можем сказать, что бунт, позволяющий себе отрицать или разрушать солидарность, в тот же миг теряет право именоваться бунтом и в действительности смыкается со смертоносным соглашательством. Точно так же солидарность, выходя за рамки сакрального, оживает только на уровне бунта. Здесь начинается подлинная драма бунтарской мысли. Человек, чтобы утвердить свое бытие, должен бунтовать, но его бунт не должен выходить за границы, подразумеваемые самим бунтом, в рамках которого утверждается бытие всех людей, вместе взятых. Поэтому бунтарская мысль не может

обходиться без памяти — она существует в постоянном напряжении. Прослеживая его свершения и действия, мы всякий раз будем задаваться вопросом, остался ли бунт верен своему исходному благородству либо, поддавшись усталости или безумию, напротив, скатился в опьянение тиранией или рабской покорностью.

Пока что отметим первый успех бунтарской мысли для философии, прежде проникнутой духом абсурда и видимой бесплодности мира. В абсурдистском размышлении страдание индивидуально. Вместе с движением бунта появляется осознание того, что оно носит коллективный характер и является общим уделом. Таким образом, первый успех духа отстраненности состоит в признании того, что он делит эту отстраненность со всеми остальными людьми и что в реальности бытия все человечество целиком страдает от разрыва между собой и миром. Боль, испытываемая одним человеком, становится коллективной болью. В свойственных нам тяготах повседневности бунт играет ту же роль, что *cogito* в философии: он представляется очевидной данностью. Но сама эта очевидность спасает индивидуум от одиночества. Она — то общее место, которое утверждает главную и единую для всех людей ценность. Я

бунтую, следовательно, мы существуем.

II
Метафизический бунт

Метафизический бунт — это движение, благодаря которому человек восстает против своего положения и против творения как такового. Мы называем его метафизическим потому, что он оспаривает целеполагание человека и творения. Раб протестует против своего положения, навязанного ему как рабу; метафизический бунтарь протестует против своего положения, навязанного ему как человеку. Восставший раб утверждает, что у него в душе имеется нечто несогласное с тем, как с ним обращается хозяин; метафизический бунтарь заявляет, что его не устраивает само мироздание. И в том и в другом случае речь идет не просто об отрицании. Действительно, в обоих случаях мы имеем дело с ценностным суждением, во имя которого бунтарь отказывается принимать навязанное ему положение.

Заметим, что восставший раб не помышляет об отрицании хозяина как человеческого существа. Он отрицает его как хозяина. Он отрицает право хозяина отрицать его, раба, существование, суще-

ствование как человеческого существа. Хозяин отрицается в той мере, в какой он сам пренебрегает чужим существованием. Если люди не могут сослаться на общую ценность, признаваемую всеми и каждым, то взаимопонимание между ними становится невозможным. Восставший раб требует недвусмысленного признания этой ценности и себя как ее носителя, потому что догадывается (или знает), что мир, лишившись этого принципа, погрузится в криминальный хаос. Побуждение к бунту возникает в нем как стремление к ясности и единству. Как ни парадоксально, самый стихийный бунт является выражением стремления к порядку.

Это описание полностью подходит к метафизическому бунтарю. Он восстает против разрушения мира и требует его единства. Он противопоставляет свой принцип справедливости принципу несправедливости, воплощение которого наблюдает в мире. Таким образом, изначально он не хочет ничего иного, кроме разрешения этого противоречия и установления единого царства справедливости — если это в его силах — либо несправедливости, если его довести до отчаяния. Но пока он просто изобличает наличие противоречия. Протестуя против состояния

незавершенности (по причине смертности) и разобщенности (по причине существования зла), метафизический бунт предстает обоснованным требованием счастливого единства, противостоящего страданию жизни и смерти. Если положение людей определяется общим страхом смерти, то бунт в каком-то смысле является его современником. Отрицая смертность, бунт одновременно отказывается признавать ту силу, которая вынуждает его существовать в заданных условиях. Поэтому метафизический бунт не обязательно проникнут атеизмом, как это может показаться, но он непременно носит характер святотатства. Просто потому, что во имя порядка бунт выступает против Бога с обвинениями в том, что он — отец смерти и высшей несправедливости.

Чтобы прояснить этот момент, вернемся к восставшему рабу. Самим своим протестом он подтверждает существование хозяина, против которого восстает. Но одновременно он доказывает, что своей зависимостью подтверждает власть последнего и утверждает свою собственную власть постоянно оспаривать верховенство того, кому он до сих пор подчинялся. В этом отношении хозяин и раб действительно находятся в одной лодке: временное господство одного так же

относительно, как покорность второго. В момент бунта обе силы взаимно подтверждают друг друга, прежде чем схлестнуться и уничтожить друг друга, в результате чего одна из них на некоторое время исчезнет.

Точно так же, если метафизический бунтарь восстает против власти, существование которой тем самым утверждает, он устанавливает факт ее существования лишь в тот миг, когда ее оспаривает. Тем самым он низводит существование высшего по отношению к себе существа к тому же жалкому положению, какое свойственно всем людям, — тщета его власти равнозначна тщетности нашего существования. Он подвергает его нашей силе отрицания и, в свою очередь, заставляет склониться перед той частью человеческого существа, которая не склоняется ни перед чем, силой вовлекает его в существование, абсурдное по отношению к нам, выдергивает его из вневременного убежища и заставляет включиться в историю, чрезвычайно далекую от вечной стабильности, возможной только при единодушном согласии всех людей сразу. Так бунтарь на своем уровне утверждает, что всякое высшее существование по меньшей мере противоречиво.

Поэтому нельзя смешивать историю метафи-

зического бунта с историей атеизма. С определенной точки зрения она скорее смешивается с современной историей религиозного чувства. Бунтарь не столько отрицает, сколько бросает вызов. Он изначально не отвергает Бога, но говорит с ним на равных. И это отнюдь не куртуазный диалог. Это полемика, одухотворенная желанием победить. Раб начинает с того, что требует справедливости, а заканчивает тем, что желает царствовать. Ему в свою очередь не терпится властвовать. Восстание против своего состояния преобразуется в беспрецедентный поход против небес, завершающийся пленением царя, его осуждением и казнью. Человеческий бунт заканчивается метафизической революцией. Он развивается от представления к действию, от денди к революционеру. Опрокинув Божий престол, бунтарь признает, что справедливость, порядок и единство, которых он тщетно искал в своем состоянии, отныне должны быть созданы его собственными руками, что и послужит оправданием низвержения Бога. Тогда настанет очередь отчаянных усилий, направленных на создание — в случае необходимости с опорой на преступление — царства людей. Этот процесс не может не сопровождаться ужасными последствиями,

из которых нам известна лишь самая малость. Но эти последствия вызваны не самим бунтом, или как минимум они проявляются лишь в той мере, в какой бунтарь забывает о своих корнях, устает от чудовищного напряжения между «да» и «нет» и, наконец, отдается во власть полного отрицания или полной покорности. В своем первоначальном побуждении метафизический бунт показывает то же позитивное содержание, что и восстание раба. Наша цель — рассмотреть, во что превращается содержание бунта на практике, и определить, куда ведут измена или верность бунтаря своему происхождению.

Сыны Каина

Собственно говоря, идея метафизического бунта появляется в связном виде в истории философии только в конце XVIII века. С наступлением Нового времени с громким шумом рушатся всевозможные стены. Следствия этой идеи развиваются непрерывно, и не будет преувеличением сказать, что они сформировали историю нашего времени. Означает ли это, что прежде идея метафизического бунта не имела смысла? Его модели далеки от нас, а наша эпоха любит приписывать

себе прометеевское начало. Но обладает ли она им на самом деле?

В первых теогониях мы видим Прометея прикованным к скале где-то на задворках мира — это вечный страдалец, навсегда лишенный права на прощение, молить о котором не желает. Эсхил особенно подчеркивает героический статус Прометея, наделяя его даром предвидения («Все, что предстоит снести, / Мне хорошо известно»[5]), заставляя выплескивать свою ненависть к богам и погружая в «бушующее море неизбывных мук», чтобы в конце в грохоте грома низвергнуться под землю под ударами молний: «Без вины страдаю — глядите!»

Итак, древние греки задумывались о метафизическом бунте. Задолго до Сатаны они вывели образ благородного Бунтаря-страдальца, создав величайший миф о восставшем разуме. Неисчерпаемый греческий гений, внесший такой огромный вклад в сотворение мифов о согласии и скромности, сумел, несмотря ни на что, создать свою модель восстания. Бесспорно, отдельные прометеевские черты все еще живы в переживаемой нами истории бунта: борьба против смерти

---

[5] notes: 5

Здесь и далее цитаты из «Прометея прикованного» Эсхила даны в пер. С. Апта.

(«Я племя смертное / От гибели в Аиде самовольно спас»), мессианизм («Я их слепыми наделил надеждами»), филантропия («Да, я ненавистен и Зевсу… потому, / Что меры не знал я, смертных любя»).

Но не следует забывать, что «Прометей-огненосец» — последняя часть эсхиловской трилогии — провозглашала царство прощенного бунта. Греки не были жестокосердными. В самых дерзновенных своих порывах они соблюдали меру, которую обожествляли. Бунтуя, они восставали не против творения в целом, а против Зевса — всего лишь одного из богов, дни которого были сочтены. Сам Прометей — полубог. Так что здесь речь идет об особом сведении счетов, о споре вокруг понятия блага, а не о вселенской битве добра и зла.

Дело в том, что древние греки, веря в судьбу, прежде всего верили в природу, частью которой считали себя. Восстать против природы — значит восстать против себя, то есть биться головой о стену. В таком случае единственно логичным бунтом становится самоубийство. Сама судьба у греков — это слепая сила, в равной мере подчиняющая себе все остальное и подчиняющаяся себе же. Вершиной нарушения чувства меры

является для грека безумная в своем варварстве попытка высечь море. Грек, скорее всего, признает безрассудство, раз уж оно существует, но отводит ему надлежащее место, то есть заключает его в определенные границы. Негодование Ахилла после гибели Патрокла и гнев трагических героев, проклинающих судьбу, не влекут за собой осуждения всего и вся. Эдип знает, что он не невиновен. Он виновен помимо собственной воли — такова уж его судьба. Он сетует, но не произносит непоправимых слов. Даже Антигона если и восстает, то лишь во имя традиции, ратуя за то, чтобы ее братья обрели покой в могиле и все обряды были соблюдены. В некотором смысле ее бунт можно назвать реакционным. Греческая двуликая философия почти всегда позволяет за самой безнадежной мелодией расслышать вечное слово Эдипа, ослепленного и несчастного, но настаивающего на том, что все правильно. «Да» уравновешивает «нет». Даже когда Платон предвосхищает в Калликле вульгарный тип ницшеанца, который восклицает: «Но если появится человек, достаточно одаренный природою… он освободится, он втопчет в грязь наши писания, и волшебство, и чародейство, и все противные природе законы и, воспрянув, явится пред нами

владыкою бывший наш раб», — даже тогда он, отрицая закон, произносит слово «природа».

Метафизический бунт предполагает упрощенное понимание мироздания, для греков вовсе не характерное. Они не разделяли мир с одной стороны на богов, а с другой — на людей, но, скорее, различали ступени, ведущие от вторых к первым. Им была чужда идея противопоставления невиновности и вины, и они отнюдь не смотрели на историю как на борьбу добра со злом. В их вселенной ошибок больше, чем преступлений, а единственным поистине страшным преступлением является нарушение чувства меры. В мире, полностью подчиненном истории, и эта угроза в наши дни становится все явственнее, напротив, нет ошибок — есть только преступления, главным из которых считается умеренность. Этим мы объясняем странное смешение жестокости и снисходительности, которым пропитан греческий миф. Греки — и в этом мы от них отстаем — никогда не превращали философию в укрепленный лагерь. В конце концов, бунт — это всегда бунт против кого-то. Только понятие личностного бога, создателя всего сущего, который несет ответственность за все, наполняет смыслом человеческий протест. Поэтому можно сказать

— и в том нет парадокса, — что в западном мире идея бунта неразрывно связана с идеей христианства. Лишь в последний, переходный период развития античной мысли идея бунта находит словесное выражение, особенно глубокое у Эпикура и Лукреция.

Новое звучание слышится уже у Эпикура с его неохватной печалью. Очевидно, она рождается из страха смерти, который не был чужд греческому духу. Но особенно показателен тот пафос, которым окрашен этот страх. «Против всего можно добыть себе безопасность, а что касается смерти, мы, все люди, живем в неукрепленном лагере». «Время приносит конец, материю всю истребляя», — уточняет Лукреций. Зачем же откладывать наслаждение на потом? «Жизнь гибнет в откладывании, — говорит Эпикур, — и каждый из нас умирает, не имея досуга». Следовательно, надо наслаждаться. Но до чего странно это наслаждение! Оно заключается в том, чтобы затыкать бреши в стенах крепости и жить в безмолвной тьме на хлебе и воде. Если нам грозит смерть, надо доказать, что смерть — это ничто. Эпикур, подобно Эпиктету и Марку Аврелию, просто изгоняет смерть из бытия. «Смерть не имеет никакого отношения к нам, ибо то, что

разложилось, не чувствует, а то, что не чувствует, не имеет никакого отношения к нам». Так что же, смерть — это небытие? Нет, потому что все в этом мире материально и умереть означает вернуться в элементарное состояние. Бытие — это камень. Высшее наслаждение, о котором говорит Эпикур, сводится к отсутствию боли — это и есть счастье камня. Дабы избежать судьбы, Эпикур — впоследствии мы обнаружим то же восхитительное побуждение у наших великих классиков — убивает восприимчивость и в первую очередь душит ее первый крик — надежду. Только так следует понимать рассуждения греческого философа о богах. Несчастья людей проистекают от надежды, привязывающей их к безмолвию крепости и заставляющей снова и снова бросаться на ее стены в ожидании спасения. Эти глупые попытки лишь растравляют заботливо перевязанные раны. Вот почему Эпикур не отрицает богов — он их отдаляет, и на такую головокружительную высоту, что душе остается лишь снова замуровать себя в стенах крепости: «Блаженное и бессмертное существо и само не имеет забот, и другому не причиняет их». Ему вторит Лукреций: «Неоспоримо, что боги по самой своей природе наслаждаются бессмертием среди глубочайшего покоя, чуждые

наших дел, к которым они не имеют ни малейшего отношения». Поэтому забудем о богах, изгоним их из своих мыслей, и тогда «ни ваши дневные мысли, ни ваши ночные сновидения не станут тревожить вас».

Вечная тема бунта прозвучит и позже, но с новыми смысловыми оттенками. Единственный бог, какого способен вообразить религиозно мыслящий бунтарь, — это бог глухой, никого не награждающий и никого не карающий. Но если Виньи проклинает божественное молчание, то Эпикур считает, что раз уж умирать все равно придется, то это безмолвие успешнее готовит человека к его судьбе, чем божественное слово. Любопытствующий ум изнуряет себя в попытках воздвигнуть вокруг человека стену, восстановить крепость и безжалостно задушить неудержимый крик человеческой надежды. Лишь после того как эта стратегия реализуется, Эпикур — словно бог среди людей — воспоет свою победу в торжественном гимне, знаменующем оборонительный характер бунта. «Я предупредил тебя, случайность, и отгородился от всякого твоего тайного проникновения. Ни тебе, ни другому какому обстоятельству мы не выдадим себя. Но когда необходимость поведет нас, мы, с презрением

плюнув на жизнь и на тех, кто за нее попусту цепляется, уйдем из жизни, в прекрасной песне победно восклицая, что жизнь нами хорошо прожита».

Лукреций, единственный из современников, развивает эту концепцию, приближая ее к современной эпохе. В сущности, он не вносит ничего нового в мысль Эпикура. Вслед за ним Лукреций тоже отвергает любой принцип объяснения, если он не основан на чувственном восприятии. Атом — всего лишь последнее прибежище бытия, сведенного к первоэлементам, где продолжится его слепое и глухое бессмертие, своего рода бессмертная смерть, которая для Лукреция, как и для Эпикура, воплощает единственно возможное счастье. Вместе с тем он вынужден признать, что атомы соединяются не сами по себе, а потому, не желая подчиняться высшему закону и, как следствие, судьбе, которую он отрицает, Лукреций допускает существование клинамена — беспорядочного движения, сцепляющего атомы между собой. Отметим, что здесь уже возникает великий вопрос Нового времени, связанный с открытием, к которому приходит разум: избавить человека от судьбы — значит отдать его на волю случая. Вот почему разум пытается вернуть понятие судьбы,

на сей раз исторической. Лукреций так не думает. Его ненависть к судьбе и смерти довольствуется той пьяной землей, в которой атомы случайным образом творят живое существо, а существо случайным образом распадается на атомы. Однако сам его словарь свидетельствует о новой степени остроты восприятия. Слепая крепость превращается в укрепленный лагерь — *Moenia mundi*, то есть крепостные сооружения мира, и это одно из ключевых выражений в риторике Лукреция. Да, главнейшей задачей тех, кто находится внутри этого лагеря, остается стремление задушить надежду. Но последовательное отрицание Эпикура преображается в трепетную аскезу, порой прорывающуюся проклятиями. Набожность, по Лукрецию, состоит, очевидно, «в созерцанье всего при полном спокойствии духа». Между тем при виде несправедливости, творимой с человеком, этот дух приходит в волнение. Через всю великую поэму о природе вещей проходят новые понятия преступления, невиновности, вины и наказания, вызванные к жизни возмущением. В ней говорится о «первом преступлении религии», о попранной невиновности Ифигении, о божественном свойстве «часто идти бок о бок с преступниками и, незаслуженно карая, лишать

жизни безвинных». Лукреций не принимает всерьез наказание, долженствующее последовать в потустороннем мире, но его бунт, в отличие от бунта Эпикура, носит не оборонительный, а наступательный характер: с какой стати карать зло, если мы еще при жизни видим, что добро не получает заслуженной награды?

В эпическом изложении Лукреция сам Эпикур предстает величественным бунтарем, каким он вовсе не был: «В те времена, как у всех на глазах безобразно влачилась / Жизнь людей на земле под религии тягостным гнетом, / С областей неба главу являвшей, взирая оттуда / Ликом ужасным своим на смертных, поверженных долу, / Эллин впервые один осмелился смертные взоры / Против нее обратить и отважился выступить против… / Так, в свою очередь, днесь религия нашей пятою / Попрана, нас же самих победа возносит до неба»[6]. Здесь уже явственно различие между новым святотатством и античным проклятием. Греческие герои могли мечтать о том, чтобы стать богами, но лишь путем присоединения к сонму уже существующих богов. Тогда речь шла о своего рода карьерном прыжке. У Лукреция че-

---

[6] notes: 6
Пер. Ф. Петровского.

ловек, напротив, совершает революцию. Отрицая недостойных и преступных богов, он занимает их место. Он покидает укрепленный лагерь и предпринимает первые атаки на божественное начало — во имя человеческого страдания. В античной вселенной убийство необъяснимо и неискупимо. У Лукреция убийство человека — всего лишь ответ на божественное убийство. Не случайно поэма Лукреция заканчивается величественной и проникнутой обвинительным пафосом картиной святилищ, заполненных трупами жертв чумы.

Невозможно понять этот новый язык, не введя понятие личного бога, начавшее медленно формироваться в восприятии современников Эпикура и самого Лукреция. Бунт способен предъявить претензии только к личному богу. При первой же его попытке заявить о своем господстве бунтарь восстает и решительно говорит ему «нет». У Каина первый бунт совпадает с первым убийством. История бунтарства, какой мы переживаем ее сегодня, — это в гораздо большей степени история детей Каина, нежели учеников Прометея. В этом смысле силой, мобилизующей энергию бунтарства, выступает Бог Ветхого Завета. И наоборот, отказываясь, как Паскаль,

бунтовать, разум неизбежно покоряется Богу Авраама, Исаака и Иакова. Самый мятущийся дух больше других стремится к янсенизму.

С этой точки зрения Новый Завет можно рассматривать как попытку заранее дать ответ всем Каинам мира, подслащивая фигуру Бога и намекая на необходимость ходатая перед ним от лица людей. Христос явился, чтобы решить две главные проблемы — проблему зла и проблему смерти, которые и составляют сущность бунта. Первым делом он примерил их на себя. Богочеловек страдает и терпеливо сносит страдания. Он больше не отделяет себя от зла и от смерти — он испытывает боль и умирает. Ночь на Голгофе столь важна для человеческой истории именно потому, что в этих сумерках божество, упорно отказываясь от своих традиционных привилегий, до конца переживает страх смерти и отчаяние. Этим объясняется *Lama sabactani* и мучительные сомнения агонизирующего Христа. Вечная надежда облегчила бы агонию. Но Богу, чтобы стать человеком, необходимо утратить всякую надежду.

Гностицизм, зародившийся на стыке греческой мысли и христианства, на протяжении двух веков пытался, споря с иудаистской философи-

ей, подчеркнуть значение этой идеи. Известно, например, что Валентин множил с этой целью число ходатаев. Но эоны этой метафизической ярмарки играют ту же роль, что и промежуточные истины в эллинизме. Они стремятся уменьшить абсурдность встречи тет-а-тет человека в его ничтожестве с непогрешимым богом. Именно такова, в частности, роль второго — жестокого и воинственного — бога у Маркиона. Этот демиург создал конечный мир и смерть. Мы должны его ненавидеть, и одновременно отрицать его творение через аскезу, и стремиться к его уничтожению через половое воздержание. Таким образом, здесь речь идет об аскезе, вдохновляемой гордыней, следовательно, бунтарской. Правда, Маркион направляет свой бунт против низшего бога лишь затем, чтобы возвеличить бога высшего. Гностики благодаря своим греческим корням скорее искали компромисс — через уничтожение иудаистского наследия в христианстве. Кроме того, они, забегая вперед, пытались спорить с блаженным Августином — в той мере, в какой он аргументированно защищал любой бунт. Для Василида, например, все мученики суть грешники, и даже сам Христос, ибо все они страдали. Оригинальная идея, но ее цель

— доказать, что всякое страдание заслуженно. Гностики просто хотели заместить всемогущую и произвольную благодать греческим понятием инициации, оставляющей человеку все шансы. Тот факт, что гностики второго поколения разделились на бесчисленное множество сект, говорит о яростных попытках греческой философии найти пути примирения с христианским миром и лишить оправданий бунт, который в эллинизме считался худшим из зол. Однако Церковь осудила эти попытки и тем самым умножила число бунтарей.

По мере того как с течением веков все более убедительно побеждало племя Каиново, Богу Ветхого Завета, можно сказать, неслыханно повезло. Как ни парадоксально, но богохульники вдохнули новую жизнь в ревнивого Бога, которого христианство мечтало изгнать с исторической сцены. Одной из наиболее дерзостных их попыток стало стремление привлечь на свою сторону самого Христа, прервав на самом пике его историю казнью на кресте и горьким криком, предшествующим агонии. Так им удавалось сохранить в неприкосновенности образ безупречного в своей ненависти Бога, гораздо лучше согласующегося с картиной мира, какой ее рисовали

себе бунтари. Вплоть до Достоевского и Ницше бунт обращен исключительно к жестокому и капризному божеству, предпочитающему — без всяких мотивов — жертву Авеля жертве Каина, тем самым толкая последнего на убийство. Достоевский — мысленно — и Ницше — на практике — сверх всякой меры расширят поле бунтарской мысли и потребуют отчета у самого Бога любви. Ницше заявит, что Бог в душе его современников умер. И тогда, вслед за своим предшественником Штирнером, он предпримет атаку на иллюзию Бога, застрявшую в его веке под видом морали. Однако до них вольнодумцы ограничивались отрицанием истории Христа («этот пошлый роман», по выражению де Сада) и поддержкой, даже в своем отрицании, традиции грозного Бога.

Пока Запад оставался христианским, Евангелия, напротив, играли роль посредника между небесами и землей. Каждому крику одинокого бунтаря противопоставлялся образ еще горшей боли. Раз Христос страдал, тем более добровольно, то никакое иное страдание не может быть несправедливым, а всякая боль изначально справедлива. В некотором смысле горечь христианской интуиции и ее законный пессимизм в отношении человеческого сострадания объяс-

нялись тем, что человека равно устраивает как всеобщая несправедливость, так и бесконечная справедливость. Только жертва безвинного Бога могла оправдать долгую и творимую повсюду пытку невиновности. Только страдание Бога и его уничижение могли облегчить человеческую агонию. Если все на свете, и на земле и на небесах, обречено на страдание, то становится возможным достижение странного счастья.

Но начиная с момента, когда христианство по завершении периода своего триумфального распространения подверглось критике разума — в той точно мере, в какой отрицалась божественная сущность Христа, — страдание вновь стало человеческой участью. Поверженный Христос — всего лишь еще одна безвинная жертва, подвергнутая представителями Бога Авраама показательной казни. Вновь разверзается бездна между хозяином и рабами, и бунтарь снова вопиет перед глухой стеной ревнивого Бога. Этот разрыв подготовили вольнодумно настроенные мыслители и художники, с обычными предосторожностями атаковавшие мораль и божественную сущность Христа. Хорошо передает этот мир вселенная Жака Калло — одурманенные ничтожества начинают с хихиканья в кулак, а

заканчивают Дон Жуаном Мольера, бросающим вызов небесам. На протяжении двух столетий, готовивших революционные и богохульные потрясения, с конца XVIII века вольнодумцы стремились превратить Христа в невинную жертву, в простачка, чтобы связать его с миром людей во всем их благородстве и ничтожестве. Таким образом они расчищали путь для великого наступления на враждебные небеса.

Абсолютное отрицание

Исторически первым и наиболее последовательным выразителем идеи подобного штурма стал маркиз де Сад, обративший все аргументы философии вольнодумства, от аббата Мелье до Вольтера, в одну мощную боевую машину. Разумеется, его отрицание носило и наиболее глубокий характер. Де Сад сводит бунт к абсолютному «нет». В самом деле, двадцать семь лет в тюрьме — не лучший способ склонить разум к компромиссу. Столь долгое заточение способно сделать человека холуем или убийцей, иногда и тем и другим одновременно. Если душа достаточно сильна, чтобы в каторжных условиях выстроить иную мораль, кроме морали подчинения, то в

большинстве случаев она обратится к морали подавления. Этика одиночества предполагает силу. Человек, которого общество подвергает особенно жестоким истязаниям, отвечает ему с той же жестокостью, и пример Сада в этом смысле показателен. Писателем он, несмотря на кое-какие счастливые проблески и вопреки непомерным хвалам наших современников, был средним. И сегодня им столь простодушно восхищаются по причинам, не имеющим к литературе никакого отношения.

Его превозносят как мыслителя в кандалах и первого теоретика абсолютного бунта. Он действительно мог им быть. В застенке мечта не ведает ни границ, ни пределов реальности. Разум в цепях теряет в проницательности, зато выигрывает в ярости. Сад понимал единственную логику — логику чувства. Он не стал основателем философской школы, зато облек в стройные формы чудовищную мечту гонимого. Но выяснилось, что эта мечта провидческая. Отчаянное стремление Сада к свободе привело его в царство рабства, его непомерная жажда жизни, для него недоступной, нашла утоление во все более яростной мечте о всеобщем уничтожении. В этом как минимум Сад — наш современник. Последуем же за ним в его

стройной системе отрицания.

Литератор

Был ли Сад атеистом? Считается, что до заключения — да (см. «Диалог священника с умирающим»), но вот впоследствии? Это сомнительно, уж слишком яростно он богохульствует. Один из самых жестоких его персонажей, Сен-Фон, нисколько не отрицает Бога. Он ограничивается изложением гностической теории злобного демиурга и делает из нее соответствующие выводы. Но Сен-Фон — это не Сад. Скорее всего, нет. Писатель никогда не равнозначен создаваемому персонажу. Хотя бывает, что писатель воплощает в себе всех своих персонажей сразу. Между тем все атеисты у Сада принципиально настаивают на том, что Бога нет — по той простой причине, что в противном случае пришлось бы признать, что он равнодушен, злобен или жесток. Самое значительное произведение Сада заканчивается доказательством божественной глупости и ненависти. Безгрешная Жюстина бежит, спасаясь от грозы, и преступный Нуарсей дает клятву, что, если ее пощадят молнии, он обратится к вере. Молния испепеляет Жюстину, Нуарсей торжествует, а человеческое преступление по-

прежнему соответствует божественному. Таким образом, мы наблюдаем вольнодумное пари как отзвук пари Паскаля.

Итак, представление Сада о Боге сводится как минимум к образу преступного божества, отрицающего человека и готового его раздавить. По мнению Сада, история религий ясно свидетельствует о том, что убийство — божественный атрибут. Так с какой стати человеку становиться добродетельным? Первым побуждением узника становится стремление довести вытекающий из этого вывод до крайности. Если Бог убивает и отрицает человека, то ничто не мешает человеку отрицать и убивать себе подобных. Этот судорожный вызов ничем не напоминает спокойное отрицание «Диалога» 1782 года. Нельзя назвать ни спокойным, ни счастливым того, кто выкрикивает: «Ничего для меня, ничего от меня!» — и заключает: «Нет, нет, все уравняется в гробу». Идея Бога, по Саду, — это единственное, чего «нельзя простить человеку». Само слово «простить» в устах виртуоза пытки уже звучит странно. Но в первую очередь он не может простить эту идею себе, потому что все его мировоззрение отчаявшегося узника ее отторгает. Рассуждение Сада отталкивается от двойного бун-

та, направленного против миропорядка и против себя. Но, поскольку между двумя этими видами бунта существует противоречие, преодолеваемое только в мятущемся сердце жертвы гонений, его рассуждение обречено на двусмысленность или законность — в зависимости от угла зрения — логики или сострадания.

Итак, он готов отринуть человеческую мораль, раз уж Бог отрицает и то и другое. Тем самым он приходит к отрицанию Бога, до сих пор служившего ему порукой и сообщником. Во имя чего? Во имя инстинкта, который сильнее ненависти к людям, позволявшей ему выживать в застенке, — то есть во имя полового инстинкта. Что это за инстинкт? С одной стороны, его посредством вопиет сама природа[7], с другой — в нем находит выражение слепой порыв к обладанию всеми живыми существами, пусть даже ценой их уничтожения. Сад отрицает Бога во имя природы — современный ему идеологический инструментарий предоставляет в его распоряжение механистические модели — и превращает природу в разрушительную силу. Природа для него — это секс; логика рассуждения ведет его в уни-

[7] notes: 7

У Сада великие преступники оправдываются тем, что ими владеет чрезмерное половое влечение, против которого они бессильны.

версум, где нет закона и где правит безграничная энергия желания. В этом обретенном царстве лихорадочного возбуждения он черпает лучшие примеры своего красноречия: «Чего стоят все земные создания против единственного из наших желаний!» Все пространные рассуждения, в которых герои Сада доказывают, что природа нуждается в преступлении, что ради созидания необходимо разрушать и что, саморазрушаясь, они, следовательно, участвуют в созидании, направлены на одно: обосновать абсолютную свободу узника Сада, загнанного в слишком тесные рамки, чтобы не думать о взрыве, который снесет воздвигнутые вокруг него стены. В этом он спорит со своим временем: свобода, которой он взыскует, опирается не на принципы, а на инстинкты.

Вероятнее всего, Сад мечтал о всеобщей республике, план обустройства которой излагает устами мудрого реформатора Заме. И тогда мы видим, что одним из направлений бунта — в той мере, в какой он, набирая обороты, сметает границу за границей, — является освобождение всего мира. Но эта благочестивая мечта вступает во внутреннее противоречие со всей его сущностью. Он не дружит с родом человеческим и ненавидит

филантропов. Равенство, о котором он иногда упоминает, для него чисто математическое понятие, равноценность объектов, являющихся людьми, и отвратительное равенство жертв. Тому, кто довел желание до предела, необходимо все подчинить своей воле, он полностью обретает себя только в ненависти. Республика Сада основана не на принципе свободы, а на распущенности. «Никакой справедливости, — пишет этот оригинальный демократ, — на самом деле не существует. Справедливость — это обожествление всех страстей».

Наиболее показателен в этом плане знаменитый пасквиль, который в «Философии в будуаре» читает Дольмансе и который носит весьма любопытный заголовок: «Французы, еще одно усилие, если хотите быть республиканцами». Пьер Клоссовский[8] совершенно справедливо подчеркивает: пасквиль доказывает революционерам, что их республика зиждется на убийстве короля, наделенного божественным правом, и что, гильотинировав Бога 21 января 1793 года, они навсегда запретили себе осуждать преступление и налагать ограничения на самые пагубные инстинкты.

---

[8] notes: 8
Sade, mon prochain. Editions du Seuil.

Монархия, самоутверждаясь, одновременно утверждает идею Бога как основателя законов. А вот Республика держится сама по себе, и никто не имеет права управлять царящими в ней нравами. Впрочем, представляется сомнительным, что Сад, как полагает Клоссовский, действительно глубоко переживал святотатство и что к своим выводам он пришел под влиянием почти религиозного ужаса. Гораздо вероятнее, что он вначале сформулировал эти выводы, а уже затем наткнулся на аргумент, способный оправдать распущенность нравов, разрешение на которую жаждал получить от своего правительства. Логика страсти опрокидывает привычный порядок и ставит заключение прежде предпосылок. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к великолепной серии софизмов, с помощью которых Сад в этом труде оправдывает клевету, насилие и убийство, требуя, чтобы новый город относился к ним с терпимостью.

Между тем именно здесь его мысль достигает наибольшей глубины. С поразительной для своего времени проницательностью он отказывается от надменного компромисса между свободой и добродетелью. Свобода, особенно в мечтах узника, не знает никаких ограничений. Она становится

преступлением — или перестает быть свободой. В этом краеугольном вопросе Сад никогда не изменял себе. Человек, весь сотканный из противоречий, лишь в одном вопросе придерживается абсолютной последовательности — в вопросе смертной казни. Любитель изысканных истязаний и теоретик сексуального преступления, он не терпел убийства, совершаемого по закону. «Мое заключение в государственной тюрьме, с гильотиной перед носом, причинило мне во сто крат больше боли, чем все Бастилии, какие только можно выдумать». Этим отвращением объясняется его публичная сдержанность в годы Террора и благородство, с каким он вступился за тещу, хотя та упекла его за решетку. Несколькими годами спустя Нодье, возможно сам того не подозревая, предельно ясно сформулировал позицию, которую упорно отстаивал Сад: «Если человека убивают в пароксизме страсти, это еще можно понять. Но спокойное убийство чужими руками, совершаемое по зрелом размышлении и под прикрытием почетной должности, понять нельзя». Здесь мы находим в зачаточном виде идею, которая получит развитие у Сада: тот, кто идет на убийство, должен платить головой. Очевидно, что позиция Сада более нравственна, чем

позиция наших современников.

Его ненависть к смертной казни — это прежде всего ненависть к людям, которые настолько уверовали в собственную добродетель или в справедливость своего дела, что смеют карать других, тогда как сами они преступники. Нельзя себе оставлять преступление, а остальным отдавать наказание. Надо либо открыть все тюрьмы, либо — что невозможно — доказать собственную безгрешность. Стоит хоть раз согласиться с убийством, как приходится распространить право на убийство на всех. Преступник, действующий сообразно с природой, не может искренне стать на сторону закона. «...Еще одно усилие, если хотите быть республиканцами» означает следующее: «Признайте свободу преступления, ибо лишь она разумна, и навсегда примите дух восстания, как принимаете благодать». Тогда тотальное подчинение злу выливается в чудовищную аскезу, которая должна была привести в ужас республиканцев, сторонников Просвещения и апологетов идеи природной доброты. Республиканцы, в первые же дни беспорядков — странное совпадение! — сжегшие рукопись «Ста двадцати дней Содома», не могли не предать поруганию выразителя еретической свободы и снова не бросить его

в темницу. Но тем самым республика позволила ему еще дальше развить логику бунта.

Всеобщая республика могла быть для Сада мечтой, но ни в коем случае не искушением. Его подлинной политической позицией был цинизм. Персонажи «Общества друзей преступления» неизменно высказываются в пользу создания правительства и законов, оставляя за собой право их нарушать. Так сутенеры голосуют за депутата-консерватора. Проект, над которым размышлял Сад, предполагал доброжелательный нейтралитет по отношению к власти. Республика преступления не может быть, во всяком случае до поры до времени, всеобщей. Она должна изображать покорность закону. Но в мире, где нет иных правил, кроме правила убийства, под преступными небесами Сад во имя преступной природы на самом деле покоряется лишь вечному закону желания. Однако безграничное желание означает согласие с тем, чтобы в свою очередь стать объектом чужого безграничного желания. Разрешение на уничтожение подразумевает, что ты и сам можешь быть уничтожен. Следовательно, необходимо бороться за власть. Закон этого мира зиждется на силе, его движитель — воля к власти.

Друг преступления уважает только два вида власти: ту, что основана на случайном праве рождения и признаваема в рамках данного общества, и ту, что получает восставший бунтарь, когда путем злодеяний встает вровень с развратными вельможами — обычными героями Сада. Члены этой крохотной, но могущественной группки посвященных знают, что на их стороне все права. Тот, кто посмеет хоть на миг усомниться в справедливости этой опасной привилегии, немедленно изгоняется из группы и вновь превращается в жертву. В результате мы приходим к своего рода нравственному бланкизму, при котором небольшая группа избранных мужчин и женщин, наделенных неким странным знанием, ставит себя категорически выше касты рабов. Единственная их проблема — так организовать свою жизнь, чтобы иметь возможность во всей полноте реализовать свои права, не ограниченные ничем, кроме чудовищной безмерности желания.

Они могут надеяться распространить свою власть на весь мир только в том случае, если мир признает законность преступления. Сад никогда не верил, что его народ согласится на дополнительное усилие, которое сделает его

«республиканским». Но если преступление и желание не являются законом для всего мира, если они не утвердились хотя бы на ограниченной территории, то они перестают воплощать принцип единства и становятся причиной конфликтов. Они теряют силу закона, и человек возвращается в ситуацию рассеяния и случайности. Поэтому необходимо смонтировать из подручных материалов такой мир, который точно отвечал бы новому закону. Требование единства, не находящее удовлетворения в рамках творения, так или иначе реализуется в рамках микрокосма. Закону, основанному на силе, невтерпеж дожидаться власти над всем миром. Ему надо немедленно определить для себя территорию, над которой он будет властвовать, даже если придется окружить ее колючей проволокой и сторожевыми вышками.

У Сада этот закон выстраивает себе загоны — неприступные замки, из которых нельзя сбежать и внутри которых существует общество преступного желания, действующее без сучка без задоринки согласно строго соблюдаемому регламенту. Самый разнузданный бунт и требование полной свободы приводят к необходимости порабощения большинства меньшинством. Для

Сада освобождение человека заканчивается в узилище разврата, где некое политбюро порока управляет жизнью и смертью мужчин и женщин, навсегда низринутых в ад необходимости. Его сочинения изобилуют описаниями этих потаенных мест, где развратные феодалы, доказывая своим жертвам, что те полностью беспомощны и абсолютно порабощены, повторяют обращенные к простонародью слова герцога де Бланжи из «Ста двадцати дней Содома»: «Для мира вы уже мертвы».

Точно так же Сад жил в башне Свободы, правда, в Бастилии. Абсолютный бунт завершился для него в мрачной крепости, откуда нет выхода никому — ни гонимому, ни гонителю. Ради утверждения своей свободы он вынужден прибегать к понятию абсолютной необходимости. Безграничная свобода желания означает отрицание другого и отказ от жалости. Следует убить собственное сердце — эту «слабость духа», застенок и жесткий регламент помогут это сделать. Регламент, играющий в выдуманных замках Сада главную роль, освящает этот мир, пронизанный подозрительностью. Регламент зорко следит за тем, чтобы непрошеные мягкотелость или сострадание не нарушили запланированного

удовольствия. Странное это удовольствие, подчиненное строгому распорядку. «Ежедневный подъем — в десять часов утра!» Но что делать, если нельзя допустить, чтобы наслаждение выродилось в привязанность? Приходится заключать его в строгие рамки и ожесточать. Кроме того, необходимо, чтобы объекты наслаждения были напрочь лишены личностных черт. Если человек — «нечто вроде абсолютно материального растения», то относиться к нему следует исключительно как к объекту и подвергать его всяческим экспериментам. В республике Сада, окруженной колючей проволокой, нет ничего, кроме механизмов и механиков. Над всем царит регламент как инструкция по использованию механизма. В этих гнусных монастырях действуют свои правила, отчетливо списанные с правил религиозных сообществ. И развратник вынужден публично исповедоваться. Меняется лишь знак: «Если он чист в своих поступках, он проклят».

Сад пытался, вполне в духе своего времени, сконструировать идеальное общество. Но он, в противовес духу времени, заложил в основу этого общества природную злобность человека. Старательно выстраивая город силы и ненависти, он, как предтеча иных времен, доходил до того,

что высчитывал в цифрах степень обретенной им свободы. Вся его философия умещается в холодной бухгалтерии преступления: «Убито до 1 марта: 10. После 1 марта: 20. Схвачено: 16. Итого: 46». Предтеча, да, но пока в довольно скромных рамках.

Если бы этим все и ограничилось, Сад заслуживал бы не больше интереса, чем прочие оставшиеся неизвестными первооткрыватели. Но тот, кто приказал поднять подъемный мост, отныне вынужден жить в замке. Каким бы скрупулезным ни был регламент, всего в нем не предусмотришь. Регламент обладает сокрушительной, а не созидательной силой. Те, кто заправляет в этих пыточных сообществах, не находят вожделенного удовольствия… Сад часто говорит о «сладкой привычке убивать». Между тем ничего похожего на сладость мы здесь не наблюдаем — скорее уж ярость закованного в цепи пленника. А ведь речь действительно идет о наслаждении, достигающем своего пика в наивысший момент разрушения. Обладать тем, что лишаешь жизни; сочетаться союзом со страданием — вот идеал полной свободы, к которой стремится весь уклад жизни в замке. Но в тот миг, когда сексуальный преступник уничтожа-

ет объект своего вожделения, он уничтожает и вожделение, существующее лишь в краткий миг уничтожения. Тогда ему требуется подыскать себе другой объект и тоже его уничтожить, а затем еще один, и так далее до бесконечности. В результате мы получаем в романах Сада нагромождение унылых эротических сцен, которые парадоксальным образом оставляют у читателя впечатление целомудренной мерзости.

Как с этим миром совмещается наслаждение, эта захватывающая радость любящих тел, соединяющихся во взаимном влечении? Здесь мы имеем дело с отчаянными метаниями, продиктованными стремлением вырваться из состояния безнадежности, но снова приводящими все к той же безнадежности, с бегством от одного рабства к другому, из одной тюрьмы в другую тюрьму. Если истинна только природа и если законы природы сводятся к желанию и разрушению, а человек, даже поднявшийся на вершину власти ценой огромных разрушений, не в состоянии утолить свою жажду крови, то он будет вынужден стремиться к всеобщему уничтожению. По логике Сада, человеку приходится стать палачом природы. Однако добиться этого не так-то легко. Допустим, все жертвы умерщвлены и бухгалтерия подбита

— тогда в опустевшем замке остаются лицом к лицу одни палачи. Но им все еще чего-то не хватает. Тела замученных распадаются на элементы и возвращаются в природу, откуда зарождается новая жизнь. Окончательного убийства не происходит: «Убивая индивидуума, мы отнимаем у него только первую жизнь, а надо научиться отнимать и вторую…» Сад замышляет покушение на само мироздание: «Природа мне омерзительна… Я хотел бы спутать ее планы, поломать ее ход, остановить звездное вращение, столкнуть парящие в пространстве светила, разрушить все, что ей служит, и защитить все, что ей вредит, единым словом надругаться над всем ее творением, но у меня ничего не выходит». В воображении он может сколь угодно долго представлять себе механика, способного распылить Вселенную, на самом деле он знает, что и в звездной пыли продолжится жизнь. Нельзя покуситься на мироздание. Всего не разрушишь — что-то да останется. «У меня ничего не выходит» — безупречная ледяная Вселенная внезапно подтаивает, и сквозь нее проступает нестерпимая тоска; в этот миг Сад, сам того не желая, наконец становится трогательным. «Может, нам и удалось бы погасить солнце, лишить Вселенную его света или спалить с его

помощью весь мир, вот были бы преступления…» Именно так: это были бы преступления, а не одно окончательное преступление. Значит, надо идти дальше, и палачи переглядываются.

Они одиноки, и ими правит единственный закон — закон силы. Они сами приняли его, когда хозяйничали в замке, и уже не могут его отринуть, даже если он оборачивается против них же. Всякая власть стремится к тому, чтобы стать единоличной. Опять надо убивать, теперь хозяева должны схлестнуться между собой. Сад понимает неизбежность этого и не намерен отступать. В основании бунта начинает просвечивать своего рода порочный стоицизм. Бунтарь не делает попыток смягчиться и вернуться в мир компромисса. Он не опустит подъемный мост и примет личное уничтожение. Разнузданная сила отрицания в своем крайнем выражении сливается с безусловным согласием, по-своему не лишенным величия. Хозяин готов в свою очередь стать рабом, а может быть, даже стремится к этому. «И эшафот станет для меня троном сладострастия».

Таким образом, величайшее разрушение совпадает с величайшим утверждением. Хозяева бросаются друг на друга, и здание, воздвигнутое во славу разврата, оказывается «усеяно трупами

распутников, погибших в расцвете талантов»[9]. Выживет сильнейший, который станет Единственным, и именно его — в конечном счете себя — восхваляет Сад. Наконец-то он царит над миром полновластным хозяином и богом. Но в наивысший миг торжества его победы мечта рассеивается. Единственный смотрит на узника, чья безудержная фантазия его и породила, и узнает в нем себя. Он и правда один, он заперт в окровавленной Бастилии, воздвигнутой вокруг неутоленного сладострастия, отныне лишенного объекта. Триумф ему лишь пригрезился. Десятки томов, наполненных жестокостями и философией, в сущности, служат выражением горестной аскезы, воображаемым шествием от всеобъемлющего «нет» к абсолютному «да» и согласием принять наконец смерть, преображающим всеобщее убийство в коллективное самоубийство.

Сад был казнен заочно, точно так же он сам совершал только воображаемые убийства. Прометей выродился в Онана. Жизнь он так и закончит пленником, только не в тюрьме, а в приюте для душевнобольных, где будет с помощью подручных средств ставить для помешанных

---

[9] notes: 9

Maurice Blanchot. Lautréamont et Sade. Editions de Minuit.

театральные спектакли. Мечта и творчество принесли ему лишь жалкое подобие удовлетворения, которое он искал и не находил в миропорядке. Разумеется, писатель может ни в чем себе не отказывать. Уж для него-то не существует никаких границ, и его желания могут быть сколь угодно беспредельны. В этом смысле Сад — идеальное воплощение литератора. Он выстроил фиктивный мир, чтобы поддерживать в себе иллюзию бытия. Выше всего он поставил «нравственное преступление, совершаемое на бумаге». Его несомненная заслуга состоит в том, что он первым в безрадостной прозорливости скопившегося гнева показал крайние последствия логики бунта, забывшего как минимум о своих истинных корнях. Эти последствия суть тотальная закрытость, всеобщее преступление, аристократия цинизма и стремление к апокалипсису. Годы спустя все они проявятся. Но, смакуя их, он, судя по всему, уперся в собственные удушливые тупики, вырваться из которых смог только благодаря литературе. Как ни странно, именно Сад направил бунт по пути искусства — его знамя подхватит и понесет дальше романтизм. Сада причислят к писателям, о которых сам он говорил: «Их опасная испорченность так деятельна, что они публикуют

изложение своих ужасных систем с единственной целью — простереть свои преступления за пределы собственной жизни; сами они больше не способны их совершать, но это сделают их проклятые сочинения; эта сладостная мысль, с которой они сходят в могилу, служит им утешением в необходимости после смерти отказаться от того, что есть». Бунтарское творчество Сада свидетельствует также о его жажде жизни. Пусть бессмертие, которого он жаждет, роднит его с Каином, он все равно не перестает его жаждать и помимо собственной воли горячо и искренне выступает в пользу метафизического бунта.

Впрочем, мы должны отдать ему дань уважения хотя бы потому, что он породил целый ряд последователей. Не все его наследники были писателями. Одно можно сказать наверняка: он страдал и умер, чтобы разогреть воображение обитателей богатых кварталов и посетителей литературных кафе. Но и это еще не все. Успех Сада в наши дни объясняется тем, что его мечта прекрасно вписывается в современную сверхчувствительность, которая находит выражение в требовании абсолютной свободы и холодно-рассудочной дегуманизации. Низведение человека до объекта эксперимента, регламентация

отношений между волей к власти и человеком-объектом, пространственная замкнутость этого чудовищного эксперимента — вот те уроки, к которым обратятся теоретики власти, когда задумаются об устройстве рабской эпохи.

Сад за два века до них и в уменьшенном масштабе восславил тоталитарные общества во имя яростной свободы, к которой реальный бунт вовсе не стремится. Вместе с ним берут начало подлинная история и трагедия современности. Правда, он верил, что в обществе, основанном на свободе преступления, должна царить свобода нравов, как будто у порабощения могут быть пределы. Наше время ограничилось тем, что породило свою странную мечту о всеобщей республике и разработало собственную технологию порабощения. В конечном итоге то, что Сад ненавидел больше всего — узаконенное убийство, — приписало себе открытия, которые он хотел поставить на службу инстинктивному убийству. Преступление, в котором он мечтал видеть исключительный и сладостный плод разнузданного порока, сегодня превращено в унылую привычку к полицейской добродетели. Вот такие сюрпризы преподносит нам литература.

Взбунтовавшиеся денди

Но время литераторов еще не истекло. Романтизм с его сатанинским бунтом на самом деле сводился к воображаемой авантюре. Как и Сад, он отгородился от античного бунта предпочтительным вниманием к проблеме зла и личности. Делая акцент на силе брошенного вызова и отрицании, бунт на этом этапе забывает о своем позитивном содержании. Если Бог настаивает на добром начале в человеке, значит, надо высмеять это доброе и сделать выбор в пользу зла. Таким образом, ненависть к смерти и несправедливости приводит если не к воплощению в реальной жизни, то по меньшей мере к апологии зла и убийства.

Символом драмы служит борьба Сатаны со смертью в «Потерянном рае» — любимой поэме романтиков, и глубина этой драмы осознается особенно остро потому, что смерть (наряду с пороком) есть дитя Сатаны. Чтобы вступить в схватку со злом, бунтарь, считающий себя безгрешным, отказывается от добра и снова порождает зло. Поначалу романтический герой смешивает до полного, почти сакрального неразличения

добро и зло[10]. Это «роковой» герой — ведь рок подразумевает неразделимость добра и зла, против которой человек бессилен. Рок исключает ценностные суждения. Он заменяет их простой констатацией — «Это так», — извиняющей все, кроме Создателя, целиком несущего ответственность за это безобразие. Романтический герой является «роковым» еще и потому, что по мере того, как растут его сила и талант, увеличивается и власть зла над ним. Но всякая власть и любое злоупотребление объясняются все тем же «Это так». Древняя идея о том, что художник, в особенности поэт, всегда одержим демонами, у романтиков формулируется в подчеркнуто вызывающем виде. В эту эпоху устанавливается некий империализм демона, приписывающий демону все, включая гениев ортодоксии. «Вот почему Мильтон, — замечает Блейк, — об ангелах и Боге пишет со смущением, а о демонах и аде — с дерзостью: он был истинным поэтом и, сам того не зная, выступал на стороне демонов». Поэт, гений, сам человек в высшем понимании слова, восклицает в один голос с Сатаной: «Итак, прости, надежда, — а с надеждой / Прости и страх! Раска-

---

[10] notes: 10
Эта тема доминирует, например, в творчестве Уильяма Блейка.

янье, прости! / Увы! Добро исчезло без возврата, / Отныне, Зло, будь благом для меня»[11]. Это вопль оскорбленной невинности.

Итак, романтический герой, тоскуя по недостижимому добру, считает себя вынужденным творить зло. Сатана восстает против своего Создателя потому, что тот использовал силу для его уничижения. «Он выше нас, — говорит Сатана у Мильтона, — не разумом, но силой; в остальном мы равные». Таким образом, божественное насилие удостаивается безоговорочного осуждения. Бунтарь должен отдалиться от недостойного агрессивного Бога — «чем дальше от него, тем лучше» — и подчинить себе все силы, враждебные божественному порядку. Князь тьмы выбирает этот путь лишь потому, что понятие добра определено Богом и используется им в неправедных целях. Бунтаря раздражает даже невинность, если она предполагает слепоту обманутого. «Темный дух зла, не переносящий невинность», паралелльно с божественной несправедливостью породит и несправедливость человеческую. Поскольку в основе творения лежит насилие, ответом ему будет умышленное насилие. Чем

[11] notes: 11
Пер. О. Чюминой.

избыточнее отчаяние, тем оно оправданнее, и в результате бунт переходит в состояние вялой ненависти, постоянно искушаемой несправедливостью; грань между добром и злом окончательно размывается. У Виньи:

Не может Сатана свет различить и тьму,
Им сотворенное, не в радость зло ему.

Это дает определение нигилизму и разрешает убийство.

Действительно, убийство становится привлекательным. Достаточно сравнить Люцифера среневековых художников с Сатаной романтиков. Рогатого зверя вытесняет «печальный очаровательный юноша» (Виньи). «Красой блистая неземной» (Лермонтов), этот могущественный одиночка, страдающий и презрительный, подчиняет себе с небрежностью, словно бы нехотя. Оправданием ему служит страдание. «Кто позавидует, — восклицает мильтоновский Сатана, — тому, кто, вознесшись выше всех, обречен на величайшую муку, которой нет конца?» Жертва вечной несправедливости, сгусток непреходящей боли, он получает право творить что угодно. Бунтарь поэтому признает за собой

некоторые преимущества. Само по себе убийство не рекомендовано, но оно вписано составной частью в наивысшую для романтизма ценность — неистовство. Неистовство есть оборотная сторона скуки: Лоренцаччо мечтает стать Ганом Исландцем. Самые утонченные чувства оборачиваются примитивной животной злобой. Герой Байрона, не способный любить — или способный любить лишь недостижимой любовью, — страдает от сплина. Он одинок, и это его гнетет. Чтобы почувствовать себя живым, он должен испытать сверхвозбуждение краткого и саморазрушительного поступка. Любить то, чего уже никогда не увидишь во второй раз, значит любить в пламени и истошном вопле, чтобы сразу затем сгинуть. Жизнь — миг, и только ради этого мига и стоит жить:

Той дружбы краткой, но живой
Меж бурным сердцем и грозой.

(Лермонтов)

Угроза неотвратимой смерти, определяющая положение человека, делает бесплодными любые наши поползновения. Нас оживляет только крик, место истины занимает возбуждение. При подобном градусе нагрева апокалипсис стано-

вится ценностью, в которой все перемешано — любовь и смерть, совесть и вина. Во Вселенной, сорвавшейся с орбиты, нет иной жизни, кроме ада, в который, по выражению Альфреда Ле Пуатвена, скатываются, проклиная Создателя, люди, «дрожащие от ярости и лелеющие свои преступления». Опьянение неистовством и, в крайней форме, красотой преступления низводит весь смысл жизни к этой единственной секунде. Романтизм не проповедует преступление как таковое, он лишь пытается нарисовать картину глубинного побуждения к протесту, используя привычные образы нарушителя закона, доброго каторжника и благородного разбойника. Наступает триумф кровавой мелодрамы и черного романа. Такие авторы, как Пиксерекур, предоставляют душе возможность задешево утолить свой чудовищный аппетит — впоследствии другие люди используют с той же целью лагеря смерти. Несомненно, подобные произведения были также вызовом тогдашнему обществу. Но в своей живой исходной форме романтизм в первую очередь бросал вызов нравственному и божественному закону. Вот почему его типичной фигурой стал не революционер, а денди, что вполне логично.

Это логично потому, что оправдать упорную приверженность сатанизму можно только бесконечным повторением того, что на свете существует несправедливость, и в некотором смысле — укреплением этой несправедливости. Боль на этой стадии приемлема лишь при условии, что против нее нет лекарства. Бунтарь выбирает метафизику худшего, находящую себе выражение в литературе проклятия, от которой мы до сих пор не освободились. «Я ощущал свою мощь и чувствовал, что на мне кандалы» (Петрюс Борель). Романтик дорожит своими кандалами. Не будь их, ему пришлось бы доказывать, возможно, на практике, что он действительно обладает мощью, на самом деле сомнительной. В конце концов романтик становится чиновником в Алжире, а Прометей у того же Бореля призывает закрыть все кабаре и возвращать колонистов на путь истинный. Но это ничего не меняет: поэт, чтобы быть признанным, должен быть проклят[12]. Шарль Лассальи, тот самый, что вынашивал замысел философского романа «Робеспьер и Иисус Христос», никогда не ложился спать без того,

[12] notes: 12

Это все еще ощущается в нашей литературе. «Больше нет проклятых поэтов», — говорит Мальро. Действительно, их стало меньше. Зато у остальных совесть нечиста.

чтобы не выкрикнуть для поднятия настроения пару яростных богохульств. Бунт рядится в тогу скорби и жаждет аплодисментов восхищенной публики. Романтизм возвещает не столько культ личности, сколько культ персонажа. В этом он весьма последователен. Утратив надежду на закон или единение с Богом, упорствуя в нападках на враждебную судьбу, судорожно поддерживая все, что еще может быть поддержано в обреченном на погибель мире, романтический бунт ищет решения в позе. Поза придает эстетическое единство человеку — игрушке в руках судьбы и жертве божественного насилия. Человеку суждено умереть, но перед смертью он воссияет, и тем оправдано его существование. Вот его точка опоры — единственное, что он может противопоставить окаменелому лику ненавидящего Бога. Замерший в неподвижности бунтарь бестрепетно встречает Божий взгляд. «Ничто не пошатнет, — говорит Мильтон, — этот застывший дух, это гордое высокомерие, рожденное из оскорбленного сознания». Все находится в беспрестанном движении, все стремится к небытию, но на этом фоне униженный человек упорно отстаивает свое право на гордость. Романтическое барокко, открытое Раймоном Кено, полагает:

цель всякой интеллектуальной жизни состоит в том, чтобы стать Богом. Поистине, этот романтик слегка опередил свое время. Целью жизни в то время было лишь стать с Богом наравне и уже не опускаться ниже. Романтический бунтарь не отрицает Бога, он лишь ценой постоянных усилий отказывается ему подчиняться. Дендизм — это извращенная форма аскезы.

Денди творит собственную целостность эстетическими средствами. Но его эстетика отмечена исключительностью и отрицанием. «Жить и умереть перед зеркалом» — вот, по мнению Бодлера, девиз денди. И в нем действительно есть своя логика. Денди — оппозиционер по определению. Протест — единственная форма его существования. До сих пор всякая тварь получала свою целостность от Создателя. Но с того момента, когда она решает с ним порвать, она оказывается во власти мгновений, во власти мимолетных дней, во власти рассеянного восприятия. Поэтому ей необходимо взять себя в руки. Денди самой силой отказа собирает себя воедино. В качестве личности, не имеющей над собой закона, он распылен; в качестве персонажа — внутренне целен. Но любому персонажу надобна публика, и денди способен заявить свою позицию, только

противопоставляя себя другим. Он не может увериться в собственном существовании, если не ловит его отблеска на чужих лицах. Другие — это зеркало. Правда, зеркало быстро мутнеет, потому что способность человека к концентрации внимания ограничена. Ее приходится без конца стимулировать, подстегивать путем провокаций. Поэтому денди обречен постоянно всех удивлять. Его призвание — быть не таким, как все; он совершенствуется, постоянно повышая ставки. В вечном разладе с миром, вечно на обочине, он, отрицая чужие ценности, принуждает других творить его. Не умея жить, он играет в жизнь. Эту игру он ведет до самой смерти, прекращая играть лишь в те минуты, когда остается один и рядом нет зеркала. Одиночество для денди равносильно небытию. Романтики лишь потому так проникновенно говорили об одиночестве, что действительно воспринимали его как непереносимую боль. Их бунт имеет глубокие корни, но от «Кливленда» аббата Прево до дадаистов, включая в промежутке неистовых романтиков 1830-х, Бодлера и декадентов 1880-х, более чем вековая история бунтарства вырождается в грошовую дерзость «эксцентричности». Если все они говорили о боли, то лишь потому, что,

отчаявшись преодолеть ее пустыми пародиями, инстинктивно чувствовали, что только боль служит им оправданием и сообщает истинное благородство.

Вот почему наследие романтизма воспринял не пэр Франции Гюго, а поэты преступления Бодлер и Ласенер. «Все в этом мире сочится преступлением, — говорит Бодлер, — газета, стена, человеческое лицо». Но пусть преступление, правящее миром, хотя бы обретет изысканные черты. Ласенер первым из разбойников-джентльменов применит этот принцип на практике; Бодлер следует ему не так буквально, зато он гениален. Он создаст цветник зла, в котором преступление будет диковинным растением. Самый ужас превратится у него в изысканное ощущение и редкую экзотику. «Я не только был бы счастлив стать жертвой, я не прочь побывать и палачом, чтобы *прочувствовать* революцию и так, и этак». У Бодлера даже конформизм отдает преступлением. Не случайно своим наставником он называет де Местра — консерватора, который идет до конца и строит свое учение вокруг темы смерти и палача. «Настоящий святой, — якобы размышляет Бодлер, — это тот, кто истязает и убивает народ ради народного же блага». Его

призыв будет услышан. По земле начнет распространяться раса настоящих святых, стремящихся увековечить эти занятные выводы бунтаря. Впрочем, Бодлер, несмотря на весь свой сатанинский арсенал, любовь к Саду и богохульство, оставался слишком теологом, чтобы стать истинным бунтарем. Его подлинная драма, сделавшая из него величайшего поэта своего времени, заключалась в другом. И здесь мы упоминаем Бодлера только потому, что он был самым глубоким теоретиком дендизма и окончательно сформулировал определение одного из последствий романтического бунта.

Действительно, романтизм показывает, что бунт частично связан с дендизмом, а одно из его направлений состоит в том, чтобы создавать видимость. В своих обычных формах дендизм сознается в том, что тоскует по морали. Он не то чтобы полностью лишен совести — просто совесть у него ущербная. Но в то же время он заложил основы эстетики, до сих пор доминирующей в нашем мире, — эстетики одинокого творца и упрямого соперника осуждаемого им Бога. Начиная с эпохи романтизма художник видит свою задачу не только в создании своего мира и не в восхвалении красоты ради красоты,

но также в определении собственной позиции. Художник становится моделью и предлагает себя в качестве примера: его моралью служит искусство. С романтизмом начинается век морального учительства. Если денди не кончает самоубийством или не сходит с ума, то он делает карьеру и позирует для потомков. Даже если он, как Виньи, криком возвещает о своем молчании, то это молчание грохочет.

Но внутри самого романтизма находятся бунтари, понимающие бесплодность этой позы; они представляют собой переходный тип от эксцентрика (он же Невероятный) до наших революционных авантюристов. Между племянником Рамо и «завоевателями» XX века есть Байрон и Шелли, которые открыто бьются за свободу. Они тоже позируют, но по-иному. Бунт понемногу покидает мир кажимости ради мира деятельности, в который он бросается с головой. С этой точки зрения французские студенты 1830 года и русские декабристы предстают чистейшим воплощением бунтарей, поначалу одиноких, но затем пытающихся ценой жертв найти дорогу к единению с другими. И наоборот, в наших революционерах проявится склонность к апокалипсису и неистовству. Театральность судебных процессов,

чудовищная игра между судьей и обвиняемым, искусная постановка допросов порой заставляют заподозрить трагическую симпатию к той же старой уловке, с какой романтический бунтарь, отказываясь быть тем, кто он есть, обрекал себя на временную видимость — в горькой надежде обрести более глубокое бытие.

Отказ от спасения

Если романтический бунтарь превозносит личность и зло, то он выступает не на стороне всех людей, а только на своей собственной стороне. Чем бы ни был дендизм, он всегда дендизм по отношению к Богу. Индивидуум как творение может противопоставить себя только творцу. Ему нужен Бог, с которым он мрачно заигрывает. Арман Хуг совершенно справедливо замечает, что, несмотря на ницшеанскую атмосферу сочинений романтиков, Бог у них еще не умер. Даже громогласные проклятия не более чем хитроумная уловка, призванная провести Бога. Но вот Достоевский делает в описании бунта следующий шаг. Иван Карамазов становится на сторону людей и акцентирует внимание на их невиновности. Он утверждает, что вынесенный

им смертный приговор несправедлив. Во всяком случае, в своем первом побуждении он не оправдывает зло, а призывает к справедливости, которую ставит выше божественной воли. Таким образом, в нем нет абсолютного отрицания Бога. Он отворачивается от Бога во имя нравственной ценности. Романтический бунтарь претендовал на то, чтобы разговаривать с Богом на равных. В этом случае зло является ответом на зло, а гордыня — ответом на жестокость. Виньи, например, мечтал ответить молчанием на молчание. По всей видимости, под этим подразумевалось стремление подняться на уровень Бога, что само по себе святотатство. Но о том, чтобы оспорить божественную власть и занимаемое ею место, не шло и речи. Святотатство — но подобострастное, поскольку всякое святотатство в конечном итоге является приобщением к священному.

С появлением Ивана тональность меняется. Теперь уже Бог, в свою очередь, судим, и при этом свысока. Если зло есть непременный атрибут божественного творения, то такое творение неприемлемо. Иван больше не полагается на таинственного Бога, но верит в более высокий принцип — в принцип справедливости. Он первым заявляет о том, что главная цель бунта

— заменить царство благодати царством справедливости. Тем самым он предпринимает атаку на христианство. Романтические бунтари шли на разрыв с самим Богом как воплощением принципа ненависти. Иван открыто отказывается от тайны и, как следствие, от Бога как воплощения принципа любви. Только любовь способна заставить нас согласиться с несправедливостью по отношению к Марфе, к десятичасовому рабочему дню, не говоря уже о ничем не оправданной смерти детей. «И если страдания детей, — говорит Иван, — пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены». Иван отвергает введенную христианством глубокую зависимость между страданием и истиной. Крик, который он исторгает и от которого под ногами бунтаря разверзаются бездны, выражается в простом «хотя бы и…». «Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав». Это означает, что даже если бы Бог существовал, даже если бы за тайной скрывалась истина, даже если бы прав был старец Зосима, Иван не принял бы эту истину, оплаченную злом, страданием и смертью невин-

ного существа. Иван — это воплощение отказа от спасения. Вера ведет к вечной жизни. Но вера предполагает приятие тайны и зла и смиренное признание несправедливости. Следовательно, тот, кому страдание ребенка не дает обрести веру, лишается вечной жизни. В этих условиях, даже если бы вечная жизнь существовала, Иван от нее отказался бы. Он не желает идти на эту сделку. Его устроила бы только безусловная благодать, и потому он ставит собственные условия. Бунтарю надо или все, или ничего. «От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка». Иван не говорит, что истины не существует. Он говорит, что даже если истина существует, она неприемлема и другой быть не может. Почему? Потому что она несправедлива. Здесь впервые объявлена война справедливости против истины, и этой войне не будет конца. Иван — одиночка, следовательно, моралист, удовлетворится своего рода метафизическим донкихотством. Но не пройдет и нескольких пятилетий, как возникнет широкое движение политических заговорщиков, которые попытаются превратить справедливость в истину.

Кроме того, Иван воплощает отказ от спасе-

ния в одиночку. Он чувствует солидарность со всеми проклятыми и отказывается ради них от небесной благодати. Действительно, уверуй он — и спасется, но другие-то не спасутся. Страдание продолжится. Для того, кто наделен чувством истинного сострадания, нет и не может быть спасения. Иван, дважды отказываясь от веры как от несправедливости и привилегии, будет и дальше обвинять Бога. Еще один шаг, и от лозунга «Всё или ничего» мы переходим к лозунгу «Все или никто».

Романтики удовольствовались бы и этой крайней решимостью, и подходящей к ней позой. Но Иван[13], при всех его уступках дендизму, переживает реальные трудности, раздираемый между «да» и «нет». Начиная с этого момента он вынужден подчиниться логике собственного решения. Если он отказывается от бессмертия, то что ему остается? Простая жизнь в своем элементарном виде. Если смысл жизни потерян, жизнь все-таки продолжается. «…Я живу, — говорит Иван, — хотя бы и вопреки логике». И добавляет: «… не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все,

[13] notes: 13

Следует ли напоминать, что, в определенном смысле, в образе Ивана Достоевский ощущает себя комфортнее, чем в образе Алеши?

напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования — а я все-таки захочу жить…» Поэтому Иван будет жить и будет любить «сам не зная почему». Но жить означает действовать. Во имя чего? Если нет бессмертия, нет награды и наказания, нет добра и зла? «Я думаю, нет добродетели без бессмертия души». И еще: «Я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается». Но если нет добродетели, то нет и закона — «все позволено».

Вот с этого «все позволено» и начинается подлинная история современного нигилизма. Романтический бунт так далеко не заходил. В сущности, он ограничивался утверждением, что позволено не все, но он из дерзости позволяет себе то, что запрещено. С Карамазовыми, напротив, логика возмущения оборачивается против самого бунта и погружает его в неразрешимое противоречие. Главное различие заключается в том, что романтики позволяют себе делать то, что им нравится, а Иван принуждает себя творить зло, руководствуясь логикой. Он не позволит себе быть добрым. Нигилизм — это не только

отчаяние и отрицание, это прежде всего воля к отчаянию и отрицанию. Человек, который столь яростно выступал в защиту невинных, сокрушался страданием ребенка и хотел «своими глазами» увидеть, как лань возляжет рядом со львом, а жертва обнимет убийцу, тот же самый человек, стоит ему отказать Богу в последовательности и попытаться установить собственный закон, тут же признает законность убийства. Иван восстает против Бога-убийцы, но, находя своему бунту рациональную основу, выводит из нее право убивать. Если все дозволено, он может убить своего отца или, по меньшей мере, способствовать его убийству. Долгое размышление о нашей смертной доле приводит лишь к оправданию убийства. Иван одновременно ненавидит смертную казнь (рассказывая о ней, он желчно замечает: «И оттяпали-таки ему по-братски голову за то, что и на него сошла благодать») и принципиально допускает убийство. Убийца заслуживает снисхождения, палач — нет. Это противоречие, нисколько не смущавшее Сада, Ивану Карамазову, напротив, не дает дышать.

Он якобы строит свои рассуждения на допущении — бессмертия не существует, тогда как на самом деле заявляет лишь, что, существуй

оно, он от него отказался бы. Следовательно, желая выразить протест против зла и смерти, он делает осознанный выбор, утверждая, что не существует ни бессмертия, ни добродетели, и позволяя убить своего отца. Он сознательно принимает эту дилемму: либо добродетель и отсутствие логики, либо логика и преступление. Его двойник черт совершенно прав, нашептывая ему: «Ты собираешься сделать доброе дело, и однако в добродетель ты не веришь, вот что тебя раздражает и мучает». Вопрос, которым задается Иван и который позволил Достоевскому сделать в описании бунтарского духа решительный шаг вперед, — единственный, который нас здесь занимает: можно ли жить вечным бунтарем?

Нетрудно догадаться, какой ответ даст Иван: жить бунтарем можно, только если довести бунт до логического завершения. Что такое крайнее выражение метафизического бунта? Это метафизическая революция. Сначала оспорить легитимность владыки этого мира, а затем свергнуть его. Его место должен занять человек. «Поскольку нет ни Бога, ни бессмертия, человеку дозволено снова стать Богом». Но что это значит — стать Богом? Это значит признать, что все позволено, и отказаться признавать иные

законы, кроме своего собственного. Нам даже не обязательно излагать промежуточную аргументацию, чтобы убедиться: стать Богом означает признать право на убийство (излюбленная идея философствующих героев Достоевского). Личная проблема Ивана, следовательно, заключается в том, чтобы выяснить, готов ли он хранить верность собственной логике и согласится ли перейти от возмущенного протеста против страдания невинных к равнодушию человекобога перед убийством отца. Решение нам известно: Иван позволяет убить отца. Натура слишком глубокая, чтобы довольствоваться видимостью, и слишком тонко чувствующая, чтобы действовать, он ограничивается попустительством. Но кончит он безумием. Человек, не понимавший, как можно возлюбить своего ближнего, точно так же не понимает, как можно его убить. Зажатый между необъяснимостью добродетели и недопустимостью преступления, снедаемый жалостью и неспособный любить, одинокий и лишенный спасительного цинизма, он со всем своим независимым разумом падет жертвой этого противоречия. «У меня ум земной, — говорил он. — Зачем же хотеть понять то, что не от мира сего?» Но он и жил только ради того, что не от

мира сего, и его непомерная гордыня как раз и отрывала его от земли, на которой он не любил ничего.

Впрочем, личная катастрофа Ивана не отменяет того факта, что сама постановка проблемы подразумевает необходимость вытекающего из нее следствия: отныне бунт переходит к действию. Достоевский с провидческой мощью описывает этот переход в легенде о Великом Инквизиторе. Иван в конечном итоге не отделяет создание от Создателя. «Не Бога я не приемлю, — говорит он, — а мира, им созданного». Иными словами, нельзя отделить Бога-отца от того, что им сотворено[14]. Следовательно, план узурпации остается чисто моральным. Иван не намерен реформировать творение. Но, поскольку творение таково, каково оно есть, он делает из этого вывод о своем праве и о праве всех остальных людей морально от него освободиться. Напротив, с того момента, когда бунтарский дух, принимая принципы «все позволено» и «все или никто», попытается переделать творение для утверждения

[14] notes: 14

А именно: Иван позволяет убить своего отца. Он сознательно покушается на природу и принцип «плодитесь и размножайтесь». Впрочем, отец его — мерзавец. В отношениях Ивана и Бога Алеши постоянно присутствует отталкивающая фигура отца Карамазова.

божественного царства людей, с того момента, когда метафизическая революция от морали перейдет к политике, возникнет новое движение неподдающегося точной оценке размаха, рожденное, отметим, из недр все того же нигилизма. Достоевский — пророк новой религии — предвидел и возвестил его приход: «Если бы он [Алеша] порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и социалисты (ибо социализм есть не только рабочий вопрос, или вопрос так называемого четвертого сословия, но, по преимуществу, есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю»[15].

После этого Алеша действительно может с нежностью называть Ивана «настоящей белой вороной». Тот стремился лишь, и то безуспешно, владеть собой. Но за ним придут другие, настроенные куда серьезнее: оттолкнувшись от безнадежного отрицания, они потребуют власти над миром. Именно Великие Инквизиторы заключат в темницу Христа и объяснят ему, что он

[15] notes: 15

«Эти вопросы (Бога и бессмертия) — те же социалистические вопросы, только рассмотренные под другим углом».

действует неправильно, что всеобщее счастье достигается не свободным выбором между добром и злом, а господством над унифицированным миром. Сначала надо завоевать власть и установить свое царство. Царствие Божие на земле действительно настанет, но править в нем будут люди — сначала кесари, которые первыми поняли, в чем дело, а за ними со временем и все остальные. Ради единства творения хороши все средства, ибо все позволено. Великий Инквизитор — это усталый старик, и знание его горько. Он знает, что люди не столько подлы, сколько ленивы, и свободе различать добро и зло предпочитают мир и смерть. Он жалеет холодной жалостью молчаливого узника, чьи идеи постоянно опровергает сама история. Он вызывает его на разговор, побуждает признать свои заблуждения и в каком-то смысле оправдать творимое Инквизиторами и кесарями. Но узник молчит. Следовательно, задуманное продолжится без него, а его убьют. Легитимность настанет в конце времен, когда установится человеческое царство. «О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастии

людей».

Казнь узника свершилась, и с тех пор на земле царствуют только Великие Инквизиторы, чутко прислушиваясь к «глубокому духу, духу разрушения и смерти». Великие Инквизиторы гордо отвергают хлеб небесный и свободу, предлагая взамен хлеб земной — без свободы. «Сойди с креста, и мы в тебя поверим», — еще на Голгофе кричали ему стражники. Но он не сошел; мало того, в самый мучительный миг агонии жалобно взмолился, сокрушаясь, что Бог его покинул. Следовательно, нет никаких доказательств, а есть только вера и тайна, от которых отмахиваются бунтари и над которыми глумятся Великие Инквизиторы. Все позволено, эта минута потрясения подготовлена веками преступлений. От Павла до Сталина папы, избирающие кесаря, открыли путь кесарям, избирающим только себя. Мир, не сумевший объединиться через Бога, отныне будет пытаться объединиться против Бога.

Но до этого еще далеко. Пока что Иван демонстрирует нам искаженный лик бунтаря, стоящего на краю пропасти, не способного к действию, раздираемого между сознанием о своей невиновности и волей к убийству. Он ненавидит смертную казнь, поскольку она воплощает образ

человеческого состояния, но в то же самое время движется к преступлению. Становясь на сторону людей, он взамен получает одиночество. В его случае бунт разума кончается безумием.

Абсолютное утверждение

Как только человек подвергает Бога нравственной оценке, он убивает его в себе. Но тогда на чем зиждется мораль? Если мы отрицаем Бога во имя справедливости, то способны ли мы понять идею справедливости без идеи Бога? Не впадаем ли мы тем самым в абсурд? Именно с проблемой абсурда и схлестнулся Ницше. Чтобы преодолеть абсурд, он довел его до логического конца: мораль есть последний из ликов Бога, который перед воссозданием надо уничтожить. Поэтому Бога больше нет, он больше не гарантирует наше бытие; человек, чтобы быть, должен сам решать, что ему делать.

Единственный

Уже Штирнер пытался уничтожить в человеке не только Бога, но и самую идею Бога. Однако, в отличие от Ницше, его нигилизм вполне до-

волен собой. Штирнер, оказавшись в тупике, лишь посмеивается, тогда как Ницше колотится о стену. С 1845 года, даты опубликования работы «Единственный и его собственность», Штирнер уступает место другим. Человек, входивший в «Кружок свободомыслящих», организованный левыми младогегельянцами (в том числе Марксом), сводил счеты не только с Богом, но также с Человеком Фейербаха, Духом Гегеля и его историческим воплощением — Государством. По мнению Штирнера, все эти идолы уходят корнями в один и тот же «монголизм», то есть веру в вечные идеи. Поэтому он и смог написать: «Ничто — вот на чем я строю свое дело». Да, грех — это «монгольский бич», но такой же бич и право, которое держит нас в рабстве. Бог — наш враг; Штирнер заходит в богохульстве дальше кого бы то ни было («перевари облатку — и с тебя сняты все грехи»). Но Бог — всего лишь один из способов отчуждения моего «я», точнее говоря, того, что я есть. Сократ, Иисус, Декарт, Гегель, все пророки и философы всегда занимались только тем, что изобретали все новые способы отчуждения моей сущности, моего «я», которое Штирнер отличает от абсолютного «я» Фихте, сводя его к частности и непостоянству. «Имена его не именуют», он

— Единственный.

Вся мировая история до Христа для Штирнера лишь долгое усилие по идеализации реальности. Это усилие воплощено в мыслях и очистительных обрядах, свойственных древним культурам. С приходом Иисуса цель достигнута, и начинается новое усилие, теперь, напротив, направленное на осуществление идеала. За очищением следует ярость воплощения, по мере того как ширится империя социализма, наследующая Христу и все больше опустошающая мир. Но вся мировая история — это бесконечное попрание принципа моей уникальности, живого, конкретного и победительного принципа, которому постоянно грозит быть погребенным под бременем сменяющих друг друга абстракций — Бога, государства, общества, человечества. Филантропия для Штирнера — мистификация. Атеистические философии, кульминацией которых является культ государства и человека, сами не более чем «теологические мятежи». «Наши атеисты, — говорит Штирнер, — на самом деле набожные люди». На всем протяжении истории существовал всего один культ — культ вечности. Но это ложный культ. Истина заключена только в Единственном, враге вечности и всего того, что

в действительности не служит интересам собственного господства.

У Штирнера любые утверждения неизбежно тонут в побуждении к отрицанию, вдохновляющему бунт. Он также отметает все суррогаты божественного, которые довлеют нравственному сознанию. «Внешний потусторонний мир уничтожен, — говорит он, — зато внутренний потусторонний мир становится небесами». Даже революция — особенно революция — вызывает у такого бунтаря отвращение. Чтобы быть революционером, надо хоть во что-то верить, тогда как верить не во что. «Революция (Французская) закончилась реакцией, и это показывает, чем *на самом деле* была Революция». Попасть в рабство к человечеству ничуть не лучше, чем быть рабом Божьим. Да и братство, если разобраться, не более чем «способ наблюдать коммунистов по праздникам». В будни братья становятся рабами. Поэтому для Штирнера существует только одна свобода — «собственное могущество» — и только одна истина — «величественный эгоизм звезд».

Эта пустыня расцветает. «Невозможно понять прекрасное значение бессмысленного крика радости, пока длится долгая ночь размышления и веры». Ночь подходит к концу, вскоре зажжется

заря, но не заря революций, а заря восстания. Само по себе восстание — это аскеза, отвергающая любые блага. Инсургент согласует свои действия с другими лишь постольку, поскольку временно совпадают их эгоистические интересы. Его истинная жизнь — в одиночестве, позволяющем ему беспрепятственно утолять свой голод по бытию, который и есть его единственное бытие.

Это вершина индивидуализма. Это отрицание всего, что отрицает индивидуума, и прославление всего, что его вдохновляет и служит ему. Что такое добро по Штирнеру? «То, чем я могу воспользоваться». Чем я могу воспользоваться на законных основаниях? «Всем, на что я способен». Бунт снова приводит к оправданию преступления. Штирнер не только поддался искушению такого оправдания (в этом отношении ему прямо наследуют террористические формы анархии), его явно пьянили открывающиеся перспективы. «Порвать со священным или, еще лучше, разрушить священное должно стать общим правилом. Приближается не новая революция, но могучее, горделивое, бесцеремонное, бесстыдное, бессовестное преступление. Разве ты не слышишь вдали его громовые раскаты, разве не видишь, как потемнело застывшее в его предчувствии

небо?» Это мрачная радость обитателя убогой лачуги, готовящего апокалипсис. Больше ничто не в силах сдержать эту исполненную горечи властную логику; не остается ничего — есть только «я», поднявшееся против всех абстракций и само, плененное и оторванное от корней, ставшее неназываемой абстракцией. Нет больше ни преступлений, ни ошибок, а значит, нет и грешников. Все мы совершенны. Поскольку каждое «я» по самой своей сути преступно по отношению к государству и народу, признаем, что жить — значит нарушать закон. Убийство — самое малое, что можно совершить, чтобы стать единственным. «Вы, кто ничего не оскверняет, вы не так велики, как преступник». Впрочем, Штирнер, в ком еще говорят остатки совести, уточняет: «Убивать, но не мучить».

Между тем, провозглашая правомочность убийства, приходится объявить всеобщую мобилизацию и войну Единственных. Убийство, таким образом, будет означать нечто вроде коллективного самоубийства. Тем не менее Штирнер, не желающий или не способный это признать, не останавливается ни перед каким разрушением. Бунтарский дух наконец находит горчайшее удовлетворение в хаосе. «Тебя (немецкую на-

цию) предадут земле. Вскоре твои сестры, другие нации, последуют за тобой; когда все они по очереди уйдут, человечество будет похоронено, и Я, наконец, сам себе хозяин, Я, его наследник, посмеюсь на его могиле». Так скорбный смех индивидуума-короля над руинами мира возвестит окончательную победу бунтарского духа. Но стоит перейти к этому краю, как остаются всего две возможности — смерть или восстание. Штирнер, а вместе с ним и все бунтовщики-нигилисты стремятся в своем опьянении разрушением к крайнему пределу. После чего приходится учиться жить в образовавшейся пустыне. И здесь начинаются мучительные искания Ницше.

Ницше и нигилизм

«Мы отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность Бога, и только так мы освободим мир». С появлением Ницше нигилизм, судя по всему, обретает характер пророчества. Но если не рассматривать Ницше в первую очередь как клинициста и лишь затем как пророка, то мы не извлечем из его творчества ничего, кроме пошлой низменной жестокости, которую он всеми силами ненавидел. Его методически расчетливый, или, одним словом, стратегический ум не

подлежит сомнению. С ним нигилизм впервые становится сознательным. Качество, общее для хирургов и пророков, состоит в том, что они мыслят и действуют, заглядывая в будущее. Ницше всегда размышлял в предвидении грядущего апокалипсиса, но не потому, что апокалипсис его вдохновлял — он догадывался, какой гнусный корыстный облик это в конце концов обретет, — а потому, что хотел избежать его и трансформировать в возрождение. Он распознал нигилизм и изучал его как медицинский факт. Себя он называл первым законченным нигилистом Европы. Не потому, что нигилизм ему нравился, а потому, что таково было положение вещей и потому, что он, как великая личность, не мог отмахнуться от наследия своей эпохи. Он диагностировал у себя и у других неспособность к вере и исчезновение первоначального основания этой веры, то есть веры в жизнь. Вопрос, можно ли жить бунтарем, у него превратился в другой: можно ли жить, ни во что не веря? Он дал на него утвердительный ответ. Да, можно, если сделать отсутствие веры методом, если довести нигилизм до крайности и, попадая в пустыню и с доверием встречая грядущее, продолжать испытывать то же первобытное чувство боли и радости.

Методичное сомнение он заменил методичным отрицанием и разрушением всего, что скрывает нигилизм от него самого, разрушением идолов, маскирующих смерть Бога. «Чтобы воздвигнуть новый алтарь, необходимо разрушить алтарь — таков закон». По Ницше, всякий, кто хочет быть творцом в добре и во зле, должен быть прежде всего разрушителем и сокрушителем ценностей. «Высшее зло есть часть высшего блага, но высшее благо есть творец». По сути, он создал «Рассуждение о методе» своего времени — без свободы и точности французского XVII века, которым так восхищался, зато с безумной проницательностью, характерной для века XX — века гениев, как он выражался. Эту методику бунта нам и надлежит исследовать[16].

Итак, первое, что делает Ницше, — это соглашается с тем, что ему известно. Атеизм — «конструктивный и радикальный» — для него подразумевается сам собой. Свое высшее призвание Ницше видит в том, чтобы спровоцировать нечто вроде кризиса и поставить окончательную точку в вопросе атеизма. Мир движется наугад,

[16] notes: 16

Очевидно, что нас будет интересовать последний период в философии Ницше — с 1880 года до его краха. Эту главу можно расценивать как комментарий к книге «Воля к власти».

у него нет целеполагания. Следовательно, Бог бесполезен, ведь он ничего не хочет. Если бы он чего-то хотел, и здесь мы узнаем традиционную формулировку проблемы зла, ему пришлось бы взять на себя ответственность «за всю сумму страдания и нелогичности, которая снижает общую ценность будущего». Известно, что Ницше не скрывал своей зависти к Стендалю, сказавшему: «Единственное, что извиняет Бога, — это то, что он не существует». Лишенный божественной воли, мир одновременно лишается единства и конечной цели. Вот почему его нельзя судить. Всякое ценностное суждение о мире в конечном итоге приводит к клевете на жизнь. Мы судим то, что есть, с позиции того, что должно быть, — царства небесного, вечных идей или нравственного императива. Но того, что должно быть, нет, и нельзя судить мир во имя ничто. «Вот преимущества нашего времени: ничто не истинно, и все позволено». Этих формул, находящих отражение в тысяче других, пафосных или ироничных, в любом случае достаточно, чтобы доказать, что Ницше согласен нести весь груз, налагаемый нигилизмом и бунтом. В своих рассуждениях о «дрессировке и отборе», звучащих, впрочем, ребячески, он даже сформулировал крайнюю логику

нигилистической аргументации: «Проблема: какими средствами достижима строгая форма великого заразительного нигилизма, который вполне научно проповедовал бы и практиковал добровольную смерть?»

Но Ницше колонизировал в пользу нигилизма ценности, которые традиционно рассматривались как помеха нигилизму. Главным образом это мораль. Моральное поведение, пример которого дает Сократ или рекомендует христианство, само по себе является признаком декаданса. Оно хочет заместить человека из плоти и крови отраженным человеком. Оно осуждает мир страстей и криков во имя гармоничного и целиком выдуманного мира. Если нигилизм — это бессилие веры, тогда самый яркий его симптом мы находим не в атеизме, а в невозможности уверовать в то, что есть, увидеть то, что происходит, и пережить то, что нам дано. Этот недуг лежит в основе всякого идеализма. Мораль не верит в мир. Истинная мораль, по Ницше, неотделима от проницательности. Он строго судит «клеветников на мир» потому, что ощущает в этой клевете постыдный привкус бегства. Для него традиционная мораль — лишь частный случай бессмертия. «Именно добро, — говорит он, — нуждается в оправдании».

И добавляет: «Именно по моральным соображениям однажды перестанут делать добро».

Бесспорно, философия Ницше вращается вокруг проблемы бунта. Она, собственно, и начинается как бунт. Но мы чувствуем, что Ницше смещает акценты. У него бунт отталкивается от утверждения «Бог умер», что воспринимается как свершившийся факт, он оборачивается против всего, что стремится осуществить ложную замену исчезнувшего Божества, и бесчестит мир, пусть никем не управляемый, но остающийся единственным тигелем богов. Вопреки тому, что думали некоторые христианские критики, Ницше вовсе не планировал убить Бога. Он уже обнаружил его мертвым в душе своей эпохи. Он первым осознал огромный масштаб случившегося и решил, что бунт человека приведет к возрождению только в том случае, если у него появится руководство. Всякое иное отношение к нему, будь то сожаление или сочувствие, приведет к апокалипсису. Таким образом, Ницше не разрабатывал философию бунта — он выстроил свою философию на идее бунта.

Если он, в частности, и нападает на христианство, то исключительно как на учение о морали. Его критика никогда не затрагивает ни фигуру

Христа, с одной стороны, ни циничные аспекты церковной организации — с другой. Известно, что он был прекрасно осведомлен о деятельности иезуитов и восхищался ими. «В сущности, — пишет он, — только моральный Бог отвергнут»[17]. Для Ницше, как и для Толстого, Христос не бунтарь. Сущность его учения сводится к полному приятию и непротивлению злу. Убивать нельзя, даже с целью остановить убийцу. Мир следует принимать таким, каков он есть, отказываясь множить его боль и соглашаясь лично терпеть страдания от существующего в нем зла. Царствие Божие здесь, рядом, лишь руку протяни. Единственно внутренний настрой позволяет нам подчинить свои действия этим принципам и немедленно достичь блаженства. Не верою, но делами — таков, по Ницше, завет Христа. С этой точки зрения вся история христианства есть не что иное, как постоянная измена этому завету. Уже в Новом Завете содержится изъян, и от Павла до соборов служение вере заставляет забыть о делах.

Что же это за глубинный изъян, посредством

---

[17] notes: 17

«Вы называете это саморазложением Бога, однако это только линька; он сбрасывает свою моральную шкуру. И вы скоро должны его увидеть по ту сторону Добра и Зла».

которого христианство извратило завет своего учителя? Это идея суда, чуждая учению Христа, и понятия, связанные с наказанием и наградой. Начиная с того момента природа становится историей, и историей показательной, и зарождается идея целостности человечества. От благой вести до Страшного суда перед человечеством стоит одна задача — соответствовать четким моральным установкам, заранее сформулированным в письменном тексте. Различие состоит только в том, что в эпилоге персонажи сами подразделяются на добрых и злых. Тогда как единственное суждение Христа заключается в том, что природный грех не имеет значения, христианство исторически всю природу превращает в источник греха. «Что отрицает Христос? Все то, что носит ныне имя христианина». Христианство полагает, что борется с нигилизмом потому, что указывает миру направление, тогда как само оно нигилистично в той мере, в какой, навязывая миру вымышленный смысл, мешает ему открыть смысл истинный: «Всякая Церковь есть камень, наваленный на гроб человекобога; она стремится силой помешать его воскресению». Ницше делает парадоксальный, но знаменательный вывод: Бог умер из-за христианства постольку, поскольку

христианство секуляризировало сакральное. Под христианством здесь следует понимать историческое христианство с его «глубинным и презренным двоедушием».

Та же логика заставляет Ницше выступать против социализма и всех форм гуманитаризма. Социализм есть не что иное, как выродившееся христианство. Действительно, он поддерживает веру в конечность истории, и эта вера предает жизнь и природу, вытесняет реальные цели идеальными и способствует истощению воли и воображения. Социализм — это нигилизм в том точном смысле, который вкладывает в это слово Ницше. Нигилист — это не тот, кто ни во что не верит, это тот, кто не верит в то, что действительно существует. В этом смысле все формы социализма суть еще более извращенные проявления христианского декаданса. Для христианства награда и кара предполагают некую историю. Но, логически рассуждая, вся история неизбежно приходит к награде и каре: так зарождается коллективный мессианизм. Точно так же равенство душ перед Богом при условии, что Бог умер, приводит к просто равенству. Опять-таки, Ницше нападает на социалистические учения с точки зрения морали. Нигилизм, вне зависимо-

сти от того, проявляется он в виде религии или социалистической проповеди, есть доведение до логического конца идеи о наших так называемых высших ценностях. Свободный дух разрушит эти ценности путем разоблачения их иллюзорной основы, подразумеваемой ими торгашеской идеи и преступного стремления помешать ясному уму исполнить свою миссию, то есть преобразовать пассивный нигилизм в нигилизм активный.

В мире, избавившемся от Бога и морали, человек остается одиноким и лишенным хозяина. Менее всего Ницше — и в этом его отличие от романтиков — дает понять, что достичь подобной свободы легко. Эта необузданная свобода ставит его в один ряд с теми, о ком он сам говорил, что они страдают от новой тоски и от нового счастья… Впрочем, поначалу слышна одна только тоска: «Увы, ниспошлите же на меня безумие… Не будучи выше закона, я оказываюсь отверженнейшим среди отверженных». В самом деле, тому, кто не способен подняться выше закона, необходимо найти другой закон — или впасть в безумие. Как только человек перестает верить в Бога и в бессмертие, он берет на себя ответственность «за все то, что существует, за все то, что, будучи рождено в муках, обречено страдать всю

жизнь». Ему и только ему предстоит отныне искать порядок и закон. Тогда наступают времена отверженных, мучительного поиска оправданий, бесцельной ностальгии, и встает «самый болезненный, самый мучительный вопрос, идущий из самой глубины сердца: где я смогу почувствовать себя дома?».

Ницше, обладавший свободным духом, понимал, что свобода духа — это не удобство, а величие, к которому стремятся и которого иногда достигают ценой изнурительной борьбы. Он знал, что тот, кто хочет подняться выше закона, рискует опуститься ниже его. Вот почему он понял, что дух находит истинное освобождение, только принимая на себя новые обязательства. Сущность его открытия состоит в утверждении того, что если вечный закон не означает свободы, то отсутствие закона означает ее еще меньше. Если ничто не истинно, если в мире нет правил, то ничто не защищено; действительно, чтобы запретить тот или иной поступок, необходимо иметь ценность и цель. Но в то же самое время ничто и не разрешено; чтобы сделать выбор в пользу другого поступка, также нужны ценность и цель. Абсолютное господство закона не есть свобода, но и абсолютная вседозволенность — это

тоже не свобода. Свобода не складывается из суммы возможностей, но отсутствие возможностей означает рабство. Хаос — это тоже рабство. Свобода существует только в мире, где строго определено, что возможно, а что нет. Не бывает свободы без закона. Если судьба не направляется высшей ценностью, если над всем царствует случай, то мир движется во тьму, к чудовищной свободе слепца. Поэтому Ницше ради максимального освобождения выбирает максимальную зависимость. «Если мы не сделаем из смерти Бога великого отречения и непрерывной победы над нами самими, нам придется заплатить за эту потерю». Иначе говоря, бунт Ницше выливается в аскезу. Он заменяет «если нет ничего истинного, то все позволено» Ивана Карамазова более логичным «если нет ничего истинного, то ничто не позволено». Отрицание того, что в этом мире запрещено только что-то одно, означает отказ от того, что разрешено. Там, где невозможно отличить черное от белого, свет гаснет, а свобода становится добровольной тюрьмой.

Можно сказать, что Ницше не просто методично заводит свой нигилизм в тупик, но и загоняет его туда с какой-то отвратительной радостью. Его явная цель — поставить своего современника в

невыносимое положение. Создается впечатление, что единственное, к чему он стремится, — это довести противоречие до крайности. Тогда человек, если он не хочет задохнуться в этой удавке, должен одним ударом разрубить узел и создать свои собственные ценности. Со смертью Бога ничего не кончается; ее можно пережить, но при условии подготовки очередного возрождения. «Если не находят величия в Боге, — говорит Ницше, — его не находят нигде. Нужно или отрицать, или созидать его». В отрицании этого величия видел свою задачу окружавший Ницше мир, по его мнению, катящийся к самоубийству. Его создание стало той сверхчеловеческой задачей, ради которой он хотел умереть. Действительно, он знал, что созидание возможно лишь при достижении крайней степени одиночества и что человек решится на это головокружительное усилие, только если крайняя нищета духа заставит его сделать этот шаг или умереть. Поэтому Ницше кричит ему, что его единственная истина — это земля, которой надо хранить верность, на которой нужно жить и самому заботиться о своем спасении. Одновременно он учит, что жить на земле без закона невозможно, потому что жизнь как раз и предполагает наличие закона.

Как прожить свободным и без закона? Человек должен дать ответ на эту загадку, иначе ему не уйти от смерти.

Ницше, по крайней мере, не уклоняется от ответа. Приходится рисковать — вот его ответ; Дамокл лучше всего танцует, когда над ним нависает меч. Надо принять неприемлемое и сносить невыносимое. Достаточно признать, что мир не имеет цели, и Ницше предлагает допустить его невиновность и заявить, что он неподсуден, поскольку нельзя судить за намерения. Следовательно, все оценочные суждения нужно заменить одним «да» — полным и восторженным слиянием с этим миром. Тогда из абсолютного отчаяния родится бесконечная радость, а из слепого рабства — беспощадная свобода. Быть свободным — значит уничтожить цель как таковую. Стоит принять невиновность будущего, и оно станет воплощением максимальной свободы. Свободный дух любит то, что необходимо. Глубинная мысль Ницше заключается в том, что необходимость явлений, если она абсолютна, без единой трещины, не подразумевает никаких принуждений. Полное слияние с тотальной необходимостью — вот его парадоксальное определение свободы. Тогда вопрос: «Свобода от чего?» — заменяется во-

просом: «Свобода ради чего?» Свобода совпадает с героизмом. Она есть аскетизм великого человека, «до предела натянутая тетива».

Это высшее утверждение, рожденное из изобильной полноты, есть безговорочное утверждение самого греха и страдания, зла и убийства, всего того, что в сущем есть проблематичного и странного. Оно рождается из сознательного стремления быть тем, кто ты есть в том мире, каков он есть. «Смотреть на самого себя как на некую фатальность, не желать действовать иначе, чем действуешь». Слово произнесено. Ницшеанская аскеза, начавшаяся с признания рока, заканчивается обожествлением рока. Судьба тем желаннее, чем она беспощаднее. Моральный бог, жалость, любовь суть враги рока, с которым они пытаются сравняться. Ницше отвергает искупление. Радость будущности — это радость уничтожения. Но уничтожению подвергается только индивидуум. Движение бунта, посредством которого человек требовал собственного бытия, исчезает в абсолютном подчинении индивидуума будущему. На место *odium fati* приходит *amor fati*[18]. «Всякий индивид соучаствует во

[18] notes: 18
Odium fati — ненависть к судьбе; *amor fati* — любовь к судьбе (*лат.*).

всем космическом бытии, знаем мы это или нет, хотим мы того или нет». Так индивидуум теряется в судьбе всего вида и вечном движении миров. «Все бывшее — вечно, и море выбрасывает его на берег».

Тогда Ницше возвращается к истокам философии, к досократикам. Последние упразднили идею конечной цели ради сохранения вечности воображаемого принципа. Вечна только сила, не имеющая цели, Гераклитова «игра». Ницше силится доказать наличие в будущем закона, а в необходимости — игры: «Ребенок — это невинность и забвение, возобновление, игра, колесо, катящееся само по себе, перводвижение, священный дар говорить «да». Божественность мира объясняется его беспричинностью. Вот почему только искусство в силу той же беспричинности способно охватить его разумом. Ни одно суждение не отражает представления о мире, но только искусство может научить нас его воспроизводить, как и сам мир вечно воспроизводит себя в бесконечных повторениях. На том же песке изначальное море без устали повторяет одни и те же слова и выбрасывает на берег одних и тех же существ, удивленных тем, что они живут. Но для того, кто, по крайней мере, согласен возвра-

щаться и видеть, как все возвращается, для того, кто согласен стать эхом, и эхом восторженным, искусство участвует в обожествлении мира.

Действительно, именно таким образом в конце концов проявляется божественность человека. Бунтарь, вначале отрицающий Бога, затем стремится его заместить. Но мысль Ницше состоит в том, что бунтарь становится Богом, только отказываясь от всякого бунта, даже такого, какой производит богов, призванных исправить мир. «Если Бог есть, как вынести мысль о невозможности быть им?» В самом деле, есть Бог, который и является миром. Чтобы стать участником его божественности, достаточно сказать «да». «Не молить, а благословлять» — и вся земля заселится человекобогами. Говорить миру и вновь и вновь повторять «да» означает воссоздавать мир и себя — и стать великим художником, творцом. Неоднозначный смысл послания Ницше заключен в слове «творчество». Ницше всегда превозносил эгоизм и жестокость, свойственные всякому творцу. Преобразование ценностей состоит в простой замене ценностного суждения на суждение творческое, основанное на уважении и страстной любви к сущему. Свободу творца определяет божественность без бессмертия. Дионис,

бог земли, вечно вопиет, раздираемый на части. Но он одновременно воплощает ту самую изорванную красоту, которая неотличима от боли. Ницше полагал, что, говоря «да» земле и Дионису, мы говорим «да» и своим страданиям. Принять сразу все — и высшее противоречие, и боль — это и значит обрести власть над всем. Ницше был готов ради этого царства заплатить требуемую цену. Истинна только «тяжелая и страждущая» земля. Только в ней заключена божественность. Подобно Эмпедоклу, бросившемуся в поисках истины, таящейся во глубине земных недр, в кратер Этны, Ницше предлагал человеку саморазрушиться в космосе, дабы обрести вечную божественность и самому стать Дионисом. Книга «Воля к власти» завершается заключением пари, как и «Мысли» Паскаля — сочинение, которое так часто приходит на ум в связи с ней. Человек пока получает не уверенность, но волю к обретению уверенности, что не одно и то же. Впрочем, дойдя до этой крайней точки, Ницше заколебался: «Вот что в тебе непростительно: тебе предоставляют полномочия, а ты отказываешься поставить под ними свою подпись». Тем не менее ему свою подпись пришлось поставить. Но имя Диониса обессмертило только письма к Ариадне, которые

Ницше писал, погружаясь во мрак безумия.

В каком-то смысле бунт у Ницше еще приводит к восхвалению зла. Разница лишь в том, что зло перестает быть реваншем. Ницше принимает зло как одну из возможных граней добра, скорее даже как рок. Приняв зло как своего рода лекарство, над ним следует подняться. В понимании Ницше речь в основном идет о гордом согласии души принять неизбежное. Вместе с тем нам известно, кем были его наследники и какую политику позволял себе тот, кто называл себя последним аполитичным немцем. Ницше воображал себе тиранов артистами. Но для посредственности тирания более естественна, чем искусство. «Лучше Цезарь Борджиа, чем Парсифаль!» — восклицал Ницше. Он получил и Цезаря, и Борджа, но лишенных душевного благородства, свойственного, по его мнению, великим личностям Возрождения. Он хотел, чтобы индивидуум склонился перед вечностью вида и самоуничтожился в великом цикле времени, а они рассматривали расу как особый случай вида и заставляли индивидуума склониться перед этим гнусным божеством. Жизнь, о которой он рассуждал со страхом и трепетом, была низведена до биологии домашнего пользования. Раса невежественных

господ, мямлящих о воле к власти, докатилась до «антисемитского уродства», к которому он испытывал глубочайшее презрение.

Он верил в храбрость, соединенную с умом, и именно этот союз называл силой. Но они, выступая от его имени, обратили храбрость против ума, и его подлинная добродетель преобразилась в свою противоположность — в насилие с выколотыми глазами. Он, следуя закону гордого духа, соединил свободу и одиночество. Но его «глубокое одиночество полудня и полуночи» затерялось в задавившей Европу механизированной толпе. Его — защитника классических вкусов, иронии и скромной дерзости; аристократа, утверждавшего, что аристократизм заключается в добродетельном поведении, не задающемся вопросом «зачем?», и что человек, нуждающийся в обоснованиях, чтобы оставаться честным, выглядит сомнительно; одержимого прямотой («эта прямота, ставшая инстинктом, страстью»); верного служителя «высшего равновесия высшего ума», воспринимающего фанатизм как смертельного врага, — тридцать три года спустя после смерти в собственной стране превратили в основоположника лжи и насилия, а понятия и добродетели, которые он воспевал своей жертвой, сделали

ненавистными. В истории разума случившееся с Ницше не имеет аналогов, за исключением Маркса, и всех наших стараний недостанет, чтобы исправить допущенную по отношению к нему несправедливость. Наверное, история знает философские учения, извращенные переводом. Но вплоть до Ницше и национал-социализма не было примеров того, чтобы вся целиком философия, освещенная благородством и терзаниями исключительно чистой души, была наглядно представлена миру в виде нагромождения лжи и концлагерей с чудовищными горами трупов. Пророчество о сверхчеловеке обернулось методичным производством недочеловеков, и это факт, который требует не только разоблачения, но и толкования. Если великое бунтарское движение XIX–XX веков в конце концов привело к этому беспощадному порабощению, может быть, стоит повернуться спиной к бунту и вслед за Ницше с горечью воскликнуть, обращаясь к эпохе: «Моя совесть и ваша совесть больше не одно и то же!»

Прежде всего признаем, что мы никогда не поставим на одну доску Ницше и Розенберга. Мы должны выступить адвокатами Ницше. Он сам сказал об этом, заранее подвергнув критике своих недостойных последователей: «Тот, кто

освободил свой разум, должен еще и очиститься». Однако тут встает по крайней мере один вопрос: а не исключает ли освобождение разума, как он его понимал, очищения? У движения, которое привело к появлению философии Ницше и на волнах которого он держался, были свои законы и своя логика, возможно, объясняющие ее кровавую перелицовку. Нет ли в его творчестве чего-то такого, что может быть использовано для оправдания окончательного убийства? Не могли ли убийцы — при условии отрицания духа ради буквы и даже тех остатков духа, которые еще сохраняются в букве, — найти в нем доводы в свою защиту? Приходится ответить, что да. Если отбросить методичный аспект ницшеанской мысли (и мы не уверены, что сам он всегда строго его придерживался), то его бунтарская логика утрачивает всякие границы.

Отметим также, что убийство находит себе оправдание не в ницшеанском отрицании кумиров, а в идее принуждения к слиянию, венчающей творчество Ницше. Если мы говорим «да» всему — это подразумевает, что мы говорим «да» убийству. Есть два способа соглашаться с убийством. Если раб говорит «да» всему, он говорит «да» существованию хозяина и собственному

страданию — Иисус учит смирению. Если хозяин говорит «да» всему, он говорит «да» рабству и чужому страданию — это тиран, прославляющий убийство. «Разве не смешно, что если ты веришь в священный незыблемый закон, то ты не будешь лгать, не будешь убивать в таком существовании, сама суть которого — вечная ложь, вечное убийство?» Действительно, это так, и метафизический бунт в своем первом проявлении был просто протестом против *лжи* и преступности существования. Ницшеанское «да», забывшее об изначальном «нет», отрицает бунт как таковой, одновременно отрицая мораль, отрицающую мир в том виде, в каком он существует. Ницше всеми силами призывает римского кесаря с душой Христа. Тем самым он говорит «да» и рабу, и хозяину. Но, говоря «да» и тому и другому, он в конечном итоге освящает право наиболее сильного, то есть хозяина. Кесарь неизбежно откажется от господства духа и выберет фактическое царствование. «Как извлечь пользу из преступления?» — спрашивал Ницше, демонстрируя похвальную верность своей методе. Кесарь ответит: умножая преступления. «Когда цели велики, — к несчастью, пишет Ницше, — человечество пользуется иной меркой и уже не

считает преступление таковым, пусть бы даже оно применяло еще более страшные средства». Он умер в 1900 году, на пороге века, который превратит эту идею в смертоносную. Напрасно в минуту просветления он воскликнул: «Легко говорить о всякого рода аморальных поступках, но найдутся ли силы вынести их? Например, я не смог бы перенести, если бы я нарушил слово или убил: не знаю, долго ли я бы мучился, но в конце концов умер бы от этого. Такова была бы моя участь». Стоит лишь принять как допустимый весь человеческий опыт, и появятся другие, те, кто и не подумает томиться, а станет упорствовать во лжи и убийстве. Ницше несет ответственность за то, что из высших соображений верности методу узаконил, пусть на краткий миг, в зените своей мысли право на бесчестье, о котором говорил еще Достоевский, уверенный, что люди, получив его, не замедлят им воспользоваться. Но невольная ответственность Ницше еще шире.

Ницше — действительно тот, кем он себя признавал: оголенная совесть нигилизма. Решительный шаг, который с его помощью сделал бунтарский дух, заключается в скачке от отрицания идеала к секуляризации идеала. Раз спасение человека не в Боге, значит, оно должно свер-

шиться на земле. Раз мир никем не управляется, значит, человек, принимая этот мир, должен взять на себя и управление им, что приводит к идее сверхчеловека. Ницше претендовал на управление будущим человечества. «На нашу долю выпадет задача управлять землей». И еще: «Приближается время, когда надо будет бороться за власть на земле, и эта борьба будет вестись от имени философских принципов». Тем самым он предвосхитил приход XX века. Но если он его возвещал, значит, понимал внутреннюю логику нигилизма и знал, что одним из его воплощений станет империя. Тем самым он готовил приход империи.

Для человека без Бога, каким его видел Ницше, то есть одинокого, свобода есть. Есть полуденная свобода, когда мировое колесо останавливается и человек говорит «да» сущему. Но то, что есть, пребывает в становлении. Надо сказать «да» и будущему. Свет в конце концов погаснет, дневная ось наклонится. Тогда история начнется заново и придется искать свободу в истории, придется сказать «да» истории. Ницшеанство как учение о воле к личной власти неизбежно приходит к идее воли к тотальной власти. Без власти над миром он ничто. Скорее всего, Ницше с ненавистью

воспринимал вольнодумцев и гуманитаристов. Выражение «свобода духа» он понимал в его крайнем значении — как божественность индивидуального духа. Но Ницше не мог помешать вольнодумцам, оттолкнувшимся от того же исторического факта, что и он, то есть от смерти Бога, прийти к тем же выводам. Ницше прекрасно видел, что гуманитаризм — это не более чем христианство, лишенное высшего обоснования, хранящее верность конечным целям и отказавшееся от цели исходной. Но он упустил из виду, что социалистические учения об освобождении в силу внутренней логики нигилизма неизбежно должны были взять на себя ответственность за то, о чем мечтал он сам, — за сверхчеловека.

Философия занимается обмирщением идеала. Но вскоре после прихода тиранов происходит обмирщение философских учений, которые предоставили им это право. Ницше предугадал, что подобная колонизация произойдет с Гегелем, чей оригинальный вклад, по его мнению, заключался в изобретении пантеизма, при котором зло, заблуждение и страдание больше не могут служить аргументами против божественного начала. «Но государство и власть держащие немедленно использовали эту гранди-

озную инициативу». Впрочем, он и сам изобрел систему, в которой преступление больше не могло служить аргументом против чего бы то ни было, а единственная ценность заключалась в божественности человека. Эта грандиозная инициатива тоже просилась в употребление. В этом смысле национал-социализм — всего лишь случайный наследник нигилизма в его наиболее злобной и наглядной форме. По-своему логичны будут те, у кого достанет амбиций исправить Ницше с помощью Маркса, чтобы сказать «да» только истории, а не творению как таковому. Бунтарь, которого Ницше заставлял преклонить колени перед космосом, отныне будет стоять на коленях перед историей. Что тут удивительного? Они оба — Ницше, по крайней мере с его учением о сверхчеловеке, а до него Маркс со своей классовой теорией — заменили потустороннее тем, что наступит позже. В этом Ницше изменил древним грекам и проповеди Христа, которые, по его мнению, заменяли потусторонний мир тем, что происходит немедленно. Маркс, как и Ницше, мыслил стратегически и, как и Ницше, ненавидел формальную добродетель. Оба эти бунта, одинаково приводящие к слиянию с определенным аспектом реальности, растворятся в

марксизме-ленинизме и найдут свое воплощение в касте, о которой говорил еще Ницше и которая должна «заменить священника, учителя, врача». Кардинальная разница между ними состоит в том, что Ницше в ожидании сверхчеловека предлагал говорить «да» тому, что есть, а Маркс — тому, что будет. Для Маркса природа — это то, что следует покорять ради повиновения истории, а для Ницше — то, чему повинуются ради покорения истории. Этим же христианин отличается от древнего грека. Ницше, по крайней мере, сумел предвидеть, что произойдет: «Современный социализм стремится создать своего рода мирской иезуитизм, превратить всех людей в средство». И еще: «Благосостояние — вот чего желает современный социализм… Поэтому приходят к такому духовному рабству, какого еще не видел мир… Интеллектуальный цезаризм нависает над всей деятельностью торговцев и философов». Поварившись в тигле ницшеанской философии, бунт в своем безумном стремлении к свободе приходит к биологическому или историческому цезаризму. Абсолютное «нет» подтолкнуло Штирнера к одновременному обожествлению преступления и индивидуума. Но абсолютное «да» привело к одновременной универсализации

убийства и самого человека. Марксизм-ленинизм действительно взял на вооружение волю Ницше, проигнорировав отдельные ницшеанские добродетели. Так великий бунтарь своими собственными руками творит, чтобы замкнуться в нем, безупречное царство необходимости. Едва вырвавшись из божественной тюрьмы, он первым делом сооружает тюрьму историческую и умственную, маскируя и освящая нигилизм, который Ницше, как ему казалось, победил.

Мятежная поэзия

Если метафизический бунт отказывается говорить «да» и ограничивается абсолютным отрицанием, он умозрителен. Если он безудержно восхищается тем, что есть, отказываясь подвергать сомнению хотя бы часть реальности, он вынужден рано или поздно переходить к действию. Посередине стоит фигура Ивана Карамазова, олицетворяющая мучительное попустительство. Мятежная поэзия конца XIX — начала XX века также постоянно колебалась между двумя этими крайностями: литературой и волей к власти, иррациональным и рациональным, безнадежной мечтой и решительным поступком. Последним

примером могут служить поэты, особенно сюрреалисты, в сжатой и наглядной форме указавшие нам путь от умозрительности к поступку.

Готорн, рассуждая о Мелвилле, писал, что тот, не веруя в Бога, не мог остановиться в своем неверии. Точно так же об этих поэтах, бросившихся на штурм небес, можно сказать, что они, желая опрокинуть существующий порядок, одновременно выражали отчаянную тоску по порядку. Доводя противоречие до крайней степени, они стремились найти разумное обоснование безрассудства и превратить иррациональное в метод. Эти великие наследники романтизма полагали, что сумеют сделать поэзию образцом к подражанию и обретут в ее рвущем душу воздействии подлинную жизнь. Они обожествили святотатство и превратили поэзию в эксперимент и способ действия. Действительно, до них все, кто, во всяком случае на Западе, считал, что способен воздействовать на события и человека, делали это во имя рациональных правил. Напротив, сюрреализм после Рембо искал конструктивное правило в безумии и разрушении. Рембо своим творчеством (и только творчеством) указал путь, вернее начало тропы, на краткий миг осветив его, словно вспышкой молнии. Сюрреализм проложил этот

путь и расставил на нем опознавательные знаки. То заходя за грань, то отступая, он сформулировал последнюю пышную версию практической теории иррационального бунта — в то самое время, когда мятежная мысль, двигавшаяся по другому пути, воздвигала культ абсолютного разума. Как бы то ни было, его вдохновители — Лотреамон и Рембо — показали нам, каким образом иррациональное желание казаться может привести бунт к самым губительным для свободы действиям.

Лотреамон и банальность

Лотреамон показывает, что желание бунтаря казаться прячется за стремление к банальности. Желает ли он возвыситься или унизиться, в обоих случаях бунтарь хочет быть не тем, кто он есть, хотя и заявил о себе, с тем чтобы добиться признания в своем истинном бытии. Богохульство и конформизм Лотреамона служат еще одной иллюстрацией трагического противоречия, которое он разрешает в стремлении обратиться в ничто. Это вовсе не палинодия, как обычно думают, это ярость разрушения, объясняющая также и призыв Мальдорора к великой первозданной ночи, и тщательно отделанные банальности «Стихотворений».

Благодаря Лотреамону мы понимаем, что бунт — явление подростковое. Наши великие бунтари — и бомбисты, и поэты — едва-едва расстались с детством. «Песни Мальдорора» — это книга, написанная почти гениальным школьником, ее пафос рождается из противоречий детского сердца, восстающего против творения и против себя самого. Подобно Рембо, штурмовавшему в «Озарениях» границы мира, поэт предпочитает апокалипсис и разрушение приятию невозможного правила, согласно которому он есть то, что он есть, в том мире, каким он нам дан.

«Я явился, чтобы защитить человека», — без ложной скромности заявляет Лотреамон. Значит ли это, что Мальдорор — это ангел сострадания? В некотором смысле — да, поскольку он сострадает сам себе. Почему? Это еще предстоит выяснить. Но разочарованное, оскорбленное, непризнанное и непризнаваемое сострадание заставляет его доходить до чрезвычайных крайностей. Мальдорор, по его собственным словам, получил жизнь как рану и запретил самоубийству врачевать ее шрам (*sic*). Как и Рембо, он страдает и восстает, но, загадочным образом не желая говорить, что он восстает против себя, какой он есть, он выдвигает вечное алиби мятежника — любовь к людям.

Просто-напросто тот, кто выдает себя за защитника человека, в то же самое время пишет: «Покажи-ка мне действительно доброго человека». Это вечное метание и есть признак нигилистического бунта. Бунтарь восстает против несправедливости, причиненной ему самому и человеку вообще. Но в момент просветления, когда приходит одновременное осознание законности бунта и его бессилия, рождается ярость отрицания, распространяющаяся на то, что бунтарь якобы собирался защищать. Неспособный исправить несправедливость установлением справедливости, он предпочитает хотя бы утопить ее в еще более широкой несправедливости, которая в конечном итоге сливается с полным уничтожением. «Зло, которое вы мне причинили, слишком велико, и слишком велико зло, причиненное мною вам, чтобы считать его беспричинным». Чтобы не возненавидеть самого себя, пришлось бы объявить себя безгрешным — нахальство, недоступное одиночке, который слишком хорошо себя знает. Но тогда можно хотя бы объявить безгрешными всех, пусть даже их считают виновными. Получается, что Бог — преступник.

Таким образом, единственный реальный

прогресс на пути от романтиков к Лотреамону заключается в тональности. Лотреамон в очередной раз воскрешает с кое-какими улучшениями фигуру Бога Авраама и образ бунтаря Люцифера. Он помещает Бога «на троне из человеческих экскрементов и золота», где «с идиотским высокомерием, облаченный в саван из грязных простыней, восседает тот, кто именует себя Творцом». Этот «Предвечный в змеином обличье», «хитрый бандит», «раздувающий пожары, где гибнут старики и дети», валяется в канаве мертвецки пьяный или таскается по борделям в поисках гнусных удовольствий. Бог не умер, он пал. По сравнению с падшим божеством Мальдорор предстает типичным рыцарем в черном плаще. Он — Отверженный. «Ничьи глаза не должны узреть уродство, каким Высшее существо с исполненной ярой ненависти улыбкой отметило меня». Он отрекся от всего — «от матери и отца, от провидения, любви, идеала, для того чтобы думать только о себе одном». Терзаемый гордыней, этот герой наделен обаянием метафизического денди: «Лицо сверхчеловеческое, печальное, словно Вселенная, прекрасное, словно самоубийство». Как и романтический бунтарь, не верящий в божественную справедливость,

Мальдорор встает на сторону зла. Мучить других и от этого мучиться самому — вот его программа. «Песни» — это подлинная литания злу.

На этом этапе покончено даже с защитой человека как Божьей твари. Напротив, «всеми средствами травить его, как дикого зверя, а заодно и его Творца…» — вот путь, к которому призывают «Песни». Потрясенный осознанием того, что его враг — Бог, опьяненный глубочайшим одиночеством великих преступников («я один против всего человечества»), Мальдорор набрасывается на творение и его Создателя. «Песни» прославляют «святость преступления», возвещают бесконечную череду «славных злодеяний», а двадцатая строфа Второй песни содержит настоящее руководство по преступлению и насилию.

Но подобный пыл был в ту эпоху привычным, и цена ему грош. Подлинная самобытность Лотреамона совсем в другом[19]. Романтики зорко следили за фатальным противопоставлением человеческого одиночества и божественного равнодушия; литературным выражением этого

[19] notes: 19

Она особенно бросается в глаза при сопоставлении опубликованной отдельно Первой песни, выдержанной в банальном духе байронизма, и остальными «Песнями», пронизанными риторикой монстра. Значение этого разрыва справедливо отметил Морис Бланшо.

одиночества служили образы денди и отгороженного от мира замка. Но творчество Лотреамона раскрывает более глубокую драму. Судя по всему, ему было невыносимо это одиночество, и, восстав против творения, он мечтал разрушить его границы. Менее всего он стремился окружить царство человеческое резными башнями — он хотел перемешать все царство. Его стараниями творение было низведено до первозданных морей, где мораль утрачивает смысл одновременно со всеми проблемами, в том числе ужасной, по его мнению, проблемой бессмертия души. Он хотел не создать яркий образ бунтаря или денди, противостоящего творению, а уравнять человека и мир в едином процессе уничтожения. Он штурмовал даже ту границу, что отделяет человека от Вселенной. Полная свобода, в частности свобода совершать преступления, предполагает разрушение человеческих границ. Недостаточно обречь на проклятие всех людей, включая себя. Надо еще низвести царство человеческое до уровня, управляемого инстинктами. Мы находим у Лотреамона отказ от рационального разума и возврат к стихийному началу, которое является одним из признаков цивилизации, восстающей против себя. Речь идет не о том, чтобы громад-

ным усилием разума создавать видимость, а о том, чтобы перестать существовать в качестве разума.

Все персонажи «Песен» — земноводные, потому что Мальдорор отвергает землю с ее границами. Замок Мальдорора покоится на воде. Его родина — древний океан. Океан — это двойной символ, одновременно место уничтожения и примирения. Он по-своему утоляет неуемную жажду душ, обреченных на презрение — свое собственное и чужое, жажду прекратить быть. Можно назвать «Песни» нашими «Метаморфозами», в которых античная насмешка заменена смехом исполосованного бритвой рта как образом принужденного и скрипящего зубами юмора. Этот бестиарий не в состоянии скрыть все смыслы, которые нам хотелось бы в нем найти, но он, по крайней мере, показывает волю к уничтожению, уходящую корнями в самую черную сердцевину бунта. Паскалевское «Уподобьтесь тварям!» у Лотреамона приобретает буквальное значение. Нам представляется, что Лотреамон не вынес той холодной суровой ясности, без которой нельзя долго жить. «Я сам — Творец, и этого слишком много для моего рассудка». И он предпочел свести жизнь и ее творение к беспорядочному метанию каракатицы,

плавающей в чернильном облаке. Прекрасный эпизод, в котором Мальдорор совокупляется посреди моря с самкой акулы «в объятиях долгих, целомудренных и отвратительных», и особенно знаменательный рассказ о том, как Мальдорор, обернувшись спрутом, нападает на Творца, суть яркие образы бегства за пределы бытия и судорожной атаки против законов природы.

Те, кто не находит себе места в мире гармонии, где наконец взаимно уравновешиваются справедливость и страсть, предпочитают одиночеству горестное царство, в котором слова больше не имеют смысла, а всем правят сила и инстинкт слепых тварей. В то же самое время этот выбор означает умерщвление плоти. Во Второй песне ангел гибнет в битве и его тело разлагается. Тогда земля и небо, смешавшись, возвращаются в состояние первобытной жидкой бездны. Так, человек-акула «обрел новую форму рук и ног только в качестве искупительной кары за какое-то неведомое злодеяние». Действительно, плохо изученная жизнь Лотреамона была отмечена каким-то реальным или иллюзорным преступлением (гомосексуальностью?). Читателю «Песен» трудно избавиться от ощущения, что книге не хватает «Исповеди» Ставрогина.

За ее неимением нам остается видеть в «Стихотворениях» проявляющуюся с удвоенной силой загадочную тягу к искуплению. Стремление, свойственное некоторым формам бунта и заключающееся, как мы увидим, в обретении разума через безрассудство и порядка через хаос и в навешивании на себя цепей еще более тяжких, чем те, от которых хотелось освободиться, в этом произведении выражено с таким упрощением и цинизмом, что это не может быть бессмысленным. За «Песнями», восславляющими абсолютное «нет», последует теория абсолютного «да», а за беспощадным бунтом — безоговорочный конформизм. Все это — вполне осознанно. И правда, лучшее пояснение к «Песням» мы находим в «Стихотворениях». «Отчаяние, упорно питающееся этими фантасмагориями, неуклонно ведет литератора к упразднению всех божественных и социальных законов, а также к теоретической и практической злобе». «Стихотворения» изобличают «виновность писателя, с радостными возгласами ступившего на скользкий склон небытия и злорадно презирающего себя самого». Но в качестве лекарства от этой болезни они могут предложить только метафизический конформизм: «Если в поэзии сомнения мрачная безысходность и тео-

ретическая злоба доводятся до крайней степени, это означает, что такая поэзия в корне фальшива; фальшива уже потому, что в ней оспариваются принципы, которые оспаривать нельзя» (письмо к Дарассе). Все эти прекрасные доводы, в сущности, служат выражением морали мальчика из церковного хора и армейской инструкции. Но одержимость конформизмом способна приобретать необычные формы. Воспевая победу злобного орла над драконом надежды, можно упорно твердить, что воспеваешь только надежду, и написать: «Мой голос, в котором звучит торжество победных дней, призывает тебя в мою пустынную обитель, о славная надежда», но надо еще, чтобы твои слова звучали убедительно. Утешать человечество, относиться к нему по-братски, вернуться к Конфуцию, Будде, Сократу и Иисусу Христу, «этим моралистам, которые шли по городам и весям, умирая от голода» (что исторически сомнительно), — все это проекции отчаяния. Так в самом сердце порока появляется аромат тоски по добродетели и упорядоченной жизни. Лотреамон отвергает молитву и Христа, считая его лишь моралистом. Он предлагает нам, вернее себе, агностицизм и исполнение долга. К несчастью, столь прекрасная программа предпо-

лагает покинутость, мирные вечера, сердце без горечи и размышления без принуждения. Когда Лотреамон вдруг восклицает: «Я знаю только одну благодать — благодать быть рожденным на свет», в его голосе прорывается волнение. Но затем он добавляет: «Непредвзятый ум находит ее полной», — и мы догадываемся, что это произнесено сквозь зубы. Перед жизнью и смертью невозможно сохранить непредвзятость. Бунтарь Лотреамона бежит в пустыню. Но это пустыня конформизма, и она уныла, как Харрар. Привкус абсолюта и ярость разрушения подчеркивают ее бесплодность. Если Мальдорор стремился к всеобъемлющему бунту, то Лотреамон по тем же причинам провозглашает абсолютную банальность. Если вначале он пытался утопить вопль совести в первобытном океане, заглушив его звериным рыком, а затем растворить в восхищении математикой, то теперь хочет подавить его унылым конформизмом. Тогда бунтарь притворяется глухим к призыву бытия, скрывающегося в глубине его бунта. Главное — перестать быть: либо отказываясь быть кем бы то ни было, либо соглашаясь стать все равно кем[20]. В обоих случа-

[20] notes: 20
Точно так же Фантазио хочет стать первым попавшимся буржуа.

ях речь идет об условности и мечте. Банальность — это тоже поза.

Конформизм представляет собой один из нигилистических соблазнов бунта, подчинивших себе значительную часть нашей интеллектуальной истории. Во всяком случае, он показывает, как бунтарь, переходящий к действию, но забывший о своих корнях, становится перед сильнейшим искушением конформизма. Тем самым он служит объяснением XX веку. Лотреамон, которого обычно приветствуют как певца чистого бунтарства, на самом деле — провозвестник добровольного интеллектуального рабства, распространяющегося в нашем мире. «Стихотворения» — не более чем предисловие к «будущей книге», и все принялись мечтать об этой будущей книге как об идеальном финале литературного бунта. Но, вопреки Лотреамону, эта книга пишется сегодня в миллионах экземпляров по приказу администрации. Бесспорно, гений неотделим от банальности. Но речь идет не о банальности других, к которой творец тщетно пытается присоединиться и которая в случае надобности сама присоединяется к нему полицейскими методами. Речь идет о собственной банальности творца, которую ему предстоит создать от начала до конца.

В каждом гении присутствуют одновременно и оригинальность, и банальность. Если он обладает каким-то одним из этих качеств, то он пустышка. Рассуждая о бунте, мы должны помнить об этом. У бунта есть свои денди и свои лакеи, но он не признает в них своих законных детей.

Сюрреализм и революция

Мы почти не будем говорить здесь о Рембо. О нем все уже сказано — по большей части, к прискорбию. Тем не менее уточним — поскольку это уточнение прямо касается нашей темы, — что Рембо выступал поэтом бунта исключительно в своем творчестве. Его жизнь нисколько не оправдывает связанного с ней мифа, а лишь наглядно показывает (стоит беспристрастно ознакомиться с письмами из Харрара) его приятие наихудшей из форм нигилизма. Рембо боготворили за то, что он отказался от собственного гения, как будто этот отказ предполагал сверхчеловеческую добродетель. Рискуя разоблачить алиби наших современников, укажем, что все обстоит ровно наоборот: только гений, а вовсе не отказ от гения предполагает добродетель. Величие Рембо не в крикливом шарлевильском дебюте и не в харрарской торговой деятельности. Оно проявля-

ется в тот момент, когда он, первым одарив бунт самым странным, но самым точным языком, одновременно выражает его торжество и его страх; жизнь, оторванную от мира, и невозможность от него отрешиться; стремление к недостижимому и шершавую реальность, не поддающуюся шлифовке; отказ от морали и непреодолимую тоску по долгу. В этот миг, неся в себе самом просветление и ад, оскорбляя и приветствуя красоту, он превращает неразрешимое противоречие в двойственный переменчивый гимн и становится величайшим поэтом бунта. Порядок, в котором появились на свет обе концепции, не имеет значения. В любом случае между первой и второй прошло слишком мало времени, и любой художник, опираясь на абсолютную уверенность, рожденную жизненным опытом, понимает, что Рембо вынашивал «Одно лето в аду» и «Озарения» одновременно. В этом убийственном для него противоречии и заключался его подлинный гений.

Но в чем же добродетель того, кто отворачивается от противоречия и, не выстрадав свой гений до конца, предает его? Молчание Рембо — отнюдь не еще один, новый способ взбунтоваться. По крайней мере, после публикации харрарских

писем мы больше не можем это утверждать. Его метаморфоза, конечно, выглядит загадочно. Но не менее загадочна банальность того, как блестящие юные девушки, выйдя замуж, превращаются в бездушные машины, которых интересуют только деньги и вязальный крючок. Миф, сотворенный вокруг Рембо, предполагает и утверждает, что после «Поры в аду» больше ничего не было возможно. Но разве для сверходаренного поэта и неутомимого творца существует что-либо невозможное? Можно ли представить себе что-либо еще после «Моби Дика», «Процесса», «Заратустры» и «Бесов»? А ведь после этих великих произведений появляются все новые, поучительные и исправляющие прежние заблуждения, — они свидетельствуют о том, что человеку есть чем гордиться, и конец им положит только смерть Творца. Кто из нас не сожалел, что произведение, еще более великое, чем «Пора», так и не было написано, а его автор, сдав позиции, оставил нас в глубоком разочаровании?

Разве Абиссиния — монастырь? Разве Христос наложил на уста Рембо печать молчания? Но тогда Христос должен предстать в образе современного банкира — если судить по письмам, в которых проклятый поэт рассуждает только о

деньгах и о том, как их «лучше разместить», чтобы они приносили «регулярный доход»[21]. Тот, кто пел, испытывая муку, осыпал проклятьями Бога и красоту, восставал против справедливости и надежды и дерзко подставлял лицо ветру преступления, теперь мечтает о браке с кем-нибудь, у кого «есть будущее». Маг, провидец, каторжник, осужденный на вечное заточение, царь на земле без Бога, он постоянно носит на себе восемь килограммов золота, упрятанного в пояс, и жалуется, что оно сдавливает ему живот и вызывает диарею. Где он, тот мифический герой, предложенный юношам, которые и не думали плевать на мир, но умерли бы со стыда при одной мысли о подобном поясе? Чтобы сохранить миф, надобно игнорировать эти письма, а они имеют решающее значение. Понятно, почему комментаторы по большей части предпочитают обходить их молчанием, — они святотатственны, как иногда святотатственна сама истина. Великий, достойный восхищения поэт, величайший поэт своего времени, блистательный оракул

[21] notes: 21

Справедливость требует отметить, что тональность писем может объясняться характером их адресатов. Но мы не чувствуем в них никакой натуги, никакой фальши. В них нет ни слова, выдающего прежнего Рембо.

— вот кто такой Рембо. Но он не человек-бог, не суровый пример и не монах от поэзии, каким его пытались нам представить. Как человек, он вновь обрел свое величие лишь на больничной койке, в тот трудный час, когда даже душевная банальность способна трогать сердца: «Как я несчастен, как же я несчастен… Деньги при мне, а я не могу даже присмотреть за ними!» Горестный стон этих трагических минут, по счастью, позволяет нам мерить Рембо той общей мерой, которая невольно совпадает с величием: «Нет, нет! Отныне я восстаю против смерти!» У края бездны воскресает молодой Рембо, а вместе с ним бунт, привычный эпохе, в которую проклятие жизни представлялось исключительно отчаянием смерти. В это мгновение торгаш и обыватель воссоединяется с мятущимся юношей, которого мы так горячо полюбили. Он воссоединяется с ним в страхе и горькой муке, в конечном итоге объединяющей людей, не сумевших спасти свое счастье. И только тут начинаются его страсть и его истина.

Впрочем, Харрар и в самом деле присутствовал в его творчестве, но в форме последней сдачи позиций. «Лучше всего — напиться в стельку и уснуть прямо на берегу». Ярость разрушения,

свойственная всякому бунту, приобретает тогда вид общего места. Апокалипсис преступления, каким он показан Рембо в образе вельможи, без устали убивающего своих подданных, и бесконечное распутство — вот бунтарские темы, которые будут подхвачены сюрреалистами. Но в итоге возобладает нигилистическое уныние — истерзанной душе не под силу ни борьба, ни преступление. Провидец, который, если можно так выразиться, пил, чтобы не забыть, в конце концов ищет и находит в опьянении тяжелый сон, хорошо знакомый нашим современникам. Спать можно и на песке, и в Адене. И принимать, уже не активно, но пассивно, миропорядок, даже если он рушится на глазах. Молчание Рембо готовит нас к молчанию Империи, витающему в умах тех, кто смирился и готов на все, кроме борьбы. Возвышенная душа, внезапно покорившаяся власти денег, возвещает иные требования — вначале несоразмерные, но затем согласные оказывать услуги полиции. Не быть ничем — вот крик души, уставшей от собственного бунта. Тогда мы имеем дело с самоубийством духа, в общем-то заслуживающим меньше уважения, чем самоубийство сюрреалистов, зато чреватым более серьезными последствиями. Значение сюрреализма, возник-

шего на исходе великого бунтарского движения, в том и состоит, что он попытался продолжить дело того единственного Рембо, который достоин нашей нежности. Выводя из послания о провидце и предложенном им методе правило мятежной аскезы, он наглядно показал борьбу между волей к бытию и желанием самоуничтожения, те самые «да» и «нет», которые мы находим на каждой стадии бунта. По этим причинам, по нашему мнению, лучше не повторять бесконечные комментарии творчества Рембо, а отыскать его следы в творчестве тех, кто ему наследовал.

Абсолютный бунт, тотальное неповиновение, возведенный в закон саботаж, юмор и культ абсурда — сюрреализм в его исходном замысле можно определить как непрекращающуюся критику всего и вся. Отказ от какой-либо определенности выражен четко, резко, провокативно. «Мы — специалисты по бунту». Машина по потрясению умов, по выражению Арагона, сюрреализм возник из движения дада, романтические корни которого мы должны отметить, и анемичного дендизма[22]. Он начинается как культ бессмыс-

[22] notes: 22

Один из мэтров дадаизма, А. Жарри являет собой последнее воплощение — скорее оригинальное, чем гениальное, — метафизического дендизма.

лицы и противоречия. «Истинные дадаисты против дада. Каждый — директор дада». Или: «Что хорошо? Что уродливо? Что велико, сильно, слабо?.. Не знаю! Не знаю!» Очевидно, что этим салонным нигилистам грозило превратиться в прислужников самых строгих ортодоксий. Но в сюрреализме есть нечто большее, чем унаследованный от Рембо парадный нонконформизм. Об этом говорит Бретон, задаваясь вопросом: «Должны ли мы оставить всякую надежду?»

Великий призыв к отсутствующей жизни вооружается тотальным отказом от мира присутствующего, как не без гордости формулирует Бретон: «Неспособный покориться уготованной мне судьбе, уязвленный до глубины сознания вызовом, брошенным чувству справедливости, я не стараюсь приспосабливать собственную жизнь к смехотворным условиям земного существования». Дух, согласно Бретону, не может надолго остановиться ни в этой жизни, ни в потустороннем мире. Сюрреализм намерен ответить на это беспрестанное беспокойство. Через него «дух кричит, оборачиваясь против себя самого, готовый в отчаянии размолотить эти преграды». Он кричит, протестуя против смерти и «смехотворной длительности» своего шаткого положения.

Таким образом, сюрреализм выражает себя в нетерпении. Он существует в состоянии какой-то обиженной ярости, но в то же время в строгости и гордой принципиальности, подразумевающих наличие морали. С момента своего появления сюрреализм — это евангелие хаоса — был вынужден создать некий порядок. Поначалу его помыслы не шли дальше разрушения, прежде всего посредством поэзии, проклинающей все на свете, а затем и при помощи вполне материальных молотков. Судилище над реальным миром превратилось, что вполне логично, в судилище над творением.

Антитеизм сюрреалистов доказателен и методичен. Прежде всего он базируется на идее абсолютной невиновности человека, которому надлежит вернуть «всю ту власть, что он оказался способен вложить в слово «Бог». Как и во всей истории бунта, идея абсолютной невиновности, родившаяся из отчаяния, постепенно трансформируется в безумную жажду наказания. Сюрреалисты, настаивая на человеческой невиновности, полагали, что одновременно могут воспевать убийство и самоубийство. О самоубийстве они рассуждали как об одном из возможных решений проблемы; Кревель, называвший это

решение «самым, по всей видимости, верным и окончательным», действительно покончил с собой, как и Риго, и Вашé. Впоследствии Арагон заклеймил тех, кто разглагольствовал о самоубийстве. Впрочем, это не делает чести никому: прославлять самоуничтожение, но не спешить присоединиться к тем, кто себя уничтожает. В этом смысле сюрреализм взял от «литературы», к которой питал отвращение, ее наихудшие черты, оправдывая душераздирающий крик Риго: «Все вы поэты, а я — я на стороне смерти».

На этом сюрреализм не остановился. В качестве героя он выбрал Виолетту Нозьер или безымянного уголовника, тем самым утверждая невиновность человеческого существа перед преступлением. Он также осмелился заявить, что — должно быть, после 1933 года Андре Бретон горько сожалел об этом заявлении — самым простым действием сюрреалиста будет выйти на улицу с револьвером в руке и наугад выстрелить в толпу. Действительно, тому, кто отвергает всякую определенность, кроме определенности индивида и его желания, и всякое главенство, кроме главенства подсознательного, приходится восставать и против общества, и против разума. Венцом требования абсолютной свободы ста-

новится теория беспричинного поступка. И не важно, что в конце концов эта свобода сводится к одиночеству, о котором пишет Жарри: «Когда я заберу все денежки, поубиваю всех и уйду». Главное — непризнание преград и торжество иррационального. В самом деле, что такое апология убийства, если в мире, лишенном смысла и чести, законно только желание существовать в той или иной форме? Жизненный порыв, всплеск подсознания, иррациональный крик — вот единственные чистые истины, которым следует отдать предпочтение. Следовательно, все, что мешает осуществлению желания, и в первую очередь общество, должно быть сметено без всякой жалости. Тогда становится понятно, почему Бретон, рассуждая о Саде, сказал: «Бесспорно, здешний человек согласен соединиться с природой только в преступлении; остается выяснить, не есть ли это один из самых безумных и неоспоримых способов любить». Чувствуется, что речь идет о беспредметной любви, той любви, на какую способна только израненная душа. Но именно этой пустой и жадной любви, движимой безумной жаждой обладания, неумолимо препятствует общество. Поэтому Бретон, которому еще претили подобные декларации, постарался

восславить предательство и заявить (а сюрреалисты — доказать), что единственным адекватным средством выражения может служить насилие.

Но общество состоит не только из людей. В нем также существуют институты. Сюрреалисты, родившиеся не в той среде, чтобы поубивать всех вокруг, самой логикой своей позиции были подведены к заключению, что для освобождения желания надо прежде всего опрокинуть общество. Они выбрали служение революции своего времени. От Уолпола и Сада, следуя идее, которая и является предметом настоящего эссе, сюрреалисты перешли к Гельвецию и Марксу. Однако мы хорошо понимаем, что к революции их подтолкнуло вовсе не изучение марксизма[23]. Напротив, сюрреализм не жалеет усилий, стараясь примирить с марксизмом те требования, которые привели его к революции. Можно сказать, и в этом нет парадокса, что сюрреалисты пришли к марксизму по причине того, что сегодня они более всего в нем ненавидят. Зная благородную сущность его чаяний и разделяя его боль, нам

[23] notes: 23

Коммунистов, пришедших в революцию благодаря изучению марксизма, можно пересчитать по пальцам одной руки. Сначала человек обращается и лишь затем читает Священное Писание и сочинения Святых Отцов.

нелегко напомнить Андре Бретону, что́ его движение возвело в ранг принципа установление «безжалостной власти» и диктатуры, политический фанатизм, отказ от свободной дискуссии и необходимость смертной казни. Удивление вызывает и странный лексикон той эпохи («саботаж», «осведомитель» и т. п.), заимствованный у полицейской революции. Но эти одержимые хотели «хоть какой-нибудь революции», все равно какой, лишь бы вырваться из мира лавочников и унижений, в котором они были вынуждены жить. Не имея возможности получить лучшее, они предпочли наихудшее. В этом смысле они были нигилистами. Они не замечали, что те из них, кто отныне хранил верность марксизму, одновременно хранили верность своему изначальному нигилизму. Подлинное разрушение языка, к которому сюрреалисты стремились с таким упорством, заключается не в бессвязности и не в автоматизме. Оно заключено в лозунгах. Хоть Арагон и начал с изобличения «бесстыжего прагматизма», именно в нем он в итоге нашел полное освобождение от морали, даже если это освобождение было всего лишь иной формой рабства. Глубже всех из сюрреалистов размышлял над этой проблемой Пьер Навиль, который

искал общий знаменатель революционной и сюрреалистической деятельности и находил его в пессимизме, то есть в «намерении подвести человека к гибели и ничего не упустить, чтобы его гибель принесла пользу». Эта смесь августинизма и макиавеллизма и определяет революцию XX века, дать более смелое определение нигилизму того времени невозможно. Ренегаты сюрреализма сохранили верность нигилизму в том, что касалось большей части его принципов. Они по-своему хотели умереть. Если Андре Бретон и некоторые другие в конце концов порвали с марксизмом, то потому, что в них было нечто большее, чем нигилизм; они хранили верность еще и тому, что есть самого чистого в основе бунта: они не желали умирать.

Разумеется, сюрреалисты хотели исповедовать материализм. «Нам было приятно узнать, что поводом к восстанию на броненосце «Потемкин» послужил кошмарный кусок гнилого мяса». Но в отличие от марксистов они не чувствуют к этому куску мяса никакой приязни, даже чисто интеллектуальной. Эта тухлятина всего лишь воплощает реальный мир, действительно порождающий бунт, но помимо себя. Если она все оправдывает, то ничего не объясняет. Для сюр-

реалистов революция не цель, к достижению которой идут, активно действуя, день за днем, но миф — абсолютный и утешительный. Для них она — «подлинная, как любовь, жизнь», о которой рассуждал Элюар, еще не подозревая, что его друга Каландру эта жизнь доведет до смерти. Их привлекал «коммунизм гения», и никакой иной. Эти странные марксисты заявляли, что восстают против истории, и прославляли героическую личность. «Историей движут законы, обусловленные трусостью отдельных людей». Андре Бретон хотел заполучить одновременно такие несовместимые вещи, как революция и любовь. Революция заключается в любви к человеку, которого пока не существует. Но тот, кто любит живого человека — действительно любит, — тот согласится умереть только ради него. На самом деле для Андре Бретона революция была лишь частным случаем бунта, тогда как для марксистов и политической мысли как таковой верно лишь обратное. Бретон не собирался трудиться над созданием города счастья как венца истории. Действительно, одна из основных посылок сюрреализма заключается в том, что спасения не существует. Прелесть революции не в том, чтобы сделать людей счастливыми, создать для

них «отвратительный земной комфорт». По мысли Бретона, она должна, напротив, высветить, очистив от всего лишнего, трагизм их судьбы. Мировая революция вместе со всеми ее чудовищными жертвами хороша только тем, что может «помешать искусственной шаткости социального положения завуалировать реальную шаткость человеческой доли». Просто для Бретона подобный прогресс был чрезмерным. Можно сказать, что революция должна быть поставлена на службу внутренней аскезе, благодаря которой каждый человек способен преобразовать реальность в чудо, и это — «блестящий реванш человеческого воображения». Чудо у Андре Бретона играет ту же роль, что рациональное начало у Гегеля. Более полного противопоставления политической философии марксизма и помыслить невозможно. Тогда легко объяснимы долгие колебания тех, кого Арто называл «Амиелями революции». Сюрреалисты стояли от Маркса дальше, чем такие, например, реакционеры, как Жозеф де Местр. Последние используют трагедию существования для отказа от революции, иначе говоря, с целью сохранить неизменной историческую ситуацию. Марксисты используют ее же для утверждения революции, иначе говоря, чтобы создать новую

историческую ситуацию. И те и другие ставят человеческую трагедию на службу своим прагматическим целям. В отличие от них, Бретон использовал революцию, чтобы покончить с трагедией, и, вопреки названию своего журнала, на самом деле ставил революцию на службу дерзкому сюрреалистическому замыслу.

Их окончательному разрыву легко найдется объяснение, если мы вспомним, что марксизм требовал подчинения иррационального, тогда как сюрреалисты были готовы защищать иррациональное до последней капли крови. Марксизм стремился к тотальному завоеванию, а сюрреализм, как всякий духовный опыт, к единению.

Для Андре Бретона тотальность была лишь этапом, возможно, необходимым, но явно недостаточным на пути к единению. Здесь перед нами снова встает тема Всего или Ничего. Сюрреализм тяготеет к универсализму, и Бретон предъявляет Марксу немного неожиданный, но глубоко обоснованный упрек в том, что его теория не носит универсального характера. Сюрреалисты хотели примирить между собой две цели: «преобразовать мир» по Марксу и «изменить жизнь» по Рембо. Но первая предполагает тотальное завоевание мира, а вторая — завоевание единства

жизни. Всякая тотальность парадоксальным образом подразумевает ограничение. В конце концов, группа раскололась надвое. Вставая на сторону Рембо, Бретон показал, что сюрреализм — это не действие, но аскеза и духовный опыт. Он выдвинул на первый план то, что составляет глубокую самобытность этого движения, то, чем оно ценно для развития бунтарской мысли, — восстановление сакрального и завоевание единства. Чем полнее он выражал эту самобытность, тем бесповоротнее был его разрыв с политическими попутчиками, а также с некоторыми из его собственных ранних заявлений.

Действительно, своего отношения к сюрреальному как слиянию мечты и реальности, служащему сублимацией давнего противоречия между идеалом и реальностью, Бретон никогда не менял. Решение, предлагаемое сюрреалистами, известно: конкретная иррациональность и объективная случайность. Поэзия — это завоевание, и, «с высшей точки зрения», единственно возможное. «Такая точка, глядя с которой духовным взором, перестаешь… видеть противоречия между жизнью и смертью, реальным и воображаемым, прошлым и будущим». Что же это за высшая точка, призванная показать «колоссаль-

ный провал гегелевской системы»? Это поиск вершины-бездны, хорошо знакомой мистикам. На самом деле речь идет о мистицизме без Бога, который смиряет и выявляет абсолютную жажду бунтаря. Главный враг сюрреализма — это рационализм. Впрочем, размышления Бретона представляют собой любопытную картину развития западной мысли, отдающей безусловное предпочтение принципу аналогии перед принципами тождества и противоречия. Так и есть: сплавив противоречия в огне желания и любви, можно обрушить стены смерти. Чудесными этапами на пути к единству и философскому камню служат магия, первобытные или архаичные цивилизации, алхимия, риторика огненных цветов или бессонных ночей. Если сюрреализм и не изменил мира, то он подарил ему несколько странных мифов, отчасти оправдывая слова Ницше о возвращении древних греков. Отчасти — потому, что имеется в виду сумеречная Древняя Греция, страна тайн и темных богов. В конечном итоге если венцом опыта Ницше было приятие полудня, то кульминация сюрреализма наступает в прославлении полуночи, в упорном и боязливом почитании грозы. Бретон, судя по его собственным словам, понял, что жизнь, несмотря

ни на что, — это дар. Но он не мог принять его при необходимом нам свете дня. «Во мне слишком много от севера, — говорил он, — чтобы безоговорочно слиться с ней».

Тем не менее он — часто вопреки себе — сумел уменьшить в бунте долю отрицания и актуализировать его позитивные ожидания. Он выбрал не молчание, а строгость и сохранил только то «нравственное требование», которое, по словам Батая, воодушевляло первых сюрреалистов: «Заменить новой моралью существующую, служащую причиной всех наших бед». Похоже, ему не удалось основать эту новую мораль — как, впрочем, и по сей день не удалось никому. Но он никогда не опускал руки. Перед ужасом эпохи, когда возвеличиваемый им человек подвергается постоянному унижению во имя некоторых принятых сюрреализмом принципов, Бретон чувствовал себя обязанным хотя бы временно предложить возврат к традиционной морали. Возможно, здесь наступает некоторая пауза. Но это пауза нигилизма и подлинный прогресс бунта. В конце концов, мы почти наверняка знаем, что Бретон, не умея определить мораль и ценности, необходимость которых он остро ощущал, сделал выбор в пользу любви. Он был

единственным, кто в то подлое время — и об этом не следует забывать — заговорил о любви, глубоко исследуя ее природу. Любовь стала той экзальтированной моралью, что заменила изгнаннику родину. Разумеется, здесь снова не хватает чувства меры. Возможно, сюрреализм, не являясь ни политическим, ни религиозным учением, представляет собой непостижимую мудрость. Но это только лишний раз доказывает, что простой мудрости не бывает. «Мы хотим при жизни выйти за рамки сущего, и мы этого добьемся» — это высказывание Бретона поистине достойно восхищения. Быть может, та сияющая ночь, в которой он чувствовал себя на месте, пока разум, перешедший к действию, обрушивал на мир все новые армии, действительно возвещает наступление еще неведомой зари и утреннюю песнь Рене Шара — поэта нашего Возрождения.

Нигилизм и история

На протяжении ста пятидесяти лет метафизического бунта и нигилизма перед нами с упорством возникает один и тот же, несмотря на смену масок, изможденный лик — лик человеческого протеста. Все, кто восставал против

своего положения и против Создателя, настаивали на одиночестве человеческого существа и отсутствии какой бы то ни было морали. Но одновременно все они пытались построить чисто земное царство, управляемое тем законом, который они сами выберут. Соперники Творца, они самой логикой своей мысли приходили к необходимости переделать творение по собственному вкусу. Одни признавали в этом заново сотворенном мире только закон желания и силы, что для них означало самоубийство или безумие; они воспевали апокалипсис. Другие возжелали навязать закон силой, их выбором стало пустое самолюбование, позерство или банальность — либо убийство и разрушение. Но Сад и романтики, Иван Карамазов или Ницше вступили в мир смерти только потому, что стремились к настоящей жизни. В результате, в силу обратного эффекта, в этом безумном мире зазвучал отчаянный призыв к закону, порядку и морали. Их выводы начали играть роковую и убийственную для свободы роль, лишь когда они сбросили бремя бунта, избавились от его напряжения и отдали предпочтение комфорту тирании или рабства.

Человеческое восстание в его высоких и трагических формах — это вечный протест против

смерти и яростное обвинение против навязанного человеку неизбежного смертного приговора. Во всех рассмотренных нами случаях протест каждый раз направлен на те аспекты мироздания, в которых заметны диссонанс, мутность и разрыв связей. Таким образом, речь по большей части идет о непрерывном поиске единения. Пружиной всех этих безумств, как высоких, так и наивных, служит неприятие смерти и желание вечной жизни и прозрачности. Можно ли сказать, что это не более чем трусливый индивидуальный отказ умирать? Нет, нельзя, потому что многие из этих бунтарей, дабы соответствовать заявленной цели, заплатили высокую цену. Бунтарь требует не жизни, а ее разумного обоснования. Он отвергает последствия, вытекающие из факта смерти. Если ничто не вечно, ничто ничем не оправдано, то умирающее обессмысливается. Борьба против смерти становится равнозначной борьбе за обретение смысла жизни, за установление правил, за единство.

Показателен в этом отношении протест против зла, занимающий центральное место в метафизическом бунте. Возмущение вызывает не страдание ребенка как таковое, а то, что этому страданию нет оправданий. В конце концов,

иногда мы согласны терпеть боль, мириться с изгнанием или заточением, если медицина или здравый смысл убеждают нас в том, что это необходимо. По мнению бунтаря, миру принципиально не хватает объяснения как его мучительных, так и счастливых минут. Восстание против зла остается в первую очередь требованием цельности. Миру осужденных на смерть и смертельной мутности человеческого состояния он неустанно противопоставляет требование жизни и окончательной яростности. Сам того не подозревая, он находится в непрерывном поиске морали или сакрального начала. Бунт — это аскеза, хоть и слепая. Если бунтарь богохульствует, то лишь в надежде обрести нового Бога. Он приходит в возбуждение под воздействием первого и наиболее глубокого из религиозных движений, но это религиозное движение несет на себе печать разочарования. Благороден не бунт сам по себе, а его требования, даже если то, чего он реально добивается, отвратительно.

Но мы должны, по меньшей мере, научиться распознавать это отвратительное. Каждый раз, когда бунт обожествляет тотальное отрицание сущего, абсолютное «нет», он становится убийцей. Каждый раз, когда он слепо принимает сущее

и выкрикивает абсолютное «да», он становится убийцей. Ненависть к творцу может обернуться ненавистью к творению или исключительной и провокативной любовью к сущему. Но в обоих случаях бунт приходит к убийству и теряет право именоваться бунтом. Нигилистом можно быть двумя способами, но и тот и другой подразумевают неумеренность абсолюта. Несомненно, существуют бунтари, желающие умереть, и бунтари, желающие убивать. Но это одни и те же бунтари, снедаемые жаждой настоящей жизни, разочарованные в бытии и увечной справедливости предпочитающие всеобщую несправедливость. При таком градусе возмущения разум становится яростью. Если верно, что инстинктивный бунт человеческого сердца с ходом веков постепенно движется к все большему осознанию, то, как мы видели, он одновременно вырастает в слепую отвагу, пока не наступит миг утраты чувства меры и он не решится ответить на вселенское убийство метафизическим убийством.

«Даже если», о котором мы говорили как о ключевом моменте метафизического бунта, в любом случае воплощается в абсолютном разрушении. Сегодня мир охвачен не бунтом и не благородством, а нигилизмом. И мы должны

разглядеть его последствия, не теряя из виду его истинных корней. Даже если бы Бог существовал, Иван Карамазов не сдался бы ему, наблюдая несправедливость по отношению к человеку. Но в результате слишком долгого пережевывания этой несправедливости, озаренного пламенной горечью, «даже если ты существуешь» преобразовывается сначала в «ты не достоин существования», а затем в «тебя не существует». Жертвы искали силу и обоснование последнего преступления в невиновности, которую признавали за собой. Разуверившись в бессмертии, убежденные в том, что они прокляты, они решились на убийство Бога. Нельзя сказать, что трагедия современного человека началась сегодня, но точно так же нельзя сказать, что сегодня она закончилась. Напротив, покушение на Бога знаменует высшую точку драмы, начавшейся на закате Античности, — драмы, последние реплики в которой еще не произнесены. С этого времени человек решает освободиться от благодати и жить собственными силами. Прогресс от Сада до наших дней заключается во все большем расширении того замкнутого пространства, в котором, согласно его собственным правилам, царит ожесточенный человек без Бога. Все дальше

отодвигая границы укрепленного лагеря, в своем противостоянии божественному он всю Вселенную превратил в крепость, из которой изгнан низвергнутый Бог. Доведя бунт до логического конца, человек запирает себя; его наивысшая свобода — от трагического замка Сада до концлагеря — состоит в том, чтобы возвести тюрьму для своих преступлений. Постепенно осадное положение распространяется на всех, как и требование свободы. Тогда приходится возводить одно-единственное царство, противостоящее царству благодати и справедливости, и наконец собрать человечество воедино на обломках божественной общности. Убить Бога и построить Церковь — вот постоянное и противоречивое побуждение бунта. Абсолютная свобода наконец становится тюрьмой абсолютных обязанностей, коллективной аскезой и завершением истории. Так бунтарский XIX век переходит в век XX — век справедливости и морали, где каждый бьет себя кулаками в грудь. Шамфор, моралист бунта, сформулировал это так: «Прежде чем стать щедрым, следует стать справедливым — так прежде шьют рубашку, а затем пришивают к ней кружева». Поэтому следует отказаться от такой роскоши, как мораль, и отдать предпочтение суровой этике

строителей.

Теперь нам пора исследовать это судорожное движение к господству над миром и установлению всеобщего закона. Мы подошли к той стадии, когда бунт, отказываясь от рабства, стремится присоединить к себе все творение целиком. Мы уже видели, что за каждой провалившейся попыткой достичь этого стояло определенное насильственное политическое решение. Отныне из всех приобретений бунта с его моральным нигилизмом сохранится только воля к власти. В принципе, бунт стремился завоевать лишь собственное бытие, защитив его от Бога. Но, утратив память о своих корнях и подчиняясь закону духовного империализма, он ступает на путь завоевания мирового господства и на этом пути множит убийства до бесконечности. Он изгнал со своих небес Бога, но, поскольку дух метафизического бунта открыто присоединяется к революционному движению, иррациональное требование свободы парадоксальным образом берет на вооружение разум — единственное орудие борьбы, представляющееся ему чисто человеческим. Бог умер, остаются люди, иначе говоря, история, которую следует понять и строить дальше. Тогда нигилизм, лежащий в основе

бунта, поглощает его творческую силу и добавляет лишь, что для ее строительства хороши все средства. Достигнув высот иррационального, человек, сознавая свое земное одиночество, принимает преступления разума, направленные на построение империи людей. К формуле «Я бунтую, следовательно, мы существуем» он, размышляя о грандиозных планах и самой смерти бунта, добавляет: «И мы одиноки».

III
Исторический бунт

Свобода — «это страшное слово, начертанное на колеснице бурь»[24], — лежит в основе всех революций. Восставшие не представляют себе справедливости без свободы. Между тем наступает время, когда справедливость требует отмены свободы. Тогда революцию венчает террор — большой или малый. Всякий бунт есть тоска по невиновности и призыв к бытию. Но однажды тоска берет в руки оружие и мирится со всеобщей виновностью, то есть с убийством и насилием. Восстания рабов, цареубийства и революции XX века также вполне осознанно смирились с виновностью, которая становилась тем больше, чем более полное освобождение сулили бунтари. Это вопиющее противоречие не позволяет нашим революционерам сохранять выражение счастья и надежды, освещавшее лица и речи членов нашего Учредительного собрания. Насколько оно неизбежно? Является ли оно неотъемлемым свойством бунта или предает его ценности? Вот

---

[24] notes: 24
Филофей О'Недди.

вопросы, которые встают перед нами в связи с революцией, так же как они вставали в связи с метафизическим бунтом. В действительности революция есть лишь логическое продолжение метафизического бунта, и, исследуя революционное движение, мы обнаружим ту же отчаянную и кровавую борьбу за утверждение человека и против того, что его отрицает. Революционный дух встает на защиту той части человека, которая не желает ни перед кем склоняться. Просто он пытается обеспечить ему временное царствование. Отвергая Бога, он, следуя якобы неумолимой логике, выбирает историю.

Теоретически слово «революция» сохраняет то же значение, в каком оно употребляется в астрономии. Это движение по замкнутому кругу, после полной смены лиц приводящее к переходу от одного правления к другому. Смена характера собственности без смены соответствующего типа правления — это не революция, а реформа. Не бывает экономической революции — ни мирной, ни кровавой — без политического наполнения. В этом уже заключается отличие революции от бунтарского движения. Знаменитое «Нет, сир, это не бунт, это революция» подчеркивает эту сущностную разницу. Точный смысл этих слов

подразумевает «уверенность в новом правлении». Бунтарское движение быстро выдыхается. Оно лишь знак, не имеющий последствий. Напротив, революция начинается с идеи. Точнее говоря, революция — это включение идеи в исторический опыт, тогда как бунт — всего лишь движение, ведущее от индивидуального опыта к идее. Если история бунтарского движения, даже коллективного, это всегда история фактически тупикового выступления и смутного протеста, не затрагивающего ни систем, ни причин, то революция — это попытка подчинить действия той или иной идее и переустроить мир по теоретическому образцу. Вот почему бунт убивает людей, а революция одновременно уничтожает и людей, и принципы. По той же причине можно сказать, что в истории еще не было ни одной революции. Революция может быть только одна, окончательная. Движение, на первый взгляд замыкающее круг, уже начинает новый — в тот самый миг, когда учреждает новое правление. Анархисты во главе с Варле справедливо заметили, что правление и революция в прямом смысле слова несовместимы. «Противоречие заключается в том, что правительство никогда не может быть революционным по той простой причине,

что оно правительство», — говорит Прудон. На основе имеющегося опыта добавим к этому, что правительство может быть революционным, только выступая против других правительств. Революционные правительства большую часть времени вынуждены выступать в роли военных правительств. Чем шире размах революции, тем выше предполагаемая ею военная ставка. Общество, родившееся в событиях 1789 года, рвалось сражаться за Европу. Общество, родившееся в событиях 1917-го, билось за мировое господство. Таким образом, всеобщая революция — и дальше мы увидим почему — ставит своей целью власть над всем миром. При поверхностном изучении можно прийти к выводу, что речь идет не столько о реальном освобождении, сколько о самоутверждении человека — все более широком, но так и не завершенном. Действительно, если бы революция свершилась хотя бы раз, никакой истории больше не было бы. Осталось бы счастливое единство и сытая смерть. Вот почему все революционеры в конечном счете стремятся к объединению мира и действуют так, словно они поверили в конечность истории. Оригинальность революции XX века заключается в том, что она впервые открыто заявила о претензии на осуществление

старинной мечты Анахарсиса Клоотса об объединении всего рода человеческого и одновременно об окончательном завершении истории. Если бунтарское движение пришло к принципу «все или ничего», если метафизический бунт стремился к единству мира, то революционное движение XX века, столкнувшись с неумолимыми последствиями собственной логики, с оружием в руках требует себе всю историю. Тогда бунт, чтобы не превратиться в устаревшую «пустышку», вынужден становиться революционным. Для бунтаря речь уже не идет о самообожествлении по примеру Штирнера или об одиночном спасении в позерстве. Речь идет об обожествлении вида, как у Ницше, и об ответственности за идеал сверхчеловека, призванного обеспечить спасение всех, как мечтал Иван Карамазов. Тогда на сцену впервые выходят «Бесы», иллюстрируя один из секретов эпохи: тождество разума и воли к власти. Бог умер, значит, надо изменить и заново организовать мир силами человека. Одной силы проклятия для этого недостаточно, необходимо оружие и полное завоевание. Революция, даже такая — и особенно такая, — которая претендует на материалистичность, на самом деле является всего лишь метафизическим крестовым похо-

дом, забывшим о чувстве меры. Но является ли тотальность единством? На этот вопрос и должно ответить настоящее эссе. Очевидно одно: наш анализ не преследует цель дать описание, стократно повторенное, феномена революции или еще раз перечислить исторические и экономические причины великих революций. Наша цель — найти в некоторых революционных событиях логическую последовательность, наглядные примеры и постоянные проявления метафизического бунта.

Большинство революций обретают форму и самобытность в убийстве. Все или почти все революции сопровождались убийствами людей. Но некоторые из них вдобавок практиковали цареубийство и богоубийство. Как история метафизического бунта началась с Сада, так и наша тема по-настоящему начинается с цареубийц — современников эпохи, когда люди дерзнули поднять руку на земное воплощение Божества, но пока еще не на вечный принцип. Но еще раньше человеческая история показывает нам прообраз первого бунтарского движения — восстание рабов.

Когда раб восстает против хозяина — это восстание одного человека против другого, и оно

происходит на жестокой земле, вдали от небесных принципов. Результатом становится всего лишь убийство одного человека. Восстания рабов, жакерии, войны гёзов, крестьянские бунты утверждают принцип эквивалентности: жизнь за жизнь, и точно тот же принцип, несмотря на всю новизну и все мистификации, мы обнаруживаем в самых чистых формах революционного духа, например в русском терроризме 1905 года.

Показательно в этом отношении восстание Спартака на закате Античности, за несколько десятков лет до наступления христианской эры. Прежде всего отметим, что речь идет о восстании гладиаторов, то есть рабов, обреченных сражаться друг с другом ради удовольствия хозяина и в поединке убить или быть убитыми. Поднятое группой из семидесяти человек восстание вскоре объединило в своих рядах семьдесят тысяч бунтовщиков; эта армия разбивала отборные римские легионы и захватывала одну область Италии за другой, пока не подошла к самому Вечному городу. Между тем, как отмечает Андре Прюдомо[25], этот бунт не дал римскому обществу ничего принципиально нового. Призыв Спартака

[25] notes: 25
La Tragédie de Spartacus. Cahiers Spartacus.

ограничивался обещанием предоставить рабам «равные права». Действительно, этот переход от факта к праву, который мы проанализировали, рассуждая о первом побуждении бунтаря, представляет собой единственное логичное достижение, доступное на подобном уровне бунта. Бунтарь отказывается быть рабом и провозглашает себя равным хозяину. Он хочет в свою очередь стать хозяином.

Восстание Спартака постоянно дает примеры этого принципиального требования. Армия рабов освобождает других рабов и тут же отдает им в рабство бывших рабовладельцев. Восставшие даже могли бы, согласно традиции — признаемся, сомнительной, — устроить гладиаторские бои между сотнями римских граждан и наблюдали бы за ними со ступеней амфитеатров, вне себя от возбуждения и восторга. Но убийство людей ведет лишь к необходимости убивать все больше. Чтобы добиться торжества принципа, надо убить другой принцип. Град солнца, о котором мечтал Спартак, мог бы воздвигнуться только на руинах Вечного Рима, со всеми его богами и институтами. Итак, армия Спартака движется к Риму с намерением его осадить; город, понимая, что придется платить за свои преступления, в

ужасе. Но в самый решающий момент, когда уже видны городские стены, армия вдруг замирает и откатывается назад, словно отброшенная принципами и укладом жизни города богов. Если он будет разрушен, что займет его место, кроме дикого желания справедливости, кроме раненого и оттого яростного самолюбия, до сих пор позволявшего держаться этим несчастным[26]? Как бы то ни было, армия отступает без боя и по какому-то странному наитию решает вернуться туда, откуда начала свой поход, то есть проделать в обратном направлении весь долгий путь своих побед и снова оказаться на Сицилии. Складывается впечатление, что эти обездоленные люди, одинокие и безоружные перед небесами, не смея осаждать Рим, возвращаются к самому чистому и теплому мигу своей истории, к той земле, что слышала их первый крик и где умирать не страшно.

Тогда начинается поражение и мученичество. Перед последней битвой Спартак приказывает распять на кресте римского гражданина — чтобы показать своим соратникам, какая участь их

[26] notes: 26

На самом деле восстание Спартака воспроизводит модель всех предшествовавших ему восстаний рабов. Но эта модель ограничивалась переделом земли и отменой рабства. Она прямо не касалась римских богов.

ожидает. В ходе сражения — и мы понимаем, насколько это символично, — охваченный яростью Спартак пытается добраться до Красса, командующего римскими легионами. Он готов погибнуть, но в поединке с человеком, в данный миг олицетворяющим всех римских рабовладельцев; он готов умереть, но в противостоянии равного с равным. Это ему не удастся: принцепсы воюют на расстоянии, и римский полководец держится в стороне. Спартак умрет, как он и хотел, но умрет под ударами наемников — таких же рабов, как он сам, вместе с его свободой убивающих и свою свободу. В отмщение за гибель единственного римского гражданина Красс казнит тысячи рабов. После всех справедливых бунтов на дороге от Капуи до Рима встанут шесть тысяч крестов, глядя на которые покорная толпа убедится, что в мире силы никакого равноправия не существует, а хозяева за каждую каплю своей крови требуют двойную плату.

Крест — это и орудие казни Христа. Можно представить себе, что несколько лет спустя Христос изберет для себя ту же рабскую казнь с целью сократить чудовищную дистанцию, отделяющую человеческое создание от сурового лика Господа. Он вступается за человека и, в свою очередь,

терпит крайнюю несправедливость, чтобы бунт больше не рвал мир надвое, чтобы и небеса почувствовали боль, а страдание перестало быть только человеческим проклятием. И разве стоит удивляться, что впоследствии революционный дух, мечтавший разлучить землю и небо, начал с разбожествления Бога, убивая его земных представителей? В 1793 году время бунта в определенном смысле заканчивается и наступают революционные времена — времена эшафота[27].

Цареубийства

Королей убивали задолго до 21 января 1793 года и цареубийств XIX века. Но и Равальяк, и Дамьен, и их соперники стремились уничтожить того или иного короля лично, а вовсе не принцип. Они желали иметь другого короля — или ничего. У них и в мыслях не было, что трон может навсегда опустеть. 1789 год стоит на стыке эпох потому, что люди Нового времени пожелали, помимо

[27] notes: 27

В настоящем эссе не рассматривается тема бунта внутри христианства, поэтому мы не говорим здесь ни о Реформации, ни о предшествующих ей многочисленных выступлениях против церковных властей. Но мы можем, по меньшей мере, сказать, что Реформация подготовила революционное якобинство — в некотором смысле она начала то, что закончил 1789 год.

всего прочего, низвергнуть принцип божественного права и ввести в историю бунтовскую силу отрицания, сложившуюся в ходе интеллектуальных схваток последних веков. К традиционному тираноубийству они, таким образом, добавили взвешенное богоубийство. Закваской для этой революции послужила так называемая вольнодумная мысль, родившаяся в умах философов и юристов[28]. Для осуществления и легитимации этого предприятия потребовалось, чтобы Церковь — и она несет за это безграничную ответственность — сначала с расцветом инквизиции, а затем и в прямом сотрудничестве с властями земными встала на сторону властителей и взяла на себя роль палача. Мишле не ошибается, видя в революционной эпопее всего два действующих лица: христианство и Революцию. Он объясняет 1789 год борьбой между благодатью и справедливостью. И, хотя Мишле в полном соответствии со своим неумеренным веком проявлял явную склонность к большим обобщениям, он увидел в этом явлении одну из причин революционного кризиса.

---

[28] notes: 28

Сами короли способствовали этому, постепенно навязывая религиозной власти политическую роль и тем самым закладывая мину под принцип собственной легитимности.

Если прежняя монархия в своем правлении далеко не всегда руководствовалась произволом, то принципом ее правления, бесспорно, оставался произвол. Наделенная божественным правом, она не нуждалась в легитимации. Тем не менее эта легитимность часто ставилась под сомнение, в том числе парламентом. Но те, кто был ее носителем, воспринимали ее как аксиому и в том же убеждали остальных. Известно, что Людовик XIV твердо придерживался этого принципа[29]. Ему помогал Боссюэ, заявлявший королям: «Вы — боги». В одной из своих ипостасей король — это уполномоченный Бога, призванный вершить земные дела, в том числе справедливый суд. Он, по образу и подобию самого Бога, — последняя надежда сирых, слабых, нищих. В принципе, народ может обратиться к королю с жалобой на тех, кто его притесняет. «Если бы король знал, если бы царь ведал…» — такое чувство действительно владело французским и русским народом в периоды несчастий и часто находило свое выражение. Правда, монархия, во всяком случае во Франции, если «узнавала», то часто пыталась защищать

[29] notes: 29

Карл I настолько держался за божественное право, что не считал необходимым быть справедливым и честным по отношению к тем, кто его отрицал.

простой народ от притеснений вельмож и буржуа. Но разве это справедливость? С точки зрения абсолюта, разделяемой тогдашними писателями, — нет. Если к королю можно обратиться за помощью, значит, принципиально невозможно выступить против него. Он раздает благодеяния, если и когда захочет. Одним из атрибутов милости является каприз. Монархия в форме теократии — это тип правления, который ставит милость выше справедливости, всегда оставляя за ней последнее слово. Напротив, оригинальность профессии савойского викария проявилась в том, что он поставил справедливость выше Бога, со свойственной тому времени немного наивной торжественностью открыв современную историю.

Действительно, начиная с момента, когда вольнодумная мысль ставит под сомнение Бога, проблема справедливости выдвигается на первый план. Просто тогдашняя справедливость смешивается с равноправием. Бог поколеблен, и справедливость ради достижения равенства должна нанести ему последний удар, напав на его непосредственного представителя на земле. Противопоставление естественного права праву божественному и принуждение последнего к

сделке, имевшее место в 1789–1792 годах, уже разрушало божественное право. Милость ни с кем не входит в сделку. Она может пойти на кое-какие уступки, но никогда не уступит в главном. Впрочем, этого недостаточно. Если верить Мишле, Людовик XVI и в тюрьме все еще хотел быть королем. Таким образом, в принципиально новой Франции побежденный принцип все еще заявлял о себе в тюремном застенке, движимый одной силой существования и верой. У милости и справедливости есть одна — но только одна — общая черта: стремление к полной и абсолютной власти. Как только они вступают в конфликт, начинается борьба не на жизнь, а на смерть. «Мы хотим не осудить короля, — безапелляционно заявляет Дантон, лишенный хороших манер настоящего юриста, — мы хотим его убить». В самом деле, если отрицают Бога, приходится убивать короля. Судя по всему, на казни Людовика XVI настоял Сен-Жюст, но когда он восклицает: «Определить принцип, согласно которому, возможно, умрет обвиняемый, — это значит определить принцип, по которому живет судящее его общество», — он показывает, что короля убивают философы: король должен умереть во имя общественного

договора[30]. Это требует пояснения.

Новое евангелие

Сочинение Руссо «Об общественном договоре» — это прежде всего исследование легитимности власти. Написанная с точки зрения права, а не фактического положения вещей[31], эта книга ни в коем случае не является сборником социологических наблюдений. Она посвящена изучению принципов и уже в силу этого носит полемический характер. Традиционная легитимность, полагает автор, якобы имеющая божественное происхождение, так и не достигнута, поэтому должна возникнуть новая легитимность, основанная на других принципах. Книга «Об общественном договоре» — это своего рода катехизис, во всяком случае, если судить по догматической тональности и языку. Как 1789 год завершает завоевания английской и американской революций, так и Руссо доводит

---

[30] notes: 30

Разумеется, Руссо этого не хотел бы. Чтобы показать границы нашего анализа, его следует предварить твердым заявлением Руссо: «Ничто здесь не стоит того, чтобы платить за него человеческой кровью».

[31] notes: 31

См.: Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми: «Для начала отбросим все факты, ибо они не имеют никакого касательства к данному вопросу».

до логического завершения теорию договора, сформулированную Гоббсом. Сочинение Руссо дает расширенное толкование и догматическое изложение новой религии, место Бога в которой занимает разум, неотличимый от природы, а его представителем на земле вместо короля является народ как носитель всеобщей воли.

Критика традиционного порядка столь очевидна, что уже в первой главе Руссо старается доказать, что гражданский пакт, лежащий в основе формирования народа, предшествует пакту между народом и королем, на основе которого формируется королевство. До Руссо королей творил Бог, а короли, в свою очередь, формировали народы. Начиная с «Общественного договора» народы образуются сами по себе, после чего производят королей. О Боге речь пока вообще не заходит. Здесь перед нами политический аналог ньютоновской революции. Итак, источником власти является уже не произвол, но всеобщее согласие. Иначе говоря, власть перестает быть тем, что она есть, и становится тем, чем она должна быть. По счастью, утверждает Руссо, то, что есть, неотделимо от того, что должно быть. Народ является сувереном «уже в силу того, что он всегда есть все то, чем он должен быть». По

поводу этой логической ошибки мы можем заметить, что разуму, на который в то время было принято ссылаться, в этом построении отводится далеко не самое почетное место. Очевидно, что с «Общественным договором» мы присутствуем при рождении очередной мистической конструкции, которая постулирует всеобщую волю как Бога. «Каждый из нас, — пишет Руссо, — передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого»[32].

Эта политическая личность, став суверенной, определяется и как божественная личность. Действительно, она обладает всеми атрибутами божественной личности. Она непогрешима, ибо суверен не может стремиться к произволу. «В силу закона разума ничто не совершается без причины». Она полностью свободна — если верно, что абсолютная свобода есть свобода по отношению к самому себе. Таким образом, Руссо заявляет, что, если бы суверен предписал сам себе такой закон, от которого он не мог бы себя освободить, — это противоречило бы самой природе политического

[32] notes: 32
Пер. А. Хаютина и В. Алексеева-Попова.

организма. Она неотчуждаема и неделима и в конечном итоге ставит своей целью разрешить великую теологическую проблему — противоречие между божественным всемогуществом и божественной невиновностью. Общая воля, чья власть не знает границ, диктует каждому образ действий. Но наказание, ожидающее того, кто отказывается ей повиноваться, на самом деле есть не что иное, как способ его «принуждения к свободе». Обожествление завершается, когда Руссо, отрывая суверена от его корней, приходит к выводу о различии между общей волей и волей всех. Это заключение можно логически вывести из предпосылок Руссо. Если человек от природы добр, если его природа тождественна разуму[33], он сумеет проявить совершенство разума — при условии свободы и естественности самовыражения. Поэтому он не может пересматривать свои решения, которые отныне ему не подчиняются. Общая воля — это прежде всего выражение всеобщего разума, а он носит категоричный характер. Новый Бог родился.

Вот почему в «Общественном договоре» чаще всего встречаются такие слова, как «абсолют-

---

[33] notes: 33
Всякая идеология складывается вопреки психологии.

ный», «священный», «нерушимый». Определяемый подобным образом политический организм, законом для которого является священная заповедь, есть не что иное, как суррогат мистического тела мирского христианства. Впрочем, «Общественный договор» заканчивается описанием гражданской религии, что делает Руссо провозвестником современных обществ, исключающих не только оппозицию, но и нейтралитет. Действительно, Руссо первым в Новое время провозгласил символ гражданской веры. Он первым оправдал наличие смертной казни в гражданском обществе и абсолютное подчинение подданного власти суверена. «Человек, чтобы не стать жертвой убийцы, соглашается умереть в том случае, если сам станет убийцей». Странное оправдание, но оно твердо устанавливает, что если суверен прикажет, то надо достойно умереть и, в случае необходимости, признать не свою, а его правоту. Это мистическое представление объясняет молчание Сен-Жюста с момента ареста до казни на эшафоте. Если его должным образом развить, то можно им же объяснить энтузиазм обвиняемых на сталинских процессах.

Здесь мы присутствуем при зарождении новой религии — со своими мучениками, аскетами и

святыми. Чтобы правильно оценить влияние, какое приобрело это новое евангелие, следует вспомнить восторженный тон заявлений 1789 года. Фуше восклицает над останками узников Бастилии: «Настал день откровения. Глас французской свободы поднял из земли мертвые кости; они дают показания против веков угнетения и смерти, они возвещают возрождение человеческой природы и жизни наций». Он пророчествует: «Мы достигли средины времен. Тираны созрели». Это миг восторженной и благородной веры, когда прекрасный народ рушит в Версале эшафот и орудие колесования[34]. Эшафоты предстают алтарями религии и несправедливости. Новая вера их не приемлет. Но наступает момент, когда вера, становясь догмой, воздвигает собственные алтари и требует безоговорочного поклонения. Тогда вновь появляются эшафоты, и, несмотря на все алтари, свободу, клятвы и праздники Разума, новая вера творит свою мессу в крови. Как бы там ни было, чтобы 1789 год ознаменовал воца-

[34] notes: 34

Та же идиллия наблюдается в России и в 1905 году, когда Петербургский совет выходит на демонстрации с лозунгом об отмене смертной казни, и в 1917 году.

рение «святого человечества»[35] и «Господа Бога человеческой породы»[36], вначале нужно было, чтобы исчез свергнутый суверен. Убийство короля-священника освятило наступление нового века, который длится и поныне.

Казнь короля

Идеи Руссо сделал историей Сен-Жюст. Суть его речи на королевском процессе сводилась к тому, что король не является неприкосновенным и судить его должен не трибунал, а Национальное собрание. Все свои аргументы он заимствовал у Руссо. Трибунал не может быть судьей между королем и сувереном. Общая воля не может быть выражена перед обычными судьями. Она выше всего этого. Иначе говоря, провозглашается нерушимость и трансцендентность этой воли. Известно, что предметом разбирательства на процессе была, напротив, неприкосновенность личности короля. Борьба между милостью и справедливостью нашла самое вызывающе наглядное подтверждение в 1789 году, когда не на

---

[35] notes: 35
Верньо.

[36] notes: 36
Анахарсис Клоотс.

жизнь, а на смерть схлестнулись две концепции трансцендентности. Отметим, что Сен-Жюст прекрасно сознавал, сколь велики ставки в этой игре: «Судить короля следует в том же духе, в каком будет установлена Республика».

Знаменитая речь Сен-Жюста имеет все признаки богословского трактата. «Людовик — чужестранец среди нас» — таков главный тезис этого обвинителя-подростка. Если бы короля еще связывал с его народом договор — естественный или гражданский, — то между ними существовали бы взаимные обязательства; воля народа не могла бы взять на себя роль абсолютного судьи и вынести абсолютный приговор. Следовательно, требовалось доказать, что ничто не связывает народ с королем. Чтобы доказать, что народ сам по себе является носителем вечной правды, требовалось продемонстрировать, что королевская власть как таковая является вечным преступлением. Поэтому Сен-Жюст выдвигает аксиому, согласно которой всякий король есть мятежник или узурпатор. Он восстает против народа, узурпируя абсолютный суверенитет. Монархия — это не король, «она — преступление». Не просто одно из преступлений, но преступление как таковое, то есть абсолютная профанация. Таков

при всем своем экстремизме точный смысл слов Сен-Жюста, которые было принято толковать в слишком широком значении[37]: «Никто не может править безнаказанно». Всякий король виновен, и если человек хочет стать королем, тем самым он фактически приговаривает себя к смерти. Ровно то же самое Сен-Жюст говорит, показывая дальше, что суверенитет народа есть «нечто священное». Граждане неприкосновенны и священны; они могут вступать между собой в конфликт только в рамках закона, выражающего их общую волю. Лишь Людовик не пользуется этой особой неприкосновенностью и защитой закона, поскольку он поставил себя вне договора. Он не является частью общей воли, так как самим своим существованием кощунствует против этой всемогущей воли. Он не «гражданин», тогда как гражданство — единственный способ быть причастным к молодому божеству. «Что такое король рядом с французом?» Значит, его должно судить и только судить.

Но кто озвучит эту волю и вынесет приговор? Национальное собрание, которому благодаря его

[37] notes: 37

Или, по меньшей мере, толковать их, забегая вперед. Когда Сен-Жюст произносит эти слова, он еще не знает, что они прямо касаются его самого.

природе делегировано право выражать эту волю и которое в силу своей соборности причастно новому божеству. Следует ли затем добиваться ратификации приговора народом? Известно, что роялисты в Национальном собрании настаивали на этом пункте. Тогда жизнь короля зависела бы не от умствований юристов-буржуа, а от непредсказуемых чувств простого народа, не лишенного сострадания. Но Сен-Жюст снова доводит свои рассуждения до логического конца, прибегая к выдуманному Руссо противопоставлению между общей волей и волей всех. Все люди могут простить, но общая воля простить не может. Даже сам народ не в состоянии стереть преступления тирана. Но разве в системе пра́ва жертва не может отозвать свой иск? Может, но перед нами не система права, а теология. Преступление короля — это грех против высшего порядка. Преступник совершает преступление — его прощают, или наказывают, или о нем забывают. Но королевская власть — это перманентное преступление, связанное с личностью короля и самим его существованием. Сам Христос, прощая грешников, не может явить милость к ложным богам. Они должны или победить, или исчезнуть. Если сегодня народ простит короля, то завтра обнаружится,

что преступление никуда не делось, как будто преступник спокойно спит в тюрьме. Поэтому выход всего один: «Отомстить за убийство народа казнью короля».

В своей речи Сен-Жюст один за другим отсекает все возможные варианты решения королевской судьбы, пока не остается последний — эшафот. Действительно, если отталкиваться от посылок «Общественного договора», подобный выход становится логически неизбежным. После него «короли скроются в пустыне, и природа снова вступит в свои права». Никакие колебания Конвента и никакие его оговорки — дескать, речь идет не о суде над Людовиком, а о мере безопасности — не могли ничего изменить. Конвент просто пытался обойти собственные принципы и лицемерно закамуфлировать свою истинную цель — создание нового абсолютизма. По меньшей мере один из его членов, Жак Ру, сказал правду, назвав Людовика последним королем; это означало, что подлинная революция, уже свершившаяся в экономике, теперь совершалась в философии и знаменовала собой сумерки богов. Если 1789-й был годом атаки на принцип теократии, то 1793-й стал годом уничтожения ее живого воплощения. Бриссо был прав, заявляя:

«Самый прочный монумент нашей революции — это философия»[38].

21 января с убийством короля-священника завершается то, что не зря назвали страстями Людовика XVI. Безусловно, именовать величайшим событием нашей истории убийство слабого и доброго человека попросту отвратительно. Этот эшафот — ни в коем случае не вершина. Тем не менее по своим мотивам и последствиям суд над королем знаменует переход к современной истории. Он символизирует десакрализацию истории и развоплощение христианского Бога. До сих пор Бог вмешивался в историю, действуя через королей. Но его исторического представителя убивают, и короля больше нет. Следовательно, от Бога остается только видимость, отосланная в небесную высь принципов[39].

Революционеры могли сколько угодно ссылаться на Евангелие, на самом деле они нанесли христианству чудовищный удар, от которого оно до сих пор не оправилось. Судя по всему, казнь короля, за которой последовала целая череда судорожных самоубийств и сумасшествий,

---

[38] notes: 38
Его правоту подтверждают также Вандея и религиозная война.

[39] notes: 39
Именно таков Бог Канта, Якоби и Фихте.

совершалась с полным осознанием творимого. Наверное, Людовик XVI иногда испытывал сомнения в своем божественном праве, хотя постоянно отказывался рассматривать какие бы то ни было законопроекты, наносившие ущерб его вере. Но с того момента, когда он догадался или узнал о своей дальнейшей судьбе, он — и свидетельством тому его язык — полностью отождествил себя со своей божественной миссией и недвусмысленно заявил, что покушение на его особу равнозначно покушению на царя-Христа, то есть на божественное воплощение, а не на плоть испуганного человека. Его настольной книгой в Тампле было «Подражание Иисусу Христу». Кротость и достоинство, с какими этот не слишком сентиментальный человек вел себя в свои последние минуты, его реплики, свидетельствующие о полной отрешенности от внешнего мира, и, наконец, его мгновенное малодушие, когда он поднимался на эшафот под чудовищный грохот барабанов, заглушающий его голос, такой далекий от народа и все еще не утративший надежды быть им услышанным, — все это позволяет предположить, что к смерти восходил не Капет, а Людовик, наделенный божественным правом, и вместе с ним в каком-то смысле умирало мирское

христианство. Эту сакральную связь подчеркнул его духовник, поддержавший его в миг слабости напоминанием о его «сходстве» со страдающим Богом. Тогда к Людовику XVI возвращается сила духа, и он повторяет слова Бога: «Я выпью эту чашу до дна». После чего, дрожа, отдает себя в грязные руки палача.

Религия добродетели

Религия, казнившая прежнего суверена, должна основать власть нового; она закрывает церковь, что вынуждает ее пробовать воздвигнуть храм. Божественная кровь, окропившая священника, сопровождавшего Людовика XVI, возвещает новое крещение. Жозеф де Местр называл Революцию сатанинской. Мы понимаем, почему и в каком смысле. Ближе к истине подошел Мишле, сравнивший ее с чистилищем. Эпоха слепо устремляется в туннель навстречу новому свету, новому счастью и лику истинного бога. Но кто он, этот новый бог? За ответом на этот вопрос снова обратимся к Сен-Жюсту.

1789 год пока утверждает не божественность человека, а божественность народа, поскольку его воля совпадает с волей природы и разума. Свободно выражаемая общая воля не может быть

ничем иным, кроме универсального выражения разума. Если народ свободен, он непогрешим. После того как умер король и пали цепи прежней деспотии, народ наконец сможет выразить то, что повсюду и во все времена было, есть и будет истиной. Народ — это оракул, к которому следует обращаться, чтобы узнать, каковы требования вечного мирового порядка. *Vox populi, vox naturae*. Нашим поведением управляют вечные принципы: Истина, Справедливость, наконец, Разум. Это и есть новый бог. Высшее существо, которое прославляют юные девушки на празднествах в честь Разума, — это тот же самый старый бог, но развоплощенный и внезапно оторванный от земли; его, как мячик, запускают в пустые небеса великих принципов. Лишенный представителей и какого бы то ни было посредника, бог философов и адвокатов имеет ценность, требующую доказательства. На самом деле он слаб, и мы понимаем, почему Руссо, отстаивавший терпимость, считал, что атеисты заслуживают смертной казни. Чтобы долго поклоняться теореме, веры недостаточно — нужна еще полиция. Впрочем, это произойдет позже. В 1793 году новая вера еще ничем не запятнана; если верить Сен-Жюсту, для управления довольно разума. По

его мнению, до сих пор искусство управления порождало лишь монстров, поскольку правители не желали прислушиваться к голосу природы. Но время монстров кончилось, как и время насилия. «Человеческое сердце движется от природы к насилию, а от насилия к морали». Следовательно, мораль — это и есть природа, наконец обретенная после веков отчуждения. Достаточно дать человеку законы «согласно природе и его сердцу», и он перестанет быть несчастным и испорченным. За всеобщим избирательным правом — основой новых законов — неизбежно последует всеобщая мораль. «Наша цель — создать такой порядок вещей, при котором установится всеобщая склонность к добру».

Религия разума естественным образом устанавливает республику законов. Общая воля находит свое выражение в законах, издаваемых ее представителями. «Народ совершает революцию, законодатель творит республику». В свою очередь, «бессмертные, беспристрастные, защищенные от человеческого безрассудства» институты станут в полном единении и, не вступая в противоречия, управлять жизнью людей, поскольку все, подчиняясь законам, будут подчиняться сами себе. «Вне закона, — говорит

Сен-Жюст, — все бесплодно и мертво». Это Римская республика, основанная на формальном праве. Известно, что Сен-Жюст и его современники восторгались римской античностью. Молодой декадент из Реймса, часами сидевший взаперти у себя в каморке, оклеенной похоронными черными обоями с белым орнаментом в виде слез, мечтал о спартанской республике. Автор «Органта» — длинной и непристойной поэмы — испытывал настоятельную потребность в умеренности и добродетели. Он предлагал не давать детям мяса до шестнадцати лет и мечтал о народе вегетарианцев и революционеров. «После римлян мир опустел», — заявлял он. Но опять слышна поступь героических времен, и появятся новые Катон, Брут и Сцевола. Снова расцветет риторика латинских моралистов. «Порок, добродетель, продажность» — эти понятия без конца мелькают в речах той эпохи, особенно в выступлениях Сен-Жюста, отличающихся редкой тяжеловесностью. Причина тому проста. Столь прекрасное здание, как верно отметил Монтескье, не могло обойтись без добродетели. Французская революция, претендуя на строительство истории на принципе абсолютной чистоты, открывала одновременно и новые храмы, и эру категоричной морали.

В самом деле, что такое добродетель? Для буржуазного философа той поры — согласие с природой[40], а в политике — соответствие закону, выражающему общую волю. «Мораль, — говорит Сен-Жюст, — сильнее тиранов». Действительно, она только что убила Людовика XVI. Следовательно, неповиновение закону происходит не в силу несовершенства этого закона, что, как предполагается, невозможно, а в силу недостатка добродетели у непокорного гражданина. Вот почему республика — это не только сенат, как решительно заявляет Сен-Жюст, это еще и добродетель. Всякая моральная испорченность одновременно представляет собой и политическую испорченность, и наоборот. Тогда устанавливается принцип бесконечного подавления, вытекающий из самого учения. Наверное, Сен-Жюст был искренен в своем желании установления всеобщей идиллии. Он и правда мечтал о республике аскетов и о человечестве, забывшем о распрях и с детской наивностью предающемся целомудренным играм под надзором мудрых старцев, которых он заранее украсил трехцвет-

[40] notes: 40

Но и сама природа, как она описана у Бернардена де Сен-Пьера, согласуется с предустановленной добродетелью. Природа — тоже абстрактный принцип.

ным шарфом и белым султаном. Известно также, что с начала революции Сен-Жюст, как и Робеспьер, высказывался против смертной казни. Он требовал лишь, чтобы убийцы до скончания своих дней носили черные одежды. Он стремился к справедливости, которая «ищет в обвиняемом не вину, а слабость», что восхитительно. Кроме того, он мечтал о республике всепрощения и признании того, что твердое древо преступления растет из мягких корней. Хотя бы один из его возгласов идет прямо от сердца и оставляет незабываемое впечатление: «Мучить народ — это ужасно». Да, это ужасно. Но, ощущая сердцем этот ужас, человек может подчиниться принципам, которые в конечном итоге предполагают мучение народа.

Абсолютная мораль становится всепожирающей. Перефразируя Сен-Жюста, можно сказать, что никто не бывает добродетельным безнаказанно. Кто виноват в том, что законы не приводят к согласию, а единство, основанное на принципах, распадается? Мятежники. Кто они такие? Те, кто своей деятельностью отрицает необходимость единства. Мятеж раскалывает суверена. Следовательно, он равнозначен святотатству и преступлению. С ним и только с ним нужно бороться. Но что делать, если мятежников много?

Их всех следует безоговорочно уничтожить. «Или добродетели, или Террор», — восклицает Сен-Жюст. Свободу требуется закалять, и вот Конвент обсуждает законопроект о введении смертной казни. Абсолютная добродетель недостижима, и республика всепрощения по неумолимой логике переходит в республику гильотины. Еще Монтескье изобличил эту логику, назвав ее одной из причин упадка общества; злоупотребление властью, говорил он, особенно велико там, где оно не предусмотрено законом. Чистый закон Сен-Жюста не учел старую, как сама история, истину, согласно которой закон по своей сути обречен на нарушения.

Террор

Современник де Сада Сен-Жюст пришел к оправданию преступления, хотя исходил из совершенно иных принципов. Сен-Жюст — это, пожалуй, анти-Сад. Если маркиз мог бы взять на вооружение девиз: «Откройте тюрьмы или докажите свою добродетель», то девиз члена Конвента звучал бы так: «Докажите свою добродетель или отправляйтесь в тюрьму». Вместе с тем оба они легитимизируют терроризм: распутник Сад — индивидуальный, проповедник

добродетели Сен-Жюст — государственный. И абсолютное добро, и абсолютное зло, доведенные до логического конца, требуют равной ярости. Разумеется, случай Сен-Жюста отличается двойственностью. Письмо, которое он пишет Вилену д'Обиньи в 1792 году, отдает безумием. Этот символ веры гонимого гонителя завершается судорожным признанием: «Если Брут совсем не убивает других, он убьет себя». За неизменно суровым, сознательно холодным, логичным и неколебимым персонажем вдруг проступает мятущаяся в хаосе душа. Сен-Жюст первым изобрел ту серьезную тональность, которая превратила историю двух последних веков в столь скучный черный роман. «Тот, кто шутит, находясь на вершине власти, — замечает он, — имеет склонность к тирании». Поразительная максима, особенно если вспомнить, чем тогда было чревато малейшее подозрение в тирании и чьими стараниями приближалось время кесарей-педантов. Сен-Жюст подает пример — категорична сама тональность его высказываний. Этот каскад безапелляционных утверждений, этот аксиоматичный и нравоучительный стиль дают более точное представление об их авторе, нежели любые самые верные его портреты. Мурлыканье

сентенций, словно бы исходящих из мудрости самой нации, и якобы научные определения следуют друг за другом как холодные точные приказы. «Принципы должны быть умеренными, законы — неумолимыми, наказание — безоговорочным». Это и есть стиль гильотины.

Тем не менее подобное ужесточение логики подразумевает глубокую страсть. И здесь мы снова, как и прежде, встречаемся со страстью к единению. Всякий бунт предполагает единство. В 1789 году это призыв к объединению родины. Сен-Жюст мечтает об идеальном городе, нравы которого, наконец отвечающие законам, с блеском продемонстрируют невинность человека и тождество его природы с разумом. Если эту мечту попытаются извратить мятежники, то логика отступит перед страстью. Мысль о том, что принципы могут быть ошибочными — иначе почему существуют мятежники? — не приходит ему в голову. Мятежники преступны потому, что принципы необсуждаемы. «Всем пора вернуться к морали, а аристократии — к Террору». Но мятеж поднимают не только аристократы, но и республиканцы, а вместе с ними — все, кто критикует деятельность Законодательного собрания и Конвента. Все они также виновны,

поскольку угрожают единству. Тогда Сен-Жюст провозглашает великий принцип тираний XX века: «Патриот — это тот, кто поддерживает республику в общем и целом; тот, кто критикует ее в деталях, — предатель». Итак, тот, кто позволяет себе критику, — тот предатель; тот, кто не выражает республике оголтелой поддержки, вызывает подозрение. Если разума и свободного волеизъявления индивидуумов недостаточно для систематического поддержания единства, надо решиться и отсечь от него чужеродные элементы. Главным аргументом в споре становится нож гильотины, с помощью которого и происходит это отсечение. «Вор, приговоренный трибуналом к смертной казни, заявляет, что сопротивляется гонениям лишь потому, что пытается избежать эшафота!» Нам трудно понять возмущение Сен-Жюста, ведь до него эшафот как раз и служил одним из самых ярких символов гонений. Но внутри этого логичного бреда, в сформулированной в предельном виде этике добродетели эшафот становится свободой. Он обеспечивает рациональное единство и гармонию города. Он очищает — именно так — республику и устраняет недостатки, мешающие проявлению общей воли и универсального разума. «Мне отказывают в зва-

нии филантропа! — восклицал Марат, выступая совсем в другом стиле. — О, какая несправедливость! Неужели не видно, что я хочу отрубить небольшое число голов, чтобы спасти гораздо большее?» Небольшое число? Всего одну фракцию? Наверное. И всякое историческое действо совершается той же ценой. Но Марат, хорошенько подсчитав, потребовал двести семьдесят три тысячи голов. Яростно призывая к массовым казням: «Клеймите их каленым железом, отсекайте им пальцы, вырывайте у них язык!» — он компрометировал терапевтический аспект предлагаемой операции. Тот же филантроп с поразительно монотонным однообразием день и ночь писал о необходимости убивать ради созидания. Он писал даже сентябрьскими ночами, в темноте своей каморки, при свете единственной свечи, а убийцы в это время устанавливали во дворе тюрьмы скамьи для зрителей — мужчины справа, женщины слева, — чтобы в качестве наглядного примера филантропии продемонстрировать им, как перерезают горло нашим аристократам.

Мы ни на секунду не должны смешивать грандиозную фигуру Сен-Жюста с унылым Маратом — по меткому замечанию Мишле, обезьяной Руссо. Но драма Сен-Жюста заключается в том,

что он, руководствуясь высшими побуждениями и глубочайшей взыскательностью, временами пел в один голос с Маратом. Раскол продолжался, число меньшинств росло, и он уже сам не верил в то, что эшафот служит целям воли всех. Но все-таки Сен-Жюст до конца утверждал, что этот эшафот служит целям общей воли, то есть целям добродетели. «Такая революция, как наша, — это не процесс, а громовой раскат, поражающий злодеев». Добро грохочет, невинность вспыхивает молнией, и молния карает преступников. В контрреволюционеры попадают даже жуиры — особенно жуиры. Сен-Жюст, заявлявший, что идея счастья для Европы внове (откровенно говоря, она была внове для Сен-Жюста, ибо для него история остановилась на Бруте), замечает, что некоторые разделяют «ужасную идею счастья, которое путают с удовольствием». Эти тоже заслуживают кары. В конце концов, речь уже не идет о большинстве и меньшинстве. Вожделенный потерянный рай универсальной невинности отдаляется все больше; на несчастной земле, оглашаемой воплями войн, Сен-Жюст вопреки себе и своим принципам провозглашает, что в час, когда родина в опасности, виновны все. Череда отчетов о зарубежных фракциях, закон от 22

прериаля, речь от 15 апреля 1794 года о необходимости полиции знаменуют этапы его обращения в новую веру. Человек, который с искренним благородством призывал не складывать оружия, пока на земле остается хоть один раб и хозяин, ибо это подло, теперь вынужден соглашаться на приостановление действия Конституции 1793 года и на произвол. В речи в защиту Робеспьера он отрицает славу и бессмертие и ссылается исключительно на абстрактное провидение. Тем самым он признает, что наградой добродетели, служившей ему религией, может быть только история и настоящее и что добродетель должна любой ценой основать собственное царство. Он не любил «жестокую и злую власть», которая, по его словам, «без закона движется к угнетению». Но закон диктуется добродетелью и исходит от народа. Если народ слаб, закон теряет ясность и гнет увеличивается. В этом виноват народ, а не власть, которая в принципе невинна. Столь вопиющее, кровоточащее противоречие могло быть разрешено только еще более жестокой логикой и окончательным — молчаливым даже под страхом смерти — приятием провозглашенных принципов. По меньшей мере Сен-Жюст остался на уровне этих притязаний. В них он наконец об-

рел свое величие и свободу в веках и на небесах, о которой говорил с такой страстью.

Сен-Жюст действительно предчувствовал, что выдвигаемые им принципы потребуют от него полной самоотдачи; не зря он говорил, что те, кто совершает в мире революции, «те, кто творит добро», могут спать только в могиле. Убежденный, что эти принципы, дабы восторжествовать, должны найти смысл в добродетели и счастье народа, но, возможно, догадываясь, что это недостижимо, он заранее отрезал себе пути к отступлению, публично заявив, что заколется в тот день, когда разочаруется в народе. День разочарования настал, поскольку он усомнился в пользе Террора. «Революция заморожена; все принципы поколеблены; остались только красные колпаки на голове интриганов. Применение Террора притупило восприятие преступления, как крепкая настойка лишает чувствительности нёбо». Сама добродетель «во времена анархии объединяется с преступлением». Он говорил, что все преступления исходят от тирании, которая сама является первым из преступлений, но перед непрекращающимся валом преступлений сама Революция прибегает к тирании и становится преступной. Следовательно, невозможно сокра-

тить преступность, как невозможно победить раскол и неистребимую тягу к наслаждениям; остается признать, что народ не оправдал возложенных на него надежд, а потому должен быть порабощен. Но и управлять, сохраняя невиновность, невозможно. Значит, надо терпеть зло или служить ему; надо признать, что либо принципы ошибочны, либо народ и люди как таковые виновны. И тогда загадочный и прекрасный Сен-Жюст делает резкий разворот: «Что за малость — расстаться с жизнью, в которой приходится быть или сообщником, или немым свидетелем зла». Брут, которому пришлось убить себя или других, начал с убийства других. Но других слишком много, всех не убьешь. Значит, остается умереть самому, еще раз доказав, что необузданный бунт колеблется от уничтожения других до самоуничтожения. Но эта задача хотя бы решается легко: достаточно лишь исполнить задуманное. В речи в защиту Робеспьера, произнесенной незадолго до смерти, Сен-Жюст еще раз настаивает на великом принципе, которым он руководствовался в своих действиях и который ляжет в основу его обвинения: «Я не принадлежу ни к одной фракции; я буду бороться с ними всеми». Тем самым он заранее принимал решение

общей воли, то есть Национального собрания. Он был готов идти на смерть из любви к принципам и вопреки всякой реальности, поскольку мнение Национального собрания формировалось исключительно красноречием и фанатизмом той или иной фракции. Что поделаешь! Если принципы дают сбой, люди могут спасти их и свою веру единственным способом — умереть ради них. В удушливой жаре июльского Парижа Сен-Жюст, упорно отказываясь признавать реальность мира, доверительно сообщает, что отдает свою жизнь во власть принципов. В то же время он, кажется, мельком замечает, что есть и другая правда, весьма умеренно высказываясь об обвиняемых Бийо-Варенне и Колло д'Эрбуа: «Мне хотелось бы, чтобы они оправдались, а мы стали мудрее». Стиль гильотины, казалось бы, на миг отступает. Но добродетель — это не мудрость, ибо в ней слишком много гордыни. И нож гильотины опустится на эту голову — прекрасную и холодную, как мораль. С момента оглашения Национальным собранием смертного приговора и до мига казни Сен-Жюст не произнесет ни слова. Это его молчание важнее самой смерти. Когда-то он сетовал, что троны окружены молчанием, и потому ему так хотелось красноречия. Но в кон-

це, презирая и тиранию, и загадочный народ, не способный подчиниться чистому разуму, он сам умолкает. Его принципы не согласуются с тем, что есть; вещи не таковы, какими они должны быть; следовательно, остаются только немые и неизменные принципы. Предаться им — значит умереть в истине, умереть от невозможной любви, которая есть противоположность любви. Сен-Жюст умирает, и вместе с ним умирает надежда на новую религию.

«Для здания свободы все камни вытесаны, — говорил Сен-Жюст. — Вы можете выстроить из одних и тех же камней и храм свободы, и ее усыпальницу». Возведение усыпальницы, которую запечатал Наполеон Бонапарт, осуществлялось на принципах «Общественного договора». Руссо, в достаточной мере наделенный здравым смыслом, понимал, что общество его «Договора» годится только для богов. Но последователи восприняли его заветы буквально и попытались сотворить божественность человека. Красное знамя — при прежнем режиме символ закона военного времени, то есть исполнительной власти, — 10 августа 1792 года стало революционным символом. Знаменательный переход, которому Жорес дает следующий комментарий: «Право — это мы,

народ. Мы не бунтовщики. Бунтовщики сидят в Тюильри». Но богом не становятся так просто. Даже старые боги не умирают от первого удара, и завершить уничтожение божественного принципа придется революциям XIX века. Тогда Париж восстанет, чтобы поставить короля под власть народного закона и помешать ему восстановить принцип авторитаризма. Труп, который инсургенты 1830 года протащили по залам Тюильри и усадили на трон, дабы воздать ему издевательские почести, имеет именно такое значение. В эту эпоху король еще может быть уважаемым уполномоченным, но теперь его полномочия даются народом, а законом для него является Хартия. Он больше не Величество. Тогда начинается окончательное падение старого режима во Франции, хотя для упрочения нового понадобится дождаться 1848 года; с тех пор и до 1914 года история XIX века будет историей реставрации народных суверенитетов против устаревших монархий, историей утверждения гражданского принципа. Этот принцип восторжествует в 1919 году, когда по всей Европе прокатится волна низложений старорежимных абсолютных

монархий[41]. Повсюду на смену суверенитету королей на законном и разумном основании приходит суверенитет народов. Только тогда смогут проявиться последствия принципов 89-го года. Мы, ныне живущие, можем первые вынести об этом ясное суждение.

Якобинцы ужесточили вечные моральные принципы в той мере, в какой они уничтожили все, что до тех пор служило этим принципам поддержкой. Проповедники Евангелия, они возжелали основать братство на абстрактном римском праве. Божественный Завет они заменили законом, полагая, что его признают все, ведь он являл собой выражение общей воли. Закон находил оправдание в природной добродетели и, в свою очередь, оправдывал эту добродетель. Но стоило появиться всего одной отколовшейся фракции, как все логическое построение обрушилось и стало очевидно, что добродетель, чтобы не быть абстракцией, нуждается в каком-то обосновании. Тем самым буржуазные юристы XVIII века, погребая под своими принципами справедливые

[41] notes: 41

Это не коснется только испанской монархии. Зато пала немецкая империя, о которой Вильгельм II говорил: «Она свидетельствует о том, что мы, Гогенцоллерны, получили свою корону только от небес и должны отчитываться только перед небесами».

и живые завоевания народа, подготовили приход обоих современных нигилизмов: индивидуального и государственного.

В самом деле, закон может властвовать, пока он являет собой закон универсального Разума[42].

Но он никогда не бывает таковым и теряет свое оправдание, если человек от природы не добр. Наступает день, когда идеология сталкивается с психологией. Тогда больше нет законной власти. Следовательно, закон эволюционирует, пока не сольется в одно целое с законодателем и новым произволом. Как тут выбрать верное направление? Закон теряет ориентиры; становясь все более расплывчатым, он приходит к тому, что признает преступным все без исключения. Закон царит по-прежнему, но он более не ведает границ. Сен-Жюст предвидел это наступление тирании, творимой от имени безмолвствующего народа. «Ловкое преступление будет возведено в ранг чего-то наподобие религии, а мошенники займут место в священном ковчеге». Но это неизбежно. Если великие принципы ни на чем не основаны, если закон выражает лишь временную

[42] notes: 42

Гегель метко заметил, что философия Просвещения пыталась освободить человека от иррационального. Разум объединяет людей, разделяемых иррациональным.

тенденцию, его либо постоянно преступают, либо навязывают силой. Сад или диктатура, терроризм индивидуальный или государственный — и то и другое имеет единственное оправдание, которое состоит в отсутствии оправдания; такова, начиная с момента, когда бунт отсекает собственные корни и освобождается от конкретной морали, одна из альтернатив XX века.

Но мятежное движение, зародившееся в 1789 году, не может там же остановиться. Для якобинцев Бог не совсем умер, как и для романтиков. У них все еще остается Верховное существо. Разум в некотором смысле еще играет роль посредника и предполагает некий предшествующий порядок. Но Бог уже как минимум развоплощен и сведен к теоретическому бытию морального принципа. Буржуазия властвовала на протяжении всего XIX века только благодаря опоре на эти абстрактные принципы. Просто, не обладая достоинствами Сен-Жюста, она использовала эту опору как алиби, при всяком удобном случае оперируя противоположными ценностями. Продажная по сути и чудовищно лицемерная, именно она способствовала окончательной дискредитации тех принципов, на которые ссылалась. В этом отношении ее вина безмерна. Как только ставятся под

сомнение вечные принципы и формальная добродетель, как только происходит дискредитация какой бы то ни было ценности, разум начинает метаться, не имея иных опор, кроме собственных успехов. Ему захочется властвовать, отрицая все, что было, и утверждая все, что будет. Он станет победительным. Русский коммунизм, яростно критикуя формальную добродетель, завершит бунтарскую эпопею XIX века отрицанием всякого высшего принципа. За цареубийствами XIX века последуют богоубийства века XX, которые доведут до конца логику бунта и захотят превратить землю в царство человека-бога. Начнется господство истории, и человек, отождествляя себя только со своей историей, предав свой настоящий бунт, отныне отдаст все свои силы нигилистическим революциям XX века, отрицающим всякую мораль и безуспешно стремящимся к объединению рода человеческого через мучительное накопление преступлений и войн. Якобинскую революцию, пытавшуюся учредить религию добродетели и на ее основе создать единство, сменят циничные революции, как правые, так и левые, которые поставят своей целью завоевать весь мир и наконец основать религию человека. Все, что было Богово, отныне будет отдано кесарю.

Богоубийства

В якобинском небе еще мерцали справедливость, разум и правда; эти неподвижные звезды все-таки могли еще служить точкой отсчета. Немецкие мыслители XIX века, в частности Гегель, пытались продолжить дело Французской революции[43], ликвидировав причины ее поражения. По мнению Гегеля, абстрактный характер якобинских принципов изначально уже содержал в себе идею Террора. Он полагал, что абсолютная и абстрактная свобода ведет к терроризму, а полновластие абстрактного права совпадает с угнетением. Например, Гегель отмечает, что период от Августа до Александра Севера (235 г.) — это время высшего расцвета не только юриспруденции, но и самой жестокой тирании. Для преодоления этого парадокса следовало стремиться к созданию конкретного общества, основанного на живом, а не на формальном принципе, общества, в котором свобода мирилась бы с необходимостью. Универсальному, но абстракт-

[43] notes: 43

А также Реформации, которую Гегель называл «Немецкой революцией».

ному разуму Сен-Жюста и Руссо немецкая мысль в конце концов нашла замену в виде менее искусственного, зато еще более двусмысленного понятия конкретной универсальности. До сих пор разум возвышался над связанными с ним явлениями. Отныне он оказался включен в поток исторических событий, с одной стороны, освещая их, а с другой — обретая благодаря им плоть.

Можно с уверенностью сказать, что Гегель рационализировал все, включая иррациональное. Но в то же время он наделял разум безмерностью, заставляя его трепетать дрожью безрассудства, результаты чего мы наблюдаем по сию пору. Немецкая мысль придала тогдашней окаменелой философии внезапный импульс, сопротивляться которому было невозможно. Истина, разум и справедливость вдруг обрели воплощение в связи с будущностью мира. Но, вовлекая их в это вечное ускорение, немецкая идеология смешивала их бытие с их же движением, полагая, что завершение бытия совпадет с концом исторического становления — если таковое состоится. Ценности перестали служить ориентирами и превратились в цели. Что касается способов достижения этих целей, то есть жизни и истории, то они больше не могли руководствоваться никакой ранее су-

ществовавшей ценностью. Напротив, большая часть гегелевской аргументации заключается в доказательстве того, что банальная совесть — та самая, что подчиняется справедливости и правде, если допустить, что эти ценности существуют вне мира, — как раз и мешает утверждению этих ценностей. В этом случае правило, диктующее действие, становится самим действием, которое должно протекать в темноте, ожидая финального озарения. Разум, аннексированный романтизмом, — больше не что иное, как неизбывная страсть.

Цели остались прежними, вырос лишь размер притязаний; мысль обрела динамику, разум — будущность и победительность. Действие отныне определяется расчетом, исходя из требуемого результата, а не принципов и, следовательно, рассматривается как вечное движение. Точно так же все дисциплины XIX века отказываются от неизменяемости и стремления к классификации, характерных для мысли века XVIII. Как Дарвин вытеснил Линнея, так философы диалектической школы вытеснили архитекторов разума с их бесплодной гармонией. Тогда же рождается идея (враждебная всей античной мысли, как раз частично содержавшейся во французском

революционном духе) о том, что человек вовсе не наделен некоей раз и навсегда заданной человеческой природой и является не законченным созданием, а чем-то непредсказуемым, в становлении чего он сам в какой-то мере принимает участие. Вместе с Наполеоном и Гегелем, этим Наполеоном от философии, наступают времена эффективности. До Наполеона люди открыли для себя пространство Вселенной, после него — мировое время и будущее. Все это повлекло за собой глубочайшие изменения бунтарского духа.

Довольно странно, что философия Гегеля появляется на этом новом этапе развития бунтарского духа. Действительно, все его творчество в каком-то смысле прямо-таки дышит ненавистью к инакомыслию — он хотел быть выразителем духа примирения. Но это всего лишь одна из граней системы, которая с точки зрения метода является самой двусмысленной во всей философской литературе. Поскольку для него разумно все, что реально, постольку он оправдывает любые посягательства идеологии на реальность. То, что принято называть панлогизмом Гегеля, есть оправдание реального положения вещей. Но его пантрагизм ко всему прочему превозносит разрушение как таковое. Диалектика все примиряет,

и нет ни одной крайности, в противовес которой не явилась бы другая крайность; в мысли Гегеля, как и в любом великом философском учении, есть и то, что позволяет ее подправить. Но философские труды редко прочитываются одним лишь умом — гораздо чаще сюда примешивается сердце с его страстями, а их примирить между собой невозможно.

Как бы то ни было, революционеры XX века позаимствовали у Гегеля арсенал, позволивший им окончательно разрушить категоричные принципы добродетели. Они сохранили его взгляд на историю без трансценденции, сводимую к постоянным спорам и борьбе тех или иных носителей воли к власти. В своей критической ипостаси революционное движение наших дней — это прежде всего яростное изобличение лицемерия, властвующего в буржуазном обществе. Современный коммунизм, как и фашизм — в более легковесной форме, — претендует на разоблачение мистификации гнилой буржуазной демократии, ее принципов и добродетелей. До 1789 года оправданием королевского произвола служила божественная трансцендентность. После Французской революции трансцендентность формальных принципов разума или справедливости служит

оправданием господства, лишенного и справедливости, и разумного начала. Следовательно, эта трансцендентность есть маска, которую нужно сорвать. Бог умер, но, как предвидел Штирнер, надо убить и моральную основу тех принципов, в которых еще хранится память о Боге. Ненависть к формальной добродетели — этому опустившемуся свидетелю божественного и лжесвидетелю на службе несправедливости — остается одной из пружин современной истории. Век содрогается при мысли о том, что ничего чистого нет. Поэтому правилом становится нечистое, то есть история, и опустевшая земля покорится голой силе, которая и будет решать вопрос о божественности или небожественности человека. И тогда мы принимаем ложь и насилие, как принимают религию, — с тем же пафосом и рвением.

Но первой попыткой фундаментальной критики добропорядочности и разоблачения прекраснодушия и бесполезного позерства мы обязаны именно Гегелю, для которого идеология правды, красоты и добра играла роль религии безрелигиозного человека. Если Сен-Жюст был захвачен врасплох расколом, противоречащим его предполагаемому идеальному порядку, то Гегель не только не удивлен, но, напротив, настаивает на

том, что раскол лежит в основе духа. Для якобинца все добродетельны. Тенденция, заданная Гегелем и торжествующая в наши дни, напротив, предполагает, что никто не добродетелен, но все когда-нибудь станут добродетельными. По Сен-Жюсту, изначально царит идиллия, по Гегелю — трагедия. Но в итоге и то и другое приходит к тому же. Необходимо уничтожить тех, кто разрушает идиллию, или разрушить существующее и построить идиллию. В обоих случаях бал правит насилие. Преодоление Террора, предлагаемое Гегелем, приводит только к расширению Террора.

И это еще не все. Судя по всему, современный мир — это не что иное, как мир рабов и господ, поскольку современные идеологии, меняющие лик мира, научились у Гегеля осмысливать историю в категориях диалектики «господство — рабство». Если в первое утро творения под пустынным небом существует всего один господин и один раб, и даже если трансцендентного бога связывает с людьми только отношение господина и раба, то в мире не может быть иного закона, кроме закона силы. До сих пор в отношения между господином и рабом мог вмешаться только Бог или принцип, стоящий выше и господина, и раба, благодаря чему история людей не сводилась исключительно

к повести об их победах или поражениях. Усилия Гегеля, а затем и гегельянцев были направлены на обратное — на постепенное разрушение всякой трансцендентности и всякой тоски по трансцендентности. Хотя учение Гегеля гораздо полнее представлений левых гегельянцев, которые в конечном итоге взяли над ним верх, тем не менее именно он своей диалектикой господства и рабства дает XX веку решающее оправдание властного духа. Победитель всегда прав — таков урок, который мы можем извлечь из величайшей немецкой философской системы XIX века. Разумеется, в величественной постройке гегелевской архитектуры найдутся элементы, способные частично опровергнуть этот вывод. Но идеология XX века не стала цепляться за то, что было крайне неудачно названо идеализмом йенского философа. Образ Гегеля, возрожденный в русском коммунизме, был переиначен поочередно Давидом Штраусом, Бруно Бауэром, Фейербахом, Марксом и прочими левыми гегельянцами. Но нас интересует только Гегель, поскольку только он оказал влияние на историю нашего времени. Если Гегель и Ницше служат оправданием хозяе-

вам Дахау и Караганды[44], это не значит, что вся их философия достойна осуждения. Но это дает повод заподозрить, что какой-то из поворотов их мысли или логики мог привести к этим ужасным последствиям.

Ницшеанский нигилизм методичен. «Феноменология духа» — это еще и педагогическое произведение. Появившееся на стыке веков, оно поэтапно описывает воспитание совести на пути к абсолютной правде. Это своего рода метафизический «Эмиль»[45]. Каждый этап — это ошибка, кстати, сопровождающаяся почти всегда фатальными историческими санкциями, затрагивающими либо совесть, либо цивилизацию, в которой та находит свое отражение. Гегель поставил перед собой цель показать необходимость этих болезненных этапов. «Феноменология», если рассматривать один из ее аспектов, есть размышление об отчаянии и смерти. Просто

---

[44] notes: 44

Меньше опирающиеся на философию образцы того же мы находим в прусской, наполеоновской и царской полиции, а также в английских концлагерях Южной Африки.

[45] notes: 45

Сравнение Гегеля с Руссо справедливо в одном смысле. Судьба «Феноменологии» ничем не отличается от судьбы «Общественного договора», если говорить об их последствиях. Она сформировала политическую мысль своего времени. Кстати, учение об общей воле нашло отражение в гегелевской системе.

это отчаяние пытается предстать методичным, поскольку в конце истории оно должно преобразоваться в удовлетворение и абсолютную мудрость. Впрочем, у этой педагогики имеется дефект: она предполагает, что учиться у нее будут только отличники; ее уроки были восприняты дословно, тогда как словесная форма служила лишь выражением духа. То же самое относится к знаменитому анализу господства и рабства[46].

По Гегелю, животное обладает врожденным осознанием внешнего мира, самоощущением, но не самосознанием, что и отличает его от человека. Самосознание зарождается лишь в тот момент, когда человек осознает себя как обладающего знанием субъекта. Следовательно, самосознание — это прежде всего осознание себя. Для самоутверждения ему необходимо от-

[46] notes: 46

Дальнейшее представляет собой схематичное изложение диалектики господства и рабства. Нас здесь интересуют только выводы из этого анализа. Вот почему нам показалось необходимым изложить его по-новому, подчеркивая определенные тенденции в ущерб другим. В то же самое время это исключило бы критичность подхода. Хотя нетрудно заметить, что, если аргументация при помощи ряда уловок сохраняет логичность, она не может претендовать на установление настоящей феноменологии, поскольку опирается на полностью произвольную психологию. Польза и эффективность критики Гегеля Кьеркегором заключаются в том, что она часто опирается именно на психологию. Что, впрочем, ни в коей мере не отменяет ценности отдельных великолепных образцов аналитики Гегеля.

личаться от того, что им не является. Человек — это создание, которому для утверждения своего бытия и своего отличия от других необходимо отрицание. От природного мира самосознание отличает не просто созерцание, при котором происходит отождествление с внешним миром и наступает забвение себя, а желание, испытываемое по отношению к миру. Именно это желание напоминает самосознанию о том, что оно есть, показывая, что оно отличается от внешнего мира. В своем желании самосознание воспринимает мир как нечто, чего у него нет, но что существует и что оно хочет иметь ради собственного бытия, чтобы это нечто перестало существовать. Следовательно, самосознание — это всегда желание. Чтобы продолжать быть, его желание должно быть удовлетворено; самосознание не может найти удовлетворения, пока не утолит своего желания. Ради его утоления оно действует, тем самым отрицая и уничтожая желаемое. Самосознание — это отрицание. Действовать — значит разрушать, давая рождение духовной реальности сознания. Но разрушение объекта, не обладающего сознанием, например, куска мяса во время еды, есть животный акт. Потреблять еще не значит обладать сознанием. Необходимо, чтобы созна-

тельное желание было направлено на что-то еще кроме лишенной сознания природы. Единственная в мире вещь, отличная от природы, как раз и есть самосознание. Следовательно, нужно, чтобы желание было направлено на другое желание, чтобы одно самосознание удовлетворялось за счет другого самосознания. Говоря простым языком, пока человек ограничивается животным существованием, он не признается другими и самим собой человеком. Ему необходимо признание других людей. Всякое сознание в принципе есть желание получить признание и одобрение в этом качестве со стороны других сознаний. Мы суть порождение других людей. Только в обществе мы обретаем человеческую ценность, превосходящую ценность животную.

Для животного высшая ценность — это сохранение жизни, но сознанию, чтобы обрести человеческую ценность, необходимо подняться выше этого инстинкта. Оно должно быть способно поставить на кон свою жизнь. Чтобы получить признание со стороны другого сознания, человек должен быть готов рискнуть своей жизнью и примириться с возможностью гибели. Глубокие человеческие взаимоотношения базируются на чистом престиже и представляют собой вечную

борьбу, ставкой в которой является смерть, а целью — признание одного человека другим.

На первом этапе развития своей диалектики Гегель утверждает, что поскольку смерть является общей участью человека и животного, только согласие на смерть и даже ее желание отличают первого от второго. В разгар этой исконной борьбы за признание человек отождествляется с насильственной смертью. «Умри и стань» — этот традиционный девиз повторен Гегелем. Но формула «стань тем, что ты есть» меняется на формулу «стань тем, чем ты пока не являешься». Это примитивное и неистовое желание признания, смешиваемое с волей к бытию, находит удовлетворение только в постоянно расширяющемся признании — в пределе со стороны всех людей. Но, поскольку каждый хочет получить признание со стороны всех, борьба за жизнь прекратится, лишь когда все признают всех, и это будет конец истории. Бытие, к которому стремится гегелевское сознание, рождается в завоеванной высокой ценой славе коллективного одобрения. Кстати, в философии, вдохновившей наши революции, высшее благо на самом деле совпадает не с бытием, а с абсолютной кажимостью. Во всяком случае, вся человеческая история

— это лишь долгая смертельная борьба за универсальный престиж и абсолютную власть. Она по сути своей империалистична. Мы далеко отошли от доброго дикаря XVIII века и «Общественного договора». В шуме и ярости веков каждое сознание жаждет ради своего бытия смерти другого сознания. Помимо всего прочего эта трагедия непримиримости абсурдна, ведь если одно из сознаний будет уничтожено, то победившее сознание не добьется признания, ибо как можно получить признание от того, чего не существует? В действительности здесь философия кажимости упирается в свой предел.

Поэтому никакая человеческая реальность не зародится, если, по счастливому для системы Гегеля стечению обстоятельств, не окажется, что с самого начала существует два вида сознания, одному из которых не хватает смелости отказаться от жизни, и приходится признать другое сознание, не будучи, в свою очередь, признанным им. В сущности, это сознание соглашается считать себя вещью. Сознание, которое ради сохранения животной жизни отказывается от независимости, есть сознание раба. Сознание, добившееся признания и независимости, есть сознание господина. Они отличаются друг от

друга при взаимном столкновении, когда один из них склоняется перед другим. На этой стадии выбор стоит не между свободой и смертью, а между убийством и порабощением. Эта дилемма определит весь дальнейший ход истории, хотя здесь ее абсурдность еще не доведена до предела.

Само собой разумеется, что господин пользуется полной свободой по отношению, во-первых, к рабу, поскольку тот полностью его признал, и, во-вторых, к миру природы, поскольку раб своим трудом преобразует этот мир в предметы наслаждения, которые господин в вечном самоутверждении потребляет. Но автономия господина не абсолютна. К своему несчастью, господин пользуется признанием своей автономии со стороны сознания, за которым он сам не признает никакой автономии. Поэтому он не может достичь удовлетворения, и его автономия носит исключительно отрицательный характер. Господство есть тупик. Но, поскольку господин не может отказаться от своей роли господина и снова стать рабом, ему суждено жить в вечной неудовлетворенности или быть убитым. Исторически господин нужен только для того, чтобы пробуждать рабское сознание, которое одно творит историю. Действительно, раб не привязан к

своему состоянию и хочет его изменить. Поэтому он, в отличие от господина, может учиться; то, что называют историей, на самом деле лишь долгая череда усилий раба, направленных на обретение реальной свободы. Трудом и преобразованием мира природы в мир техники он уже освобождается от этой природы, лежащей в основе его рабства, ведь он не сумел подняться над ней, не соглашаясь принять смерть[47]. Унизительный для всякого живого существа страх смерти не может не поднять раба на уровень общечеловеческой полноты. Отныне он знает, что эта полнота существует, и ему остается лишь завоевать ее через долгую борьбу против природы и господ. Таким образом, история отождествляется с историей труда и бунта. Неудивительно поэтому, что марксизм-ленинизм извлек из этой диалектики современный идеал солдата-рабочего.

Мы оставим в стороне описание вариантов рабского сознания (стоицизм, скептицизм, несчастное сознание), приведенное на последующих страницах «Феноменологии». Но мы не можем

[47] notes: 47

На самом деле здесь довольно существенная двусмысленность, потому что речь идет не об одной и той же природе. Разве наступление мира техники отменяет в мире природы смерть или страх смерти? Вот в чем вопрос, но Гегель оставляет его за скобками.

отмахнуться от выводов, вытекающих из такого аспекта гегелевской диалектики, как сравнение отношения между господином и рабом с отношением между ветхозаветным Богом и человеком. Один из комментаторов[48] Гегеля отмечает, что, существуй господин на самом деле, он был бы Богом. Да и сам Гегель называет Господином мира реального Бога. Описывая несчастное сознание, он показывает, как христианский раб в своем стремлении к отрицанию того, что его угнетает, находит прибежище в потустороннем мире, тем самым обретая в лице Бога нового господина. Вместе с тем Гегель отождествляет верховного господина с абсолютной смертью. Следовательно, борьба возобновляется, но на более высоком уровне, и теперь она идет между порабощенным человеком и жестоким богом Авраама. Разрешение нового конфликта между универсальным богом и личностью дает Христос, в лице которого находят примирение универсальное и единичное. Но Христос в каком-то смысле есть часть воспринимаемого мира. Люди видели его, он жил и умер. Следовательно, он олицетворяет собой лишь этап на пути к универсальному и

[48] notes: 48
Jean Hyppolite. Genèse et structure de la Phénoménologie de l'esprit, p. 168.

тоже должен подвергнуться диалектическому отрицанию. Чтобы осуществить высший синтез, достаточно признать в нем богочеловека. Пропуская промежуточные этапы, ограничимся заключительным выводом, согласно которому этот синтез, воплощенный в Церкви и Разуме, завершается созданием абсолютного государства, воздвигнутого солдатами-рабочими; в этом государстве мировой дух находит наконец отражение в самом себе через взаимное признание каждого со стороны всех и во всеобщем примирении всего, что существует под солнцем. В миг, когда «видение духовное совпадает с телесным», каждое сознание становится лишь зеркалом, отражающим другие зеркала и до бесконечности отражающимся в повторяющихся образах. Град человеческий становится Градом Божьим; всеобщая история, этот мировой трибунал, вынесет оправдательный приговор и добру, и злу. Государство превратится в Судьбу и оправдание любой реальности, провозглашенной в «духовный день Богоявления».

Таково краткое изложение идей Гегеля, которые вопреки — или по причине крайне абстрактного характера буквально всколыхнули революционный дух, заставив его двигаться в явно разных

направлениях; теперь нам предстоит отыскать их следы в современной идеологии. Имморализм, научный материализм и атеизм, окончательно вытеснившие антитеизм прежних бунтовщиков, под парадоксальным влиянием Гегеля слились воедино с революционным движением, которое до того практически никогда не отделялось от своих нравственных, евангелических и идеалистических корней. Эти тенденции, порой весьма далекие от сути учения Гегеля, обрели свою силу в двусмысленности его идей и в его критике трансцендентности. Гегель окончательно разрушил всякую вертикальную трансцендентность, главным образом трансцендентность принципов, в чем его неоспоримая самобытность как мыслителя. В будущности мира он все-таки восстанавливает имманентность духа, но эта имманентность не задана раз и навсегда и не имеет ничего общего с древним пантеизмом. В мире дух и есть, и его нет; он примиряется с миром и снова в нем возникает. Поэтому ценность переносится к концу истории, а до тех пор нет ни одного критерия, на основе которого можно составить то или иное ценностное суждение. Надо действовать и жить, имея в виду будущее. Всякая мораль становится временной. Самой глубокой

тенденцией XIX и XX веков стала попытка жить без трансцендентности.

Комментатор[49], правда, левый гегельянец, но в этом вопросе вполне ортодоксальный, отмечает враждебность Гегеля моралистам и обращает наше внимание на то, что он признавал единственную аксиому — жить согласно законам и обычаям своего народа. Это максима социального конформизма, и действительно, мы находим у Гегеля ее подтверждение, притом выраженное в наиболее циничной форме. Впрочем, добавляет Кожев, этот конформизм легитимен лишь постольку, поскольку нравы народа соответствуют духу времени, иначе говоря, если только они прочны и способны противостоять революционной критике и революционным нападкам. Но кто будет судить об этой прочности и легитимности? Западный капиталистический строй на протяжении ста лет успешно противостоял самым яростным атакам. Означает ли это, что он легитимен? И наоборот, должны ли были сторонники Веймарской республики в 1933 году отвернуться от нее и присягнуть на верность Гитлеру только потому, что первая пала под натиском второго?

---

[49] notes: 49
Александр Кожев.

Следовало ли предать Испанскую республику, как только восторжествовал режим генерала Франко? Традиционная реакционная мысль ответила бы на эти вопросы утвердительно, ибо это было в ее интересах. Новизна заключалась в том, что ту же аргументацию восприняла мысль революционная, что оказалось чревато непредсказуемыми последствиями. Уничтожение всякой моральной ценности и всяких принципов, их замена фактом — калифом на час, но реальным калифом — не могли не привести ни к чему иному — и мы это наблюдали, — кроме политического цинизма, как на уровне индивидуума, так и, что еще страшнее, на уровне государства. Политические и идеологические движения, вдохновленные Гегелем, объединились в упорном отказе от добродетели.

В самом деле, Гегель не мог помешать тем, кто в Европе, уже раздираемой несправедливостью, читал его с вполне реальным страхом почувствовать себя заброшенными в мир, лишенный невинности и принципов, в мир, о котором сам Гегель говорил, что он греховен по сути, ибо отделен от Духа. Да, в конце истории Гегель отпускает все грехи. Но пока это время не настало, всякое человеческое действие несет на себе пе-

чать вины. «Невинность — это лишь отсутствие действия, бытие даже не ребенка, но камня». Но невинность камня нам чужда, а без невинности нет ни отношений, ни разума. Если разума нет, остается только голая сила, господин и раб, — и все это в ожидании того дня, когда разум наконец воцарится. Раб и господин — это отношения страдания в одиночку и беспочвенной радости, причем и то и другое они не заслужили. Но как же тогда жить, как все это переносить, если дружба откладывается до конца времен? Единственный выход — с оружием в руках насаждать правило. «Убить или поработить» — но те, кто читал Гегеля, охваченные собственной страстью, запомнили только первую посылку дилеммы. Из нее они черпали философию презрения и отчаяния, сами себя считая рабами и только рабами, связанными с абсолютным Господином смертью, а с земными господами — кнутом. Эта недобросовестная философия научила их только тому, что раб становится рабом с собственного согласия и может освободиться через отказ от рабства, совпадающий со смертью. Отвечая на этот вызов, самые гордые из них целиком отождествили себя с этим отказом, а потому были обречены на смерть. В конечном счете заявление о том, что

отрицание само по себе есть позитивный акт, заранее оправдывало отрицание чего угодно и предвещало призыв Бакунина и Нечаева: «Наше дело — разрушать, а не строить». Для Гегеля нигилист был просто скептиком, не видевшим иного выхода, кроме противоречия или философского самоубийства. Но он породил новую разновидность нигилистов, сделавших скуку принципом действия и отождествивших самоубийство с философским убийством[50]. Тогда рождаются террористы, которые решают, что ради бытия надо убивать и умирать, потому что человек и история творятся только через самопожертвование и убийство. Великую идею о том, что всякий идеализм пуст, если не требует риска для жизни, довели до логического завершения молодые люди, проповедовавшие ее не с университетской кафедры и умиравшие не в своих постелях, а под разрывами бомб или на виселице. Своими делами и даже ошибками они поправляли своего учителя и наперекор ему доказывали, что существует по меньшей мере одна аристократия,

[50] notes: 50

Несмотря на внешние признаки, этот нигилизм все еще остается ницшеанским постольку, поскольку представляет собой клевету на настоящую жизнь в угоду исторической потусторонней жизни, в которую силится уверовать.

превосходящая воспеваемую Гегелем отвратительную аристократию успеха, — аристократия самопожертвования.

Другая разновидность наследников Гегеля, изучившая его более серьезно, изберет вторую посылку дилеммы и заявит, что раб может освободиться, только если сам кого-либо поработит. Постгегельянские учения, оставив в стороне мистический аспект некоторых идей учителя, привели этих наследников к абсолютному атеизму и научному материализму. Но подобная эволюция требовала полного исчезновения принципа трансцендентности в качестве объяснения и разрушения якобинского идеала. Конечно, имманентность — это не атеизм. Но имманентность в движении — это, если можно так выразиться, временный атеизм[51]. Неясную фигуру Бога, который у Гегеля еще отражается в мировом духе, оказалось очень просто стереть. Из двусмысленной формулы Гегеля «Бог без человека значит не больше, чем человек без Бога» его последователи сделали далеко идущие выводы. Давид Штраус в

[51] notes: 51

В любом случае критика Кьеркегора заслуживает внимания. Увидеть основу божественности в истории означает парадоксальным образом увидеть основу абсолютной ценности в приблизительном знании. Понятие «вечно исторического» внутренне противоречиво.

«Жизни Иисуса» особо выделяет учение о Христе как о богочеловеке. Бруно Бауэр («Критика евангельской истории») закладывает основы своего рода материалистического христианства, настаивая на человечности Христа. Наконец, Фейербах (которого Маркс считал великим умом, называя себя его учеником и критиком) в «Сущности христианства», заменив всякую теологию религией человека и вида, обратит в свою веру значительную часть современной ему интеллигенции. Его задачей было показать, что различие между человеческим и божественным иллюзорно и представляет собой не что иное, как различие между сущностью человечества, то есть человеческой природой, и индивидуальностью. «Тайна Бога есть не более чем тайна любви человека к самому себе». Здесь мы слышим ноты нового и странного пророчества. «Индивидуальность заняла место веры, разум — место Библии, политика — место религии и Церкви, земля — место неба, труд заменил молитву, нищета стала земным адом, а человек — Христом». Следовательно, остается только ад, и этот ад на земле; вот против него и следует бороться. Политика — это религия, трансцендентное христианство, связанное с потусторонним миром; она усиливает земных

господ за счет отказа раба и создает еще одного господина на небесах. Вот почему атеизм и революционный дух суть две грани одного и того же освободительного движения. Таков ответ на постоянно возникающий вопрос: почему революционное движение отождествляет себя скорее с материализмом, чем с идеализмом? Потому что порабощение Бога, попытка заставить его служить себе означает убийство трансцендентности, поддерживавшей прежних господ, и подготовку пришествия новых, а вместе с ними эпохи человека-царя. Когда будет изжита нищета и разрешены исторические противоречия, «подлинным богом, богом человеческим, станет государство». *Homo homini lupus* превратится в *homo homini deus*[52]. Именно эта идея лежит в основе современного мира. Вместе с Фейербахом мы присутствуем при зарождении чудовищного оптимизма, который властвует и сегодня, судя по всему, представляя собой противоположность нигилистическому отчаянию. Но это лишь видимость. Необходимо ознакомиться с последними выводами Фейербаха в его «Теогонии», чтобы обнаружить за его пламенными идеями нигилистический ис-

[52] notes: 52
Человек человеку волк — человек человеку бог (*лат.*).

точник. Действительно, Фейербах, опровергая самого Гегеля, заявляет здесь, что человек есть то, что он ест, и формулирует свои мысли о будущем следующим образом: «Истинная философия заключается в отрицании философии. Никакой религии — такова моя религия. Никакой философии — такова моя философия».

Из двусмысленного мировоззрения, возлагающего заботу о создании ценностей и истины исключительно на историю, явятся во всеоружии такие гибельные последствия, как цинизм, обожествление истории и материи, индивидуальный террор или государственное преступление. Если никаких ясных представлений нельзя составить, пока не наступит конец времен и истина не станет очевидной, всякое действие будет произволом, а править миром будет сила. «Если реальность немыслима, — восклицал Гегель, — нужно выковать немыслимые понятия». Но немыслимое понятие, как и ошибочное, нуждается в выдуманном основании. В отличие от истинного, оно не может рассчитывать на убедительность, значит, должно быть навязано. Позиция Гегеля заключается в следующем: «Вот истина, кажущаяся нам, однако, заблуждением, но которая истинна именно потому, что

ей случается быть заблуждением. Что касается доказательства, то оно будет предоставлено не мной, а историей в ее завершении». Относиться к подобному подходу можно двояко: либо отказаться от каких бы то ни было подтверждений до тех пор, пока не будет предъявлено доказательство, либо принять как утверждение все, что исторически доказало свою успешность, а это в первую очередь сила. В обоих случаях мы имеем дело с нигилизмом. Как бы то ни было, мы не поймем сущности революционной мысли XX века, если оставим без внимания тот факт, что, по несчастному стечению обстоятельств, она черпала значительную часть своего вдохновения в философии конформизма и оппортунизма. Но все ее перверсии нисколько не затрагивают сущности истинного бунта.

В конечном счете интеллектуальное недоверие к Гегелю вызывают и всегда будут вызывать именно те посылки, на основе которых он пришел к своим выводам. Он полагал, что к 1807 году с приходом Наполеона и появлением его самого история завершилась, что стало возможным перейти к утверждению и что нигилизм побежден. «Феноменология», эта Библия, пророчествующая о прошлом, устанавливала границу времени.

В 1807 году были прощены все грехи и истекли все века. Но история продолжалась. В лицо миру вопиют другие грехи, заставляя вспомнить о позоре прежних преступлений, получивших от немецкого философа вечное отпущение. Самообожествление Гегеля, как и обожествление Наполеона, полностью оправданного за то, что он сумел остановить историю, продлилось всего семь лет. Вместо всеобщего согласия мир накрыло волной нигилизма. У философии, даже сервильной, есть свои Ватерлоо.

Но ничто не способно отвратить человеческое сердце от стремления к божественному. Появились и продолжают появляться другие фигуры, которые, забывая о Ватерлоо, все так же пытаются положить конец истории. Преклонение перед человеком по-прежнему на марше и движется к его полному обожествлению, которое должно совпасть с концом времен. Приходится обслуживать этот апокалипсис и, за неимением Бога, воздвигнуть хотя бы Церковь. История, которая пока еще не остановилась, позволяет предвидеть перспективу, вытекающую из гегелевской системы, но лишь потому, что направляют ее — если не временно тащат за собой — духовные сыны Гегеля. Когда философа Йенской битвы на пике

славы унесла холера, все было готово к последующему развитию событий. Небо опустело, а земля оказалась во власти беспринципной силы. На авансцену истории поочередно начнут выходить и те, кто избрал убийство, и те, кто смирился с рабством, — и все это во имя извращенно понятой правды бунта.

Индивидуальный терроризм

Теоретик русского нигилизма Писарев указывает, что самыми ярыми фанатиками становятся дети и молодежь. То же самое относится и к народам. Россия в ту эпоху представляла собой подростка, появившегося на свет не более века назад с помощью акушерских щипцов в руках царя, еще достаточно наивного, чтобы лично рубить головы бунтарям. Неудивительно, что немецкая идеология самопожертвования и разрушения достигла здесь крайней формы выражения, которую немецкие профессора если и допускали, то исключительно в мыслях. Стендаль считал, что немцы отличаются от других народов в первую очередь тем, что глубокие размышления их не только не успокаивают, а, напротив, приводят в смятение. С еще большим основанием

то же можно отнести к России. В этой молодой стране, лишенной собственной философской традиции[53], молодые люди — братья лицеистов Лотреамона с трагической судьбой, — вдохновившись идеями немецкой философии, воплотили ее выводы в кровавую действительность. Эстафету великого движения за освобождение человека перехватил «пролетариат семинаристов»[54], исказивший его облик до неузнаваемости. Вплоть до конца XIX века этих семинаристов никогда не насчитывалось больше нескольких тысяч человек. Тем не менее, противостоя самому жесткому для своего времени абсолютизму, они вознамерились освободить и в какой-то мере действительно способствовали освобождению сорока миллионов крестьян. Подавляющее большинство борцов заплатили за эту свободу самоубийством, казнью, каторгой или безумием. Вся история русского терроризма может быть сведена к борьбе горстки интеллигентов против тирании на глазах безмолвствующего народа. В

[53] notes: 53

Тот же Писарев отмечает, что Россия всегда импортировала идеологическую основу цивилизации. *См.*: *Armand Coquart*. Pisarev et l'idéologie du nihilisme russe.

[54] notes: 54

Достоевский.

конце концов их добытая дорогой ценой победа оказалась предана. Но своим самопожертвованием и даже своим крайним отрицанием они дали жизнь новой ценности или новой добродетели, которая еще и сегодня противостоит тирании и помогает настоящему освобождению.

Германизация России в XIX веке не была обособленным явлением. Влияние немецкой идеологии в это время распространилось повсеместно; известно, например, что XIX век во Франции стал временем германистики — достаточно вспомнить имена Мишле и Кине. Но в России эта идеология не встретила четко сформулированной философии, тогда как во Франции ей пришлось бороться с уравновешивающим ее анархическим социализмом. В России она оказалась на уже завоеванной территории. Первый русский университет, основанный в Москве в 1755 году, был немецким. Медленная колонизация России, начатая при Петре I, приглашавшем немецких учителей, чиновников и военных, усилиями Николая I преобразовалась в систематическую германизацию. В 1830-е годы интеллигенция страстно увлекается Шеллингом наравне с французами, в 1840-е — Гегелем, а во второй половине века — немецким соци-

ализмом, уходящим корнями в Гегеля. Русская молодежь вливает в эти абстрактные идеи свою безмерную пассионарную силу и переживает эти мертвые идеи как живые. Религии человека, уже сформулированной немецкими докторами, пока не хватало апостолов и мучеников. Эту роль сыграли русские христиане, отвернувшиеся от первоначального призвания. Ради этого им пришлось согласиться на жизнь без трансцендентности и без добродетели.

Отказ от добродетели

В 1820-е годы у первых русских революционеров — декабристов — добродетель еще присутствует. Эти аристократы еще не подвергли коррекции якобинский идеализм. Более того, речь идет о вполне осознанной добродетельности. «Наши отцы были сибаритами, — писал Петр Вяземский, — а мы — последователи Катона». К этому лишь добавляется чувство, которое впоследствии мы найдем у Бакунина и эсеров 1905 года, что страдание носит живительный характер. Декабристы заставляют вспомнить о французских аристократах, поддержавших третье сословие и отказавшихся от своих привилегий. В ночь на 4 августа эти патриции-идеалисты сдела-

ли свой выбор и принесли себя в жертву ради освобождения народа. Хотя у Пестеля имелись определенные представления о политическом и социальном устройстве общества, никакой стройной программы у декабристов не было; сомнительно даже, что они верили в успех своего провалившегося заговора. «Да, мы умрем, — сказал один из них накануне восстания, — но это будет прекрасная смерть». Действительно, это была прекрасная смерть. В декабре 1825 года по каре мятежников, выстроившихся на Сенатской площади Санкт-Петербурга, произвели несколько выстрелов из пушек; тех, кто выжил и был обвинен в активном участии, отправили на каторгу; пятерых зачинщиков повесили, причем так неумело, что казнь пришлось повторять дважды. Нетрудно понять, что вся революционная Россия с чувством восхищенного ужаса благоговела перед этими напрасными жертвами. У них ничего не получилось, зато они подали пример другим. Обозначив начало революционной истории, они показали правоту и величие того, что Гегель называл прекраснодушием и что вопреки всему стало точкой отсчета для всей русской революционной мысли.

В этой атмосфере экзальтации влияние фран-

цузской мысли уступило влиянию немецкой, навязавшей свои представления мятущимся умам, терзаемым жаждой мести и справедливости и в то же время чувством бессильного одиночества. Поначалу она была воспринята как откровение и в этом качестве удостоилась восторженных комментариев. Философское безумие охватило лучшие умы. Доходило до появления стихотворного переложения «Логики» Гегеля. Большинство русских интеллигентов увидели в гегелевской системе в первую очередь оправдание социального квиетизма. Достаточно осознать рациональность мира, а Дух в любом случае в конце времен реализует себя. Именно такой была первая реакция Станкевича[55], Бакунина и Белинского. Затем русская страстность отступила перед фактическим или по меньшей мере мысленным соглашательством с абсолютизмом и бросилась в другую крайность.

Наиболее показательна в этом отношении эволюция Белинского — одного из самых выдающихся и влиятельных мыслителей 1830—1840-х годов. Стоявший на платформе довольно туманного анархического идеализма, Белинский

[55] notes: 55

«Если мир управляется духом разума, я могу быть спокойным насчет всего остального».

внезапно открывает для себя Гегеля. В полночь у себя в комнате, потрясенный откровением, он, подобно Паскалю, заливается слезами и отрекается от старика: «Не существует ни случая, ни произвола: я прощаюсь с французами». Одновременно он становится консерватором и сторонником социального квиетизма. Он не испытывает никаких колебаний и со свойственной ему смелостью защищает свою позицию, как он ее чувствует. Но это благородное сердце оказывается на стороне того, что он ненавидит больше всего в мире, — на стороне несправедливости. Если все логично, значит, все оправданно. Приходится согласиться с существованием кнута, крепостничества и Сибири. На какой-то миг ему показалось, что, принимая мир со всеми его страданиями, он поступает великодушно — ведь он-то полагал, что речь пойдет о его собственных страданиях и противоречиях. Но выяснилось, что надо признать и чужое страдание, — и тут восстало его сердце. Он разворачивается в обратном направлении. Если нельзя согласиться с чужим страданием, значит, не все в этом мире оправданно, а история, во всяком случае в одном из аспектов, не совпадает с разумом. Но история должна быть разумной вся целиком, иначе она

вовсе не разумна. Одинокий протест человека, на краткое время успокоившего себя мыслью, что оправдать можно все, снова прорывается в виде пламенных речей. Белинский обращается непосредственно к Гегелю: «Со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что, если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории… Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братий по крови»[56].

Белинский понял, что его стремлением был не абсолют разума, а полнота бытия. Отождествлять одно и другое он отказывается. Он жаждет бессмертия цельного человека, воплощенного в его живой личности, а не абстрактного бессмертия вида, ставшего Духом. И с той же страстью он обличает своих новых противников, делая из великого спора с самим собой заключения, которыми обязан Гегелю, хоть он и оборачивает их против него же.

Эти заключения сводятся к бунту индивидуализма. Индивидуум не может принять историю

---

[56] notes: 56

Цит. по: *Herpner*. Bakounine et le panslavisme révolutionnaire. Riviére.

такой, какая она есть. Чтобы самоутвердиться, он должен не сотрудничать с реальной действительностью, а разрушить ее. «Отрицание — мой бог. В истории мои герои — разрушители старого — Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон («Каин»)». Здесь мы находим сразу всю тематику метафизического бунта. Разумеется, в России по-прежнему была жива французская традиция индивидуалистического социализма. Сен-Симон и Фурье, которых русские читали в 1830-е годы, и Прудон, с которым они познакомились в 1840-е, вдохновили великого мыслителя Герцена, а еще позже Петра Лаврова. Но эта философия, связанная с моральными ценностями, проиграла — по крайней мере временно — в великом споре с идеями цинизма. Напротив, Белинский, опираясь на Гегеля и возражая ему, включается в тенденцию социального индивидуализма, но под углом отрицания, отвергая трансцендентные ценности. К моменту смерти в 1848 году он очень близко подойдет к Герцену. Однако в своем противостоянии Гегелю он даст точное определение позиции, которую в дальнейшем займут нигилисты и, пусть частично, террористы. Таким образом, он являет собой тип переходной фигуры от идеалистов-аристократов

1825 года к отрицающим все и вся студентам 1860-х.

Трое одержимых

Герцен, восхваляя движение нигилистов — правда, лишь в той мере, в какой видел в нем стремление к освобождению от предвзятых идей, — напишет: «Уничтожение старого — это зарождение будущего», тем самым полностью соглашаясь с Белинским. Котляревский, рассуждая о тех, кого также именовали радикалами, сравнивал их с апостолами, «которые хотели полностью отречься от прошлого и выковать человеческую личность на совершенно иной основе». Нельзя не вспомнить Штирнера с его отрицанием истории как таковой и решимостью строить будущее, ориентируясь не на дух историчности, а на индивидуума, обладающего всей полнотой власти. Но такой индивидуум не способен подняться на вершину власти в одиночку. Он нуждается в других, но тогда вступает в противоречие с принципом нигилизма. Писарев, Бакунин и Нечаев попытаются разрешить его, расширяя — каждый чуточку больше, чем предшественники, — поле разрушения и отрицания, до тех пор пока терроризм не уничтожит само противоречие путем слияния

самопожертвования и убийства в единое целое.

Нигилизм 1860-х начался, по крайней мере в своих внешних проявлениях, с самого радикального отрицания, отвергая всякое действие, которое не продиктовано чистым эгоизмом. Известно, что сам термин «нигилизм» был предложен Тургеневым в романе «Отцы и дети», герой которого — Базаров — служит воплощением человека подобного типа. Писарев в критическом разборе романа отмечает, что нигилисты увидели в Базарове пример для подражания. «Мы можем похвалиться, — заявлял Базаров, — только бесплодностью нашего сознания и, до некоторой степени, бесплодностью всего, что нас окружает». — «Это и есть нигилизм?» — спрашивали его. «Это и есть нигилизм». Писарев восхваляет этот пример, для большей ясности определяя его следующим образом: «Я чужд существующему строю вещей, я не желаю в него вмешиваться». То есть единственная ценность заключается в разумном эгоизме.

Отрицая все, что не служит удовлетворению человека, Писарев объявляет войну философии и искусству, полагая то и другое абсурдом, а также лживой морали, религии и даже обычаям и вежливости. Он выстраивает теорию интеллек-

туального терроризма, заставляющую вспомнить наших сюрреалистов. Провокация возведена в ранг учения, представление о глубине которого дает Раскольников. Апофеозом этого дивного порыва становится вопрос, которым задается Писарев, без тени улыбки вопрошая, можно ли убить собственную мать. И отвечает: «Почему бы и нет, если я этого хочу и это мне полезно?»

С учетом сказанного остается лишь удивляться, почему нигилисты не отдавались целиком тому, чтобы сколотить состояние или получить высокий чин, почему они с присущим им цинизмом не хватали все, что плохо лежит. Правда, в любом обществе на высоких должностях хватает нигилистов. Но они не превращают свой цинизм в учение, а предпочитают при всяком удобном случае громогласно воздать должное добродетели — без последствий для себя. Нигилисты, о которых мы говорим, противоречили сами себе: бросая вызов обществу, они тем самым утверждали некую ценность. Они называли себя материалистами и считали своей настольной книгой «Силу и материю» Бюхнера. Но один из них признавался: «Ради Молешотта и Дарвина мы готовы пойти на виселицу или на плаху», то есть ставили идею гораздо выше материи. Их

учение напоминало религию, причем религию фанатичную. Ламарк в глазах Писарева был предателем потому, что правота оказалась на стороне Дарвина. Если кто-нибудь в их кружке принимался рассуждать о бессмертии души, его изгоняли. Поэтому Владимир Вейдле[57] совершенно справедливо определяет нигилизм как рационалистический обскурантизм. Разум у нигилистов поразительным образом соединялся с предрассудками веры; выбор в пользу псевдонаучного способа рассуждения — это далеко не самое меньшее противоречие этих индивидуалистов. Они отрицали все, за исключением наиболее спорных ценностей, разделяемых каким-нибудь месье Омэ.

Вместе с тем, взяв своим символом веры разум в самом куцем его виде, нигилисты стали примером для тех, кто шел за ними. Они не верили ни во что, кроме разума и корысти. Но скептицизму предпочли пропагандистский пыл и стали социалистами. В этом и заключается их противоречие. Как все незрелые умы, они одновременно испытывали сомнение и жажду веры. Выход лично для себя они нашли в том, чтобы придать отрицанию

[57] notes: 57
La Russie absente et présente. Gallimard.

непреклонность и страсть, свойственные вере. Впрочем, чему тут удивляться? Вейдле цитирует философа Соловьева, с презрением вскрывающего это противоречие: «Человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга». Но в этом разрыве и заключается вся правда Писарева. Если человек — отражение Бога, то отсутствие человеческой любви не имеет значения, потому что однажды он получит утешение. Но если он — слепая тварь, бродящая в потемках жестокого и ограниченного мира, то он нуждается в себе подобных и их преходящей любви. Где укрыться милосердию, если не в мире, лишенном Бога? В другом мире благодать доступна каждому, даже богачам. Те, кто отрицает все, понимают, по крайней мере, что отрицание есть нищета. Тогда они могут открыться чужой нищете и наконец прийти к отрицанию себя. Писарев мысленно не отвергал убийства матери, но тем не менее нашел в своих рассуждениях о несправедливости верную интонацию. Он мечтал эгоистически наслаждаться благами жизни, но попал в тюрьму и сошел с ума. Показной цинизм в конце концов привел его к познанию любви, к осознанию того, что он этой любви лишен, и к самоубийству. Вместо индивидуума-властелина,

о каком он мечтал, он получил нищего измученного старика, все величие которого сводится к освещению истории.

Бакунин есть еще более наглядное воплощение тех же самых противоречий. Он умер накануне наступления террористической эпопеи[58]. Впрочем, он заранее осудил индивидуальный террор, разоблачая «Брутов своей эпохи». Вместе с тем он испытывал к ним уважение и порицал Герцена за открытую критику неудавшегося покушения 1866 года Каракозова на царя Александра II. У этого уважения были свои причины. Бакунин, как и Белинский, и нигилисты, сыграл значительную роль в дальнейшем развитии событий, в частности в практике индивидуального бунта. Но он привнес и кое-что еще: зерно политического цинизма, которое прорастет в учении Нечаева и доведет революционное движение до логического завершения.

Едва расставшись с юностью, Бакунин познакомился с философией Гегеля и был ею потрясен, как будто столкнулся с чудом. Он читал Гегеля сутками напролет, до умопомрачения, «ничего другого не видя, кроме категорий Гегеля». Из этой

---

[58] notes: 58
В 1876 году.

инициации он выходит с экзальтацией неофита: «Мое личное «я» умерло навсегда, только теперь я живу истинной жизнью, которая в некотором смысле тождественна науке абсолюта». Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы заметить, чем опасна столь удобная позиция. Тот, кто понял суть реальности, не восстает против нее, а радуется ей: вот вам готовый конформист. Ничто в Бакунине не предрасполагало к этой философии цепного пса. Возможно также, что его поездка в Германию и дурное впечатление, произведенное на него немцами, помешали ему вслед за стариком Гегелем признать, что лучшим хранителем сущностей духа является Прусское государство. Человек более русский, чем сам царь, — несмотря на мечты о мировом единстве, — он никак не мог согласиться с восхвалением Пруссии, основанным на логике высокомерия: «Воля других народов не должна приниматься во внимание, поскольку народ, наделенный этой волей, главенствует над миром». С другой стороны, в 1840-е годы Бакунин открывает для себя французский социализм и анархизм и заимствует некоторые тенденции. Как бы там ни было, Бакунин с негодованием отвергает немецкую идеологию. Он так же страстно стремился к

абсолюту, как позже будет стремиться к полному разрушению, к яростному «все или ничего», и у него эта ярость разрушения представлена в чистом виде.

Отдав дань восхищения абсолютному Единству, Бакунин погружается в самое примитивное манихейство. Судя по всему, он жаждет, чтобы воздвиглась «Вселенская и подлинно демократическая Церковь свободы». Это его религия, а он сын своего века. Впрочем, он не уверен, что его вера достаточно всеобъемлюща. Он, как нам представляется, вполне искренен, когда в «Исповеди», обращенной к Николаю I, пишет, что никогда до конца не верил в финальную революцию, а если и верил, то лишь ценой «сверхъестественных и тяжких усилий», заглушая внутренний голос, настойчивым шепотом твердивший ему о «бессмысленности надежд». Напротив, теоретический имморализм в нем непоколебим, и мы видим, как он в нем прямо-таки купается с животным наслаждением и органичностью. Историей движут всего два начала: государство и социальная революция, революция и контрреволюция, и они не просто непримиримы, они ведут между собой смертельную борьбу. Государство — это преступление. «Даже самое малое и безобидное

государство преступно в своих вожделениях». Следовательно, революция — это благо. Борьба этих двух начал, выходящая за рамки политики, — это одновременно борьба сатанинских начал против божественного начала. Бакунин осознанно вводит в проблематику революционного действия одну из тем романтического бунта. Еще Прудон утверждал, что Бог есть Зло, и призывал: «Гряди, Сатана, оболганный нищими и королями!» Одновременно Бакунин подчеркивает глубину бунта, имеющего внешние признаки политического. «Нам говорят, что Зло — это сатанинский бунт против божественной власти, а мы видим в этом бунте плодотворную завязь всех человеческих свобод. Подобно Богемским братьям XV века, революционеры-социалисты узнают сегодня друг друга по призыву: «Во имя того, кто претерпел великий урон».

Поэтому борьба против творения будет беспощадной и бессовестной, а единственное спасение заключается в истреблении. «Страсть к разрушению — это творческая страсть». Огненные страницы бакунинских статей о революции 48-го года[59] переполнены этой радостной страстью

[59] notes: 59
Confession. P. 102 et sq. Rieder.

к разрушению. «То был праздник без конца и без края», — пишет он. Действительно, для него, как и для всех угнетенных, революция — это праздник в священном смысле слова. Вспомним французского анархиста Кёрдеруа[60], который в своей книге «Ура, или Казацкая революция» призывал северные орды смести с лица земли все, что им встретится на пути. Он тоже мечтал «поднести пылающий факел к отчему дому» и восклицал, что все свои надежды связывает с новым Потопом и хаосом. В этих высказываниях схвачена самая суть бунта, показанного в чистом, биологическом виде. Вот почему Бакунин остается единственным из современников, критиковавшим правление ученых с исключительной глубиной. Вопреки всякой абстракции он выступал за цельного человека, полностью отождествляемого с бунтом. Если он воспевал образ разбойника, вождя крестьянского восстания, а его любимыми персонажами были Степан Разин и Пугачев, то потому, что эти люди, без принципов, без опоры на какое бы то ни было учение сражались за чистый идеал свободы. Бакунин ставит в центр концепции революции

[60] notes: 60
Claude Harmel et Alain Sergent. Histoire de l'anarchie. T. I.

бессодержательный принцип бунта. «Жизненная буря — вот что нам надо. И новый мир, не имеющий законов и потому свободный».

Но может ли мир, не имеющий законов, быть свободным — вот вопрос, который ставит всякий бунт. Если бы мы задали его Бакунину, он дал бы на него однозначный ответ. Безусловно и в высшей степени проницательно противостоящий авторитарному социализму в попытке дать определение обществу будущего, он, нимало не смущаясь противоречием, представляет его как диктатуру. Устав «Интернационального братства» (1864–1867), написанный им лично, уже предусматривает абсолютное подчинение деятельности индивидуума центральному комитету. То же относится и к послереволюционному периоду. Бакунин надеется, что в освобожденной России будет «твердая власть диктатуры… власть, окруженная ее сторонниками, просвещенная их советами, укрепленная их добровольной поддержкой, но не ограниченная ничем и никем». Бакунин в той же степени, что и его заклятый враг Маркс, способствовал формированию ленинской доктрины. Впрочем, мечта о революционной славянской империи в том виде, в каком Бакунин говорит о ней царю, до деталей совпадает с тем,

что осуществил Сталин. В устах человека, осмелившегося сказать, что движущей силой царской России был страх, и отвергавшего Марксово учение о партийной диктатуре, подобные заявления могут показаться противоречивыми. Но это противоречие доказывает, что в основе теорий частично лежат нигилистические принципы. Писарев оправдывает Бакунина. Бесспорно, тот мечтал о полной свободе, но путь к ней видел в тотальном разрушении. Но полное разрушение предполагает строительство без фундамента — тогда стены придется поддерживать руками. Тот, кто полностью отвергает прошлое, кто не берет из него ничего, что могло бы послужить оживлению революции, обрекает себя на ожидание справедливости только в будущем, а пока оно не наступило, поручает полиции временный надзор за справедливостью. Бакунин стал провозвестником диктатуры не вопреки своему стремлению к разрушению, а в полном согласии с ним. Остановить его на этом пути не могло ничто; действительно, в костре тотального отрицания сгорели и все моральные ценности. В откровенно угодливой «Исповеди», адресованной царю, но написанной в надежде на освобождение, он наглядно вводит в революционную политику

принцип двойной игры. В своем «Катехизисе революционера», предположительно написанном в Швейцарии совместно с Нечаевым, он придает форму — даже если впоследствии это отрицал — политическому цинизму, который с тех пор постоянно давил на революционное движение и яркий образчик применения которого показал Нечаев.

Нечаев — фигура гораздо менее известная, чем Бакунин, и более загадочная, а для целей нашего исследования более значимая — развил логику нигилизма до ее крайних пределов. Противоречия ему практически не были свойственны. Он появился в кругах русской революционной интеллигенции около 1866 года и умер при невыясненных обстоятельствах в декабре 1882-го. За этот короткий промежуток времени он сумел очаровать многих: близких к нему студентов, самого Бакунина и других революционеров-эмигрантов и даже своих тюремщиков, которых ему удалось склонить к участию в безумном заговоре. К моменту своего появления он уже исповедовал стройную систему взглядов. Если Бакунин проникся к нему таким доверием, что наделил важными полномочиями, впрочем фиктивными, то потому, что распознал в этом несгибаемом че-

ловеке идеал революционера, каким, возможно, стал бы и сам, сумей он победить собственное сердце. Нечаев не ограничился заявлением о необходимости объединения «с диким разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России», или подтверждением слов Бакунина о том, что отныне политика станет религией, а религия — политикой. Он превратился в жестокого монаха безнадежной революции, а его главной мечтой было установление убийственного порядка, способствующего распространению и окончательному триумфу того черного божества, которому он решился служить.

Он не только рассуждал о всеобщем разрушении; его оригинальность проявилась в том, что он холодно требовал для людей, посвятивших себя революции, реализации принципа «все позволено» — и сам позволял себе все. «Революционер — это человек заранее обреченный. У него не может быть ни любовных связей, ни имущества, ни друзей. Он должен отречься даже от своего имени. Все его существо должно сосредоточиться на единой страсти — революции». Действительно, если история, не принимая в расчет никаких принципов, представляет собой исключительно

борьбу революции и контрреволюции, то у человека нет иного выхода, кроме полного приятия одной из этих ценностей, в результате чего он умрет или возродится к новой жизни. Нечаев доводит это рассуждение до логического конца. С Нечаевым революция впервые явно отрывается от любви и дружбы.

В его взглядах можно проследить последствия психологии воли, заимствованной у Гегеля. Впрочем, Гегель допускал, что взаимное признание сознаний возможно в столкновениях любви[61]. Тем не менее он отказался ставить на первое место в своем учении этот «феномен», по его мнению, не обладающий «ни силой, ни терпением, ни работой отрицания». Он предпочел показать битву сознаний, уподобив их слепым крабам, ползающим в темноте по морскому песку, чтобы столкнуться в смертельной схватке, и сознательно оставил в стороне другой образ, не менее обоснованный, — маяков, которые ищут друг друга в ночи и наконец соприкасаются лучами, чтобы стало светло. Любящие сердца — друзья или возлюбленные — знают, что любовь — это не только вспышка молнии, это еще и долгая и

[61] notes: 61

Оно возможно также в поклонении, когда слово «хозяин» приобретает высокий смысл — это тот, кто формирует, не разрушая.

мучительная борьба в потемках, цель которой — окончательное узнавание и приятие друг друга. Если историческая добродетель распознается по терпению, то истинная любовь терпелива не меньше ненависти. На протяжении веков революционная страсть оправдывалась не только требованием справедливости, но и мучительным требованием всеобщей дружбы, даже — и в особенности — в противостоянии враждебным небесам. Те, кто погибал во имя справедливости, во все времена именовали друг друга братьями. Все они оставляли насилие для врагов, ставя его на службу общности угнетенных. Но если революция становится единственной ценностью, она требует от человека всего, в том числе доноса на друга и принесения его в жертву. Отныне насилие оборачивается против всех и становится на службу абстрактной идее. Понадобилось дождаться прихода к власти одержимых, чтобы вдруг услышать, что революция сама по себе важнее тех, кого она намеревалась спасти, а дружбой, до сих пор обращавшей поражения в победы, придется пожертвовать и отложить ее до неопределенного будущего.

Таким образом, оригинальность Нечаева заключается в оправдании насилия, примененного

против братьев. Совместно с Бакуниным он разрабатывает «Катехизис». Но едва Бакунин в каком-то ослеплении поручает Нечаеву представлять в России Всемирный революционный союз, существующий исключительно в его воображении, как тот и в самом деле едет в Россию, организует общество «Народная расправа» и сам пишет его устав. В уставе имеется пункт о тайном центральном комитете, бесспорно, необходимом для всякой военной или политической деятельности, которому каждый член организации должен принести клятву абсолютной верности. Но Нечаев идет еще дальше: он наделяет руководителей правом применять насилие и ложь. Чтобы убедить колеблющихся участвовать в планируемых им акциях, он и сам начнет со лжи, объявив себя представителем этого еще не существующего центрального комитета, якобы располагающего безграничными средствами. Больше того, он разделит революционеров на категории, предусмотрев для тех, кто входит в первую категорию (то есть для вождей), право рассматривать остальных членов организации как «часть общего революционного капитала, отданного в их распоряжение». Возможно, все вожди всегда думали так же, но истории неиз-

вестно, чтобы кто-то из них заявлял об этом вслух. Во всяком случае, до Нечаева ни один лидер революции не посмел взять этот принцип за основу своих поступков. Ни одна революция не вписала первой строкой в свои скрижали закона, что человек может быть орудием. Обычно вербовка осуществлялась путем призыва к мужеству и самопожертвованию. Нечаев решил, что колеблющихся можно шантажировать или запугивать, а самых верных — обманывать. Даже те, кто не считает себя революционером, могут послужить делу, если систематически вовлекать их в наиболее опасные акции. Что же до угнетенных, то во имя спасения их раз и навсегда с ними можно не церемониться. Они пострадают, зато выиграют будущие угнетенные. Нечаев возводит в принцип необходимость подталкивать правительства к репрессивным мерам; он утверждает, что ни в коем случае не следует нападать на наиболее ненавистных народу представителей официальной власти и что тайное общество должно приложить все усилия к увеличению страданий и нищеты народных масс.

Эти странные мысли сегодня обрели свой истинный смысл, но Нечаеву не довелось дожить до торжества своих принципов. Как бы то ни было,

он пытался воплотить их в жизнь убийством студента Иванова, которое настолько потрясло тогдашнее общественное мнение, что Достоевский сделал его одной из центральных тем своих «Бесов». Единственная вина Иванова заключалась, судя по всему, в том, что он усомнился в существовании центрального комитета, представителем которого называл себя Нечаев, но если Иванов выступал против человека, отождествляющего себя с революцией, значит, он выступал против революции. Следовательно, должен был умереть. «Кто дал нам право покушаться на человеческую жизнь? — вопрошает Успенский, один из товарищей Нечаева. — Речь идет не о праве, а о нашем долге: мы обязаны уничтожить всякого, кто вредит общему делу». Действительно, когда революция становится единственной ценностью, прав не остается — есть лишь обязанности. Но тут происходит мгновенный поворот: во имя исполнения обязанностей можно узурпировать любые права. Нечаев, действуя во имя идеи, не покушается на жизнь какого-нибудь тирана, но убивает, заманив в ловушку, Иванова. После этого он покидает Россию и едет к Бакунину, который отворачивается от него, осуждая его «омерзительную тактику». «Он мало-помалу

убедил себя, — пишет Бакунин, — что для создания несокрушимой организации необходимо взять за основу политику Макиавелли и систему иезуитов: насилие для тела и ложь для души». Совершенно верно. Но чем омерзительна эта тактика, если революция, согласно тому же Бакунину, есть единственное благо? Нечаев и в самом деле стоит на службе революции, он служит не себе, а делу. После экстрадиции он был предан суду, но и там не дрогнул. Осужденный на 25 лет, он и в тюрьме продолжал владеть умами, организовал тайное общество и вовлек в него надзирателей, готовил покушение на царя и снова предстал перед судом. Этот бунтарь умер в мрачном застенке после двенадцати лет заключения и стал родоначальником новой породы революционеров — вождей, стоящих над толпой.

В революционном движении настал момент, когда все действительно стало позволено, а убийство могло быть возведено в принцип. Правда, к 1870 году, с возрождением народничества, основанного на тех же религиозных и этических принципах, какие исповедовали декабристы и на каких зиждился социализм Лаврова и Герцена, могло показаться, что это революционное движение станет тормозом на пути политического

цинизма, столь ярко проявленного Нечаевым. Народники призывали «живые души» идти в народ и просвещать его, чтобы он самостоятельно начал делать шаги к свободе. «Кающиеся дворяне» бросали семью, одевались в рубище и разъезжались по деревням проповедовать крестьянам. Но крестьяне не доверяли им и не отзывались на проповедь, а если и отзывались, то доносом на «апостола» в жандармерию. Провал прекраснодушных порывов с неизбежностью должен был отбросить движение к нечаевскому цинизму или по крайней мере к насилию. Интеллигенция не сумела привлечь к себе народ и снова почувствовала себя одинокой перед самодержавием; мир снова предстал перед ней разделенным на хозяев и рабов. Как следствие, группа «Народная воля» возведет индивидуальный террор в принцип и с участием партии социалистов-революционеров совершит череду убийств, которые будут продолжаться вплоть до 1905 года. Появится целая плеяда террористов, отвернувшихся от любви, восставших против виновных хозяев, но отчаянно одиноких перед лицом собственных противоречий, разрешить которые они могут, только жертвуя собственной невиновностью и собственной жизнью.

Щепетильные убийцы

1878 год стал годом зарождения русского терроризма. 24 января, накануне суда над 193-мя народниками, юная девушка Вера Засулич стреляет в губернатора Санкт-Петербурга генерала Трепова. Оправданная судом присяжных, она избежит полицейского преследования. Этот револьверный выстрел вызвал каскад связанных между собой репрессий и покушений, и всем уже становилось ясно, что он не прекратится, пока не выдохнутся его участники.

В том же году член «Народной воли» Степняк-Кравчинский изложил теоретическое обоснование терроризма в своем памфлете «Смерть за смерть». За теорией следует и практика. В Европе жертвами покушений становятся кайзер Германии, король Италии и король Испании. В том же 1878 году Александр II создает Охранное отделение — наиболее действенное орудие государственного терроризма. Начиная с этого времени XIX век в России и на Западе пройдет под знаком убийств. В 1879 году предпринимается еще одно покушение на короля Испании и неудавшееся покушение на царя. В 1881 году террористы «Народной воли» убивают царя. Софья Перов-

ская, Желябов и их сподвижники приговорены к казни через повешение. В 1883 году совершено покушение на кайзера Германии, его виновника казнят на плахе. В 1887 году казнят чикагских мучеников; в Валенсии проходит съезд испанских анархистов, публикующий следующее предупреждение: «Если общество не идет на уступки, мы должны уничтожить зло и порок даже ценой собственной жизни». Во Франции 1890-е годы отмечены кульминацией так называемой «пропаганды делом». Прелюдией к убийству Карно служат подвиги Равашоля, Вайана и Анри. Только в 1892 году в Европе совершается более тысячи покушений с применением динамита, в Америке таких насчитывается более пятисот. В 1898 году гибнет австрийская императрица Елизавета. В 1901 году убит президент США Мак-Кинли. В России, где покушения на второстепенных представителей режима идут не прекращаясь, в 1903 году создается Боевая организация партии эсеров, объединившая наиболее непримиримых русских террористов. В 1905 году Сазонов убивает Плеве, а Каляев — великого князя Сергея Александровича. Эти убийства становятся апофеозом тридцати лет кровавых проповедей, и с ними завершается мученический век революционной религии.

Так нигилизм, тесно связанный с религиозным движением отчаявшихся, приводит к террору. В своей вселенной тотального отрицания эти молодые люди попытались с помощью бомбы и револьвера — и демонстрируя беспримерную храбрость перед плахой — разрешить противоречие и создать ценности, тоску по которым испытывали. До них люди умирали во имя чего-то, что они знали — или думали, что знают. Начиная с них появляется более суровый обычай жертвовать собой ради чего-то такого, о чем не знаешь ничего — или в лучшем случае знаешь, что твоя смерть необходима, чтобы это «нечто» утвердилось. До них те, кто шел на смерть, взывали к Богу, противопоставляя ему людской суд. Но, когда читаешь заявления смертников того времени, первое, что тебя поражает: все они, без исключения, противостоя системе правосудия, обращались все к тому же человеческому правосудию, но исходящему из будущего. В отсутствие высших ценностей их последним прибежищем были именно грядущие поколения. Будущее — вот единственная трансцендентность безбожника. Очевидно, что террористы в первую очередь стремились к разрушению и надеялись с помощью бомб расшатать самодержавие. Но

своей смертью они надеялись по крайней мере воссоздать общество справедливости и любви, взяв на себя миссию, проваленную Церковью. На самом деле террористы мечтали создать Церковь, в которой однажды воссияет новый Бог. Но это еще не все. Если из их добровольного приятия вины и смерти не возникало ничего, кроме обещания какой-то будущей ценности, то сегодняшняя история позволяет нам утверждать, во всяком случае на данный момент, что умерли они напрасно и продолжали оставаться нигилистами. Собственно говоря, само понятие будущей ценности внутренне противоречиво, поскольку не может ни объяснить действия, ни обосновать его принцип, пока не оформится. Но деятели 1905 года именно в силу раздиравших их противоречий самим своим отрицанием и даже смертью породили императивную ценность, которую сделали актуальной, хотя думали, что лишь возвещают ее приход. Они упорно возвеличивали, ставя его выше своих палачей и даже выше самих себя, то высшее благо мученичества, которое, как мы уже видели, лежит в основе бунта. Остановимся подробнее на этой ценности и посмотрим, что происходит в миг, когда мятежный дух последний раз в нашей истории

встречается с духом сострадания.

«Разве можно говорить о терроре, не участвуя в нем?» — восклицал студент Каляев. Его товарищи, с 1903 года объединившиеся в Боевую организацию эсеров, руководимую сначала Азефом, а затем Борисом Савинковым, старались соответствовать этому высокому пафосу. Они отличались крайней требовательностью. Они стали последними в истории бунта, кто целиком и полностью принял весь трагизм своего положения. Если, по словам Покотилова, «живя террором, они верили в него», то это не значит, что они никогда не испытывали сомнений. История знает не так много примеров фанатиков, которые вплоть до жаркой схватки с противником в такой степени терзались бы угрызениями совести. Деятелям 1905 года с избытком хватало мучительных колебаний. Мы должны осознать, что не существует такого вопроса, который сегодня, в 1950 году, мы задали бы этим людям и на который они всей своей жизнью и даже смертью не дали хотя бы частичный ответ, — и понимание этого стало бы с нашей стороны лучшей данью уважения к ним.

Между тем их появление в истории было стремительным и кратким. Например, Каляеву в 1903

году, когда он согласился принять вместе с Савинковым участие в теракте, исполнилось 26 лет. Два года спустя Поэта, как называли его соратники, повесили. Не слишком долгая карьера. Однако неравнодушному исследователю того периода фигура Каляева представляется ключевой для понимания терроризма. Точно так же Сазонов, Швейцер, Покотилов, Войнаровский и многие другие на миг ворвались в русскую и мировую историю, озарив ее яркой вспышкой, и остались в ней мимолетными, но запечатленными в нашей памяти очевидцами того надлома, который переживал бунт.

Почти все они были безбожниками. «Помню, — писал Борис Войнаровский, который погиб, бросая бомбу в адмирала Дубасова, — еще перед гимназией проповедовал атеизм одному товарищу детства, причем затруднялся только вопросом — «откуда же все взялось», так как не имел представления о вечности». Каляев верил в Бога. За несколько минут до неудавшегося покушения Савинков видел его на улице с иконой: в одной руке у него была бомба, второй он крестился. Но Каляев отвернулся от религии. В тюрьме перед казнью он отказался от последнего причастия.

Образ жизни подпольщиков принуждал их к

затворничеству. Могучая радость человека действия, ощущающего единство с человеческим сообществом, была им неведома или оставалась пустой абстракцией. Но чувство сопричастности к общему делу заменяло им любые привязанности. Сазонов называл его рыцарством. «Наше рыцарство было проникнуто таким духом, — поясняет он, — что слово «брат» еще недостаточно ярко выражает сущность наших отношений». Тот же Сазонов писал с каторги друзьям: «Для меня необходимое условие моего счастья — это сохранить навсегда сознание полной солидарности с вами». Войнаровский признавался, что однажды заявил не отпускавшей его женщине, как бы «комично», по его собственным словам, это ни звучало: «Я прокляну тебя, если опоздаю к товарищам».

Эта горстка мужчин и женщин, затерянная в русской толпе и сплоченная, избрала для себя ремесло палачей, хотя ничто их к этому не принуждало. Они существовали в пространстве одного и того же парадокса, соединяя в себе уважение к человеческой жизни вообще и презрение к собственной, вплоть до тоски по самопожертвованию. Для Доры Бриллиант вопросы программы вовсе не имели значения. Террористическая дея-

тельность облагораживалась тем, что террорист приносил себя в жертву. «И все же, — писал Савинков, — террор тяготил ее, как крестная ноша». Каляев был готов в любой момент пожертвовать собой. «Более того, он страстно желал этой жертвы». Во время подготовки покушения на Плеве он предложил броситься под копыта лошадей и погибнуть вместе с министром. В Войнаровском готовность к самопожертвованию сочеталась с тягой к смерти. После ареста он пишет родителям: «Сколько раз в юношестве мне приходило в голову лишить себя жизни…»

В то же время эти палачи, рисковавшие собственной жизнью, проявляли чрезвычайную щепетильность, когда речь шла о чужой. Первое покушение на великого князя Сергея закончилось неудачей потому, что Каляев отказался взрывать его карету, поскольку в ней находились дети — племянники великого князя, — и товарищи его поддержали. Вот что пишет Савинков о еще одной террористке, Рахили Лурье: «Она верила в террор, считала честью и долгом участвовать в нем, но кровь смущала ее не менее, чем Дору». Тот же Савинков решительно возражал против покушения на адмирала Дубасова в скором поезде Петербург — Москва: «При малейшей

неосторожности снаряд мог взорваться в вагоне и убить посторонних людей». Позже Савинков, руководствуясь «совестью террориста», с негодованием отверг обвинение в том, что вовлек в организацию покушения 16-летнего подростка. Готовясь к побегу из царской тюрьмы, он решил, что будет стрелять в офицеров, если те пустятся за ним в погоню, но скорее убьет себя, чем направит оружие на солдат. Точно так же Войнаровский, который убивал людей, но никогда не принимал участия в охоте, считая ее «занятием зверским», заявлял: «Если Дубасова в скором поезде Петербург — Москва будет сопровождать жена, я не брошу бомбу».

Подобная степень самоотречения в связке со столь пристальной заботой о чужой жизни позволяет предположить, что в судьбе этих щепетильных убийц воплотилось самое кричащее противоречие бунта. Можно подумать, что они, признавая неизбежность насилия, в то же время понимали, насколько оно несправедливо. Пошляки, сталкиваясь с этой чудовищной проблемой, найдут самоуспокоение в том, что попросту забудут об одном из суждений этого силлогизма. Прикрываясь формальными принципами, они поспешат объявить непростительным любое

прямое насилие, закрывая глаза на насилие, разлитое в обществе на всем протяжении мировой истории. Либо — во имя истории — утешатся тем, что насилие необходимо, добавив к нему и убийство, пока вся история не превратится в одну сплошную бесконечную череду насилия над тем, что в человеке восстает против несправедливости. Таковы два лика современного нигилизма — буржуазного и революционного.

Но горячие сердца, о которых мы говорим, ничего не забывали. Неспособные найти оправдание тому, что считали необходимым, они пытались оправдаться тем, что отдавали собственную жизнь, отвечая на заданный вопрос личным самопожертвованием. Для них, как для всех их предшественников-бунтарей, убийство было равнозначно самоубийству. Жизнь за жизнь — и тогда из двух холокостов появляется надежда на обретение ценности. Каляев, Войнаровский и другие верили в равноценность жизни разных людей. Таким образом, они ни одну идею не ставили выше человеческой жизни, хоть и убивали за идею. Они и жили, пытаясь соответствовать своей высокой идее, и находили ей оправдание в том, что служили ее воплощением до гробовой доски. Здесь перед нами снова если не рели-

гиозная, то по меньшей мере метафизическая концепция бунта. За этими людьми придут другие, снедаемые той же яростной верой, но они сочтут методы первых сентиментальными и откажутся признавать, что любая жизнь стоит другой жизни. Они поставят выше человеческой жизни абстрактную идею, заранее покорившись которой и назвав ее историей, пожелают, опираясь на произвол, подчинить и всех остальных. Отныне проблема бунта из области арифметики переместится в область теории вероятностей. Перед лицом будущего осуществления идеи человеческая жизнь может быть всем или ничем. Чем больше вера того, кто ведет расчет, тем меньше стоит жизнь человека. В пределе она не стоит ничего.

Позже мы рассмотрим эту крайность, то есть время философов-палачей и время государственного террора. Но пока усвоим урок, который нам дали бунтари 1905 года, остановившиеся на этой границе в грохоте взорванных бомб: бунт не может вести к утешению или догматическому удовлетворению, или он перестает быть бунтом. Пожалуй, единственная победа, которую они одержали, заключается в их торжестве над одиночеством и отрицанием. Посреди мира, который

они отрицали и который отвергал их, они, как и все, кто наделен величием духа, попытались по одному, поштучно переделать людей в братьев. О масштабе их отчаяния и надежды говорит любовь, которую они испытывали друг к другу, позволявшая им чувствовать себя счастливыми даже на каторге, и которую они распространяли на всю огромную массу своих безмолвных порабощенных братьев. Ради этой любви они шли на убийство; ради торжества невиновности брали на себя долю вины. Для них разрешение этого противоречия наступало лишь в последний миг. Одиночество и рыцарство, отверженность и надежда — они поднялись над всем этим, добровольно согласившись умереть. Желябов — один из организаторов покушения 1881 года на Александра II — был арестован за двое суток до убийства царя, но попросил, чтобы его казнили вместе с другими обвиняемыми. «Только трусостью правительства, — писал он, обращаясь к властям, — можно объяснить тот факт, что вместо двух виселиц будет воздвигнута всего одна». На самом деле виселиц будет воздвигнуто пять, в том числе одна — для женщины, которую он любил. Желябов умер с улыбкой на устах, тогда как Рысакова, сломленного на допросах, волокли

на эшафот полумертвого от страха.

Все дело в существовании определенной разновидности вины, неприемлемой для Желябова, который знал, что она его настигнет, если после убийства или соучастия в убийстве он останется в одиночестве. У подножия виселицы Софья Перовская обняла человека, которого любила, и еще двух своих друзей, но отвернулась от Рысакова, умершего одиноким и проклятым адептами новой религии. Для Желябова смерть, принятая плечом к плечу с друзьями, значила, что он оправдан. Убийца виновен, только если соглашается жить дальше или если ради выживания идет на предательство братьев. Напротив, смерть снимает с убийцы вину и отменяет само преступление. Не зря Шарлотта Корде крикнула Фукье-Тенвилю: «Чудовище! Как смеешь ты называть меня убийцей?» Так происходит мучительное и мгновенное открытие человечной ценности, находящейся на полпути между невиновностью и виной, разумом и безумием, историей и вечностью. В миг этого открытия, но только в этот миг, на отчаявшихся людей нисходит странный покой, свидетельствующий об их окончательной победе. Поливанов, сидя в тюремной камере, говорил, что ему «легко и просто» умирать. Войнаровский писал, что

победил страх смерти. «Не изменившись ни в одном мускуле лица и не побледнев, я взойду на эшафот… И это будет не насилие над собой… — это будет вполне естественный результат того, что я пережил». Много позже лейтенант Шмидт напишет перед расстрелом: «Моя смерть подведет итог всему — и дело, за которое я стоял, увенчанное казнью, пребудет безупречным и совершенным». Каляев, приговоренный к повешению после речи на суде, в которой он выступил обвинителем тех, кто его судил; Каляев, заявивший: «Я считаю свою смерть последним протестом против мира крови и слез»; тот же Каляев писал: «С тех пор как я попал за решетку, у меня не было ни одной минуты желания как-нибудь сохранить жизнь». Его воля была исполнена. 10 мая, в два часа ночи, он прошествовал к месту казни, ставшей для него единственным оправданием, которое он признавал. В черном, без пальто, в фетровой шляпе он поднялся на эшафот. Священнику отцу Флоринскому, протянувшему ему крест, осужденный, отвернувшись от Христа, ответил: «Я уже сказал вам, что совершенно покончил с жизнью и приготовился к смерти».

Да, именно здесь, у подножия виселицы, на краю нигилизма, происходит возрождение ста-

рой ценности. Она служит отражением, на сей раз историческим, того самого «мы», которое мы выявили, исследовав бунтарский дух. Она есть одновременно и лишение, и просветленная уверенность. Именно она озарила смертным блеском потрясенное лицо Доры Бриллиант при мысли о тех, кто умирал и ради себя, и ради нерушимой дружбы; именно она заставила Сазонова на каторге покончить с собой — из чувства протеста и с требованием «уважения к братьям»; именно она полностью оправдала Нечаева в тот день, когда на требование генерала выдать своих товарищей он отвесил тому пощечину, сбившую с ног. С опорой на эту ценность террористы, утверждая мир людей, одновременно возносятся над ним, в последний раз в нашей истории показывая, что истинный бунт есть созидатель ценностей.

Благодаря им 1905 год стал вершиной революционного порыва. После этой даты начинается упадок. Мученики не основывают Церкви — они служат ей цементом или обеспечивают ей алиби. За ними приходят священники и ханжи. Последующие поколения революционеров больше не будут настаивать на обмене — жизнь на жизнь. Они согласятся на смертельный риск, но также согласятся как можно дольше оставаться в жи-

вых — ради революции и служения ей. Таким образом, они согласятся полностью взять на себя вину. Согласие терпеть унижение — вот истинная характеристика революционеров XX века, поставивших революцию и церковь человеческую выше себя. В отличие от них Каляев доказывает, что революция есть лишь необходимое средство, а не самоцель. Тем самым он не принижает человека, а возвышает его. Настоящими оппонентами Гегеля[62] стали в мировой истории Каляев и его братья — русские и немецкие, которые вначале сочли всеобщее признание необходимым, а затем недостаточным. Казаться им было мало. Даже если бы целый мир признал правоту Каляева, в душе его все равно оставалось бы сомнение: ему требовалось достичь согласия с самим собой, и целому хору одобрительных голосов не удалось бы заглушить в нем этот голос сомнения, которое возникает у каждого настоящего человека в ответ на сотню восторженных похвал. Каляев сомневался до конца, но это сомнение не помешало ему действовать, вот почему он — самый чистый образец бунтаря. Тот, кто готов

[62] notes: 62

Две породы людей. Одни совершают одно убийство и расплачиваются своей жизнью. Другие оправдывают тысячи преступлений и соглашаются на почести.

умереть, заплатив жизнью за жизнь, что бы он ни отрицал, тем самым утверждает ценность, превосходящую его самого как историческую личность. Каляев показал, что он до конца верен истории, и в самый миг своей смерти вознесся выше истории. В каком-то смысле можно сказать, что он предпочел себя истории. Но что именно он предпочел — себя, без колебаний шедшего на убийство, или воплощенную в нем и полную жизни ценность? Ответ однозначен: Каляев и его братья восторжествовали над нигилизмом.

Шигалевщина

Но у этого триумфа не было будущего — он совпал со смертью. Нигилизм на какое-то время пережил своих победителей. Но внутри самой партии эсеров политический цинизм продолжает свое победное шествие. Азеф, лидер партии, пославший на смерть Каляева, ведет двойную игру и выдает революционеров охранке, одновременно организуя покушения на министров и великих князей. Провокаторы снова вспоминают принцип «все позволено», который превращается в высшую ценность и определяет историю. Этим подвидом нигилизма, оказавшим влияние на социалистов-индивидуалистов, заразится и

так называемый научный социализм, который появится в России в 1880-е годы[63]. Из общего наследия Нечаева и Маркса родится тоталитарная революция XX века. Пока индивидуальный террор изгонял последних представителей божественного права, террор государственный готовился окончательно разрушить это право, вырвав его общественные корни. Техника захвата власти ради осуществления конечных целей берет верх над громким провозглашением этих целей.

Действительно, Ленин заимствовал у Ткачева — товарища и брата по духу Нечаева — концепцию захвата власти, которую находил «великолепной» и суть которой коротко формулировал следующим образом: «...строжайшая тайна, тщательный отбор участников, воспитание профессиональных революционеров». Ткачев, под конец жизни лишившийся рассудка, стал переходной фигурой от нигилизма к военизированному социализму. Он претендовал на создание русского якобинства, но взял у якобинцев только их технические приемы, поскольку тоже отрицал всякие принципы и любую доб-

[63] notes: 63

Первая социал-демократическая группа, руководимая Плехановым, была образована в 1883 году.

родетель. Враг искусства и морали, он строил свою тактику на комбинировании рационального и иррационального. Он видел свою цель в установлении равенства всех людей через захват государственной власти. Тайная организация, революционные ячейки, диктаторская власть вождей — вот основные понятия, определившие если не теорию, то практику «аппарата», который ждала столь блестящая и успешная судьба. Что касается методов достижения этой цели, то достаточно вспомнить, что Ткачев предлагал уничтожить всех русских людей старше двадцати пяти лет как не способных к восприятию новых идей. Действительно гениальный метод, который возьмет на вооружение современное сверхгосударство с его принудительным воспитанием детей в окружении запуганных взрослых. Очевидно, что социализм цезаристского толка должен был осудить индивидуальный террор ровно в той мере, в какой он способствовал возрождению ценностей, несовместимых с господством исторической рациональности. Но террор на государственном уровне он одобрит уже хотя бы потому, что с его помощью наконец-то станет возможным построение разделенного человеческого общества.

Здесь круг замыкается, и бунт, оторванный от своих истинных корней, предавший человека и подчинившийся истории, теперь размышляет о том, как покорить всю вселенную. Начинается эра шигалевщины, вдохновенным выразителем которой в «Бесах» выступает Верховенский — нигилист, требующий себе права на бесчестье. Существо злобное и ограниченное[64], он живет только волей к власти — единственным, что способно подчинить себе историю, опираясь только на себя самое. Его поручителем выступает филантроп Шигалев, для которого любовь к людям является достаточным поводом к их порабощению. Помешанный на равенстве Шигалев[65] после долгих размышлений приходит к неутешительному выводу, что возможна лишь одна система, к сожалению, малопривлекательная. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Тотальная свобода, отрицающая все и вся, способна существовать и находить себе оправдание только на пути создания новых ценностей, отождествляемых со всем человечеством. Если создание этих цен-

[64] notes: 64
«Он человека сочинит да с ним и живет».

[65] notes: 65
«В крайних случаях — клевета и убийство, а главное — равенство».

ностей запаздывает, то человечество успевает уничтожить себя в войне всех со всеми. Наиболее короткий путь к новым скрижалям лежит через тоталитарную диктатуру. «Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать». Вот оно, правление философов, о котором мечтали утописты, правда, эти философы ни во что не верят. Царство Божие настало, но оно отрицает истинный бунт и представляет собой всего лишь царство «разумных Христов», как выразился восторженный литератор по поводу жизни и смерти Равашоля. «Папа вверху, — горестно замечает Верховенский, — мы кругом, а под нами шигалевщина».

Это — провозвестие тоталитарных теократий XX века и государственного террора. Сегодня над частью нашей истории властвуют новые господа и великие инквизиторы, использующие бунт угнетенных. Их власть жестока, но они, подобно Сатане романтиков, находят извинение своей жестокости в том, что бремя власти слишком

тяжело. «Желание и страдание для нас, а для рабов шигалевщина». В это время рождается новое, довольно уродливое племя мучеников. Их мука состоит в том, чтобы мириться с необходимостью причинять страдания другим; они попадают в рабство собственной власти. Чтобы человек стал богом, надо, чтобы жертва принизилась до роли палача. Вот почему жертва и палач в равной мере лишены надежды. Больше ни рабство, ни власть не рифмуются со счастьем; господа хмуры, рабы унылы. Сен-Жюст был прав: отвратительное это дело — мучить народ. Но как его не мучить, если хочешь, чтобы люди стали богами? Так же как Кириллов, покончивший с собой, желая стать богом, соглашается, чтобы Верховенский использовал его самоубийство в целях «заговора», самообожествление человека разрушает грань, установленную бунтом, и с неизбежностью устремляется на грязную тропу тактики и террора, с которой история не сумела сойти до сих пор.

Государственный терроризм и иррациональный террор

Все современные революции заканчивались усилением государства. 1789 год привел Наполеона, 1848-й — Наполеона III, 1917-й — в конечном счете Сталина, итальянские беспорядки 1920-х — Муссолини, Веймарская республика — Гитлера. Между тем эти революции, особенно те, что произошли после Первой мировой войны, ликвидировавшей остатки божественного права, все громче и громче заявляли, что стремятся к построению града человеческого и обретению реальной свободы. В каждом случае поддержкой их амбиций служило все более заметное укрепление государственной власти. Было бы ошибкой утверждать, что иначе и быть не могло. Но исследовать, почему это все-таки произошло, надо — возможно, это послужит нам уроком на будущее.

Оставив в стороне некоторое количество объяснений, которые не являются предметом настоящего эссе, отметим, что странное и пугающее усиление современного государства может

рассматриваться как результат непомерных технических и философских амбиций, чуждых истинному духу бунтарства, но тем не менее ставших причиной зарождения современного революционного духа. Провидческая мечта Маркса и выдающиеся предвидения Гегеля или Ницше в конце концов — после того как Град Божий был сметен с лица земли — вызвали к жизни два вида государства: рациональное и иррациональное, но в обоих случаях террористическое.

По правде говоря, фашистские перевороты XX века не заслуживают звания революций. Им не хватало вселенского масштаба. Бесспорно, Гитлер и Муссолини стремились к созданию империй, а идеологи национал-социализма во всеуслышание рассуждали о мировой империи. Их отличие от классического революционного движения заключалось в том, что они, как наследники нигилизма, избрали путь обожествления не рационального, а иррационального начала. Тем самым они отказались от претензий на универсализм. Пусть Муссолини ссылался на Гегеля, а Гитлер — на Ницше, исторически они представляют собой иллюстрацию некоторых пророчеств немецкой идеологии и в этом качестве принадлежат к истории бунта и нигилизма. Они первыми

заложили в основу построения государства идею о том, что ничто не имеет смысла, а история есть результат действия слепой силы. Последствия не заставили себя ждать.

Уже в 1914 году Муссолини провозгласил «святую религию анархии» и объявил себя врагом всех христианских течений. Что касается Гитлера, то, по собственному признанию, в его религиозном сознании Бог-Провидение прекрасно совмещался с Валгаллой. На самом деле Бог нужен был ему лишь как еще одна тема выступлений перед толпой, чтобы к концу речи поднимать градус истерии. Пока ему сопутствовал успех, он предпочитал верить в свое божественное озарение, но, когда настал час поражений, обвинил в предательстве свой народ. В промежутке ни у кого не возникало оснований предполагать, что он ощущал за собой вину за измену какому-либо принципу. Впрочем, единственный человек высокой культуры, попытавшийся придать нацизму видимость философской доктрины, Эрнст Юнгер, пользовался формулировками, характерными как раз для нигилизма: «Лучший ответ на предательство жизни духом — это предательство духа духом, и одна из величайших и мучительнейших радостей нашего времени состоит в том, чтобы

участвовать в этой разрушительной работе».

Люди действия, лишенные веры, всегда верят в одно — в действие. Неразрешимый парадокс Гитлера заключался именно в том, что он хотел установить стабильный порядок на основе вечного движения и отрицания. Раушнинг прав, когда в своей «Революции нигилизма» указывает, что гитлеровская революция представляла собой чистую динамику. В Германии, до основ потрясенной беспрецедентным поражением в войне и экономической разрухой, не сохранилось ни одной ценности. Не забывая об изречении Гете, сказавшего, что «немцы стараются усложнить все на свете, такова уж их судьба», отметим, что в период между двумя войнами по Германии прокатилась настоящая эпидемия самоубийств, красноречиво свидетельствующая о царившем в умах разброде. Вернуть отчаявшемуся человеку веру могут не доводы разума, а страсть — в данном случае то была страсть, лежавшая на дне немецкого отчаяния, то есть унижение, смешанное с ненавистью. Общей ценности, высшей по отношению к каждому и позволяющей людям выносить друг другу оценку, больше не было. Поэтому Германия 1933 года согласилась принять выродившиеся ценности всего несколь-

ких человек и попыталась навязать их целой цивилизации. За неимением морали от Гете она подчинилась морали бандитской шайки.

Мораль бандита — это всегда и неизбежно триумф и месть, поражение и ресентимент. Прославляя «стихийные порывы личности», Муссолини обращался к темным силам, замешенным на крови и инстинктах, и пытался дать биологическое оправдание наихудшим проявлениям инстинкта доминирования. Во время Нюрнбергского процесса Франк подчеркивал, что Гитлером владела «ненависть к форме». Эта фигура и правда представляла собой силу в движении, поднявшуюся и окрепшую благодаря хитроумной расчетливости и безошибочной тактической проницательности. Но его физическая форма, весьма посредственная, заставляла его слиться с массой и не давала ему почувствовать себя отделенным от нее[66]. Он мог существовать только в действии. Для него «быть» означало «делать». Вот почему Гитлер и его режим не могли обходиться без врагов. Сподвижники Гитлера, эти обезумев-

[66] notes: 66
См. прекрасную книгу: *Max Picard.* L'Homme du néant. Cahiers du Rhône.

шие денди[67], находили самоопределение только по отношению к своим врагам и обретали форму только в ожесточенной битве, которая вела их к гибели. Евреи, франкмасоны, плутократы, англосаксы, дикие славяне сменяли друг друга в пропаганде и в истории, чтобы с каждым разом все выше поднималась слепая сила, катящаяся к своему концу. Вечный бой постоянно требовал все новых возбуждающих средств.

Гитлер воплощал собой историю в чистом виде. «Становление, — говорил Юнгер, — важнее жизни». Иначе говоря, он призывал к полному отождествлению с текущей жизнью на самом низком ее уровне и вне какой бы то ни было высшей реальности. Режим, выстраивая свою внешнюю политику на биологическом основании, вступал в явное противоречие с собственными интересами. Но он, по крайней мере, подчинялся собственной логике. Розенберг, с пафосом рассуждая о своей жизни, говорил: «Она подобна марширующей колонне, и не важно, куда и с какой целью она движется». Пусть эта колонна оставит на своем пути одни руины и приведет к гибели всю страну, зато никто не

[67] notes: 67

Известно, что Геринг иногда принимал гостей переодетый Нероном и в соответствующем гриме.

скажет, что ее не существовало. Истинной логикой этой динамики было тотальное поражение либо — от победы к победе и от врага к врагу — построение Империи на крови и действии. Маловероятно, что Гитлер разрабатывал — хотя бы в общих чертах — концепцию такой Империи. Он ни по уровню культуры, ни даже по силе инстинкта или тактического ума не соответствовал той роли, на которую его вознесла судьба. Германия ввязалась в имперскую схватку, будучи наделенной провинциальным политическим сознанием, и проиграла. Эта логика была отмечена и сформулирована Юнгером. Ему виделось пришествие «всемирной технической империи» и «антихристианской религии техники», армией и паствой которых должны были стать сами рабочие, поскольку рабочий класс (и тут Юнгер смыкается с Марксом) по своей человеческой природе универсален. «На смену общественному договору придут уставы нового порядка. Рабочий будет отторгнут от сферы торговли, благотворительности и литературы и вознесен в сферу деяний. Юридические обязанности превратятся в воинскую присягу». Как мы видим, Империя — это одновременно всемирный завод и всемирная казарма, в которой царствует находящийся в

рабском состоянии гегелевский работник-солдат. Гитлер относительно недалеко продвинулся по пути построения подобной империи и был остановлен. Но даже если бы ему удалось пройти по нему дальше, мы бы просто наблюдали все более широкое распространение той же упорной динамики и все более грубое насаждение принципов цинизма, без опоры на которые эта динамика не способна существовать.

Рассуждая о подобной революции, Раушнинг утверждает, что она более не несет освобождения, справедливости и расцвета духа, она есть «гибель свободы, власть насилия и порабощение духа». Действительно, фашизм — это презрение. И, наоборот, любая форма презрения, применяемая в политике, готовит почву для установления фашизма. Необходимо добавить, что фашизм и не может быть ничем иным, не отрицая сам себя. Юнгер, отталкиваясь от собственных принципов, делал вывод, что лучше быть преступником, чем буржуа. Гитлер, не наделенный сопоставимым литературным талантом, но уже в силу этого способный к более связному мышлению, понимал, что это вообще не имеет значения — кем быть, преступником или буржуа, главное — добиться успеха. Поэтому себе он позволял

выступать в обеих ипостасях одновременно. «Дело — это все», — говорил Муссолини. Гитлер, в свою очередь, заявлял: «Когда расе грозит опасность порабощения… вопрос о законности может играть лишь второстепенную роль». Впрочем, раса, чтобы существовать, должна постоянно испытывать угрозу для себя, поэтому никакой законности нет и никогда не будет. «Я готов подписаться под чем угодно, — продолжает Гитлер, — сегодня я могу без всякой задней мысли ратифицировать любое соглашение, но если завтра на карту будет поставлено будущее немецкого народа, я хладнокровно порву его». Прежде чем развязать войну, Гитлер объяснял своим генералам, что у победителя никто не будет спрашивать, говорил он правду или лгал. На той же идее строилась защита Геринга на Нюрнбергском процессе: «Победитель всегда будет судьей, а побежденный — обвиняемым». Очевидно, эту мысль можно оспорить, но тогда мы не поймем прозвучавшего на Нюрнбергском процессе заявления Розенберга, якобы не предполагавшего, что этот миф приведет к убийству. Когда английский обвинитель возразил на это, говоря, что «Майн кампф» указал прямой путь к газовым камерам Майданека, он впервые коснулся главного пред-

мета процесса — исторической ответственности западного нигилизма, — который, по понятным причинам, вообще не затрагивался в Нюрнберге. Невозможно в рамках судебного процесса предъявить обвинение целой цивилизации. Поэтому трибунал рассматривал только деяния — вопиющие с точки зрения всего человечества.

Как бы то ни было, Гитлер предложил модель вечного завоевательного движения, без которого он был ничто. Но вечный враг — это вечный террор, на сей раз государственный. Государство отождествило себя с «аппаратом», иначе говоря, с комплексом механизмов завоевания и репрессий. Завоевание, направленное внутрь страны, зовется пропагандой (по Франку, «первый шаг к преисподней») или репрессиями. Направленное вовне, оно создает армию. Таким образом, происходит полная милитаризация всех сфер жизни, а любая проблема рассматривается в контексте мощи и эффективности. Политическую повестку формирует верховный главнокомандующий, он же решает все главные управленческие вопросы. Этот принцип военной стратегии применяется и в гражданской жизни. Один вождь и один народ на деле не что иное, как один хозяин и миллионы рабов. Политические посредники, в

каждом обществе исполняющие роль гаранта свободы, исчезают, и на их место приходит Иегова в сапогах, распоряжающийся толпой, которая безмолвствует или — что одно и то же — хором повторяет приказы. Между вождем и народом вместо прослойки в виде органа, нацеленного на компромисс, остается только аппарат, то есть репрессивная партия. Так зарождается первый и единственный принцип этой низменной мистики — *Führerprinzip*, восстанавливающий в мире нигилизма идолопоклонство и выродившуюся сакральность.

Муссолини как специалист по римскому праву довольствовался государственным интересом, который с помощью изощренной риторики возводил в абсолют: «Ничего вне государства, над государством, вопреки государству. Все посредством государства, ради государства, в государстве». Гитлеровская Германия выразила этот ложный интерес на его истинном языке, то есть языке религии. «Наше божественное предназначение, — писала нацистская газета по случаю партийного съезда, — состоит в том, чтобы вернуть каждого к истокам, в царство Матерей. Это воистину богоугодное дело». Под истоками гитлеровцы понимали первобытный

вой. Что же это за божество, которому следует поклониться? На этот вопрос нам дает ответ официальное заявление партии: «Все мы верим в Адольфа Гитлера, нашего фюрера… и признаем, что национал-социализм — это единственная вера, ведущая наш народ к спасению». Закон и добродетель заменяют приказы вождя, неопалимую купину изображает свет прожекторов, а Синаем служит трибуна, увешанная флагами. Сверхчеловеку достаточно всего раз отдать в микрофон приказ совершить преступление, и он покатится от начальника к заместителю, пока не доберется до раба, который приказов не отдает, зато их выполняет. Впоследствии палач Дахау будет рыдать в тюремной камере: «Я всего лишь исполнял приказы. Все это придумали фюрер и рейхсфюрер, а теперь их нет. Приказы о расстреле Глюк получал от Кальтенбруннера и передавал их мне. Они все свалили на меня потому, что я всего лишь скромный гауптшарфюрер и не мог передать приказ дальше вниз по цепочке. А теперь они говорят, что убийца — это я». Геринг на процессе пытался оправдаться тем, что хранил верность фюреру: «В этой проклятой жизни еще осталось понятие чести». Под честью он понимал покорность, а покорность порой не

отделял от преступления. Военный закон карает за неповиновение смертью, честь согласно ему — это рабство. Если весь мир милитаризован, то преступлением будет уклонение от убийства по приказу.

К сожалению, приказ редко требует творить добро. Чисто теоретическая динамика направлена не на добро, а на эффективность. Пока будут враги, будет и террор, а враги будут всегда, пока сохранится динамика, для которой они необходимы: «Любые замыслы, могущие подорвать суверенитет народа, обеспечиваемый фюрером при поддержке партии, должны решительно пресекаться». Враги — это еретики, их следует обратить в свою веру с помощью проповеди или пропаганды или уничтожить силами инквизиции или гестапо. В результате человек, состоящий в партии, превращается в орудие на службе фюрера, в винтик в его аппарате, либо, если он враждебен фюреру, в пищу для аппарата. Иррациональный порыв как порождение бунта отныне должен свести к минимуму все то, согласно чему человек не есть винтик, то есть собственно бунт. Романтический индивидуализм немецкой революции наконец находит удовлетворение в вещном мире. Иррациональ-

ный террор превращает людей в вещи или, по выражению Гитлера, в «планетарные бактерии». Он стремится к разрушению не только личности, но и универсальных возможностей личности, таких как способность к рефлексии, солидарность, призыв к абсолютной любви. Пропаганда и пытка служат непосредственным инструментом разрушения, но еще больше ему способствуют возведенное в систему бесправие, самоотождествление с преступным цинизмом и вынужденное сообщничество. Победу убийцы или палача омрачает лишь одно: он не может чувствовать себя невиновным. Следовательно, ему необходимо возбудить чувство вины у жертвы, чтобы в мире, утратившем ориентиры, воцарилась всеобщая виновность, узаконивающая только применение силы и признающая только успех. Когда понятие о невиновности исчезает даже у самого невиновного, в отчаявшемся мире окончательно воцаряется ценность силы. Вот почему этим миром, в котором невиновны только камни, владеет подлое и жестокое чувство раскаяния. Осужденные вынуждены вешать друг друга. Убито даже чистое материнское чувство: вспомним гречанку, которой офицер предложил самой выбрать, кого из трех ее сыновей он расстреляет.

Так наступает освобождение. Власть убивать и уродовать спасает рабскую душу от небытия. Тогда раздается песнь немецкой свободы — под аккомпанемент узников лагерей смерти.

Преступления гитлеризма, в том числе массовое уничтожение евреев, не имеют исторических аналогий: история не знает ни одного примера, чтобы теория тотального разрушения захватила рычаги управления цивилизованным народом. Еще более важно то, что впервые в истории люди, поднявшиеся в стране на вершину власти, приложили неимоверные усилия к созданию системы, основанной на мистике, не имеющей никакого отношения к морали. Ценой этой первой попытки построения Церкви на небытии стало собственно небытие. Разрушение Лидице показывает, что под внешней научностью и системностью гитлеровского движения на самом деле скрывался иррациональный порыв, который не мог быть вызван ничем иным, кроме отчаяния и гордыни. До тех пор подавление сопротивления в деревне, заподозренной в мятеже, могло вестись одним из двух способов: либо трезвый расчет и холодная казнь заложников, либо жестокий, но по необходимости краткий налет обозленной солдатни. Для уничтожения Лидице использовались оба эти

метода. Это говорит о губительных последствиях иррационального разума, который является единственной ценностью в этой дикой истории. Каратели не просто сожгли крестьянские дома, расстреляли 175 мужчин, депортировали 203 женщины и угнали 103 ребенка для перевоспитания в духе веры в фюрера; сюда были посланы специальные бригады, которые трудились на протяжении нескольких месяцев, чтобы взрывами сровнять бывшую деревню с землей до последнего камня, засыпать пруд, изменить речное русло и ликвидировать дорогу. Следуя логике этой операции, Лидице было обращено в ничто, в чистый лист для будущих событий. Для большей надежности разорили и кладбище, которое еще могло служить напоминанием о том, что здесь что-то когда-то существовало[68].

Нигилистическая революция, нашедшая свое историческое выражение в религии гитлеризма, вызвала лишь бешеную ярость со стороны небытия, в конце концов обернувшегося против себя же. На сей раз отрицание вопреки Гегелю

[68] notes: 68

Многих поразит, но похожие зверства творились в колониях (в Индии в 1857-м, в Алжире в 1945-м и т. д.) представителями европейских народов, которые на самом деле действовали согласно тому же иррациональному предрассудку расового превосходства.

оказалось лишено созидательной силы. Гитлер являет собой пример, возможно единственный в истории, тирана, не оставившего в своем активе ничего. Для самого себя, для своего народа и для всего мира он был лишь самоубийством и убийством. Может быть, семи миллионов убитых евреев, семи миллионов депортированных или убитых европейцев, десяти миллионов жертв войны для истории показалось бы недостаточно — она привыкла к убийствам. Но разрушение самой основы того, чем оправдывал себя Гитлер, то есть немецкой нации, превратило этого человека, присутствие которого в истории на протяжении многих лет приводило в ужас миллионы людей, в жалкую и бесплотную тень. Если верить показаниям Шпеера на Нюрнбергском процессе, Гитлер вполне мог остановить войну, пока она не приобрела характер тотальной катастрофы, но он сознательно стремился к всеобщему самоубийству, к разрушению материальной и политической основы немецкого народа. Для него до самого конца единственной ценностью оставался успех. Германия проигрывает войну — значит, ее населяют трусы и предатели, не заслуживающие ничего, кроме гибели. «Если немецкий народ не способен побе-

дить, он недостоин жить». Поэтому в тот момент, когда под залпами русских пушек уже рушились стены берлинских дворцов, он решил увлечь за собой весь народ и превратить собственное самоубийство в апофеоз. Гитлер, Геринг, мечтавший видеть свои кости в мраморном гробу, Геббельс, Гиммлер, Лей — все они покончили с собой либо в подземном бункере, либо в тюремной камере. Но их смерть была напрасной и походила на дурной сон, растаявший, как тает в небе дым. Она не принесла плодов и не стала образцом, она лишь увековечила кровавую тщету нигилизма. «Они мнили себя свободными, — истерически восклицал Франк. — Разве они не знали, что от гитлеризма нельзя освободиться?» Нет, они этого не знали, как не знали и того, что отрицание всего и вся есть рабство, а подлинная свобода предполагает внутреннее подчинение ценности, противостоящей истории со всеми ее успехами.

Но на самом деле фашистские мистики хоть и пытались в какой-то мере возглавить мир, никогда не стремились к мировой империи. Большее, на что оказался способен Гитлер, сам удивленный своими победами, это развернуться от провинциальных корней своего движения к смутной мечте о немецкой империи, не имевшей ничего общего

с мечтой о Вселенском Граде. Напротив, русский коммунизм от самых своих истоков претендовал на построение мировой империи. Именно в этом заключались его и сила, и продуманная глубина. У немецкой революции, несмотря на внешний треск, не было будущего. Она представляла собой примитивный порыв, печальные последствия которого оказались много значительнее ее реальных амбиций. Напротив, русский коммунизм взял на себя метафизическую ношу, описанную в настоящем исследовании, и попытался после смерти Бога построить город наконец обожествленного человека. Если гитлеровская авантюра не имеет права претендовать на звание революции, то русский коммунизм его заслуживает, и, даже если сегодня эта его претензия вроде бы вызывает сомнения, он все-таки продолжает настаивать, что однажды заслужит это право — уже навсегда. Впервые в истории учение и движение, опирающиеся на вооруженную империю, поставили своей целью окончательную революцию и полную унификацию мира. Нам осталось внимательно исследовать эту претензию. Достигнув вершины безумия, Гитлер полагал, что остановит движение истории на тысячу лет. Он верил, что вот-вот добьется этого, а философы-реалисты,

представляющие побежденные народы, уже готовились осознать это как факт и отпустить ему все грехи, когда битвы за Англию и Сталинград отбросили Гитлера к смерти и снова подтолкнули историю вперед. Но человеческое стремление к обожествлению, столь же упорное, как сама история, снова ожило в куда более прочном и эффективном рациональном государстве, выстроенном в России.

Государственный терроризм и рациональный террор

В Англии XIX века с ее чудовищной нищетой и страданиями, связанными с переходом от земельного капитала к промышленному, у Маркса было много материала для построения внушительной теории капитализма периода начального накопления. Что касается социализма, то если не считать уроков, извлеченных из французских революций и, отметим, противоречивших его собственным учениям, ему приходилось рассуждать исключительно в будущем времени и оперировать сплошными абстракциями. Поэтому неудивительно, что в теории социализма самая надежная критическая методология смешалась с

самым сомнительным утопическим мессианизмом. Беда в том, что критическая методология, по определению адаптированная к реальности, чем дальше, тем больше отрывалась от фактов — ровно в той мере, в какой пыталась хранить верность пророчествам. Теоретики социализма верили — весьма характерная примета, — что уступки правде нанесут ущерб мессианизму. Это противоречие проявилось еще при жизни Маркса. Через 20 лет после появления «Манифеста коммунистической партии», когда вышел «Капитал», идеи первого уже утратили свою убедительность. Впрочем, «Капитал» так и не был дописан, поскольку Маркс к концу жизни столкнулся с массой новых удивительных фактов социально-экономической жизни, к которым следовало адаптировать систему. Эти факты касались в том числе России, значение которой он до тех пор недооценивал. Наконец, известно, что в 1935 году Институт Маркса — Энгельса — Ленина в Москве прекратил публикацию Полного собрания сочинений Маркса, хотя предстояло напечатать еще более тридцати томов; очевидно, их содержание показалось издателю недостаточно «марксистским».

Как бы там ни было, после смерти Маркса вер-

ным его методике осталось явное меньшинство учеников. Напротив, те марксисты, которые творили историю, взяли на вооружение именно пророчества Маркса и апокалиптические аспекты его учения с целью совершения марксистской революции в условиях, самим Марксом определенных как не подходящие для революции. Можно сказать, что большая часть предсказаний Маркса была опровергнута фактами, зато его пророчества стали предметом все более слепой веры. Причина тому проста: его предсказания носили краткосрочный характер и легко поддавались проверке реальностью. Напротив, его пророчества относились к отдаленным временам и обладали тем же преимуществом, каким объясняется прочность всех религий: их невозможно доказать. Если предсказания не сбываются, то все надежды обращаются на пророчества. Именно они нас и интересуют. Далее мы рассмотрим марксизм и его наследие исключительно с точки зрения пророчества.

Буржуазное пророчество

Маркс является одновременно и буржуазным пророком, и пророком революции. Во втором своем качестве он известен гораздо более, чем в

первом. Но именно первое во многом объясняет судьбу второго. Исторический и научный мессианизм оказал влияние на его революционный мессианизм, уходящий корнями в немецкую идеологию и французские революции.

Одно из самых поразительных отличий христианского и марксистского мира от мира античного — это его единство. И христианское, и марксистское учения обладают сходным мировоззрением, не имеющим ничего общего с мировоззрением древнегреческих мыслителей. Его прекрасно выразил Ясперс: «Именно христианской мысли присуще понимание истории как в высшей мере единого процесса». Христиане первыми стали рассматривать человеческую жизнь и происходящие в ней события как связную историю, имеющую начало и конец; на протяжении этой истории человек либо зарабатывает себе спасение, либо заслуживает кары. Вся философия истории родилась из христианских представлений, крайне удививших бы древних греков. Греческое понятие будущего не имеет ничего общего с нашей концепцией исторической эволюции. Различие между тем и другим примерно такое же, как между окружностью и прямой линией. Греки видели мир цикличным. Один

из ярких примеров — Аристотель, который отнюдь не воспринимал современность как нечто сложившееся после Троянской войны. Ради распространения в Средиземноморье христианству пришлось эллинизироваться и придать некоторую гибкость своему учению. Но оригинальность его подхода заключалась в том, что он ввел в мир античности два понятия, до тех пор никак между собой не связанные, — понятие истории и понятие возмездия. Содержащаяся в христианстве идея посредничества — греческая, идея историчности — иудаистская. Именно ее мы обнаружим в немецкой идеологии.

Лучше всего этот разрыв виден в подчеркнуто враждебном отношении исторического мышления к природе, которая воспринимается не как объект созерцания, а как объект переделки. И христиане, и марксисты стремятся к господству над природой. Греки полагали, что природе лучше покориться. Античная любовь к космосу оставалась непостижимой для первохристиан, которые, заметим, с нетерпением ожидали неизбежного конца света. Сплав эллинизма с христианством расцветет впоследствии пышным цветом, с одной стороны, в представлениях альбигойцев, а с другой — в проповеди святого Франциска.

Но с приходом инквизиции и истреблением катарской ереси Церковь снова отвернется от мира и красоты и вернет истории превосходство над природой. И опять прав Ясперс: «Именно христианство мало-помалу лишило мир его субстанции… ибо та основывалась на совокупности символов». Речь идет о символах божественной драмы, разворачивающейся с течением времен. Отныне природа служит всего лишь декорацией к этой драме. Первым прекрасное равновесие между человеком и природой, подразумевающее, что человек принимает мир таким, какой он есть, и питавшее весь блеск античной мысли, разрушило в пользу истории именно христианство. Этот процесс значительно ускорился, когда на арену истории вышли северные народы, не имевшие традиции дружеского отношения к окружающему миру. С отрицанием божественной природы Христа, который, на взгляд немецких идеологов, символизировал всего лишь человека-божество, исчезло понятие посредничества и вновь восторжествовало иудаистское мировоззрение. Снова воцарился беспощадный солдатский бог; всякая красота стала оскорбительной как источник праздных наслаждений, а сама природа попала в рабство. Маркс с этой точки зрения — это Иере-

мия исторического Бога и блаженный Августин революции. То, что именно этим объясняются особенно реакционные аспекты его учения, показывает простое сравнение Маркса с одним из его современников — умным теоретиком реакции.

Жозеф де Местр отвергал якобинство и кальвинизм, в которых, по его мнению, воплотились «все злокозненные мысли за последние три столетия», отдавая предпочтение христианской философии истории. Средство против расколов и ересей он видел в том, чтобы переодеть истинно католическую Церковь в «хитон без шва». Он ставил своей целью — об этом говорят его заигрывания с масонством[69] — построение всемирного христианского Града. Он мечтал об Адаме Протопласте или Всечеловеке Фабра д'Оливе как принципе разделения человеческих душ и об Адаме Кадмоне каббалистов, предшествовшем падению, — его-то и следовало воссоздать. Как только Церковь охватит весь мир, она даст этому первому и последнему Адаму телесное воплощение. В его «Санкт-Петербургских вечерах» содержится масса высказываний, поразительно похожих на мессианские заявления Гегеля и Маркса. В

[69] notes: 69
E. Dermenghem. Joseph de Maistre mystique.

Иерусалиме, воображаемом Местром, — городе, одновременно земном и небесном, — «жители, проникнутые единым духом, будут взаимно одухотворять друг друга и делиться между собой своим счастьем». Местр не доходит до отрицания личности после смерти, он лишь мечтает об обретении мистического единства, когда «зло будет уничтожено и не останется ни страстей, ни личных интересов», а «человек обретет самого себя после того, как его двойственная природа уничтожится, а оба начала этой двойственности сольются воедино».

Гегель находил разрешение противоречия в построении Града абсолютного знания, в котором духовное зрение неотделимо от телесного. Но Местр тут гораздо ближе к Марксу, возвещавшему разрешение «спора между сущностью и существованием, между свободой и необходимостью». Зло, по Местру, есть не что иное, как разрыв единства. Но человечество должно обрести единство и на земле, и на небесах. Каким образом? Местр — старорежимный реакционер — в этом вопросе далеко не так точен, как Маркс. Тем не менее он ожидал свершения великой религиозной революции, называя 1789 год всего лишь «чудовищным предисловием»

к ней. Он цитировал апостола Иоанна, требовавшего *деятельной* истины, что, собственно говоря, и отражает программу революционного духа Нового времени, а также апостола Павла, возвестившего: «Последний же враг истребится — смерть». Человечество через преступления, насилие и смерть движется к исполнению этой программы, которым будет оправдано все. Земля виделась Местру «огромным алтарем, на котором все сущее должно бесконечно, безрассудно и безостановочно приноситься в жертву, до тех пор пока не истребится всякое зло, вплоть до смерти самыя смерти». Но его фатализм носил активный характер. «Человек должен действовать так, как если бы он был всемогущ, и смиряться так, как если бы он был совершенно немощен». У Маркса мы обнаруживаем ту же разновидность созидательного фатализма. Бесспорно, Местр оправдывает сложившийся порядок вещей. Но и Маркс оправдывает порядок вещей, которому предстоит сложиться в свое время. Самую высокую похвалу капитализм получил от своего злейшего врага. Маркс против капитализма лишь в той мере, в какой капитализм обречен на гибель. Новый порядок во имя истории потребует нового конформизма. Что до средств, то

они у Маркса и Местра одни и те же: политический реализм, дисциплина и сила. Подхватывая смелую мысль Боссюэ, что «еретик — это тот, у кого есть собственные идеи», иначе говоря, идеи, не связанные с общественной или религиозной традицией, Местр дает самую древнюю и самую новую формулу конформизма. Генеральный адвокат и печальный певец палачей, он стал прообразом нынешних дипломатов, выступающих прокурорами.

Разумеется, эти сходства не делают Местра марксистом, а Маркса — традиционным христианином. Марксистский атеизм носит характер абсолюта. Тем не менее он восстанавливает в правах высшее существо — на уровне человека. «Критика религии завершается учением, что человек — высшее существо для человека». Рассмотренный под этим углом, социализм представляет собой предприятие по обожествлению человека, заимствовавшее некоторые характерные черты традиционных религий[70]. Во всяком случае, указание на это сходство полезно с точки зрения изучения христианских корней любого исторического мессианизма, даже революци-

[70] notes: 70

Сен-Симон, заметно повлиявший на Маркса, сам находился под влиянием Местра и Бональда.

онного. Единственное различие заключается в смене знака. У Местра, как и у Маркса, конец времен означает осуществление великой мечты де Виньи, когда волк возляжет с ягненком, преступник и жертва поклонятся одному алтарю и настанет земной рай. Для Маркса законы истории являются отражением материальной действительности, для Местра — отражением божественной действительности. Только для первого субстанцией является материя, а для второго — Бог, воплотившийся в этом мире. В основе между ними лежит вечность, но в конечном итоге их объединяет историчность, подводящая к одному и тому же реалистическому выводу.

Местр ненавидел Грецию (Маркса, чуждого всякой солнечной красоты, она смущала) и утверждал, что она развратила Европу, оставив ей в наследство дух разъединения. Но вернее было бы сказать, что греческая философия была философией единения, так как не могла обходиться без посредников и, напротив, не знала исторического духа тотальности, привнесенного христианством; сегодня, оторванный от своих религиозных корней, этот дух грозит погубить Европу. «Сыщется ли вымысел, безумие или порок, у которых не было бы греческого имени, эмблемы,

личины?» Не станем обращать внимания на эту пуританскую ярость. На самом деле его пылкое отвращение служит выражением духа Нового времени, порвавшего с античным миром и, напротив, неразрывно связанного с авторитарным социализмом, которому вскоре предстоит десакрализовать христианство и инкорпорировать его в победоносную Церковь.

Научный мессианизм Маркса имеет буржуазное происхождение. Прогресс, становление науки, культ техники и производства — все это суть буржуазные мифы, в XIX веке обратившиеся в догму. Отметим, что «Манифест коммунистической партии» увидел свет в том же году, что и «Будущее науки» Ренана. Последнее сочинение — своего рода символ веры, приводящий в растерянность современного читателя, — на самом деле дает самое точное представление о тех почти мистических надеждах, которые в XIX веке всколыхнули в обществе расцвет промышленности и ошеломительные успехи науки. Это были надежды самого́ буржуазного общества, главного выгодополучателя технического прогресса.

Понятие прогресса появляется в век Просвещения и является ровесником буржуазной революции. Наверное, источники его вдохно-

вения можно отыскать и в XVII веке: уже «спор о Древних и Новых» вводил в европейскую идеологию абсолютно бессмысленное понятие прогресса в искусстве. Еще более солидной его основой можно счесть картезианство, предложившее идею о постоянно растущей роли науки. Но первым точное определение новой веры дал в 1750 году Тюрго. Его речь, посвященная прогрессу человеческого духа, в сущности, повторяет положения «Всемирной истории» Боссюэ, разве что божественную волю заменяет идея прогресса. «Преобладающее большинство рода человеческого, чередуя покой с борением и добро со злом, неустанно, хоть и медленно, движется ко все большему совершенству». В этом оптимизме по большей части черпал свои напыщенные идеи Кондорсе — официальный теоретик прогресса, который он связывал с государственным прогрессом, став его неофициальной жертвой, поскольку просвещенное государство вынудило его покончить с собой, приняв яд. Сорель[71] был совершенно прав, утверждая, что философия прогресса наилучшим образом подходит для общества, алчущего материального процветания

[71] notes: 71
Les Illusions du Progrès.

за счет технических достижений. Если ты уверен, что завтра в полном соответствии с мировым порядком будет лучше, чем было вчера, ты спокойно можешь развлекаться. Как ни парадоксально, прогресс порой служит оправданием консерватизма. Прогресс — этот вексель, выданный верой в лучшее будущее, — позволяет хозяину жить с сознанием чистой совести. Рабу и всем, чье настоящее убого и кто лишен надежды обрести утешение в загробном мире, он дарит уверенность, что уж будущее-то точно принадлежит им. Будущее — это единственный вид собственности, которую хозяева добровольно уступают рабам.

Как видно, эти соображения и сегодня не утратили актуальности. Они не утратили актуальности как раз потому, что революционный дух охотно взял на вооружение двусмысленную и удобную тему прогресса. Разумеется, речь не идет о том же самом прогрессе, и Маркс жестоко насмехался над рациональным оптимизмом буржуа. Как мы покажем ниже, его аргументация была совсем другой. Но тем не менее мысль о трудном пути к будущему примирению оказалась для философии Маркса определяющей. Гегель и марксизм изничтожили формальные ценности, освещавшие якобинцам прямой путь к истори-

ческому счастью. Но они сохранили саму идею поступательного движения, спутав ее с социальным прогрессом и объявив необходимой. Таким образом, они выступили продолжателями буржуазной мысли XIX века. Токвиль, с энтузиазмом подхваченный Пекёром (оказавшим влияние на Маркса), торжественно заявлял: «Постепенное и последовательное развитие идеи равенства составляет суть как прошлого, так и будущего всемирной истории». Если мы заменим равенство на уровень производства и представим себе, что на последнем производственном этапе происходит преобразование общества в бесконфликтное, то получим марксизм.

Что касается необходимости эволюции, то наиболее догматическое ее определение дал Огюст Конт, сформулировавший в 1822 году закон трех стадий. Выводы Конта поразительным образом совпадают с представлениями, от которых не отказался бы и научный социализм[72]. В позитивизме явственно ощутимы отголоски идеологической революции XIX века, одним из представителей которой был Маркс и суть которой заключалась в том, чтобы перенести

[72] notes: 72

Последний том «Курса позитивной философии» вышел в том же году, что и «Сущность христианства» Фейербаха.

в конец истории Райский сад и Откровение, традиционно помещавшиеся в начале мира. Эра позитивизма, с неизбежностью сменившая метафизическую и теологическую эру, должна была отметить пришествие религии человечества. Анри Гуйе дал верное определение попытке Конта, указывая, что тот искал человека без божественных следов. Первоначальная цель Конта — повсеместное вытеснение абсолютного относительным, — самой силой вещей превратилась в обожествление относительного и проповедь религии, одновременно универсальной и лишенной трансцендентности. Конт видел в якобинском культе Разума предтечу позитивизма и с полным правом считал себя истинным последователем революционеров 1789 года. Продолжая эту революцию, он расширял ее границы путем уничтожения трансцендентности принципов и систематического построения религии человека как вида. Его призыв: «Устранить Бога во имя религии» — означал именно это, и ничто иное. Первая жертва мании, впоследствии захватившей весь мир, он жаждал стать апостолом Павлом новой религии и заменить римский католицизм парижским. Известно, что он мечтал, чтобы в соборах стояли «статуи обожествленного

человечества на месте прежних алтарей Бога». Он точно высчитал, что еще до 1860 года будет проповедовать позитивизм с кафедры Нотр-Дам. Этот расчет не так забавен, как кажется. Нотр-Дам пока что успешно выдерживает осаду. Но религия человечества в конце XIX века действительно обрела своих проповедников, и Маркс, скорее всего, и не читавший Конта, стал одним из ее пророков. Просто Маркс понял, что религия без трансцендентности зовется политикой. Впрочем, знал это и Конт, или по крайней мере сознавал, что его религия есть идолопоклонство перед социумом и что она предполагает политический реализм[73], отрицание индивидуального права и установление деспотизма. Общество, в котором роль жрецов принадлежит ученым; Европой и ее 120-миллионным населением правят две тысячи банкиров и технократов; частная жизнь абсолютно тождественна общественной; все безропотно — «делами, мыслями и сердцем» — подчиняются первосвященнику, решающему всё и вся, — такова утопия Конта, возвещающая, можно сказать, горизонтальные религии наших дней. Она и правда утопична, потому что автор,

[73] notes: 73

«Все, что развивается спонтанно, с необходимостью узаконивается в течение известного времени».

убежденный в просветительской мощи науки, забыл включить в свою модель полицию. Те, кто придет после него, будут практичнее и в самом деле учредят религию человечества, только основанную на крови и цвете кожи.

Если мы добавим, что идею об исключительной важности для развития человечества промышленного производства Маркс заимствовал у буржуазных экономистов, а идею трудовой стоимости — у экономиста буржуазно-промышленной революции Рикардо, то получится, что мы правы, называя его буржуазным пророком. Вышеприведенными сопоставлениями мы лишь стремимся показать, что Маркс, вопреки заявлениям хаотичных марксистов нашего времени[74], вовсе не начало и конец человеческой природы, а всего лишь ее участник, он не столько предтеча, сколько наследник. Его учение, которое он считал реалистическим, таким и было во времена религиозной веры в науку, дарвиновскую теорию эволюции, паровую машину и текстильную промышленность. Сто лет спустя наука открыла

---

[74] notes: 74

По мнению Жданова, марксизм — это «философия, качественно отличающаяся от всех предшествующих систем». Это означает, например, либо что марксизм не является картезианством, чего никому не придет в голову отрицать, либо что марксизм ничем существенным не обязан картезианству, что есть полный абсурд.

теорию относительности, принцип неопределенности и категорию случайности, а экономика вплотную столкнулась с электричеством, черной металлургией и атомной промышленностью. Неспособность чистого марксизма интегрировать в себя эти последовательные открытия означает и провал буржуазного оптимизма времен Маркса. Претензия марксистов на неизменность столетних «научных» истин смехотворна. Мессианизм XIX века, будь он революционный или буржуазный, не устоял перед мощным развитием той самой науки и той самой истории, которые он обожествлял, хотя и в разной степени.

Революционное пророчество

Пророчество Маркса принципиально революционно. Если человеческая реальность уходит корнями в производственные отношения, то историческое развитие революционно уже потому, что революционна экономика. На каждом этапе промышленного развития экономика порождает антагонизмы, разрушающие общество в пользу более высокого уровня производства. Капитализм — последняя стадия промышленного развития, потому что он порождает условия, в которых все антагонизмы будут преодолены и никакой эконо-

мики больше не будет. В этот день наша история превратится в предысторию. Это, в сущности, гегелевская схема, представленная в другой перспективе. Диалектика здесь рассматривается под углом духа. Очевидно, сам Маркс никогда не говорил о диалектическом материализме, оставив заботу о прославлении этого логического монстра своим наследникам. Но он утверждает, что реальная действительность диалектична и основана на экономике. Реальная действительность — это вечное становление, сотрясаемое плодотворным столкновением противоречий, каждый раз разрешаемых путем высшего синтеза, который, в свою очередь, порождает свою противоположность и тем самым двигает историю вперед. Но если Гегель утверждал, что реальность движется к духу, то Маркс — что экономика движется к бесклассовому обществу и что всякая вещь является тем, что она есть, и одновременно своей противоположностью, и это противоречие принуждает ее становиться чем-то другим. Капитализм является буржуазной системой, следовательно, он несет в себе зерна революции и расчищает русло для коммунизма.

Оригинальность Маркса заключается в утверждении, согласно которому история есть одно-

временно и диалектика, и экономика. Гегель был в этом смысле более независимым и настаивал на том, что история — это одновременно и материя, и дух. Впрочем, она могла быть материей лишь в той мере, в какой была духом, и наоборот. Маркс отрицает дух как субстанцию и настаивает на историческом материализме. Здесь мы можем вслед за Бердяевым отметить невозможность примирения диалектики с материализмом. Диалектика возможна только в мышлении. Но и само понятие материализма двойственно. Уже для того, чтобы образовать это слово, нужно существование в мире нечто большего, чем материя. С еще большим основанием ту же критику можно применить к историческому материализму. История как раз тем и отличается от природы, что преобразует ее посредством воли, науки и страсти. Следовательно, Маркс — не чистый материалист по той простой причине, что ни чистого, ни абсолютного материализма не существует. Он настолько далек от материализма, что признает: если оружие может привести к торжеству теории, то и теория может стать оружием. Было бы более справедливым назвать позицию Маркса историческим детерминизмом. Он не отрицает силу мысли, он лишь полагает, что она полностью

определяется внешней реальностью. «У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». Это грубое определение абсолютно бессмысленно. Каким образом и с помощью чего нечто внешнее может быть «пересажено в человеческую голову»? Но даже эта трудность — ничто в сравнении с дальнейшей попыткой понять, что такое «преобразование» материального в идеальное. Однако философия Маркса страдала ограниченностью, характерной для его эпохи. Чтобы разобраться, что он имел в виду, обратимся к другим методам.

Для Маркса человек — это прежде всего история, в первую очередь история средств производства. Действительно, Маркс отмечает, что человек отличается от животного прежде всего своей способностью производить средства для своего существования. Он не может не есть, не одеваться, не иметь крыши над головой. *Primum vivere*[75] — вот его насущная потребность. Те немногие мысли, которые его посещают, напрямую связаны с удовлетворением этой потребности. Затем Маркс доказывает, что эта

[75] notes: 75
Прежде жить (*лат.*).

зависимость постоянна и неизбежна. «История промышленности… является раскрытой книгой человеческих сущностных сил». Обобщая, он делает из этого утверждения, в принципе приемлемого, вывод, что экономическая зависимость является единственной и достаточной, а это уже нуждается в доказательствах. Можно допустить, что экономике принадлежит главная роль в генезисе человеческих мыслей и поступков, но отсюда вовсе не следует, как утверждает Маркс, что немцы восстали против Наполеона только потому, что им стало не хватать сахара и кофе. Впрочем, чистый детерминизм всегда бессмыслен. Если бы это было не так, хватило бы всего одного истинного утверждения, чтобы, протянув от него цепочку следствий, прийти к полной истине. Но этого не происходит, что означает либо то, что мы никогда не высказывали ни одного истинного утверждения, включая утверждение об истинности детерминизма, либо из наших истинных утверждений не вытекает никаких следствий, то есть детерминизм ложен. Тем не менее у Маркса имелись свои, чуждые чистой логике резоны, вынуждавшие его прибегать к столь произвольному упрощению.

Объяснять природу человека экономическим

детерминизмом — значит сводить его к сумме общественных отношений. Человека-одиночки не существует — эту бесспорную истину открыл XIX век. Из нее был сделан произвольный вывод о том, что причины, по которым человек чувствует себя одиноким в обществе, носят социальный характер. Действительно, если одиночество может быть объяснено чем-то внешним по отношению к человеку, то человек ступает на путь к трансцендентности. Напротив, социальные отношения люди создают сами; если же принять за утверждение, что социальные отношения создают человека, то возникает иллюзия, что найдено всеобъемлющее объяснение этому, позволяющее исключить всякую трансцендентность. Тогда человек, по Марксу, становится «автором и действующим лицом собственной истории». Революционность пророчества Маркса состоит в том, что он завершает негативистское движение, начатое мыслителями века Просвещения. Якобинцы разрушают трансцендентность личного бога, но вместо него предлагают трансцендентность принципов. Маркс разрушает и трансцендентность принципов, закладывая тем самым основы современного атеизма. В 1789 году на место веры пришел разум. Но сам этот разум

был в своей неизменности трансцендентным. Маркс, выступая с еще более радикальной, чем Гегель, позиции, разрушает трансцендентность разума и переносит ее на историю. Ранее она была регулятором, теперь обрела силу завоевателя. Маркс идет дальше Гегеля, упорно причисляя того к идеалистам (что не так, во всяком случае, Гегель не больший идеалист, чем Маркс — материалист) ровно в той мере, в какой царство духа так или иначе служит восстановлению сверхисторической ценности. «Капитал» воспроизводит диалектику господства и рабства, но заменяет самосознание экономической самостоятельностью, а финальное воцарение абсолютного духа — наступлением коммунизма. «Атеизм есть гуманизм, опосредствованный с самим собой путем снятия религии, а коммунизм — гуманизм, опосредствованный с самим собой путем снятия частной собственности». Религиозное отчуждение имеет ту же природу, что и отчуждение экономическое. Единственный способ покончить с религией — добиться абсолютной свободы человека по отношению к определяющим его существование материальным условиям. Революция отождествляется с атеизмом и царством человеческим.

Вот почему Маркс делает акцент на социаль-

но-экономическом детерминизме. Наиболее плодотворной оказалась его попытка показать, что́ в реальности скрывается за формальными ценностями, демонстрируемыми современной ему буржуазией. Справедлива также его теория мистификации — просто потому, что она в принципе справедлива и применима в том числе и к революционным мистификациям. Свобода, чтимая Тьером, была свободой привилегии, поддерживаемой полицией; семья, превозносимая консервативными газетами, зиждилась на социальном устройстве, при котором полуголых мужчин и женщин, связанных одной веревкой, загоняют в один рудник; мораль процветала на фоне пролетарской проституции. Маркс с невиданной до него силой и прямотой показал, что требование быть честным и умным было в эгоистических целях присвоено лицемерием заурядного и алчного общества. Его возмущенное разоблачение вызвало новые злоупотребления, требующие новых разоблачений. Но прежде всего надо было знать — и заявить об этом вслух, — что оно родилось в крови подавленного Лионского восстания 1834 года и в жестокой подлости версальских моралистов 1871-го. «Человек, у которого ничего нет, и сам является ничем». Если

это утверждение на самом деле ложно, то для оптимистического общества XIX века оно было почти верным. Крайний упадок, вызванный экономикой процветания, вынудил Маркса отдать предпочтение социально-экономическим отношениям и с еще большим жаром пророчествовать о наступлении царства человеческого.

Отсюда понятно, почему Маркс толкует историю с чисто экономических позиций. Принципы лживы, но реальность нищеты и труда истинна. Если затем доказать, что этой реальности довольно, чтобы объяснить и прошлое, и будущее человечества, то с принципами, а заодно и с обществом, которое ими кичится, будет покончено навсегда. Именно этому и посвятил себя Маркс.

Человек появился одновременно с производством и обществом. Земельное неравенство, более или менее быстрое совершенствование средств производства и борьба за выживание скоро привели к социальному неравенству, принявшему форму противоречий между производством и распределением, то есть к борьбе классов. Именно эта борьба и эти противоречия и служат двигателем истории. Античное рабство и феодальное крепостничество суть этапы долгого пути, который привел к ремесленничеству

классического времени, когда производитель являлся хозяином средств производства. С открытием международной торговли и новых рынков возникает потребность в менее провинциальном способе производства. Противоречие между способом производства и новыми потребностями распределения возвещает окончание этапа мелкого промышленного и сельскохозяйственного производства. Промышленная революция, изобретение паровой машины и конкуренция за рынки с необходимостью приводят к разорению мелких собственников и созданию крупных мануфактур. Средства производства концентрируются в руках тех, кто сумел их купить; настоящие производители, то есть работники, владеют только мускульной силой своих рук, которую могут продавать денежным мешкам. Таким образом, буржуазный капитализм определяется отчуждением производителя от средств производства. Из этого противоречия вытекает ряд неизбежных следствий, позволяющих Марксу возвестить конец эпохи социальных антагонизмов.

На первый взгляд — обратим на это внимание — нет никаких причин, чтобы четко установленный диалектический принцип классовой

борьбы вдруг перестал быть верным. Либо он по-прежнему верен, либо не был верным никогда. Маркс справедливо замечает, что после революции больше не будет классов, как после 1789 года не стало сословий. Но исчезновение сословий не повлекло за собой исчезновения классов, и нет никаких оснований предполагать, что после исчезновения классов не возникнет какой-либо иной социальный антагонизм. Между тем именно в этом утверждении содержится суть марксистского пророчества.

Марксистская схема хорошо известна. Маркс вслед за Адамом Смитом и Рикардо определяет стоимость всякого товара количеством затраченного на его производство труда. Количество труда, продаваемого пролетарием капиталисту, само по себе есть товар, стоимость которого определяется количеством затраченного на него труда, то есть стоимостью потребительских благ, необходимых для выживания пролетария. Приобретая этот товар, капиталист обязуется платить за него достаточно, чтобы продавец, то есть работник, мог питаться и продолжать свой род. Одновременно капиталист получает право заставить работника трудиться столько, сколько в его силах. Но работник может трудиться

много — больше, чем необходимо для оплаты средств к его существованию. Если рабочий день составляет 12 часов, то и половины достаточно, чтобы произвести стоимость, эквивалентную стоимости средств к существованию работника, и тогда оставшиеся шесть часов являются неоплачиваемыми и представляют собой прибавочную стоимость, то есть чистую прибыль капиталиста. Поэтому в интересах капиталиста продлить рабочий день до максимума, а если это невозможно, то увеличить до максимума производительность труда рабочего. Первое условие обеспечивается за счет полиции и жестокости. Второе — за счет организации труда. Вначале оно ведет к разделению труда, а затем к использованию машин, расчеловечивающих рабочего. С другой стороны, конкуренция за внешние рынки и необходимость все более значительных инвестиций в новое оборудование ведут к дальнейшей концентрации средств производства. Происходит поглощение мелких капиталистов крупными, которые могут, например, дольше выдерживать убыточные цены. Все большая часть прибыли инвестируется в новые машины, аккумулируясь в постоянном капитале. Сначала это двойное движение ускоряет разорение среднего класса,

представители которого присоединяются к пролетариату, а затем сосредоточивает богатства, произведенные исключительно пролетариатом, в руках сокращающегося числа капиталистов. Пролетариат растет численно и одновременно ухудшаются условия его жизни. Отныне капитал сосредоточен в руках всего нескольких хозяев, чье растущее могущество основано на воровстве. Впрочем, хозяева, страдающие от регулярно повторяющихся кризисов, не в силах преодолеть порожденные системой противоречия, больше не в состоянии обеспечить даже простое выживание своим рабам, которые теперь зависят от государственной или частной благотворительности. Наконец, с неизбежностью наступает день, когда огромная армия угнетенных рабов восстает против жалкой горстки недостойных хозяев. Это день революции. «Гибель буржуазии и победа пролетариата одинаково неизбежны».

В этом знаменитом описании пока ничего не говорится об окончательном разрешении всех противоречий. После победы пролетариата борьба за выживание может породить и новые антагонизмы. Здесь появляются два новых понятия: одно — экономическое, связанное с тождественностью промышленного и общественного

развития, а второе — чисто системное, касающееся миссии пролетариата. Оба эти понятия соединяются в том, что можно назвать активным фатализмом Маркса.

Та же экономическая эволюция, которая действительно приводит к концентрации капитала в немногих руках, делает противоречие одновременно и более жестким, и в каком-то смысле ирреальным. Складывается впечатление, что в высшей точке развития производственных сил достаточно щелчка пальцев, чтобы пролетариат овладел средствами производства, уже превращенными в частную собственность и сконцентрированными в виде единой огромной массы, отныне общей. Пока частная собственность сконцентрирована в руках одного владельца, от коллективной собственности ее отделяет существование всего одного человека. Эволюция частного капитализма неизбежно приведет к образованию чего-то вроде государственного капитализма, который затем нужно будет просто поставить на общую службу, и тогда появится общество, где труд и капитал сольются воедино и совместными усилиями породят изобилие и справедливость. Именно ввиду столь счастливого исхода Маркс всегда превозносил ту

революционную роль, которую невольно играет буржуазия. Он говорил об «историческом праве капитализма», являющегося одновременно источником прогресса и нищеты. По его мнению, историческая миссия и оправдание капитала в том, что они готовят условия для высшего способа производства. Не являясь революционным, этот способ производства всего лишь увенчает революцию. Революционными являются только основы буржуазного способа производства. Маркс, утверждая, что человечество ставит перед собой только посильные задачи, показывает, что зародыш решения революционной проблемы находится внутри самой капиталистической системы. Поэтому он рекомендует скорее терпеть буржуазное государство и даже помогать его строить, чем возвращаться к доиндустриальному способу производства. Пролетарии «могут и должны участвовать в буржуазной революции, поскольку она является предпосылкой рабочей революции».

Таким образом, Маркс выступает пророком производства, и мы имеем полное право предположить, что система для него была важнее реальности. Он постоянно защищал Рикардо — экономиста манчестерской модели капитализма

— от нападок тех, кто обвинял его в стремлении к производству ради производства («Он желал этого с полным основанием!» — восклицает Маркс), не считаясь с интересами людей. «В этом и состоит его достоинство», — не менее беззастенчиво, чем Гегель, утверждает Маркс. Действительно, что значат страдания людей, если их жертва служит спасению всего человечества! Прогресс подобен «тому отвратительному языческому идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепов убитых». Но это все-таки прогресс, и после промышленного апокалипсиса, в день всеобщего примирения, он перестанет быть палаческим.

Но если пролетариат не может избежать ни революции, ни овладения средствами производства, сумеет ли он хотя бы воспользоваться ими к общему благу? Где гарантия, что внутри самого пролетариата не возникнет новых антагонистических сословий и классов? Гарантию дает Гегель. Пролетариат вынужден использовать свои богатства на общее благо потому, что он не просто пролетариат, а воплощение общего в его противопоставлении частному, то есть капитализму. Противоречие между капиталом и пролетариатом есть последняя стадия борьбы

между единичным и общим, той борьбы, что лежит в основе исторической трагедии господства и рабства. По завершении начертанной Марксом схемы пролетариат вберет в себя все классы, оставив за рамками всего лишь жалкую горстку хозяев — всем известных «преступников», которых как раз и сметет революция. Кроме того, капитализм, доводя рабочего до крайней степени нищеты, постепенно освобождает его от всех характеристик, отличающих его от остальных людей. У пролетария нет ничего — ни собственности, ни морали, ни родины. Следовательно, он ни к чему не привязан — разве что к своему виду, голым и беспощадным представителем которого отныне является. Он утверждает все и вся — при условии самоутверждения. Но не потому, что пролетарии — боги, а как раз потому, что они низведены до бесчеловечного состояния. «Только пролетарии, полностью лишенные понятия о собственной личности, способны к подлинному самоутверждению».

Такова миссия пролетариата: из высшего унижения возродить высшее достоинство. В борьбе и муках он становится Христом-человеком, искупающим коллективный грех отчуждения. Вначале он многоликий носитель тотального отрицания,

под конец — глашатай окончательного утверждения. «Философия не может быть воплощена в действительность без упразднения пролетариата, пролетариат не может упразднить себя, не воплотив философию в действительность». И еще: «Пролетариат может существовать… только во всемирно-историческом смысле… Коммунизм… вообще возможен лишь как «всемирно-историческое» существование». Но этот Христос одновременно и мститель. По Марксу, он является исполнителем приговора, который частная собственность выносит сама себе. «Ныне все дома мечены таинственным красным крестом. Судья — это история, исполнитель приговора — это пролетариат». Таким образом, все предопределено. Кризисы будут следовать за кризисами[76], бедственное положение пролетариев усугубляться, а их число — расти, пока не разразится всемирный кризис, в котором исчезнет мир менял, а история, пережив момент высшего насилия, перестанет быть насилием. Настанет окончательное царство.

Нетрудно понять, что этот фатализм мог (как это случилось с гегелевской философией) быть

[76] notes: 76

По предположению Маркса, каждые 10–11 лет. Однако периодичность циклов будет «постепенно сокращаться».

приведен к своего рода политическому квиетизму силами марксистов, например Каутского, который так же мало верил в способность пролетариата к революции, как в способность буржуазии ей воспрепятствовать. Даже Ленин, которого, напротив, должен был привлекать экстремистский аспект учения, в 1905 году в гневном тоне церковного проповедника писал: «Только реакционная мысль может искать спасения пролетариата в чем-то ином, кроме массированного развития капитализма». У Маркса природа экономики такова, что она развивается постепенно, без скачков, и не допускает прыжков через тот или иной этап. Совершенно неправомочно утверждать, что социалисты-реформисты сохранили по этому вопросу верность Марксу. Фатализм, напротив, исключает любые реформы, могущие смягчить катастрофизм эволюции и, как следствие, замедлить наступление неизбежного конца. Согласно этой логике, следовало с одобрением относиться ко всему, что усугубляло нищету рабочих. У рабочего надо отнять все — чтобы в один прекрасный день он все приобрел.

Маркс тем не менее чувствовал опасность подобного квиетизма. Нельзя надеяться, что власть попадет тебе в руки, — или эти надежды будут

бесконечными. Наступает день, когда власть надо брать, и именно с этим днем связано отсутствие ясности, очевидное каждому читателю Маркса. Именно в этом вопросе он без конца противоречит сам себе. Он отмечал, что общество «исторически вынуждено пройти через диктатуру пролетариата». Но его характеристики этой диктатуры крайне противоречивы[77]. Он был уверен, что ясно и недвусмысленно приговорил государство к уничтожению, заявляя, что его существование неразрывно связано с существованием рабства. Но он возражал против справедливого замечания Бакунина, считавшего, что понятие временной диктатуры противоречит всем нашим познаниям о человеческой природе. Маркс действительно думал, что истинная диалектика стоит выше психологической правды. Что утверждала диалектика? Что ликвидация «государства имеет у коммунистов только тот смысл, что она является необходимым результатом отмены классов, вместе с которыми отпадает сама собой потребность в организованной си-

[77] notes: 77

Мишель Колине в работе «Трагедия марксизма» находит у Маркса три формы захвата власти пролетариатом: якобинская республика («Манифест коммунистической партии»), авторитарная диктатура («18 брюмера») и феодально-анархистское правление («Гражданская война во Франции»).

ле одного класса для удержания в подчинении других классов». По этой священной формуле правление людей должно уступить место правлению вещей. Следовательно, диалектика в категоричной форме оправдывала существование пролетарского государства лишь на время, необходимое для уничтожения или интеграции класса буржуазии. Но, к сожалению, пророчество и фатализм допускали и иные толкования. Если есть уверенность, что новое царство настанет, какая разница, через сколько лет это произойдет? Для того, кто не верит в будущее, страдание не бывает временным. Но сто лет страданий — ничто с точки зрения того, кто утверждает, что на сто первом году будет воздвигнут новый град. В перспективе пророчества ничто не имеет значения. Что бы ни случилось, класс буржуазии исчезнет, и пролетариат установит всемирное царство человека, достигшего в силу самой логики развития промышленности вершин производительности. Разве имеет значение, что это произойдет через установление диктатуры и насилие? Кто в этом сияющем Иерусалиме чудесных машин вспомнит о стонах погубленных?

Следовательно, наступление золотого века, перенесенного на конец истории и в силу двойной

привлекательности совпадающего с апокалипсисом, оправдывает все. Необходимо учесть колоссальные амбиции марксизма и дать оценку масштабу его проповеди, чтобы понять: подобная надежда пренебрегает проблемами, которые в ее свете представляются второстепенными. «Коммунизм как… подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека; а потому как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства достигнутого развития возвращение человека к самому себе как человеку общественному, т. е. человечному. Такой коммунизм, как завершенный натурализм, равен гуманизму… он есть подлинное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком… между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он — решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение». Это псевдонаучный язык. А по существу, в чем отличие вышеизложенного от мечтаний Фурье, пророчившего о «плодоносных пустынях, опресненных морях, чья вода отдает фиалками, о вечной весне»? О вечной весне человечества нам сообщают на

языке энциклики. Чего может желать и на что может надеяться человек, лишенный Бога, если не на царство человеческое? Этим объясняется экстаз учеников. «В обществе без страха легко не думать о смерти», — заявляет один из них. Между тем — и в этом настоящее проклятие нашего общества, — страх смерти — это роскошь, гораздо ближе знакомая человеку праздному, нежели труженику, задавленному работой. Но любой социализм утопичен, и прежде всего научный. Утопия ставит на место Бога будущее. Она отождествляет будущее и мораль; единственной ценностью является то, что служит будущему. Вот почему она всегда основана на принуждении и авторитаризме[78]. Маркс как утопист ничем не отличается от своих чудовищных предшественников, а частью своего учения оправдывает своих последователей.

Разумеется, правы те комментаторы, которые подчеркивают этическую взыскательность, лежащую в основе марксизма[79]. Прежде чем перейти к вопросу о поражении марксизма, от-

---

[78] notes: 78

Морелли, Бабёф и Годкин на самом деле описывают общества инквизиции.

[79] notes: 79

Maximilien Rubel. Pages choisies pour une éthique socialiste. Rivière.

метим, что именно она и составляет подлинное величие Маркса. Он поставил в центр своих рассуждений труд, его несправедливое угнетение и его глубокое достоинство. Он восстал против низведения труда до товара, а труженика — до объекта. Он напомнил привилегированным слоям, что их привилегии не даны им Богом, а собственность не является вечным правом. Он заставил мучиться угрызениями совести тех, кто, по его мнению, не имел права на мир в душе, и с невиданной глубиной разоблачил класс, преступление которого состояло не в том, что он захватил власть, а в том, что он использовал ее для создания общества пошлости, лишенного всякого благородства. Мы обязаны ему идеей, погрузившей нас, сегодняшних, в безнадежность — хотя эта безнадежность стоит дороже любой надежды, — о том, что труд, лишенный всяких прав, — это не жизнь, хотя он занимает все время жизни. Кто еще, несмотря на претензии нашего общества, способен спокойно спать, зная, что его пошлые удовольствия куплены ценой труда миллионов мертвых душ? Требуя для работника богатства, состоящего не в деньгах, а в досуге и творчестве, он, вопреки видимости, выступал за улучшение качества человеческой жизни. Он не

желал — и мы на этом настаиваем, — чтобы от его имени бесконечно унижали человека. Одно-единственное его высказывание, в кои-то веки ясное и четкое, навсегда лишает его победивших учеников величия и человечности, свойственных ему: «Цель, нуждающуюся в неправедных средствах, нельзя считать праведной целью».

Здесь мы снова сталкиваемся с трагедией Ницше. Амбиции и пророчества благородны и универсальны. Но ограничительный характер учения и сведение всякой ценности к исторической сделали возможными самые экстремальные последствия. Маркс хотя бы верил, что конечные цели истории высокоморальны и рациональны. В этом и заключается его утопизм. Но утопия — и ему это было прекрасно известно — обречена обслуживать цинизм, неприемлемый для Маркса. Он разрушил всякую трансцендентность, а затем совершил переход от фактического к должному. Но долг всегда берет начало в факте. Требование справедливости приводит к несправедливости, если под ним не лежит этическое оправдание справедливости. А если этого нет, то однажды долгом станет преступление. Если добро и зло слиты во времени и неотличимы от событий, то больше нет хороших и дурных поступков, есть

лишь поступки преждевременные или запоздалые. Кто, как не оппортунист, станет судить о своевременности того или иного поступка? Потом, утверждали ученики Маркса, вы станете судьями. Но жертвы не могут стать судьями — их больше нет в живых. Для жертвы единственной ценностью является настоящее, а единственным действием — бунт. Мессианизм просто обязан восставать против жертв. Возможно, Маркс этого и не желал, но мы должны рассмотреть вопрос о его ответственности за то, что он во имя революции оправдал кровавую борьбу против всех форм бунта.

Крах пророчества

Гегель гордо возвестил конец истории в 1807 году, сенсимонисты назвали революционные потрясения 1830 и 1848 годов последними. Конт умер в 1857-м, готовясь нести с кафедры человечеству, очнувшемуся наконец от заблуждений, позитивизм. В свою очередь, Маркс все с тем же слепым романтизмом проповедовал бесклассовое общество и разрешение исторической тайны. Впрочем, точной даты он, как человек более осторожный, не назначил. К сожалению, его пророчество описывало также ход истории

вплоть до часа утоления всех желаний и сообщало тенденцию развития событий. Правда, события и факты забыли подстроиться под его теоретические выкладки, поэтому пришлось втискивать их туда силой. Но главная проблема в другом. Если пророчества выражают живые надежды миллионов людей, они не могут безнаказанно откладываться до бесконечности. Наступает срок, когда разочарование превращает терпеливую надежду в негодование, а та же цель, провозглашаемая с яростным упорством, требует достижения в еще более жесткой форме и ищет для этого иных путей.

В конце XIX — начале XX века революционное движение жило подобно первохристианам в ожидании конца света и Второго Пришествия пролетарского Христа. Известно, насколько в общинах первохристиан было сильно это чувство. Еще в конце IV века епископ римской провинции Африка высчитал, что миру осталось жить сто один год. По окончании этого срока наступит царство Божие, и надо успеть его заслужить. В I веке н. э.[80] этим чувством были охвачены все поголовно, что объясняет безразличие

[80] notes: 80

О неминуемости этого события см.: Мк. 39:8, 30:13; Мф. 23:10, 27:12, 34:24; Лк. 26:9—27, 22:21 и т. д.

первохристиан к чисто богословским вопросам. Если Второе Пришествие близко, значит, надо думать не об изучении источников и не о догмах, а о том, как не утратить пыла веры. Вплоть до Климента и Тертуллиана, то есть на протяжении более ста лет, христианская литература игнорировала проблемы теологии и мало интересовалась Писанием. Но если Второе Пришествие откладывается, значит, надо жить дальше, руководствуясь наставлениями в вере. Так появляются молитвенные книги и катехизис. Евангельское Второе Пришествие отодвинулось на неопределенный срок, зато пришел апостол Павел, который дал верующим догму. Церковь облекла в плоть ту веру, что представляла собой чистое стремление к грядущему царству небесному. За какой-нибудь век пришлось организовать все, включая даже мученичество, свидетелями которого в миру станут монастырские ордена, и даже проповедь, которая впоследствии станет рядиться в платье инквизиции.

Сходное движение зародилось и после краха иллюзии о втором революционном пришествии. Цитируемые выше тексты Маркса дают представление о тех пылких надеждах, какими горели революционно настроенные умы. Несмотря на

частичные поражения, эта вера продолжала расти вплоть до 1917 года, когда чаяния верующих почти осуществились. «Мы боремся за небесные врата», — восклицал К. Либкнехт. В 1917 году революционерам почудилось, что они и в самом деле достигли этих врат. Пророчество Розы Люксембург на глазах становилось реальностью. «Завтра революция распрямится во весь рост и с наводящим ужас грохотом протрубит во все свои трубы: я была, я есть, я буду». Восстание Спартака, казалось, приближает мир к окончательной революции, ведь, если верить самому Марксу, она должна начаться в России и затем перекинуться на Запад[81]. Действительно, после революции 1917 года небесные врата должна была открыть советская Германия. Но восстание Спартака было подавлено, всеобщая забастовка во Франции потерпела неудачу, итальянское революционное движение захлебнулось в крови. Тогда Либкнехт признал, что революционная ситуация пока не созрела: «Время еще не пришло». Но одновременно с этим — и тут мы можем наблюдать, как в результате поражения вера побежденных переходит в почти религиозный экстаз, — он пишет:

[81] notes: 81

Предисловие к русскому переводу «Манифеста коммунистической партии».

«Грохот экономического развала, чьи первые раскаты уже приближаются, разбудит павших рабочих, трупы погибших борцов встанут как по зову трубы Страшного суда и потребуют отчет у тех, кто навеки обречен проклятью». Но Либкнехт и Роза Люксембург убиты, а Германия погружается в рабство. Русская революция остается в одиночестве, выживая вопреки собственной системе; до небесных врат еще далеко, зато ей предстоит организовать апокалипсис. Второе Пришествие снова откладывается. Вера не пошатнулась, но на нее навалилась куча проблем и печальных открытий, о которых у Маркса не сказано ни слова. Новая Церковь в очередной раз вступает в спор с Галилеем: чтобы сохранить веру, ей придется отрицать существование Солнца и унижать свободного человека.

Что же в этот момент говорит Галилей? В чем, как показал сам ход истории, ошиблось пророчество? Известно, что некоторое количество постулатов Маркса было опровергнуто прежде всего экономическим развитием современного мира. Если революция должна свершиться на пике двух параллельно идущих процессов — безграничной концентрации капитала и безграничного расширения пролетариата, — то

никакой революции не будет и быть не может. И капитал, и пролетариат в равной мере подвели Маркса. Тенденция, отмеченная им в Англии XIX века, кое-где пошла в обратном направлении, а кое-где обросла дополнительными сложностями. Экономические кризисы, которые должны были участиться, напротив, стали наступать все реже: капитализм раскрыл тайны планирования и внес свой вклад в укрепление государственного молоха. С другой стороны, появилась масса акционерных обществ, и капитал, которому следовало концентрироваться в одних руках, породил новую категорию мелких собственников, менее всего заинтересованных в потворстве забастовщикам. Мелкие предприятия, как и предсказывал Маркс, во многих случаях разорились, не выдержав конкуренции, но усложнение производственных процессов вызвало к жизни множество небольших мануфактур, привязанных к крупным предприятиям. В 1938 году Форд заявил, что на него работает 5200 частных мастерских. С тех пор эта тенденция шла по нарастающей. Разумеется, Форд контролировал деятельность всех этих мастерских, что логично, но главное заключалось в том, что владевшие ими мелкие промышленники образовали про-

межуточный социальный слой, самим своим существованием усложнивший придуманную Марксом схему. Наконец, доказал свою полную несостоятельность закон о концентрации капитала в сельском хозяйстве — отрасли, которой Маркс не придавал большого значения. Эта лакуна оказалась очень серьезной. В некотором смысле история социализма нынешнего века может быть рассмотрена как борьба пролетарского движения против класса крестьян. В историческом плане она является продолжением начатой в XIX веке идеологической борьбы авторитарного социализма с анархическим, крестьянские и ремесленнические корни которого очевидны. Следовательно, хоть в распоряжении Маркса и имелся идеологический материал для анализа проблемы крестьянства, логика системы вынудила его им пренебречь. Это упрощение дорого обошлось кулакам, которые представляли собой пять миллионов исторических исключений, убийствами и депортацией в кратчайшие сроки втиснутых в рамки системы.

То же упрощенчество отвлекло внимание Маркса от феномена национализма — и это в век усиления националистических тенденций. Он полагал, что в результате торговли и обмена на

фоне пролетаризации масс все барьеры между нациями падут. На самом деле под натиском национальных барьеров пал пролетарский идеал. Национальная борьба оказалась исторически ничуть не менее важной, чем борьба классов. Понятие нации не находит объяснения в рамках экономической теории, и система Маркса ее попросту не учла.

Со своей стороны, пролетариат тоже повел себя вразрез с экономическим учением. Первым делом сбылось опасение Маркса: в результате реформ и достижений профсоюзного движения повысился уровень жизни рабочих и улучшились условия их труда. Эти изменения были далеко не достаточными, чтобы решить проблему социального неравенства, но чудовищное во времена Маркса положение английских ткачей не только не ухудшилось, как он предсказывал, и не распространилось на другие отрасли промышленности, но, напротив, потихоньку перестало быть таковым. Впрочем, сегодня Марксу не на что было бы жаловаться, потому что еще одно его ошибочное пророчество восстановило равновесие. Опыт показал, что самые успешные революционные или профсоюзные акции всегда совершаются рабочей элитой, которой не грозит страх голодной смерти.

Нищета и вырождение остались тем же, чем были до Маркса и чего он вопреки очевидности не желал признавать, — факторами порабощения, а не пробуждения революционного сознания. В 1933 году треть немецких рабочих оказалась без работы. Буржуазное общество было вынуждено их кормить, тем самым создавая одно из условий, необходимых, по мысли Маркса, для совершения революции. Но выяснилось, что ожидание подачек от государства отнюдь не формирует будущих революционеров. Вслед за навязанной привычкой возникли новые, не всегда навязанные, весьма успешно сведенные Гитлером в единую доктрину.

Наконец, не сбылся прогноз о безграничном расширении класса пролетариев. В условиях промышленного производства, которое должен поддерживать каждый марксист, существенно вырос средний класс[82] и даже появился новый социальный слой — слой техников. Дорогой Ленину идеал, согласно которому каждый инженер будет одновременно и разнорабочим, не выдер-

[82] notes: 82

С 1920 по 1930 год, в период интенсивного промышленного роста в США, число рабочих металлургических заводов снизилось, тогда как число торговцев, занятых в той же отрасли экономики, выросло почти в два раза.

жал столкновения с действительностью. Наука и техника настолько усложнились, что сегодня ни один человек не в состоянии овладеть всеми теоретическими и практическими основами той или иной профессии. Например, почти невозможно представить себе, чтобы современный физик досконально разбирался в современной биологии. Да даже в области физики он отнюдь не претендует на глубокое знание всех ветвей этой дисциплины. То же самое относится к технике. Как только производительность труда, рассматриваемая и буржуазными экономистами, и марксистами как благо, увеличилась несоизмеримо с тем, что было в прошлом, специализация труда, которую Маркс считал необязательной, приобрела неизбежный характер. Каждый рабочий выполняет какую-либо отдельную операцию и понятия не имеет об общем плане, составной частью которого является его труд. Одновременно складывается слой людей, занимающихся координацией работы остальных, и, в силу выполняемых ими функций, они начинают играть в обществе определяющую роль.

Бернхем назвал это время эрой технократов, но элементарная справедливость требует заметить, что Симона Вей еще 17 лет назад описала ее во

вполне законченном виде[83] и воздержавшись от неприемлемых выводов, к каким приходит Бернхем. К двум традиционным формам угнетения, известным человечеству — с помощью оружия и с помощью денег, — Симона Вей добавляет третью — с помощью должности. «Можно устранить противоречие между покупателем и продавцом труда, — пишет она, — не устранив противоречия между теми, кто распоряжается машиной, и теми, кем распоряжается машина». Марксистское стремление к ликвидации унизительного противопоставления умственного труда ручному натолкнулось на барьер в виде производственных потребностей, которые в другом месте Маркс превозносил. Бесспорно, в «Капитале» Маркс говорит о важной роли «директора» при условии максимальной концентрации капитала, но он не думал, что эта концентрация сохранится при уничтожении частной собственности. Разделение труда и частная собственность, утверждал он, суть тождественные понятия. История доказала обратное. Идеальный строй, основанный на коллективной собственности, стремился к самоопределению через справедливость плюс

[83] notes: 83

Allons-nous vers une révolution prolétarienne? *Révolution prolétarienne.* 25 avril 1933.

электричество. В финале осталось электричество минус справедливость.

Наконец, до сих пор так и не осуществилась историческая миссия пролетариата, опровергнув еще одно пророчество Маркса. Крах Второго интернационала доказал, что пролетариата заботит не только его материальное положение и что вопреки знаменитой формуле у него таки есть отечество. В подавляющем большинстве пролетарии поддержали (или молча приняли) войну, став вольными или невольными соучастниками нацистских кошмаров своего времени. Маркс полагал, что, прежде чем добиться окончательной победы, рабочий класс приобретет юридические и политические познания. Его ошибка заключалась в том, что он думал, будто крайняя нищета, особенно нищета промышленных рабочих, приведет к росту их политической зрелости. Отметим, впрочем, что революционную активность масс затормозил разгром анархистской революции во время и после Парижской коммуны. Но марксизм без труда возглавил рабочее движение уже начиная с 1872 года, очевидно, благодаря масштабу своего распространения, но также и потому, что единственная социалистическая традиция, способная ему противостоять,

была утоплена в крови: в числе восставших в 1871 году практически не было марксистов. Эта автоматическая чистка революции усилиями полицейских государств продолжается до наших дней. Чем дальше, тем больше судьба революции оказывалась в руках бюрократов и доктринеров, с одной стороны, и ослабленных дезориентированных масс — с другой. Если отправить на гильотину элиту революционеров и оставить в живых Талейрана, кто сумел бы противостоять Бонапарту? К историческим причинам добавились экономические. Чтобы понять, до какой степени морального истощения и безмолвного отчаяния способна довести рационализация труда, необходимо прочитать то, что пишет Симона Вей о положении заводских рабочих. Она абсолютно права, когда утверждает, что положение рабочих дважды бесчеловечно, потому что они лишены, во-первых, денег, а во-вторых, достоинства. Интересная, творческая работа, даже если за нее мало платят, не портит человеку жизнь. Промышленный социализм не сделал ничего существенного для улучшения положения рабочих, потому что он не коснулся самого принципа производства и организации труда, а, напротив, восторгался тем и другим. Он смог предложить

труженику историческое оправдание, которое стоило не больше обещания умирающему от непосильного труда небесного блаженства; социализм не дал рабочему радости созидания. На этом уровне значение имеет не политическая форма общества, а символ веры технической цивилизации, от которой в равной мере зависят и капитализм, и социализм. Любое рассуждение, не ставящее во главу угла эту проблему, если и затрагивает вопрос о бедственном положении рабочего, то лишь попутно.

Под влиянием экономических сил, вызывавших восхищение Маркса, пролетариат отбросил прочь историческую миссию, порученную ему тем же Марксом. Мы легко простим ему эту ошибку, потому что, наблюдая оскотинивание правящих классов, любой человек, озабоченный будущим цивилизации, станет инстинктивно подыскивать ему замену в виде новой элиты. Но сама по себе эта попытка ничего не решает. Революционная буржуазия в 1789 году взяла власть потому, что эта власть ей уже принадлежала. В то время право, если воспользоваться выражением Жюля Моннеро, отставало от факта. Факт состоял в том, что буржуазия уже занимала командные посты и владела новой силой — день-

гами. Другое дело — пролетариат, на стороне которого были только нищета и надежды, а буржуазия не давала ему вырваться из этой нищеты. Буржуазные классы оскотинились в результате производственного безумия и материальной мощи; впрочем, само это безумие было организовано таким образом, что не могло создать новые элиты[84]. Напротив, критика этой организации и развитие бунтарского сознания вполне могли выковать запасную элиту. По этому пути устремился только революционный синдикализм во главе с Пеллутье и Сорелем, поставивший своей целью формирование посредством повышения профессионального образования и культуры новых кадров, которых требовал и до сих пор требует бессовестный мир. Но такие вещи за один день не делаются, а новые хозяева уже появились, гораздо более заинтересованные в том, чтобы ради завтрашнего счастья воспользоваться сегодняшним несчастьем, чем в том, чтобы максимально улучшить страшную участь

[84] notes: 84

Ленин, кстати, первым зафиксировал эту истину, правда, без особой горечи. Его высказывание ужасно для революционеров, но еще хуже для самого Ленина. Итак, он посмел заявить, что массы легче примут бюрократический и диктаторский централизм потому, что «дисциплина и организация особенно легко усваиваются пролетариатом именно благодаря этой фабричной «школе».

миллионов людей. Авторитарные социалисты сочли, что история движется слишком медленно и ее надо подтолкнуть, а для этого перепоручить пролетарскую миссию горстке доктринеров. Тем самым они первыми отреклись от этой миссии. Тем не менее она существует, но не в том узком смысле, какой придавал ей Маркс, а в том смысле, в каком у каждой группы людей, извлекающей из своего труда и своих страданий предмет для гордости и плодотворного развития, есть своя миссия. Но для того, чтобы она проявилась, надо было рискнуть и довериться свободе и непосредственным интересам рабочих. Авторитарный социализм, напротив, конфисковал эту живую свободу, предложив взамен свободу идеальную, но возможную лишь в далеком будущем. Тем самым он вольно или невольно укрепил систему порабощения, разработанную фабричным капитализмом. В результате действия обоих этих факторов у пролетариата на протяжении ста пятидесяти лет, если исключить время Парижской коммуны — последнего прибежища бунтарской революции, — не осталось иной исторической миссии, кроме миссии быть жертвой предательства. Пролетарии сражались и гибли, чтобы дать власть военным и интеллигентам, тоже будущим

военным, которые их в свой черед поработили. Тем не менее в этой борьбе проявилось их достоинство, признаваемое всеми, кто разделял их надежды и скорби. Но это достоинство было завоевано против клана старых и новых хозяев. В тот самый миг, когда они пытаются использовать его в своих интересах, оно их отвергает. В некотором смысле оно предвещает их закат.

Таким образом, по крайней мере экономические пророчества Маркса были поставлены под сомнение самой действительностью. Верной в его экономических воззрениях оказалась модель общества, все более зависимого от производственного ритма. Но эту концепцию он, как представитель своего века, разделял с такими же восторженными буржуазными идеологами. Буржуазные иллюзии, касающиеся науки и технического прогресса, разделяемые авторитарными социалистами, породили цивилизацию укротителей машин, которые способны ценой конкуренции и подавления разделяться на враждующие блоки, но в экономическом плане подчиняются одним и тем же законам: концентрации капитала, рационализации труда и постоянному росту его производительности. Политическое различие, касающееся большего или

меньшего всемогущества государства, важно, но может быть сглажено в результате экономического развития. Более серьезно выглядит различие этическое: формальная добродетель или исторический цинизм. Но в обеих вселенных господствует производственный императив, фактически превращающий ту и другую в единый мир[85].

В любом случае, если отрицать экономический императив невозможно[86], то его последствия оказались совершенно иными, чем предполагал Маркс. Экономически капитализм является угнетателем в силу феномена накопления. Он угнетает по самой своей природе, накапливает с целью укрепления своей природы, еще больше угнетает и еще больше накапливает. Маркс не видел иного выхода из этого адского круга, кроме революции. Накопление и после революции

[85] notes: 85

Уточним, что производительность вредна только в том случае, если она является целью, а не средством, которое может быть освободительным.

[86] notes: 86

Хотя именно так и происходило вплоть до XVIII века, то есть до тех пор, пока Маркс его, как он считал, не открыл. Исторические примеры столкновения форм цивилизации, не приведшего к прогрессу в плане производительности труда: разрушение микенской культуры, вторжение варваров в Рим, изгнание мавров из Испании, истребление альбигойцев и т. д.

будет необходимо, но в самой слабой мере, лишь бы обеспечить социальные гарантии. Но индустриализация продолжается и после революции, когда становится очевидно, что накопление связано не с капитализмом, а с самой техникой, что машина призывает новую машину. Любой борющийся коллектив нуждается в накоплении и вовсе не склонен раздавать свои богатства. Он накапливает, чтобы укрепиться и нарастить мощь. Буржуазный или революционный, он откладывает справедливость на потом, а в настоящем думает исключительно о собственном могуществе. Но одно могущество противостоит другим могуществам. И тогда оно экипируется и вооружается — потому что экипируются и вооружаются остальные. Оно не прекращает и никогда не прекратит накапливать — разве что в тот день, когда завоюет весь мир. Но для этого ему придется вести войну. До настоящего времени пролетарий получает едва ли достаточно для простого выживания. Революция вынуждена, не считаясь с людскими затратами, создавать того промышленного и капиталистического посредника, который требуется ее собственной системе. Рента заменяется человеческим страданием. Рабство становится всеобщим, и небесные

врата остаются закрытыми. Таков экономический закон общества, поклоняющегося культу производства, а реальность выглядит еще более кровавой, чем закон. Революция, оказавшись в тупике, куда ее загнали буржуазные враги и сторонники-нигилисты, обернулась рабством. Если не сменить принципы и направление движения, то у революции нет иного выхода, кроме рабских бунтов и их кровавого подавления или кошмарной надежды на атомное самоубийство. Воля к власти, нигилистическая борьба за господство и власть не просто смели марксистскую утопию. Она, в свою очередь, превратилась в исторический факт, предназначенный быть использованным, как и все прочие. Она мечтала покорить историю, но заблудилась в истории; она надеялась подчинить себе все средства, но сама стала средством, цинично используемым в самых пошлых и кровавых целях. Беспрерывное развитие производства не обрушило капиталистического строя в пользу революции. Оно обрушило как буржуазное, так и революционное общество в пользу идола с харей властителя.

Каким образом социализм, именовавший себя научным, мог потерпеть столь сокрушительное поражение при столкновении с фактами? Ответ

прост: он не был научным. Напротив, его провал связан с двусмысленным методом, согласно которому он определял себя одновременно детерминистским и пророческим, диалектическим и догматическим. Если дух есть лишь отражение вещей, он не может опережать их в развитии, разве что гипотетически. Если теория определяется экономикой, она может дать описание истории производства, но не его будущего, которое остается предположением. Задача исторического материализма ограничивается критикой существующего общества; об обществе будущего он может, не нарушая принципов научности, лишь строить гипотезы. Кстати, не по этой ли причине главный труд Маркса называется «Капитал», а не «Революция»? Маркс и марксисты позволили себе пророчествовать о будущем и коммунизме в ущерб собственным постулатам и научному методу.

Их прогноз мог стать научным только при условии отказа от пророчеств в области абсолюта. Марксизм не является научной доктриной, он в лучшем случае наукообразен. Он обозначил тот глубокий разрыв между научным разумом как действенным инструментом исследования, мышления и даже бунта и историческим разумом,

изобретенным немецкой идеологией, отрицавшей любые принципы. Исторический разум по самой своей функции не судит мир. Он ведет его, претендуя на роль судьи. Он и погружен в событие, и направляет его, выступая одновременно и с педагогической, и с завоевательной позиции. Впрочем, за этими загадочными описаниями скрывается самая простая действительность. Если человек сведен к истории, остается всего один выход — либо погрязнуть в шуме и ярости безумной истории, либо придать этой истории форму человеческого разума. Следовательно, история современного нигилизма — это не более чем длительная попытка насильно — силами человека или с помощью силы как таковой — придать истории утраченный порядок. В конце концов, этот псевдоразум отождествляется с хитростью и стратегией, пока не достигнет кульминации в идеологической империи. При чем же здесь наука? Ничто так не убедительно, как разум. Историю не творят с научной дотошностью; мало того, тот, кто в своем историческом поведении претендует на научную объективность, обречен на провал. Разум не проповедует, а если начинает проповедовать, то перестает быть разумом. Вот почему исторический разум

— это иррациональный и романтический разум, иногда напоминающий систематизированное мышление одержимого, а иногда — словесный мистицизм.

Единственный подлинно научный аспект марксизма заключается в том, что он заранее отказывается от мифологии и выносит на повестку дня самые животрепещущие интересы людей. Но в этом отношении Маркс не более научен, чем Ларошфуко, и в том-то и дело, что он отвергает этот подход, едва начинает пророчествовать. Поэтому не приходится удивляться, что ради придания марксизму научности и поддержания этой фикции в век науки понадобилось заранее насадить марксизм в качестве науки методами террора. Научный прогресс после Маркса в общем и целом состоял в замене детерминизма и довольно грубого механицизма, свойственного его времени, вероятностным подходом. Маркс писал Энгельсу, что основу их общего учения составляет теория Дарвина. Поэтому, чтобы не навредить марксизму, следовало отрицать все биологические открытия, совершенные после Дарвина. Поскольку в результате этих открытий, в том числе открытия Де Фризом скачкообразных мутаций, в биологии появилось обратное

детерминизму понятие случайности, пришлось поручить Лысенко призвать хромосомы к дисциплине и снова утвердить в науке примитивный детерминизм. Это, конечно, смехотворно. Но, если месье Омэ поставить во главе полиции, он перестанет быть смешным, и вот вам XX век. Ради этого XX век должен будет отвергнуть принцип неопределенности в физике, специальную теорию относительности, квантовую теорию[87] и вообще общую тенденцию развития современной науки. Сегодня марксизм может оставаться научным, только отрицая Гейзенберга, Бора, Эйнштейна и наиболее великих ученых нашего времени. В конце концов, в принципе, нацеленном на приведение научного разума на службу пророчеству, нет ничего мистического. Он давно известен под именем авторитаризма; именно им руководствовались церкви, пытаясь поработить истинный разум силами мертвой веры, а свободу ума — поддержкой временной власти[88].

В конечном итоге от пророчества Маркса, спор-

---

[87] notes: 87

Роже Кайуа отмечает, что сталинизм, отвергая квантовую теорию, использует вытекающую из нее атомную физику (Critique du marxisme, Gallimard).

[88] notes: 88

На все эти темы см.: *Jean Grenier*. Essai sur l'Esprit orthodoxe (Gallimard). Эта книга, написанная 15 лет назад, остается актуальной.

ного по двум основаниям — экономическому и научному, — осталось только страстное провозвестие некоего события, которое должно случиться через много-много лет. Марксисты отговаривались тем — больше было нечем, — что сроки оказались длиннее, чем задумывалось, что надо дождаться последнего дня, хотя неизвестно, когда он наступит, и тогда все исполнится и все жертвы будут оправданны. Другими словами, мы попали в чистилище и слышим уверения, что ада точно не будет. Но тогда возникает проблема иного порядка. Если для того, чтобы в ходе экономического развития, по определению благоприятного, возникло бесклассовое общество, достаточно борьбы одного-двух поколений, то для того, кто борется, это приемлемая жертва: будущее имеет для него вполне конкретный облик, например его внука. Но, если жертвы многих поколений оказалось мало и теперь мы вступаем в бесконечный период всемирной борьбы, тысячу раз более разрушительной, тогда для того, чтобы согласиться умирать и убивать, нужна вера. Просто эта новая вера имеет под собой не больше рациональных оснований, чем предыдущие.

В самом деле, можно ли представить себе конец истории? Маркс не стал повторять терминоло-

гию Гегеля. Он довольно туманно объяснял, что коммунизм — это всего лишь необходимая форма будущего, но не все будущее. Но тогда одно из двух: либо коммунизм не знаменует конца истории противоречий и страданий, и в этом случае непонятно, чем оправдать такое количество усилий и жертв; либо он его знаменует, и в этом случае продолжение истории может быть только движением к совершенному обществу. И тут в якобы научное описание произвольно вводится понятие мистического толка. Окончательное исчезновение политической экономии — это любимая тема Маркса и Энгельса — означает окончание всяких страданий. Действительно, экономика на всем протяжении истории порождает страдания и горести, и они исчезнут вместе с ней. Мы в Эдеме.

Невозможно найти решение проблемы, заявляя, что речь идет не о конце истории, а о прыжке в другую историю. Но мы можем вообразить себе эту другую историю только по образу и подобию нашей собственной: для человека обе эти истории суть одно. Но и другая история ставит перед нами ту же дилемму. Либо она не приводит к разрешению всех противоречий, и мы страдаем, умираем и убиваем практически ни за что. Либо

она разрешает противоречия и завершает нашу историю. На этой стадии марксизм находит себе оправдание созданием идеального града.

Но в чем смысл существования этого града? В сакральной вселенной смысл есть — надо только принять религиозный постулат. Мир был сотворен; он конечен; Адам покинул Эдем; человечество должно в него вернуться. Но в исторической вселенной, при условии, что мы принимаем диалектический постулат, смысла нет. Правильно понятая диалектика утверждает, что движение не может и не должно останавливаться[89]. Антагонистические факторы той или иной исторической ситуации сначала взаимно отрицаются, а затем преодолевают отрицание путем нового синтеза. Но нет никаких оснований считать, что этот новый синтез будет высшим по отношению к предыдущим. Вернее говоря, нет оснований считать так, если только мы не введем в диалектику произвольный термин, то есть некое оценочное суждение, заимствованное извне. Если бесклассовое общество означает конец истории, то тогда капиталистическое общество является высшим по отношению к феодальному

[89] notes: 89

См. великолепную полемику Жюля Моннеро. Sociologie du communisme, III partie.

— ровно в той мере, в какой оно приближает наступление бесклассового общества. Но если мы принимаем постулат диалектики, мы должны принимать его целиком. Так же как на смену сословному обществу пришло общество без сословий, но с классами, на смену классовому обществу должно прийти общество без классов, но движимое каким-то новым антагонизмом, пока не определенным. Движение, не имеющее начала, не может иметь и конца. «Если социализм, — говорит эссеист-анархист[90], — это вечное становление, то его средства суть его цель». Вот именно. У него нет конечной цели, есть только средства, не гарантированные ничем, кроме ценности, чуждой становлению. В этом смысле справедливо замечание, что диалектика не является и не может быть революционной. С нашей точки зрения, она есть чистый нигилизм, то есть движение, отрицающее все, что не является ею самой.

Следовательно, у нас нет никаких оснований вообразить себе в этой вселенной конец истории. А ведь он — единственное оправдание тех жертв, которых от человечества требует марксизм. Но у

[90] notes: 90
Ernestan. Le Socialisme et la Liberté.

него нет иного рационального основания, кроме логической ошибки, которая заключается в том, что в историю как в единое и самодостаточное царство вводится чуждая ценность. Поскольку одновременно эта ценность чужда и морали, то она в собственном смысле слова не является ценностью, на которой можно строить свое поведение, а является умозрительной догмой, принимаемой от отчаяния мыслью, задыхающейся от одиночества или нигилизма или навязанной теми, кто извлекает из этой догмы выгоду. Конец истории не есть образцовая ценность, ценность совершенства. Это принцип произвола и террора.

Маркс признавал, что все случившиеся до него революции потерпели крах. Но он полагал, что та революция, провозвестником которой он выступил, одержит окончательную победу. До сих пор рабочее движение существовало, опираясь на это утверждение, постоянно опровергаемое фактами, и теперь настало время спокойно разоблачить эту ложь. По мере того как Второе Пришествие откладывалось все дальше, утверждение конечного царства за неимением разумных оснований превращалось в символ веры. Сегодня, вопреки Марксу, единственная ценность марксистского мира состоит в догме,

навязанной целой идеологической империи. Идея конечного царства используется, так же как идея вечной морали или царства небесного, в целях общественной мистификации. Эли Галеви заявлял, что он не в состоянии сказать, к чему приведет социализм — к всемирной швейцарской республике или к европейскому цезаризму. Сегодня мы лучше осведомлены. Пророчества Ницше оправдались, по крайней мере в этом вопросе. Современный марксизм вопреки самому себе и в силу неопровержимой логики обернулся интеллектуальным цезаризмом, который мы наконец обязаны описать. Последний представитель борьбы справедливости против благодати, он, сам того не желая, берет на себя роль борца за справедливость против правды. Как жить без благодати — этот вопрос занимал умы в XIX веке. С опорой на справедливость, отвечали на него те, кто не желал принимать абсолютный нигилизм. Народам, разуверившимся в царстве небесном, они обещали наступление царствия человеческого. Проповедь града человеческого крепла вплоть до конца XIX века, когда она превратилась в чистую фантазию и поставила научные методы на службу утопии. Но царство все не наступало, чудовищные войны разорили старинные земли,

городские стены окропились кровью восставших, а всеобщая справедливость нисколько не приблизилась. Вопрос XX века, на который террористы 1905 года ответили собственной гибелью, вопрос, раздирающий современный мир, понемногу обрел четкую формулировку: как жить без благодати и без справедливости?

На этот вопрос ответил не бунт, а один лишь нигилизм. До настоящего времени был слышен только его голос, повторявший формулу бунтарей-романтиков: «Ярость». Историческая ярость именуется властью. Воля к власти вытеснила волю к справедливости, вначале притворившись, что они суть одно, а потом отбросив ее куда-то в конец истории, в ожидании тех времен, когда на земле уже нечего будет покорять. Тогда идеология восторжествовала над экономикой: история русского коммунизма стала разоблачением его принципов. В конце этого долгого пути мы обнаруживаем метафизический бунт, который на сей раз продвигается вперед, бряцая оружием и повинуясь приказам, но забыв о своих настоящих принципах. Он топит свое одиночество в гуще вооруженных толп, маскируя свои отрицания упорной схоластикой, по-прежнему обращенной в будущее, отныне ставшее ему единственным

богом, отделенным от него еще не покоренными народами и еще не завоеванными континентами. Действуя во имя единственного принципа и оправдываясь царством человеческим как алиби, он уже начал строить на Востоке Европы свой укрепленный лагерь, противостоящий остальным укрепленным лагерям.

Царство конечных целей

Маркс не предполагал столь чудовищного апофеоза, как, впрочем, и Ленин, который тем не менее сделал решающий шаг на пути к милитаризованной империи. Прекрасный стратег и посредственный философ, он выдвинул на первый план вопрос захвата власти. Сразу же отметим: рассуждать о том, что Ленин был якобинцем, — большое заблуждение. Из всех его убеждений якобинской была только идея о создании партии агитаторов и революционеров. Якобинцы верили в принципы и добродетель: столкнувшись с необходимостью их отрицания, они предпочли смерть. Ленин верил только в революцию и в добродетель эффективности. «Надо уметь… пойти на все и всякие жертвы даже — в случае необходимости, — пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умол-

чания, сокрытия правды, лишь бы проникнуть в профсоюзы… вести в них, во что бы то ни стало, коммунистическую работу». Борьба против формальной морали, начатая Гегелем и Марксом, у него превращается в критику неэффективного революционного поведения. Это движение вело к Империи.

Если взять две работы, отметившие начало[91] и конец[92] его деятельности агитатора, то нельзя не поразиться постоянству его беспощадной борьбы против сентиментальных форм революционной активности. Он стремился изгнать из революции мораль именно потому, что был убежден: революционная власть устанавливается не на основе десяти заповедей. Когда он после первых попыток появляется на исторической сцене, где ему предстояло сыграть столь значительную роль, и с такой естественной свободой принимает мир таким, каким его сотворили идеология и экономика предшествующего века, он производит впечатление человека Нового времени. Равнодушный к любым опасениям, ностальгии и морали, он садится за руль, выбирает наилучший

[91] notes: 91
«Что делать?», 1902.

[92] notes: 92
«Государство и революция», 1917.

режим работы двигателя и сам решает, какая добродетель годится для водителя, а какая нет. Поначалу он движется немного на ощупь и колеблется относительно того, должна ли Россия пройти через стадию промышленного капитализма. Но эти сомнения означают неуверенность в возможности революции в России. Он русский человек, и его задача — совершить русскую революцию. Он выкидывает за борт экономический фатализм и берется за дело. В 1902 году он недвусмысленно заявляет, что рабочие не способны самостоятельно выработать независимую идеологию. Он отрицает стихийный порыв масс. Социалистическое учение нуждается в научной базе, дать которую могут только интеллектуалы. Когда он заявляет о необходимости стирания граней между рабочими и интеллигенцией, это означает, что не обязательно быть пролетарием, чтобы лучше самого пролетария понимать интересы пролетариата. Поэтому он одобряет Лассаля, яростно боровшегося против стихийной активности масс. «Теория, — настаивает он, — должна подчинять себе стихийность»[93]. Иначе говоря, революция нуждается в вождях, точнее, в

[93] notes: 93

Как и Маркс: «То, что считают своей целью отдельные пролетарии или даже весь пролетариат в целом, не имеет никакого значения».

вождях-теоретиках.

Он сражается одновременно с реформизмом, снижающим революционный тонус, и с терроризмом[94] как явлением единичным и потому малоэффективным. Революция должна быть не столько экономической или сентиментальной, сколько военной. Пока она не свершилась, революционная деятельность сводится к стратегии. Самодержавие — это враг, его главную силу составляет полиция, то есть профессиональный корпус политических бойцов. Вывод из этого прост: «Борьба с политической полицией требует особых качеств, требует революционеров по профессии». У революции должна быть своя профессиональная армия, а остальную массу можно будет в нужный день призвать присоединиться к перевороту. Армия агитаторов должна быть организована раньше, чем организуется масса. По выражению Ленина, это будет агентурная сеть, то есть провозвестник господства тайного общества и монашеского ордена, состоящего из реалистов-революционеров: «Мы — младотурки революции, с капелькой иезуитства вдобавок». С этого момента у пролетариата больше нет мис-

[94] notes: 94

Известно, что его старший брат, избравший путь индивидуального террора, был казнен.

сии. Он всего лишь мощное, хотя не единственное средство в руках революционных аскетов[95].

Из проблемы захвата власти вытекает проблема государства. Посвященная этому работа «Государство и революция» (1917) — самое любопытное и самое противоречивое из сочинений Ленина. В ней автор использует свою излюбленную методику — ссылку на авторитеты. Цитируя Маркса и Энгельса, он начинает с протеста против любого реформизма, который якобы пытается использовать в своих целях буржуазное государство, являющееся институтом подавления одним классом другого. Буржуазное государство зиждется на полиции и армии, поскольку прежде всего является инструментом подавления. В нем отражается одновременно и непримиримый классовый антагонизм, и насильственное ослабление этого антагонизма. Эта фактическая власть заслуживает только презрения. «Даже глава военной власти цивилизованного государства мог бы позавидовать старшине клана, пользующемуся «не из-под палки приобретенным уважением» общества». Впрочем, еще Энгельс твердо установил, что понятие государства несовместимо

[95] notes: 95

Еще Гегель называл социалистов «новыми пуританами». Исторически пуританство и революция идут рука об руку.

с понятием свободного общества. «Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет неизбежно государство. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором».

По-видимому, здесь и кроется объяснение того, что невнимательные читатели увидели в «Государстве и революции» анархистские тенденции и разжалобились по поводу уникальной судьбы столь сурового для армии, полиции, палки и бюрократии учения. Но чтобы понять взгляды Ленина, надо помнить, что он всегда рассуждает в терминах стратегии. Если он с такой энергией защищает тезис Энгельса об исчезновении буржуазного государства, то делает это потому, что пытается, с одной стороны, противостоять чистому «экономизму» Плеханова или Каутского, а с другой — доказать, что правительство Керенского — это буржуазное правительство, подлежащее уничтожению. Кстати, ровно через месяц он его и уничтожит.

Кроме того, следовало дать ответ его оппонентам, указывая, что революция тоже будет нуждаться в аппарате управления и подавления. Здесь он снова прибегает к опоре на авторитет Маркса и Энгельса, доказывая, что пролетарское государство организовано не так, как другие, что это государство по определению находится в состоянии постоянного отмирания. «С того времени, как не будет ни одного общественного класса, который надо бы было держать в подавлении… не будет и надобности… в государстве. Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества — взятие во владение средств производства от имени общества, — является в то же время последним самостоятельным актом его как государства… Вместо правительства управленческими полномочиями теперь обладают вещи. Государство не «отменяется», оно отмирает». Вначале пролетариат уничтожает буржуазное государство. Затем, но только затем рассасывается пролетарское государство. Диктатура пролетариата необходима, чтобы: 1) подавить или уничтожить остатки буржуазного класса; 2) осуществить обобществление средств производства. Как только будут решены эти две задачи, оно тут же начнет отмирать.

Таким образом, Ленин исходит из четкого и ясного принципа, согласно которому государство отмирает, как только произошло обобществление средств производства и уничтожение эксплуататорского класса. Но в той же самой работе он приходит к выводу о законности сохранения, причем на неопределенный срок, диктатуры революционной фракции над остальной частью народа и после обобществления средств производства. Памфлет, постоянно ссылающийся на опыт Коммуны, абсолютно во всем противоречит федералистским и антиавторитарным идеям, породившим Коммуну; кроме того, он также противоречит оптимистическому описанию, данному Марксом и Энгельсом. Причина тому проста: Ленин не забыл, что Коммуна проиграла. Что касается способов столь удивительной аргументации, то они еще проще: как только революция встречается с какой-либо новой трудностью, государству, описанному Марксом, добавляется очередная дополнительная характеристика. Действительно, через каких-нибудь десять страниц Ленин без всякого перехода утверждает, что власть необходима для подавления эксплуататоров, а также «для руководства громадной массой населения, крестьянством, мелкой

буржуазией, полупролетариями в деле «налаживания» социалистического хозяйства». Разворот очевиден: временное государство Маркса и Энгельса получает новую миссию, обещающую ему долгую жизнь. Здесь уже заметно противоречие сталинского режима с его собственной официальной философией. Либо этот режим построил социалистическое бесклассовое общество и сохранение безупречно действующего аппарата подавления не находит себе оправдания в рамках марксистского учения. Либо он его не построил, но тогда понятно, что марксистское учение ложно, в частности, обобществление средств производства не ведет к исчезновению классов. Режим вынужден определиться в своем отношении к официальному учению: признать, либо что оно несостоятельно, либо что он его предал. В действительности в России с помощью Ленина восторжествовал не Маркс, а — вслед за Нечаевым и Ткачевым — изобретатель государственного социализма Лассаль. Начиная с этого история внутрипартийной борьбы Ленина и Сталина будет сведена к борьбе рабочей демократии против военно-бюрократической диктатуры, или справедливости против эффективности.

В какой-то момент могло показаться, что Ле-

нин попытается найти некий компромиссный вариант, так как он с похвалой отзывался о мерах, предпринятых Коммуной: выборности чиновников, возможности их отзыва, оплате их труда на уровне зарплат рабочих, замене производственной бюрократии на прямое рабочее управление. Мы видим даже Ленина-федералиста, одобряющего образование коммун и их представительство. Но скоро понимаем, что Ленин превозносит этот федерализм только потому, что он означает уничтожение парламентаризма. Ленин вопреки всякой исторической правде называет его централизмом и мгновенно смещает акцент на идею пролетарской диктатуры, упрекая анархистов в непримиримости к государству. Здесь с опорой на Энгельса появляется новое утверждение, оправдывающее сохранение диктатуры пролетариата после обобществления, исчезновения класса буржуазии и даже наконец-то успешно осуществленного управления массами. Отныне время удержания власти сдвигается до пределов, определяемых условиями производства. Например, окончательное отмирание государства должно совпасть с моментом, когда все без исключения будут обеспечены бесплатным жильем. Это высший идеал комму-

низма: каждому по потребностям. Но до тех пор государство сохранится.

Какова будет скорость развития общества до высшей фазы коммунизма, при которой каждый получит по своим потребностям? «Этого мы не знаем и знать не можем… ибо материала для решения таких вопросов нет». Для вящей ясности Ленин все так же произвольно добавляет: обещать, «что высшая фаза развития коммунизма наступит, ни одному социалисту в голову не приходило». Можно сказать, что в этой точке происходит окончательная гибель свободы. Сначала происходит подмена понятия царства трудящихся масс и пролетарской революции идее революции, осуществляемой и руководимой профессиональными агентами. Затем непримиримая критика государства совмещается с необходимостью, пусть временной, диктатуры пролетариата в лице его вождей. Наконец, нам сообщают, что срок существования этого временного государства определить невозможно; мало того, никто и не думал обещать, что этот срок когда-нибудь наступит. После этого нечего удивляться разгрому независимых Советов, предательству Махно и подавлению партией Кронштадтского мятежа.

Разумеется, многие утверждения Ленина как ярого поборника справедливости можно противопоставить сталинскому режиму, в первую очередь идею отмирания государства. Даже если допустить, что пролетарское государство исчезнет еще не скоро, оно, согласно учению, должно тем не менее — если оно продолжает называться пролетарским — демонстрировать знаки исчезновения и постепенно утрачивать функцию подавления. Не подлежит сомнению, что Ленин верил в неизбежность подобного развития, но события показали, что он ошибался. Пролетарское государство существует уже более тридцати лет, но не демонстрирует никаких признаков прогрессирующей анемии. Напротив, мы отмечаем его продолжающийся расцвет. Впрочем, два года спустя на конференции в Свердловском университете Ленин под давлением внешних и внутренних событий даст одно уточнение, позволяющее сделать вывод о бесконечности сохранения пролетарского сверхгосударства. «Этой машиной или дубиной [государством] мы разгромим всякую эксплуатацию, и когда на свете не останется возможности эксплуатировать, не останется владельцев земли, владельцев фабрик, не будет так, что одни пресыщаются, а другие

голодают, — лишь тогда, когда возможностей к этому не останется, мы эту машину отдадим на слом. Тогда не будет государства, не будет эксплуатации». Таким образом, пока на всей земле, а не только в данном обществе останется хоть один угнетенный или один собственник, государство будет сохраняться. Оно будет вынуждено постоянно укрепляться, чтобы постепенно уничтожать в мире несправедливость — несправедливые правительства, неисправимо буржуазные нации, слепые народы, не понимающие собственных интересов. И вот когда на окончательно покоренной и очищенной от противников земле последняя несправедливость будет утоплена в крови праведников и неправедников, тогда государство, достигшее предела власти, этот чудовищный идол, поглотивший целый мир, покорно растворится в безмолвном Граде справедливости.

Вместе с Лениным и под неизбежным давлением империалистического противника зарождается империализм справедливости. Но империализм, даже основанный на справедливости, имеет всего одну цель — покорение мира, в противном случае он обречен. До тех пор у него нет иных способов, кроме несправедливости. Отныне учение окончательно отождествляется

с пророчеством. Ради далекой справедливости оно узаконивает несправедливость на всем протяжении истории и превращается в ту самую мистификацию, которую Ленин ненавидел больше всего на свете. Оно заставляет смириться с несправедливостью, преступлением и ложью, взамен обещая чудо. Еще больше производства, беспрерывная работа, бесконечные страдания, непрекращающаяся война — и наконец настанет миг, когда всеобщее рабство тотальной империи волшебным образом преобразуется в свою противоположность: свободную праздность внутри всемирной республики. Теперь псевдореволюционная мистификация получила свое выражение в отточенной формулировке: ради завоевания Империи необходимо убить всякую свободу, и тогда в один прекрасный день Империя обернется свободой. В этом случае путь к единству лежит через тоталитарность.

Тотальность и трибунал

На самом деле тотальность есть не что иное, как давняя мечта о единстве, равно свойственная верующим и бунтарям, но взятая в ее горизонтальной проекции на землю без Бога. Отказ от какой бы то ни было ценности равнозначен

отказу от бунта и смирению перед Империей и рабством. Критика формальных ценностей не могла не затронуть идеи свободы. Стоило признать невозможность появления в результате одного только бунта свободного индивидуума, о котором мечтали романтики, как пришлось включить в исторический процесс и свободу. Свобода обернулась борьбой, она есть, пока продолжается борьба. Отождествленная с динамикой истории, она не сможет воспользоваться собой же, пока история не остановится и не будет создан Всемирный Град. До тех пор каждая из ее побед будет оспорена и выхолощена. Немецкий народ освобождается от угнетателей-союзников, но ценой свободы каждого немца. Отдельные индивидуумы в тоталитарном обществе не свободны, хотя коллективный человек свободен. В конце концов, когда Империя освободит весь род человеческий, свобода воцарится над стадами рабов, которые будут свободны, по крайней мере от Бога и вообще от любой трансцендентности. Это яркий пример чуда диалектики — перехода количества в качество: мы охотно называем свободой тотальное рабство. Впрочем, как и в других примерах, приводимых Гегелем и Марксом, не существует никакой объективной трансформации,

есть лишь субъективная смена наименования. Чудес не бывает. Если единственная надежда нигилизма заключается в том, чтобы миллионы рабов в один прекрасный день смогли образовать освобожденное навсегда человечество, то история есть не более чем безнадежная мечта. Историческая мысль должна была освободить человека от покорности Богу, но это освобождение требует от него абсолютного подчинения будущности. Если раньше приникали к алтарю — теперь обращаются к бессменной партии. Вот почему эпоха, дерзко именующая себя бунтарской, на деле предлагает выбор из разных видов конформизма. Подлинная страсть XX века — это закрепощение.

Но и общей свободы добиться ничуть не легче, чем свободы индивидуальной. Чтобы обеспечить господство человека над миром, необходимо отсечь от мира и человека все, что не подчинено Империи, все, что вырывается за рамки количественного анализа, и процесс этот бесконечен. Он распространяется на пространство, время и людей, то есть на все три измерения истории. Империя — это одновременно война, обскурантизм и тирания, отчаянно вопящая, что она есть братство, истина и свобода: к этому она принуж-

дается постулатами своей внутренней логики. Наверное, в сегодняшней России и даже в ее коммунизме есть какая-то правда, отрицающая сталинскую идеологию. Но эта идеология обладает собственной логикой, которую мы должны вычленить и показать, если мы хотим, чтобы революционный дух избежал окончательного краха.

Циничная интервенция западных армий во время советской революции показала русским революционерам, помимо всего прочего, что война и национализм столь же реальны, как и классовая борьба. За неимением международной пролетарской солидарности, которая должна срабатывать автоматически, ни одна революция в отдельно взятой стране не могла рассчитывать на победу, пока не сложится новый международный порядок. Начиная с этого времени пришлось признать, что построение Всемирного Града возможно лишь при двух условиях. Либо революции происходят практически одновременно во всех крупных странах, либо в результате войны гибнут буржуазные нации: или перманентная революция, или перманентная война. Как известно, первая точка зрения чуть было не победила. Наивысшей степени револю-

ционные надежды достигли в Германии, Италии и Франции. Но подавление этих революций и последующее укрепление капиталистического строя сделали войну реальностью революции. Философия века Просвещения закончилась введением в Европе комендантского часа. В силу исторической логики и логики учения Всемирный Град, который должен был возникнуть в результате стихийного восстания униженных и оскорбленных, постепенно оказался поглощен Империей, навязанной силовыми методами. Энгельс, поддержанный Марксом, холодно соглашался с подобной перспективой, когда в ответ на бакунинское «Воззвание к славянам» писал: «Ближайшая мировая война сметет с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные нации. Это тоже составляет часть прогресса». По мысли Энгельса, этот прогресс должен был смести с лица земли царскую Россию. Сегодня русская нация перевернула направление прогресса. Война, как холодная, так и горячая, состоит на службе у мировой империи. Но революция, уже имперская, заходит в тупик. Если она не отказывается от своих ложных принципов ради возвращения к истокам бунта, она просто означает сохранение на несколько

поколений, вплоть до стихийного разложения капитализма, тотальной диктатуры над сотнями миллионов человек; если же она хочет ускорить возникновение Всемирного Града человеческого, она означает атомную войну, которой не желает и после которой, впрочем, любой город сможет воссиять разве что на руинах. Мировая революция, согласно закону той самой истории, которую она неосторожно обожествила, обречена на полицейщину или бомбу. Вместе с тем она впадает в дополнительное противоречие. Принесение в жертву морали и добродетели, согласие на использование любых средств при постоянном оправдании конечной целью возможны, только если вероятность достижения цели не выходит за рамки разумного. Вооруженный мир в силу бесконечного сохранения диктатуры предполагает бесконечное отрицание этой цели. Кроме того, опасность войны делает вероятность осуществления этой цели ничтожно малой. Расширение Империи на все мировое пространство есть неизбежная необходимость революции XX века. Но эта необходимость ставит ее перед последней дилеммой: выковать себе новые принципы или отказаться от справедливости и мира, к окончательному господству которых она стремилась.

Пока завоевано еще не все пространство, Империя вынуждена стремиться к господству над временем. Отрицая всякую устойчивую истину, она доходит до отрицания самой низкой формы истины — исторической. Она переносит революцию, пока не свершившуюся в мировом масштабе, в прошлое, которое упорно отрицает. В этом она по-своему логична. Всякая связь между прошлым и будущим, не являющаяся чисто экономической, предполагает наличие некоей константы, которая в свою очередь отсылает нас к человеческой природе. Глубинная связь между цивилизациями, установленная Марксом как человеком высокой культуры, таила в себе опасность выплеснуться за рамки его концепции и выявить некую естественную преемственность, более широкую, чем экономическая. Постепенно русский коммунизм оказался перед необходимостью рубить за собой мосты и переносить решения, основанные на этой преемственности, куда-то в будущее. Отрицание гениальности еретиков (при том, что почти все гении — еретики), достижений цивилизации и искусства в той мере, в какой оно не вписывается в исторический процесс, отказ от живых традиций постепенно загоняют современный марксизм во все более

узкие рамки. Ему уже недостаточно отрицать или замалчивать те события мировой истории, которые несовместимы с его учением, и игнорировать достижения современной науки. Ему приходится переписывать историю, даже недавнюю и прекрасно изученную, например историю партии и революции. «Правда» каждый год, если не каждый месяц, правит сама себя, ретушируя официальную историю. Произведения Ленина подвергаются цензуре, труды Маркса не издаются вовсе. Здесь уже не годится даже сравнение с религиозным обскурантизмом. Церковь никогда не доходила до того, чтобы сначала заявлять, что Бог явлен в двух лицах, потом — что в четырех или в трех, а затем снова — что все-таки в двух. Свойственное нашему времени ускорение затронуло и фабрикацию правды, которая становится все более призрачной. Как в народной сказке, где ремесленники целого города ткали пустоту, чтобы сшить королю платье, тысячи человек, избравшие себе столь странную профессию, ежедневно творят пустую историю, чтобы в тот же вечер ее опровергнуть; приходится ждать, пока детский голос вдруг не объявит вслух, что король голый. Этот тихий бунтарский голос скажет то, что все и так видят: что революция, ради своего

сохранения обрекшая себя на отрицание своего всемирного предназначения или ради всемирного господства предавшая самое себя, покоится на ложных принципах.

Но пока эти принципы продолжают править миллионами людей. Мечта об Империи, сдерживаемая реальностью времени и пространства, находит себе утоление, пожирая людей. Человек враждебен Империи не просто как индивидуум — тогда хватило бы традиционного террора. Он враждебен ей в той мере, в какой человеческая природа до сих пор никогда не умещалась в рамки одной только истории, в ней всегда было нечто большее, ускользавшее от истории. Империя зиждется на одном отрицании и одном утверждении: утверждении о безграничной податливости человека и отрицании человеческой природы. Методы пропаганды служат для измерения этой податливости и пытаются совместить рефлексию и условный рефлекс. Они позволяют подписать пакт с тем, кого на протяжении многих лет называли смертельным врагом. Более того, они позволяют вывернуть наизнанку полученный таким образом психологический эффект и снова поднять целый народ против того же самого врага. Этот опыт еще не завершен,

но принцип его действия вполне логичен. Если никакой человеческой природы не существует, значит, человеческая податливость действительно безгранична. Политический реализм в этом случае есть не более чем романтизм без тормозов, романтизм эффективности.

Мы объясняем это тем, что русский марксизм целиком и полностью отвергает мир иррационального, хотя умеет им пользоваться. Иррациональное может служить Империи, а может и вредить. Иррациональное не поддается точному подсчету, но в Империи может царить только точный подсчет. Человек есть всего лишь объект воздействия на него неких сил, которые можно точно взвесить. Неосторожные марксисты пытались, например, примирить свое учение с теорией Фрейда. Им показали — и очень быстро, — что они не правы. Фрейд — еретик и «мелкобуржуазный» мыслитель, потому что он открыл бессознательное и утверждал, что оно по меньшей мере столь же реально, как и сверх-я, то есть социальное «я». Бессознательное может объяснить оригинальность человеческой природы в ее противопоставлении историческому «я». Напротив, человек должен быть сведен к социальному и рациональному «я», поддающемуся

подсчету. Поэтому потребовалось поработить не только жизнь каждого человека, но и самое иррациональное и переживаемое в одиночку событие, ожидание которого сопровождает человека всю его жизнь. Империя в своем судорожном порыве к установлению окончательного царства пытается захватить и смерть.

Можно поработить живого человека и низвести его до состояния исторической вещи. Но если, отказываясь это признавать, он готов умереть, то тем самым он утверждает человеческую природу, меняющую порядок вещей. Вот почему человека можно обвинить и убить на виду у всего мира только в том случае, если он признает, что заслужил смерть, которая отвечает интересам Империи вещей. Умирать следует обесчещенным, то есть вообще перестать быть — как в жизни, так и в смерти. В последнем случае человек не просто умирает — он исчезает. Точно так же, если осужденный несет наказание, это наказание таит в себе безмолвный протест, в результате которого в тотальности появляется трещина. Но здесь речь идет не о наказании виновного, а о помещении его в тотальность в качестве элемента имперской машины. Он превращается в винтик, столь необходимый производству, и в конце концов

его используют для производства не потому, что он виновен, а объявляют виновным потому, что производство в нем нуждается. Русская система лагерей действительно осуществила диалектический переход от правления людей к правлению вещей, только перепутала личность и вещь.

Даже враг должен участвовать в общем деле. За пределами Империи никакого спасения нет. Это Империя дружбы — или будущей дружбы. Но и дружба эта — дружба вещей, ибо нельзя предпочесть друга Империи. Дружба между людьми — и другого определения у этого понятия нет — это особая, до гробовой доски солидарность, выступающая против всего, что не входит в царство дружбы. Дружба вещей — это дружба вообще, дружба со всеми, из чего следует, что для собственного сохранения она в любой момент должна быть готова предать любого. Тот, кто любит друга (подругу), любит его (ее) в настоящем, тогда как революция любит того человека, которого еще не существует. В каком-то смысле любить — значит убить того совершенного человека, который должен родиться после революции. Действительно, чтобы однажды появиться на свет, он уже сегодня должен стать всеобщим любимцем. В мире личностей люди связаны друг с другом теплыми

чувствами, в Империи вещей они объединены доносами. Град, мечтавший о всеобщем братстве, превращается в муравейник, состоящий из одиночек.

С другой стороны, только в иррациональном представлении разъяренного злодея может возникнуть мысль о том, что для получения согласия людей их необходимо подвергнуть садистским пыткам. Дело не в том, что один человек в этом гнусном совокуплении личностей подавляет другого. Напротив, представитель рациональной тотальности довольствуется тем, что позволяет вещи в человеке одержать верх над личностью. Вначале путем полицейского метода смешивать всех в одну кучу самый высокий ум низводится до положения самого низкого. Затем человеку не дают спать на протяжении пяти, десяти, двадцати ночей, чтобы выбить из него остатки иллюзорных убеждений, и вот уже миру предъявлена новая мертвая душа. С этой точки зрения единственную революцию в современной психологии произвели, если не считать Фрейда, НКВД и прочие органы политической полиции. Эти новые методы, основанные на детерминистской гипотезе и занимавшиеся точным подсчетом слабых мест и измерением гибкости человеческой

души, еще дальше отодвинули одну из границ человечности и попытались доказать, что в индивидуальной психологии нет ничего оригинального и что общая мера людских характеров — это тоже вещь. Они в буквальном смысле слова создали физику душ.

И тогда изменились традиционные человеческие отношения. Эта постепенная трансформация характеризует мир рационального террора, в котором живет затронутая им в разной степени Европа. Диалог и личные отношения заменены пропагандой или полемикой, представляющими собой две разновидности монолога. Абстракция, свойственная миру силы и расчета, вытеснила подлинные страсти, относящиеся к области плотского и иррационального. Карточки вместо хлеба; любовь и дружба согласно учению; вместо судьбы — план; наказание — норма; вместо живого творчества — производство. Вот довольно точное описание бесплотной, населенной призраками силы — как победившими, так и проигравшими — Европы. «Достойно жалости общество, не знающее лучшего защитника, чем палач!» — восклицал Маркс. Но тогдашний палач еще не был философом и по крайней мере не претендовал на роль всемирного филантропа.

Однако в конечном счете высшее противоречие величайшей в истории революции заключается даже не в том, что она претендует на установление справедливости методом бесконечной череды несправедливостей и насилия. Рабство или мистификация — эти две беды существовали во все времена. Трагедия этой революции та же, что трагедия нигилизма: она смешивает себя с драмой современного разума, который, претендуя на универсальность, копит истязания человека. Тотальность — это не единство. Осада, даже распространенная до границ всего мира, не является примирением. Требуя создания Всемирного Града, эта революция отбрасывает две трети мира и величайшее наследие веков, отрицая в пользу истории природу и красоту, отнимая у человека силу его страсти, сомнений, счастья, уникальной изобретательности — одним словом, все его величие. Если люди живут, подчиняясь неким принципам, то в конце концов эти принципы берут верх над самыми благородными их намерениями. В результате споров, беспрестанной борьбы, полемики, отлучения и взаимного преследования Всемирный Град свободы и братства постепенно вырождается, уступая место единой вселенной, в которой высшими судьями

становятся история и эффективность. Это вселенная трибунала.

Каждая религия вращается вокруг понятий невиновности и вины. Впрочем, первый бунтарь — Прометей — не признавал права карать. Сам Зевс — в особенности Зевс — не настолько беспорочен, чтобы обладать этим правом. Таким образом, первым побуждением бунта является отказ признавать законность наказания. Но в своем последнем воплощении, проделав долгий и изматывающий путь, бунтарь возвращается к религиозному понятию кары и ставит его в центр своей вселенной. Высший судья отныне не на небесах; высший суд теперь — это история, приравненная к непогрешимому божеству. История — это в каком-то смысле и есть долгое наказание, поскольку насладиться наградой можно будет только в конце времен. Очевидно, что мы далеко ушли от марксизма и Гегеля, не говоря уже о первых бунтарях. Тем не менее всякая философия, целиком основанная на истории, оказывается перед этой пропастью. В той мере, в какой Маркс предсказывал неизбежное пришествие бесклассового общества, в той мере, в какой он таким образом настаивал на доброй воле истории, всякая задержка на пути к освобождению

должна была находить объяснение в злой воле человека. Маркс вернул в мир без христианства вину и кару, но не перед Богом, а перед историей. Марксизм в одном из его аспектов есть учение о вине человека и невиновности истории. В историческом преломлении марксизм, удаленный от власти, означал революционное насилие; марксизм, поднявшийся на вершины власти, рисковал оказаться узаконенным насилием, то есть террором и трибуналом.

Впрочем, в религиозной вселенной подлинная кара откладывается на потом: преступление не обязательно должно быть немедленно наказано, а невинность вознаграждена. В новой вселенной, напротив, приговор, вынесенный историей, должен быть приведен в исполнение незамедлительно, потому что виновность равнозначна поражению и каре. История осудила Бухарина потому, что убила его. Она же заявляет о невиновности Сталина — ведь он на вершине власти. Тито в настоящий момент находится под судом, как в свое время Троцкий, виновность которого стала ясна философам исторического преступления ровно в тот миг, когда на его голову обрушился молот убийцы. Про Тито мы, как нам говорят, пока не знаем, виновен он или нет.

Он обвиняемый, но еще не убитый. Когда его растопчут, его вина станет очевидной. Впрочем, временная невиновность Троцкого и Тито во многом зависела и зависит от географии: они слишком далеко от карающей длани. Вот почему тех, до кого эта длань может дотянуться, надо судить немедленно. Окончательный суд истории зависит от бесконечного множества суждений, которые еще только будут вынесены, а затем либо подтверждены, либо опровергнуты. Так, нам обещают некую загадочную реабилитацию в тот день, когда мировой трибунал будет построен из всего мира. Один, объявивший себя изменником и ничтожеством, войдет в человеческий Пантеон. Другой останется в историческом аду. Но кто будет судьей? Сам человек, наконец достигший совершенства в своей юной божественности. Но пока это время не пришло, авторы пророчеств, наделенные уникальной способностью вычитывать в истории тот смысл, что они же в нее вложили, будут выносить приговоры, смертельные для виновного, но временные только для судьи. Случается, впрочем, что и судьи попадают под суд — Райк, например. Неужели они неправильно читали историю? Ну да, и доказательством тому служит их поражение и гибель.

Так где же гарантия, что сегодняшние судьи завтра не превратятся в предателей и не будут сброшены с высот судейского места в бетонные подвалы, к другим, проклятым историей? Гарантию дает их безупречное ясновидение. Кто докажет их безупречность? Их постоянный успех. Мир трибунала — это круговой мир, где успех и невиновность взаимно удостоверяются, а во всех зеркалах отражается одна и та же мистификация.

Так появляется историческая благодать[96], наделенная исключительной способностью проникать в замыслы и намерения каждого подданного Империи и возвышать его или изгонять вон. Чтобы угождать ее капризам, подданный располагает только верой, во всяком случае, такой верой, как ее в «Духовных упражнениях» определяет Игнатий Лойола: «Дабы избежать заблуждения, мы должны быть всегда готовы счесть черным то, что нам видится белым, если это предписывается духовными властями». Только эта активная вера в носителей истины может спасти подданного от загадочного гнева истории. Но и тогда он не свободен от вселенной трибу-

[96] notes: 96

В исторической вселенной «уловка разума» снова ставит проблему зла.

нала — напротив, привязан к ней историческим чувством страха. А уж без этой веры он постоянно рискует превратиться в преступника, даже не желая того и будучи преисполнен самых лучших намерений.

В этом понятии находит свою кульминацию вселенная трибунала. Она замыкает круг. Итогом долгого восстания во имя человеческой невиновности в силу извращения сущности становится утверждение всеобщей вины. Каждый человек — преступник, не ведающий о своем преступлении. Субъективно он считал свои поступки безобидными или даже полезными для будущего общества справедливости. Но ему доказывают, что объективно он вредил этому будущему. Является ли эта объективность научной? Нет, не является. Это историческая объективность. Откуда, например, мы можем знать, что будущая справедливость не пострадает от неосторожных разоблачений нынешней справедливости? Подлинная объективность заключалась бы в том, чтобы судить по результатам тех фактов и тенденций, которые доступны научному наблюдению. Но понятие объективной виновности доказывает, что эта странная объективность основана на результатах фактов, которые станут

доступны науке не раньше, чем, например, в 2000 году. А пока она находит себе выражение в бесконечной субъективности, которая навязывается окружающим как объективность, — это и есть философское определение террора. Подобная объективность не имеет смыслового значения, но власть наполняет ее содержанием, объявляя виновным всякого, к кому относится неодобрительно. Она согласится признать — или позволит сделать такое признание философам, живущим за пределами Империи, — что берет на себя некоторый исторический риск — так же как рискнул, сам о том не подозревая, объективно виновный. Вещь подвергнется суду позже, когда исчезнут и жертва, и палач. Но это утешение устраивает только палача, который как раз ни в каких утешениях не нуждается. А пока это время не настало, паства регулярно собирается на странные празднества, в ходе которых, следуя строго заданному ритуалу, совершаются в лице исполненных раскаяния жертв приношения историческому богу.

Непосредственная польза подобных обрядов заключается в искоренении безразличия к вопросам веры. Это своего рода принудительное обращение в веру. Закон, который должен преследовать подозрительных лиц, их фабрикует. В

процессе этой фабрикации он обращает их в свою веру. В буржуазном обществе, например, предполагается, что каждый гражданин чтит закон. В объективном обществе предполагается, что каждый гражданин его не одобряет. Во всяком случае, он должен в любой момент предоставить доказательства, что вовсе не относится к нему с неодобрением. Виновность перестает быть фактом и превращается в простое отсутствие веры, чем и объясняется внешняя противоречивость объективной системы. Если при капиталистическом строе человек объявляет себя нейтральным, он считается объективно лояльным режиму. В Империи нейтрально настроенный человек объявляется объективно враждебным режиму. В этом нет ничего удивительного. Если подданный Империи не верит ей, значит, он исторически ничтожен и таков его собственный выбор; но если его выбор направлен против истории, значит, он святотатствует. Недостаточно соглашаться с верой, но сквозь зубы — необходимо жить с этой верой, служить ей и быть в постоянной готовности к тому, что догматы веры изменятся. При малейшей ошибке потенциальная вина становится объективной. Революция, по-своему завершая историю, не довольствуется тем, что

убивает всякое бунтарство. Она стремится возложить ответственность за то, что бунтарство когда-то существовало и еще существует под солнцем, на каждого человека, включая самых покорных. Во вселенной победившего трибунала, обретшей законченный вид, поголовно виновный народ неустанно движется к недостижимой невиновности под горестным оком Великих Инквизиторов. В XX веке власть имеет печальный вид.

Здесь завершается удивительный маршрут Прометея. Объявляя о своей ненависти к богам и любви к человеку, он с презрением отворачивается от Зевса и протягивает руку смертным, дабы повести их на штурм небес. Но люди слабы или трусливы, их надо организовать. Они любят удовольствия и счастье здесь и сейчас, во имя будущего величия надо научить их отказываться от сиюминутных наслаждений. Так Прометей, в свою очередь, становится наставником, который вначале учит, а затем командует. Борьба затягивается и делается изнурительной. Люди сомневаются, нужен ли им Град солнца, да и существует ли он вообще. Значит, их надо спасти от самих себя. Тогда герой говорит им, что точно знает: Град существует, но знает о нем только

он один. Сомневающихся бросят в пустыне, прибьют к скале и отдадут на растерзание хищным птицам. Остальные побредут в сумерках за своим одиноким задумчивым наставником. Прометей-одиночка, превращенный в божество, царит над людским одиночеством. Но в борьбе против Зевса он завоевал только одиночество и жестокость, он больше не Прометей, он Цезарь. Настоящий, вечный Прометей отныне принял облик одной из его жертв. Из сердца Скифской пустыни раздается все тот же крик, пришедший из глубины веков.

Бунт и революция

Революция принципов убивает Бога в лице его представителя. Революция XX века убивает все, что оставалось божественного в самих принципах, и освящает исторический нигилизм. Какими бы путями ни пошел затем нигилизм, как только он пытается что-либо построить в настоящем времени, отрешившись от моральных правил, у него выходит только храм Цезаря. Выбор в пользу истории, и только истории, означает выбор в пользу нигилизма и против заветов самого бунта. Те, кто бросается в историю во имя иррационального и с криком о том, что она не имеет смысла,

сталкиваются с рабством и террором и оказываются во вселенной концлагеря. Те, кто бросается в историю и клянется в своем абсолютном рационализме, сталкиваются с рабством и террором и тоже оказываются во вселенной концлагеря. Фашизм жаждет пришествия ницшеанского сверхчеловека. И тут же делает открытие, что Бог, если он и существует, может быть и тем и этим, но прежде всего он — господин смерти. Если человек желает стать Богом, он берет себе право на жизнь и смерть других людей. Фабрикант трупов и недочеловеков, он и сам никакой не Бог, а недочеловек и покорный слуга смерти. Рациональная революция, со своей стороны, жаждет создания тотального человека по Марксу. Однако логика истории, как только происходит ее полное приятие, понемногу ведет революцию вопреки ее собственной самой высокой страсти ко все большему истязанию человека и превращению в объективное преступление. Неправильно отождествлять конечные цели фашизма и русского коммунизма. Первый олицетворяет прославление палача со стороны самого палача. Второй — прославление палача со стороны его жертв, что еще трагичнее. Первый никогда не стремился к освобождению каждого человека, он намере-

вался освободить некоторых людей, обратив в рабство всех остальных. Второй, согласно своему глубинному принципу, ставит своей целью освободить всех людей, временно всех их обратив в рабство. Признаем за ним величие намерений. Но способы, к каким прибегали как первый, так и второй, идентичны и основаны на политическом цинизме, взятом из одного и того же источника — морального нигилизма. Можно подумать, что потомки Штирнера и Нечаева воспользовались услугами внучек Каляева и Прудона. Сегодня нигилисты занимают все троны. Идеи, вроде бы правящие нашим миром во имя революции, на самом деле выражают идеологию не бунта, а соглашательства. Вот почему наше время — это время частных и государственных технологий уничтожения.

В действительности революция, покорившись нигилизму, обернулась против собственных бунтарских корней. Человек, ненавидевший смерть и Бога смерти и потерявший надежду на личное спасение, захотел добиться свободы в бессмертии вида. Но пока мир не покорился группе, пока не наступило царство вида, приходится умирать. Время торопит: чтобы убеждать, требуется располагать досугом; чтобы опереться на дружбу, ее

надо бесконечно долго выстраивать, поэтому самым коротким путем к бессмертию оказывается террор. Но в этих крайних извращениях одновременно прорывается тоска по изначальной бунтарской ценности. Современная революция, претендующая на отрицание всякой ценности, сама по себе является ценностным суждением. Человек стремится с ее помощью править миром. Но зачем править, если ничто не имеет смысла? Зачем бессмертие, если столь ужасен лик жизни? Не существует абсолютно нигилистической идеи, кроме разве что идеи самоубийства, так же как не существует абсолютного материализма. Разрушение человека все еще является утверждением человека. Террор и концлагерь суть крайние средства, к которым человек прибегает, чтобы избежать одиночества. Жажда единства должна быть утолена, пусть даже в общей могиле. Убивая людей, они протестуют против смертности человека и стремятся к бессмертию для всех. В каком-то смысле они убивают сами себя. Но в то же время они доказывают, что не могут обойтись без человека, и ищут утоления чудовищной жажды братства. «У твари должна быть радость, а если ее нет, ей нужна другая тварь». Тогда те, кто отвергает страдание бытия и смерти, начинают

стремиться к господству. «Одиночество — это власть», — сказал Сад. Сегодня тысячам одиночек у власти, означающей чужое страдание, необходимы другие люди. Террор — это страшная дань уважения, которую исполненные ненависти одиночки в конце концов платят человеческому братству.

Но нигилизм, даже лишенный бытия, стремится быть, и одного этого достаточно, чтобы превратить мир в пустыню. Его ярость и придает нашему времени столь отталкивающий облик. Европа, родина гуманизма, превратилась в средоточие бесчеловечности. Но это время — наше время, и мы не можем его отрицать. Если наша история — это наша преисподняя, у нас не получится повернуться к ней спиной. От ужаса нельзя зажмуриться, его надо признать и только так преодолеть. На это способны те, кто пережил его в ясном сознании, а не те, кто, спровоцировав этот ужас, считает себя вправе выносить ему приговор. Этот цветок мог произрасти только на хорошо удобренной почве накопленных несправедливостей. В экстремальной форме смертельной борьбы, когда безумие века смешивает всех людей в одну кучу, враг остается братом. Даже обвиненный в ошибках, он не может вызывать

ни презрения, ни ненависти: беда сегодняшнего дня — это общая родина, единственное царство земное, сумевшее дать ответ на обещания.

Даже тоска по миру и покою должна быть отброшена, ибо она равнозначна согласию с несправедливостью. Те, кто оплакивает блаженные общества прошлого, выдают свое тайное желание, которое заключается не в том, чтобы устранить нищету, а в том, чтобы о ней никто не упоминал. Пусть же, напротив, будут благословенны времена, в которые нищета вопиет и не дает спокойно спать сытым! Еще Местр говорил об «ужасной проповеди, которую революция читает королям». Она читает ее и сегодня, и ее голос, обращенный к бессовестным элитам нашего времени, звучит все громче и настойчивее. Эта проповедь понятна. Во всяком слове и действии, даже преступном, заложено обещание ценности, которую мы должны найти и сделать явной. Нельзя предвидеть будущее, и не исключено, что возрождение невозможно. Даже если историческая диалектика ложна и преступна, мир может в конце концов реализовать себя в преступлении, ведомый ложной идеей. Просто здесь мы отказываемся от смирения подобного рода: мы обязаны сделать ставку на возрождение.

Впрочем, у нас не остается иного выбора: мы или возродимся, или умрем. Если мы подошли к той точке, в которой бунт, отрицая сам себя, смыкается с крайней формой своей противоположности, значит, ему суждено погибнуть вместе с порожденным им миром — или обрести новую верность и новый порыв. Но прежде чем двигаться вперед, необходимо по крайней мере осознать это противоречие. Наши экзистенциалисты (тоже временно поддавшиеся историзму с его противоречиями[97]) утверждают, что бунт прогрессирует к революции и может быть только революционным, иначе становится ничем. На самом деле противоречие еще острее. Революционер одновременно является и бунтарем — иначе он не революционер, а полицейский или чиновник, подавляющий бунт. Но если он бунтарь, то в конце концов он восстанет и против революции. Поэтому нет никакого прогресса от одного к другому, а есть одновременность и постоянно усиливающееся противоречие. Каждый революционер кончает тем, что становится

[97] notes: 97

Атеистическому экзистенциализму, по крайней мере, хватает воли создать мораль. Эта мораль вполне понятна. Но настоящая трудность состоит в том, чтобы создать мораль, не вводя в историческую экзистенцию ценность, чуждую истории.

угнетателем или еретиком. В той чисто исторической вселенной, которую они для себя избрали, и бунт, и революция сталкиваются с одной и той же дилеммой: или полиция, или безумие.

Следовательно, на этом уровне одна история бесплодна. Она не является источником ценности, зато порождает нигилизм. Но можно ли создать ценность вопреки истории, хотя бы в плане вечной рефлексии? Это означало бы возврат к одобрению исторической несправедливости и человеческой нищеты. Клевета на мир приводит к тому нигилизму, определение которого дал Ницше. Мысль, формирующаяся с единственной опорой на историю, как и мысль, восстающая против истории, лишает человека средства жить и смысла жизни. Первая толкает его к полному краху понимания того, «зачем жить», вторая — того, «как жить». Таким образом, история необходима, но недостаточна — как побочное условие. Она не есть ни отсутствие ценности, ни сама ценность, ни даже материал для ценности. Она есть одно из обстоятельств, позволяющих человеку пока смутно ощутить ценность, с помощью которой он сможет судить историю. Залогом этого служит сам бунт.

Действительно, абсолютная революция пред-

полагала абсолютную гибкость человеческой природы, возможность ее низведения к состоянию исторической силы. Но бунт означает отказ человека быть воспринимаемым как вещь и низведенным до простого факта истории. Бунт — это утверждение природы, свойственной всем людям и неподвластной миру силы. Бесспорно, история есть один из факторов, ограничивающих человека, и в этом смысле революционер прав. Но бунтующий человек, в свою очередь, задает границу истории. На этой границе рождается обещание ценности. Именно с зарождением этой ценности и ведет сегодня цезаристская революция беспощадную борьбу, поскольку она олицетворяет ее подлинное поражение, заставляя ее признаться в отказе от собственных принципов. В 1950 году судьба мира, пусть временная, зависит не от исхода, как это представляется на первый взгляд, борьбы между буржуазным и революционным способом производства — их конечные цели совпадают. Она зависит от исхода борьбы между бунтарскими силами и силами цезаристской революции. Победившая революция должна с помощью полицейщины, трибуналов и отлучения еретиков доказать, что никакой человеческой природы не существует. Униженный

бунт должен с помощью собственной противоречивости, своих страданий, своих постоянных поражений и неизменной гордости придать этой природе полное боли и надежды содержание.

«Я бунтую, следовательно, мы существуем», — говорил раб. Метафизический бунт изменил эту формулу: «Я бунтую, следовательно, мы одиноки», — она определяет нашу жизнь и сегодня. Но если мы одиноки под пустыми небесами и должны умереть навсегда, о каком реальном бытии может идти речь? Метафизический бунт попытался сотворить бытие из кажимости. И тогда настало время чисто исторической философии, которая заявила: быть — значит делать. Нас не было, но мы должны были любыми способами обрести бытие. Наша революция — это попытка завоевания нового бытия посредством деятельности, освобожденной от всяких моральных правил. Вот почему она обречена на существование только ради истории и под гнетом террора. По ее мнению, человек — ничто, если он вольно или невольно не получает в истории всеобщего одобрения. Именно в этой точке происходит пересечение границы и сначала предательство, а затем и логическое убийство бунта, поскольку бунт в самом чистом своем порыве всегда

утверждал существование этой границы и раздвоенность человеческого существа: в основе бунта лежит отнюдь не тотальное отрицание какого бы то ни было бытия. Напротив, бунт одновременно говорит и «да», и «нет». Он отрекается от одной части бытия во имя другой его части, которую превозносит. Чем громче это восхваление, тем решительнее отказ. Затем, когда бунт, охваченный головокружительной яростью, переходит к установке «все или ничего», к отрицанию всякого бытия и человеческой природы как таковой, он отрицает сам себя. Только тотальное отрицание оправдывает план тотального завоевания. Но утверждение границы, достоинства и красоты, свойственных всем людям, влечет за собой лишь необходимость распространить эту ценность на всё и вся и двигаться к единству, не отрекаясь от своих корней. В этом смысле бунт в своей изначальной сущности не может оправдать никакую чисто историческую мысль. Требование бунта — это единство, требование исторической революции — тотальность. Первое отталкивается от «нет», опирающегося на «да»; второе — на абсолютное отрицание, тем самым обрекая себя на рабство с целью изготовить «да» в конце времен. Первое созидательно, второе ни-

гилистично. Первое обречено на творчество ради все большего утверждения бытия, второе вынуждено производить ради все большего отрицания. Историческая революция силится действовать в вечной и без конца опровергаемой надежде однажды обрести бытие. Но для создания бытия недостаточно всеобщего согласия. «Повинуйтесь», — говорил своим подданным Фридрих Великий. Но на смертном одре он же сказал: «Я устал править рабами». Чтобы избежать этой абсурдной судьбы, революции придется отречься от собственных принципов, от нигилизма и от чисто исторической ценности и снова припасть к животворному источнику бунта. Чтобы сохранить творческий потенциал, революция не может обойтись без морального или метафизического правила, уравновешивающего исторический бред. Понятно, что она с презрением относится к лживой ханжеской морали буржуазного общества, но ее безумие в том, что она распространила это презрение на любое моральное требование. В ее основе и в основе ее глубинных побуждений лежит вовсе не формальное правило, вполне способное служить ей поводырем. В самом деле, бунт говорит и будет все громче говорить ей, что надо попробовать действовать не ради обрете-

ния бытия в будущем и на глазах у покорного мира, а прислушиваясь к тихому голосу того смутного бытия, что уже раздается внутри бунтарского движения. Это правило не является ни формальным, ни подчиненным истории, и мы можем разглядеть его черты, находя его в чистом виде в художественном творчестве. Прежде чем перейти к этому вопросу, отметим лишь, что к формулам метафизического бунта — «Я бунтую, следовательно, мы существуем» и «Я бунтую, следовательно, мы одиноки» — бунт, восставший против истории, добавляет: вместо того чтобы убивать и умирать ради того, чтобы стать другими, лучше жить и давать жизнь ради сотворения того, что мы есть.

IV
Бунт и искусство

Искусство — это тоже движение, одновременно и восхваляющее, и отрицающее. «Ни один художник не выносит реальности», — говорит Ницше. Это правда, но правда и то, что ни один художник не может обойтись без реальности. Творчество — это требование единства и отказ от мира. Но творчество отказывается от мира из-за того, чего ему не хватает и во имя чего оно порой есть то, что оно есть. Здесь мы можем наблюдать бунт вне контекста истории, в его чистом виде, во всей его изначальной сложности. Поэтому последним углом зрения, под которым мы рассмотрим бунт, будет искусство.

Отметим, что все революционные реформаторы демонстрировали враждебность к искусству. Позиция Платона еще отличается умеренностью. Он оспаривает всего лишь лживую функцию языка и изгоняет из своей республики только поэтов. В остальном он ставит красоту над миром. Но революционное движение Нового времени существует одновременно с искусством, процесс

развития которого еще не закончен. Реформа отдает предпочтение морали и изгоняет красоту. Руссо разоблачает искусство как инструмент, с помощью которого общество портит природу. Сен-Жюст гневно возмущается театральными представлениями, а составляя программу для «праздника Разума», настаивает, чтобы в роли Разума выступила актриса «скорее добродетельная, чем красивая». Французская революция не дала миру ни одного художника и произвела всего одного великого журналиста — Демулена — и одного подпольного писателя — Сада. Единственного поэта своего времени она отправила на гильотину. Единственный великий прозаик бежал в Лондон, откуда выступал в защиту христианства и законности. Чуть позже сенсимонисты потребуют от искусства, чтобы оно было «общественно полезным». Девиз «Искусство ради прогресса» становится для современников общеизвестной истиной, ее принимает и Гюго, тщетно пытаясь придать ей убедительности. Но лишь Валес находит для проклятий в адрес искусства легко узнаваемый непререкаемый тон.

Этот же тон мы обнаруживаем у русских нигилистов. Писарев заявляет об отказе от эстетических ценностей в угоду ценностям праг-

матическим. «Лучше быть русским сапожником, чем русским Рафаэлем». В этом смысле пара сапог стоит больше, чем весь Шекспир. Нигилист Некрасов — большой поэт, далеко не чуждый состраданию, — тем не менее утверждает, что всему Пушкину предпочел бы кусок сыра. Наконец, хорошо известна позиция Толстого, считавшего искусство ненужным. Революционная Россия повернулась спиной к украсившим Летний сад мраморным Венерам и Аполлонам, привезенным в Санкт-Петербург Петром I и еще сохранившим на себе слабый отблеск итальянского солнца. Нищета порой не желает смотреть в лицо счастью, потому что это слишком больно.

Не менее сурова в своем обличительном пафосе и немецкая идеология. В обществе всеобщего примирения, полагали революционно настроенные толкователи «Феноменологии духа», не должно быть места искусству. Красота должна присутствовать в жизни, а не в воображении. Полностью рациональная действительность способна самостоятельно утолить любую жажду. Критика формальной веры и ценностей, уводящих от действительности, естественным образом распространяется и на искусство. Искусство не вневременно, напротив, оно определяется

своей эпохой и, как скажет Маркс, выражает излюбленные ценности господствующего класса. Следовательно, революционное искусство может существовать, если только его поставят на службу революции. Создавая внеисторичную красоту, искусство мешает единственному рациональному действию — преобразованию самой истории в абсолютную красоту. Подлинным творцом окончательной красоты становится русский сапожник, осознавший свою революционную роль. Что до Рафаэля, то творимая им красота мимолетна и будет непонятна новому человеку.

Правда, Маркс задается вопросом, почему мы до сих пор считаем, что греческая красота прекрасна. Эта красота, отвечает он, есть выражение наивного детства мира, и мы, возмужав и окунувшись в гущу взрослых битв, тоскуем по этому детству. Но почему тогда для нас до сих пор не потеряли привлекательности шедевры итальянского Ренессанса, Рембрандт и китайское искусство? Это не важно. Суд над искусством начался и сегодня продолжается при скрытом попустительстве художников и интеллектуалов, вынужденных клеветать на собственное искусство и собственный ум. Нетрудно заметить, что в битве Шекспира с сапожником вовсе не сапож-

ник проклинает красоту и Шекспира, а как раз тот, кто продолжает читать Шекспира и не торопится тачать сапоги, чего он, впрочем, делать не умеет. Художники нашего времени напоминают кающихся русских аристократов XIX века: извинением им служат муки совести. Но раскаяние — это последнее, что может испытывать художник перед своим искусством. Отсылая красоту к концу времен, он выходит за рамки простой и необходимой скромности и лишает мир, в том числе и сапожника, того дополнительного хлеба, которым сам успел насытиться.

У этой безумной аскезы есть свои резоны, которые нас и интересуют. В эстетическом плане они выражают уже описанную борьбу между революцией и бунтом. Внутри каждого бунта обнаруживаются метафизическое требование единства, невозможность его достижения и сотворение вселенной, служащей ему заменой. С этой точки зрения бунт является производителем вселенных. Но то же самое относится и к искусству. По правде говоря, требование бунта — это хотя бы отчасти требование эстетическое. Все бунтарские идеи, как мы уже показали, обращались к риторике или образу замкнутого пространства. Укрепленные стены у Лукреция,

запертые монастыри и замки у Сада, остров, романтический утес или одинокая вершина у Ницше, первобытный океан у Лотреамона, парапеты у Рембо, кошмарные замки, восстающие из руин под шквалом из цветов у сюрреалистов, тюрьма, разделенный народ, концентрационный лагерь, империя свободных рабов — все это по-своему выражает одну и ту же потребность в связности и единстве. Человек в этих замкнутых мирах наконец-то может воцариться и постигнуть знание.

То же побуждение движет и всеми видами искусства. Художник переделывает мир на свой лад. В природной симфонии не бывает фермат. Мир не молчит, в самой его немоте слышно постоянное повторение одних и тех же нот, отвечающих неведомым нам вибрациям. Все, что мы можем уловить, — это отдельные звуки, иногда аккорд, но никогда — связную мелодию. А ведь музыка существует и за пределами симфонии, там, где мелодия придает форму бесформенным звукам, там, где счастливое расположение нот наконец извлекает из природного хаоса единство, удовлетворяющее и сердце, и ум.

«Я все больше верю, — писал Ван Гог, — что нельзя судить о Боге по нашему миру. Это его

неудачный эскиз». Каждый художник старается исправить этот эскиз в определенном стиле. Самое великое и самое амбициозное из всех искусств — скульптура — не оставляет яростных попыток зафиксировать в трех измерениях ускользающий образ человека, свести беспорядочность жестов к единству великого стиля. Скульптура не отказывается от похожести, напротив, она в ней нуждается. Но похожесть — это не то, что она ищет в первую очередь. Во все великие эпохи она прежде всего ищет жест, выражение лица или пустой взгляд, в которых найдут выражение все жесты и все взгляды мира. Ее цель не имитация, а стилизация; она стремится ухватить и удержать преходящее неистовство тел или бесконечный вихрь поз, придав им смысл. Только тогда ей удается запечатлеть на фронтоне погрязших в суете городов образец, типаж, неподвижный идеал, который хотя бы на время усмирит непрекращающуюся человеческую лихорадку. Тогда разочарованный любовник сможет, наконец, обходя древнегреческие коры, уловить в линиях и чертах женской фигуры и лица то, что неподвластно разложению.

Принцип живописи — это выбор. «Гений, — говорил Делакруа, размышляя о своем искусстве, —

это дар обобщения и выбора». Художник, выбирая сюжет, изолирует его от остального мира, что есть первый шаг к единству. Пейзажи недолговечны, они стираются из памяти или разрушают один другой. Вот почему пейзажист или мастер натюрморта изолирует во времени и пространстве то, что в обычных условиях вращается вместе со светом, теряется в бесконечной перспективе или исчезает под ударом других ценностей. Первое, что делает пейзажист, это кадрирует будущее полотно. Он в той же мере отсекает лишнее, в какой выбирает нужное. Точно так же жанровая живопись изолирует во времени и пространстве некое действие, которое обычно теряется в ряду других. Тогда художник приступает к его фиксации. Величайшие творцы, такие как Пьеро делла Франческа, умеют создавать впечатление, что фиксация произошла только что, что киноаппарат только что остановился. Тогда благодаря чуду искусства у нас создается ощущение, что персонажи продолжают жить, хотя перестают быть смертными. Философ Рембрандта давно умер, но на картине он все в той же светотени все так же размышляет над тем же вопросом.

«Пустая эта штука — живопись, прельщающая нас сходством с предметами, которые сами по

себе не способны нас прельстить». Цитируя знаменитое высказывание Паскаля, Делакруа не зря заменяет слово «пустая» на слово «странная». Эти предметы не могут нас прельстить потому, что мы их не видим; они погребены в вечном будущем, где происходит их отрицание. Кто смотрел на руки палача, бичевавшего Христа, или на оливы, росшие по обочинам Крестного пути? Но вот они нам показаны в соединении с вечностью Страстей Господних, и боль Христа, застывшая в образах насилия и красоты, каждый день вновь и вновь вопиет в холодных музейных залах. Стиль художника — в соединении природы и истории, в сиюминутности того, что находится в непрерывном становлении. Искусство без видимых усилий добивается согласия между единичным и универсальным, о котором мечтал Гегель. Может быть, именно по этой причине эпохи, помешанные на единстве, к которым относится и наша, поворачиваются к примитивному искусству с его наиболее выраженной стилизацией и наиболее вызывающей цельностью? Самая мощная стилизация всегда отмечает конец и начало художественной эпохи; она объясняет силу отрицания и переноса, увлекшую всю современную живопись в беспорядочном порыве к бытию и

единству. Восхищение вызывает жалоба Ван Гога — этот крик отчаявшейся гордыни, знакомый каждому художнику. «Я спокойно могу и в жизни, и в живописи обойтись без Боженьки. Но я не могу, мне больно обходиться без чего-то такого, что больше меня и что составляет мою жизнь, — без возможности творить».

Но бунт художника против реальности, подозрительный с точки зрения тоталитарной революции, содержит то же утверждение, что и стихийный бунт угнетенного. Революционный дух, родившийся из тотального отрицания, инстинктивно почуял, что в искусстве помимо отрицания есть еще и согласие, что созерцание грозит пошатнуть действие, а красота — несправедливость и что в некоторых случаях красота сама по себе есть непростительная несправедливость. Поэтому никакое искусство не может существовать за счет тотального отрицания. Так же как любая мысль, даже ничтожная, несет в себе некий смысл, так не может быть бессмысленным и искусство. Человек может позволить себе заниматься разоблачением тотальной мировой несправедливости и требовать тотальной справедливости, создать которую способен он один. Но он не может утверждать, что мир тотально

безобразен. Чтобы сотворить красоту, он должен одновременно отвергнуть реальность и восхититься некоторыми ее аспектами. Искусство оспаривает реальность, но не увиливает от нее. Ницше мог отвергать любую трансцендентность, как моральную, так и божественную, заявляя, что эта трансцендентность толкает к клевете на этот мир и эту жизнь. Но, возможно, существует живая трансцендентность с ее многообещающей красотой, и она может заставить любить этот смертный и ограниченный мир и предпочитать его любому другому. Так искусство ведет нас к истокам бунта в той мере, в какой оно пытается придать форму неуловимой в вечном становлении ценности, которую художник предчувствует и старается привязать к истории. Мы убедимся в этом, размышляя о таком искусстве, которое как раз и ставит своей целью проникнуть в будущее, чтобы облечь его в определенную форму, — об искусстве романа.

Роман и бунт

Можно разделить литературу на два вида: литературу соглашательства, в общем и целом представленную древними веками и классической эпохой, и диссидентскую литературу,

берущую начало во временах модерна. Первое, что бросается в глаза: в соглашательской литературе роман остается редким явлением. За редкими исключениями даже немногие существующие романы основаны не на истории, а на фантазии («Эфиопика», «Астрея»). Это не романы, а сказки. Напротив, в литературе диссидентской происходит подлинное развитие романного жанра, которое продолжается, постоянно обогащаясь, вплоть до наших дней — одновременно с развитием революционной критики. Роман рождается вместе с бунтарским духом и в эстетическом плане выражает те же чаяния.

Словарь Литтре дает роману следующее определение: «Вымышленная история, написанная прозой». Но насколько это определение полно? Вот что пишет католический критик[98]: «Искусство, какую бы цель перед собой ни ставило, всегда повинно в соперничестве с Богом». Действительно, рассуждая о романе, правильнее говорить о соперничестве с Богом, чем о конкуренции, существующей в гражданском обществе. Тибоде имел в виду примерно то же самое, когда сказал о Бальзаке: «Человеческая комедия» — это

---

[98] notes: 98
Станислас Фюме.

«подражание Богу-отцу». Складывается впечатление, что великая литература стремится создавать замкнутые вселенные или совершенные типажи. Западная литература в лучших своих произведениях не ограничивается воспроизведением повседневной жизни. Она постоянно создает великие образы, воодушевляется ими и бросается их исследовать.

В сущности, сочинение и чтение романов — странное занятие. Какая необходимость заставляет людей придумывать историю, заново тасуя достоверные факты? Если даже согласиться с примитивным объяснением — дескать, все дело в удовольствии, которое получают автор и читатель, — то возникает вопрос: почему большинство людей получают удовольствие, с интересом следя за выдуманной историей? Революционная критика осуждает чистый роман как способ бегства от действительности, доступный праздному воображению. В свою очередь, в быту «романом» называют лживую писанину бездарного журналиста. Пару столетий назад на том же бытовом уровне и вопреки всякой очевидности считалось, что девушки обязаны быть «романтическими», что подразумевало: эти идеальные создания понятия не имеют о том, как устроена

реальная жизнь. В общем и целом всегда доминировало убеждение, что роман никак не связан с реальной жизнью, которую приукрашивает и искажает. Поэтому самым простым и самым распространенным оставалось представление о том, что чтение романов — это способ не думать о собственном существовании. Обыватель и революционный критик сошлись во мнениях.

Но от чего мы убегаем, читая романы? От невыносимой действительности? Но счастливые люди тоже читают романы, и давно замечено, что жестокое страдание отбивает вкус к чтению. С другой стороны, романная вселенная явно менее осязаема и важна, чем та, в которой нас постоянно осаждают люди из плоти и крови. Так каким же чудом Адольф кажется нам гораздо более близким знакомым, чем Бенжамен Констан, а граф Моска — чем наши профессиональные моралисты? Однажды Бальзак, завершая долгий разговор о политике и судьбах мира, сказал: «А теперь вернемся к серьезным вещам». Он имел в виду свои романы. Нет, стремление «сбежать» никак не объясняет ни бесспорную серьезность романного мира, ни упорство, с каким мы продолжаем принимать всерьез бесчисленные мифы, на протяжении двух веков предлагаемые нам

романическим гением. Разумеется, романная действительность предполагает нечто вроде отказа от реальности. Но этот отказ не означает простого бегства. Может быть, роман — это попытка прекрасной разочарованной души отгородиться от мира, чтобы, согласно Гегелю, сотворить себе вымышленный мир, где полновластно царит мораль? Но нравоучительный роман все-таки далек от вершин великой литературы, а лучший из «розовых» романов — «Поль и Виргиния» — настолько печален, что вряд ли способен кого-то утешить.

Противоречие заключается в следующем: человек отказывается принимать мир таким, как есть, но в то же время не желает от него освободиться. На самом деле люди дорожат миром и в подавляющем большинстве совершенно не хотят его покидать. Вовсе не стремясь забыть о нем, они, напротив, страдают от того, что не могут завладеть им в большей степени, — странные граждане мира, сосланные на родину. Если не считать молниеносных мгновений полноты, реальность всегда представляется им незавершенной. Их действия в результате других действий не достигают цели да еще и оказываются предосудительными с самой неожиданной

стороны, они пропадают, как вода возле уст Тантала, проваливаясь в неизвестно где находящееся устье. Узнать, где это устье, подчинить себе русло реки, прожить, наконец, жизнь как судьбу — вот о чем они тоскуют в густой чаще своей родины. Но видение, способное все-таки хотя бы в сознании примирить их с собой, может появиться — если появится — лишь в мимолетный миг смерти, когда все заканчивается. Чтобы хоть раз ощутить свое бытие в мире, приходится распроститься с бытием.

Тут и рождается болезненная зависть, которую столь многие люди испытывают к другим. Глядя на чужое существование со стороны, они видят цельность и единство, которых на самом деле нет, но которые наблюдателю представляются очевидными. Он видит лишь верхнюю линию горного кряжа, понятия не имея о тех разрушительных процессах, которые происходят внутри его. И тогда мы превращаем эти чужие существования в искусство. Мы просто-напросто их романизируем. В этом смысле каждый из нас стремится превратить свою жизнь в произведение искусства. Мы желаем, чтобы любовь длилась вечно, но знаем, что она быстротечна; но даже если случится чудо и любовь будет длиться всю

жизнь, она все равно останется незавершенной. Возможно, в своей неутолимой жажде длиться мы лучше бы поняли сущность земного страдания, если бы знали, что оно вечно. Похоже, иногда великие души ужасаются не столько самой боли, сколько тому, что она преходяща. За неимением бесконечного счастья «сделать» судьбу могло бы длительное страдание. Но нет, даже худшие пытки рано или поздно закончатся. Однажды утром, пережив столько разочарований, мы проснемся с непреодолимым желанием жить, которое подскажет нам, что все кончено и что в страдании не больше смысла, чем в счастье.

Страсть к обладанию — всего лишь другая форма желания длиться, именно она ответственна за бессильный любовный бред. Ни одно существо, даже самое любимое и отвечающее нам взаимностью, никогда не становится предметом нашего полного обладания. На жестокой земле, где любовники иногда умирают в разлуке, а рождаются всегда разъединенными, полное обладание живым существом, полная общность с ним на протяжении всей жизни — недостижимое чаяние. Страсть к обладанию настолько неутолима, что может пережить и саму любовь. Тогда любовь превращается в стремление обесплодить

любимое существо. Постыдное страдание любовника, оставшегося в одиночестве, проистекает не столько оттого, что он больше не любим, сколько от знания, что другой может и должен любить кого-то еще. Человек, доведенный до крайней степени отчаяния стремлением длиться и обладать, желает существам, которых когда-то любил, бесплодия или смерти. Это и есть истинный бунт. Тот, кто ни разу, дрожа от тоски и бессилия перед невозможным, не выдвигал к миру и живым существам требования абсолютной девственности, кто, без конца возвращаясь к своей тоске по абсолюту, не разрушил себя в попытках любить наполовину, тот не поймет реальности бунта и его неукротимой тяги к разрушению. Но живые существа постоянно от нас ускользают, как и мы ускользаем от них, у них нет четких очертаний. С этой точки зрения жизнь лишена стиля. Жизнь — это тщетный поиск формы. Мятущийся человек напрасно ищет форму, благодаря которой обретет границы мира, чтобы стать в нем царем. Если бы хоть что-то живое на земле имело форму, он бы примирился с этим миром!

Наконец, нет ни одного живого существа, которое, достигнув определенного уровня сознания, не силится найти формулировки или установки,

которые придадут его существованию недостающее единство. Казаться или делать, быть денди или революционером — все это требует цельности: ради бытия и ради бытия в этом мире. Как у трогательных и жалких пар, которые подолгу не распадаются потому, что один из партнеров ждет завершающего слова, жеста или поступка, чтобы история закончилась на правильной ноте, так и каждый из нас ищет или сам придумывает для себя завершающее слово. Недостаточно просто жить — надо прожить судьбу, причем не дожидаясь смерти. Поэтому справедливо сказать, что человек думает о мире, который был бы лучше здешнего. Но «лучший» в этом случае не означает «другой», «лучший» означает «единый». Лихорадка, заставляющая сердце подняться над расколотым миром, избавиться от которого нет никакой возможности, объясняется страстным желанием единства. Она выражается не в бездарном бегстве от мира, а в требовательном упорстве. Любое человеческое действие — религия или преступление — в конце концов подчиняется этому неразумному желанию, надеясь придать жизни форму, которой она лишена. То же побуждение, что толкает человека к поклонению перед небесами или к разрушению, ведет к сочинению

романов, делая это занятие вполне серьезным.

Действительно, что такое роман как не вселенная, в которой действие обретает форму, завершающие слова произносятся вслух, одни существа отдаются другим, а жизнь приобретает обличье судьбы[99]? Романный мир — это версия здешнего мира, исправленная в соответствии с глубинными чаяниями человека. Ведь на самом деле речь идет об одном и том же мире, с теми же страданиями, той же ложью и той же любовью. Герои говорят на нашем языке, имеют наши слабости и нашу силу. Их вселенная не лучше и не назидательнее, чем наша. Но они по крайней мере всегда проживают свою судьбу до конца; мало того, самые запоминающиеся герои — это как раз те, кто во всем идет до конца, как Кириллов и Ставрогин, мадам Граслен, Жюльен Сорель или принц Клевский. Вот здесь мы утрачиваем общую с ними меру, потому что они всегда довершают то, что мы бросаем на полдороге.

«Принцесса Клевская» родилась из живого опыта госпожи Лафайет. Очевидно, что госпожа

---

[99] notes: 99

Даже если в романе говорится о тоске, отчаянии и неосуществимости желаний, он все равно создает форму и дарит спасение. Назвать безнадежность по имени — значит преодолеть ее. Литература, вселяющая чувство безнадежности, есть противоречие в терминах.

Лафайет и есть принцесса Клевская, но в то же время она ею не является. В чем между ними различие? Различие в том, что госпожа Лафайет не ушла в монастырь, а никто из ее близких не умер от тоски. У нас нет сомнений, что ей пришлось пережить те же мучительные мгновения беспримерной любви. Но в этой любви не была поставлена финальная точка. Она ее пережила и, перестав переживать, продлила. Наконец, никто, в том числе она сама, не увидел бы очертаний этой любви без четкого силуэта, приданного с помощью безупречного языка. Пожалуй, трудно назвать более романтическую и прекрасную историю, чем история Софии Тонской и Казимира из «Плеяд» Гобино. София — красавица и тонко чувствующая натура, заставляющая нас поверить Стендалю, когда он говорит, что только женщины с сильным характером способны его осчастливить, — вынуждает Казимира к признанию в любви. Привыкшая к всеобщему обожанию, она приходит в неистовство из-за человека, который видит ее каждый день, но тем не менее продолжает вести себя раздражающе спокойно. Казимир действительно признается, что любит ее, но говорит о своей любви языком судебного протокола. Он достаточно хорошо изучил ее, как

изучил и себя, и пришел к выводу, что эта любовь, без которой он не мыслит себе жизни, не имеет будущего. Поэтому одновременно с признанием в любви, предвидя ее тщетность, он делает ей следующее предложение: он отдаст ей все свое состояние — она богата, и для нее этот жест ничего не значит, — с тем чтобы она выплачивала ему скромное содержание, которое позволит ему поселиться на окраине выбранного наугад города (это будет Вильна) и доживать свои дни в бедности, пока его не настигнет смерть. Впрочем, Казимир признает, что идея получать от Софии средства, необходимые для жизни, — это уступка человеческой слабости, единственная с его стороны, если не считать чистого листа бумаги, который он будет вкладывать в конверт с именем Софии и время от времени отсылать ей. София возмущается, затем приходит в смятение, затем огорчается и, наконец, соглашается. Все происходит так, как задумал Казимир. Он умрет в Вильне от своей несчастной любви. У романа своя логика. В хорошей истории должна быть внутренняя связность, в реальных жизненных ситуациях не встречающаяся и знакомая нам по мечтам, которые всегда отталкиваются от реальной действительности. Если бы Гобино на самом деле

поехал в Вильну, он либо вскоре сбежал бы от скуки, либо как-нибудь устроил там свою жизнь. Но Казимиру неведомы ни желание перемен, ни надежды на исцеление. Он идет до конца, как Хитклиф, которому и смерть нипочем и который готов шагнуть прямиком в преисподнюю.

Таков воображаемый мир, создаваемый как исправленная версия реального: боль в этом мире может продолжаться до смерти, было бы желание; страсти в нем никогда не выдыхаются, а люди привязаны к идефиксу и постоянно присутствуют в жизни друг друга. Человек в этом мире наконец придает себе форму и устанавливает устраивающие его границы, чего в реальном мире добиться невозможно. Роман кроит судьбы по мерке человека. Таким образом он соперничает с творением и временно торжествует над смертью. Подробный анализ самых знаменитых романов показал бы, всякий раз под новым углом зрения, что сущность романа заключается в этом постоянном, всегда направленном в одну и ту же сторону исправлении художником собственного опыта. Не обязательно высокоморальная или чисто формальная, эта «правка» прежде всего нацелена на достижение цельности и тем самым является выражением метафизической потреб-

ности. На этом уровне роман — это упражнение для ума на службе тоскующего или возмущенного чувства. Этот поиск цельности можно было бы проследить по французским аналитическим романам, а также по романам Мелвилла, Бальзака, Достоевского или Толстого. Но для наших целей будет достаточно краткого сравнения двух противоположных тенденций, проявляющихся, с одной стороны, в творчестве Пруста, а с другой — в американском романе последних лет.

Американский роман[100] претендует на обретение цельности посредством сведения человека либо к его элементарной основе, либо к его внешним поведенческим реакциям. В отличие от наших классических романов, он не делает выбора в пользу какого-то одного чувства или страсти, чтобы дать его исчерпывающий образ. Он отказывается от анализа и поиска психологических пружин, объясняющих и определяющих поведение персонажа. Вот почему цельность этого романа — это цельность осветительного прибора. Его основной прием заключается во внешнем описании людей, включая самые незначительные их черты, в воспроизведении

[100] notes: 100

Речь, разумеется, идет о «жестком» романе 1930—1940-х годов, а не о восхитительном американском цветнике XIX века.

— без комментариев — их речи со всеми повторами[101], наконец, в таком показе людей, словно они полностью определяются повседневными привычными действиями, доведенными до автоматизма. На этом «машинальном» уровне люди и правда кажутся похожими друг на друга. И нам становится легко объяснить эту странную вселенную, где все персонажи взаимозаменяемы, несмотря на физические различия. Подобный метод называют реализмом только по недоразумению, тем более что реализм в искусстве — и ниже мы в этом убедимся — понятие бессмысленное, следовательно, этот романный мир стремится вовсе не к простому и точному воспроизведению действительности, а к его произвольной стилизации. Он рождается из уродования — и уродования сознательного — реальности. Достигаемая таким путем цельность есть цельность ущербная, нивелирующая и людей, и мир. Судя по всему, для этих писателей внутренняя жизнь лишает человеческие поступки связности и воздвигает между людьми стену отчуждения. Отчасти это подозрение небезосновательно. Но бунт, служа-

[101] notes: 101

Даже у Фолкнера, великого представителя этого поколения писателей, внутренний монолог воспроизводит лишь внешнюю оболочку мыслей.

щий этому искусству источником вдохновения, находит удовлетворение только через обретение цельности на основе внутренней реальности, а не через ее отрицание. Тотальное отрицание отсылает нас к вымышленному человеку. Черный роман — это в то же время и «розовый» роман, если судить по поставленной цели. Он по-своему учит жизни[102]. Жизнь плоти, сведенная сама к себе, парадоксальным образом порождает абстрактную и беспричинную вселенную, в свою очередь постоянно отрицаемую реальностью. Этот очищенный от внутренней жизни роман, в котором мы словно наблюдаем за людьми, находящимися за стеклом, в конце концов — что вполне логично — сводится к единственному сюжету, где предположительно средний человек вытесняется патологической личностью. Этим объясняется значительное число «простаков», используемых в этой вселенной. Простак — идеальный персонаж в рамках подобного замысла, поскольку весь целиком определяется через свое поведение. Он является символом этого пугающего мира, в котором живут несчастные люди-автоматы, машинально поддерживающие

[102] notes: 102

Бернарден де Сен-Пьер и маркиз де Сад — оба создатели пропагандистского романа, только с разным знаком.

между собой какие-то отношения. Американские писатели подняли этот символ перед лицом современного мира, чем выразили свой исполненный пафоса, но бесплодный протест.

Что касается Пруста, то он сделал попытку создать на основе досконально изученной реальности уникальный замкнутый мир, который принадлежал бы только ему и который знаменовал бы его победу над текучестью вещей и смертью. Он использовал для этого прямо противоположные средства. Прежде всего — сознательный отбор, скрупулезное собирание отдельных лучших моментов, взятых из тайников собственного прошлого. Поэтому из жизни оказались выброшены огромные пустые пространства, не оставившие по себе воспоминаний. Если мир американского романа — это мир лишенных памяти людей, то мир Пруста для автора — одно сплошное воспоминание. Просто перед нами один из самых трудных и самых требовательных видов памяти, отказывающейся от дисперсного мира, какой он есть, и находящей в полузабытом аромате секрет новой и прежней вселенной. Пруст делает выбор в пользу внутреннего мира, а внутри внутреннего мира — того, что является его сердцевиной, и отвергает то,

что в реальном мире подвержено забвению, то есть машинальное бытие и мир слепцов. Но, отказываясь от реального мира, он его не отрицает. Он не допускает ошибки, симметричной по отношению к американскому роману, и не уничтожает машинальность. Напротив, он объединяет в высшем единстве утраченную память и нынешнее ощущение, подвернутую ногу и дни былого счастья.

Трудно вернуться в места, где был счастлив и молод. Девушки в цвету вечно смеются и щебечут на берегу моря, но тот, кто занят их созерцанием, понемногу утрачивает право их любить, а те, кого он любил, теряют возможность быть любимыми. Это и есть прустовская меланхолия. Она была достаточно мощной, чтобы из нее хлынул отказ от всякого бытия. Но любовь к лицам и свету всегда привязывала его к миру. Он не согласился с тем, чтобы счастливые каникулы были утрачены навсегда. Он взял на себя труд воссоздать их и вопреки смерти показать, что прошлое находится в конце времен в неувядаемом настоящем, еще более достоверное и богатое, чем было изначально. Психологический анализ в «Утраченном времени» — это всего лишь сильнодействующее средство. Подлинное величие Пруста в том, что

он написал «Обретенное время», в котором собрал рассеянный мир и наполнил его, готовый распасться, смыслом. Его трудная победа накануне смерти в том, что он сумел силами одной только памяти и ума извлечь из вечной текучести форм трепещущие символы человеческого единства. Самый явный вызов, который произведение подобного рода может бросить творению, заключается в том, чтобы предстать перед ним в виде целого, замкнутого и объединенного мира. Это и есть определение произведений, не нуждающихся в покаянии.

Некоторые говорили, что мир Пруста — это мир без Божества. Если это и так, то не потому, что у Пруста никогда не говорят о Боге, а потому, что этот мир претендует на роль идеального и закрытого и придает вечности облик человека. «Обретенное время», во всяком случае по замыслу, — это вечность без Бога. В этом отношении творчество Пруста является одной из самых дерзких и самых значимых человеческих акций, протестующих против нашего состояния смертных. Пруст доказал, что искусство романа переиначивает само творение в том виде, в каком оно нам навязано и нами отвергаемо. Это искусство, по меньшей мере в одном из своих

аспектов, состоит в выборе твари, а не творца. Но оно гораздо глубже потому, что объединяется с красотой мира и живых существ против сил смерти и забвения. Поэтому его бунт созидателен.

Бунт и стиль

Способом, каким художник обращается с реальностью, он утверждает свою силу отрицания. Но то, что он оставляет в творимой им вселенной от реальности, свидетельствует о его приятии хотя бы части реального мира, вытянутой им из будущего и освещенной творческим огнем. По большому счету, если отрицание носит тотальный характер, реальность изгоняется полностью, и тогда мы получаем чисто формальное искусство. Если, напротив, художник по причинам, часто не имеющим к искусству никакого отношения, предпочитает прославлять грубую реальность, мы получаем реализм. В первом случае исходный творческий порыв, в котором тесно переплетены бунт и соглашательство, утверждение и отрицание, искажается в пользу отказа. Это приводит к категорическому бегству от действительности, примеры этого в огромном количестве поставляет наше время; мы уже показали его нигилистическую природу. Во втором случае

художник стремится придать миру целостность, отказываясь рассматривать его в той или иной заданной перспективе. Тем самым он выражает свою жажду единства, пусть и извращенную. Но одновременно он отказывается от первого и главного требования художественного творчества. Чтобы подчеркнуть отрицание относительной свободы творческого сознания, он утверждает непосредственную тотальность мира. В обоих случаях акт художественного творения отрицает сам себя. Изначально он отвергал всего один аспект реальности в его временном измерении либо утверждал другой его аспект. Но, отрицая всю реальность как таковую либо утверждая, что ничего, кроме реальности, не существует, он в обоих случаях отрицает сам себя, впадая либо в абсолютное отрицание, либо в абсолютное утверждение. Как видим, этот анализ в эстетическом плане совпадает с тем, что мы проделали в плане историческом.

Но точно так же как не бывает нигилизма, который в конце концов не предполагал бы наличия какой-либо ценности, и материализма, который, осмысливая себя, не вступал бы сам с собой в противоречие, формальное и реалистическое искусство суть абсурдные понятия. Никакое

искусство не способно полностью отречься от реальности. Горгона Медуза, бесспорно, полностью фантастическое создание, но ее жуткая физиономия и змеи на голове заимствованы у природы. Формализм может все успешнее освобождаться от реального содержания, но рано или поздно наталкивается на некую грань. Даже чистая геометрия, в которую иногда скатывается абстрактная живопись, заимствует у внешнего мира краски и законы перспективы. Подлинный формализм — это молчание. Точно так же реализм не способен обойтись без минимума произвольного толкования. Лучшая из фотографий уже есть предательство по отношению к реальности, поскольку является результатом выбора и ставит границы тому, что не имеет границ. Художник-реалист и художник-формалист ищут цельности там, где ее нет — в сырой реальности или в воображении, претендующем на изгнание всякой реальности. Напротив, цельность в искусстве появляется в результате преобразования, которое художник навязывает реальности. Цельность не может обойтись ни без реальности,

ни без воображения. Эта коррекция[103], которую художник осуществляет с помощью языка или путем распределения элементов, заимствованных у реальности, называется стилем и придает воссозданной вселенной и единство, и границы. Каждый бунтарь стремится — отдельным гениям это удается — дать миру свой закон. «Поэты, — сказал Шелли, — это непризнанные законодатели мира».

Искусство романа по самой своей природе не может не служить примером подобного предназначения. Роман не может ни полностью принять реальность, ни полностью от нее отвернуться. Чистого воображения не существует, но даже если бы оно существовало, идеальный, абсолютно развоплощенный роман не имел бы никакой художественной ценности, поскольку первое, что требуется духу в поисках цельности, — это возможность сообщить эту цельность другим. С другой стороны, чисто рациональная цельность является ложной цельностью, поскольку она не опирается на реальность. «Розовый» (или черный) роман, как и нравоучительный роман,

[103] notes: 103

Делакруа отмечал — и это его наблюдение чрезвычайно важно, — что необходимо «вносить коррективы в неумолимую перспективу, которая (в реальности) искажает вид объектов *в силу своей правильности*».

отдаляются от искусства в той большей или меньшей мере, в какой они нарушают этот закон. Напротив, подлинно творческий роман использует реальность и ничего, кроме реальности, наполняя ее своим теплом и своей кровью, своей страстью или своей болью. Просто он добавляет в реальность нечто такое, что ее преобразует.

Точно так же то, что принято называть реалистическим романом, стремится к непосредственному воспроизведению реальности. Но воспроизведение всех подряд элементов реальности, будь такое возможно, означало бы бесплодную попытку повторить творение. Тогда реализм должен быть не более чем средством выражения религиозного гения, предчувствие чего дает восхитительное испанское искусство, либо, впадая в другую крайность, искусством обезьянничанья, довольствующегося имитацией того, что есть. В действительности искусство никогда не бывает реалистическим, но иногда впадает в искус реалистичности. Чтобы быть по-настоящему реалистическим, описание должно продолжаться без конца. Там, где Стендаль одним предложением описывает появление в гостиной Люсьена Левена, писатель-реалист должен был бы, следуя своей логике, посвятить

несколько томов описанию персонажей и окружающей обстановки и все равно не передал бы всех подробностей сцены. Реализм — это бесконечное перечисление. Из этого следует, что его подлинная цель — это достижение не цельности, а тотальности реального мира. Отсюда понятно, почему он стал официальной эстетикой революции тотальности. Но эта эстетика уже доказала свою несостоятельность. Реалистические романы вынуждены волей-неволей отбирать из реальности отдельные элементы, поскольку выбор и возвышение над реальностью являются условием мышления и выражения мысли[104]. Писать — значит делать выбор. Следовательно, существует произвол по отношению к реальности, как и по отношению к идеалу, что делает реалистический роман имплицитно тенденциозным. Свести цельность романного мира к полной реальности можно лишь путем утверждения априорного суждения, отсекающего от реальности все, что не укладывается в заданную схему. Так называемый социалистический реализм самой логикой своего нигилизма обречен аккумулировать в

[104] notes: 104

Что подтверждает еще одна глубокая мысль Делакруа: «Чтобы реализм был не бессмысленным словом, надо, чтобы все люди думали одинаково и одинаково воспринимали вещи».

себе преимущества нравоучительного романа и пропагандистской литературы.

Не важно, событие порабощает творца или творец стремится к отрицанию события как такового, в обоих случаях творчество опускается до искаженных форм нигилистического искусства. Это в равной мере относится как к творчеству, так и к культуре в целом: предполагает постоянное напряжение между формой и материей, становлением и духом, историей и ценностями. Если это равновесие нарушается, наступает диктатура или анархия, пропаганда или формалистский бред. В обоих случаях творчество, которое есть разумная свобода, невозможно. Либо оно уступает обмороку абстракции и сумраку формализма, либо призывает к кнуту самого грубого и самого примитивного реализма; современное искусство почти целиком представляет собой не искусство творцов, а искусство тиранов и рабов.

Произведение, в котором содержание выплескивается за рамки формы или форма подчиняет себе содержание, если и представляет собой цельность, то куцую и недовольную собой. В этой области, как и во всякой другой, единство, не являющееся стилем, есть уродование. Какую бы перспективу ни избрал художник, общим

для любого вида творчества остается принцип стилизации, предполагающий одновременное наличие реальности и духа, придающего этой реальности форму. Посредством стилизации творец пересоздает мир — всегда с легким смещением, которое и есть признак искусства и протеста. Он может, как Пруст, рассматривать человеческий опыт в микроскоп, увеличивая каждую деталь, или, наоборот, уменьшать своих персонажей, доходя до абсурда, как это делает американский роман; в любом случае он в каком-то смысле искажает реальность. Творческое плодотворное начало содержится как раз в этом смещении, задающем произведению стиль и тональность. Искусство — это требование невозможного, облеченное в форму. Когда идущий из глубин души крик обретает свою выразительность, это отвечает подлинному побуждению бунта, который в верности себе черпает творческую силу. Несмотря на столкновение с предрассудками времени, величайший стиль в искусстве — это всегда выражение высочайшего бунта. Как истинный классицизм — это не более чем усмиренный романтизм, так и гениальность — это бунт, создающий собственную меру вещей. Следовательно, вопреки тому, что мы слышим се-

годня, в отрицании и чистом отчаянии никакой гениальности нет.

Одновременно это означает, что большой стиль не сводится к простой добродетели формализма. Он обладает этой добродетелью, если в ущерб реальности ищет себя ради себя же, но тогда он перестает быть большим стилем. В этом случае он ничего не изобретает, а лишь — как всякий академизм — имитирует, тогда как подлинное творчество всегда по-своему революционно. Стилизация обязана заходить далеко, ибо она выражает вмешательство человека, волю художника к исправлению воспроизводимой реальности, но она должна оставаться незаметной, чтобы протест, дающий рождение искусству, проявлялся в крайнем и наиболее напряженном виде. Великий стиль — это невидимая, то есть сущностная стилизация. «В искусстве, — говорит Флобер, — не надо бояться преувеличений». Но он же добавляет, что преувеличение должно быть «последовательным и соразмерным самому себе». Если стилизация чрезмерна и заметна, то произведение превращается в чистую ностальгию: цельность, к которой оно стремится, чужда всякой конкретики. Если, напротив, реальность преподносится в сыром виде, без всякой сти-

лизации, перед нами конкретика, лишенная целостности. Великое искусство стиля, которое является подлинным лицом бунта, находится между этими двумя ересями[105].

Творчество и революция

В искусстве бунт завершается и продолжается в акте подлинного творения, а не в критике и не в комментарии. Со своей стороны, революция самоутверждается только в культуре, а не в терроре или тирании. Два вопроса, которые современность ставит перед нашим зашедшим в тупик обществом, возможно ли творчество и возможна ли революция, на самом деле есть один и тот же вопрос, касающийся возрождения цивилизации.

Революция и искусство XX века — данники одного и того же нигилизма и существуют в рамках одного и того же противоречия. Они отрицают ровно то, что утверждают самим своим существованием, и ищут невозможный выход в терроре. Современная революция верит, что открывает новый мир, тогда как на самом деле

---

[105] notes: 105

В зависимости от сюжета меняется и «правка» реальности. В произведении, верном описанной здесь эстетике, со сменой сюжета будет меняться и стиль, но авторский язык (тональность) останется общим, что позволяет добиться стилевого разнообразия.

представляет собой противоречивое завершение мира прежнего. Капиталистическое и революционное общество суть одно и то же в той мере, в какой и то и другое подвержено порабощению одним и тем же способом — промышленным производством — и одними и теми же посулами. Только первое строит свои посулы на формальных принципах, которые не способно воплотить в жизнь и которые находят отрицание в самих используемых им средствах. Второе оправдывает свое пророчество верностью реальности, но в итоге ее калечит. Общество промышленного производства способно производить, но не способно творить.

Точно так же современное искусство, будучи искусством нигилизма, бьется между формализмом и реализмом. Впрочем, реализм так же буржуазен — только в черном цвете, — как и социализм, и превращается в назидание. Формализм в равной мере принадлежит к обществу прошлого, когда переходит в бесплодную абстракцию, и к обществу предполагаемого будущего — тогда он задает тон пропаганде. Язык, разрушенный иррациональным отрицанием, теряется в словесном бреде; подчиненный идеологии детерминизма, он вырождается в лозунг. Искусство находится

между этими двумя крайностями. Если бунтарь должен одновременно отвергать и ярость небытия, и согласие с тотальностью, то художник вынужден одновременно избегать и буйства формализма, и тоталитарной эстетики реализма. Современный мир един, это правда, но его единство — это единство нигилизма. Культура возможна только в том случае, если мир, отказываясь от нигилизма формальных принципов и беспринципного нигилизма, ступает на путь творческого синтеза. Точно так же в искусстве время вечного комментирования и репортажа вступает в стадию агонии, возвещая наступление эпохи творчества.

Но для этого искусство и общество, так же как творчество и революция, должны вернуться к источнику бунта, при котором отказ и согласие, единичное и всеобщее, индивидуум и история взаимно уравновешивают друг друга в условиях наивысшего балансирования. Сам по себе бунт не является элементом культуры, но он есть предварительное условие возникновения культуры. Только бунт позволяет надеяться, что мы найдем выход из нынешнего тупика и настанет будущее, о котором мечтал Ницше и в котором «вместо судьи и угнетателя будет творец». Это не значит,

что осуществится смехотворная иллюзия града, управляемого художниками. Это значит лишь, что в нашу драматическую эпоху труд, целиком подчиненный производству, перестал быть творческим. Индустриальное общество откроет путь цивилизации только в том случае, если вернет работнику достоинство творца, то есть если его интерес к труду и мысли о труде будут не менее важны, чем продукт труда. Необходимая нам цивилизация уже не сможет провести классовую или индивидуальную разделительную черту между работником и творцом — так же как художественное творчество не пытается разделить форму и содержание, дух и историю. Таким образом она признает за каждым достоинство, подтвержденное бунтом. Было бы несправедливо — впрочем, это утопия, — если бы Шекспир управлял обществом сапожников. Но точно таким же кошмаром обернется общество сапожников, полагающих, что им не нужен Шекспир. Шекспир без сапожника оправдывает тиранию. Сапожник без Шекспира поглощен тиранией, если еще не способствует ее распространению. Всякое творчество само по себе служит отрицанием мира господ и рабов. Отвратительное общество тиранов и рабов, в котором мы живем, умрет и

преобразуется только благодаря творчеству.

Но необходимость творчества не означает его возможность. В искусстве эпоха творчества определяется порядком стиля, наложенным на беспорядок времени. Она придает страстям современников форму и облекает их в формулы. Поэтому творцу уже недостаточно повторять госпожу Лафайет, поскольку у нынешних мрачных принцев на любовь не остается времени. Сегодня, когда коллективные страсти возобладали над индивидуальными, все еще возможно подчинить искусству неистовство любви. Но неизбежно возникает проблема, как подчинить коллективные страсти и возобладать над исторической борьбой. Предмет искусства, несмотря на стенания подражателей, расширился от психологии до состояния человека. Когда страсть эпохи ставит на кон целый мир, творчество стремится подчинить себе судьбу как таковую. Но тем самым оно противопоставляет лику тотальности свое утверждение единства. Просто в этом случае творчество оказывается под угрозой, исходящей, во-первых, от самого творчества, а во-вторых, от духа тотальности. Современное творчество — опасная штука.

Действительно, чтобы подчинить себе кол-

лективные страсти, необходимо их пережить и испытать, хотя бы условно. Но стоит художнику отдаться страсти, как она его пожирает. В результате наша эпоха — это скорее время репортажа, чем произведений искусства. Ей не хватает умения правильно распоряжаться временем. Наконец, следование этим страстям увеличивает по сравнению с временем любви или честолюбия риск погибнуть, потому что единственный способ подлинного переживания коллективной страсти состоит в готовности умереть из-за нее и ради нее. Сегодня наибольший шанс достичь подлинности для искусства означает наибольший шанс провала. Если бы творчество было невозможно в условиях войн и революций, у нас не было бы творцов, ибо война и революция — наш удел. Миф о бесконечном производстве чреват войной, как туча чревата грозой. Тогда войны раздирают Запад и губят поэта Шарля Пеги. Едва поднявшись из руин, буржуазная машина сталкивается с движущейся ей навстречу революционной машиной. Пеги не успевает возродиться: близкая война убьет каждого, кто мог бы стать Пеги. Если бы творческий классицизм оказался возможен, то даже представленный одним-единственным именем, он был бы делом одного поколения. В

век разрушения шансы на провал компенсируются только количеством, то есть если из десяти подлинных художников выживет хотя бы один, то он сможет, вдохновившись первыми словами своих собратьев, найти в жизни и время для страсти, и время для творчества. Художник, хочет он того или нет, не может быть одиночкой — разве что в роли печального триумфатора, стоящего на плечах себе подобных. Бунтарское искусство тоже в итоге приводит к формуле «мы есть», тем самым становясь на путь неукротимого самоуничижения.

Но пока торжествующая революция, ослепленная собственным нигилизмом, угрожает тем, кто, вопреки ей, силится и в тотальности сохранять единство. Один из смыслов сегодняшней и в еще большей степени завтрашней истории заключается в борьбе между художниками и новыми триумфаторами, между свидетелями творческой революции и мастеровыми нигилистической революции. Об исходе этой борьбы у нас пока могут быть только иллюзорные, хоть и разумные представления. Во всяком случае, мы знаем, что эта борьба должна вестись. Современные победители умеют убивать, но, кажется, не умеют творить. Художники умеют творить, но

не умеют по-настоящему убивать. Убийцы среди художников — исключения. Следовательно, искусство в нашем революционном обществе должно погибнуть. Но тогда победит революция. Всякий раз, когда революция убивает в человеке художника, каким он мог бы быть, она немного выдыхается. Если бы триумфаторы все-таки подчинили мир своему закону, они доказали бы лишь, что миром правит количество, а самый этот мир уподоблен аду. Но и внутри самого этого ада место искусства будет тем же, что и место подавленного бунта — слепой и тщетной надежды в пустоте беспросветных дней. Эдвин Двингер рассказывает в своем «Сибирском дневнике» о немецком лейтенанте, который провел долгие годы в плену, страдая от голода и холода, и соорудил себе из деревянных щепок немое пианино. В тесноте концентрированного страдания, посреди оборванных узников, он сочинял странную музыку, слышную только ему одному. Так из самых глубин ада до нас по-прежнему будут доноситься таинственные мелодии и жестокие образы сбежавшей красоты, и посреди преступлений и безумств мы уловим отзвук мятежной гармонии, которая на протяжении веков служит признаком величия человека.

Но ад конечен, и в один прекрасный день жизнь возобновится. Может быть, у истории и есть конец, но наша задача не довершить ее, а создавать по образу и подобию той правды, которая нам известна. Искусство, по меньшей мере, учит нас тому, что человек не сводится к одной истории и находит смысл жизни в природном порядке. Для него великий Пан не умер. Даже инстинктивный бунт, изголодавшийся по единству, утверждая ценность общего для всех достоинства, одновременно упорно заявляет о своем праве на нетронутую часть реальности, имя которой — красота. Можно отвергнуть всю историю и тем не менее оставаться в согласии с миром звезд и моря. Бунтари, не желающие видеть природу и красоту, обрекают себя на изгнание из той истории, которую они собираются творить, из достоинства труда и бытия. Все великие реформаторы пытаются осуществить в истории то, что сотворили Шекспир, Сервантес, Мольер и Толстой, — мир, всегда готовый утолить жажду свободы и достоинства, живущую в сердце каждого человека. Наверное, красота не совершает революций. Но наступает день, когда революции понимают необходимость красоты. Закон красоты, оспаривающий реальность, одновременно сообщая ей

цельность, — это и закон бунта. Можно ли вечно отвергать несправедливость, не прекращая восславлять природу человека и красоту мира? Наш ответ — да. Во всяком случае, эта мораль, непокорная и верная, единственная способна осветить путь по-настоящему реалистичной революции. Поддерживая эту красоту, мы готовим приход дня возрождения, когда цивилизация поставит в центр своей философии не формальные принципы и не извращенные ценности истории, а живую добродетель, на которой покоится общее достоинство мира и человека, ту добродетель, которой мы должны дать определение перед лицом оскорбляющего ее мира.

V
Философия полдня
Бунт и убийство

Вдали от этого животворного источника Европа и революция пожирают друг друга, сотрясаясь в страшных конвульсиях. В прошлом веке человек уничтожил религиозное принуждение. Но, едва освободившись, он изобрел себе новые, совсем уже нестерпимые принуждения. Добродетель умирает, но возрождается еще более непреклонной. Она громко требует от каждого милосердия и любви не только к ближнему, но и к дальнему, превращая современный гуманизм в насмешку. Подобная несгибаемость не способна привести ни к чему, кроме разрушений. Наступает день, когда она ожесточается, превращаясь в полицейщину, и вот уже во имя спасения человека на площадях пылают костры. Достигнув вершины современной трагедии, мы вступаем в мир, где преступление становится повседневным явлением. Кажется, источники жизни и творчества иссякли. Европа, населенная призраками и машинами, застыла в страхе.

Между двумя гекатомбами в глубине подземелий возводятся эшафоты. В них палачи-гуманисты молча прославляют свой новый культ. Чей крик способен их смутить? Даже поэты, видя убийство собрата, гордо заявляют, что лично их руки ничем не запачканы. Отныне весь мир рассеянно отворачивается от этого убийства; жертвы вынуждены познать крайнюю степень отторжения, они внушают скуку. В былые времена кровь убитого хотя бы вызывала священный ужас и делала священной цену жизни. Подлинное проклятие эпохи в том, что она внушает нам: не такая уж она и кровавая. Кровь не видна — лица наших фарисеев ею не забрызганы. Вот крайняя степень нигилизма: на фоне наших высокоинтеллектуальных палачей слепое яростное убийство представляется оазисом, а преступник-дурак кажется симпатичным.

Европейский дух, долгое время веривший, что способен с помощью всего человечества сразиться против Бога, вдруг замечает, что ему, чтобы не погибнуть, приходится сражаться и против людей. Бунтари, восставшие против смерти и желавшие построить суровое бессмертие на фундаменте человеческого рода, с ужасом обнаружили, что вынуждены в свою очередь

убивать. Бунт, изменивший своей сути и цинично переродившийся, на всех уровнях колебался между жертвоприношением и убийством. Справедливость, которой он надеялся осчастливить всех, быстро скукожилась. Он победил царство благодати, но царство справедливости тоже не устояло. Это разочарование оказалось убийственным для Европы. Ее бунт защищал невиновность человека, но вдруг она замерла перед лицом собственной виновности. Стоит ей устремиться к тотальности, как она обретает самое безнадежное одиночество. Она мечтала о всеобщем объединении, но теперь все ее надежды сводятся к тому, чтобы на протяжении долгих лет по одному собирать одиночек, шагающих к единству.

Значит ли это, что надо отказаться от всякого бунта, либо принимая общество таким, какое оно есть, со всеми его несправедливостями, либо становясь на службу принудительного хода истории против интересов человека? Если бы из наших рассуждений логически вытекал вывод о неизбежности трусливого конформизма, с ним следовало бы согласиться — так некоторые семьи порой соглашаются с неизбежным бесчестьем. Если бы можно было логически объяснить все виды покушений на человека и даже его непре-

рывное разрушение, пришлось бы согласиться с этим самоубийством. В конце концов, это было бы справедливо: зачем жалеть о мире торгашей и полицейских?

Но можем ли мы сказать, что по-прежнему живем в мире бунта? Может быть, напротив, бунт стал оправданием новых тиранов? Способна ли формула «мы есть», содержащаяся в призыве к бунту, безропотно и без уловок примириться с убийством? Устанавливая границу угнетения, за которой начинается общее для всех человеческое достоинство, бунт дал определение первой ценности. Он выдвигал на первое место всем понятное согласие людей, их общее качество, солидарность цепочки, связь одного существа с другим, благодаря которой люди становятся похожи друг на друга и сплоченны. Кроме того, он делал первый шаг навстречу духу, противостоящему миру абсурда. Тем самым он обострял проблему убийства, которую отныне ему предстояло решать. Действительно, если на уровне абсурда проблема убийства вызывала только логические противоречия, на уровне бунта она оборачивалась страданием. Речь шла уже о том, можно ли убить человека — любого человека, если мы признаём его схожим с собой и объяв-

ляем тождественность с ним священной. Значит ли это, что, едва преодолев одиночество, мы должны снова и уже окончательно смириться с одиночеством, узаконивая действие, отсекающее нас от всего? Принуждать к одиночеству того, кто только что узнал, что он не одинок, — разве это не последнее преступление против человека?

Рассуждая логически, мы должны ответить, что убийство и бунт противоречат друг другу. Действительно, стоит убить всего одного хозяина, и бунтарь в каком-то смысле больше не имеет права говорить о единстве всех людей, которое, напомним, служило ему оправданием. Если мир лишен высшего смысла, если человек держит ответ только перед человеком, тогда достаточно, чтобы человек отсек от общества живых кого-то одного, чтобы исключить из этого общества самого себя. Каин после убийства Авеля бежит в пустыню. Но если убийц целая толпа, то вся эта толпа живет в пустыне, обреченная на одиночество особого рода — одиночество в толпе.

Нанося смертельный удар, бунтарь раскалывает мир надвое. Он восставал во имя тождества человека с человеком, но он жертвует тождеством, кровью освящая различие. Единственная форма его бытия в условиях нищеты и угне-

тения заключалась в этом тождестве. Но тот же порыв, целью которого было утверждение этого тождества, лишает его бытия. Он может сказать, что он не один, что с ним заодно действуют еще несколько человек, даже почти все. Но если незаменимому миру братства не хватает лишь одного живого существа, он становится безлюдным. Если нет «мы», значит, нет и меня, и именно этим объясняется бесконечная печаль Каляева и молчание Сен-Жюста. Попытки бунтарей, решившихся на насилие и убийство, заменить «мы есть» на «мы будем» в надежде сохранить свое бытие, напрасны. Когда исчезнут убийца и жертва, общность восстановится без них. Исключение будет пережито, и снова станет возможным правило. На уровне истории, как и на уровне индивидуальной жизни, убийство становится безнадежным исключением или обращается в ничто. Осуществляемый им слом порядка вещей не имеет будущего. Оно выбивается из нормы и, следовательно, не может использоваться систематически, как на том настаивает чисто исторический подход. Убийство — это та грань, пересечь которую можно всего один раз, после чего наступает смерть. У бунтаря есть всего один способ примириться с убийством,

на которое он решился, — принять собственную смерть и принести себя в жертву. Он убивает и умирает, показывая, что убийство невозможно. Одновременно он показывает, что в действительности предпочитает формулу «мы есть» формуле «мы будем». Этим, в свою очередь, объясняется и счастливое спокойствие Каляева в тюрьме, и безмятежность Сен-Жюста по пути на эшафот. За этой гранью начинаются противоречие и нигилизм.

Нигилистическое убийство

И иррациональное, и рациональное убийства в равной мере предают ценность, заявленную бунтарским движением. Прежде всего это касается первого. Те, кто отрицает все и позволяет себе убивать, как убийца-денди Сад, и безжалостный Единственный Карамазова, и сорвавшиеся с цепи последователи разбоя, и стреляющий в толпу сюрреалист, в сущности, требуют тотальной свободы и безграничной демонстрации человеческой гордыни. Яростный нигилизм не делает различия между творцом и тварями. Принципиально отвергая надежду, он уничтожает всякие границы и, в своем возмущенном ослеплении забыв о собственных интересах, кончает полным

равнодушием к убийству: почему бы не убить то, что и так обречено на смерть?

Но его мотивы — взаимное признание общей судьбы и связи людей между собой — по-прежнему живы. Их провозглашал бунт, обязавшийся служить им. Тем самым он, споря с нигилизмом, устанавливал правила поведения, которым для объяснения действий не обязательно было ждать конца истории и которые отнюдь не были категоричными. Напротив, он отделял от якобинской морали то, что не подчинялось законам и правилам. Он открывал путь морали, которая, вопреки абстрактным принципам, открывала свои принципы в пылу восстания и бесконечном движении протеста. Нет никаких оснований утверждать, что эти принципы существовали извечно, как нет оснований заявлять, что они сохранятся в будущем. Но в то время, в котором мы живем, они есть. Они вместе с нами на всем протяжении истории отрицают рабство, ложь и террор.

Действительно, между господином и рабом нет ничего общего. О чем можно говорить с порабощенным существом? Вместо подразумеваемого свободного диалога, благодаря которому мы осознаем свою схожесть и признаем свою общую судьбу, рабство навязывает самый страшный

вид немоты. Несправедливость страшна бунту не тем, что противоречит вечной идее справедливости, которую мы не знаем, куда поместить, а тем, что увековечивает немую враждебность, разделяющую угнетателя и угнетенного. Она убивает ту крохотную частицу бытия, которая способна прийти в мир посредством человеческого товарищества. Точно так же должны быть осуждены ложь — поскольку лгущий человек закрывается от других людей — и, на более низком уровне, убийство и насилие, навязывающие нам окончательную немоту. Сотрудничество и общение, открытые бунтом, могут существовать только в условиях свободного диалога. Каждая двусмысленность, каждое недоразумение влекут за собой смерть, спасти от этой смерти может только ясный язык и простое слово[106]. Кульминацией всех трагедий становится глухота героев. Платон прав, а Моисей и Ницше — нет. Диалог на уровне человека обходится дешевле, чем евангелие тоталитарных религий, существующее в форме монолога и диктуемое с вершины одинокого утеса. На сцене, как и в жизни, монолог предшествует смерти. Следовательно, каждый

[106] notes: 106

Замечено, что язык тоталитарных доктрин всегда вырождается в схоластику или канцелярит.

бунтарь, уже в силу того побуждения, которое заставляет его противостоять угнетателю, защищает жизнь и борется против рабства, лжи и террора; в миг озарения он утверждает, что эти три бича навязывают людям молчание, делают их непроницаемыми друг для друга и мешают обрести единственную ценность, способную спасти от нигилизма, — долгое товарищество людей, восставших против судьбы.

В миг озарения. Но этого мига достаточно, чтобы заявить, что крайняя степень свободы — свобода убивать — несовместима со смыслом бунта. Бунт вовсе не является требованием тотальной свободы. Напротив, бунт подвергает суду тотальную свободу. Он как раз оспаривает безграничную власть, позволяющую любому начальнику попирать запретные границы. Бунтарь отнюдь не требует всеобщей независимости, он хочет лишь признания того, что свобода имеет свои границы повсюду, где находится человеческое существо, и главной границей является право этого существа на бунт. В этом заключается глубинный смысл мятежной непримиримости. Чем глубже необходимость справедливой границы, тем тверже бунт. Разумеется, бунтарь требует некоторой свободы для себя лично, но

ни в коем случае — если это последовательный бунтарь — не требует права на уничтожение бытия и свободы других людей. Бунтарь никого не унижает. Он требует провозглашаемой им свободы для всех; свободу, которую он отвергает, он запрещает всем. Он не просто раб, выступающий против хозяина; он — человек, восстающий против мира хозяев и рабов. Следовательно, благодаря бунту в истории есть нечто большее, чем отношения господства и рабства. В нем правит бал не один закон безграничной власти. Бунтарь утверждает невозможность тотальной свободы во имя иной ценности, одновременно требуя для себя относительной свободы, необходимой для признания этой невозможности. Свобода каждого человека в своей глубинной основе относительна. Абсолютная свобода, то есть свобода убивать, единственная не признает никаких ограничений. Тогда она отрывается от своих корней и пускается в авантюры, превращаясь в абстрактную злобную тень, пока не вообразит, что обрела плоть в идеологии.

Поэтому можно сказать, что бунт, обращенный к разрушению, нелогичен. Требующий единства человеческого состояния, он силен жизнью, а не смертью. Его глубинная логика основана не на

разрушении, а на творчестве. Чтобы сохранить подлинность, его порыв не должен отказываться ни от одного из терминов противоречия, благодаря которому существует. Он должен хранить верность тому «да», которое в нем содержится, и одновременно тому «нет», к которому нигилистические толкования пытаются свести бунт. Логика бунта заключается в желании служить справедливости, чтобы не усугублять несправедливости человеческого положения, в принуждении себя к ясности выражения, чтобы не усугублять всеобщей лжи, и в ставке на счастье, а не на человеческую боль. Нигилистическая страсть, усугубляя несправедливость и ложь, разрушает в своей ярости собственное прежнее требование и тем самым лишает себя самых ясных мотивов бунта. Она убивает, обезумев от чувства, что мир обречен на смерть. Следствием бунта, напротив, является отказ от справедливости убийства, поскольку бунт — это принципиальный протест против смерти.

Но если бы человек мог одной своей волей объединить мир и сделать так, чтобы в нем воцарились искренность, невиновность и справедливость, он стал бы Господом Богом. Иначе говоря, если бы он был на все это способен, бунт

стал бы ненужным. Если бунт существует, это значит, что ложь, несправедливость и насилие составляют часть жизни бунтаря. Следовательно, он не может полностью отказаться от убийства и лжи, не отказываясь от бунта, и раз навсегда согласиться с убийством и злом. Но он точно так же не может согласиться с убийством и ложью, поскольку обратное побуждение, узаконивающее убийство и насилие, разрушило бы причины его восстания. Поэтому бунтарь не ведает покоя. Он знает, что такое добро, и невольно творит зло. Ценность, позволяющая ему держаться на ногах, не дана ему раз навсегда, он должен без конца ее поддерживать. Бытие, которого он достигает, рушится, если его не поддерживает новый бунт. В любом случае, если он не может удержаться от прямого или косвенного убийства, он может использовать свой пыл и страсть на то, чтобы уменьшить вероятность убийств в окружающем его мире. Его единственной добродетелью будет нежелание поддаваться головокружительному туману сумерек, в которых он живет; прикованный к злу, он будет упорно стремиться к добру. Если он все же совершит убийство, то согласится умереть. Верный своим корням, бунтарь своей жертвой доказывает, что его истинная свобода

определяется не отношением к убийству, а отношением к собственной смерти. Одновременно он открывает для себя метафизическую честь. Тогда Каляев поднимается на эшафот и зримо указывает всем своим братьям тот крайний предел, где начинается и кончается человеческая честь.

Историческое убийство

Бунт также разворачивается в истории, которая требует не только образцового выбора, но и эффективных действий. Тут возникает риск найти оправдание рациональному убийству. Тогда противоречие бунта повторяется во внешне неразрешимых антиномиях, две политические модели которых представлены, с одной стороны, противопоставлением насилия и ненасилия, а с другой — противопоставлением справедливости и свободы. Попытаемся дать определение этим парадоксальным понятиям.

Позитивная ценность, содержащаяся в первом побуждении к бунту, предполагает принципиальный отказ от насилия. Как следствие, она влечет за собой невозможность стабилизации революции. Бунт постоянно тащит на себе это противоречие. На уровне истории оно обретает особенно жесткие формы. Если я отказываюсь

признавать тождественность людей, значит, я совершаю отречение перед лицом угнетателя, отрекаюсь от бунта и возвращаюсь к нигилистическому соглашательству. В этом случае нигилизм становится консервативным. Если я требую признания этой тождественности ради бытия и предпринимаю действия, успех которых невозможен без цинизма насилия, то тем самым я отрицаю и эту тождественность, и сам бунт. Но противоречие еще шире: если единство мира не может быть дано сверху, то человек должен сам построить его в истории по собственной мерке. История без преобразующей ее ценности управляется законом эффективности. Законными последствиями философии, основанной на чистом историзме, становятся исторический материализм, детерминизм, насилие, неприятие любой свободы, отрицающей эффективность; мир отваги и молчания. В современном мире оправдать ненасилие может только философия вечности. Абсолютной историчности она противопоставляет творение истории и пытается отыскать корни любой исторической ситуации. В конце концов, узаконивая несправедливость, она возложит заботу о справедливости на Бога. Поэтому ее ответы потребуют веры. В качестве

возражения ей будет предъявлено зло, и она окажется перед парадоксом: либо всемогущий и злокозненный, либо благодетельный и бесплодный Бог. Вопрос выбора между благодатью и историей, Богом и мечом останется открытым.

Какова должна быть позиция бунтаря? Он не может отвернуться от мира и истории, не отрицая самого принципа бунта, и выбрать вечную жизнь, не смиряясь в каком-то смысле со злом. Если, например, он не христианин, он должен идти до конца. Но идти до конца означает абсолютный выбор истории и неотъемлемо присущего ей человекоубийства, если это убийство для нее необходимо: признание легитимации убийства снова означает отказ от своих корней. Если бунтарь уклоняется от выбора, он делает выбор в пользу молчания и чужого порабощения. Если он в порыве отчаяния заявляет о своем выборе и против Бога, и против истории, он становится свидетелем чистой свободы, то есть пустоты. На историческом этапе, который мы переживаем, за неимением возможности утвердить высший разум, не ограниченный злом, возникает явная дилемма: молчание или убийство. В обоих случаях это сдача позиций.

То же относится к справедливости и свободе.

Оба требования являются принципиальными для бунтарского движения, и в революционном порыве мы обнаруживаем и то и другое. Тем не менее история революции показывает, что они почти всегда вступают в конфликт как взаимно неприемлемые. Абсолютная свобода — это право сильного на господство. Следовательно, она поддерживает конфликты, способствующие установлению несправедливости. Абсолютная справедливость достигается путем уничтожения любых противоречий: она разрушает свободу[107]. Революция, совершаемая во имя справедливости и с помощью свободы в конце концов сталкивает первую со второй. Поэтому в каждой революции после ликвидации прежде господствовавшей касты возникает этап, когда сама революция порождает мятежное движение, обозначающее ее границы и свидетельствующее о вероятности ее поражения. Вначале революция ставит своей целью удовлетворить породивший ее мятежный дух, затем она ради самоутверждения вынуждена

[107] notes: 107

В своих «Беседах о правильном употреблении свободы» Жан Гренье приводит доказательство, суть которого вкратце сводится к следующему: абсолютная свобода является разрушением всякой ценности; абсолютная ценность уничтожает всякую свободу. То же говорит Палант: «Если существует единственная универсальная истина, в свободе нет никакого смысла».

его же отрицать. Судя по всему, между бунтарским движением и достижениями революции существует неразрешимое противоречие.

Но эти антиномии существуют только в абсолюте. Они подразумевают мир и мышление без рефлексии. Действительно, невозможно примирить между собой Бога, полностью отделенного от истории, и историю, очищенную от всякой трансцендентности. Их реальными представителями на земле являются йоги и комиссары. Но различие между этими двумя типами людей, вопреки общепринятому мнению, не сводится к различию между ненужной чистотой и эффективностью. Просто первый выбирает неэффективность воздержания, а второй — неэффективность разрушения. Поскольку оба отвергают посредническую ценность, которую, напротив, открывает бунт, они, будучи равно удалены от реальности, предлагают нам всего лишь два вида бессилия — бессилие добра и бессилие зла.

Если неприятие истории равнозначно отрицанию реальности, то отношение к истории как к некоему самодостаточному целому приводит к такому же удалению от реальности. Революция XX века верила, что избежит нигилизма и останется верной подлинному бунту, если заменит Бога

историей. На самом деле она укрепила нигилизм и предала бунт. История сама по себе не создает никакой ценности. Поэтому приходится жить, сообразуясь с непосредственной эффективностью, то есть молчать или лгать. Обязательными правилами становятся систематическое насилие или принуждение к молчанию, расчет или ложь. Поэтому чисто историческая философия нигилистична: она принимает тотальное зло истории и тем самым противопоставляет себя бунту. Она может сколько угодно настаивать на абсолютной рациональности истории, но этот аргумент обретет вес и смысл только тогда, когда история завершится. Пока этого не произошло, надо действовать, и действовать без всяких моральных правил, — только так можно прийти к созданию последнего, окончательного правила. Цинизм как политическая позиция логичен только с точки зрения абсолютистской мысли, то есть абсолютного нигилизма, с одной стороны, и абсолютного рационализма — с другой[108]. Что касается последствий, то между ними вообще

[108] notes: 108

Повторим еще раз, что абсолютный рационализм не является рационализмом. Различие между тем и другим то же, что и между цинизмом и реализмом. Первый выталкивает второй за границы, придающие ему смысл и легитимность. Он более жесток, но в конечном итоге менее эффективен. Это насилие перед лицом силы.

нет различий. Стоит с ними согласиться, и земля превратится в пустыню.

На самом деле чисто исторический абсолют не поддается осмыслению. Например, основная идея Ясперса заключается в том, что человеку невозможно осознать тотальность, поскольку он находится внутри этой тотальности. История как нечто цельное могла бы существовать только в глазах наблюдателя, стороннего по отношению к этой истории и к миру. По большому счету история существует только для Бога. Поэтому невозможно действовать, согласуясь с планами, охватывающими тотальность всеобщей истории. Любое историческое деяние есть лишь более или менее разумная или более или менее обоснованная авантюра. Оно прежде всего представляет собой риск и в этом качестве не может оправдать никаких чрезвычайных мер, никакой безупречной и абсолютной позиции.

Если бы, напротив, бунт мог основать философию, это была бы философия крайностей, рассчитанного незнания и риска. Тот, кто не может знать всего, не может все убить. Бунтарь, далекий от стремления превратить историю в абсолют, отвергает ее и оспаривает во имя идеи о своей собственной природе. Он отвергает свое

положение, тогда как его положение по большей части является историческим. В истории проявляются несправедливость, непостоянство и смерть. Отрекаясь от них, мы отрекаемся от самой истории. Разумеется, бунтарь не отрицает близкую ему историю и пытается в ней самоутвердиться. Но он находится перед ней, как художник перед реальностью, он отвергает ее, но не освобождается от нее. Он ни на секунду не превращает ее в абсолют. Если в силу вещей он хочет участвовать в преступлении истории, он не может ее принять. Рациональное преступление не просто недопустимо на уровне бунта, оно означает смерть бунта. Чтобы это стало еще более очевидным, рациональное преступление в первую очередь проявляется на бунтарях, которые, восставая, оспаривают обожествляемую историю.

Мистификация, свойственная так называемому революционному духу, сегодня настойчиво повторяет буржуазную мистификацию. Обещая абсолютную справедливость, она внедряет постоянную несправедливость, бесконечное притеснение и бесправие. Бунт стремится только к относительному и обещает лишь некоторые права, основанные на относительной справед-

ливости. Он выступает за признание границы, в рамках которой формируется человеческая общность. Его вселенная — это вселенная относительная. Вместо того чтобы вслед за Гегелем и Марксом твердить о необходимости, он просто повторяет, что все возможно и что возможное до известного предела тоже требует жертв. Между Богом и историей, между йогом и комиссаром он прокладывает тернистый путь живых противоречий, которые можно преодолеть. Рассмотрим в качестве примера две антиномии.

Революционное действие, стремящееся не отрываться от своей сути, должно проявляться в активном приятии относительного. Оно должно хранить верность человеческому состоянию и сочетать принципиальность в выборе средств с приблизительностью в определении конечных целей; чтобы это приближение находило все более ясное выражение, ему необходима свобода слова. Таким образом оно будет поддерживать общее бытие, которое и служит оправданием восстания. В частности, сохранится право на постоянную возможность самовыражения. Этим определяется поведение по отношению к справедливости и свободе. В обществе не бывает справедливости без естественного или граждан-

ского права, лежащего в ее основании. Но и права не существует без возможности выразить это право. Если есть непосредственная возможность выражения права, то возникает вероятность того, что рано или поздно в мире установится справедливость, основанная на этом праве. Чтобы завоевать бытие, необходимо отталкиваться от той малой части бытия, которую мы открываем в себе, а не отрицать эту малую часть. Если же замалчивать право, пока не установится справедливость, то оно умолкнет навсегда, потому что некому будет сказать, что справедливость воцарилась навечно. Поэтому справедливость снова попадает в руки тех, кто наделен свободой слова, то есть власть имущих. На протяжении веков справедливость и бытие, распределяемые власть имущими, назывались произволом. Убийство свободы ради воцарения справедливости равнозначно реабилитации понятия благодати, только без божественного вмешательства, и восстановлению, в силу мощной реакции, мистической основы в самых низких ее проявлениях. Даже когда справедливость не достигнута, свобода сохраняет возможность протеста и спасает коммуникацию. Справедливость в молчащем мире, немая и рабская справедливость, разру-

шает товарищество и в конце концов перестает быть справедливостью. Революция XX века произвольно, в запредельных завоевательных целях разделила два неразделимых понятия. Абсолютная свобода есть издевательство над справедливостью. Абсолютная справедливость отрицает свободу. Чтобы не оказаться выхолощенными, оба эти понятия должны находить ограничение одно в другом. Ни один человек не считает свое положение свободным, если оно несправедливо, и справедливым, если оно несвободно. Свобода невозможна без права ясно и четко высказываться о справедливости и несправедливости и требовать цельного бытия во имя той частицы бытия, которая отказывается умирать. Наконец, существует особый род справедливости, заключающейся в восстановлении свободы — единственной нетленной ценности истории. По-настоящему люди умирали только за свободу, не веря в свою окончательную смерть.

Та же аргументация применима и к насилию. Абсолютное ненасилие служит отрицательной основой рабства с его жестокостями; систематическое насилие положительно разрушает живое сообщество людей и бытие в этом сообществе. Чтобы не быть выхолощенными, оба

эти понятия должны быть ограничены. В истории, рассматриваемой как абсолют, насилие узаконено; в качестве относительного риска оно является разрывом коммуникации. Для бунтаря оно должно сохранять временный характер и, если уж его не избежать, всегда быть связанным с личной ответственностью и непосредственным риском. Узаконенное насилие вписывается в установленный порядок; в каком-то смысле оно удобно. Объясняемое вождизмом или историзмом, вне зависимости от того, на каком порядке оно базируется, насилие всегда властвует над вселенной вещей, а не людей. Точно так же как бунтарь рассматривает убийство как предел, которого он, убивая, достигает своей смертью, так и насилие может быть лишь крайним пределом, противостоящим другому насилию, например в случае восстания. Если избыток несправедливости делает восстание невозможным, то бунтарь отказывается от насилия, поставленного на службу какой-либо доктрине или государственному интересу. Например, любой исторический кризис завершается созданием институтов. Если мы не можем влиять на сам кризис, который является чистым риском, мы можем влиять на институты, потому что мы способны их определять и

выбирать те из них, ради которых боремся, и направлять свою борьбу на их создание. Подлинно бунтарское действие вступает в вооруженную борьбу ради институтов, ограничивающих насилие, а не ради институтов, его узаконивающих. Умирать во имя революции стоит только в том случае, если она ведет к немедленной отмене смертной казни; сидеть ради революции в тюрьме стоит, только если она заранее нацелена на отмену пожизненных сроков. Если мятежное насилие действует в направлении этих институтов и как можно чаще заявляет об этом, то это единственный способ, позволяющий ему оставаться действительно временным. Если цель носит абсолютный характер, иначе говоря, с исторической точки зрения считается определенной, то это может привести к принесению в жертву других. В противном случае пожертвовать можно только собой, поставив в борьбе за общее достоинство на кон собственную жизнь. Оправдывает ли цель средства? Возможно. Но что может оправдать цель? На этот вопрос, оставленный без ответа философией историзма, ответ дает бунт: средства.

Что подобная позиция означает в политике? И, прежде всего, насколько она продуктивна? Здесь нет никаких сомнений: сегодня только она и

продуктивна. Существует два типа продуктивности: продуктивность тайфуна и продуктивность жизненной силы. Исторический абсолютизм не продуктивен — он эффективен; он захватывает и сохраняет власть. Лишенный власти, он мгновенно разрушает единственную созидательную реальность. Принципиально ограниченное действие, исходящее из бунта, поддерживает эту реальность и лишь старается ее расширить. Не факт, что это действие не может одержать победу. Факт, что оно сопряжено с риском погибнуть, но не победить. Но либо революция идет на этот риск, либо признает, что она не более чем инициатива новых хозяев, достойная того же презрения. Революция, отделенная от чести, предает свои корни, принадлежащие царству чести. В любом случае ее выбор ограничивается материальной эффективностью, то есть небытием, либо риском, то есть созиданием. Прежние революционеры торопились действовать и были полны оптимизма. Но сегодня революционный дух богаче сознанием и проницательностью: за ним сто пятьдесят лет опыта, над которым следует размышлять. Кроме того, революция утратила свой праздничный престиж. Она и только она стала грандиозным расчетом, охватывающим всю все-

ленную. Она знает, даже не всегда признаваясь в этом, что она будет мировой — или не будет никакой. Ее шансы уравновешиваются риском всеобщей войны, которая даже в случае победы принесет ей лишь Империю руин. Она может остаться верной своему нигилизму и воплотить конечный смысл истории в горах трупов. Тогда придется отказаться от всего, кроме беззвучной музыки, преобразующей земной ад. Но в Европе революционный дух может также в первый и последний раз осмыслить свои принципы, спросить себя, что заставляет его отклониться в сторону террора и войны и, помня о причинах бунта, вновь обрести верность себе.

Мера и чрезмерность

Революционное заблуждение объясняется прежде всего незнанием или систематическим пренебрежением к пределу, неразрывно связанному с человеческой природой, который как раз и проявляется в бунте. Нигилистические учения, отмахивающиеся от существования этого предела, так или иначе бросаются в равномерно ускоренное движение. Неспособные остановиться и остановить последствия своих действий, они

приходят к оправданию тотального разрушения или окончательной победы. Сейчас, завершая наше долгое исследование, посвященное бунту и нигилизму, мы знаем, что революция, не имеющая иных пределов, кроме исторической эффективности, означает беспредельное рабство. Чтобы избежать этой судьбы, революционный дух должен, если он хочет остаться живым, вновь припасть к источникам бунта и вдохновиться единственной идеей, верной своим корням, — идеей пределов. Если предел, открытый бунтом, преобразует все; если любая мысль и любое действие, выходящие за определенные рамки, приходят к отрицанию себя, то это значит, что действительно существует мера вещей и человеческая мера. В истории, как и в психологии, бунт — это сломанные часы, маятник которых раскачивается с бешеной амплитудой в поисках внутреннего ритма. Но сломанный маятник не делает полного круга — он совершает колебания относительно некой оси. Предполагая существование общей человеческой природы, бунт одновременно ставит вопрос о мере и пределе, лежащих в основе этой природы.

Сегодня всякое рассуждение, как нигилистическое, так и позитивное, порождает, порой

невольно, ту самую меру вещей, которая подтверждается самим молчанием. Квантовая физика, теория относительности, принцип неопределенности — все это в мире, чью реальность можно определить только на уровне средних величин, среди которых мы и живем[109]. Ведущие идеологии нашего мира родились во времена абсолютных физических величин. Наши реальные знания, напротив, позволяют мыслить только в категориях относительных величин. «Ум, — говорит Лазар Бикель, — это наша способность не доводить до конца свою мысль, иначе нельзя поверить в реальность». Только приблизительная мысль способна порождать реальность[110].

Даже чисто материальные силы способны в своем слепом движении порождать собственную меру. Вот почему бесполезно пытаться отказаться от техники. Век прялки миновал, а мечта о

[109] notes: 109

На эту тему см. великолепную и крайне любопытную статью Лазара Бикеля «La physique confirme la philosophie». *Empédocle*, № 7.

[110] notes: 110

Служа государственному терроризму и духу силы, современная наука предает свои корни и отрекается от собственных достижений. Ее наказанием и свидетельством ее упадка становится неспособность производить в абстрактном мире ничего, кроме средств разрушения и порабощения. Но, когда предел будет достигнут, возможно, наука пойдет на службу индивидуальному бунту. Эта чудовищная необходимость будет знаменовать собой решающий поворот.

ремесленной цивилизации оказалась тщетной. Машина служит злу лишь в тех условиях, в каких мы сегодня ею пользуемся. Надо согласиться с приносимой ею пользой, даже отвергая приносимый ею вред. Грузовик, который день и ночь ведет шофер, не унижает этого шофера, который знает грузовик в его целостности и использует разумно и с любовью. Подлинно бесчеловечная чрезмерность заключается в разделении труда. Но в силу чрезмерности однажды наступает день, когда машина, выполняющая сотню операций и управляемая одним человеком, производит целиком всего один предмет. И этот человек снова, хоть и на другом уровне обретает часть той творческой силы, которой он обладал, когда был ремесленником. Тогда анонимный производитель приближается к творцу. Разумеется, нет никакой гарантии, что промышленная чрезмерность устремится именно по этому пути. Но самим своим функционированием она показывает необходимость меры и побуждает к размышлениям о том, как эту меру организовать. Либо тем или иным образом появится ценность меры, либо современная чрезмерность обретет свой закон и успокоится во всеобщем разрушении.

Закон меры распространяется также на все антиномии бунтарской мысли. Ни реальное не является целиком рациональным, ни рациональное — полностью реальным. Мы видели это на примере сюрреализма: желание единства требует не только всеобщей рациональности. Оно еще отказывается приносить в жертву иррациональное. Нельзя сказать, что ничего не имеет смысла, поскольку тем самым подтверждается ценность, основанная на суждении; точно так же нельзя сказать, что все имеет смысл, потому что слово «всё» лишено для нас смысла. Иррациональное ограничивает рациональное, которое, в свою очередь, определяет его меру. Что-то, наконец, имеет смысл — то, что мы должны отвоевать у бессмыслицы. Точно так же нельзя сказать, что бытие возможно только на уровне сущности. Но как понять сущность, если не на уровне существования или становления? Однако нельзя сказать, что бытие равнозначно существованию. То, что находится в постоянном становлении, не может стать бытием, для которого необходимо начало. Бытие проявляется только в становлении, а становление без бытия — ничто. Мир не существует в неподвижности, но он и не сводится к движению. Он есть одновременно и движение,

и неподвижность. Историческая диалектика, например, не есть бесконечное стремление к неведомой ценности. Она вращается вокруг предела, который и есть первая ценность. Гераклит, открывший становление, тем не менее ставил этому вечному течению предел. Символом этого предела была Немезида — богиня меры, безжалостная к ее нарушителям. Мысль, желающая учесть современные противоречия бунта, должна обратиться за вдохновением к этой богине.

В свете этой срединной ценности проясняются также и моральные антиномии. Добродетель не может быть отделена от реальности, не превратившись в принцип зла. Точно так же она не может быть полностью отождествлена с реальностью, не отрицая самое себя. Наконец, моральная ценность, выдвигаемая бунтом, возвышается над жизнью и историей не более, чем история и жизнь возвышаются над ней. По правде говоря, она обретает реальность в истории, только когда человек отдает за нее свою жизнь или посвящает ей себя целиком. Якобинская и буржуазная культура предполагает, что ценности стоят выше истории, в результате чего ее формальная добродетель становится основой отвратительной мистификации. Революция XX века заявляет, что

ценности смешаны с движением истории, и эта историческая мотивация оправдывает новую мистификацию. Мера, противостоящая этому разладу, учит нас, что всякой морали необходима доля реальности — всякая чистая добродетель убийственна, — а всякому реализму необходима доля морали: цинизм так же убийственен. Вот почему гуманистическая болтовня не более основательна, чем циничная провокация. Наконец, человек не может быть ни полностью виновным — ведь это не он начал историю, ни полностью невиновным — ведь он ее продолжает. Те, кто заходит за этот предел, заявляя о своей тотальной невиновности, кончают ожесточением окончательной виновности. Напротив, бунт ставит нас на путь рассчитанной виновности. Его единственная, но непобедимая надежда в самых крайних случаях воплощается в невинных убийцах.

На этой грани формула «мы есть» парадоксальным образом становится определением нового индивидуализма. «Мы есть» перед лицом истории, и история должна считаться с тем, что «мы есть», а мы, в свою очередь, поскольку «мы есть», должны держаться в рамках истории. Я нуждаюсь в других, которые нуждаются во мне и в каждом

из нас. Каждое коллективное действие, каждое общество предполагает дисциплину, и вне этого закона индивидуум становится чужаком, придавленным тяжестью вражеского коллектива. Но общество и дисциплина, отрицающие формулу «мы есть», теряют направление. В каком-то смысле я один поддерживаю общее человеческое достоинство и не могу допустить, чтобы оно было унижено во мне или в других. Подобный индивидуализм не удовольствие, а вечная борьба, иногда на вершине гордого сострадания оборачивающаяся безмерной радостью.

Философия полдня

Чтобы понять, находит ли подобная позиция свое политическое выражение в современном мире, достаточно в качестве примера обратиться к тому, что традиционно называют революционным синдикализмом. Но разве этот синдикализм не доказал свою неэффективность? Ответ прост: именно он за какой-нибудь век чудесным образом улучшил положение рабочих: от 16-часового рабочего дня до 40-часовой рабочей недели. Идеологическая империя тянет социализм назад и разрушает большую часть завоеваний синдикализма. Дело в том, что синдикализм отталкивался

от конкретной профессиональной базы, которая в экономическом плане есть то же, что коммуна в плане политическом, — живая клетка, на основе которой строится организм, тогда как цезаристская революция исходит из доктрины и силком впихивает в нее реальность. Синдикализм, как и коммуна, есть отрицание бюрократического и абстрактного централизма в пользу реальной действительности[111]. Революция XX века, напротив, заявляет о том, что опирается на экономику, тогда как на самом деле она есть политика и идеология. Она уже в силу своей роли не может избежать террора и насилия над реальностью. Вопреки собственным претензиям, она исходит из абсолюта, чтобы преобразовать реальность. Напротив, бунт опирается на реальность и становится на путь вечной борьбы за истину. Первая осуществляется сверху вниз, второй — снизу вверх. Бунт далек от всякой романтики, напротив, он смыкается с подлинным реализмом. Если бунт жаждет революции, то во имя жизни, а не вопреки ей. Вот почему он в первую очередь опирается на самую конкретную реальность — профессию, деревню, — в которых сквозит бытие,

[111] notes: 111

Толен, в будущем коммунар, сказал: «Человеческие существа добиваются освобождения только внутри естественных групп».

это живое сердце вещей и людей. Политика ради себя самой должна подчиняться этим истинам. В конце концов, двигая вперед историю и облегчая страдания людей, она делает это, обходясь без террора, а то и без насилия, и в самых разных политических условиях[112].

Но этот пример говорит нам даже больше, чем кажется на первый взгляд. Ровно в тот день, когда цезаристская революция победила свободный дух синдикализма, революционная мысль потеряла внутри себя самой тот противовес, без которого она не может существовать без деградации. Этот противовес, этот дух, задающий меру жизни, — тот же, что оживляет долгую традицию так называемой солнечной мысли, в которой начиная с древних греков природа всегда уравновешивалась становлением. История Первого интернационала, в которой немецкий социализм беспрерывно борется против французского, испанского и итальянского анархизма, — это

[112] notes: 112

В качестве всего одного примера приведем современные скандинавские общества, которые показывают, насколько искусственны и убийственны чисто политические противопоставления. Самый плодотворный синдикализм сочетается в них с конституционной монархией и на практике осуществляет приближение к справедливому обществу. Первой заботой исторического рационального государства было, напротив, стремление навсегда раздавить профессиональную ячейку и коммунальную автономию.

история борьбы между немецкой идеологией и средиземноморским духом[113]. Коммуна против государства, конкретное общество против общества абсолютистского, разумная свобода против рациональной тирании, наконец, альтруистский индивидуализм против массовой колонизации — таковы антиномии, в очередной раз выражающие долгое столкновение между мерой и чрезмерностью, отметившее историю Запада начиная с античности. Глубинный конфликт этого века, возможно, кроется не столько в противостоянии немецких идеологий истории с христианской политикой, которые в некотором отношении родственны друг другу, сколько в схватке немецкой мечты со средиземноморской традицией; жестокостей вечного юношества со зрелой силой; тоской, усиленной книжным знанием, с мужеством, закаленным и прояснённым течением жизни; наконец, истории с природой. Но немецкая идеология в этом отношении носит наследственный характер. Она есть результат двадцати веков напрасной борьбы

[113] notes: 113

См.: Письмо Маркса Энгельсу (от 20 июля 1870 г.), в котором он желает победы Пруссии над Францией: «Его [немецкого рабочего класса] перевес над французским был в то же время перевесом нашей теории над теорией Прудона».

против природы во имя сначала исторического Бога, а затем обожествленной истории. Христианство, очевидно, смогло обрести кафоличность, только ассимилировав по мере возможного идеи греческой философии. Но, растратив свое средиземноморское наследство, Церковь сместила акцент с природы на историю, позволила готике восторжествовать над романом и, разрушая предел в самой себе, все больше стала требовать временной власти и исторической динамики. Если природа перестает быть объектом созерцания и восхищения, в дальнейшем она может быть лишь материалом для действий, направленных на ее преобразование. В нынешние времена торжествуют именно эти тенденции, а не понятия посредничества, которые могли бы составить истинную силу христианства, но в силу обратной логики действуют против него. Бог и правда изгнан из исторической вселенной, а немецкая идеология зарождается там, где действие перестает быть совершенствованием, но превращается в чистое завоевание, то есть в тиранию.

Но, несмотря на все свои победы, исторический абсолютизм продолжает сталкиваться с непобедимым стремлением человеческой природы, секрет которой хранит Средиземноморье, всегда

считавшее ум родным братом безжалостному солнечному свету. Бунтарская мысль, мысль Коммуны или революционного синдикализма, не переставала яростно противопоставлять его и буржуазному нигилизму, и нигилизму цезаристского социализма. Авторитарная мысль в результате трех войн и физического уничтожения бунтарской элиты поглотила эту освободительную традицию. Но ее жалкая победа носит временный характер, и битва не кончена. Европа всегда существовала в этой борьбе между полднем и полночью. Она деградирует, только дезертируя с этой войны и заменяя день ночью. Сегодня мы видим самые спелые плоды этого нарушенного равновесия. Лишенные своей посреднической роли, оторванные от природной красоты, мы снова погружаемся в мир Ветхого Завета, зажатые между жестокими фараонами и неумолимыми небесами.

Тогда посреди всеобщего ничтожества возрождается старый порыв, и природа снова восстает против истории. Разумеется, речь идет не о том, чтобы что-либо подвергнуть презрению или превозносить одну цивилизацию над другой, а о том, чтобы просто сказать, что существует философия, без которой современный мир не сможет долго

обходиться. Разумеется, в русском народе есть то, что способно придать Европе жертвенную силу, а в Америке — то, что может сообщить ей необходимую созидательную мощь. Но юность мира по-прежнему существует на тех же берегах. Брошенные в истерзанную Европу, где, лишенная красоты и дружбы, умирает самая гордая из рас, мы, средиземноморцы, по-прежнему живы тем же светом. Во тьме европейской ночи солнечная мысль двуликой цивилизации ждет своего восхода. Но она уже освещает пути к истинному господству.

Истинное господство состоит в том, чтобы отдать должное предрассудкам времени, прежде всего самому глубокому и самому горькому из них, требующему, чтобы человек, освобожденный от излишеств, был сведен к убогому послушанию. Чрезмерность может быть святой, это правда, но лишь ценой ницшеанского безумия. Что такое душевное опьянение, выставляющее себя напоказ на сцене нашей культуры, — все то же головокружение чрезмерности, все то же помешательство на невозможном, оставляющее след ожога на каждом, кто хоть раз с ним соприкоснулся? Разве Прометей хоть когда-нибудь принимал облик илота или прокурора? Нет,

наша цивилизация выживает в самодовольстве трусливых и злобных душ, в мелком тщеславии постаревших подростков. Вместе с Богом умер и Люцифер, и из его пепла возродился мелкий бес, не понимающий даже, что за авантюры он затевает. В 1950 году чрезмерность всегда означает благоустроенность, а иногда и карьеру. Напротив, мера — это вечное напряжение. Наверное, она улыбается, и наши труженики апокалипсиса, сотрясаясь в конвульсиях, ее за это презирают. Но эта улыбка сияет на вершине бесконечного усилия — в ней заключена дополнительная мощь. С какой стати мы должны принимать эти отчаянные судороги измельчавших европейцев, являющих нам лик скудости и разучившихся улыбаться, за высший образец?

Подлинное безумие чрезмерности умирает или создает собственную меру. Оно не заставляет умирать других, чтобы обеспечить себе алиби. На высшем пике страдания оно находит свой предел, на котором, как Каляев, в случае необходимости приносит себя в жертву. Мера — не противоположность бунта. Именно бунт и есть мера, именно бунт организует, защищает и воссоздает меру вопреки истории и ее хаосу. Самая природа этой ценности служит гарантией

того, что она не может быть ничем иным, кроме надрыва. Мера, рожденная из бунта, может жить только бунтом. Она есть постоянный конфликт, вечно возбуждаемый и вечно укрощаемый умом. Она не торжествует ни над невозможным, ни над бездной. Она ищет равновесия с ними. Что бы мы ни предпринимали, чрезмерности всегда найдется место в человеческом сердце — там, где таится одиночество. Каждый из нас несет в себе свою каторгу, свои преступления и свои опустошительные разрушения. Но наша задача не в том, чтобы натравить их на мир, а в том, чтобы бороться с ними в себе и в других. В основе этой борьбы и сегодня по-прежнему лежит бунт как извечная воля не поддаваться давлению, о которой говорил Баррес. Прародитель всех форм, источник подлинной жизни, бунт позволяет нам устоять на ногах в бесформенном и яростном историческом потоке.

По ту сторону нигилизма

Итак, для человека остается возможность действовать и мыслить на среднем уровне, который ему и присущ. Любое более амбициозное предприятие оборачивается противоречиями.

Абсолют не достигается и тем более не создается через историю. Политика — не религия, иначе она превращается в инквизицию. Каким образом общество могло бы определить абсолют? Возможно, каждый ищет этот абсолют для всех. Но на обществе и политике лежит ответственность только за управление общими делами, чтобы у каждого был досуг и свобода заниматься этим общим поиском. Тогда история больше не сможет быть объектом культового поклонения. Она не более чем повод, из которого бдительность бунта позволяет извлекать пользу.

«Одержимость жатвой и равнодушие к истории — вот две оконечности моего лука», — прекрасно сказал Рене Шар. Если историческое время сотворено не из времени жатвы, то история есть не более чем зыбкая и жестокая тень, в которой человеку нет места. Тот, кто отдается такой истории, отдается пустоте и, в свою очередь, превращается в ничто. Тот же, кто отдается времени жизни, дому, который защищает, и достоинству живых, тем самым отдает себя земле и собирает урожай, питающий его и дарующий новые семена. В конечном итоге историю двигают те, кто умеет в нужный момент восстать против нее. Это подразумевает бесконечное напряжение и судо-

рожную безмятежность, о которой говорит тот же поэт. В сердцевине этого надрыва и есть настоящая жизнь. Она и есть этот надрыв, тот дух, что парит над вулканами света, безумие равновесия, изматывающая потребность меры. На рубежах полного опасностей пути, пройденного бунтом, мы слышим не оптимистические заклинания, с которыми нам, достигшим предела страданий, нечего делать, а умные и мужественные слова, здесь на морском берегу означающие одну и ту же добродетель.

Сегодня нет мудрости, способной претендовать на большее. Бунт постоянно бьется лбом о зло и снова и снова устремляется вперед — ничего другого ему не остается. Человек может обуздать в себе все, что может быть обуздано. Он обязан исправить в творении все, что может быть исправлено. Но даже после этого, даже в совершенном обществе дети будут продолжать умирать вопреки всякой справедливости. Даже напрягая все силы, человек способен лишь попытаться арифметически уменьшить существующую в мире боль. Но несправедливость и страдание никуда не денутся и даже в сокращенном виде не перестанут вызывать возмущение. «Отчего?» Дмитрия Карамазова будет звучать

по-прежнему, а искусство и бунт умрут только с последним человеком.

Зло, конечно, существует, и люди в своем неистовом стремлении к единству его накапливают. Но в основе этого беспорядочного движения лежит иное зло. Перед этим злом, перед смертью, человек в глубине души взывает к справедливости. Историческое христианство ответило на этот протест против зла только обещанием царства небесного и вечной жизни потом, требующим веры. Но страдание подтачивает надежду и веру, обрекая на одиночество и оставаясь необъяснимым. Толпы тружеников, утомленных страданием и смертью, суть толпы без Бога. Отныне наше место рядом с ними и подальше от старых и новых доктринеров. Историческое христианство переносит исцеление мира от зла и убийства за пределы истории, тогда как страдаем мы от них в истории. Современный материализм полагает, что нашел ответы на все вопросы. Но, прислуживая истории, он расширяет область исторического убийства, в то же время оставляя его без объяснения, если не считать ссылок на будущее, для чего также нужна вера. В обоих случаях требуется ждать, а пока невинные продолжают умирать. За двадцать веков сумма зла в

мире не уменьшилась. Второе Пришествие — ни божественное, ни революционное — не состоялось. Несправедливость все так же неотделима от страдания, пусть даже заслуженного в глазах людей. Все так же вопиет долгое молчание Прометея перед лицом одолевающих его сил. Но за это время Прометей увидел, что и люди с издевкой обернулись против него. Ему, стиснутому между человеческим злом и судьбой, террором и произволом, не остается ничего, кроме бунтарской силы, чтобы спасти от убийства то, что еще может быть спасено, и не уступить гордыне святотатства.

Отсюда понятно, что бунт не может обойтись без странной любви. Те, кто не находит покоя ни в Боге, ни в истории, обрекают себя на жизнь ради тех, кто, как и они, не может жить, — ради униженных. Самое чистое побуждение бунта находит свое высшее выражение в душераздирающем крике Карамазова: «Если не будут спасены все, зачем спасение одному?» Так сегодня приговоренные к смерти католики в испанских застенках отказываются от последнего причастия потому, что верные режиму священники сделали его в некоторых тюрьмах обязательным. Единственные свидетели распятой невинности,

они отказываются от спасения, если оно должно быть оплачено несправедливостью и угнетением. Это безумное благородство есть благородство бунта, мгновенно отдающее силу своей любви и навсегда отвергающее несправедливость. Его честь заключена в отказе от расчета, в стремлении все отдать настоящей жизни и своим живым братьям. Оно приносит дар людям будущего. Подлинная щедрость по отношению к будущему заключается в том, чтобы все отдать в настоящем.

Тем самым бунт доказывает, что он есть движение самой жизни и что его нельзя отрицать, не отвергая самой жизни. Его призыв каждый раз заставляет подняться какое-то живое существо. Следовательно, бунт есть любовь и плодородие, или это не бунт. Революция без чести, революция расчета, отдающая предпочтение абстрактному человеку перед человеком из плоти и крови, отрицает бытие столько раз, сколько ей это необходимо, и ставит на место любви озлобленность. Как только бунт, забыв о своих благородных корнях, поддается этому заражению, он начинает отрицать жизнь, стремится к разрушению и поднимает когорту жалких хихикающих мятежников, будущих рабов, которые сегодня на всех

рынках Европы предлагают себя в услужение кому угодно. В этот момент он перестает быть бунтом и революцией и превращается в злобу и тиранию. И вот, когда революция во имя власти и истории становится смертоносной и не ведающей меры механикой, поднимается новый священный бунт во имя меры и жизни. Мы сейчас подошли к этому краю. На рубеже сумеречного мира неизбежно появление света — мы уже предугадываем его и просто должны бороться, чтобы он зажегся. По ту сторону нигилизма, посреди руин, мы все готовим возрождение. Только мало кто об этом знает.

Но уже сейчас бунт, не претендуя на решение всех задач, может, по крайней мере, оказывать сопротивление. И уже сейчас на само движение истории струится полдень. Вокруг этого всепожирающего костра какое-то время мельтешат тени воинов, но затем они исчезают и приходят слепцы, которые, трогая свои веки, кричат, что это и есть история. Люди Европы, отданные во власть теням, отвернулись от незыблемого источника света. Они забывают о настоящем ради будущего, о живых жертвах ради призрачной власти, о нищете предместий ради сияющего града, о каждодневной несправедливости ради истинной

земли обетованной. Они не верят в свободу личности и мечтают о странной свободе вида; они отвергают смерть в одиночестве и зовут бессмертием величайшую коллективную агонию. Они больше не верят в то, что есть, в мир и в живого человека; секрет Европы в том, что она больше не любит жизнь. Ее слепцы, как дети, поверили, что любовь к одному дню жизни может оправдать века угнетения. Вот почему они захотели стереть радость с доски мира и отложить ее на потом. Нетерпеливое желание достичь предела, отказ от двойственности собственного бытия и отчаяние от осознания себя человеком ввергли их в бесчеловечную чрезмерность. Отрицая подлинное величие жизни, они были вынуждены сделать ставку на свое совершенство. За неимением лучшего, они причислили себя к богам, и тут начались их несчастья: боги оказались с выколотыми глазами. Каляев и его братья со всего мира, напротив, отказываются от божественности, поскольку отвергают безграничную власть убивать. Они подают нам пример, выбирая единственное правило, сегодня сохраняющее свою самобытность: учиться жить и умирать и, чтобы оставаться человеком, отказаться становиться богом.

Таким образом, бунтарь, исповедуя философию полдня, отвергает божественность и делит с другими людьми общую борьбу и общую судьбу. Мы выбираем Итаку, землю верности, философию простоты и отваги, сознательную деятельность и благородство знающего человека. В царстве света нашей первой и последней любовью остается этот мир. Под одним с нами небом дышат наши братья, и справедливость жива. Тогда рождается странная радость, помогающая жить и умирать, — мы отказываемся переносить ее на потом. На страдающей земле она непобедимый плевел, горькая пища, яростный морской ветер, старая и новая заря. Вместе с ней мы пойдем в бой и переделаем душу нашего времени и той Европы, которая больше ничего не отвергнет: ни призрак Ницше, к которому Европа на протяжении двенадцати лет после его краха обращалась как к озаренному молнией образу высшего сознания и нигилизма; ни пророка суровой справедливости, который по ошибке покоится на Хайгейтском кладбище среди неверующих; ни обожествленную мумию человека действия, лежащую в стеклянном гробу, — ничего из того, чем ум и энергия Европы без устали снабжали гордыню ничтожной эпохи. Все может возро-

диться после жертв 1905 года, но при условии нашего понимания, что эти жертвы дополняют друг друга и что все они останавливаются на границе, обозначенной солнцем. Каждый говорит каждому, что он не Бог, и здесь заканчивается романтизм. В час, когда каждый из нас должен натянуть тетиву своего лука, пересмотреть свои доказательства и завоевать в истории и вопреки истории то, что и так нам принадлежит — скудный урожай ее полей и краткую любовь этой земли, — в час, когда наконец рождается человек, мы должны оставить эпоху с ее подростковыми проявлениями жестокости. Лук изгибается, дерево стонет. В точке высшего напряжения сорвется в полет свободы твердая прямая стрела.

Падение

Надеюсь, вы не сочтете навязчивостью, если я предложу вам свою помощь? Боюсь, иначе вы не столкуетесь с почтенным гориллой, ведающим судьбами сего заведения. Ведь он говорит только по-голландски. И если вы не разрешите мне выступить в защиту ваших интересов, он не догадается, что вам угодно выпить джину. Ну вот, кажется, он понял меня: эти кивки головой должны означать, что мои аргументы убедили его. Видите, повернулся и пошел за бутылкой, даже поспешает с разумной степенностью. Вам повезло: он не зарычал. Если он отвергает заказ, то ему достаточно зарычать — никто не посмеет настаивать. Считаться только со своим настроением — это привилегия крупных зверей. Разрешите откланяться, очень рад был оказать вам услугу. Благодарю вас, благодарю. С удовольствием бы принял приглашение, но не хочу надоедать. Вы чересчур добры. Так я поставлю свой стаканчик рядом с вашим?

Вы правы, его безмолвие ошеломляет. Оно подобно молчанию, царящему в девственных

лесах, — молчанию грозному, как пушка, заряженная до самого жерла. Порой я удивляюсь, что наш молчаливый друг так упорно пренебрегает языками цивилизованных стран. Ведь его ремесло состоит в том, чтобы принимать моряков всех национальностей в этом амстердамском баре, который он, неизвестно почему, назвал «Мехико-Сити». При таких обязанностях его невежество весьма неудобно, как вы полагаете? Вообразите себе, что первобытный человек попал в Вавилонскую башню и вынужден жить там. Ведь он страдал бы: кругом все чужие. Но этот кабатчик нисколько не чувствует себя изгнанником, идет своей дорожкой, его ничем не проймешь. Одной из немногих фраз, которая сорвалась при мне с его уст, он провозгласил следующее положение: «Хочешь — соглашайся, а не то к черту убирайся». С кем следовало соглашаться, кому к черту убираться? Несомненно, наш друг имел в виду самого себя. Признаюсь, меня привлекают столь цельные натуры. Когда по обязанностям своей профессии или по призванию много размышляешь о сущности человеческой, случается испытывать тоску по приматам. У них по крайней мере нет задних мыслей.

У нашего хозяина, по правде сказать, есть кое-

какие задние мысли, но очень смутные.

Поскольку он не понимает того, что говорится вокруг, у него в характере развилась недоверчивость. Поэтому он и держится с угрюмой важностью, словно возымел наконец подозрение, что не все идет гладко в человеческом обществе. При такой его настроенности довольно трудно заводить с ним разговоры, не касающиеся его ремесла. А вот посмотрите на заднюю стену — видите, прямо над головой хозяина на обоях менее выцветший прямоугольник, как будто там прежде висела картина. И действительно, там была картина, и притом замечательная, настоящий шедевр. Так вот я присутствовал при том, как наш кабатчик приобрел ее и на моих же глазах продал. В обоих случаях он проявил одинаковую недоверчивость: несколько недель обдумывал сделку. В этом отношении жизнь в человеческом обществе, надо признать, несколько испортила первоначальную простоту его натуры.

Заметьте, что я не осуждаю этого человека. Я готов уважать вполне обоснованную его недоверчивость и охотно разделял бы ее, если б этому не мешала моя природная общительность. Увы! Я болтун и очень легко схожусь с людьми. Хоть я умею соблюдать должное расстояние, для меня

хороши все поводы к знакомству. Когда я жил во Франции, то стоило мне встретить умного человека, я тотчас же начинал искать его общества. Я вижу, вас удивило это старомодное выражение. Признаюсь, у меня слабость к таким оборотам речи и вообще ко всему возвышенному. Слабость! Сам себя корю за нее, поверьте! Я же прекрасно знаю, что склонность человека к тонкому белью вовсе не говорит о его привычке мыть ноги. Право, изящный стиль подобен шелковому полотну, зачастую прикрывающему экзему. В утешение себе говорю, что и косноязычные не чище нашего брата, краснобаев. О, конечно, я не откажусь от второго стаканчика.

Вы долго предполагаете пробыть в Амстердаме? Красивый город, не правда ли? Волшебный! Вот прилагательное, которого я не слышал уже много лет — с тех пор как расстался с Парижем. Но у сердца крепкая память, и я не позабыл нашу прекрасную столицу, не позабыл набережных Сены. Париж — сущая фантасмагория, великолепные декорации, в которых движутся четыре миллиона марионеток. Даже около пяти миллионов, по последней переписи. И ведь они плодятся и множатся. Что ж тут удивительного? Мне всегда казалось, что у наших сограждан две ярые

страсти: мыслить и блудить. Напропалую, как говорится. Не будем, однако, осуждать их за это — не одни они распутничают, вся Европа блудит. Иной раз я думаю, а что скажет о нас будущий историк? Для характеристики современного человека ему будет достаточно одной фразы: «Он блудил и читал газеты». Этим кратким определением тема, смею сказать, будет исчерпана.

Голландцы? О нет, они куда менее современны! Но они еще успеют, они наверстают. Посмотрите-ка на них! Чем они занимаются? Все эти господа живут на заработки своих дам. Впрочем, все они, и мужчины и женщины, весьма буржуазны и приходят сюда обычно из почтения к легендам, сложившимся о них, или по глупости. От избытка или от недостатка воображения. Время от времени сутенеры тут устраивают поножовщину или перестрелку, но не думайте, что они кровожадны. Роль этого требует, вот и все; они умирают от страха, выпуская последние пули. И все же я считаю их людьми более нравственными, чем те, кто убивает, так сказать, по-семейному, берет измором. Замечали вы, что современное общество прекрасно организовано для такого рода уничтожения? Вы, разумеется, слышали о тех крошечных рыбках, которые водятся в реках

Бразилии: они тысячами нападают на неосторожного пловца, в несколько секунд быстрыми жадными глотками пожирают его, остается лишь безукоризненно обглоданный, чистенький скелет. «Желаете вы иметь личную жизнь? Как все люди?» Вы, разумеется, говорите: «Да». Как же это сказать: «Нет»? Согласны? Сейчас вас и обглодают: вот вам профессия, семья, организованный досуг. И острые зубки вонзаются в ваше тело до самых костей. Но я несправедлив. Не о хищниках надо говорить. В конце концов у нас самих так устроено: кто кого обглодает.

Ну вот, принесли нам наконец джин. За ваше здоровье! Смотрите-ка, горилла разомкнул уста и назвал меня доктором. В этой стране все доктора или профессора. Здесь любят почитать людей — по доброте или из скромности. У голландцев по крайней мере злопыхательство не стало национальной чертой. А я, кстати сказать, вовсе не доктор. Если угодно знать, я до того, как приехал сюда, был адвокатом. Теперь я судья на покаянии.

Позвольте представиться: Жан Батист Кламанс, к вашим услугам. Очень рад знакомству. Вы, вероятно, посвятили себя коммерции? Более или менее? Превосходный ответ! И совершенно пра-

вильный. У нас всегда и все «более или менее». Ну вот, разрешите мне разыграть роль сыщика. Вы приблизительно моего возраста, у вас взгляд искушенного сорокалетнего человека, видавшего виды, вы более или менее элегантно одеты, как одеваются во Франции, и у вас гладкие руки. Итак, вы более или менее буржуа! Но буржуа утонченный. Заметить старомодный оборот речи — это, несомненно, показывает, что вы человек образованный, ибо вы не только замечаете вычурность, но она и раздражает вас. Наконец, я, по-видимому, занимаю вас, а это, скажу без хвастовства, говорит о широте вашего кругозора. Итак, вы более или менее… Но это не важно. Профессии меня интересуют меньше, чем секты. Разрешите задать вам два вопроса, но ответьте на них в том случае, если не сочтете их нескромными. Были вы богаты? Более или менее? Прекрасно. Делились вы богатством с неимущими? Нет? Значит, вы из тех, кого я называю саддукеями. Вы не следовали заветам Священного писания, но, полагаю, от этого не очень много выиграли. Выиграли? Так вы, стало быть, знаете Священное писание? Право, вы меня интересуете.

Что касается меня… Ну что ж, судите сами.

Ростом, шириной плеч и лицом, о котором мне

часто говорили, будто оно свирепое, я больше похожу на игрока в регби, не правда ли? Но если судить по разговору, придется признать во мне некоторую изысканность. Пальто на мне жиденькое (должно быть, верблюд, с которого настригли шерсть для сукна, страдал паршой и совсем облысел), зато у меня холеные ногти. Я, как и вы, человек многоопытный, но все же доверяюсь вам без всяких предосторожностей, всецело полагаясь на ваше лицо. Словом, несмотря на хорошие манеры и культурную речь, я завсегдатай матросских баров в здешнем порту. Больше не допытывайтесь. У меня двойная профессия, вот и все, так же как и моя натура. Я ведь уже сказал вам, что я судья на покаянии. В моей истории только одно является простым: у меня ничего нет. Да, я был богат и не делился с ближними. Что это доказывает? То, что я тоже был саддукеем… Ого! Слышите, как воют сирены в порту? Будет нынче туманище на Зёйдерзе!

Вы уже уходите? Это я, наверно, задержал вас. Извините, пожалуйста. Нет уж, разрешите, платить буду я. Вы мой гость в этом «Мехико-Сити», и я очень рад, что могу вас принять. Конечно, завтра я буду опять тут, так же как всегда по вечерам, и с благодарностью приму ваше приглашение.

Как вам найти отсюда дорогу?.. Ну что ж, если вы не считаете это неудобным, проще всего будет, если я провожу вас до порта. А оттуда, обогнув Еврейский квартал, вы без труда попадете на прекрасные проспекты, по которым бегут сейчас вагоны трамваев, нагруженные цветами и громыхающими оркестрами. Ваша гостиница на одном из этих проспектов, именуемом Дамрак. Пожалуйста, проходите первым, прошу вас. Я-то живу в Еврейском квартале, как он назывался до тех пор, пока господа гитлеровцы не расчистили его. Вот уж постарались! Семьдесят пять тысяч евреев отправили в концлагеря или сразу же убили. Подмели под метелку. Как не восхищаться таким усердием и терпеливой методичностью? Если у человека нет характера, он должен выработать в себе хотя бы методичность. Здесь она, бесспорно, сделала чудеса, и я живу в тех местах, где совершены величайшие в истории преступления. Быть может, это как раз и помогает мне понять гориллу и его недоверчивость. Я могу таким образом бороться со своей природной склонностью, неодолимо влекущей меня к людям. Теперь, когда я вижу новое лицо, кто-то во мне бьет тревогу: «Потише! Легче на поворотах! Опасно!» Даже когда у меня возникает очень сильная симпатия

к человеку, я держусь настороже.

А знаете вы, что на моей родине, в маленькой деревеньке, во время карательной экспедиции немецкий офицер очень вежливо предложил старухе матери самой выбрать, которого из двух ее сыновей расстрелять в качестве заложника. Выбрать! Представляете себе? Вот этого? Нет, вон того. И смотреть, как его уводят. Не будем углублять вопрос, но поверьте, сударь, все неожиданности возможны. Я знал человека, который сердцем отвергал недоверие. Он был пацифист, сторонник полной, неограниченной свободы, любил несокрушимой любовью все человечество и все зверье на земле. Избранная душа! Да это уж несомненно!.. И знаете, во время последних религиозных войн в Европе он удалился в деревню. На пороге своего дома он написал: «Откуда бы вы ни явились, входите. Добро пожаловать!» И кто же, по-вашему, отозвался на это радушное приглашение? Фашисты. Они вошли к миротворцу как к себе домой и выпустили ему кишки.

Ах, извините, мадам! Впрочем, она ничего не поняла. Как много кругом народу, хотя час поздний, дождь льет не переставая уже несколько дней! К счастью, существует джин, единственный проблеск света в этом мраке. Вы чувствуете, как

он зажигает в вас огонь, золотистый, с медным отливом? Люблю вечерами ходить по городу и чувствовать, как меня согревает джин. Я хожу целые ночи, мечтаю или без конца разговариваю сам с собой. Вот так же, как нынче вечером. Да-да. Боюсь, что я немножко ошеломил вас. Нет? Благодарю вас, вы очень любезны. Но знаете, душа переполнена, и лишь только я открываю рот — текут, текут слова. К тому же сама страна вдохновляет меня. Я люблю этот народ, толпы людей кишат здесь на тротуарах, стиснутые на малом пространстве между домами и водой, окруженные туманами, холодной землей и морем, над которым поднимается пар, как над стиральным баком. Люблю этот народ, у голландцев двойственная натура: они здесь и вместе с тем где-то далеко.

Ну да! Вот послушайте их тяжелые шаги по лоснящейся мостовой, посмотрите, как грузно они лавируют между своими лавками, где полно золотистых селедок и драгоценностей цвета палых листьев. Вы, конечно, думаете, что они тут нынче вечером? Вы ошибаетесь, как и все, принимая этих славных людей за племя синдиков и купцов, полагая, что они подсчитывают свои барыши и свои шансы на вечную жизнь, а лирическая

сторона их натуры проявляется лишь изредка, когда, накрывшись широкополыми шляпами, они берут урок анатомии. О, как вы ошибаетесь! Правда, они проходят около нас, и все же взгляните — где их головы? В красном или зеленом светящемся тумане, который разливают неоновые вывески, рекламирующие джин и мятный ликер. Голландия — это сон, сударь, золотой и дымный сон, более дымный днем, более золотой ночью, но и ночью и днем этот сон населен Лоэнгринами, такими вот, как эти молодые люди, что задумчиво едут на своих черных велосипедах с высокими рулями, похожих на траурных лебедей, которые непрестанно скользят по всей стране вокруг морей, вдоль каналов. А люди мечтают в неоновой дымке медного отлива, они кружат на одном месте, они молятся в золотистом фимиаме тумана — их уже нет с нами. Они унеслись в мечтах за тысячи километров — к Яве, к далекому острову. Они молятся гримасничающим богам Индонезии, которыми украшены все их витрины и которые витают в эту минуту над нами, а потом ухватятся, как тропические обезьяны, за вывески и за крыши, расположенные лесенками, и сразу напомнят этим тоскующим колонистам, что Голландия — это не только торговая Европа, но и

море, море, ведущее к Сипанго и к тем островам, где люди умирают безумными и счастливыми.

Да что ж это я разошелся и произношу защитительную речь. Извините! Привычка, сударь, призвание! Да и хочется мне, чтобы вы лучше поняли этот город и сущность вещей! Ведь мы у самой их сущности. Вы заметили, что концентрические каналы Амстердама походят на круги ада? Буржуазного ада, разумеется, населенного дурными снами. Когда приедешь сюда из других мест, то, по мере того как проходишь по этим кругам, жизнь, а значит, и ее преступления становятся более осязаемыми, более мрачными. Мы здесь в последнем кругу. В кругу тех… Ах, вы это знаете? Вот черт, все труднее становится определить, кто вы такой! Но, значит, вы понимаете, почему я говорю: средоточие мира находится именно здесь, хотя Голландия и расположена на краю материка. Человек с тонкой организацией понимает эту странность. Во всяком случае, для глотателей газет и блудников — это последняя граница континента. Они съезжаются со всех концов Европы и останавливаются вокруг внутреннего моря, на бесцветном песчаном берегу. Они слушают сирены и тщетно ищут в тумане силуэт корабля, а потом переходят по мостам

через каналы и под дождем возвращаются к себе. Закоченев, они заходят в «Мехико-Сити» и на всех языках требуют джина. Я жду их там.

Итак, до завтра, дорогой мой соотечественник. Нет-нет, вы теперь легко найдете дорогу. Я расстанусь с вами у моста — я, знаете ли, никогда не хожу ночью по мосту. Дал такой зарок. Ну, предположите, что кто-нибудь на ваших глазах бросится в воду.

Одно из двух: или вы кинетесь спасать несчастного, а в холодное время года это грозит вам гибелью, или предоставите утопающего самому себе, и от его негромких всплесков, попыток выплыть вас будет мучить порой странная ломота. Ну, покойной ночи. Как, вы не знаете, кто эти дамы в витринах? Сама мечта, сударь, мечта! Путешествие в Индию по сходной цене. Эти красавицы насквозь пропахли экзотическими пряностями. Вы вхóдите, они задергивают занавески, и плавание начинается. Боги нисходят на обнаженные тела, по океану дрейфуют острова, безумные, увенчанные взлохмаченными на ветру космами высоких пальм. Попробуйте.

Что такое судья на покаянии? О, я вижу, вы заинтригованы. Я сказал это без всякой хитрости, поверьте, и могу объяснить. В известном смысле

это даже входит в мои обязанности. Но сначала мне нужно сообщить вам некоторые факты, они помогут вам лучше понять меня.

Несколько лет назад я был адвокатом в Париже, и, честное слово, довольно известным адвокатом. Разумеется, я вам не сказал своего настоящего имени. Я специализировался на «благородных делах», на защите вдов и сирот, как говорится. Не знаю, почему защищать их считается благородным — ведь есть весьма зловредные вдовы и свирепые сироты. Но достаточно было, чтобы от обвиняемого хоть чуточку повеяло запахом жертвы, как широкие рукава моей мантии начинали взлетать. Да еще как! Настоящая буря. Душа нараспашку. Право, можно было подумать, что сама богиня правосудия еженощно сходила на мое ложе. Я уверен, вас восхитил бы верный тон моих защитительных речей, искренность волнения, убедительность, теплота и сдержанное негодование. От природы я был наделен выигрышной внешностью, благородные позы давались мне без труда. Кроме того, меня поддерживали два искренних чувства. Чувство удовлетворенности оттого, что я борюсь за правое дело, и безотчетное презрение к судьям вообще. Впрочем, это презрение, в конце концов, не было уж таким без-

отчетным. Теперь я знаю, что для него имелись основания, но со стороны оно походило на некую страсть. Нельзя отрицать, что по крайней мере в настоящий момент с судьями у нас слабовато, не правда ли? Но я не мог понять, как это человек решается выполнять такие удивительные обязанности. Судьи, однако, примелькались мне, и я мирился с их существованием, как, скажем, с существованием кузнечиков. С тою лишь разницей, что нашествие стрекочущих прямокрылых никогда не приносило мне ни гроша, тогда как я зарабатывал себе на жизнь благодаря словопрениям с этими людьми, которых я презирал.

Итак, я пребывал в лагере справедливости, и этого было достаточно для моего душевного спокойствия. Чувство своей правоты, удовлетворенности победой над противником и уважение к самому себе — все это, дорогой мой, мощные пружины, помогающие выстоять в борьбе и даже идти вперед. А если лишить людей этих чувств, вы их превратите в бешеных собак. Сколько преступлений совершено просто потому, что виновник не мог перенести мысли, что он раскрыт. Я знал когда-то одного промышленника. Жена его была прелестная женщина, вызывавшая всеобщее восхищение, а он все-таки ей изменял да еще

буквально бесился из-за того, что был виноват перед ней и что никто решительно, даже он сам, не мог бы дать ему свидетельство о добродетели. Чем больше проявлялось совершенство его жены, тем сильнее он бесновался. В конце концов сознание своей вины стало для него невыносимым. И как вы думаете, что он сделал тогда? Перестал ей изменять? Нет. Он убил ее. Из-за этого у нас и завязались с ним отношения.

Мое положение было куда более завидным. Я не только не рисковал попасть в лагерь преступников (в частности, никак уж не мог убить свою жену, так как был холостяком), но я еще выступал в их защиту при том единственном условии, чтобы они были настоящими убийцами, как дикари бывают настоящими дикарями. Самая моя манера вести защиту приносила мне глубокое удовлетворение. Я был поистине безупречен в своей профессиональной деятельности. Я никогда не принимал взяток, это уж само собой разумеется, да никогда и не унижался до каких-нибудь махинаций. И что еще реже бывает, я никогда не соглашался льстить какому-нибудь журналисту, чтобы он благосклонно отзывался обо мне, или какому-нибудь чиновнику, чье расположение было бы мне полезно. Два-три

раза мне представлялся случай получить орден Почетного легиона, и я отказывался со скромным достоинством, находя в этом истинную себе награду. Наконец, я никогда не брал платы с бедняков и никогда не кричал об этом на всех перекрестках. Не думайте, однако, дорогой мой, что я говорю все это из хвастовства. Тут не было никакой моей заслуги: алчность, которая в нашем обществе заняла место честолюбия, всегда была мне смешна. Я метил выше. Вы увидите, что в отношении меня это правильное выражение.

Да сами посудите, чего еще мне было надо? Я восхищался собственной натурой, а ведь всем известно, что это большое счастье, хотя для взаимного успокоения мы иногда делаем вид, будто осуждаем такого рода чувство, называя его самовлюбленностью. Как хотите, а я лично радовался, что природа наделила меня свойством так остро реагировать на горе вдов и сирот, что в конце концов оно разрослось, развилось и постоянно проявлялось в моей жизни. Я, например, обожал помогать слепым переходить через улицу. Лишь только я замечал палку, нерешительно качавшуюся на краю тротуара, я бросался туда, иной раз на секунду опередив другую сострадательную руку, подхватывал слепого, отнимал его от всех

других благодетелей и мягко, но решительно вел его по переходу через улицу, лавируя среди всяческих препятствий, и доставлял в спокойную гавань — на противоположный тротуар, где мы с ним и расставались, оба приятно взволнованные. Точно так же я любил услужить нужной справкой заблудившемуся прохожему, дать прикурить, помочь тащить тяжело нагруженную тележку, подтолкнуть застрявший на мостовой автомобиль, охотно покупал газету у члена Армии спасения или букетик у старушки цветочницы, хотя и знал, что она крадет цветы на кладбище Монпарнас. И я любил также (рассказывать об этом труднее всего) подавать милостыню. Один мой приятель, добродетельный христианин, признавался, что первое чувство, которое он испытывает при виде нищего, приближающегося к его дому, неудовольствие. Со мной дело обстояло хуже: я ликовал! Но не будем на этом останавливаться.

Поговорим лучше о моей вежливости. Она была знаменита и притом бесспорна. Она доставляла мне великие радости. Если мне иной раз так везло по утрам, что я мог уступить место в автобусе или в метро (разумеется, тому, кто этого заслуживал), подобрать вещь, выпавшую из рук почтенной

дамы, подать ей потерю с обычной своей милой улыбкой или попросту уступить такси торопящемуся куда-то человеку, то весь день был для меня озарен этой удачей. Надо признаться, я даже радовался забастовкам на общественном транспорте, так как в эти дни мог на остановках автобусов посадить в свой автомобиль кого-нибудь из злосчастных моих сограждан, не знавших, как им добраться до дому. Поменять свое место в театре для того, чтобы влюбленные могли сидеть рядышком, услужить в вагоне железной дороги молодой девушке, любезно водрузив ее чемодан на багажную полку, слишком высокую для нее, — все эти подвиги я совершал чаще, чем другие люди, потому что ловил к этому случай и потому что они доставляли мне наслаждение.

Я слыл человеком щедрым и действительно был таковым. Я проявлял эту черту и в общественной и в личной благотворительности. Мне нисколько не было жаль расставаться с отдаваемой вещью или с определенной суммой денег; наоборот, я всегда извлекал из этой филантропии некоторые радости, и далеко не самой маленькой из них была меланхолическая мысль о бесплодности моих даров и весьма вероятной неблагодарности, которая за ними воспоследует.

Мне было очень приятно дарить, но я терпеть не мог, когда меня принуждали к этому. Подписные листы с их точными цифрами меня раздражали, и я давал по ним скрепя сердце. Мне хотелось самому распоряжаться своими щедротами.

Все это мелочи, но они помогут вам понять, сколько радостей я постоянно находил в жизни, и особенно в своей профессии. Вот, например, остановит тебя в коридорах Судебной палаты жена обвиняемого, которого ты защищал только во имя справедливости или из сострадания, то есть бесплатно, услышишь, как эта женщина лепечет, что отныне вся их семья в неоплатном долгу перед тобой, а ты ответишь ей, что это было вполне естественно с твоей стороны, любой на твоем месте поступил бы точно так же, предложишь даже денежную помощь, чтобы они могли пережить предстоящие трудные дни, а затем, чтобы оборвать благодарственные излияния и сохранить верный их резонанс, поцелуешь руку бедняжке и покончишь на этом разговор. Поверьте, дорогой мой, это высокое удовольствие, недоступное вульгарному честолюбию. Ты при этом поднимаешься на вершину благородства, которое не нуждается в каком-нибудь поощрении.

Остановимся на этих высотах. Вы теперь по-

нимаете, конечно, что я хотел сказать, заявив, что я «метил выше». Я правильно назвал это «вершиной благородства», единственной, на которой я мог жить. Да, я чувствовал себя свободно, только когда карабкался вверх. Даже в житейских мелочах мне всегда хотелось быть выше других. Троллейбус я предпочитал вагонам метро, автобусы — автомобилям, террасы — антресолям. Я любитель спортивных самолетов, когда у тебя над головой открытое небо, а на пароходах я всегда выбираю для прогулок верхнюю палубу. В горах я бегу от ущелий, взбираюсь на перевалы, на плато; уж если равнина, то высокогорная, на меньшее я не согласен. Если бы по воле судьбы мне пришлось выбирать себе какое-нибудь ремесло, например токаря или кровельщика, будьте спокойны, я бы выбрал крыши и не побоялся головокружения. Трюмы, погреба, подземелья, гроты, пропасти вызывают у меня ужас. Я даже возненавидел спелеологов, которые имеют нахальство занимать первую полосу в газетах, и подвиги этих исследователей были мне противны. Спускаться в пропасть на глубину восемьсот метров ниже уровня моря, рискуя не вытащить головы из расщелины в скале (из «сифона», как говорят эти безумцы), — на такой

подвиг, казалось мне, могли пойти только люди извращенные или чем-то травмированные. В этом есть что-то мерзкое.

Природная терраса на высоте пятьсот или шестьсот метров над уровнем моря, которое еще видишь, которое залито светом, — вот где мне дышалось легче всего, особенно если я был там один, вдали от человеческих муравейников. Я очень хорошо понимал, почему проповеди, смелые пророчества, чудеса огня происходили на вершинах. По-моему, никто не мог предаваться размышлениям в подземельях или в тюремных камерах (если только последние не были расположены в башне, откуда открывался широкий вид) — там не размышляли, а плесневели. Я понимал тех, кто пошел в монахи, а потом стал расстригой из-за того, что окно кельи выходило не на светлые просторы, а на глухую стену. Будьте уверены, уж я-то отнюдь не плесневел. Ежедневно и ежечасно я наедине с собой или на людях взбирался на высоты, зажигал там яркие костры и внимал веселым приветственным крикам, доносившимся снизу. Так я радовался жизни и собственному своему совершенству.

Профессия адвоката, к счастью, вполне удовлетворяла моему стремлению к высотам. Она

избавляла меня от горькой обиды на моих ближних, которым я всегда оказывал услугу, не будучи им ничем обязан. Она ставила меня выше судьи, которого я, в свою очередь, ставил выше подсудимого, а последний обязан был, конечно, питать ко мне признательность. Оцените же это сами, сударь: я пользовался безнаказанностью. Я не был подвластен никакому суду, не находился на подмостках трибунала. Я был где-то над ним, в колосниках, как боги в античном театре, которые время от времени при помощи машины спускались, чтобы преобразить ход действия и дать этому действию угодный им оборот. В конце концов жить, возвышаясь над другими, — вот единственная оставшаяся нам возможность добиться восторженных взглядов и приветственных криков толпы.

Кое-кто из моих подзащитных, кстати сказать, и совершил убийство именно из таких побуждений. Уголовная хроника в газетах, собственная ничтожная роль в жизни и высокое мнение о себе, несомненно, повергали их в печальную экзальтацию. Как и многие люди, они не в силах были смириться со своей безвестностью, и нетерпеливая жажда прославиться отчасти и могла привести их к злополучным крайностям. Ведь

чтобы добиться известности, достаточно убить консьержку в своем доме. К несчастью, такого рода слава эфемерна — уж очень много на свете консьержек, которые заслуживают и получают удар ножом. На суде преступление все время находится на переднем плане, а сам преступник появляется у рампы лишь мельком, его тотчас сменяют другие фигуры. Словом, за краткие минуты триумфа ему приходится платить слишком дорого. А вот мы, адвокаты, защищая этих несчастных честолюбцев, жаждущих славы, действительно можем прославиться одновременно с ними и рядом с ними, но более экономными средствами. Это и побуждало меня прибегать к достохвальным усилиям, дабы они платили как можно меньше. Ведь, расплачиваясь за свои проступки, они немного платили и за мою репутацию. Негодование, ораторский талант, волнение, которое я на них растрачивал, избавляли меня от всякого долга перед ними. Судьи карали, ибо обвиняемым полагалось искупить свою вину, а я, свободный от всякого долга, не подлежавший ни суду, ни наказанию, царил, свободно рея в райском сиянии. Как же не назвать раем бездумное существование, дорогой мой? Вот я и блаженствовал. Мне никогда не приходилось учиться жить.

По этой части я был прирожденным мастером. Для иных людей важнейшая задача — укрыться от нападок, а для других — поладить с нападающими. Что касается меня, то я отличался гибкостью. Когда нужно было, держался запросто, когда полагалось, замыкался в молчании, то проявлял веселую непринужденность, то строгость. Неудивительно, что я пользовался большой популярностью, а своим победам в обществе и счет потерял. Я был недурен собой, считался и неутомимым танцором и скромным эрудитом, любил женщин и вместе с тем любил правосудие (а сочетать две эти склонности совсем нелегко), был спортсменом, понимал толк в искусстве и в литературе — ну, тут уж я остановлюсь, не то вы заподозрите меня в самовлюбленности. Но все-таки представьте себе человека в цвете лет, наделенного прекрасным здоровьем, разнообразными дарованиями, искусного в физических упражнениях и в умственной гимнастике, ни бедного, ни богатого, отнюдь не страдающего бессонницей и вполне довольного собою, но проявляющего это чувство только в приятной для всех общительности. Согласитесь, что у такого счастливца жизнь должна была складываться удачно.

Да, мало кому жилось так просто, как мне. Мне совсем не приходилось ломать себя, я принимал жизнь полностью такою, какой она была сверху донизу, со всей ее иронией, ее величием и ее рабством. В частности, плоть, материя — словом, все телесное, что расстраивает или обескураживает многих людей, поглощенных любовью или живущих в одиночестве, не порабощали меня, а неизменно приносили мне радости. Я создан был для того, чтобы иметь тело. Оттого и развились у меня это высокое самообладание, эта гармоничность, которую люди чувствовали во мне и порой даже признавались, что она помогала им жить. Неудивительно, что их тянуло ко мне. Нередко новым моим знакомым казалось, что они когда-то уже не раз виделись со мной. Жизнь и люди с их дарами шли навстречу всем моим желаниям; я принимал восхищение моих почитателей с благожелательной гордостью. Право же, я жил полнокровной жизнью, с такой простотой и силой ощущая свое человеческое естество, что даже считал себя немножко сверхчеловеком.

Я происходил из порядочной, но совсем незнатной семьи (мой отец был офицером), однако иной раз утром, признаюсь смиренно, чувствовал себя принцем или неопалимой купиной. Заметьте, по-

жалуйста, что я отнюдь не воображал себя самым умным человеком на свете. Подобная уверенность ни к чему не ведет хотя бы потому, что ею исполнены полчища дураков. Нет, жизнь очень уж баловала меня, и я, стыдно признаться, мнил себя избранником, чье особое предназначение долгий и неизменный успех. Такое мнение я составил из скромности. Я отказывался приписать этот успех только своим достоинствам и не мог поверить, чтобы сочетание в одной личности разнообразных высоких качеств было случайным. Вот почему, живя счастливо, я чувствовал, что это счастье, так сказать, дано мне неким высшим соизволением. Если я вам скажу, что я человек абсолютно неверующий, вы еще больше оцените необычайность такого убеждения. Обычное или необычное, но оно долго поднимало меня над буднями, над обывательщиной, благодаря ему я парил в высоте целые годы, и я с сожалением вспоминаю о них. Долго парил я в поднебесье, но вот однажды вечером… Да нет, это совсем другое дело, лучше всего забыть о нем. Впрочем, я, может быть, преувеличиваю. Мне жилось так приятно, а вместе с тем я хотел все новых и новых радостей, никак не мог насытиться. Переходил с празднества на празднество. Случалось, я тан-

цевал ночи напролет, все больше влюбляясь в людей и в жизнь. Иной раз в поздний час такой безумной ночи, когда танцы, легкое опьянение, разгул, всеобщая и неистовая жажда наслаждений приводили меня в какое-то экстатическое состояние, я, утомленный, как будто достигнув предела усталости, на минуту, казалось, постигал тайну людей и мира. Но наутро усталость проходила, а вместе с тем забывалась и разгадка тайны, я вновь бросался в погоню за удовольствиями. Я гнался за ними, всегда находил их, никогда не чувствовал пресыщения, не знал, где и когда остановлюсь, и так было до того дня, вернее, вечера, когда музыка вдруг оборвалась и погасли огни. Празднество, на котором я был так счастлив… Но позвольте мне воззвать к нашему другу примату. Покивайте ему головой в знак благодарности, а главное, выпейте со мной, мне нужна ваша благожелательность.

Вижу, что такое заявление удивляет вас. Разве вы никогда не испытывали внезапную потребность в сочувствии, в помощи, в дружбе? Да, несомненно. Но я уже привык довольствоваться сочувствием. Его найти легче, и оно ни к чему не обязывает. «Поверьте, я очень сочувствую вам», — говорит собеседник, а сам думает про

себя: «Ну вот, теперь займемся другими делами». «Глубокое сочувствие» выражает и премьер-министр — его очень легко выразить пострадавшим от какой-нибудь катастрофы. Дружба — чувство не такое простое. Она иногда бывает долгой, добиться ее трудно, но, уж если ты связал себя узами дружбы, попробуй-ка освободиться от них — не удастся, надо терпеть. И главное, не воображайте, что ваши друзья станут звонить вам по телефону каждый вечер (как бы это им следовало делать), чтобы узнать, не собираетесь ли вы покончить с собой или хотя бы не нуждаетесь ли вы в компании, не хочется ли вам пойти куда-нибудь. Нет, успокойтесь, если они позвонят, то именно в тот вечер, когда вы не одни и когда жизнь улыбается вам. А на самоубийство они скорее уж сами толкнут вас, полагая, что это ваш долг перед собою. Да хранит вас небо от слишком высокого мнения друзей о вашей особе! Что касается тех, кто обязан нас любить — я имею в виду родных и соратников (каково выражение!), — тут совсем другая песня. Они-то знают, что вам сказать: именно те слова, которые убивают; они с таким видом набирают номер телефона, как будто целятся в вас из ружья. И стреляют они метко. Ах, эти снайперы!

Что? Рассказать про тот вечер! Я дойду до него,

потерпите немножко. Да, впрочем, я уже и подошел к этой теме, упомянув о друзьях и соратниках. Представьте, мне говорили, что один человек, сострадая своему другу, брошенному в тюрьму, каждую ночь спал не на постели, а на голом полу — он не желал пользоваться комфортом, которого лишили его любимого друга. А кто, дорогой мой, будет ради нас спать на полу? Да разве я сам стал бы так спать? Право, я хотел бы и мог бы пойти на это. Когда-нибудь мы все сможем, и в этом будет наше спасение. Но достигнуть его нелегко, ведь дружба страдает рассеянностью или по крайней мере она немощна. Она хочет, но не может. Вероятно, она недостаточно сильно хочет? Или мы недостаточно любим жизнь. Заметили вы, что только смерть пробуждает наши чувства? Как горячо мы любим друзей, которых отняла у нас смерть. Верно? Как мы восхищаемся нашими учителями, которые уже не могут говорить, ибо у них в рот набилась земля. Без тени принуждения мы их восхваляем, а может быть, они всю жизнь ждали от нас хвалебного слова. И знаете, почему мы всегда более справедливы и более великодушны к умершим? Причина очень проста. Мы не связаны обязательствами по отношению к ним. Они не стесняют нашей свободы, мы можем не

спешить восторгаться ими и воздавать им хвалу между коктейлем и свиданием с хорошенькой любовницей — словом, в свободное время. Если бы они и обязывали нас к чему-нибудь, то лишь к памяти о них, а память-то у нас короткая. Нет, мы любим только свежие воспоминания о смерти наших друзей, свежее горе, свою скорбь — словом, самих себя!

Был у меня друг, от которого я чаще всего убегал. Скучный был человек и все читал мне мораль. Но когда он заболел и был уже при смерти, будьте покойны, я, конечно, явился. Ни одного дня не пропустил. Он умер, очень довольный мною, пожимал мне руки. У назойливой моей любовницы, которая слишком часто и тщетно зазывала меня к себе, хватило такта умереть молодой. Какое место она сразу заняла в моем сердце! А представьте себе не просто смерть, а самоубийство. Боже мой! Какая поднимается волнующая суматоха! Звонки по телефону, излияния сердца, нарочито короткие фразы, полные намеков и сдержанного горя, и даже, да-да, даже обвинения в свой адрес.

Так уж скроен человек, дорогой мой, это двуликое существо: он не может любить, не любя при этом самого себя. Понаблюдайте за соседями, когда в вашем доме кто-нибудь вдруг умрет. Все

шло тихо, мирно, и вот, скажем, умирает швейцар. Тотчас все всполошатся, засуетятся, станут расспрашивать, сокрушаться. Покойник готов к показу, начинается представление. Людям требуется трагедия, что поделаешь, это их врожденное влечение, это их аперитив. А кстати, я не случайно упомянул о швейцаре. У нас был в доме швейцар, настоящий урод, и к тому же злой как дьявол, ничтожество и злопыхатель, он привел бы в отчаяние самого кроткого монаха-францисканца. При его жизни я даже разговаривать с ним перестал. Одним уж своим существованием он портил мне жизнь. Но вот он умер, и я пошел на его похороны. Скажите мне, пожалуйста, почему?

За два дня, предшествующих погребению, произошло, впрочем, много интересного. Жена покойного была больна и лежала в постели, комната в швейцарской только одна, и рядом с кроватью поставили на козлы гроб. Жильцам приходилось самим брать в швейцарской почту. Они отворяли дверь, говорили: «Здравствуйте, мадам», выслушивали хвалу усопшему, на которого жена указывала рукой, и уходили, захватив письма и газеты. Ничего приятного в этом нет, не правда ли? И однако ж, все жильцы продефи-

лировали в швейцарской, где воняло карболкой. И никто не посылал вместо себя слуг, нет, все сами спешили насладиться зрелищем. Слуги тоже приходили, но в качестве дополнения. В день похорон оказалось, что гроб не проходит в двери. «Ох, миленький ты мой, — говорила лежащая в постели вдова с восторженным и скорбным удивлением, — какой же ты был большой!» «Не беспокойтесь, мадам, — отвечал распорядитель похорон, — мы его накреним и пронесем». Гроб пронесли, а потом водрузили на катафалк. И только я один (кроме бывшего рассыльного из соседнего кабака, постоянного, как я понял, собутыльника усопшего), да, я один проводил покойного на кладбище и бросил цветы на гроб, удививший меня своей роскошью. Затем я навестил вдову и выслушал ее трагическое выражение благодарности. Ну скажите мне, что за причина всему этому? Никакой — аперитив, и только.

Я хоронил также старого сотрудника коллегии адвокатов. Обыкновенный жалкий чинуша, которому я, однако, всегда пожимал руку. Впрочем, там, где я работал, я всем пожимал руки, и даже по два раза на день. Этим простым знаком внимания я, можно сказать, по дешевке завоевывал

всеобщую симпатию, необходимую для моего душевного благоденствия. На похороны старика председатель коллегии, конечно, не пожаловал. Я же счел нужным явиться, хотя на другой день отправлялся в путешествие, и это многие подчеркивали. Но ведь я знал, что мое присутствие будет замечено и весьма лестно для меня истолковано. Как же иначе! Меня не остановил даже сильный снегопад, испугавший других.

Что? Да вы не беспокойтесь, я не отклоняюсь от темы. Только разрешите мне сначала отметить, что вдова нашего швейцара, можно сказать разорившаяся на дорогое распятие, на дубовый гроб с серебряными ручками, доказывавший глубину ее скорби, не позже чем через месяц сошлась с франтиком, обладавшим прекрасным голосом. Он ее колотил, из швейцарской доносились ужасные вопли, но тотчас же после экзекуции он отворял окно и орал свой любимый романс: «О женщины, как вы милы!» «И все-таки...» — сокрушались соседи. А что, спрашивается, «все-таки»? Словом, внешние обстоятельства говорили против этого баритона. Верно? И вдова тоже хороша! Впрочем, кто докажет, что они не любили друг друга? И кто докажет, что она не любила умершего мужа? Кстати сказать, как только франтик улетучился,

надсадив себе голос и руку, верная супруга опять принялась восхвалять покойного. Да в конце концов, я знаю много случаев, когда внешние обстоятельства говорят в пользу безутешных вдов и вдовцов, а на самом деле они не более искренни и верны, чем эта жена швейцара. Я знал человека, который отдал двадцать лет своей жизни сущей вертихвостке, пожертвовал ради нее решительно всем — друзьями, карьерой, приличиями и в один прекрасный день обнаружил, что никогда ее не любил. Ему просто было скучно, как большинству людей. Вот он и создал себе искусственную жизнь, сотканную из всяких сложных переживаний и драм. Надо, чтобы что-нибудь случилось, — вот объяснение большинства человеческих конфликтов. Надо, чтобы что-нибудь случилось необыкновенное, пусть даже рабство без любви, пусть даже война или смерть! Да здравствуют похороны!

Но у меня не было даже такого оправдания. Меня отнюдь не томила скука, потому что я царствовал. В тот вечер, о котором я хочу сказать, я скучал меньше, чем когда бы то ни было, и совсем не жаждал, чтобы случилось «что-нибудь необыкновенное». А между тем… Представьте себе, дорогой мой, как спускается над Сеной осен-

ний мягкий вечер, еще теплый, но уже сырой. Наступают сумерки, на западе небо еще розовое, но постепенно темнеет, фонари светят тускло. Я шел по набережным левого берега к мосту Искусств. Между запертыми ларьками букинистов поблескивала река. Народу на набережных было немного. Парижане уже сели за ужин. Я наступал на желтые и пыльные опавшие листья, еще напоминавшие о лете. В небе мало-помалу загорались звезды… Минуешь фонарь, отойдешь на некоторое расстояние — они становятся заметнее. Я наслаждался тишиной, прелестью вечера, безлюдьем. Я был доволен истекшим днем: помог перейти через улицу слепому, потом оправдалась надежда на смягчение приговора моему подзащитному, он горячо пожал мне руку; я выказал щедрость кое в каких мелочах, а после обеда в кружке приятелей блеснул импровизированной речью, обрушившись на черствость сердец в правящем классе и лицемерие нашей элиты.

Я нарочно пошел по мосту Искусств, совсем пустынному в этот час, и, остановившись, перегнулся через перила: мне хотелось посмотреть на реку, еле видневшуюся в густеющих сумерках. Остановился я напротив статуи Генриха IV, как раз над островом. Во мне росло и ширилось

чувство собственной силы и, я сказал бы, завершенности. Я выпрямился и хотел было закурить сигарету, как это бывает в минуту удовлетворения, как вдруг за моей спиной раздался смех. Я в изумлении оглянулся — никого. Я подошел к причалу — ни баржи, ни лодки. Вернулся на старое место — к острову — и снова услышал у себя за спиной смех, только немного дальше, как будто он спускался вниз по реке. Я замер неподвижно. Смех звучал тише, но я еще явственно слышал его позади себя. Откуда он шел? Ниоткуда. Разве только из воды. Я чувствовал, как колотится у меня сердце. Заметьте, пожалуйста, в этом смехе не было ничего таинственного — такой славный, естественный, почти дружеский смех, который все ставит на свои места. Да, впрочем, он вскоре прекратился, я ничего больше не слышал. Я пошел по набережным, свернул на улицу Дофин, купил совсем не нужные мне сигареты. Я был ошеломлен, я тяжело дышал. Вечером я позвонил приятелю, его не оказалось дома. Хотел пойти куда-нибудь и вдруг услышал смех под своими окнами. Я отворил окно. Действительно, на тротуаре смеялись: какие-то молодые люди весело хохотали, прощаясь друг с другом. Пожав плечами, я затворил окно, меня ждала папка с

материалами по делу, которое я вел. Я пошел в ванную, выпил стакан воды. Увидел в зеркале свое лицо, оно улыбалось, но улыбка показалась мне какой-то фальшивой.

Что? Простите, я задумался. Вероятно, мы завтра увидимся. Завтра, так будет лучше. Нет-нет, сегодня я не могу остаться. К тому же меня зовет для консультации некий медведь косолапый — видите, вон там? Вполне порядочный человек, а полиция по своей мерзкой привычке ужасно придирается к нему. Вы находите, что у него физиономия убийцы? Полноте, такая внешность естественна при его профессии. Он действительно налетчик, и вы, конечно, удивитесь, если я скажу, что он неплохо разбирается в живописи и торгует картинами. В Голландии все понимают толк в живописи и в тюльпанах. Этому человеку, несмотря на его скромный вид, приписывают одну из самых смелых краж. Он украл картину. Какую? Я, пожалуй, скажу. Не удивляйтесь, что я знаю. Хоть я судья на покаянии, у меня есть свои увлечения: я состою юрисконсультом этих славных людей. Я изучил законы страны, и у меня появилась клиентура в этом квартале — тут не требуют предъявления диплома. Сначала мне было нелегко, но ведь я внушаю людям доверие:

у меня такой приятный, искренний смех, такое энергичное пожатие руки, а это большие козыри. Кроме того, я им помог в нескольких запутанных делах, сделав это не только из корысти, но и по убеждению. Ведь если бы сутенеры и воры всегда и всюду подвергались суровым карам, то так называемые честные люди считали бы себя совершенно невинными, дорогой мой. Подождите, подождите, я уже подхожу к самой сути, по-моему, как раз этого-то и следует избегать. Иначе уж очень бы смешно получалось.

* * *

Право, дорогой мой соотечественник, я очень вам признателен за ваше любопытство. Но в моей истории нет ничего необыкновенного. Раз она вас интересует, учтите, что я помнил об этом смехе совсем недолго — несколько дней, а потом забыл о нем.

Изредка мне казалось, что я слышу его где-то в себе. Но обычно я без всяких усилий со своей стороны думал о другом.

Должен, однако, признаться, что я больше не ходил на набережные. Когда я проезжал там в такси или в автобусе, во мне все замирало — в ожидании, кажется мне. Но мы спокойно про-

езжали по мосту, никогда ничего не случалось, и я вздыхал с облегчением. Как раз в ту пору у меня немного расстроилось здоровье. Ничего определенного, просто какая-то подавленность, с трудом возвращалось былое хорошее настроение. Я обращался к врачам, мне прописывали всякие укрепляющие средства. Бывало, приободришься, а потом опять раскиснешь. Жить стало невесело: когда какая-нибудь болезнь подтачивает тело, сердце томит тоска. Мне казалось, что я отчасти разучился делать то, чему никогда не учился, но так хорошо умел — жить. Да, кажется, тогда-то все и началось.

А знаете, нынче вечером я не в форме. Не клеится у меня рассказ. Право, язык не ворочается, и все красноречие иссякло. Погода, должно быть, виновата. Трудно дышать, воздух такой тяжелый, просто давит на грудь. А что, если бы мы, дорогой соотечественник, вышли прогуляться по городу? Не возражаете? Спасибо.

Как хороши нынче вечером каналы! Я люблю, когда ветер повеет над этими стоячими водами, принесет запах листьев, которые мокнут в канале, и похоронный запах, поднимающийся с баркасов, нагруженных цветами. Нет-нет, в моей любви к этим запахам нет ничего извращенного,

болезненного. Наоборот, я сознательно стараюсь привыкнуть к ним. По правде говоря, я заставляю себя восхищаться амстердамскими каналами. Но больше всего на свете я, знаете ли, люблю Сицилию, она так прекрасна, когда видишь ее с высоты Этны, всю залитую светом, видишь весь остров и расстилающееся внизу море. Ява тоже хороша, но только в период пассатов. Да-да, я там побывал в молодости. Я вообще люблю острова. Там легче царить.

Какой прелестный дом, взгляните. А две скульптуры, которые вы там видите, — это головы негров-невольников. Вывеска. Дом принадлежал работорговцу. О, в те времена игру вели в открытую! Смелые были дельцы. Не стесняясь, заявляли: «Вот мой дом, я богат, торгую невольниками, продаю черное мясо». Можете вы себе представить, чтобы нынче кто-нибудь публично сообщил, что он занимается таким промыслом? Вот был бы скандал! Воображаю, каких слов наговорили бы мои собратья в Париже. В этом вопросе они непоколебимы, они тотчас же выпустили бы два-три манифеста, а может, и больше! Поразмыслив, я бы тоже поставил свою подпись под их протестами. Рабство? О нет, нет! Мы против! Разумеется, мы вынуждены ввести его в

своих владениях или на заводах — это в порядке вещей, но хвалиться такими делами? Это уж безобразие!

Я хорошо знаю, что нельзя обойтись без господства и без рабства. Каждому человеку рабы нужны как воздух. Ведь приказывать так же необходимо, как дышать. Вы согласны со мной? Даже самому обездоленному случается приказывать. У человека, стоящего на последней ступени социальной иерархии, имеется супружеская или родительская власть. А если он холост, то может приказывать своей собаке. В общем, главное, чтобы ты мог разгневаться, а тебе не смели бы отвечать. «Отцу не смей отвечать». Вы знаете это требование? Странное все-таки правило. Кому же нам и отвечать в этом мире, как не тем, кого мы любим. Но в известном смысле это верное правило. Надо же, чтобы за кем-то оставалось последнее слово. А то ты скажешь слово, а тебе в ответ два, так спор никогда и не кончится. Зато уж власть живо оборвет любые пререкания. Далеко не сразу, но все же мы поняли это. Вы, я полагаю, заметили, что наша старуха Европа стала наконец рассуждать так, как надо. Мы уже не говорим, как в прежние наивные времена: «Я думаю так-то и так-то. Какие у вас имеются воз-

ражения?» У нас теперь трезвые взгляды. Диалог мы заменили сообщениями: «Истина состоит в том-то и том-то. Можете с ней не соглашаться, меня это не интересует. Но через несколько лет вмешается полиция и покажет вам, что я прав».

Ах, дорогая наша планета! Все на ней теперь ясно. Мы друг друга знаем, мы поняли, на что каждый способен. Вот погодите, я приведу в пример себя (не меняя, однако, темы). Я всегда хотел, чтобы мне служили с улыбкой. Если у прислуги был печальный вид, это портило мне настроение. Она, разумеется, имела право печалиться, но я находил, что для нее было бы лучше, если бы она прислуживала смеясь, а не плача. Хотя, в сущности, это было бы лучше не для нее, а для меня. Однако скажу без хвастовства, мое рассуждение не было сплошным идиотством. И вот еще — я всегда отказывался обедать в китайских ресторанах. Почему? Потому что в присутствии белых азиаты, когда они молчат, зачастую принимают презрительный вид. Разумеется, презрительное выражение сохраняется у них, и когда они обслуживают нас за столиком. Ну как в таком случае есть с удовольствием цыпленка, а главное, как думать, глядя на них, что мы выше желтокожих?

Словом, скажу вам по секрету, рабство, по пре-

имуществу улыбающееся, необходимо. Но мы должны скрывать его. Раз мы не можем обойтись без рабов, не лучше ли называть их свободными людьми? Во-первых, из принципа, а во-вторых, чтобы не ожесточать рабов. Должны же мы их как-то компенсировать, верно? Тогда они всегда будут улыбаться и у нас будет спокойно на душе. А иначе нам придется туго: начнем копаться в себе, с ума сходить от горестных мыслей, даже можем сделаться скромными — всего можно ожидать. Поэтому никакого афиширования. Нахальная вывеска с головами негров просто возмутительна! Да и вообще, если все примутся откровенничать, раскрывать свои подлинные занятия, свою личность, некуда будет от стыда деваться! Вообразите себе визитную карточку, на которой напечатано: «Дюпон — философ и трус», или «стяжатель и христианин», или «гуманист и прелюбодей». Выбор богатый. Но это был бы сущий ад! Да-да, в аду так и должно быть: улицы с вывесками и никакой возможности вступить в объяснение. Ярлык повешен раз и навсегда.

Право, советую вам, дорогой соотечественник, подумать немножко, каков будет ваш ярлык. Вы молчите? Ну ничего, потом ответите. Во всяком случае, я-то свой ярлык знаю: «Двуликий. Обая-

тельный Янус». А сверху девиз: «Не доверяйтесь ему». На визитных же карточках будет напечатано: «Жан Батист Кламанс, комедиант». Знаете, через некоторое время после того вечера, о котором я рассказывал, появилось, как я заметил, что-то новое в моем поведении. Расставшись со слепым на углу тротуара, до которого я помог ему добраться, я на прощание снимал шляпу и кланялся слепцу. Разумеется, поклон предназначался не для слепого — он ведь не мог меня видеть. Для кого же? Для публики. Роль сыграна, актер кланяется. Недурно, а? Однажды в ту же самую пору владельцу автомобиля, благодарившему меня за помощь в аварии, я ответил, что никто другой не приложил бы столько стараний. Разумеется, я хотел сказать: «Всякий на моем месте». Из-за этой злополучной оговорки у меня сжалось сердце. Ведь я же отличался, по всеобщему мнению, непревзойденной скромностью.

А на самом-то деле, признаюсь, дорогой соотечественник, меня просто распирало от тщеславия. «Я», «я», «я»! — вот лейтмотив моей жизни, он слышался во всем, что я говорил. Я не мог обойтись без хвастовства, но обладал искусством хвастаться с потрясающей скромностью. Правда, я всегда жил привольно и ощущал свою силу. И

притом я чувствовал себя совершенно свободным от обязательств перед другими людьми по той простой причине, что всегда считал себя умнее всех, как я вам уже говорил, а также наделенным более совершенными органами чувств; я, например, превосходно стрелял, великолепно водил машину, был отличным любовником. Даже там, где легко было убедиться, что я отстаю от других, например на теннисном корте, ибо в теннис я играл посредственно, я не мог отказаться от мысли, что, будь у меня время потренироваться, я превзошел бы чемпионов. Я видел в себе только замечательные качества, этим объяснялись мое самодовольство и безмятежное душевное спокойствие. Если я уделял внимание ближним, то только из снисходительности, без всякого принуждения и поэтому еще больше заслуживал похвалы и мог подняться еще выше в своей любви к самому себе.

Все эти истины и некоторые другие мало-помалу открылись мне после знаменательного вечера, о котором я вам рассказал. Не сразу, нет, и сперва не очень четко. Сначала нужно было, чтобы ко мне вернулась память. Постепенно я стал все видеть яснее, разобрался в том, что знал. Раньше мне всегда облегчала жизнь удивительная спо-

собность забывать. Я забывал все, и прежде всего свои решения. Войны, самоубийства, любовные трагедии, нищета людей — для меня все это не шло в счет. Конечно, я обращал на это внимание, когда меня принуждали к тому обстоятельства, но, так сказать, из вежливости, поверхностно. Порой я как будто горячо принимал к сердцу дело, совершенно чуждое моей повседневной жизни. Но по существу оставался к нему равнодушен, за исключением тех случаев, когда стесняли мою свободу. Как бы это сказать? Все скользило. Да, все скользило по поверхности моей души.

Будем справедливы: случалось, моя забывчивость была похвальной. Заметили вы, что встречаются люди, которые по заповедям своей религии должны прощать и действительно прощают обиды, но никогда их не забывают? Я же совсем не склонен был прощать, но в конце концов всегда забывал. И оскорбитель, полагавший, что я ненавижу его, не мог прийти в себя от изумления, когда я с широкой улыбкой здоровался с ним. Тогда он в зависимости от своего характера восхищался величием моей души или же презирал мою трусость, не зная, что причина куда проще: я позабыл даже его имя. Мое великодушие объяснялось той самой природной ущербностью,

которая делала меня неблагодарным или безразличным к людям.

Итак, я жил изо дня в день, и одно было у меня на уме: мое «я», мое «я», мое «я». День за днем — женщины, день за днем — благородные речи и блуд, будничный, как у собак; но каждый день я был полон любви к себе и крепко стоял на ногах. Так и текла жизнь, очень поверхностная, вся, так сказать, в словах, ненастоящая. Столько книг, но они едва перелистаны, столько друзей, но им едва отдаешь крохотную частицу сердца, столько женщин, но как мимолетны эти связи! Чего я только не вытворял от скуки и в поисках развлечений! Женщины, живые люди, шли за мною, пытались ухватиться за меня, но ничего у них не получалось, к несчастью. К несчастью для них. Ведь я-то быстро их забывал. Я всегда помнил только о себе.

Постепенно, однако, память ко мне вернулась. Нет, я сам обратился к ней, и тогда воскресли воспоминания, долго ожидавшие меня. Но прежде чем рассказать о них, позвольте, дорогой соотечественник, привести несколько примеров (я уверен, они вам пригодятся) — примеров тех открытий, которые я сделал во время моих изысканий.

Однажды я вел машину и на мгновение замешкался нажать стартер, когда зажегся зеленый свет, наши терпеливые сограждане тотчас пустили в ход гудки, подняли адский рев, и тут мне внезапно вспомнилось происшествие, случившееся со мной при таких же обстоятельствах. Меня в тот раз обогнал мотоциклист, маленький, сухонький человечек в очках и в брюках гольф. Обогнал и остановился как раз передо мной, выехав на красный свет.

Мотоциклист выключил мотор, а мотор вдруг заело, и он тщетно пытался запустить его. Зажегся зеленый свет, я с обычной моей учтивостью деликатно прошу мотоциклиста: «Подвиньте, пожалуйста, свою машину, дайте проехать». А этот маленький человечек разнервничался, бьется над своим заглохшим мотором. И отвечает мне по всем правилам парижской вежливости, чтобы я убирался ко всем чертям. Я настаиваю все так же деликатно, но уже с ноткой нетерпения в голосе. Тотчас же я услыхал в ответ, что меня надо вздрючить как следует. А позади уже раздаются нетерпеливые гудки. Тогда я твердым тоном прошу мотоциклиста держать себя прилично и учесть, что он мешает уличному движению. Раздражительный человечек, несомненно придя

в отчаяние от злостного упрямства своего мотора, сообщил мне, что если я желаю «схлопотать по морде», то он с большим удовольствием надает мне оплеух. Такой цинизм возмутил меня, и я вылез из машины, намереваясь надрать грубияну уши. Я отнюдь не считал себя трусом (мало ли что мнишь о себе), я был на голову выше своего противника, моя мускулатура всегда превосходно служила мне. Мне и теперь еще кажется, что трепку скорее всего задал бы я, а не этот поскребыш. Но едва я вылез на мостовую, тотчас собралась толпа, из нее вышел какой-то тип, бросился ко мне и заявил, что я последний негодяй и что он не позволит мне ударить человека, который не может слезть с мотоцикла и, следовательно, находится в невыгодном для себя положении. Я повернулся к этому мушкетеру, но, по правде сказать, даже и не увидел его. Едва я повернул голову, как мотоцикл затрещал во всю мочь, а мотоциклист изо всей силы дал мне по уху. Не успел я сообразить, что произошло, как он умчался. Растерявшись, я машинально двинулся к д'Артаньяну, но тут начался отчаянный концерт — за моей машиной уже выстроилась вереница автомобилей. Снова зажегся зеленый свет. И тогда я, все еще растерянный, вместо того

чтобы оттаскать дурака, набросившегося на меня, покорно забрался в машину и поехал, а дурак послал мне вдогонку: «Что, съел?» — и я все еще помню об этом оскорблении.

Вы скажете, что случай пустячный. Разумеется. Но я долго не мог его забыть — вот что важно. Правда, у меня были смягчающие обстоятельства. Меня ударили, я не дал сдачи, но в трусости меня обвинить никто не мог. Я был застигнут врасплох, на меня налетели с двух сторон, все у меня смешалось, а ревущие гудки довершили мое смятение. И все же я чувствовал себя таким несчастным, словно совершил какой-то бесчестный поступок. Мне все вспоминалось, как я влезаю в свой автомобиль, ничем не ответив на оскорбление, и меня провожают насмешливые взгляды столпившихся зевак, восхищенных моим унижением, тем более что на мне был очень элегантный светло-синий костюм. Мне все слышалось: «Что, съел?» — возглас, совершенно оправданный положением. Я сел в лужу, публично сдрейфил. Правда, так сложились обстоятельства, но ведь обстоятельства всегда существуют. Задним числом я прекрасно соображал, что мне следовало сделать. Коротким боксерским ударом сбить с ног д'Артаньяна, вскочить в автомобиль, помчаться вдогонку за

тем сморчком, который ударил меня, настигнуть его, прижать его мотоцикл к тротуару, оттащить нахала в сторонку и задать ему заслуженную взбучку. Сто раз прокручивал в своем воображении этот коротенький фильм, с некоторыми вариантами. Но ничего не поделаешь — поздно! Несколько дней я был в отвратительном настроении.

Смотрите, опять дождь. Давайте постоим под воротами. Прекрасно. Так на чем же я остановился? Да, на защите чести! И вот, вспоминая об этом происшествии, я понял его значение. В общем, мои мечтания не выдержали испытания действительностью. Мне казалось, что я человек полноценный, что я всегда заставлю публику уважать себя и как личность, и как профессионала. Наполовину Сердан, наполовину де Голль, если угодно. Короче говоря, я хотел господствовать во всем. Поэтому я рисовался, кокетничал, показывал больше физическую ловкость, нежели интеллектуальные дарования. Но после того, как мне публично дали по уху и я не ответил, было уже невозможно держаться о себе прежнего лестного мнения. Если б я действительно был служителем правды и разума, как я это мнил, разве меня затронуло бы это происшествие, уже

позабытое очевидцами? Я бы только досадовал на то, что рассердился из-за пустяков, дал волю гневу и не сумел справиться с неприятными последствиями своей несдержанности. А вместо этого меня одолевали мечты отомстить обидчику, сразиться с ним и победить. Очевидно, я вовсе не стремился к тому, чтобы стать самым разумным и самым великодушным созданием на земле, а хотел одного: оказаться сильнее всех, хотя бы и прибегнув для этого к самым примитивным средствам. Да ведь по правде сказать, каждый интеллигент (вы же это хорошо знаете) мечтает быть гангстером и властвовать над обществом единственно путем насилия. Однако сие не столь легко, как это можно вообразить, начитавшись соответствующих романов, подобные мечтатели бросаются в политику и лезут в самую свирепую партию. Что за важность духовное падение, если таким способом можно господствовать над миром? Я открыл в своей душе сладостные мечты стать угнетателем.

И по крайней мере мне тогда стало ясно, что я стою на стороне преступников, на стороне обвиняемых, поскольку их преступления не причинили мне ущерба. Их виновность воспламеняла мое красноречие, потому что я не был их

жертвой. А если б они угрожали мне, я не только стал бы их судьей, но даже больше — я готов был стать гневливым владыкой, объявить их вне закона и подвергнуть их избиению, пыткам, поставить их на колени. При таких желаниях, дорогой соотечественник, довольно трудно сохранить веру в свое призвание служить правосудию, защищать вдов и сирот.

Дождь-то все усиливается, значит, времени у нас достаточно, и я, пожалуй, дерзну поведать вам о новом открытии, сделанном мною вслед за этим, когда я порылся в своей памяти. Разрешите? Присядемте на скамью под навесом. Уже сколько столетий голландцы, покуривая трубку, созерцают здесь одну и ту же картину: смотрят, как дождь поливает канал. Я собираюсь рассказать вам довольно сложную историю. На этот раз речь пойдет о женщине. Во-первых, надо отметить, что я всегда имел успех у женщин, даже без больших стараний с моей стороны. Не хочу сказать, что я давал им счастье или они делали меня счастливым. Нет, просто я имел успех. Почти всегда, когда мне этого хотелось, я добивался своего. Женщины находили меня обаятельным, представьте себе! Вы знаете, что такое обаяние? Умение почувствовать, как тебе говорят «да»,

хотя ты ни о чем не спрашивал. Так и было у меня когда-то. Вас это изумляет? Правда? Да вы не отрицайте. При моей теперешней физиономии ваше удивление вполне естественно. Увы, с возрастом каждый приобретает тот облик, какого заслуживает. А уж мой-то… Ну да все равно! Факт остается фактом: в свое время меня находили обаятельным и я пользовался успехом.

Я не строил никаких стратегических расчетов, я увлекался искренне или почти искренне. Мое отношение к женщинам было совершенно естественным, непринужденным, легким, как говорится. Я не прибегал к хитрости — разве только к той, явной, упорной, которую женщины считают честью для себя. Я их любил — по общепринятому выражению, то есть никогда не любил ни одну. Я всегда находил презрение к женщинам вульгарным, глупым и почти всех женщин, которых знал, считал лучше себя. Однако, хоть я и ставил их высоко, я чаще пользовался их услугами, чем служил им. Как тут разобраться? Конечно, истинная любовь — исключение, встречается она два-три раза в столетие. А в большинстве случаев любовь — порождение тщеславия или скуки. Что касается меня, то я, во всяком случае, не был героем «Португальской

монахини». У меня совсем не черствое сердце, наоборот, сердце, полное нежности, и я легко плачу. Только мои душевные порывы и чувство умиленности бывают обращены на меня самого. В конце концов, нельзя сказать, что я никогда не любил. Нет, одну неизменную любовь питал я в своей жизни — предметом ее был я сам. Если посмотреть с этой точки зрения, то после неизбежных трудностей, естественных в юном возрасте, я быстро понял суть дела: чувственность, и только чувственность, воцарилась в моей любовной жизни. Я искал только наслаждений и побед. Кстати сказать, мне тут помогала моя комплекция: природа была щедра ко мне. Я этим немало гордился и уж не могу сказать, чему я больше радовался — наслаждениям или своему престижу. Ну вот, вы, наверно, скажете, что я опять хвастаюсь. Пусть это хвастовство, но гордиться мне тут нечем, хоть все это истинная правда.

Во всяком случае, чувственность (если уж говорить только о ней) была во мне так сильна, что ради десятиминутного любовного приключения я отрекся бы от отца и матери, хоть потом и горько сожалел бы об этом. Да что я говорю! Главная-то прелесть и была в мимолетности, в том, что роман не затягивался и не имел последствий.

У меня, разумеется, были нравственные принципы, например: жена друга священна. Но весьма искренне и простодушно я за несколько дней до решающего события лишал своей дружбы обманутого мужа. Чувственность. А может быть, не следует это так называть? В чувственности самой по себе нет ничего отталкивающего. Будем снисходительны и лучше уж назовем уродством прирожденную неспособность видеть в любви что-либо иное, кроме некоего акта. Уродство это было для меня удобным. В сочетании с моей способностью оно обеспечивало мне свободу. А кроме того, сообщая мне выражение гордой отчужденности и бесспорной независимости, оно давало мне шансы на новые победы. Я не отличался романтичностью, но был героем многих романов. Право, у наших возлюбленных есть кое-что общее с Бонапартом: они всегда думают одержать победу там, где все терпели поражение.

В отношениях с женщинами я, впрочем, искал не только удовлетворения своей чувственности — это была для меня также игра. В женщинах я видел партнеров своеобразной игры, где они как будто защищали свое целомудрие. Видите ли, я не выношу скуки и ценю в жизни только

развлечения. Самое блестящее общество быстро надоедает мне, но мне никогда не бывает скучно с женщинами, которые мне нравятся. Стыдно признаться, но я отдал бы десять бесед с Эйнштейном за первое свидание с хорошенькой статисткой. Правда, на десятом свидании я стал бы вздыхать об Эйнштейне или о серьезной книге. В общем, высокие проблемы интересовали меня лишь в промежутках между любовными приключениями. И сколько раз бывало, что, остановившись с друзьями на тротуаре, я вдруг терял нить мысли в горячем споре только потому, что в эту минуту через улицу переходила какая-нибудь обольстительница.

Итак, я вел игру. Я знал, что женщины не любят, когда к цели идут слишком быстро. Сначала нужны были словесные упражнения, нежность, как они говорят. Меня не затрудняли ни разговоры, поскольку я адвокат, ни пронзительные взгляды, ибо на военной службе я участвовал в драматическом кружке. Роли я менял часто, но, по сути дела, пьеса была одна и та же. У меня был коронный номер: непостижимое влечение, «что-то такое» непонятное, беспричинное, неодолимое, хотя я бесконечно устал от любви, и так далее — очень старая роль в моем репертуаре,

но всегда производившая впечатление. Был еще и другой номер: таинственное блаженство, которого не давала мне прежде ни одна женщина; быть может, и даже наверное, миг счастья будет очень кратким (надо же обезопасить себя), но ничто не может с ним сравниться. А главное, я отработал небольшую тираду, всегда встречавшую благосклонный прием. Я уверен, что она и вам понравится. Суть этой тирады в горьком и смиренном признании, что я ничтожество, пустой человек и не стою женской привязанности, что я никогда не знал простого, бесхитростного счастья, быть может, я предпочел бы его всему на свете, но теперь уж поздно. О причинах этого непоправимого загадочного запоздания я умалчивал, зная, как выгодно окутывать себя тайной. В некотором смысле я верил тому, что говорил, — я вживался в роль. Неудивительно, что и мои партнерши тоже спешили выйти на сцену. Самые чувствительные из моих подруг пытались «понять меня» и предавались меланхолическим излияниям. Другие же, довольные тем, что я соблюдаю правила игры и до начала атаки деликатно задерживаюсь на разговорах, иной раз сами переходили в наступление. Для меня это был двойной выигрыш: я не только мог

тогда утолить свое вожделение, но и насладиться чувством удовлетворенной любви к самому себе, убеждаясь всякий раз в своей власти.

И если даже случалось, что некоторые мои партнерши доставляли мне лишь посредственное удовольствие, я время от времени назначал им свидания — этому способствовало вдруг вспыхнувшее желание, которое обостряла разлука, и готовность отозваться на него, загоравшаяся в моей прежней сообщнице; мне хотелось убедиться, что связь наша не порвана окончательно: стоит мне только пожелать, и она возобновится. Иной раз я брал с женщин клятвенное обещание не принадлежать никому другому, кроме меня, — так меня это беспокоило. Но ни сердце, ни воображение не участвовали в этой игре. Самодовольство, укоренившееся во мне, не допускало вопреки очевидности, чтобы женщина, принадлежавшая мне, могла когда-нибудь принадлежать другому. Впрочем, клятва, которой я требовал, связывала только женщину, а мне предоставляла свободу. Покинутая мною не будет принадлежать никому, значит, можно разорвать с нею, а иначе это почти всегда было просто немыслимо. Что касается женщин, то проверкой раз и навсегда были установлены прочность и длительность

моей власти над ними. Любопытно? А ведь это сущая правда, дорогой соотечественник. Одни кричат: «Люби меня!», другие: «Не люби меня!» А есть такая порода людей, самая скверная и самая несчастная, которая требует: «Не люби меня и будь мне верна».

Только вот в чем дело: проверка никогда не бывает окончательной, ее надо возобновлять с каждой новой возлюбленной. Повторяешь, повторяешь — и создается привычка. Вскоре уже говоришь, не думая, уже вырабатывается рефлекс, и в один прекрасный день добиваешься обладания, не чувствуя по-настоящему влечения. Поверьте, для некоторых людей отказаться от обладания тем, чего они вовсе и не желают, труднее всего на свете.

Так со мною и случилась однажды неприятность, а нелишним будет сказать, что женщина эта не очень волновала меня, но мне нравился ее облик, в котором было что-то покорное и жаждущее. Откровенно говоря, удовольствие оказалось посредственным, как и следовало ожидать. Но я никогда не страдал никакими комплексами и быстро забыл эту особу, с которой решил больше не встречаться. Я думал, что она ничего не заметила, мне даже и на ум не прихо-

дило, что у нее может быть свое мнение на этот счет: ведь она была так скромна, так не походила на других женщин. Но через некоторое время я узнал, что она доверительно рассказала третьим лицам о недостаточной моей мужественности. Меня кольнуло чувство обиды, как будто я стал жертвой обмана: она оказалась не такой уж пассивной, как я думал, и могла судить о подобных вещах. Однако я пожал плечами и притворно рассмеялся. Нет, я рассмеялся искренне, слишком уж был незначителен этот случай. Если есть сфера, где скромность должна считаться правилом, то это именно сексуальная жизнь со всеми ее неожиданностями, не правда ли? Так ведь нет, каждый хочет перещеголять других, даже в мыслях, наедине с собой. И несмотря на то, что я пожал плечами, знаете, как я себя повел? Немного позднее встретился с этой женщиной, сделал все, чтобы ее пленить, и снова овладел ею. Это было не очень трудно: женщины тоже не любят разочарований. И с тех пор я почти непроизвольно принялся всячески терзать ее. Я бросал ее и вновь привлекал к себе, принуждал ее отдаваться мне в неподходящее время и в неподходящем месте, всегда и во всем обращался с нею так грубо, что в конце концов даже привязался к

ней, как, думается, тюремщик бывает привязан к заключенному. И так длилось до тех пор, пока она в бурном порыве болезненной и вынужденной страсти откровенно воздала хвалу тому, что ее порабощало. С того дня я стал удаляться от нее. А потом и вовсе забыл.

Несмотря на ваше вежливое молчание, я согласен с вами, что в этом любовном приключении моя роль не из красивых. Но обратитесь к своей собственной жизни, дорогой соотечественник! Покопайтесь в воспоминаниях, может быть, вы найдете среди них подобную же историю и позднее расскажете ее мне. Что касается меня, то, когда это приключение вспоминалось мне, я всегда смеялся. Но уже иным смехом, похожим на тот, который я услышал на мосту Искусств. Я смеялся над своим краснобайством и своими речами в суде. Даже больше над своими судебными речами, чем над краснобайством с женщинами. Им-то я по крайней мере лгал очень мало. Во всем моем поведении так ясно, без уверток говорил инстинкт. Любовный акт, например, ведь это признание. Тут и голый эгоизм, тут и тщеславие, а иной раз подлинное великодушие. Право же, в этой плачевной истории еще больше, чем в других моих романах, и больше, чем я думаю, я был

откровенным, ибо ясно показал, кто я такой и как я мог бы жить. Но даже тогда — нет, именно тогда, когда я вел себя так, как рассказал сейчас, — в моей личной жизни было больше достоинства, чем в моих высокопарных адвокатских разглагольствованиях о невиновности и правосудии. По крайней мере, вглядываясь в свое поведение с женщинами, я не мог обманываться насчет истинной сути моей натуры. Человек никогда не бывает лицемером в своих удовольствиях, где-то я вычитал такую мысль или же сам до нее додумался. Верно сказано, дорогой соотечественник?

Когда я вспоминаю, с каким трудом мне удавалось окончательно порвать с женщиной — с таким трудом, что у меня из-за этого бывало по нескольку связей одновременно, — я отнюдь не приписываю это нежности своего сердца. Вовсе не она руководила мною, когда одна из моих возлюбленных, устав ждать Аустерлица нашей страсти, собиралась ретироваться. Тотчас же я раскрывал ей объятия, делал всевозможные уступки, становился красноречив. Я пробуждал в ней нежность и сладостное умиление, а сам испытывал эти чувства лишь по видимости, был только немного взволнован угрозой разрыва и утраты женской привязанности. Правда, иной

раз мне казалось, что я действительно страдаю. Но стоило мятежнице расстаться со мной, как я без труда забывал о ней; впрочем, я помнил о ней ничуть не больше, если она решалась вернуться. Нет, не любовь и не великодушие подстегивали меня, когда мне грозила опасность оказаться покинутым, а только желание быть любимым и получать то, что, по моему мнению, мне полагалось по праву. Убедившись, что я любим, я вновь забывал о своей партнерше, зато сам сиял, приходил в прекрасное настроение и снова становился обаятельным.

Заметьте, кстати, что вновь завоеванная привязанность тяготила меня. В минуты досады я говорил себе тогда, что идеальным выходом была бы смерть увлекшейся мною женщины. Смерть, во-первых, окончательно скрепила бы наши узы, а во-вторых, избавила бы ее от всякого принуждения. Но ведь нельзя желать всем смерти и уничтожить в конце концов население нашей планеты для того, чтобы воспользоваться неограниченной свободой, которая иначе немыслима. Против такого метода восставала моя чувствительность и моя любовь к людям.

Единственное глубокое чувство, которое мне случалось испытывать во всех этих любовных

интригах, была благодарность, если все шло хорошо, если меня оставляли в покое и давали мне полную свободу действий. Ах, как я бывал любезен и мил с женщиной, если только что побывал в постели другой, я словно распространял на всех остальных признательность, которую испытывал к одной из них. Какова бы ни была путаница в моих чувствах, суть их была ясна: я удерживал подле себя своих возлюбленных и друзей для того, чтобы пользоваться их любовью, когда вздумается. Я сам признавал, что мог бы жить счастливо лишь при условии, если на всей земле все люди или по крайней мере как можно больше людей обратят взоры на меня, никогда не узнают иной привязанности, не узнают независимости, готовые в любую минуту откликнуться на мой призыв, обреченные, наконец, на бесплодие до того дня, когда я удостою обласкать их лучом своего света. В общем, чтобы жить счастливо, мне надо было, чтобы мои избранницы совсем не жили. Они должны были получать частицу жизни лишь время от времени и только по моей милости.

Ах, поверьте, мне совсем не доставляет удовольствия рассказывать об этом. Стоит мне вспомнить о той полосе моей жизни, когда я требовал все

и ровным счетом ничего не давал взамен, когда я заставлял многих и многих людей служить мне, а их самих как будто прятал в холодильник, чтобы они всегда были под рукой и я мог бы ими пользоваться по мере надобности, право, уж и не знаю, как назвать то любопытное чувство, которое возникает тогда у меня. Может быть, это стыд? Скажите, дорогой соотечественник, ведь стыд немного жжет душу, верно? Тогда это, пожалуй, стыд или одна из тех нелепых эмоций, которые касаются чести. И во всяком случае, мне кажется, что это чувство не покидало меня с того приключения, которое гвоздем засело у меня в памяти. Я должен рассказать о нем, больше я не могу оттягивать, несмотря на все свои отступления, а в них я проявил столько старания, столько изобретательности, что, надеюсь, вы воздадите мне должное.

Смотрите-ка, дождь перестал! Будьте так любезны, проводите меня до дому. Я устал. Странное дело, устал не оттого, что много говорил, но от одной мысли о том, что мне еще предстоит рассказать. Ну, начнем. Восстановим в нескольких словах главное мое открытие. Буду краток. Зачем много говорить об этом? Долой покровы, которыми закрывают нагую статую, прочь пышные

речи! Так вот. Однажды в ноябрьскую ночь года через три после того вечера, когда мне показалось, что кто-то смеется за моей спиной, я возвращался домой по левому берегу Сены и пересек ее по Королевскому мосту. Был час ночи. Моросил мелкий дождь, скорее изморось, разогнавшая редких прохожих. Я возвращался от своей любовницы, которая, наверное, уже уснула. Мне было хорошо, я чувствовал легкую усталость, успокоенное тело согревала кровь, пробегавшая по жилам неслышно, как этот осенний дождик. На мосту кто-то стоял, перегнувшись через перила, как будто смотрел на реку. Подойдя ближе, я увидел, что это молодая тоненькая женщина, вся в черном. Между черными ее волосами и воротником пальто видна была полоска шеи, беленькой, мокрой от дождя шейки, и это немного взволновало меня. Я на мгновение замедлил шаг, но тут же одернул себя и двинулся дальше. Спустившись с моста на набережную, я двинулся по направлению к бульвару Сен-Мишель, на котором жил. Я прошел уже метров пятьдесят и вдруг услышал шум, показавшийся мне оглушительным в ночной тишине, — шум падения человеческого тела, рухнувшего в воду. Я замер на месте, но не обернулся. И тотчас же раздался крик. Он

повторился несколько раз и как будто спускался вниз по течению, но внезапно оборвался. Молчание, наступившее вслед за тем в застывшем мраке, показалось мне бесконечным. Я хотел побежать и не мог пошевелиться. Я весь дрожал от холода и волнения. Я говорил себе: «Надо скорее, скорее» — и чувствовал, как непреодолимая слабость сковала меня. Не помню уж, что я думал тогда: «Слишком поздно, слишком далеко» — или что-то вроде этого. Я стоял неподвижно, прислушивался. Потом медленно двинулся дальше. И никому ни о чем не сообщил.

Но вот мы и пришли, вот мой дом, мое убежище! Завтра? Хорошо, как хотите. Охотно отвезу вас на остров Маркен, посмотрите на Зёйдерзе. Встретимся в одиннадцать часов утра в «Мехико-Сити». Что? Та женщина? Не знаю, честное слово, не знаю. На другой день и еще несколько дней я не читал газет.

Кукольная деревня, не правда ли? И довольно живописная! Но я привез вас на этот остров не ради его живописности, дорогой друг. Каждый мог бы показать вам эти прелестные чепцы, деревянные башмаки и расписные дома, где сидят рыбаки и курят хороший табак, а в комнате пахнет воском. Нет, я один из тех редких людей, кто

может показать вам то, что здесь действительно стоит посмотреть.

Мы с вами подходим к плотине. Надо идти по ней, идти как можно дальше от этих хорошеньких домиков. Давайте теперь присядем. Ну, что скажете? Самый унылый из всех унылых пейзажей. Посмотрите: налево — что-то вроде груды золы, именуемой здесь дюной; направо — серая плотина, у наших ног белесый песчаный берег, перед нами — море, такого же цвета, как вода в корыте, чуть-чуть подкрашенная синькой, а над этими бледными водами раскинулось широкое небо. Какой-то вялый ад, право! Линии только горизонтальные, ни одного яркого пятна, бесцветное пространство, мертвая жизнь. Все стерто, затушевано, перед глазами образ небытия. Нет людей, главное — нет людей! Только вы и я, и перед нами опустевшая наконец планета. А небо живет еще? Да-да, вы правы, дорогой друг. Оно становится плотным от туч, потом в нем образуются провалы, отворяются врата облаков, видны ступени воздушных лестниц. Там голуби. Вы не заметили, что небо в Голландии заполонили миллионы голубей, невидимых голубей — так высоко они летают; они машут крыльями, поднимаются и спускаются все вместе, наполняют небесное

пространство волнами сероватых перьев, и ветер то уносит их, то мчит обратно. Голуби ждут там, наверху, ждут весь год. Они кружат над землей, смотрят, хотят спуститься. Но ведь внизу нет ничего — только море и каналы, крыши, и на них вывески, и ни одной головы, на которой птица могла бы пристроиться.

Вы не понимаете, что я хочу сказать? Признаться, устал я. Теряю нить, путаюсь в словах, уже нет той ясности мысли, за которую прославляли меня друзья. Впрочем, это я из принципа говорю «друзья». Друзей у меня нет, а только сообщники. Зато число их умножилось — весь род человеческий, и среди них вы — первый. Откуда я знаю, что у меня нет друзей? Да очень просто: открыл этот факт, когда вздумал было покончить с собой, чтобы сыграть с ними злую шутку и в некотором роде наказать их. Но кого тут наказывать? Кое-кто был бы изумлен, и только, а наказанным никто бы себя не чувствовал. Я понял, что у меня не было друзей. Да если б у меня и были друзья, что мне от этого? Если бы я мог, покончив с собой, увидеть, какие у них будут физиономии, тогда да, игра стоила бы свеч. Но в земле темно, гробовые доски толстые, саван не прозрачный. Вот если бы глазами души удалось увидеть. Да существует ли она,

эта душа, и есть ли у нее глаза? Увы, в этом нет уверенности и никогда не было. А иначе нашелся бы выход из положения, можно было бы наконец заставить людей всерьез отнестись к тебе. Ведь убедить их в твоей правоте, в искренности, в мучительных твоих страданиях можно только своей смертью. Пока ты жив, ты, так сказать, сомнительный случай, ты имеешь право лишь на скептическое к тебе отношение. Вот если бы имелась уверенность, что можно будет самому насладиться зрелищем собственной смерти, то стоило бы труда доказать им то, чему они не желали верить, и удивить их. А так что же? Ты покончишь с собой, и тогда не все ли равно, верят тебе они или нет? Ты уже не существуешь, не видишь, кто изумлен, кто сокрушается (недолго, конечно), — словом, не сможешь присутствовать, как о том мечтает каждый, на собственных своих похоронах. Чтобы не давать повод к сомнениям, нужно просто-напросто умереть.

А может, это и хорошо, что мы ничего не увидим? Нам было бы слишком больно от их равнодушия. «Ты за это поплатишься!» — сказала одна девушка своему отцу, не позволившему ей выйти замуж за какого-то прилизанного хлыща. И покончила с собой. Но отец нисколько

не поплатился. Он обожал рыбную ловлю со спиннингом. Через три недели он уже поехал на рыбалку, «чтобы забыться», как он сказал. Отец верно рассчитал — он забыл покойную дочь. По правде говоря, удивляться можно было бы, если бы случилось обратное. Или вот — человек решил умереть, дабы наказать жену, а на деле — возвратил ей свободу. Так лучше уж не видеть всего этого. Да еще ты рисковал бы услышать, какими причинами объясняют твое самоубийство. Что касается меня, я уже заранее знаю: «Он покончил с собой, потому что не мог вынести...» Ах, дорогой мой, как люди недогадливы, какое у них скудное воображение. Они всегда думают, что человек кончает с собой по какой-нибудь одной причине. Но ведь вполне возможно иметь для самоубийства две причины. Нет, это им и в голову не приходит. Так для чего кончать счеты с жизнью, добровольно приносить себя в жертву, пытаясь создать о себе определенное представление! Ты умрешь, а они воспользуются случаем и выдумают идиотские или вульгарные причины твоей смерти. Мученикам, дорогой друг, надо выбирать между забвением, насмешками или использованием их смерти в каких-нибудь целях. А чтобы их поняли?.. Да никогда!

Будем идти прямо к цели. Я люблю жизнь — вот моя подлинная слабость. Так люблю жизнь, что не могу вообразить себе ничего, находящегося за ее пределами. В этой жадности к жизни есть что-то плебейское, вы не находите? Аристократия смотрит на себя и на свою жизнь немножко со стороны. Если понадобится, аристократ умрет, он скорее уж сломается, чем согнется. А я сгибаюсь, потому что все еще люблю себя. Вот после всего услышанного вами как вы думаете, что со мной сталось? Почувствовал я отвращение к себе? Нисколько! Отвращение я почувствовал к другим. Конечно, я знал свои прегрешения и сожалел о своих слабостях и, однако ж, по-прежнему с похвальным упорством забывал их. Зато суд над другими людьми непрестанно шел в моем сердце. Вас это, конечно, коробит? Вы, вероятно, думаете, что это нелогично. Но вопрос тут не в логике. Тут вопрос в том, чтобы как-нибудь ускользнуть, да, главное — увернуться от суда. Я не говорю — ускользнуть от наказания. Наказание без суда можно перенести. У него есть название, гарантирующее нашу невиновность, — несчастье. Нет, речь идет о том, чтобы избежать суда, избежать придирчивого судебного разбирательства, сразу его прервать, чтобы приговор никогда не был

вынесен.

Но избежать суда не так-то легко. Нынче мы всегда готовы и судить и блудить. С той только разницей, что в первом случае нам нечего бояться неудачи. Если сомневаетесь, прислушайтесь когда-нибудь, о чем говорят за табльдотом в августе месяце на курортах, куда наши сострадательные соотечественники приезжают лечиться от скуки. А если и тогда не решитесь сделать вывод, почитайте произведения наших современных знаменитостей или понаблюдайте, что творится среди вашей собственной родни. Поучительные будут наблюдения. Друг мой, не стоит давать даже самого незначительного повода судить нас. А не то нас растерзают, разорвут на клочки. Нам приходится быть столь же осторожными, как укротителю диких зверей. Если он, по несчастью, порезался бритвой, перед тем как войти в клетку к хищникам, он станет для них лакомым кусочком. И я сразу угадал опасность в тот день, как у меня возникло подозрение, что я не такое уж восхитительное создание. С тех пор я стал недоверчив. Раз у меня чуточку вытекло крови, мне конец — всего сожрут!

Мои отношения с современниками внешне оставались прежними, но понемножку расстраи-

вались. Приятели мои не изменились. Они всегда при случае восхваляли то чувство душевной гармонии и надежности, которое они испытывали близ меня. Однако сам-то я замечал лишь диссонансы в своей душе, лишь хаотическую сумятицу; я чувствовал себя уязвимым, отданным во власть общественного мнения. Люди уже не казались мне почтительной аудиторией слушателей, к которой я привык. Круг, центром которого являлась моя особа, разорвался, и они разместились теперь в ряд, как судьи в судебном заседании. С той минуты, как я стал опасаться, что за некоторые вещи можно меня и осуждать, я, в общем, понял, какое у них неодолимое стремление судить. Да, вот они передо мною, как и раньше, но они смеются. Вернее, мне казалось, что каждый встречный смотрит на меня с затаенной усмешкой. В ту пору у меня даже было такое впечатление, будто им хочется подставить мне подножку. Два-три раза я и в самом деле спотыкался без всякой причины, входя в какое-нибудь общественное место. Один раз даже растянулся у порога. Француз-картезианец, каковым я могу себя назвать, быстро взял себя в руки и приписал эти происшествия божеству, доступному нашему рассудку, то есть случайности. Все равно недовер-

чивость меня не покидала.

Поскольку внимание мое обострилось, я без труда открыл, что у меня есть враги. Во-первых, в судейских кругах, а во-вторых, в светских. Одних раздражало, что они обязаны мне какой-нибудь услугой. Другие же полагали, что я обязан был оказать им услугу и не сделал этого. Все это было, конечно, в порядке вещей, и подобные открытия не очень огорчали меня. Куда труднее и печальнее было допустить, что у меня есть враги среди людей, едва мне знакомых и даже совсем незнакомых. По своему простодушию, которое вы, вероятно, заметили во мне, я полагал, что люди незнакомые непременно полюбят меня, если ближе со мной познакомятся. Но представьте себе, нет! Больше всего враждебности я встречал среди тех, с кем имел только шапочное знакомство и сам хорошенько их не знал. Они, несомненно, подозревали, что я живу в полное свое удовольствие, без помех предаваясь счастью, а это не прощается. Облик счастливца, удачника, особенно когда в нем проступают черты самодовольства, может взбесить даже осла. Кроме того, я жил такой полной жизнью, так мало у меня было времени, что я отвергал попытки многих сблизиться со мной. И по той же причине я с легкостью

забывал об этом. Но ведь попытки к сближению делали люди, которые не жили полной жизнью, и уж они-то помнили, что я отверг их.

Таким образом (возьмем один пример), женщины в конечном счете дорого стоили мне. Время, которое я посвящал им, я не мог отдавать мужчинам, а они не всегда мне это прощали. Как тут быть? Счастье и успехи тебе прощают лишь при том условии, что ты великодушно соглашаешься разделить их с другими. Но раз хочешь быть счастливым, ты не можешь чересчур заботиться о других. Положение безвыходное. Будь счастлив и судим или не знай осуждения и будь горемыкой. А ко мне относились еще более несправедливо: меня осуждали за прошлое мое счастье. Я долго жил в иллюзии всеобщего согласия, тогда как со всех сторон в меня, рассеянного, улыбающегося счастливца, недруги метали осуждающие взгляды и стрелы насмешек. В тот день, когда я услышал сигналы тревоги, я вдруг прозрел, почувствовал все нанесенные мне раны и сразу лишился сил. Весь мир принялся смеяться надо мной.

А ведь такого издевательства не может вынести ни один человек (кроме мудрецов, то есть тех, кто не живет). Единственный отпор — это

злоба. И тогда люди спешат осудить тебя, чтобы самим не подвергнуться осуждению. Ну что вы хотите? Самая естественная и самая наивная мысль, которая приходит человеку как бы из глубины его естества, — это мысль, что он не виновен. С этой точки зрения мы все подобны тому французскому мальчику, который в Бухенвальде упорно хотел подать жалобу писцу (тоже из числа заключенных), заносившему его имя в список узников. Жалобу? Писарь и его товарищи засмеялись: «Бесполезно, милый мой. Здесь жалоб не принимают». «Но видите ли, мсье, — говорил маленький француз, — у меня исключительный случай. Я не виновен!»

Мы все — исключительные случаи. Все мы хотим апеллировать по тому или иному поводу. Каждый требует, чтобы его признали невиновным во что бы то ни стало, даже если для этого надо обвинить весь род людской и небо. Вы очень мало обрадуете человека, расхвалив его за те великие усилия, благодаря которым он стал интеллигентным или великодушным. Но зато как он засияет, если вы будете восхищаться его природным великодушием. И наоборот, если вы скажете преступнику, что его преступление не зависит ни от его натуры, ни от его характера, а

от несчастных обстоятельств его жизни, он вам будет бесконечно благодарен. Во время вашей защитительной речи он как раз выберет ту минуту, когда вы говорите про эти обстоятельства, и расплачется. А ведь нет никакой заслуги во врожденной честности или природном уме. Не возрастает, конечно, и ответственность за преступление, если оно совершено в силу преступной натуры его виновника, а не в силу обстоятельств. Но эти мошенники требуют помилования, то есть безответственности, и бесстыдно ссылаются в свое оправдание то на свою натуру, то на смягчающие обстоятельства, даже если одно другому и противоречит. Для них главное, чтобы их признали невиновными, не подвергали сомнению их врожденные добродетели, а их грехи сочли бы следствием несчастного стечения обстоятельств, временной бедой. Я вам говорил: главное — отвертеться от суда. А поскольку это нелегко, — вызвать восхищение собой и в то же время найти оправдание своей натуре дело весьма затруднительное, — все они жаждут богатства. Почему? Вы задумывались над этим? Богатство — это могущество, правильно. Но важнее тут другое: богатство избавляет от немедленного суда, извлекает вас из толпы, осаждающей вагоны метро, и дает вам

блещущий никелем автомобиль, изолирует вас в обширных, бдительно охраняемых парках, в спальных вагонах и пароходных каютах-люкс. Богатство, дорогой друг, — это еще не оправдание преступника, но отсрочка, и то уж хорошо…

Главное — не верьте вашим друзьям, когда они будут просить вас говорить с ними вполне откровенно. Они просто надеются, что своим обещанием ничего от них не скрывать вы поддержите их высокое мнение о себе самих. Да разве откровенность может быть условием дружбы? Стремление установить истину любой ценой — это страсть, которая ничего не пощадит и которой ничто противиться не может. Это даже порок, весьма редко чрезмерное правдолюбие бывает удобным, чаще всего это эгоизм. Так вот, если вы окажетесь в таком положении, не задумывайтесь: обещайте быть правдивым и лгите без зазрения совести. Вы удовлетворите желание друзей и докажете им свою привязанность.

Это бесспорная истина, недаром же мы редко доверяемся тем, кто лучше нас. Скорее уж мы избегаем их общества. Чаще всего мы исповедуемся тем, кто похож на нас и разделяет наши слабости. Мы вовсе не хотим исправляться, не стремимся к самоусовершенствованию: прежде всего нужно,

чтобы нас судили со всеми нашими слабостями. Нам хочется, чтобы нас пожалели и поддержали дух наш. В общем, мы хотели бы и не считаться виновными, и не стараться очиститься. В нас недостаточно цинизма и недостаточно добродетели. У нас нет ни силы зла, ни силы добра. Вы читали Данте? Правда? Вот черт! Вы, стало быть, знаете, как это у Данте? Ведь он допускает, что ангелы были нейтральными в распре между Богом и Сатаной. Он отводит им место в преддверии, так сказать в вестибюле своего ада. Мы с вами в вестибюле, дорогой друг.

Терпение? Вы, разумеется, правы. Нужно набраться терпения и ждать Страшного суда. Но, к несчастью, нам некогда, мы торопимся. Так торопимся, что мне даже пришлось стать судьей на покаянии. Однако мне сначала нужно было привести в порядок свои открытия и уладить дело с насмешками моих современников. С того вечера, когда меня позвали к ответу — а ведь меня действительно позвали, — я обязан был ответить или по крайней мере поискать ответ. Это оказалось нелегко. Я долго блуждал наугад. Но этот постоянный хохот и насмешки научили меня яснее разбираться в себе и увидеть наконец, что я совсем не прост. Вы не улыбайтесь, эта

истина не так уж элементарна, как кажется. Элементарными называют такие истины, которые человек открывает последними, — вот и все.

Как бы там ни было, но после долгого изучения самого себя я установил глубокую двуликость человеческой природы. Порывшись в своей памяти, я понял тогда, что скромность помогла мне блистать, смирение — побеждать, а благородство — угнетать. Я вел войну мирными средствами и, выказывая бескорыстие, добивался всего, чего мне хотелось. Я, например, никогда не жаловался, что меня не поздравили с днем рождения, позабыли эту знаменательную дату; знакомые удивлялись моей скромности и почти восхищались ею. Но истинная ее причина была скрыта от них: я хотел, чтобы обо мне позабыли. Хотел почувствовать себя обиженным и пожалеть себя. За несколько дней до пресловутой даты, которую я, конечно, прекрасно помнил, я уже был настороже, старался не допустить ничего такого, что могло бы напомнить о ней людям, на забывчивость которых я рассчитывал (я даже вознамерился однажды подделать календарь, висевший в коридоре). Доказав себе свое одиночество, я мог предаться сладостной, мужественной печали.

Словом, у казовой стороны моих добродетелей всегда была менее привлекательная изнанка. Правда, в известном смысле мои недостатки оборачивались к моей выгоде. Мне, например, приходилось скрывать темные стороны моей жизни, но эта скрытность придавала мне холодный вид, который посторонние принимали за гордость добродетельного человека, мое равнодушие вызывало любовь ко мне, и больше всего мой эгоизм сказывался в «благородных» моих поступках. Я остановлюсь на этом — слишком большая симметрия повредит убедительности. Да что там, я становился закоренелым сластолюбцем и уже не мог отказаться ни от предложенного стакана вина, ни от женщины, меня манившей! Я слыл деятельным, энергичным, но царством моим было любовное ложе. Я кричал о своей честности, а ведь, пожалуй, каждому и каждой из тех, кого я любил, я в конце концов изменял. Разумеется, мои измены не мешали моей верности профессиональному долгу, при всей моей беспечности я немало трудился: я никогда не переставал помогать ближним, потому что находил в этом удовольствие. Но сколько бы я ни твердил себе эти очевидные истины, они давали мне лишь поверхностное утешение. Иной раз по

утрам я подвергал себя строжайшему суду своей совести и приходил к заключению, что главная моя вина в презрении к людям. И больше всего я презирал тех, кому помогал чаще других. Весьма учтиво, с волнением выражая свое сочувствие, я, в сущности, ежедневно плевал в лицо всем встречным слепым.

А есть ли этому какое-нибудь оправдание? Откровенно говоря, есть, но такое ничтожное, что мне просто неудобно указывать на него. Но как бы то ни было, вот оно. Я никогда не мог до конца поверить, что дела, заполняющие человеческую жизнь, — это нечто серьезное. В чем состоит действительно «серьезное», я не знал, но то, что я видел вокруг, казалось мне просто игрой — то забавной, то надоедливой и скучной. Право, я никогда не мог понять некоторых стремлений и взглядов. С удивлением и даже подозрением смотрел я, например, на странных людей, кончавших с собой из-за денег, приходивших в отчаяние от того, что они лишались «положения», или с важным видом приносивших себя в жертву ради благополучия своей семьи. Мне более понятен был мой знакомый, который вздумал бросить курить и у которого хватило силы воли добиться этого. Однажды утром он развернул газету, про-

чел, что произведен первый взрыв водородной бомбы, узнал, каковы последствия таких взрывов, и немедленно отправился в табачную лавку.

Конечно, я иногда делал вид, что принимаю жизнь всерьез. Но очень скоро мне становилось ясно, как легковесна эта серьезность, и я продолжал играть свою роль, по мере сил изображая из себя человека деятельного, умного, благородного, исполненного гражданских чувств, сострадательного — словом, примерного… Остановлюсь на этом. Вы, вероятно, уже поняли, что я был вроде голландцев: они рядом с нами, но их здесь нет, так и я — я отсутствовал как раз тогда, когда занимал в жизни особенно большое место. По-настоящему искренним и способным на энтузиазм я был лишь в своих занятиях спортом да еще на военной службе, когда мы в полку ставили пьесы для собственного нашего удовольствия. В том и другом случаях существовали правила игры, отнюдь не серьезные, но мы потехи ради признавали их обязательными. Даже теперь переполненный до отказа стадион, где происходит воскресный матч, и страстно любимый мною театр — единственные места в мире, где я чувствую себя ни в чем не повинным.

Но кто же счел бы законной такую позицию,

когда речь идет о любви, о смерти, о заработной плате неимущих? А что мне было делать? Любовь Изольды я мог представить себе лишь в романах или на сцене. А умирающие порою казались мне актерами, проникшимися своей ролью. Реплики моих неимущих клиентов как будто шли по одному и тому же сценарию. И вот, живя среди людей, но не разделяя их интересов, я не мог верить в серьезность своих обязанностей. Из учтивости и беспечности я отвечал тем требованиям, какие предъявлялись моей профессии, моим родственным и гражданским чувствам, но делал это как-то рассеянно, что в конце концов все портило. Я жил под знаком двойственности, и самые важные мои поступки зачастую были самыми необдуманными. Не потому ли я вдобавок ко всем своим глупостям не мог простить себя, хотя и с яростью восставал против суда своей совести и суда окружающих, который я чувствовал и который заставлял меня искать какого-нибудь выхода.

Некоторое время моя жизнь с внешней стороны шла так же, как и раньше, словно ничего в ней не изменилось. Она катилась все по тем же рельсам. И как нарочно, вокруг меня все громче звучали восхваления. Вот откуда пришла беда! Помните?

«Горе вам, когда все будут хвалить вас!» Право, золотые слова! Горе мне и было! Двигатель что-то закапризничал, неизвестно почему, машина останавливалась.

И как раз в это время в мою повседневную жизнь ворвалась мысль о смерти. Я высчитывал, сколько лет еще остается мне до конца. Искал примера, когда умирали люди моего возраста. И меня мучили мысли, что я не успею выполнить свою задачу. Какую задачу? Я и сам не знал. Откровенно говоря, стоило ли труда продолжать то, что я делал? Но вопрос не совсем в этом. В действительности меня преследовал нелепый страх; а что, если я умру, не признавшись во всех своих обманах и лжи? Нет, надо признаться, конечно, не Богу или одному из его служителей. Вы же понимаете, я был выше этого. Нет, надо признаться людям, например своему другу или любимой женщине. Если утаить хоть один обман, он со смертью человека навеки останется нераскрытым. Никогда никто не узнает правды, потому что единственный, кто ее знал, умер, почил вечным сном и унес с собой свою тайну. От мысли о такой бесповоротной гибели правды у меня кружилась голова. Нынче, скажу между прочим, подобное убиение истины скорее до-

ставило бы мне изысканное удовольствие. Меня радует, например, уверенность, что только я один знаю то, что старается разгадать весь мир, — ведь у меня спрятана вещь, которую долго и тщетно разыскивала полиция трех стран. Но в то время я еще не нашел рецепта душевного спокойствия и очень мучился.

Конечно, я одергивал себя. Подумаешь, важность — ложь одного человека в истории многих поколений, и что за претензия пролить свет истины на жалкий обман, затерявшийся в океане веков, как крупинка соли в море! Я говорил себе также, что физическая смерть, если судить по тем случаям, свидетелем которых я был, уже сама по себе достаточная кара, дающая отпущение всех грехов. Ценою предсмертных мук человек получает спасение (то есть право исчезнуть окончательно). Но все равно мое тяжелое настроение все усиливалось, мысли о смерти преследовали меня неотступно, я просыпался и засыпал с ними, и похвалы окружающих становились для меня все более невыносимыми. Мне казалось, что вместе с ними возрастает и становится безмерной моя ложь и мне уже никак не справиться с ней.

Настал день, когда я не мог больше этого выдержать. Первая моя реакция была беспорядочной.

Раз я лгун, я должен показать это, должен бросить мою двуличность в лицо всем этим дуракам, пока они сами ее не обнаружили. Раз истина вызывает меня на поединок, я готов принять бой. Чтобы предотвратить насмешки, я сам обращу себя во всеобщее посмешище. Словом, надо было прервать суд. Я хотел привлечь насмешников на свою сторону или уж по крайней мере самому встать на их сторону. Я задумал, например, толкать слепых на улице, и глухая, совсем нежданная радость, которую я испытывал, замышляя это, показала мне, до какой степени я в глубине души ненавидел их; мне хотелось протыкать шины маленьких автомобильчиков, какие делают для калек, или встать, например, под строительными лесами, на которых работают каменщики и штукатуры, и заорать: «Мерзкая голытьба!», надавать пощечин маленьким детям в вагоне метро. Но я только мечтал о подобных делах и ничего такого не делал, а если и делал что-либо похожее, то забывал про свои выходки. Во всяком случае, само слово «правосудие» приводило меня в удивительную ярость. Я поневоле употреблял его, как и прежде, в своих защитительных речах. Но в наказание себе публично проклинал дух гуманности; я возвестил, что скоро выпущу мани-

фест, в котором разоблачу угнетенных, доказав, что они угнетают порядочных людей. Однажды, когда я ел лангусту на террасе ресторана, меня разозлил надоедливый нищий, я позвал хозяина, попросил его прогнать нищего и с удовлетворением слушал речь этого исполнителя казни. «Вы ведь всех стесняете, — говорил он. — Ну в конце концов, поставьте себя на место приличных господ», — убеждал он нищего. Я говорил всякому встречному и поперечному, как мне жаль, что теперь уж нельзя поступать подобно некоему русскому помещику, восхищавшему меня своим характером: он приказывал кучеру стегать кнутом и тех своих крепостных, которые кланялись ему при встрече, и тех, которые не кланялись, наказывая и тех и других «за дерзость», ибо считал ее в обоих случаях одинаковой.

Вспоминаю, кстати сказать, как я тогда разошелся: начал было писать «Оду полиции» и «Апофеоз гильотины». А главное, заставлял себя посещать те кафе, где собирались наши известные гуманисты. Ввиду моей доброй славы меня они, разумеется, встречали хорошо. И там я как будто нечаянно произносил запретные у них слова. «Слава Богу!» — говорил я или же просто восклицал: «Боже мой!» А вы знаете, каковы наши

ресторанные атеисты, эти робкие богомольцы. Услышав такие ужасные, такие неподобающие слова, они бывали потрясены, молча переглядывались, потом начиналось шумное смятение: одни убегали из кафе, другие поднимали негодующую трескотню, ничего не желая слушать, и каждый корчился, как черт, которого окропили святой водой.

Вам моя выходка кажется ребячеством? Однако ж в этой шутке был, пожалуй, и серьезный смысл. Мне хотелось испортить их игру, а главное — да-да — подорвать мою лестную репутацию, приводившую меня в ярость. «Такой человек, как вы», — любезно говорили мне, и я бледнел от злости. Мне больше не нужно было их уважение, потому что оно не было всеобщим, да и как оно могло быть всеобщим, раз сам я не мог его разделять. Значит, лучше набросить на все — на суд людской и на уважение «порядочного общества» — покров нелепости и насмешки. Мне необходимо было дать выход чувству, которое душило меня. Я хотел разломать красивый манекен, каким я повсюду выступал, и показать всем, чем набито его нутро. Вспоминаю, например, беседу, которую я должен был провести с молодыми адвокатами-стажерами. Раздраженный

невероятными похвалами старшины «сословия адвокатов», представлявшего меня аудитории, я не стерпел. Начал я темпераментно, с заразительным волнением, которого ждали от меня и которое я без труда «выдавал» по заказу. А потом я вдруг стал рекомендовать в качестве метода защиты мешанину. Не ту усовершенствованную мешанину, какая применяется в наших современных судилищах инквизиции, где усаживают на скамью подсудимых одновременно и вора и честного человека, для того чтобы взвалить на второго преступления первого. Нет, речь шла о том, что вора там защищают ценою преступления честного человека, в данном случае — адвоката. Я совершенно ясно выразил свою мысль.

«Предположим, я взялся защищать какого-нибудь трогательного гражданина, совершившего убийство из ревности. Подумайте, господа присяжные, ведь грешно сердиться на этого человека, вы же видите, что его природная доброта подверглась непосильному для него испытанию сексуальной страстью. Насколько важнее то обстоятельство, что я, например, нахожусь не на скамье подсудимых, а на своем адвокатском месте, хотя я никогда не отличался добротой и не страдал, оказавшись жертвой лукавой изме-

ны. Я на воле, я не подлежу суровому вашему суждению, а ведь кто я такой? По чести гордости — сияю, как солнце, а вместе с тем я похотливый козел, гневливый фараон, первостатейный бездельник. Я никого не убивал? Нет еще, конечно! Но, может быть, из-за меня умерли весьма достойные женщины. Очень может быть. И я способен опять взяться за свое. Тогда как этот человек — взгляните на него, — он уже не повторит своего преступления. Он до сих пор не может опомниться от того, что так здорово поработал». Такая речь немного смутила моих молодых собратьев. Но тут же они оправились и принялись хохотать. А потом и совсем успокоились, когда я подошел к заключительной части и красноречиво воззвал в ней к защите человеческой личности и ее предполагаемых прав. Привычка оказалась сильнее меня.

Неоднократно повторяя эти милые выходки, я достиг только того, что несколько поколебал установившееся обо мне мнение. Обезоружить почитателей, а главное, самому сложить оружие мне не удалось. Никакой радости не принесло мне удивление, которое я обычно встречал у своих слушателей, их молчаливое смущение, похожее на то, какое вы сейчас испытываете, —

нет-нет, не протестуйте. Видите ли, недостаточно самому обвинить себя, чтобы стать невиновным, иначе я был бы чистым агнцем. Надо обвинить себя особым образом, мне понадобилось немало времени, чтобы выработать эту манеру, я открыл ее лишь тогда, когда все отшатнулись от меня. А до того времени вокруг меня все реял смешок, и все мои беспорядочные усилия не могли его лишить благожелательного, почти ласкового оттенка, от которого мне становилось больно.

Смотрите-ка, начался, кажется, прилив. Значит, скоро наш пароход отправится обратно. День на исходе. Видите, голуби собрались в вышине. Прижались друг к другу тесно-тесно, едва могут пошевелиться, и свет меркнет. Давайте помолчим, насладимся этим закатным, довольно мрачным часом. Нет? Вас больше интересует моя история? Вы очень любезны. Впрочем, я теперь, пожалуй, и в самом деле могу вас заинтересовать. Прежде чем разъяснить, что такое судья на покаянии, я вам скажу все о распутстве и о каменных мешках.

Вы ошибаетесь, дорогой мой, пароход идет быстро. Но ведь Зёйдерзе — мертвое море, почти что мертвое. Берега плоские, окутанные туманом, не знаешь, где это море начинается, где кончает-

ся. И нет никакой вехи, мы не можем определить скорость движения. Пароход плывет, плывет, а кругом ничего не меняется. Это не плавание, это какой-то сон.

Вот в греческом архипелаге я испытывал совершенно противоположное чувство. На горизонте появлялись все новые и новые острова. Голые, каменные, они очертаниями своих хребтов обозначали границу неба, скалистые их берега четко выделялись на фоне моря. Там уж не спутаешь: столько яркого света, и все становится вехой. У меня было такое впечатление, будто я непрестанно, и днем и ночью, прыгаю по гребням прохладных волн от одного островка к другому, и, хоть наш пароходик еле тащился, мне казалось, что он несется, вздымая пену морскую и взрывы смеха на борту. С тех пор сама Греция плывет во мне, ее неустанно несет течение где-то на краю памяти. О, да и меня захватила и несет волна лиризма! Что ж вы не остановите меня, дорогой?

А кстати сказать, знаете ли вы Грецию? Нет? Тем лучше! Что нам делать в Греции? Там нужны люди чистые сердцем. Представьте себе, друзья там прогуливаются по улицам трогательной парой, держась за руку. Да, женщины сидят дома, а мужчины зрелого возраста, почтенные, усатые

люди, важно шествуют по тротуару, сплетя свои пальцы с пальцами друга. На Востоке тоже так бывает? Возможно. Но вот скажите мне, взяли бы вы меня за руку на улице Парижа? Ну разумеется, я шучу. Мы-то ведь умеем держать себя, мы боимся грязных подозрений. Прежде чем пристать к греческим островам, нам пришлось бы долго мыться. Там воздух так чист, там и море и радости так светлы. А мы…

Посидим на этих шезлонгах. Какой туман! Я, кажется, собирался рассказать вам о каменных мешках? Да, я вам скажу, что это такое. Долго я отбивался, напрасно напуская на себя надменный и дерзкий вид, но, лишившись сил, убедившись в бесполезности моих стараний, я решил расстаться с человеческим обществом. Нет-нет, я не стал искать какой-нибудь необитаемый остров, да их и нет теперь. Я просто нашел себе убежище у женщин. Вы же знаете, они не осуждают по-настоящему наших слабостей, скорее уж попытаются унизить нашу силу, обезоружить нас. Женщина — это награда не воителя, а преступника. Для него женщина — пристань, тихая гавань; в постели женщины обычно его и арестовывают. Женщина! Ведь это все, что нам остается от рая земного, не так ли? Совсем растерявшись, я понесся к этой

естественной пристани. Но теперь я уже не произносил речей. Правда, я еще немного играл роль, по привычке, однако прежней изобретательности у меня не стало. Боюсь признаться (а то опять начнешь ораторствовать), но, кажется, именно в ту пору во мне заговорила потребность в настоящей любви. Цинично, не правда ли? Во всяком случае, меня томила тоска, чувство обездоленности, делавшее меня более уязвимым, случалось, я волей-неволей, отчасти из любопытства брал на себя некоторые обязательства. У меня явилась потребность любить и быть любимым, а посему я вообразил себя влюбленным. Иначе говоря, я совсем поглупел.

Нередко я ловил себя на том, что задаю тот вопрос, которого я, как человек опытный, до тех пор избегал. Я спрашивал: «Ты меня любишь?» Вы, конечно, знаете, какой ответ следует в подобных ситуациях: «А ты?» Если я отвечал: «Да», значит, преувеличивал подлинные свои чувства. А если дерзал ответить: «Нет», рисковал тем, что меня разлюбят и я буду страдать из-за этого. Чем большая опасность угрожала чувству, в котором я надеялся найти покой душевный, тем упорнее я добивался его от своей партнерши. Я дошел до самых недвусмысленных обещаний и требовал

от своего сердца все более глубокого чувства. Тогда-то я и воспылал ложной страстью к очаровательной дурочке, начитавшейся советов в эротических изданиях, а посему говорившей о любви с уверенностью и убежденностью интеллектуала, возвещающего неизбежность бесклассового общества. Вам, конечно, известно, как захватывает такая убежденность. Я тоже попытался говорить о любви и в конце концов убедил самого себя, что я влюбился. По крайней мере я пребывал в этой уверенности до тех пор, пока эта глупышка не стала моей любовницей и я не понял, что авторы, специализировавшиеся на сердечных делах, научили ее толковать о любви, но оставили полной невеждой в любовной практике. Я влюбился в попугайчика, а спать мне пришлось со змеей. Тогда я стал искать у других женщин той любви, о которой говорят книги и которой я никогда не встречал в жизни.

Но искал я без особого увлечения. Ведь больше тридцати лет я любил только самого себя. Разве можно было расстаться с укоренившейся привычкой? И я не расстался с ней, я проявлял лишь слабые попытки восчувствовать страстную любовь. Я множил обещания, я влюблялся сразу в нескольких, как бывало заводил сразу несколько

связей. И навлекал на женщин больше бед, чем во времена моего беспечного равнодушия. Представьте себе, мой попугайчик, дойдя до отчаяния, решила уморить себя голодом. К счастью, я вовремя явился к страдалице и кротко поддержал ее дух до тех пор, пока она не встретила вернувшегося из путешествия на остров Бали интересного инженера с седеющими висками, которого ей уже описал ее излюбленный еженедельник. Во всяком случае, я не только не вознесся, как говорится, на седьмое небо и не получил отпущения грехов, но еще увеличил бремя своих провинностей и заблуждений. После этого я почувствовал такое отвращение к любви, что долгие годы не мог без скрежета зубовного слышать о «Жизни среди роз» или «Любви и смерти Изольды». Я попытался отказаться на свой лад от женщин и жить целомудренно. В конце концов, с меня достаточно было их дружбы. Но пришлось отказаться и от игры. А ведь если отбросить влечение, то с женщинами мне было безмерно скучно; да, по-видимому, и они тоже скучали со мной. Не было больше игры, не было театра — одна лишь неприкрытая правда. Но правда, друг мой, — это скука смертная.

Придя в отчаяние и от любви и от целомудрия,

я наконец решил, что мне еще остается разврат — он прекрасно заменяет любовь, прекращает насмешки людей, водворяет молчание, а главное, дарует бессмертие. Когда ты в полупьяном состоянии, еще не потеряв ясности ума, лежишь поздно ночью меж двух проституток, начисто исчерпав вожделение, надежда, знаете ли, уже не мучает тебя — воображаешь, что отныне и впредь, на все времена, в жизни твоей воцарится холодный рассудок, а все страдания навеки канут в прошлое. В известном смысле я всегда погрязал в разврате, никогда не переставая при этом мечтать о бессмертии. Это было свойственно моей натуре и вытекало также из великой моей любви к самому себе, о которой я уже неоднократно говорил вам. Да я просто умирал от жажды бессмертия. Я слишком любил себя и, разумеется, желал, чтобы драгоценный предмет этой любви жил вечно. Но ведь в трезвом состоянии ты, немного зная себя, не видишь достаточных оснований к тому, чтобы бессмертие было даровано какой-то похотливой обезьяне, а следовательно, надо раздобыть себе суррогаты бессмертия. Из-за того, что я жаждал вечной жизни, я и спал с проститутками и пил по ночам. Утром, разумеется, у меня было горько во рту, как оно и подобает смертному. Но долгие ча-

сы я реял в небесах. Уж не знаю, как и признаться, я все еще с умилением вспоминаю о некоторых ночах, когда я ходил в подозрительный кабак, поджидая подвизавшуюся там танцовщицу, даровавшую мне свои милости; во славу ее я даже подрался однажды вечером с неким хвастливым щенком. Каждую ночь я трепал языком у стойки бара в этом злачном месте, освещенном багряными огнями и пропитанном пылью, врал, как зубодер на ярмарке, и пил, пил. Дождавшись зари, я попадал наконец в вечно не застланную постель моей принцессы, которая машинально предавалась любовным утехам и сразу же засыпала. Потихоньку занимался день, озаряя мое крушение, а я, недвижный, возносился к небесам в лучах славы.

Алкоголь и женщины давали мне, признаюсь, единственное достойное меня облегчение. Открываю вам эту тайну, дорогой друг, не бойтесь воспользоваться ею. Вы сами тогда убедитесь, что настоящий разврат — сущий избавитель, потому что он не налагает никаких обязательств. Распутствуя, думаешь только о самом себе, поэтому-то больше всего и развратничают люди, питающие великую любовь к собственной особе. Разврат — это джунгли без будущего и без прошлого, а

главное, без обещаний и без немедленной кары. Места, предназначенные для него, отделены от мира. Входя туда, оставь и страх и надежду. Разговаривать там не обязательно, то, за чем пришел, можно получить и без слов, а зачастую даже и без денег — да-да. Ах, позвольте уж мне, пожалуйста, воздать хвалу безвестным и позабытым женщинам, которые помогали мне тогда. Еще и до сих пор к воспоминаниям, оставшимся у меня о них, примешивается что-то похожее на уважение.

Как бы то ни было, я без удержу пользовался этими средствами избавления от тоски. Меня видели даже в особой гостинице, отведенной, как говорится, для прелюбодейства, я жил там одновременно с проституткой зрелых лет и с молоденькой девушкой из лучшего общества. С первой я играл роль верного рыцаря, а вторую посвящал в некоторые тайны реальной действительности. К несчастью, проститутка была по природе своей крайне буржуазна: позднее она согласилась написать свои воспоминания для одного церковного журнала, широко открывавшего свои страницы современным проблемам. А молодая девушка вышла замуж, чтобы утолить свои разнузданные страсти и найти применение своим замечательным дарованиям. Могу похва-

литься также, что в это время меня как равного приняла к себе некая мужская корпорация, на которую часто клевещут. Упомяну об этом лишь вскользь; как вам известно, даже очень умные люди гордятся тем, что они способны выпить на одну бутылку больше, чем сосед. Мне, может быть, удалось бы найти в этих приятных развлечениях покой и избавление от мук. Но опять помехой этому оказался я сам. Вдруг заболела печень, да еще напала безмерная усталость, которая и до сих пор не оставляет меня. Вот играешь в игру «жажда бессмертия», а через несколько недель ты уже едва жив и не знаешь, сможешь ли дотянуть до завтра.

Когда я отказался от своих ночных подвигов, жизнь стала менее мучительной, и это была единственная польза от такого эксперимента. Усталость, подтачивающая мое тело, притупила многие шипы, раздиравшие мне душу. Всякое излишество уменьшает жизненную силу, а значит, ослабляет и страдания. В разврате нет ничего неистового вопреки обычному представлению. Это просто долгий сон. Вы, вероятно, замечали, что для людей, искренне страдающих от ревности, важнее всего переспать с той, которая, как они думают, изменила им. Они, разумеется, хотят

лишний раз удостовериться, что драгоценное сокровище по-прежнему принадлежит им. Они, как говорится, жаждут обладания, к тому же сразу после этого они меньше ревнуют. Плотская ревность — это результат воображения, а также и мнения человека о самом себе. Сопернику он приписывает те скверные мысли, какие у него самого были при таких же обстоятельствах. К счастью, от избытка блаженства воображение хиреет так же, как и самомнение. Муки ревности угасают вместе с мужественностью и дремлют так же долго, как и она. По тем же самым причинам юноши после первой любовницы освобождаются от метафизической тревоги, зато некоторые браки, представляющие собою узаконенный разврат, становятся однообразными похоронами смелости и изобретательности. Да, дорогой друг, буржуазный брак обул нашу страну в домашние шлепанцы и скоро приведет ее к вратам смерти.

Я преувеличиваю? Нет, только отвлекаюсь. Ведь я хотел лишь сказать, какую выгоду извлек из нескольких месяцев разврата. Я жил в каком-то тумане, в котором смех, преследовавший меня, звучал так глухо, что я в конце концов даже и не слышал его. Равнодушие, занимавшее уже столько места в моей душе, не встречало боль-

ше сопротивления, и склероз этот все ширился. Больше никаких волнений! Ровное настроение, вернее, отсутствие настроения. У выздоравливающего чахоточного легкие, пораженные туберкулезом, иногда ссыхаются, и мало-помалу счастливый их обладатель погибает от удушья. Так и я спокойно умирал от своего исцеления. Я все еще кормился адвокатским ремеслом, хотя и подорвал свою репутацию дерзкими выпадами в разговорах, но регулярно заниматься судебной практикой мне мешала беспорядочная жизнь. Интересно, кстати, отметить, что мне меньше вменяли в вину мои ночные похождения, чем браваду в моих речах. Чисто ораторские ссылки на Господа Бога в моих судебных выступлениях вызывали недоверие у моих клиентов. Они, вероятно, боялись, что небо не сможет так хорошо защитить их интересы, как искусный адвокат, несокрушимый знаток уголовного и гражданского кодексов. Они вполне могли предположить, что я взываю к Богу в силу своего невежества. Поэтому число их уменьшилось. Время от времени я еще выступал в суде. Иной раз, позабыв о том, что я больше не верю своим словам, я говорил хорошо. Собственный голос увлекал меня, я шел за ним следом; хоть я и не воспарял в небеса, как

раньше, я все же немного отрывался от земли, летел бреющим полетом. Помимо деловых знакомых, я мало с кем виделся, с трудом поддерживал две-три надоевшие связи. Случалось даже, что я отдавал вечера чисто дружеской близости, к которой не примешивались грешные желания, и смиренно переносил эти скучные часы, едва, однако, слушая то, что мне говорили. Я немного пополнел и мог уже надеяться наконец, что кризис миновал. Теперь мне оставалось только стареть.

Но вот однажды, во время морского путешествия, на которое я пригласил свою подружку, не сказав ей о том, что я предпринял его, чтобы отпраздновать свое исцеление, я очутился на борту океанского парохода, на верхней палубе, разумеется; мы плыли в открытом море, и вдруг вдали на поверхности синевато-серых волн я заметил черную точку. Я сразу отвел глаза, сердце у меня забилось. Когда я снова заставил себя посмотреть в ту сторону, черная точка куда-то исчезла. Но я вновь ее увидел и готов был закричать, позвать на помощь. Однако оказалось, что это просто обломок ящика, какие пароходы оставляют за собой. И все же мне нестерпимо было смотреть на него, мне все казалось, что это утопленник.

Тогда без тени возмущения, как смиряются с роковой вестью, давно уже зная, что это правда, я понял, что крик, раздавшийся на Сене много лет назад, разнесшийся где-то за моей спиной, не умолк: река повлекла его к водам Ла-Манша, и он несется теперь по всему свету, в беспредельных просторах океана; он ждал меня до того дня, когда я встретил его. Я понял также, что он и дальше будет ждать меня на морях и реках — словом, повсюду, где окажется горькая вода моего крещения. А ведь здесь мы тоже на воде, верно? На плоской, однообразной, бесконечной поверхности, сливающей свои пределы с пределами земли. Просто не верится, что мы скоро прибудем в Амстердам. Нет, никогда нам не выбраться из этой огромной купели. Прислушайтесь. Вы разве не слышите криков чаек? Они кличут нас. К чему же они нас призывают?

Да это те же самые чайки, которые кричали, которые звали меня в Атлантическом океане в тот день, когда мне стало совершенно ясно, что я не исцелился, что я по-прежнему в тисках и мне надо что-то сделать. Кончена блестящая карьера, но покончено также и с яростью и неистовыми скачка́ми. Надо покориться и признать себя виновным. Надо жить в мешке. Да, правда, вы не

знаете, что такое «мешок»! Так называли в средние века каземат подземной темницы. Обычно заключенного бросали туда на всю жизнь. Этот каземат отличался от других камер остроумно вычисленными размерами. Он был недостаточно высок, чтобы можно было выпрямиться во весь рост, и недостаточно длинен, чтобы можно было лежать. Приходилось поневоле жить там скрючившись, «по диагонали», сон сваливал человека с ног; бодрствуя, он вынужден был сидеть на корточках. Друг мой, какая это была гениальная находка. Так просто, а вместе с тем гениально, я говорю это, взвешивая свои слова. Непрестанная, вынужденная неподвижность, от которой затекало онемевшее тело, заставляя осужденного смиряться с мыслью, что он виновен, а невиновность дает право весело потянуться. Можете вы себе представить в таком «мешке» человека, привыкшего к горным высотам и верхним палубам? Что? Разве можно было жить в таких казематах и быть невиновным? Невероятно, совершенно невероятно! А иначе разобьется весь ход моих рассуждений. Чтобы невиновному да пришлось жить, превратившись в горбуна, — нет, я отказываюсь допустить хотя бы на минуту подобную гипотезу! Впрочем, нельзя никого считать неви-

новным, зато с уверенностью можно утверждать, что все мы виноваты. Каждый человек свидетельствует о преступлении всех других — вот моя вера и моя надежда.

Поверьте, религии ошибаются, как только начинают создавать принципы нравственности и мечут громы и молнии, устанавливая заповеди. Нет необходимости в боге, чтобы возложить на кого-нибудь бремя вины и наказать за нее. Это прекрасно сделают наши ближние с нашей помощью. Вот вы сказали о Страшном суде. Позвольте мне почтительно посмеяться над этим. Я жду его бестрепетно, ведь я изведал кое-что страшнее: суд человеческий. Для него нет смягчающих обстоятельств, даже благие намерения он вменяет в вину. Слышали вы хотя бы о камере плевков? Какой-то народ недавно придумал такую камеру, чтобы доказать, что он самый великий народ на земле. Это каменный ящик, в котором заключенный стоит во весь рост, но двигаться не может. Прочная дверь этой каменной скорлупы доходит ему до подбородка. Значит, видно только его лицо, которое каждый тюремный сторож, проходя мимо, орошает обильным плевком. Узник, втиснутый в ящик, не может утереться, но ему, правда, позволено закрывать глаза. Ну вот,

дорогой мой, вот вам изобретение ума человеческого. Для этого маленького шедевра Бог людям не понадобился.

Что я хочу сказать? Да то, что единственная польза от Бога была бы, если б он гарантировал невиновность, и на религию я смотрел бы скорее как на огромную прачечную, чем она, кстати сказать, и была когда-то, но очень недолго — в течение нескольких лет — и не называлась тогда религией. Однако с тех пор не хватает мыла, а так как носы у нас грязные, то мы их друг другу вытираем. Все пакостные, все наказанные, а туда же, плюем на провинившихся, и хлоп — в каменный мешок! Давай, кто кого переплюнет, вот и все. Я вам сейчас открою большой секрет, дорогой мой. Не ждите Страшного суда. Он происходит каждый день.

Нет, не беспокойтесь, я озяб немножко, оттого и дрожу. Такая сырость проклятая! Да мы уже и подплываем. Стоп! Нет-нет, вас пропускаю вперед. Но только не уходите, пожалуйста, проводите меня немножко. Я еще не кончил, надо продолжить. А продолжать-то как раз и трудно. Погодите, вы знаете, за что его распяли — того самого, о ком вы, может быть, думаете в эту минуту? Разумеется, было много причин. Всегда найдутся причины

для того, чтобы убить человека. И наоборот, невозможно оправдать помилование. Преступление всегда найдет защитников, а невиновность — только иногда. Но, помимо тех причин, какие нам усердно объясняли в течение двух тысяч лет, была еще одна важная причина этой ужасной казни, и я не знаю, почему ее так старательно скрывают. Истинная причина вот в чем: он-то сам знал, что совсем невиновным его нельзя назвать. Если на нем не было бремени преступления, в котором его обвиняли, он совершил другие грехи, даже если и не знал какие. А может быть, и знал? Во всяком случае, он стоял у их истока. Он, наверное, слышал, как говорили об избиении младенцев. Маленьких детей в Иудее убивали, а его самого родители увезли в надежное место. Из-за чего же дети умерли, если не из-за него? Он этого не хотел, разумеется. Перепачканные кровью солдаты, младенцы, разрубленные надвое, — это было ужасно для него. И конечно, по самой сущности своей он не мог их забыть. Та печаль, которую угадываешь во всех его речах и поступках, — разве не была она неисцелимой тоской? Он ведь слышал по ночам голос Рахили, стенавшей над мертвыми своими детьми и отвергавшей все утешения. Стенания поднимались

во мраке ночном, Рахиль звала детей своих, убитых из-за него, а он-то, он был жив!

Он знал все сокровенное, все постигнул в душе человеческой (Ах! Кто бы мог подумать, что иной раз не так преступно предать смерти, как не умереть самому!), он день и ночь думал о своем безвинном преступлении, и для него стало слишком трудно крепиться и жить. Лучше было со всем покончить, не защищаться, умереть, чтобы не сознавать себя единственным уцелевшим, не поддаваться соблазну уйти куда-нибудь в другое место, где его, может быть, поддержат. Его не поддержали, он на это возроптал, и тогда его стенания подвергли цензуре. Да-да, кажется, это евангелист Лука выбросил из текста его жалобный возглас: «Зачем ты покинул меня?» — ведь это мятежный возглас, не правда ли! Живо, ножницы сюда! Заметьте, однако, что, если бы Лука ничего не вычеркнул, жалобу распятого едва бы заметили; во всяком случае, она не заняла бы большого места. А запрещение цензора превратило возглас в крик. Странно все устроено в мире.

Но все равно тот, кто подвергся цензуре, не мог продолжать. Я, дорогой мой, знаю, что говорю. Было время, когда мне каждую минуту казалось, что до следующей минуты мне не дожить. Да, можно

в этом мире вести войны, кривляться, изображая любовь, мучить своего ближнего, распускать павлиний хвост в газетах или просто-напросто злословить о своем соседе, занимаясь при этом вязанием. Но в иных случаях продолжать свое существование, только продолжать, — для этого надо быть сверхчеловеком. А ведь он, поверьте, не был сверхчеловеком. Он возроптал, он пожаловался на свои муки, и потому-то я люблю его, друг мой, люблю его, умершего в неведении.

К несчастью, нас он оставил одних, и мы живем, что бы ни случилось, даже когда мы брошены в каменный мешок, когда мы изведали то, что он изведал, но оказались не способны сделать то, что он сделал, и умереть так же, как он. Разумеется, кое-кто попытался обратить себе на пользу его смерть. В конечном счете было гениальной выдумкой сказать нам: «Да, вы не блещете добродетелями — это факт. Но не будем вдаваться в подробности! Вы искупите все сразу, когда вас распнут на кресте!» Теперь слишком много страдальцев карабкается на крест, желая, чтобы их видели издалека, даже если им надо для этого попрать ногами того, кто уже давно распят. Слишком много людей решило творить милосердие без великодушия. Ах, как же несправедливо, как

несправедливо с ним поступают! У меня просто сердце сжимается от обиды.

Ну вот, смотрите — опять на меня нашло: собрался выступить с защитительной речью. Простите меня, пожалуйста, надеюсь, вы поймете, почему так происходит. Знаете, неподалеку отсюда находится музей, который носит такое название: «Господь Спаситель наш над нами!» В давние времена голландцы устраивали свои катакомбы на чердаках. Что поделаешь, подземелья здесь затопляет. Нынче, не беспокойтесь, их Господь Спаситель не обретается ни на чердаке, ни в подземелье. Они в тайне сердца своего вознесли его на стену трибуналов и от его имени бьют со всего размаха, а главное — судят, осуждают. От его имени! Он-то кротко говорил блуднице: «И я тоже не осуждаю тебя». Но для них это не важно, они осуждают, они никому не отпускают грехов. «Во имя Господа получай пощечину. На тебе!» Во имя Господа? Он не требовал такого рвения, друг мой. Он хотел, чтобы его любили, и только. Конечно, есть люди, которые его любят, даже среди христиан. Но сколько их? По пальцам можно перечесть. Он, впрочем, предвидел это — у него было чувство юмора. Апостол Петр, как известно, струсил и отрекся от него: «Я не знаю этого че-

ловека… Не знаю, что ты хочешь сказать и т. д.». Ужасно испугался! А Учитель так остроумно ему сказал: «На сем камне воздвигну я церковь свою». Какая ирония! Дальше уж некуда! Вы не находите? И что же, они опять восторжествовали: «Вы же видите, Он сам так сказал!» Он действительно так сказал, с полным пониманием дела. А потом ушел навеки, предоставив им судить и выносить приговоры. На устах — прощение, а в сердце — суровый приговор.

И ведь нельзя сказать, будто в мире уже нет сострадания, где там, великие боги! Мы без конца о Нем говорим. Просто теперь больше никого не оправдывают. Невиновность умерла, а судьи так и кишат, судьи всех пород — из воинства Христа и из воинства Антихриста; впрочем, это одно племя, они помирились друг с другом, придумав каменный мешок. Нельзя все валить только на христиан. Другие тоже не стоят в сторонке. Знаете, во что превратили в этом городе дом, где некогда жил Декарт? В сумасшедший дом! Да-да, повсюду теперь бред безумия и преследования. Разумеется, и мы волей-неволей в этом участвуем. Вы уже могли заметить, что я ничего не щажу. Да, мне думается, и вы не меньше моего порицаете миропорядок. Ну, а раз мы все стали

судьями, все мы друг перед другом виноваты, все мы подобны Христу, на свой грешный лад, всех нас одного за другим распинают на кресте, а сами палачи того и не ведают. Так было бы и со мной, Кламансом, если бы я не нашел выхода, единственного разрешения задачи — словом, не открыл бы истину…

Нет, не бойтесь, дорогой друг, не бойтесь. На сем я останавливаюсь. Да мы сейчас и простимся — вот мой дом. В одиночестве, в час усталости охотно считаешь себя пророком — что поделаешь! В конце концов я и стал пророком, укрывшимся в пустыне, созданной из камня, туманов и стоячих вод, но речи мои — пустословие, ибо наше время — царство пошлости, и назвать меня можно Илией, непосланным мессией, взвинченным от лихорадки и джина, пророком, который прислонился к вот этой липкой двери и, воздев палец к низкому небу, проклинает беззаконников, кои не могут переносить суждения о них. Да-да, они не могут, дорогой мой, переносить никакого суда над ними — в этом все и дело. Кто соблюдает закон, не боится суда, ибо признан будет верным велениям закона. Но величайшая мука для человека — подвергнуться суду беззаконников. А ведь нам и приходится ее терпеть. Не зная по природе

своей никакого удержу, разъяренные судьи наугад хватают, хватают жертвы беззакония своего. Что же нам остается делать? Опередить преследователей, не правда ли? Вот и идет великая суматоха. Множится число пророков и целителей, они спешат принести нам благие законы или непогрешимый общественный строй, пока земля еще не обезлюдела. Счастье ваше, что я пришел к вам. Ибо я — начало и конец, я возвещаю закон. Словом, я — судья на покаянии.

Да-да. А завтра я скажу вам, в чем состоят эти прекрасные обязанности. Послезавтра вы уезжаете, так надо поторопиться. Приходите ко мне, пожалуйста. Звонить надо три раза. Вы возвращаетесь в Париж? Париж далеко, Париж прекрасен, я не позабыл его. Помню его сумерки в такое же вот осеннее время. На крыши, сизые от дыма, спускается вечер, сухой, хрустящий, город глухо гудит, а река словно течет в обратную сторону. Я бродил тогда по улицам. Такие, как я, бродят там и теперь, я это знаю. Они бродят, а делают вид, будто спешат к усталой жене, в свой суровый дом… Ах, друг мой, знаете ли вы, каково одинокому человеку бродить по улицам в больших городах?..

Мне ужасно неловко, что я принимаю вас, лежа

в постели. Нет-нет, ничего серьезного, немножко лихорадит: я лечусь джином. Знакомое дело эти приступы. Малярия. Я подхватил ее, вероятно, в те времена, когда был папой римским. Нет, это только наполовину шутка. Я знаю, что вы думаете: «Трудно отличить правду от выдумки в его рассказах». Сознаюсь, трудно. Я и сам… Видите ли, один из близких моих знакомых делил людей на три разряда: одни предпочитают лучше уж ничего не скрывать, только бы не лгать, другие предпочитают солгать, но никогда не откажутся от того, что следует скрыть, а третьи готовы и приврать, и кое-что держать в тайне. Предоставляю вам самому выбрать, к какому разряду правильнее всего меня отнести.

Да разве все это важно? Ложь изреченная в конечном счете приводит к правде. Разве мои рассказы, правдивые или выдуманные, не имеют одной и той же цели, одного и того же смысла? Так не все ли равно, правдивы они или выдуманы, если в обоих случаях они рисуют, кем я был и кем стал теперь. Иной раз яснее разберешься в человеке, который лжет, чем в том, кто говорит правду. Правда, как яркий свет, ослепляет. Ложь, наоборот, — легкий полумрак, выделяющий каждую вещь. Ну, думайте что угодно, а меня

назначили папой в концлагере.

Присядьте же, пожалуйста. Прошу вас. Вам любопытна моя комната? Стены голые, но все тут опрятно. Подобие картины Вермеера, но без шкафов и кастрюль. И без книг тоже — я уже давно бросил читать. Когда-то у меня в доме полно было наполовину прочитанных книг. Отвратительная манера, такая же противная, как привычка иных привередников, которые отщипнут кусочек от паштета из гусиной печенки, а остальное выбрасывают вон. Впрочем, я теперь люблю только исповеди, но авторы этих исповедей пишут главным образом для того, чтобы ни в чем не исповедаться и ничего не сказать из того, что им известно. Когда они якобы переходят к признаниям, тут-то им и нельзя доверять: сейчас начнут подрумянивать труп. Поверьте мне, я в этой косметике разбираюсь. Ну, я сразу обрезал. Долой книги, долой и лишние вещи — только строго необходимое, чтобы было чисто и отлакировано, как гроб. Кстати сказать, эти голландские постели жестки, как камень, а безупречной белизны простыни, благоухающие чистотой, подобны смертному савану.

Вам любопытно познакомиться с моими приключениями, которые возвели меня в сан папы?

Знаете ли, самые банальные обстоятельства. Хватит ли только у меня сил рассказать о них. Да, лихорадка, кажется, стихает. А события эти давние. Происходили они в Африке, где благодаря господину Роммелю заполыхало пламя войны. Я в нее не вмешивался, нет, не беспокойтесь. Я уже все покончил и с той войной, что шла в Европе. Конечно, меня мобилизовали, но я ни разу не был под огнем. Пожалуй, стоило пожалеть об этом. Может быть, это многое изменило бы. Французской армии я на фронте не потребовался. Меня только заставили участвовать в отступлении. Таким образом я снова увидел Париж и немцев. Меня соблазняла мысль о Сопротивлении — о нем начали говорить как раз в тот момент, когда я открыл в себе чувство патриотизма. Вы улыбаетесь? Напрасно. Я сделал это открытие в коридорах метро, на станции «Шатле». В лабиринте переходов там заблудилась собака. Большая, шерсть жесткая, одно ухо торчит, другое обвислое, в глазах любопытство. Пес скакал, обнюхивал икры проходивших людей. Я люблю собак, всегда любил их верной, нежной любовью. Я подозвал этого пса, он заколебался, но, видимо, почувствовал ко мне доверие и, восторженно виляя хвостом, побежал на несколько метров впереди меня. И

тут меня обогнал весело шагавший немецкий солдат. Поравнявшись с собакой, он погладил ее по голове. И пес без колебания пошел рядом с ним, так же радостно виляя хвостом, и исчез с этим немцем. Я почувствовал не только досаду, а лютую злобу к этому немецкому солдату — и тогда я понял, что во мне заговорил патриотизм. Пойди собака за французом, я об этом и думать бы позабыл. А тут мне все представлялось, как этот симпатичный пес станет любимцем немецкого полка, и это приводило меня в ярость. Испытание было убедительное.

Я пробрался в южную зону с намерением разузнать там о Сопротивлении. Но, получив на месте сведения, я заколебался. Движение показалось мне немного безрассудным и, прямо сказать, романтичным. А главное, думается, подпольная работа не соответствовала моему темпераменту и моей любви к высотам, овеваемым чистым воздухом. Мне казалось, что от меня потребуют ткать ковер в подземелье, ткать его долгие дни и ночи, а тупые негодяи придут и, обнаружив меня, сначала искромсают все мое рукоделье, потом потащат меня в другой подвал, будут там пытать и убьют меня! Я восхищался теми, кто оказался способен на этот подземный героизм, но сам не

мог следовать их примеру.

Тогда я переехал в Северную Африку, питая смутные намерения добраться оттуда до Лондона. Но в Африке положение было неясным, обе противостоящие друг другу группировки казались мне одинаково правыми, и я воздержался. Понимаю по вашему виду, что вы находите мое изложение этих немаловажных подробностей слишком поверхностным. Ну что ж, если я правильно оценил вас, то именно моя торопливость и заставит вас обратить на них сугубое внимание. Как бы то ни было, я в конце концов очутился в Тунисе, где нежная моя подруга устроила меня на службу. Она была очень культурной особой и работала в кино. Я последовал за ней в Тунис и узнал ее настоящую профессию только после высадки союзников в Алжире — в тот день, когда немцы арестовали ее. Вместе с нею на всякий случай забрали и меня. Что сталось с нею, не знаю. А мне не причинили никакого зла, и после ужасной тревоги я понял, что мой арест скорее произведен в целях безопасности. Меня интернировали в концлагерь под Триполи; заключенные страдали там не столько от жестокого обращения, сколько от жажды и отсутствия одежды. Описывать нашу жизнь в лагере не стану. Мы,

дети середины двадцатого века, не нуждаемся в рисунках, чтобы представить себе такого рода места. Сто пятьдесят лет назад людей умиляли озера и леса. А нынче нас приводят в лирическое волнение тюремные камеры. Итак, я доверюсь вашему воображению, только прибавлю несколько штрихов: зной, отвесные лучи солнца, мухи, песок, отсутствие воды.

Со мной был там один молодой француз, человек верующий. Да, прямо как в сказке. По характеру — сущий рыцарь Дюгеклен. Он отправился из Франции в Испанию, чтобы сражаться с немцами. А католический генерал интернировал его, и, видя, что во франкистских концлагерях чечевичная похлебка для заключенных получала, осмелюсь сказать, благословение папы римского, он впал в глубокое уныние. Ни знойные небеса Африки, в которой он очутился затем, ни вынужденные досуги в концлагере не могли исцелить его от этого уныния. Наоборот, от постоянного раздумья и невыносимого солнца он стал немного ненормальным. Однажды, когда под тентом, с которого как будто струилось расплавленное олово, нас сидело человек двенадцать, задыхаясь и тщетно отгоняя мух, Дюгеклен, как обычно, начал обличать папу римского, которого он назы-

вал Римлянин. Оборванный, обросший бородой, он смотрел на нас блуждающим взглядом, голый, худой его торс покрыт был потом, пальцы костлявых рук барабанили по выступающим ребрам. Он заявил нам, что нужно избрать нового папу, который жил бы среди несчастных, вместо того чтобы молиться, сидя на престоле, и чем скорее произвести перемену, тем лучше. Пристально вглядываясь в нас сумасшедшими своими глазами, он твердил, кивая головой: «Да, чем скорее, тем лучше». И, вдруг успокоившись, сказал мрачным тоном, что далеко ходить не надо — выбрать следует кого-нибудь из нас, взять человека цельного, имеющего и недостатки и достоинства, и принести ему клятву в повиновении, поставив одно-единственное обязательное условие: пусть он поддерживает и в себе и в других чувство нашей общности в страданиях. «У кого из нас больше всего слабостей?» — сказал он. Шутки ради я поднял руку — больше никто не отозвался. «Хорошо, Жан Батист подойдет». Нет, он не так сказал — ведь я носил тогда другое имя. Во всяком случае, он объявил, что, выставив свою кандидатуру, я проявил незаурядное мужество, и предложил избрать меня. Остальные согласились, с некоторой важностью играя эту комедию.

По правде сказать, Дюгеклен произвел на нас впечатление. Даже я, как помнится, не смеялся. Во-первых, я полагал, что мой юный пророк прав, а тут еще солнце, изнурительный труд, сражения из-за воды — словом, мы были немного не в себе. Во всяком случае, я несколько недель исполнял обязанности папы римского, и притом самым серьезным образом.

В чем же они состояли, эти обязанности? Право, я был чем-то вроде начальника группы или секретаря ячейки. Остальные, даже неверующие люди, привыкли повиноваться мне. Дюгеклен страдал, я облегчал его страдания. Я заметил тогда, что быть папой не так легко, как думают, и мне вспомнилось это вчера, после моих презрительных обличений по адресу судей, моих собратьев. Важнейшим вопросом в лагере было распределение воды. Кроме нашей, образовались и другие группы, люди объединялись по политическим взглядам или по вероисповеданию, и каждая группа покровительствовала своим. Мне тоже приходилось покровительствовать своим, то есть поступать немного против совести. Но даже и в своей группе я не мог установить полного равенства. В зависимости от состояния здоровья моих товарищей или от тяжести работ, которые

они выполняли, я отдавал преимущество то одному, то другому. А такие различия заводят далеко, можете мне поверить. Нет, право, я очень устал, и мне совсем не хочется вспоминать о тех временах. Скажу только, что я дошел до предела — в тот день, когда выпил воду умирающего товарища. Нет-нет, не Дюгеклена, он тогда, помнится, уже умер — слишком много терпел лишений ради других. Да и если б он был тогда жив, я дольше боролся бы с жаждой из любви к нему — ведь я любил его, да, любил, так мне кажется по крайней мере. Но тут воду я выпил, убеждая себя при этом, что я нужен товарищам, нужнее, чем тот, который все равно вот-вот умрет, и я должен ради них сохранить себе жизнь. Вот так-то, дорогой, под солнцем смерти рождаются империи и церкви. А чтобы подправить вчерашние мои высказывания, я сейчас поделюсь с вами глубочайшей мыслью, возникшей у меня, когда я говорил обо всех этих историях (я уж и не знаю теперь, действительно ли я пережил их или видел во сне). А глубочайшая моя мысль вот какая: надо прощать папе. Во-первых, он больше, чем кто бы то ни было, нуждается в прощении. А во-вторых, это единственный способ встать выше его…

Ах, простите, вы хорошо заперли дверь? Да?

Проверьте, пожалуйста. Прошу вас извинить меня — у меня это комплекс. Лягу вечером в постель, уже начинаю засыпать, и вдруг мысль: а запер ли я дверь? Не помню! Каждый вечер приходится вставать проверять. Ни в чем нельзя быть уверенным, я уж это вам говорил. Не думайте, однако, что эта боязнь, эти мысли о задвижке — свойство перепуганного собственника. Еще не так давно я не запирал на ключ ни своей квартиры, ни автомобиля. Я и денег не запирал, не дорожил своей собственностью. Откровенно говоря, я даже немного стыдился, что у меня есть собственность. Случалось, что, ораторствуя в обществе, я убежденно восклицал: «Собственность, господа, — это убийство!» Не отличаясь такой широтой души, чтобы поделиться своими сокровищами с каким-нибудь достойным бедняком, я предоставлял их в распоряжение вполне возможных воров, надеясь, что случай исправит несправедливость. Нынче, однако, у меня ничего нет. И забочусь я не о своей безопасности, а о себе самом, о своем душевном спокойствии. Мне хочется крепко замкнуть ворота моего маленького мирка, где я и царь, и папа римский, и судья.

Кстати, позвольте попросить вас отворить дверцы стенного шкафа. Да-да, там картина.

Посмотрите на нее. Не узнаете? Да ведь это «Неподкупные судьи». Вы не вздрогнули? Так, значит, в вашем образовании имеются пробелы? Однако если вы читаете газеты, то, вероятно, помните о краже, которая совершена была в 1934 году: в Генте из собора Св. Бавона выкрали одну из створок знаменитого напрестольного складня кисти Ван Эйка «Поклонение агнцу». Украденная створка называлась «Неподкупные судьи». На ней изображены были судьи, которые верхом на конях едут поклониться святому агнцу. Похищенную картину заменили превосходной копией, оригинала же так и не нашли. А он вот, перед вами! Нет, я здесь ни при чем. Один из завсегдатаев «Мехико-Сити», тот самый, которого вы заметили в прошлый раз, будучи пьяным, продал сей шедевр хозяину этого кабака за бутылку джина. Я посоветовал нашему другу горилле повесить картину на видном месте, и, пока во всем мире искали наших благочестивых судей, они возвышались в «Мехико-Сити» над головами пьяниц и сутенеров. Потом горилла по моей просьбе отдал картину мне на хранение. Сперва он ворчал, не хотел этого делать, но, когда я разъяснил ему положение, испугался. С тех пор почтенные судейские чиновники составляют все

мое общество. А там, в «Мехико-Сити», картина, как вы видели, оставила след на стене.

Почему я не возвратил картину в собор? Ах, ах! У вас рефлексы полицейского, право! Ну что ж, я вам отвечу так, как ответил бы судебному следователю, если бы только кто-нибудь додумался наконец, что картина попала в мою спальню. Не возвратил я картину, во-первых, потому, что она принадлежит не мне, а хозяину «Мехико-Сити», который так же заслуживает этого, как и епископ Гентский. Во-вторых, никто из тех, кто проходит мимо «Поклонения агнцу», не мог бы отличить копии этой картины от оригинала, и, следовательно, никто не потерпел ущерба по моей вине. В-третьих, я при помощи этой махинации возвышаюсь над толпой невежд. Для всеобщего обозрения и восхищения выставлена подделка, а подлинник-то у меня спрятан! В-четвертых, я таким образом рискую попасть в тюрьму — мысль в некотором отношении соблазнительная. В-пятых, судьи едут на поклонение агнцу, а поскольку больше нет ни агнца, ни непорочности, ловкий жулик, укравший картину, оказался орудием неведомого правосудия, коему не следует перечить. Словом, потому, что таким способом мы восстановили порядок, и, раз правосудие окон-

чательно отделено от невиновности, последняя распята на кресте, а первое скрыто в стенном шкафу — у меня руки развязаны, и я свободно могу действовать согласно моим убеждениям. Я могу со спокойной совестью исполнять трудные обязанности судьи на покаянии, к которым я обратился после многих разочарований и превратностей, и, раз вы уезжаете, пора мне сказать вам наконец, что же это такое.

Позвольте только я сначала лягу повыше, а то дышать трудно. Ах, как я устал! Заприте на ключ моих неподкупных судей. Спасибо. Так вот, судья на покаянии — это как раз и есть моя специальность в настоящее время. Обычно я практикую в «Мехико-Сити». Но дело, к которому человек питает призвание, он вершит и вне постоянного места работы. Я не оставляю его даже в постели, даже когда меня треплет лихорадка. Это, впрочем, не просто профессия, а искусство, я им вдохновляюсь, дышу им, не думайте же, что в течение пяти дней я вел такие длинные речи только для собственного удовольствия. Нет, в свое время я достаточно поупражнялся в пустопорожней болтовне. Теперь мои речи преследуют определенную цель. Разумеется, я стремлюсь к тому, чтобы смолкли насмешки надо мной,

чтобы лично я избежал суда, хотя как будто для этого нет никакой возможности. Больше всего нам мешает ускользнуть от судилища то, что мы первые выносим себе приговор. Стало быть, надо начать с того, чтобы распространить суд на всех, без всяких различий и тем самым уже несколько ослабить его.

Исхожу я при этом из следующего принципа: никаких извинений — никогда и никому. Я отметаю благие намерения, уважительные заблуждения, ложные шаги, смягчающие обстоятельства. У меня не дают поблажки, не дают отпущения грехов. Просто-напросто производят арифметическое действие — сложение — и устанавливают: «Всего столько-то. Вы развратник, сатир, мифоман, педераст, мошенник... и так далее». Вот так-то. Довольно сухо. В философии, как и в политике, я сторонник любой теории, отказывающей человеку в невиновности, и за то, чтобы с ним на практике обращались как с преступником. Я, дорогой мой, убежденный сторонник рабства.

Без рабства, по правде сказать, и не может быть окончательного выхода. Я очень быстро это понял. Прежде я все твердил: «Свобода, свобода!» Я ее намазывал на тартинки за зав-

траком, жевал целый день, и дыхание мое было пропитано чудесным ароматом свободы. Этим великолепным словом я мог сразить любого, кто мне противоречил, я поставил это слово на службу своих желаний и своей силы. Я лепетал его на ухо своим засыпавшим возлюбленным, и оно же помогало мне бросать их. Я шептал его… Впрочем, довольно, я прихожу в возбуждение и теряю меру. Однако мне случалось пользоваться свободой бескорыстно, и даже, представьте себе мою наивность, два-три раза я по-настоящему выступал в защиту ее; конечно, я не шел на смерть ради свободы, но все же подвергался некоторым опасностям. Надо простить мне эту неосторожность, я не ведал, что творил. Я не знал, что свободу не уподобишь награде или знаку отличия, в честь которых пьют шампанское. Это и не лакомый подарок, вроде коробки дорогих конфет. О нет! Совсем наоборот — это повинность, изнурительный бег сколько хватит сил, и притом в одиночку. Ни шампанского, ни друзей, которые поднимают бокал, с нежностью глядя на тебя. Ты один в мрачном зале, один на скамье подсудимых перед судьями, и один должен отвечать перед самим собой или перед судом людским. В конце всякой свободы нас ждет кара; вот почему свобо-

да — тяжелая ноша, особенно когда у человека лихорадка, или когда у него тяжело на душе, или когда он никого не любит.

Ах, дорогой мой, тому, кто одинок, у кого нет ни Бога, ни господина, бремя дней ужасно. Значит, надо избрать себе господина, так как Бог теперь не в моде. К тому же слово это потеряло смысл, и не стоит употреблять его, чтобы никого не шокировать. Но посмотрите на наших моралистов — это такие серьезные люди, они так любят своих ближних! А скажите, чем они отличаются от христиан? Только тем, что не читают проповедей в церквях. Как по-вашему, что им мешает обратиться к Богу? Пожалуй, стыд, да, именно ложный стыд, боязнь суда людского. Они не хотят устраивать скандал и хранят свои чувства про себя. Я вот знал одного писателя-атеиста, который каждый вечер молился Богу. Это не мешало ему расправляться с Богом в своих книгах! Задавал он ему трепку, как сказал кто-то, не помню уж кто. Некий общественный деятель, человек свободомыслящий, которому я рассказал про этого писателя, всплеснул руками (впрочем, беззлобно). «Да для меня это не новость, — воскликнул со вздохом сей апостол, — они все такие!» По его словам, восемьдесят процентов наших писателей

охотней прославляли бы имя Божие в своих произведениях, если бы могли не подписывать их. Но они подписываются, по мнению моего знакомого, из-за того, что любят себя, и ничего не прославляют из-за того, что ненавидят людей. Но так как они все же не могут отказаться от суждения о ближних, они наверстывают на вопросах морали. В общем, они дьявольски почитают добродетель. Странное, право, время! Неудивительно, что происходит смятение умов и что один из моих приятелей, который был атеистом, пока хранил безупречную верность супруге, вдруг обратился в христианство, когда совершил прелюбодеяние.

Ах, эти мелкие скрытники, комедианты, лицемеры — они, однако, очень трогательны! Поверьте, все трогательны, даже когда они разжигают в небесах пожар. Атеисты они или богомольцы, чтят ли они Москву или Бостон — все они христиане, так уж у них от отца к сыну идет. Но если нет больше отцовской власти, кто же будет хлопать по пальцам указкой? Люди свободны, пусть уж как-нибудь сами выворачиваются, но, так как они больше всего боятся свободы и кары, ожидающей их за эту свободу, они просят, чтоб их хлопали по пальцам, изобретают страшные указки, спешно воздвигают костры, чтобы заме-

нить ими церковь. Сущие Савонаролы, право! Но они верят только в смертный грех и никогда не поверят в благодать. О благодати они, конечно, думают. Они мечтают о благодати, о всеобщем «да», о непосредственности, благоденствии и, как знать (ведь они сентиментальные), грезят о помолвках: невеста — молоденькая, свеженькая девушка, жених — статный мужчина, в честь обручения гремит музыка. А я не отличаюсь сентиментальностью, так знаете, о чем я мечтал? О том, чтобы предаваться любви душой и телом, день и ночь, в непрестанном объятии, в экстазе наслаждения — и пусть так будет пять лет, а потом — смерть. Увы!

Ну а раз нет целомудренных помолвок или непрестанной любви, пусть уж будет брак со всей его грубостью, супружеской властью и плеткой. Главное — чтобы все стало просто, как для ребенка, чтобы каждое действие предписывалось да чтобы добро и зло были определены произвольно, зато вполне очевидно. И я на это согласен, при всем моем сицилианстве и яванстве, а уж к христианам меня никак нельзя отнести, хотя к первому из них я полон самых добрых чувств. Но на парижских мостах я узнал, что и я боюсь свободы. Да здравствует же господин, каков бы

он ни был, лишь бы он заменял закон небес! «Отче наш, временно находящийся на земле… О руководители наши, главари очаровательно строгие, вожаки жестокие и многолюбимые!..» Словом, как видите, главное в том, чтобы не быть свободным и в раскаянии своем повиноваться тому, кто хитрее тебя. И раз все мы будем виновны — вот вам и демократия. Да еще учтите, дорогой друг, ведь надо отомстить за то, что мы должны умирать одиноко. Умираем мы в одиночестве, а рабство — всеобщее состояние. Не только мы, но и другие будут порабощены одновременно с нами — вот что важно. Все наконец объединятся, правда, стоя на коленях и склонив голову.

Значит, совсем неплохо в своей жизни уподобиться обществу, а разве для этого не нужно, чтобы общество походило на меня? Угрозы, позор, полиция — таковы священные основы этого сходства. Раз меня презирают, преследуют, принуждают, стало быть, я имею право развернуться вовсю, показать свое нутро, быть естественным. Вот почему, дорогой мой, торжественно восславив свободу, я втайне решил, что надо срочно отдать ее кому угодно. И всякий раз, как я могу это сделать, я проповедую в своей церкви — в «Мехико-Сити», призываю добрых людей покориться

и смиренно добиваться удобного состояния рабства, называя его, однако, истинной свободой.

Но я еще не сошел с ума и прекрасно понимаю, что рабство не настанет завтра. Это одно из благодеяний, которые принесет нам будущее. А пока что мне надо приспособиться к настоящему и поискать хотя бы временный выход. Вот и пришлось найти способ распространить осуждение на всех, чтобы бремя его легче стало для меня самого. И я нашел способ. Будьте добры, приоткройте окно, здесь невероятно жарко. Широко не отворяйте, меня и знобит к тому же. Мысль моя очень проста и плодотворна. Как сделать, чтобы все поголовно окунулись в воду, а ты бы имел право сохнуть на солнышке? Не подняться ли на кафедру проповедника, как многие мои знаменитые современники, и не проклясть ли человечество? Нет, опасная штука! В один прекрасный день или ночь внезапно раздастся хохот. Приговор, который вы бросили другим, в конце концов полетит обратно, прямо в вашу физиономию и нанесет ей повреждения. Ну и как же? — думаете вы. А вот вам гениальная догадка! Я открыл, что, пока еще не пришли властители и не принесли с собой розги, мы должны, как в свое время Коперник, рассуждать от противного,

чтобы восторжествовать. Раз мы не можем осуждать других без того, чтобы тотчас же не осудить самих себя, нужно сначала обвинить себя, и тогда получишь право осуждать других. Раз всякий судья приходит в конце концов к покаянию, надо идти в обратном направлении и начать с покаяния, а кончить осуждением. Вы следите за моей мыслью? Чтобы она стала вам еще яснее, сейчас расскажу, как я работаю.

Прежде всего я закрыл свою адвокатскую контору, уехал из Парижа, путешествовал, пытался устроиться под другим именем в другом городе, где у меня была бы достаточная практика. В мире немало таких городов, но случай, удобство, ирония и потребность в известном самобичевании заставили меня выбрать вот эту столицу воды и туманов, изрезанную каналами, загроможденную домами, место, куда съезжаются люди со всех концов света. Я устроил свою контору в баре матросского района. Клиентура в портах весьма разнообразна. Бедняки не заглядывают в роскошные рестораны, а богачи хоть раз в жизни, как вы сами знаете, попадают к нам. Я главным образом подстерегаю какого-нибудь буржуа, заблудившегося буржуа, и уж на него-то я воздействую во всю мощь своего красноречия. Как виртуоз, извлекаю

из него самые изысканные мелодии.

С некоторого времени я своей полезной профессией занимаюсь в «Мехико-Сити». Она состоит прежде всего в том, что я охотно совершаю публичную исповедь, в чем вы имели случай убедиться. Обвиняю себя напропалую. Это нетрудно, на меня нахлынули воспоминания. Но заметьте, никаких грубых приемов: я каюсь, но не бью себя кулаком в грудь. Нет, у меня гибкая лавировка, множество оттенков и отступлений — словом, я приноравливаюсь к слушателю, и уж тогда он сам подбавляет жару. То, что касается меня, я примешиваю к тому, что касается других. Я схватываю черты, общие для многих, жизненный опыт, выстраданный всеми, слабости, которые я разделяю с другими, правила хорошего тона, требования современного человека, свирепствующие во мне и в других. Из всего этого я создаю портрет, обобщенный и безликий. Так сказать, личину, похожую на карнавальные маски, вернее, на упрощенные изображения, увидев которые каждый думает: «Постой, где же я встречал этого типа?» Когда портрет закончен, как вот нынче вечером, я показываю его и горестно восклицаю: «Увы, вот я каков!» Обвинительный акт завершен. Но тут же портрет, который я протягиваю

моим современникам, становится зеркалом.

Посыпав голову пеплом, неспешно вырываю на ней волосы и, расцарапав себе ногтями лицо, сохраняя, однако, пронзительность взгляда, стою я перед всем человечеством, перечисляя свои позорные деяния, не теряя из виду впечатление, какое я произвел, и говорю: «Я был последним негодяем!» А потом незаметно перехожу в своей речи с «я» на «мы». Когда же я говорю: «Вот каковы мы с вами!» — дело сделано, я уже могу резать им в глаза правду. Я, разумеется, такой же, как они, мы варимся в одном котле. У меня, однако, то преимущество, что я это знаю, и это дает мне право говорить, не стесняясь. Я уверен — вы видите это преимущество. Чем больше я обвиняю себя, тем больше имею право осуждать вас. А еще лучше — подстрекать вас к осуждению самого себя, ведь это для меня такое облегчение! Ах, дорогой мой! Какие мы странные, жалкие создания! Ведь стоит нам приглядеться к своей жизни, мы найдем достаточно оснований удивляться себе и стыдиться своих поступков. Попробуйте и будьте уверены, вашу исповедь я выслушаю с глубоким братским сочувствием.

Не смейтесь! Да, вы клиент трудный, я это сразу увидел. Но вы придете к исповеди. Это неизбежно.

Другие в большинстве своем скорее чувствительны, чем умны, их сразу сбиваешь с толку. С умными людьми надо набраться терпения. Им нужно объяснить свой метод. Они не забудут его, они станут размышлять. И рано или поздно шутки ради, а может быть, в час душевного смятения они все выложат. Вы не только умны, вы, как видно, человек бывалый. Признайтесь, однако, что сегодня вы менее довольны собою, чем пять дней назад. Буду теперь ждать вашего письма или вашего приезда. Ведь вы приедете, я уверен. И найдете, что я не переменился. А почему мне меняться, раз я обрел счастье, соответствующее мне? Я вполне примирился со своей двойственностью, вместо того чтобы приходить из-за нее в отчаяние. Я свыкся с нею и полагаю, что она то самое удобное состояние, которого я искал всю жизнь. В сущности, я неверно вам сказал, что важнее всего избегнуть осуждения. Нет, самое главное — все себе позволять, но время от времени вопиять о своей подлости. Я теперь опять все себе позволяю, но уже не слышу смеха за своей спиной. Я не изменил своего образа жизни, я продолжаю любить самого себя и пользоваться другими. Однако я исповедуюсь в своих грехах, и благодаря этому мне легче все начинать сызнова

и наслаждаться вдвойне — во-первых, угождая своей натуре, а во-вторых, познавая прелесть раскаяния.

С тех пор как я нашел для себя выход, я пустился во все тяжкие, тут все: и женщины, и гордыня, и тоска, и злопамятство, и даже лихорадка, которая, как я с радостью чувствую в эту минуту, все усиливается. Наконец-то пришло мое царство — и теперь уж навсегда. Я опять нашел вершину, на которую мне можно взобраться одному и с нее судить всех и вся. Порой, но очень редко, в какую-нибудь прекрасную, поистине прекрасную ночь, я слышу отдаленный смех и вновь меня охватывает сомнение. Но я живо опомнюсь, обрушу на все живое и на весь мир бремя моего собственного уродства, и опять становлюсь молодцом.

Итак, буду терпеливо ждать приятной встречи с вами в «Мехико-Сити». А сейчас снимите с меня это одеяло, я задыхаюсь. Вы приедете, верно? Я в знак привязанности к вам даже продемонстрирую некоторые подробности моей техники. Вы увидите, как целую ночь я доказываю своим собеседникам, что они негодяи. Кстати сказать, я нынче вечером опять возьмусь за дело. Не могу без этого обойтись, не хочу лишать себя тех минут, когда один из них, с помощью алко-

голя, конечно, рухнет под тяжестью раскаяния и примется бить себя кулаком в грудь. И тогда я поднимаюсь, дорогой, поднимаюсь высоко, дышу свободно, стою на горе и перед глазами моими простирается равнина. Как упоительно чувствовать себя Богом Отцом и раздавать непререкаемые удостоверения о дурной жизни и безнравственности. Я царю среди моих падших ангелов на вершине голландского неба и вижу, как поднимаются ко мне, выходя из туманов и воды, легионы явившихся на Страшный суд. Они поднимаются медленно, но вот уже приближается первый из них. Лицо у него растерянное, наполовину прикрытое рукой, и я читаю на нем печаль о всеобщей участи и горькое отчаяние, ибо он не может избегнуть ее. А я — я жалею, но не даю отпущения грехов, я понимаю, но не прощаю, и главное, ах, я чувствую наконец, что мне поклоняются.

Ну да, конечно, я волнуюсь, как же мне лежать спокойно? Мне надо подняться выше вас, и мои мысли возносят меня. В те ночи, вернее, в рассветные часы, так как падение происходит на заре, я выхожу на улицу и стремительным шагом иду вдоль каналов. В побледневшем небе тоньше становятся слоистые скопления перьев, голу-

би поднимаются немного выше, над крышами брезжит розовый свет, рождается новый день творения моего. На Дамраке в сыром воздухе дребезжит звонок первого трамвая, возвещая пробуждение жизни на краю Европы, в которой в это самое время сотни миллионов людей, моих подданных, с трудом просыпаются, чувствуя горечь во рту, и встают, чтобы идти туда, где их ждет безрадостный труд. А я парю тогда в мыслях над всем этим континентом, который неведомо для себя подвластен мне, я впиваю мутный, как абсент, свет нарождающегося дня, и, опьянев от злобных своих слов, я счастлив, — счастлив, говорю я вам, я запрещаю вам сомневаться, что я счастлив, я смертельно счастлив! О солнце, песчаные берега морей и океанов и острова, овеваемые пассатами, молодость, воспоминания о которой приводят в отчаяние.

Извините, я лягу опять. Боюсь, что очень взволновался. Но я все-таки не плачу. Иной раз совсем растеряешься, сомневаешься в самом очевидном, даже когда откроешь секрет счастливой жизни. Тот выход, какой я нашел, конечно, не назовешь идеальным. Но когда тебе опротивела твоя жизнь, когда знаешь, что надо жить по-другому, выбора у тебя нет, не правда ли? Что сделать, что-

бы стать другим? Невозможно это. Надо бы уйти от своего «я», забыть о себе ради кого-нибудь, хотя бы раз, только один раз. Но как это сделать? Не вините меня чересчур строго. Я как тот старик нищий, который все не выпускал моей руки, получив от меня милостыню на террасе кафе. «Ах, не сердитесь, — говорил он, — не потому до этого доходишь, что ты плохой человек, да вот свет в глазах померк». Да, померк у нас в глазах свет, погасли утренние зори, утратили мы святую невинность, которой прощаются ее грехи.

Смотрите, снег пошел! О, надо мне пойти прогуляться. Спящий Амстердам, белый его покров в ночи, мрачная чернота каналов под заснеженными мостиками, пустынные улицы, мои приглушенные шаги… Очень хороша вся эта мимолетная чистота — ведь завтра будет грязь. Видите, какие огромные белые хлопья распушились за окнами. Это, конечно, голуби. Милые, они решились наконец спуститься! Покрыли и воду и крыши густым слоем белых перьев, трепещут у каждого окна. Какое нашествие! Будем надеяться, что они принесут нам благую весть. Все, все будут спасены, да, а не только избранные, богатства и бремя труда разделят между всеми, и с нынешнего дня вы каждую ночь будете спать на полу ради

меня. Полная гармония, чего там! Признайтесь, однако, что вы обомлеете, если с неба спустится колесница и я вознесусь на ней или вот снег вдруг запылает огнем. Вы не верите в чудеса? Я тоже. Но мне все же необходимо пройтись.

Хорошо, хорошо. Я буду лежать спокойно, не тревожьтесь. Да вы и не очень-то доверяйте моему волнению, моему умилению и бредовым моим речам. Они целенаправленны. Погодите, теперь вы расскажете мне о себе, и тогда я узнаю, достиг ли я своей страстной исповедью хотя бы одной из своих целей. Я все надеюсь, что когда-нибудь моим собеседником окажется полицейский и он арестует меня за кражу «Неподкупных судей». За все остальное никто не может меня арестовать, верно? Но эта кража подпадает под действие закона, и я уж постарался, чтобы меня сочли сообщником: я укрываю у себя драгоценную картину и показываю ее первому встречному. Так вы, значит, можете меня арестовать — это будет хорошее начало. Может быть, займутся потом и всем остальным, может быть, отрубят мне голову, и я избавлюсь от страха смерти, буду спасен. Вы поднимете над собравшейся толпою зрителей мою еще не тронутую тлением голову, чтобы они ее узнали, и вновь я возвышусь над

ними, как образцовый преступник. Все будет кончено, я завершу потихоньку свой путь лже-пророка, вопиющего в пустыне и не желающего выйти из нее.

Но вы, конечно, не полицейский — это было бы слишком просто. Да что вы?.. Адвокат? А знаете, я так и думал. Стало быть, странная симпатия, которую я почувствовал к вам, имела свои основания. Вы занимаетесь в Париже прекрасной деятельностью. Я так и знал, что мы с вами из одного племени. Ведь мы все похожи друг на друга, говорим без умолку, в сущности, не обращаясь ни к кому, и всегда сталкиваемся с одними и теми же вопросами, хотя и знаем заранее ответы на них. Ну, расскажите мне, прошу вас, что случилось с вами однажды вечером на набережной Сены и как вам удалось никогда не рисковать своей жизнью. Произнесите те слова, которые уже много лет не перестают звучать по ночам в моих ушах и которые я произношу наконец вашими устами: «Девушка, ах девушка! Кинься еще раз в воду, чтобы вторично мне выпала возможность спасти нас с тобой обоих!» Вторично? Ох, какая опрометчивость! Подумайте, дорогой мэтр, а вдруг нас поймают на слове? Выполняйте обещание! Бр-р! Вода такая холодная! Да нет, можно не

беспокоиться. Теперь уж поздно, и всегда будет поздно. К счастью!

Изгнание и царство
Новеллы

Неверная жена

Окна в автобусе были закрыты, но внутри уже довольно долго кружила тощая муха. Она летала взад и вперед, как-то нелепо, словно выбившись из сил. Жаннин потеряла ее из виду, а потом увидела, как она села на неподвижную руку мужа. Было холодно. Каждый порыв ветра сопровождался скрипом песка по стеклу, и муха вздрагивала. В неверном свете зимнего утра автобус ехал медленно, с трудом, раскачиваясь, кузов гремел железом, оси грохотали. Жаннин посмотрела на мужа. Узкий лоб с низко растущими вихрами седеющих волос, толстый нос, кривоватый рот придавали Марселю вид капризного фавна. Она чувствовала, как он подскакивает и приваливается к ней на выбоинах шоссе. Потом мощное тело снова выпрямлялось, опиралось на расставленные ноги; застывшие, ничего не выражающие глаза смотрели в одну точку. Единственным, что оставалось в действии, были его руки — толстые, безволосые, казавшиеся еще короче из-за торчавших из-под манжет рукавов нижней фланелевой рубахи, закрывавших запястья. Эти руки с такой силой сжимали маленький

матерчатый чемоданчик, примостившийся между коленями, что, казалось, не ощущали неуверенного движения мухи.

Внезапно ветер взвыл с новой силой, и песчаный туман, окружавший автобус, еще больше сгустился. Создавалось впечатление, будто невидимые руки швыряют песок на окна полными пригоршнями. Муха осторожно пошевелила крылышком, качнулась на ножках и взлетела. Автобус притормозил и почти остановился. Потом ветер словно бы успокоился, туман рассеялся, и машина снова набрала скорость. В пыльном пейзаже появились пятна света. В окне показались две или три чахлые и блеклые пальмы, как будто вырезанные из металла, и через мгновение исчезли.

— Ну и страна! — сказал Марсель.

Заполнившие автобус арабы делали вид, что спят, закутавшись в свои бурнусы. Кое-кто из них забрался на сиденье с ногами, и их качало больше остальных. В конце концов Жаннин почувствовала, что не может выносить их молчание и невозмутимость: ей казалось, что эта безмолвная компания сопровождает ее уже много дней. Между тем автобус отправился в путь с конечной станции у железной дороги на рассвете

холодного утра, и уже два часа ехал по унылой каменистой пустыне, простиравшейся, по крайней мере вначале, ровной линией до красноватого горизонта. Однако потом поднялся ветер, и понемногу огромное пространство скрылось из глаз. С этого момента пассажиры уже ничего не видели; постепенно все замолчали и теперь ехали в тишине, напоминавшей бессонную ночь, изредка вытирая губы и глаза, воспалившиеся от проникавшего в автобус песка.

— Жаннин!

Окрик мужа заставил ее подскочить. Она в который раз подумала о том, как не подходит это смешное имя такой крупной женщине. Марсель хотел узнать, где находится сундучок с образцами. Она пошарила ногой под скамейкой и нащупала какой-то предмет, который приняла за сундучок. Вообще-то она не могла нагнуться, чтобы не начать задыхаться. А ведь в коллеже она была первой спортсменкой, дыхание ее никогда не подводило. Неужели это было так давно? Двадцать пять лет. Двадцать пять лет — это ничто, потому что ей казалось, будто только вчера она выбирала между свободой и браком, только вчера с тревогой думала о времени, когда она, может быть, состарится в одиночестве. Она не

осталась одинокой, и студент-правовед, который хотел никогда с ней не расставаться, теперь находился рядом. Кончилось тем, что она приняла его, несмотря на маленький рост и на то что ей не нравились ни его манера смеяться — скупо и коротко, ни его черные глаза навыкате. Но ей нравился его кураж, типичный для французов, живших в этой стране. Кроме того, ей нравилось озадаченное выражение его лица, когда что-то или кто-то обманывал его ожидания. А больше всего ей нравилось быть любимой, к тому же он окружал ее заботой. Он так часто давал ей почувствовать, что она существует для него, что это существование стало реальностью. Нет, она не была одинокой…

Громкими гудками автобус расчищал себе путь среди невидимых препятствий. В салоне никто не шевелился. Вдруг Жаннин почувствовала на себе чей-то взгляд и повернулась в сторону скамейки, стоявшей напротив, через проход. Сидевший там человек не был арабом, и она удивилась, что не заметила его с самого начала. Он был одет во французскую военную форму; зимняя полотняная фуражка покрывала голову. Его загорелое лицо, вытянутое, с острым носом, напоминало морду шакала. Изучавшие ее свет-

лые глаза смотрели угрюмо и пристально. Она вдруг покраснела и повернулась к мужу, все так же вглядывавшемуся вперед, в туман и ветер. Она закуталась в пальто. Но перед ее глазами по-прежнему стояло лицо французского солдата, длинного и тощего, такого тощего в тщательно пригнанной куртке, что он казался сделанным из какого-то сухого и хрупкого материала, из смеси песка и кости. Именно в этот момент она увидела худые руки и смуглые лица сидевших перед ней арабов и заметила, что, несмотря на широкие одеяния, им вполне хватало места на сиденьях, где они с мужем еле удерживались. Она потуже запахнула полы пальто. А ведь она не была такой уж толстой, скорее крупной и полной, в теле, и еще вполне желанной, — ей было приятно чувствовать на себе взгляды мужчин, — с немного детским выражением лица, ясными светлыми глазами, не очень-то соответствовавшими этому большому телу, сулившему тепло и уют.

Нет, все происходило не так, как она думала. Когда Марсель захотел, чтобы она поехала с ним в командировку, она стала возражать. Он думал об этой поездке уже давно, если точнее — с конца войны, с того момента, как дела пошли на лад. До войны им удавалось неплохо жить на доходы

от маленького магазинчика тканей, который он унаследовал от родителей после того, как бросил учиться на юриста. Молодым людям, живущим на побережье, нетрудно стать счастливыми. Но он не очень любил напрягаться и вскоре перестал водить ее на пляж. Они выезжали из города на своей маленькой машинке только по воскресеньям. В остальное время он предпочитал находиться в своем магазине, среди разноцветных тканей, в тени арок квартала, сочетавшего в себе европейский и местный колорит. Они жили над магазинчиком, в трехкомнатной квартире, украшенной арабскими драпировками и мебелью Барбес. Детей они не завели. Много лет они так и жили, не открывая до конца ставни, в полумраке. Лето, пляжи, прогулки, даже небо были где-то далеко. Марсель, казалось, не интересовался ничем, кроме своей работы. Она решила, что разгадала его настоящую страсть — страсть к деньгам, и это ей не понравилось, хотя она и не очень понимала почему. В конце концов, она этим пользовалась. Он не был жадным; напротив, он проявлял щедрость, особенно по отношению к ней. «Если со мной что-то случится, — говорил он, — тебе будет где укрыться». И в самом деле, надо же укрываться от разных бед. Но где укрыться

от остального, от того, что нельзя назвать бедой? Мысли об этом, не очень ясные, порой приходили ей в голову. А тем временем она помогала Марселю вести бухгалтерию и иногда подменяла его в магазине. Тяжелее всего приходилось летом, когда жара убивала даже сладкое чувство скуки.

А потом вдруг, внезапно, именно в разгар лета, началась война. Марселя мобилизовали, потом отпустили, поставки тканей прекратились, дела застопорились, раскаленные улицы опустели. Теперь, если бы что-то случилось, она уже не нашла бы, где укрыться. Именно поэтому, как только на рынке снова появились ткани, Марсель надумал объезжать деревни на плоскогорье и на юге страны, чтобы обойтись без посредников и вести дела напрямую с арабскими торговцами. Он захотел взять ее с собой. Она знала, что дороги в плохом состоянии, она задыхалась, она предпочла бы остаться и ждать его. Но он настаивал, и она согласилась: потребовалось бы слишком много сил, чтобы отказаться. И вот теперь они ехали, и, честно говоря, все получилось не так, как она себе представляла. Ее пугала жара, рои мух, грязные гостиницы, пропахшие анисом. Она не подумала о холоде, о пронизывающем ветре, о почти что полярных равнинах, заваленных

валунами. Кроме того, она мечтала о пальмах и о теплом песке. А теперь она увидела, что пустыня — это нечто другое, это только камни, повсюду камни, и в небе, где висела хрустящая и холодная каменная пыль, и на земле, где среди камней изредка пробивалась сухая трава.

Автобус резко остановился. Водитель бросил в сторону несколько слов на языке, который она слышала всю жизнь, но никогда не понимала.

— В чем дело? — спросил Марсель.

Водитель ответил, на этот раз по-французски, что, судя по всему, песок забил карбюратор, и Марсель снова проклял эту страну. Водитель от души расхохотался и заверил, что ничего страшного не случилось, что он прочистит карбюратор, а потом они поедут дальше. Он открыл дверцу, в салон ворвался холодный ветер, и в лицо сразу вонзились тысячи песчинок. Все арабы уткнулись носами в бурнусы и съежились.

— Закрой дверь, — заорал Марсель.

Водитель со смехом вернулся к двери. Он не спеша вынул какие-то инструменты из бокового ящика, потом снова ушел вперед, очень маленький в тумане, а дверца так и осталась открытой. Марсель вздохнул.

— Можешь не сомневаться, он в жизни не ви-

дел мотора.

— Хватит! — сказала Жаннин.

Вдруг она подскочила. На обочине, совсем рядом с автобусом, неподвижно стояли люди, закутанные в бурнусы. Под капюшонами, за отворотом ткани, можно было увидеть только глаза. Эти люди, пришедшие неизвестно откуда, молча смотрели на путников.

— Пастухи, — сказал Марсель.

В салоне царила полная тишина. Все пассажиры опустили головы и, казалось, прислушивались к вою ветра, свободно носившегося по бесконечным равнинам. Внезапно Жаннин с удивлением отметила, что они путешествовали почти без багажа. На конечной железнодорожной станции водитель погрузил их собственный чемодан и несколько тюков на крышу. Внутри, в багажных сетках, лежали только сучковатые палки и плоские корзины. Судя по всему, все эти южане ехали налегке.

Водитель тем временем вернулся, он был все так же встревожен. Только его глаза смеялись над тканью, которой он тоже закрывал лицо. Он объявил, что автобус трогается. Он закрыл дверцу, ветер умолк, и стало лучше слышно, как песок бьется в стекло. Мотор закашлял, потом за-

тих. Пришлось долго работать стартером, прежде чем он наконец закрутился, а водитель, нажимая на газ, заставил его взреветь. Автобус заикал и тронулся. Над толпой оборванных, по-прежнему неподвижных пастухов поднялась рука, потом она пропала сзади в тумане. Почти сразу же автобус начал подскакивать, дорога становилась все хуже. От этих толчков арабы безостановочно раскачивались. Тем не менее Жаннин чувствовала, что ее клонит в сон, и тут внезапно перед ней появилась маленькая желтая коробочка, наполненная слипшимися карамельками. Солдат-шакал улыбался ей. Поколебавшись, она взяла конфетку и поблагодарила. Шакал спрятал коробочку в карман и словно проглотил свою улыбку. Теперь он уставился на дорогу, прямо перед собой. Жаннин повернулась к Марселю и увидела только его мощный затылок. Он смотрел в окно на густевший туман, который поднимался над осыпавшимся придорожным валом.

Они ехали уже много часов подряд, усталость уже убила все проявления жизни в салоне, когда вдруг снаружи раздались крики. Автобус окружили дети в бурнусах, они бежали, прыгали, хлопали в ладоши, крутились на месте, словно волчки. Теперь автобус ехал по длинной

улице, вдоль которой стояли низкие домики; они въехали в оазис. Ветер дул по-прежнему, но стены задерживали частицы песка, и они уже не заслоняли свет. Тем не менее небо оставалось пасмурным. Тормоза заскрипели, перекрывая крик, и автобус остановился перед глинобитной аркой у входа в гостиницу с грязными окнами. Жаннин вышла на улицу и почувствовала, что ее шатает. Она увидела возвышавшийся над домами тонкий желтый минарет. Слева от нее виднелись первые пальмы этого оазиса, и ей захотелось подойти к ним. Однако хотя время шло к полудню, было еще очень холодно, и от порыва ветра ее пробрала дрожь. Она повернулась к Марселю, а первым увидела идущего ей навстречу солдата.

Она ждала, что он улыбнется или поздоровается. Он прошел мимо, не взглянув на нее, и исчез. Что же касается Марселя, он был занят тем, что спускал с крыши автобуса тюк с тканями и черный сундук. Это было нелегко. Багажом занимался только водитель, который, стоя на крыше, то и дело останавливался и начинал разглагольствовать перед толпой в бурнусах, стоявшей перед автобусом. Оказавшись в окружении лиц, словно вырезанных из кости и кожи, оглушенная гортанными криками, Жаннин вдруг почувство-

вала усталость.

— Я зайду, — сказала она Марселю, который нетерпеливо окликал водителя.

Она вошла в гостиницу. Навстречу ей вышел хозяин, тощий и молчаливый француз. Он провел ее на второй этаж, на галерею, выходившую на улицу, и в номер, где стояли только железная кровать и стул, выкрашенный белой эмалевой краской, а за тростниковой перегородкой находился туалет с раковиной, покрытой слоем тонкой песчаной пыли. Когда хозяин закрыл дверь, Жаннин ощутила холод, исходивший от голых стен, побеленных известкой. Она не знала ни куда поставить сумку, ни куда приткнуться самой. Надо было либо лечь, либо остаться стоять, и в любом случае продолжать дрожать от холода. Она осталась стоять, не выпуская сумку из рук, уставившись на своего рода бойницу возле потолка, через которую было видно небо. Она ждала, сама не зная чего. Она чувствовала только свое одиночество и пронизывающий холод, а еще все нараставшую тяжесть где-то возле сердца. На самом деле она пребывала словно во сне, она почти не слышала поднимавшегося с улицы шума и возгласов Марселя, но при этом, наоборот, прекрасно осознавала, что через бойницу доносится

звук, похожий на журчание реки — его порождал ветер, шевеливший листья пальм, которые, как ей казалось, были теперь совсем близко. Потом ветер словно бы усилился, мягкий шепот воды превратился в завывание волн. Она представила, как за стеной покрывается барашками грозовое море из прямых и гибких пальм. Ничего не походило на то, что она ожидала, но невидимые волны освежали ее измученные глаза. Она стояла, грузная, с повисшими руками, слегка сгорбившись, вдоль отяжелевших ног поднимался холод. Ей снились прямые и гибкие пальмы и молодая девушка, которой она когда-то была.

* * *

Приведя себя в порядок, они спустились в столовую. Голые стены были разрисованы верблюдами и пальмами среди мешанины розового и фиолетового. Через сводчатые окна проникал скудный свет. Марсель расспросил хозяина гостиницы о местных торговцах. Их обслуживал старый араб в гимнастерке, к которой была приколота военная медаль. Марсель был занят своими мыслями и отрывал куски от хлеба. Он не позволил жене выпить воды.

— Она не кипяченая. Выпей вина.

Ей это не понравилось, от вина у нее тяжелела голова. Потом оказалось, что в меню есть свинина.

— Коран это запрещает. Но Корану неизвестно, что от хорошо прожаренной свинины болезней не бывает. Уж мы-то умеем готовить. А о чем ты думаешь?

Жаннин не думала ни о чем, ну, разве что о победе поваров над пророками. Но надо было торопиться. Завтра утром они уезжали еще дальше на юг: во второй половине дня им предстояло увидеться со всеми важными торговцами. Марсель поторопил старого араба с кофе. Тот согласно кивнул не улыбнувшись и вышел мелкими шажками.

— Утром потихоньку, вечером не торопясь, — со смехом сказал Марсель.

В конце концов кофе им принесли. Они буквально проглотили его и вышли на холодную пыльную улицу. Марсель подозвал молодого араба, чтобы тот помог донести чемодан, потом, из принципа, начал торговаться по поводу платы. Его убеждение, о котором он в очередной раз сообщил Жаннин, основывалось на неясной теории о том, что эти люди всегда запрашивают вдвое больше, чтобы получить вчетверо меньше. Жан-

нин шла за двумя нагруженными мужчинами и чувствовала себя неловко. Она надела шерстяной костюм под толстое пальто, ей хотелось бы занимать меньше места. От свинины, пусть даже хорошо прожаренной, и того небольшого количества вина, которое она выпила, ей тоже стало нехорошо.

Они шли вдоль небольшого городского садика, засаженного пыльными деревьями. Проходившие мимо арабы вроде бы и не замечали их, но сторонились, подбирая спереди складки своих бурнусов. Несмотря на то что они были одеты в лохмотья, она чувствовала в них какую-то гордость, не присущую арабам из ее города.

Жаннин шла за чемоданом, он прокладывал ей путь в толпе. Они прошли мимо ворот крепостной стены из темно-желтой глины, вышли на маленькую площадь, где росли все те же древние деревья, а в глубине, по самой широкой стороне, под арками, стояли магазины. Они остановились прямо на площади, перед маленьким сооружением в форме мины, покрытым синей штукатуркой. Внутри, в единственной комнате, куда свет проникал только через открытую дверь, за прилавком из блестящего дерева сидел старый араб с седыми усами. Он разливал чай, поднимая

и опуская чайник над тремя меленькими разноцветными стаканчиками. Марсель и Жаннин еще не успели ничего толком разглядеть в полумраке магазинчика, но сразу почувствовали свежий аромат мятного чая. Только переступив порог, пройдя мимо громоздившихся за ним связок оловянных чайников, чашек и тарелок вперемешку со стойками почтовых открыток, Марсель оказался перед прилавком. Жаннин осталась у двери. Она немного подвинулась, чтобы не заслонять свет. В этот момент она разглядела в полумраке, за старым торговцем, еще двух арабов, сидевших на раздутых мешках, которыми была завалена вся лавка, и смотревших на них с улыбкой. Со стен свисали черные и красные ковры, вышитые платки, пол был заставлен мешками и маленькими ящичками с ароматными зернами. На прилавке, вокруг весов с сияющими медными чашками, возле старого метра со стершимися цифрами, выстроились сахарные головы; с одной из них уже сняли бумажные обертки, и от верхушки был отколот кусок. Когда старый торговец поставил чайник на прилавок и поздоровался, запах шерсти и пряностей, пронизавший лавку, заглушил аромат чая.

Марсель говорил быстро, низким голосом, ко-

торый обычно появлялся у него, когда он говорил о делах. Потом он открыл чемодан, показал ткани и платки, отодвинул весы и метр, чтобы разложить свой товар перед стариком. Он нервничал, повышал голос, смеялся невпопад, он выглядел как женщина, которая хочет нравиться, но не уверена в себе. Теперь, раскрыв ладони, он изображал процесс купли-продажи. Старик покачал головой, передал поднос с чаем двум сидевшим сзади арабам и сказал буквально несколько слов, которые, судя по всему, разочаровали Марселя. Он собрал свои отрезы, запихнул их в чемодан, потом вытер лоб, как будто вспотел. Потом подозвал мальчика-носильщика, и они пошли к аркам. В первой лавке, где продавец поначалу тоже изображал полное безразличие, им повезло немного больше.

— Корчат из себя богов, — сказал Марсель, — но все-таки торгуют! Всем жить нелегко.

Жаннин молча шла за ним. Ветер почти стих. Небо местами расчистилось. Из бездонных голубых окошек, открывавшихся в толще облаков, лился холодный, сияющий свет. Теперь они ушли с площади. Они пробирались по узким улочкам, вдоль глинобитных стен, с которых свисали подгнившие декабрьские розы, а порой среди них

попадались сухие червивые гранаты. В квартале пахло пылью и кофе, дымом от сгоревшей коры, камнями, овцами. Лавки, примостившиеся в толще стен, стояли далеко друг от друга; Жаннин чувствовала, как ноги наливаются усталостью. Но муж понемногу успокаивался, ему удавалось что-то продать (поездка не будет бесполезной), и он становился более покладистым; он называл Жаннин «малышкой».

— Конечно, — говорила Жаннин, — лучше договариваться с ними напрямую.

Они вернулись в центр города по другой улице. Вечерело, небо уже почти расчистилось. Они остановились на площади. Марсель потирал руки, он с нежностью смотрел на стоявший перед ними чемодан.

— Посмотри, — сказала Жаннин.

С другой стороны площади подходил высокий араб, худой, сильный, в светло-голубом бурнусе, в легких желтых сапогах, в перчатках; он шел, высоко подняв загорелое лицо с орлиным носом. Отличить его от французских офицеров отдела по делам коренного населения, которыми порой так любовалась Жаннин, можно было только по шарфу, завязанному в виде тюрбана. Он спокойно шел в их сторону, но, казалось, смотрел поверх

их голов, медленно стягивая перчатку с руки.

— Ну что же, — сказал Марсель, пожимая плечами, — а этот считает себя генералом.

Да, здесь все они выглядели гордецами, но этот и в самом деле перебарщивал. Вокруг них на площади никого не было, а он шел прямо к чемодану, не видя его, не видя их самих. Когда расстояние между ними совсем сократилось и араб надвинулся на них, Марсель резким движением схватился за ручку и потянул чемодан назад. Человек прошел, словно ничего не заметив, и тем же шагом двинулся к крепостной стене. Жаннин посмотрела на мужа, тот выглядел растерянным.

— Теперь они думают, что им все можно, — сказал он.

Жаннин ничего не ответила. Тупая наглость этого араба была ей отвратительна, и она вдруг почувствовала себя несчастной. Ей хотелось уехать, она подумала о своей квартирке. От мысли, что придется возвращаться в гостиницу, в эту ледяную комнату, ей делалось не по себе. Она вдруг подумала, что хозяин посоветовал ей подняться на галерею форта, откуда можно было увидеть пустыню. Она сказала Марселю об этом и о том, что чемодан можно было бы оставить в гостинице. Но он устал, он хотел немного поспать

перед ужином.

— Прошу тебя, — сказала Жаннин.

Он посмотрел на нее, внезапно он стал внимательным.

— Конечно, дорогая, — сказал он.

Она ждала его перед гостиницей, на улице. Людей, одетых в белое, становилось все больше. Среди них не было ни одной женщины, и у Жаннин возникло ощущение, что она никогда не видела столько мужчин. И при этом ни один из них не смотрел на нее. Некоторые, словно не видя ее, медленно поворачивали в ее сторону худые смуглые лица, которые, как ей казалось, были все похожи друг на друга — на лицо французского солдата в автобусе, на лицо араба в перчатках, хитрое и гордое одновременно. Они поворачивались в сторону иностранки, они не замечали ее, а потом легко и молча проходили мимо нее, стоявшей с опухшими щиколотками. И ее чувство беспокойства, ее стремление уехать нарастали: «Зачем я приехала?» Но уже спускался Марсель.

Когда они поднялись по лестнице форта, было пять часов пополудни. Ветер совсем прекратился. Полностью расчистившееся небо теперь было бледно-голубым с сиреневатым оттенком. Холод стал более сухим, от него покалывало щеки. Ле-

жавший у стены на середине подъема старый араб спросил, не нужен ли им гид, но при этом не пошевелился, словно был уверен, что они откажутся. Несмотря на многочисленные площадки из утоптанной земли, лестница была длинная и крутая. По мере того как они шли вверх, пространство расширялось, и они поднимались навстречу безграничному, все более холодному и сухому свету, и каждый звук, долетавший из оазиса, звучал ясно и чисто. Светящийся воздух, казалось, вибрировал вокруг них, и по мере того как они шли вперед, эти вибрации становились все более долгими, словно бы от их шагов на кристаллах света зарождалась звуковая волна, которая потом расходилась широкими кругами. А в тот момент, когда они вышли на галерею и их взгляд потерялся в безбрежном горизонте за пальмами, Жаннин показалось, что все небо издало оглушительный и короткий звук, чье эхо мало-помалу заполнило пространство над ее головой, а потом внезапно смолкло, оставив ее в тишине перед безграничным пространством.

Действительно, ее взгляд медленно перемещался с востока на запад, по идеальной дуге, не встречая ни единого препятствия. Под ней громоздились голубые и белые террасы арабского

города, испещренные кроваво-красными пятнами сушившегося на солнце перца. Людей видно не было, но из внутренних двориков, откуда поднимался ароматный дым обжариваемых зерен кофе, доносились смеющиеся голоса и невнятное шарканье. Чуть подальше под ветром, не заметным на галерее, шелестели верхушки пальмовой рощи, разделенной на неровные квадраты глиняными стенами. Еще дальше начиналось царство камней, охристо-желтых и серых, и до самого горизонта в нем не было заметно никаких признаков жизни. Только невдалеке от оазиса, возле пересыхающей реки, уходящей к западу от пальмовой рощи, виднелись большие черные палатки. Неподвижные верблюды, казавшиеся отсюда совсем крохотными, выделялись на фоне серой земли темными знаками непонятной письменности, о смысле которой можно было только догадываться. Над пустыней нависала тишина, такая же необъятная, как пространство.

Жаннин, облокотившись на парапет, стояла молча, не в силах оторваться от созерцания открывшейся перед ней пустоты. Рядом с ней суетился Марсель. Он замерз, ему хотелось спуститься. На что тут можно смотреть? Но она не могла оторвать глаз от горизонта. Там, еще

дальше к югу, в том месте, где небо и земля соединялись в четкую линию, там, вдруг показалось ей, ее ждет что-то, о чем она не догадывалась до сегодняшнего дня и тем не менее чего ей всегда не хватало. Дело шло к вечеру, и свет постепенно ослабевал; из хрустально-прозрачного он становился мягким. И в то же время медленно развязывался узел, стянутый годами, привычкой и скукой на сердце женщины, оказавшейся здесь по воле случая. Она смотрела на лагерь кочевников. Она даже не увидела живших там людей, ничто не шевелилось между черными палатками, и все же она могла думать только о них, хотя до этого дня почти ничего не знала об их существовании. Горсточка этих бездомных людей, отрезанных от мира, бродила по открывшейся ее взгляду обширной территории, которая все же была лишь ничтожной частью еще более огромного пространства, чей стремительный бег обрывался лишь через много тысяч километров к югу, там, где первая река давала наконец жизнь лесу. Испокон веков сухую, вконец растрескавшуюся землю этой бескрайней страны без устали бороздили немногочисленные люди, не имевшие ничего, но и не служившие никому, жалкие и свободные хозяева странного королев-

ства. Жаннин не понимала, почему при мысли об этом ее переполняла грусть, такая сладкая и такая безграничная, что хотелось закрыть глаза. Она знала только, что это королевство было изначально обещано ей, и что, несмотря на это, оно никогда не будет принадлежать ей, больше никогда, быть может, только в этот неуловимый миг, когда она снова открыла глаза и увидела вдруг ставшее неподвижным небо и лившийся с него поток застывшего света. Голоса, доносившиеся из арабского города, резко умолкли. Ей показалось, что в этот момент остановился ход времени и что, начиная с этой минуты, никто уже больше не состарится и не умрет. Отныне жизнь замерла везде, кроме ее сердца, где в это самое время кто-то плакал от горя и восхищения.

Но свет пришел в движение, солнце, ясное и не дававшее тепла, склонилось к западу, где небо слегка окрасилось розовым, а на востоке появилась серая волна, готовая медленно накрыть собой огромное пространство. Завыла первая собака, и ее далекий голос пронизал воздух, ставший еще холоднее. Теперь Жаннин заметила, что стучит зубами от холода.

— Околеть можно, — сказал Марсель, — дурочка. Пошли обратно.

И он неловко взял ее за руку. Теперь она стала покорной, она отвернулась от парапета и пошла за ним. Старый араб на лестнице, по-прежнему не шевелясь, смотрел, как они спускались в город. Она шла, не видя никого вокруг, согнувшись под грузом огромной, внезапно навалившейся усталости, она еле тащила свое тело, чей вес теперь казался ей неподъемным. Ощущение восторга прошло. Теперь она чувствовала себя слишком большой, слишком толстой, слишком белой для того мира, в который только что заходила. Ребенок, юная девушка, худой мужчина, юркий шакал — вот единственные существа, которые могли тихо топтать эту землю. Что же теперь будет тут делать она — тащиться до сна, до смерти?

И в самом деле, она дотащилась до ресторана, за ней шел муж, внезапно молчаливый или жаловавшийся на усталость, а она слабо пыталась побороть простуду, чувствуя, как от нее повышается температура. Потом она дотащилась до кровати, а там к ней присоединился Марсель и сразу, ни о чем ее не спрашивая, погасил свет. В комнате царил ледяной холод. Жаннин чувствовала, как холод пробирает ее до костей, и в то же время температура ползла вверх. Она с трудом дышала, кровь пульсировала в жилах, не

согревая ее; в ней нарастал какой-то страх. Она повернулась, старая кровать затрещала под ее весом. Нет, ей не хотелось болеть. Муж уже спал, ей тоже следовало спать, так было нужно. Через слуховое окно до нее долетал приглушенный шум города. На старых патефонах в мавританских кафе крутились смутно знакомые гнусавые мелодии, доносившиеся до нее сквозь неспешный шум толпы. Надо было спать. Но она все пересчитывала черные палатки; перед закрытыми глазами мелькали неподвижные верблюды; необъятное одиночество выкручивало душу. Да, зачем она приехала? С этим вопросом она заснула.

Чуть позже она проснулась. Вокруг нее царила абсолютная тишина. Но где-то на границе города в немой ночи выли охрипшие собаки. Жаннин вздрогнула. Она снова повернулась на другой бок, почувствовала своим плечом твердое плечо мужа и внезапно, в полусне, прижалась к нему. Она уносилась в сон, но не погружалась в него, она с неосознанной жадностью цеплялась за это плечо, словно за свой самый надежный причал. Она говорила, но из ее рта не вылетало ни единого звука. Она говорила, но вряд ли слышала сама себя. Она не чувствовала ничего, кроме тепла, исходившего от Марселя. Уже больше двадцати

лет, каждую ночь, вот так, в его тепле, они всегда были вдвоем, даже в болезни, даже в путешествиях, как сейчас… Да и что бы она делала одна в доме? Детей нет! Может быть, именно этого ей не хватало? Она не знала. Она следовала за Марселем, вот и все, она испытывала удовольствие от чувства, что кто-то в ней нуждается. Он давал ей единственную радость — ощущать себя необходимой. Конечно, он ее не любил. У любви, даже исполненной ненависти, не бывает такого насупленного лица. А какое у него лицо? Они занимались любовью по ночам, не видя друг друга, на ощупь. А бывает ли другая любовь, не в сумерках, любовь, заявляющая о себе в полный голос средь бела дня? Этого она не знала, но она знала, что Марсель нуждался в ней, и что она нуждалась в том, чтобы он в ней нуждался, что она жила этим ночью и днем, особенно ночью, каждую ночь, когда он не хотел быть один, не хотел стариться, не хотел умирать, и у него делалось упрямое выражение лица, какое она иногда узнавала на лицах других мужчин, — единственное общее выражение для этих безумцев, что прячутся за маской разума, пока не попадут во власть бреда, который заставит их броситься от отчаяния к телу женщины и без всякого жела-

ния спрятать в нем страх, навеянный ночью и одиночеством.

Марсель слегка пошевелился, словно хотел отодвинуться от нее. Нет, он ее не любил, он просто боялся того, что не было ею, и им уже давно следовало бы расстаться и до самого конца спать в одиночестве. Но разве кто-то может всегда спать один? Так поступают некоторые мужчины, оторванные от других призванием или несчастьем — они каждый вечер ложатся в кровать со смертью. Марсель никогда бы не смог так поступить, уж он-то подавно не смог бы, этот слабый и беспомощный ребенок, всегда боявшийся боли, ее ребенок, который нуждался в ней и который именно в этот момент издал что-то вроде стона. Она еще плотнее прижалась к нему, положила руку ему на грудь. И про себя она назвала его любовным именем, которое дала ему когда-то и которое они иногда, все реже и реже, говорили друг другу, уже не думая о том, что произносят.

Она позвала его всем своим сердцем. В конце концов, она тоже нуждалась в нем, в его силе, в его маленьких причудах, она тоже боялась умереть. «Если я преодолею этот страх, я буду счастливой…» И тут же ее охватила непонятная тревога. Она отодвинулась от Марселя. Нет,

она ничего не преодолела, она не счастлива, она действительно умрет, так и не освободившись. У нее заболело сердце, она задыхалась под немыслимым грузом, который, как она внезапно поняла, тащила уже двадцать лет и под которым теперь билась из последних сил. Она хотела быть свободной, даже если Марсель, даже если все остальные никогда свободными не были! Она проснулась, села в кровати и прислушалась к зову, раздавшемуся, казалось ей, совсем близко. Но со всех сторон ночи до нее доносились только отдаленные и неутомимые голоса собак из оазиса. Поднялся слабый ветер, она услышала, как под ним тихим потоком зажурчала пальмовая роща. Ветер дул с юга, оттуда, где ночь и пустыня смешались под неподвижным небом, оттуда, где жизнь остановилась, где никто уже не старился и не умирал. Потом поток ветра стих, и она уже не была уверена, что вообще что-то слышала, разве что немой призыв, который она, в конце концов, могла по собственному желанию слышать или не слышать и смысла которого она уже никогда не поймет, если немедленно не ответит на него. Немедленно, да, уж в этом она была уверена!

Она тихо встала и замерла неподвижно возле кровати, прислушиваясь к дыханию мужа.

Марсель спал. Через мгновение тепло постели пропало, ей стало холодно. Она медленно оделась, нашарив одежду на ощупь в слабом свете уличных фонарей, пробивавшемся через жалюзи.

Держа туфли в руке, она подошла к двери. Она подождала еще минутку в темноте, потом осторожно отперла дверь. Скрипнула задвижка, она застыла. Сердце бешено колотилось. Она прислушалась и, успокоенная тишиной, еще немного повернула руку. Ей показалось, что задвижка поворачивается бесконечно долго. Наконец она распахнула дверь, выскользнула из комнаты и с теми же предосторожностями закрыла дверь. Потом, прижавшись щекой к дереву, стала ждать. Через мгновение до нее донеслось далекое дыхание Марселя. Она повернулась, почувствовала, как в лицо ударил ледяной ночной воздух, и побежала по галерее. Дверь гостиницы была заперта. Когда она возилась со щеколдой, наверху лестницы появился ночной дежурный с помятым лицом и заговорил с ней по-арабски.

— Я вернусь, — сказала Жаннин и бросилась в ночь.

Над пальмами и домами с черного неба свисали гирлянды звезд. Она бежала вдоль опустевшего короткого проспекта, ведшего к крепости. Холоду

уже не приходилось тратить силы на борьбу с солнцем, и он безраздельно царил в ночи; ледяной воздух обжигал легкие. Но она бежала в темноте, почти вслепую. На холме в конце проспекта все же блеснули огоньки, потом они стали зигзагами спускаться к ней. Она остановилась, услышала стрекот крыльев, а потом, за все увеличивающимися огнями, разглядела наконец огромные бурнусы, под которыми поблескивали тонкие колеса велосипедов. Бурнусы промчались мимо, едва не задев ее; позади нее в темноте высветились три красных огонька и сразу же пропали. Она снова побежала к крепости. На середине лестницы воздух начал жечь легкие с такой силой, что ей захотелось остановиться. Из последних сил, превозмогая себя, она рванулась на галерею и прижалась животом к парапету. Она задыхалась, перед глазами все расплывалось. Бег не согрел ее, она по-прежнему дрожала всем телом. Но вскоре холодный воздух, который она судорожно втягивала в себя, равномерно заполнил все ее тело, и под ознобом начало зарождаться робкое тепло. Наконец ее глаза распахнулись навстречу ночному пространству.

Ни один вздох, ни один звук, не считая редкого приглушенного потрескивания камней,

крошащихся в песок под действием холода, не нарушал одиночество и тишину, окружавшие Жаннин. Впрочем, через какое-то мгновение ей показалось, что в небе над ее головой происходит какое-то тяжелое вращение. В толще холодного и сухого ночного неба безостановочно рождались тысячи новых звезд и, подобно мерцающим льдинкам, скользили и скользили к горизонту. Жаннин не могла оторвать глаз от этих дрейфующих огней. Она поворачивалась вместе с ними и благодаря этому движению, при котором она оставалась на месте, постепенно воссоединялась с глубинами своей души, где теперь холод сражался с желанием. Звезды падали перед ней одна за другой, гасли среди камней пустыни, и с каждой упавшей звездой Жаннин все больше и больше раскрывалась навстречу ночи. Она дышала, она забыла о холоде, о весе живых существ, о безумной или застывшей жизни, о бесконечном страхе перед жизнью и смертью. После стольких лет, в течение которых она, спасаясь от страха, все бежала и бежала, не видя перед собой никакой цели, она наконец остановилась. И теперь ей показалось, что она нашла свои корни, в ее теле, уже не сотрясаемом дрожью, снова бурлил жизненный сок. Прижавшись животом к

парапету, устремившись к беспокойному небу, она слышала только, как успокаивается ее растревоженное сердце и как в ее душе воцаряется тишина. Созвездия уронили последние гроздья звезд чуть ближе к горизонту пустыни и замерли. И тогда ночная вода с невыносимой нежностью стала наполнять Жаннин, затопила холод, постепенно поднялась из темной сердцевины ее существа и непрерывным потоком разлилась по всему ее телу, вплоть до рта, наполненного стоном. Еще мгновение — и над ней, упавшей на холодную землю, раскинулось все небо.

Когда Жаннин с теми же предосторожностями вернулась, Марсель не проснулся. Но когда она легла, он заворчал, а через несколько секунд резко сел. Он заговорил, а она не понимала, что он говорит. Он встал, включил свет, хлестнувший ее по лицу, как пощечина. Он вразвалочку подошел к умывальнику и долго пил минеральную воду из стоявшей на нем бутылки. Он уже собирался нырнуть под одеяло, но, встав коленом на кровать, посмотрел на нее непонимающим взглядом. Она плакала навзрыд, она не могла сдержаться.

— Это ничего, милый, — повторяла она, — ничего…

Ренегат, или смятенный дух

Каша, какая каша в голове! Навести бы там порядок. С тех пор как мне отрезали язык, другой язык без устали молотит в мозгу, или еще что-то, а может быть, и кто-то: говорит, замолкает, опять за свое, и я слышу многое, чего не произношу, какая каша, а откроешь рот — будто галька зашуршит. Порядок, к порядку, — твердит язык и тут же о другом, да, порядка я всегда желал. Одно по крайней мере не вызывает сомнений: я жду миссионера, который должен прибыть мне на смену. Я поджидаю его на тропе в часе ходьбы от Тегазы, притаившись среди обломков скалы, сидя на старом ружье. Над пустыней занимается день, сейчас пока холодно, очень холодно, но вот-вот навалится жара, здешняя земля сводит с ума, а я, да я уже и счет годам потерял… Нет, еще последнее усилие! Миссионер должен приехать сегодня утром, а может, и вечером. Говорили, он будет с проводником, возможно, у них один верблюд на двоих. Ничего, я подожду, я жду, а что дрожь, так это только от холода. Потерпи немного, жалкий раб!

Как же долго я терплю. Дома, в Центральном

массиве[114], мужлан отец и темная баба — мать, вино, похлебка с салом всякий день, но больше вино, кислое, холодное, и долгая, долгая зима, наледь, сугробы, омерзительные папоротники, о, как я хотел бежать, разом порвать со всем, зажить по-настоящему, под ярким солнцем и с прозрачной водой. Я поверил кюре, когда он рассказывал о семинарии, он занимался со мной каждый день, благо времени у него было предостаточно в нашем протестантском селе, где он и по улицам-то ходил крадучись, вдоль стен. Он говорил о будущем, о солнце, мол, католицизм — это солнце и есть, учил меня читать, вдалбливал латынь в мою тугую башку: «Смышленый малый, но упрям, как осел», — да, голова у меня и впрямь неподатливая, за всю жизнь, сколько я ни падал, ни кровинки. «Воловья башка», — скажет, бывало, скотина отец. В семинарии мне почет, новобранец из протестантских мест — победа для них, встречали меня, ровно солнце над Аустерлицем. Тусклое, прямо скажу, солнышко, все из-за вина, хлестали кислое вино, и дети выросли с гнилыми зубами, убить-то надо бы отца, впрочем, исключено, чтоб он подался в проповедники,

[114] notes: 114
Центральный французский массив — горный массив в центре и на юге Франции.

поскольку давно уже помер, кислое вино в конце концов пробуравило ему дырку в желудке, так что остается застрелить миссионера.

Счет у меня к нему есть и к его учителям, к тем, кто меня учил и обманул, к гнусной Европе, я всеми обманут. Я только и слышал, что миссионерство да миссионерство, прийти к дикарям и проповедовать им: «Поглядите, вот Господь мой, он никого не бьет, не убивает, он повелевает тихим словом, подставляет другую щеку, это самый великий господин, выбирайте его, посмотрите, благодаря ему я сделался лучше, хотите убедиться — ударьте меня». И я поверил, э-э, и чувствовал, как становлюсь лучше; я пополнел, похорошел даже; я мечтал о поругании. Когда солнечным летним днем мы сомкнутым черным строем проходили по улицам Гренобля и нам встречались девочки в легких платьицах, я не отводил глаз, нет, я презирал их, я хотел, чтоб они меня оскорбили, и иногда они смеялись. Я думал: «Вот бы они меня ударили, плюнули бы в лицо», — однако и смех их был ничуть не лучше, он щетинился зубами, вонзался колкими иглами, но оскорбление и страдание были приятны. Я уничижался, и духовник мой недоумевал: «Да нет же, в вас много хорошего!» Хорошего! Кислого вина во мне

было много — вот чего, ну и пусть, ведь как стать лучше, если и без того неплох, — это я хорошо усвоил в их учении. В сущности, только это я и усвоил, одну-единственную мысль, и, как подобает смышленому ослу, доводил ее до завершения, я искал наказания, я чурался обыденности, короче, я хотел сам послужить примером: глядите все и, глядя на меня, поклоняйтесь тому, кто сделал меня лучше, почитайте во мне Господа моего.

Солнце дикарей! Вот оно встает, меняется пустыня, давеча напоминавшая по цвету горный цикламен, горы мои родимые, снежные, мягкий ласковый снег, нет, сейчас все сделалось изжелта-серым, сумеречный час — преддверие всемогущего зарева. Впереди — ничего до самого горизонта, где плоскогорье мреет в нежных еще красках. Позади меня тропа карабкается на дюну, за которой скрылась Тегаза: название это вот уже многие годы железом бряцает в голове. Первым, кто рассказал мне о ней, был полуслепой старик священник, доживавший свой век в монастыре, собственно, первым и единственным, и даже не город из соли с белыми, опаленными солнцем стенами поразил меня в его рассказе, нет, поразительна была жестокость дикарей, населяющих недоступный чужеземцам край: на

памяти старика только один из всех, кто пытался пробраться туда, один только смог поведать о том, что увидел. Они его высекли и выгнали в пустыню, засыпав солью раны и рот, спас случай: кочевники, которых он встретил, проявили к нему сострадание, и я с тех пор все предавался мечтаниям о жгучем огне соли и огне небесном, о храме идола и его рабах, вот где оно, варварство-то подлинное, то есть самое притягательное, вот где я призван явить Господа моего.

В семинарии они меня увещевали, охлаждали всячески мой пыл, мол, надо подождать, мол, и место неподходящее, и я еще незрел, я должен специально готовиться, познать себя должен, испытания пройти, а там видно будет! Все ждать да ждать! Нет уж, специальная подготовка, испытания — куда ни шло, тем более в Алжире, все ближе к месту предназначения, а в остальном я только тряс своей неподатливой башкой и долдонил свое: ехать к самым диким варварам, жить их жизнью и собственным примером показывать, хотя бы и в самом храме идола, что истина Господа моего сильнее. Они, разумеется, станут бить меня и оскорблять, но поругание не страшило меня, оно было как раз необходимо для моей цели, я снесу его безропотно и тем приворо-

жу дикарей, точно могучее солнце. Могущество, я постоянно пережевывал это слово, я мечтал о неограниченной власти — той, что повергает на колена, заставляет противника складывать оружие, то есть обращает его в мою веру, и чем более он слеп, жесток и самоуверен, чем крепче цепляется за свои убеждения, тем выше возносится покоривший его. Наставить на путь истинный заблудших, но, впрочем, славных людей — таков убогий идеал наших священнослужителей, коих я презирал: при такой-то власти дерзать на такую малость, значит, не было в них веры, а у меня была, я хотел, чтобы сами палачи поклонились мне, чтобы пали на колена и говорили: «Зрим, Господи, победу Твою», хотел владычествовать словом над целым полчищем извергов. О, я не сомневался, что рассуждаю правильно, пусть в остальном я не слишком уверен в себе, но уж если овладеет мною какая идея, нипочем не отступлюсь, тут-то вся моя сила, сила, говорю я, но они жалели меня!

Солнце поднялось выше, голова моя горит. Камни вокруг глухо потрескивают, только ствол ружья прохладен, прохладен, как луг, как, помню, дождь по вечерам, когда на кухне варился суп и отец с матерью ждали меня, они иногда

улыбались, я, может быть, их любил. Все кончено, жаром туманится тропа, приходи, миссионер, я жду тебя, мне есть чем ответить на твою проповедь, новые учителя преподнесли мне урок, я знаю, они правы, пора свести счеты с любовью. Когда я бежал из семинарии в Алжир, я представлял себе варваров совсем иными, в одном мечтания не обманули меня — они жестоки. Я обокрал казначея, сбросил сутану, я пересек Атласские горы, высокогорные плато, пустыню, и водитель в Сахаре тоже смеялся надо мной: «Не ходи туда», все в один голос, и были сотни километров песчаных волн, то надвигающихся, то отступающих под ветром, и снова горы, ощетинившиеся черными вершинами, с хребтами острыми, точно лезвие ножа, а дальше пришлось нанять проводников и идти по бескрайнему, гудящему от зноя морю бурых камней, обжигающих тысячью огнедышащих зеркал, до того места на границе земли черных и белой страны, где лежит соляной город. Проводник еще украл у меня деньги, которые я по наивности, опять же по наивности, показал ему, а он саданул меня в скулу и бросил как раз вот тут, на тропе: «Ступай, собака, вон дорога, честь имею, валяй, они тебя научат», — и они научили, о, они подобны солн-

цу, разящему гордо и без устали, исключая ночь, вот и сейчас разящему, ох как сильно, жгучими, яростно пронзающими землю копьями — скорее, скорее в укрытие, под скалу, не то и вовсе мрак.

Тень здесь приятна. Как можно жить в городе из соли, на дне заполненной белым зноем чаши? На ровных, грубо вытесанных стенах зарубки от кайла ерошатся сверкающими чешуйками, припорошенными бледно-желтым песком, а налетит ветер, очистит стены и плоские кровли, и все засияет умопомрачительной белизной под вычищенным до самой своей голубой корки небом. В такие дни я слеп от яркого пожара, часами неподвижно полыхавшего на белых плоских крышах, сливавшихся в единую массу, словно вырубленных из одной соляной горы, как если б некогда они срезали с нее верхушку, а потом прорыли в ее толще улицы, внутренние помещения, окна или, вернее, вырезали свой белый жгучий ад кипятком из брандспойта, лишь бы только доказать, что смогут жить там, где никто не сможет, в тридцати днях пути от всякого жилья, в яме посреди пустыни, где дневное пекло не позволяет людям сообщаться между собой, разделяя их частоколом незримого пламени с расплавленными в нем кристаллами соли, а сменяющая

его ночная стужа враз замуровывает в соляных раковинах жителей этого сухого припая, черных эскимосов, стучащих зубами в ледяных кубах домов. Черных, потому что одеты они в длинные черные балахоны, и соль, вездесущая соль, забивающаяся под ногти и ночью хрустящая на зубах горечью полярного сна, соль, растворенная в питьевой воде единственного источника на дне сверкающей расселины, иной раз оставляет на их сумрачных платьях потеки, похожие на след улитки после дождя.

Дождь, Господи, один только дождь, обильный и затяжной, дождь с Твоего неба! И тогда подмытый у основания страшный город станет медленно, но неукротимо оседать и, растаяв без остатка, вязким потоком захлестнет и умчит в пески своих свирепых обитателей. Господи, один только дождь! Господь? Нет, господа они! Они царствуют в своих бесплодных домах, владеют черными рабами, морят их в копях, — за пласт вырубленной соли южные страны платят по человеку, — укрытые траурными покрывалами, они безмолвно движутся по белокаменным улицам и с наступлением ночи, когда город, словно призрак, одевается молочной пеленой, они, согнувшись, уходят во мрак жилищ, где лишь

тускло мерцают соленые стены. Легок их сон, а едва проснувшись, они уже повелевают, бьют, все мы — единый народ, говорят они, и еще что их бог истинный и что надо повиноваться. Мои господа они, им неведома жалость, они не признают над собой ничьей власти, они хотят завоевывать и царствовать сами, поскольку никто, кроме них, не дерзнул построить в соли и песках ледяной тропический город. А я, да что там…

Какая каша, все путается от жары, я потею, они — никогда, тень постепенно накаляется, сквозь толщу скалы над головой я чувствую солнце, оно садит по камням, точно молотом бьет, так что звон стоит, немолчная музыка юга, вибрация сотен километров воздуха и камня, э-э, да я снова слышу тишину. Такая вот тишина много лет назад встретила меня, когда стража подвела меня к ним на залитую солнцем площадь, откуда город концентрическими террасами поднимался под опущенную на края чаши крышку ярко-голубого неба. Поверженный на колени, я стоял на дне вогнутого белого щита, огненные и соляные стрелы, исходившие из стен, кололи глаза, я был бледен от усталости, ухо, по которому хватил вожатый, кровоточило, и они, черные исполины, молча глядели на меня. День был в разгаре. Под ударами

чугунного солнца гудело небо, точно раскаленный добела лист железа, звучала тишина, они смотрели на меня, время шло, а они все смотрели и смотрели, и я не выдержал их взглядов, сдавило горло, сильней, сильней, и когда наконец я разрыдался, они вдруг беззвучно развернулись ко мне спиной и все разом удалились. Стоя на коленях, я видел только, как блестящие от соли ноги в красно-черных туфлях приподнимали край скорбного платья, носки туфель были слегка задраны, задники едва слышно шлепали по земле, а когда площадь опустела, меня отволокли в их капище.

Скорчившись, вот точно как в сегодняшнем моем укрытии, где пекло над головой пронизывает толщу камня, я просидел неведомо сколько дней под сенью идолова дома, чуть возвышающегося над остальными, обнесенного соляной оградой, но без окон, полного мерцающей ночи. Все эти дни мне подавали миску солоноватой воды и бросали на пол горсть зерна, как курице, и я его подбирал. Днем, несмотря на запертую дверь, мрак делался чуточку прозрачней, будто неумолимое солнце просачивалось сквозь массу соли. Лампы не было, я ходил ощупью вдоль стен, натыкался рукой на гирлянды сухих

пальмовых листьев, нашарил грубо вытесанную дверь на задней стенке, пальцы угадали на ней засов. Не скоро, много дней спустя, ни дней, ни часов считать я не мог, однако зерно мне к этому времени кинули раз десять, и я уже вырыл яму для нечистот, которая, как я ее ни закрывал, все воняла норой, так вот, много дней спустя дверь распахнулась на обе створки, и они вошли.

Один направился в тот угол, где я сидел, скорчившись. Соленая стена обжигала щеку, я вдыхал пыльный запах пальмовых листьев и смотрел, как он приближается. Он остановился в метре от меня и молча уставился перед собой, знак — я встал, он вперил в меня свои металлические глазки, поблескивающие без всякого выражения на коричневом лошадином лице, потом поднял руку. Все также безучастно он ухватил меня за нижнюю губу и стал медленно ее выворачивать, разрывая плоть, а затем, не разжимая пальцев, крутанул меня на месте, задом вывел на середину комнаты и рванул за губу вниз, так что я бухнулся на колени, обезумев от боли, с окровавленным ртом, а он повернулся ко мне спиной и пошел туда, где у стены стояли остальные. Они смотрели, как я стенал в невыносимом пекле не знающего тени дня, лившегося в широко раскрытую дверь,

и в этом световом снопе возник вдруг колдун с волосами из рафии, телом, обтянутым жемчужной кольчугой, голыми ногами под соломенной юбочкой, в маске из тростника и проволоки с двумя прямоугольными прорезями для глаз. За ним шли музыканты и женщины в тяжелых пестрых бесформенных платьях. Они исполнили перед дверью в глубине грубый малоритмичный танец, подергались немного, и все тут, а затем колдун открыл дверцу за моей спиной, хозяева не шелохнулись, они глядели на меня, и, обернувшись, я увидел идола, его двуликую голову и железный нос, изогнутый змеей.

Они подтащили меня к его ногам, к самому основанию, заставили пить горькое-прегорькое черное пойло, отчего голова у меня запылала, и я захохотал: вот оно, надругательство, я поруган. Они раздели меня, обрили голову и торс, обмыли маслом и стали бить по лицу веревками, обмакнутыми в воду и соль, а я смеялся и отворачивался, но всякий раз две женщины хватали меня за уши и подставляли лицо ударам, которые наносил колдун с прямоугольными глазами, и, обливаясь кровью, я все смеялся. Остановились, все, кроме меня, молчали, в голове полная каша, потом меня подняли и заставили смотреть на

идола, и я перестал смеяться. Я знал, что обречен отныне служить и поклоняться, о нет, я больше не смеялся, я задыхался от страха и боли. И в этом белом доме, в этих стенах, равномерно опаленных солнцем, со стянутой кожей на лице, в полубеспамятстве, я попытался молиться идолу, да, да, кому же еще: даже его чудовищная рожа была менее чудовищной, нежели весь прочий мир. Они связали мне щиколотки веревкой, отпустили ее на длину шага, и снова исполнили танец, теперь уже перед идолом, затем один за другим хозяева удалились.

Закрылась дверь, и опять зазвучала музыка, колдун разжег костер из коры и принялся топтаться вокруг него, заполнив комнату пляшущими тенями, они трепетали на белых стенах, изламываясь в углах. В одном углу он очертил прямоугольник, женщины отволокли меня туда, я чувствовал сухое нежное прикосновение рук, они поставили передо мной чашку с водой, насыпали зерна и показали на идола — я понял, что не должен отводить от него глаз. Колдун по одной подзывал их к огню, иных бил, они стонали и падали ниц перед идолом, моим теперешним богом, а он все танцевал, а потом отослал всех, кроме одной, совсем юной, которую он еще не бил, она

сидела подле музыкантов. Он накручивал себе на руку ее косу, сильней, сильней, отчего у нее глаза вылезали из орбит, а сама она выгибалась назад, пока не повалилась навзничь. Тогда колдун выпустил ее и заорал, музыканты отвернулись к стене, а крик под маской с прямоугольными глазами нарастал и нарастал, и женщина как оглашенная каталась по полу и, наконец, присев на корточки, соединив руки над головой, закричала сама, но только глухо, и он, не сводя глаз с идола и продолжая вопить, овладел ею быстро и со злостью, лица ее я не видел, оно было теперь погребено под складками платья. И я, одичалый, шальной, я тоже орал, выл от ужаса, вперившись в идола, пока пинок ногой не отшвырнул меня к стене, и я грыз соль, как сейчас безъязыким ртом грызу камень, поджидая того, кого должен убить.

Солнце уже перевалило за середину неба. В расселины скалы я вижу его — зияющую дыру на каленом железе неба, глотку, как моя, словоохотливую, безостановочно изрыгающую огненные потоки над бесцветной пустыней. Впереди на тропе — ничего, ни пылинки на горизонте, а позади, там меня уже, наверное, хватились, хотя нет, рано еще, они лишь под вечер отпирали дверь и выпускали меня прогуляться, после того

как я целый день наводил порядок в храме идола и обновлял приношения, а по вечерам повторялось действо, в иные разы они били меня, в другие нет, но всякий раз я служил идолу, чей образ железом врублен в мою память, а теперь и в мою надежду. Никогда еще бог не владел мной, не подчинял до такой степени, жизнь моя дни и ночи была посвящена ему; болью и отсутствием боли, это ли не радость, я был обязан ему, и даже желанием, да, да, оттого, что чуть ли не ежедневно присутствовал при безличном свирепом совокуплении, которое я теперь не мог видеть, поскольку под угрозой побоев должен был смотреть в угол. Уткнувшись лицом в соленую стену, на которой неистово трепыхались тени, я с пересохшим горлом слушал нескончаемый вопль, и жгучее бесполое желание сдавливало виски и живот. Текли за днями дни, не отличимые один от другого, точно расплавленные тропическим зноем, беззвучно отражались в соляных стенах, время обратилось в бесформенный плеск, в котором через равные промежутки взрывались воплями побои и совокупления, один долгий безвременный день, где идол царствовал, подобно лютому солнцу над моим укрытием в скале, где я снова стенаю от горя и желания и, испепеляемый

жестокой надеждой совершить предательство, облизываю дуло ружья и его душу, именно душу, только в ружьях душа, а с того дня, как мне отрезали язык, я возлюбил бессмертную душу ненависти!

Какая каша, исступление какое-то, пьяный от зноя и злобы, я приник, прилег на ружье. Кто это дышит так тяжело? Невыносима эта бесконечная жара и ожидание, я должен его убить. Ни птицы, ни травинки — камень, бесплодное желание, тишина, их вопли, говорящий во мне язык, а вместо настоящего, с тех пор как они изувечили меня, бескрайнее плоское страдание, пустыня, лишенная влаги даже ночью, запертый с богом в соленой берлоге, о, как я жаждал ночи. Только ночь с прохладными звездами и бездонными колодцами могла спасти меня, укрыть от жестоких людских богов, но из своего плена я не мог ее созерцать. Если миссионер задержится, я увижу по крайней мере, как она встает над пустыней и обволакивает небо, опуская с темного зенита холодную золотую лозу, которая напоит меня, смочит пересохшую черную дыру, не увлажняемую более мягкой мышцей живой плоти, и я забуду наконец тот день, когда безумием тронуло мой язык.

О, какое стояло пекло, казалось, плавилась соль, воздух разъедал глаза, и вошел колдун без маски. За ним следовала незнакомая женщина, едва прикрытая сероватой хламидой, татуировка уподобляла маске идола ее оцепенелое, как у истукана, лицо. В ней жило лишь тонкое тело, рухнувшее к ногам божества, едва колдун отпер дверь. Затем он вышел, не взглянув в мою сторону, жар нарастал, я не шевелился, идол смотрел на меня поверх ее неподвижного и трепещущего тела, идолова маска ее лица не дрогнула, когда я подошел ближе. Только расширились устремленные на меня глаза, я коснулся ступнями ее ступней, стенала жара, и идолица плавно, безмолвно, не сводя с меня выпученных глаз, опрокинулась на спину, медленно поджала ноги, подняла, развела колени. И сразу же — э-э, колдун следил за мной — они вошли толпой, оторвали меня от нее и принялись немилосердно бить по грехотворному органу, грехотворному, ха-ха, смешно, какой грех, где грех, где добродетель, они прижали меня к стене, железная рука стиснула мне челюсть, другая раскрыла рот, ухватила за язык и стала вытягивать его, пока кровь не полила, я ли это зверем завыл, и тогда прохладной, да, прохладной в кои-то веки, лаской полоснуло

по языку. Очнулся, ночь, никого, спина упирается в стену, весь в запекшейся крови, во рту кляп из травы со странным запахом, рана уже не кровоточит, там все мертво, и жива лишь одна мучительная боль. Я хотел подняться, но упал и был счастлив, беспросветно счастлив, что наконец умру, смерть тоже прохладна и под своим покровом не прячет богов.

Я не умер, в один прекрасный день я поднялся, и юная ненависть встала на ноги вместе со мной, шагнула к двери на задней стене, открыла ее и закрыла за своей спиной, я ненавидел своих, идол стоял передо мной, из бездны, где я находился, я не просто воззвал к нему с мольбой, я поверил в него, отвергнув все, во что верил до сих пор. Хвала ему, в нем сила и могущество, его можно разрушить, но нельзя обратить в свою веру, он смотрел поверх моей головы пустыми ржавыми глазами. Хвала ему, он единственный царь, единственный господин, чьим неотъемлемым атрибутом является зло, а добрых господ не бывает. Впервые всем своим воющим от боли поруганным телом я предался ему, я признал его злотворный порядок, в его обличье возлюбил первозданное зло. Я, пленник в его царстве, добровольно сделался гражданином бесплодного, высеченного

из соляной горы города, отторгнутого природой, лишенного даже редких эфемерных цветов пустыни, исключившего случайность, не знающего ласки набежавшего облака или бурного ливня, какая знакома и солнцу, и пескам, — самого упорядоченного города, где углы прямы, комнаты квадратны, а люди непреклонны, я, воплощение ненависти и муки, вычеркнул из памяти ту сказку, которую мне так долго внушали. Меня обманули: только царство зла неуязвимо, меня обманули: истина квадратна, тяжела, плотна, ей неведомы оттенки, добро — это мечта, это идеал, достижение которого вечно откладывается и требует изнурительных усилий, это недосягаемый предел, царство его невозможно. Только зло способно достичь предела и царствовать безгранично, только служа ему, можно обрести зримое царство, а будущее покажет, да что будущее, когда в настоящем одно зло, долой Европу, долой разум, честь и крест. Да, мне пришлось обратиться в веру моих хозяев, да, я был рабом, но коли сам я злобен, я больше не раб, пусть ноги у меня и спутаны, а уста немы. О, эта жара сводит с ума, пустыня стонет под неумолимым солнцем, а того, другого, Господа любви — коробит от одного имени, — я отринул, потому что узнал его. Он был

мечтателем, он проповедовал ложь, ему отрезали язык, чтобы речи его не смущали человечество, его проткнули гвоздями, даже в голову вбили, бедная голова, ровно моя сейчас, какая каша, как я устал, и наверняка не содрогнулась земля, не праведника убили, я не желаю в это верить, нет праведников, есть только жестокие господа, возведшие на царство безжалостную истину. Да, только идол могуч, он единственный бог мира сего, и ненависть его завет, она источник жизни, она — вода, освежающая, как мята, обдающая холодком рот и жаром желудок.

Я изменился, и они это поняли, при встрече я целовал им руки, я был из их числа, восхищался ими без устали, доверял им, надеясь, что они изувечат наших, как изувечили меня. Прослышав про миссионера, я уже знал, как поступить. Тот день был похож на другие, все тот же слепящий день, тянувшийся так давно! Под вечер наверху чаши я увидел бегущего стража, а через несколько минут меня втолкнули в капище и заперли. Там в темноте один из них повалил меня на пол и занес крестообразный меч, и долго длилась тишина, пока обычно безмолвный город не наполнился непонятным шумом, звуком голосов, которые я разобрал с трудом, поскольку

говорили на моем языке, но только они зазвучали, острие меча опустилось мне на глаза, и мой страж взглядом пригвоздил меня к полу. Два голоса раздались совсем близко, так и слышу их сейчас, один спрашивал, почему дом охраняется и не прикажете ли, мой лейтенант, высадить дверь, другой отвечал коротко: «Нет», — а минуту спустя добавил, мол, заключено соглашение, по которому город примет гарнизон в двадцать человек, при условии, что они разместятся за городской стеной и не нарушат местных обычаев. Солдат рассмеялся, дескать, они сдаются, офицер сомневался, так или иначе, они позволили нам лечить их детей и для того допускают к себе священника, а территориальный вопрос после. Первый голос сказал, что, если тут не поставить солдат, они отрежут священнику то самое место. «Ну нет! — ответил офицер. — И более того, отец Беффор приедет раньше гарнизона, через два дня он будет здесь». Больше я ничего не слышал, я лежал неподвижно под мечом, и боль раздирала меня изнутри, целое колесо, утыканное иглами и ножами, раскручивалось во мне. Они сошли с ума, лишились рассудка, допустить, чтобы прикоснулись к их городу, к их непобедимому могуществу, к истинному Богу, а

тому, который приедет, они не отрежут язык, он будет нагло похваляться своей добротой, ничем за то не заплатив, не снося поруганий. Царство зла отступит, люди снова будут сомневаться и тратить время на мечты о невозможном добре, изнурять себя бесплодными усилиями, вместо того чтобы ускорить пришествие единственно возможного царства, и я глядел на пригвоздившее меня лезвие: о сила, ты одна повелеваешь миром! О сила, город понемногу освобождался от шума, дверь наконец отворилась, испепеленный и полный желчи, я остался наедине с идолом, и тогда я поклялся ему спасти мою новую веру, моих истинных учителей, моего деспотичного бога, поклялся во что бы то ни стало довести предательство до конца.

Э-э, зной малость спадает, камень уже не гудит, я могу вылезти из норы и смотреть, как пустыня окрасится в желтый, охряный, а затем сиреневый цвет. Этой ночью я дождался, пока они заснут, сбил замок и вышел обычным своим, отмеренным веревкой шагом, улицы были мне знакомы, я знал, где взять старое ружье, какие ворота не охраняются, и добрался сюда в тот час, когда, сжавшись вокруг горстки звезд, ночь начинает бледнеть, а пустыня темнеет. Сейчас мне кажет-

ся, что я уже много дней сижу, затаившись среди этих камней. Скорей бы, скорей бы он приходил, скорей! Еще немного — и они хватятся меня и полетят во все стороны вдогонку, они не узнают, что ради них-то я и сбежал, что я служу им, ноги мои слабы, голод и ненависть подкашивают меня, точно вино. О, о, там, далеко, э-э, на краю тропы два верблюда, они растут, бегут иноходью, а рядом движутся, семенят две короткие тени, верблюды всегда так бегают, бодро и задумчиво. Вот и они наконец!

Ружье, быстрей, взвожу курок. О идол, о мой бог, да не ослабнет твое могущество, да продлится поругание, да правит проклятым миром беспощадная ненависть, да будет злой господином во веки веков, да приидет царствие безжалостных черных тиранов в едином порабощенном городе из соли и железа! А теперь «пли!», огонь по жалости, огонь по немощи, по милосердию, что отдаляет пришествие зла, еще раз «пли!», вот они покачнулись, падают, а верблюды мчатся к горизонту, где черные птицы гейзером взметнулись в безоблачное небо. Я смеюсь, смеюсь, а тот, в ненавистной сутане, корчится, приподнимает голову, видит меня, меня, своего спутанного по ногам всемогущего господина, почему он мне

улыбается, размозжить эту улыбку! Сладостный звук: прикладом по лицу добра, сегодня, сегодня, наконец свершилось, и повсюду в пустыне, во многих часах пути отсюда, шакалы уже принюхиваются к несуществующему ветру и ленивой рысцой тянутся на запах падали, на ожидающее их пиршество. Победа! Я простираю руки к небу, и оно смягчается, лиловая тень заволакивает дальний его край, о европейские ночи, о родина, о детство, почему ж я плачу в минуту торжества?

Он шевельнулся, нет, звук донесся с другой стороны, это они, мои хозяева, летят стаей черных птиц, набрасываются на меня, хватают, а-а-а! да, бейте меня, они испугались за город, они уже видят его со вспоротым брюхом, воющим от боли, они боятся мести солдат, которую я навлек, и поделом священному городу. Теперь защищайтесь, бейте, бейте сначала меня, вы владеете истиной! Мои господа победят затем и солдат, победят слово и любовь, пройдут через пустыни и моря, черными покрывалами затмят свет Европы, бейте в живот, нате, бейте в глаза, рассеют соль по всему континенту, растительность и молодость зачахнут, и толпы немых со спутанными ногами поплетутся вместе со мной по пустыне мира под жестоким солнцем истинной веры, и я не буду

больше одинок. О, как больно, как больно, их ярость мне приятна, они распинают меня на седле, пощадите, я улыбаюсь, я благословляю удар, пригвоздивший меня.

.....

Как тиха пустыня! Ночь, я один, хочется пить. Подожди еще, в какой стороне город, шум вдали, солдаты, быть может, победили, нет, нельзя, солдаты, даже победившие, недостаточно жестоки, они не способны сделаться царями, они опять скажут, что надо становиться лучше, и снова миллионы людей будут метаться, разрываясь между добром и злом, о идол, зачем ты оставил меня? Все кончено, мучает жажда, тело горит, непроглядная ночь застилает глаза.

Какой долгий, долгий сон, я пробуждаюсь, нет, я умираю, встает заря, для всех живущих — первый луч, новый день, а для меня — неумолимое солнце и мухи. Кто это говорит, никого, небо не отверзлось, нет, нет, Бог не говорит с пустыней, но чей же это голос: «Если ты готов умереть за ненависть и силу, кто простит нас?» Может, это другой язык во мне или же это тот, кто не желает умирать и повторяет у меня в ногах: «Мужайся, мужайся, мужайся»? Что, если я снова ошибся? Люди, бывшие мне некогда братьями, о одиноче-

ство, я взываю к вам, не оставьте меня! Вот, вот кто ты, истерзанный, с окровавленным ртом, это ты, колдун, солдаты победили тебя, там горит соль, это ты, мой возлюбленный господин! Сбрось личину зла, сделайся добром теперь, мы ошиблись, мы начнем сначала, мы построим новый город, город милосердия, я хочу вернуться домой. Да-да, помоги мне, вот так, протяни руку, дай…

Горсть соли засыпала рот болтливого раба.

Молчание

Зима была в самом разгаре, и тем не менее над утренним городом занимался прекрасный день. Сияние моря и неба сливалось за пирсом в единое целое. Впрочем, Ивар этого не видел. Он медленно ехал вдоль бульваров к порту. Больная нога неподвижно упиралась в зафиксированную педаль велосипеда, а второй ногой он работал изо всех сил — сырая булыжная дорога еще не успела высохнуть. Скрючившись, не поднимая головы, он объезжал старые трамвайные рельсы, старательно пропускал обгонявшие его автомобили и время от времени локтем отпихивал за спину висевшую на плече сумку с завтраком, который собрала ему Фернанда. Содержимое сумки не радовало его. Вместо любимого испанского омлета или жаренного на оливковом масле бифштекса жена положила между двумя толстыми ломтями хлеба только сыр.

Дорога до мастерской еще никогда не казалась Ивару такой долгой. Он тоже старел. В сорок лет мышцы разогреваются уже не так быстро, хотя ты еще не одряб, как виноградная лоза. Порой, читая о спортивных соревнованиях, когда трид-

цатилетних атлетов называли ветеранами, Ивар пожимал плечами. «Если это ветеран, — говорил он Фернанде, — то я уже старик». И при этом он понимал, что журналист не так уж и не прав. В тридцать лет дыхание уже едва заметно слабеет. Сорок — конечно, еще не старость, но ты уже начинаешь к этому готовиться, пусть и заранее. Разве не поэтому по дороге на работу через весь город, где находились бочарные мастерские, он уже давно не смотрел на море? В двадцать лет Ивар не мог на него наглядеться, море сулило отличные выходные на пляже. Несмотря на свою хромоту, а может быть, именно благодаря ей, он всегда любил плавать. Прошли годы, появилась Фернанда, родился сын, и пришлось по субботам брать дополнительную работу в бочарной мастерской, а по воскресеньям мастерить что-нибудь для частных заказчиков. Понемногу он отвык от бурного времяпрепровождения, которым наслаждался. Глубокая и прозрачная вода, жаркое солнце, девушки и радости плоти — вот в чем состояло счастье в его краях. И это счастье уходило вместе с молодостью. Ивар по-прежнему любил море, но уже только в конце дня, когда вода в бухте темнела. Теплыми вечерами после работы он усаживался на террасе своего дома, в

чистой рубашке, которую тщательно выгладила Фернанда, и с удовольствием потягивал анисовку из запотевшей рюмки. Небо ненадолго озарялось мягким светом, болтавшие с ним соседи начинали говорить тише. Ивар уже не понимал, счастлив ли он, или ему хочется плакать. В таком умиротворенном состоянии он лишь тихонько ждал, сам не зная чего.

По утрам, отправляясь на работу, Ивар, наоборот, не любил смотреть на море — оно-то оставалось на месте, а он покидал его до вечера. В это утро он ехал, понурившись, с тяжелым сердцем. Накануне вечером Ивар вернулся с собрания и сообщил, что решено возобновить работу. «Так что же, — обрадовалась Фернанда, — хозяин согласен на прибавку?» Хозяин не согласился ни на какую прибавку, забастовка провалилась. Следовало признать, что они действовали неправильно. Забастовали со злости, и профсоюз был прав, что не оказал должной помощи. К тому же пятнадцать рабочих — не густо; профсоюз учитывал настроения в других бочарнях, а те не выступили. За это на них нельзя было сердиться всерьез. Строительство танкеров и автоцистерн ничего хорошего бочарам не сулило, дела шли все хуже. Бочонков и больших винных бочек произ-

водили все меньше, в основном ремонтировали уже имевшиеся большие буты. Конечно, хозяева видели, что дело страдает, но им все же хотелось сохранить какую-то прибыль. Чем смогут заниматься бочары, если бочарное дело исчезнет? Тот, кто освоил какое-то ремесло, не станет его менять; учиться было совсем не просто. Хорошего бочара, чтобы умел подгонять изогнутые клепки, стягивать их на огне железными обручами, обходясь без пакли или рафии, найти нелегко. Ивар это знал и гордился. Поменять профессию — это ерунда, а вот отказаться от того, что ты умеешь, от своего мастерства, нелегко. Профессия хорошая, а работы нет, ты в тупике, приходится смириться. Но и смирение — дело нелегкое. Трудно постоянно помалкивать, не имея возможности спорить, и каждое утро снова и снова отправляться той же дорогой, чтобы в конце недели получить лишь жалкие гроши, которых уже ни на что не хватает.

Вот поэтому они разозлились. Двое или трое сомневались, но после первых споров с хозяином и они почувствовали злость. По сути дела, он заявил, что они должны брать что дают, а иначе пусть уходят. Человек не должен так говорить. «Что он себе думает, — сказал Эспозито, — что

мы сдрейфим?» Впрочем, хозяин был не таким уж скверным типом. Он пошел по стопам отца, вырос в этой мастерской и за долгие годы перезнакомился почти со всеми рабочими. Иногда приглашал их перекусить в бочарне; разводили костер на стружках, жарили сардины или кровяную колбасу, а выпив, хозяин становился вполне приятным человеком. К Новому году он всегда раздавал по пять бутылок вина каждому работнику и частенько, если кто-то заболевал или просто случалось какое-то событие, например свадьба или причастие, дарил деньги. Когда у хозяина родилась дочка, всем раздавали конфеты. Два или три раза он приглашал Ивара поохотиться в своем поместье на побережье. Он, конечно, любил своих работников и часто напоминал, что его отец начинал подмастерьем. Но никогда не приходил к ним домой. Он думал только о себе, потому интересовался исключительно своими делами, и поставил вопрос ребром: не хотите — как хотите. Иными словами, их хозяин тоже столкнулся с трудностями. Но он-то мог себе это позволить.

Они добились согласия от профсоюза и объявили забастовку. «Не утруждайте себя пикетами, — сказал хозяин. — Когда мастерская не работает,

я экономлю». Он кривил душой, но дал понять, что держал их на работе из милости. Эспозито вспылил и сказал хозяину, что он не человек. У того взыграла кровь, и их пришлось разнимать. Но в то же время это произвело впечатление на работников. Двадцать дней забастовки, дома — печальные жены, два или три человека среди них совсем пали духом, а в довершение всего профсоюз посоветовал уступить, пообещав посредничество и возмещение забастовочных дней за счет дополнительных часов. Они решили вернуться на работу, правда, хорохорились и говорили, что еще ничего не решено, что все только начинается. Но в это утро, когда положение казалось особенно тяжелым, а вместо мяса был сыр, иллюзий больше не осталось. И солнце светило напрасно, и море уже ничего не обещало. Ивар давил на единственную педаль, и при каждом повороте колеса ему казалось, что он еще немного состарился. При мысли о мастерской, о товарищах и о хозяине, которых ему предстояло увидеть, на сердце становилось все тяжелее. Фернанда беспокоилась: «Что вы ему скажете?» — «Ничего». Ивар сел на велосипед и покачал головой. Он стиснул зубы; на худом, смуглом и морщинистом лице с тонкими чертами появилось замкнутое

выражение. «Мы работаем. Этого достаточно». Теперь он ехал, по-прежнему стиснув зубы, испытывая иссушающую злость, от которой мрачнело все, даже небо.

Он свернул с бульвара, удаляясь от моря, и поехал по сырым улочкам старого испанского квартала. Они вели к району сараев, складов металлолома и гаражей, где находилась и мастерская — ангар со стенами, обложенными камнем до половины высоты и застекленными выше, до самой крыши из гофрированного железа. Мастерская соседствовала со старой бочарней во дворе, обнесенном старыми галереями, — ее забросили, когда предприятие разрослось, и теперь использовали только как склад старого железа и бочек. За двором через узкую дорогу, покрытую битой черепицей, начинался хозяйский сад, в глубине которого стоял дом. Дикий виноград и чахлая жимолость, обвивавшие крыльцо, были единственным украшением большого и уродливого строения.

Ивар сразу увидел, что двери мастерской закрыты. Перед ними молча стояли люди. За все время своей работы здесь он в первый раз приехал к закрытым дверям. Хозяин решил показать, кто здесь главный. Ивар свернул налево, поставил

велосипед под навесом, продолжавшим крышу с этой стороны ангара, и направился к двери. Он издали разглядел Эспозито, высокого смуглого и лохматого парня, рядом с которым работал; делегата от профсоюза Марку, похожего на оперного тенора, Саида, единственного араба в мастерской, а затем и всех остальных, молча смотревших на него. Но прежде чем Ивар успел подойти, все вдруг повернулись к приоткрывшимся дверям. В проеме появился Баллестер, старший мастер. Он отпер одну из тяжелых дверей и, повернувшись спиной к работникам, медленно сдвигал ее по чугунным направляющим.

Баллестер, самый старый из всех, не одобрял забастовку, но заткнулся с той минуты, когда Эспозито сказал ему, что он обслуживает интересы хозяина. Теперь он стоял у дверей, широкоплечий, приземистый, в темно-синем свитере, уже разутый (они с Саидом единственные работали босиком), и смотрел, как они заходят по одному; глаза его казались бесцветными на старом смуглом лице, а уголки рта под густыми обвислыми усами были угрюмо опущены. Все молчали, униженные своим поражением, это молчание приводило их в ярость, но никто из бочаров не мог нарушить его. Они шли, не глядя в глаза

Баллестеру, понимая, что он обязан пропускать их именно так; его мрачный вид говорил сам за себя. Ивар все же посмотрел на него. Баллестер, относился к Ивару с симпатией, поэтому молча кивнул.

Наконец все они оказались в маленькой раздевалке справа от входа: это были открытые кабинки, отделенные друг от друга белыми деревянными перегородками, по обе стороны от которых стояли маленькие шкафчики, запиравшиеся на ключ; в последней кабинке, в углу между стенами ангара устроили душевую, а сточный желоб вырыли прямо в утоптанной земле. В центре ангара, напротив рабочих мест, можно было увидеть большие винные бочки, уже законченные, но еще распущенные, ожидавшие обжига; грубые скамьи с прорезанными в них длинными желобами (в некоторых уже стояли круглые деревянные днища, ожидавшие шлифовки); наконец, угли на месте обжига. Вдоль стены слева от входа стояли верстаки. Перед ними были навалены груды еще не обструганных клепок. У правой стены, неподалеку от раздевалки, поблескивали две большие, хорошо смазанные, мощные и бесшумные мотопилы.

Ангар уже давно стал слишком велик для горст-

ки рабочих. Летом в сильную жару это имело свои преимущества, но зимой было неудобно. Однако сегодня мастерская выглядела заброшенной — большое пространство, где никто не работает, по углам расставлены заготовки бочек, в которых клепки схвачены единственным обручем возле днища и расходятся в стороны, подобно лепесткам грубых деревянных цветков, скамейки, ящики с инструментами и станки, покрытые опилками. Рабочие, уже переодевшиеся в старые свитера и выцветшие, залатанные штаны, нерешительно озирались. Баллестер наблюдал за ними. «Ну, что, — сказал он, — начнем?» Все молча разошлись по своим местам. Баллестер переходил от одного к другому и коротко напоминал задания — что следовало начать, что продолжить. Никто не отвечал. Вскоре по дереву, окованному железом, застучал молоток, подгонявший обруч на бочке, заскрежетал на сучках рубанок, и загремела железом пила, которую включил Эспозито. По просьбе товарищей Саид подносил бочки или разжигал из щепы костер, на который водружали бочки, чтобы они раздулись и заполнили свои корсеты из железных обручей. Между делом он выправлял большим молотком на верстаке широкие ржавые обручи.

Запах горящей щепы понемногу заполнял ангар. От привычного запаха у Ивара, обстругивавшего и подгонявшего клепки, напиленные Эспозито, немного отлегло от сердца. Все работали молча, но в мастерской мало-помалу восстанавливалась какая-то теплота, возрождалась жизнь. Яркий свет вливался в ангар через большие окна. В золотистом воздухе поднимался голубой дымок; Ивар даже услышал рядом чье-то жужжание.

В этот момент распахнулась задняя дверь в старую бочарню, и на пороге появился хозяин, месье Лассаль. Это был худой брюнет лет за тридцать в бежевом костюме и распахнутой на груди белой рубашке, весьма уверенный в себе. Подобно большинству людей, которые благодаря занятиям спортом ведут себя раскованно, он, как правило, вызывал симпатию, несмотря на костлявое, словно вырезанное ножом лицо. Впрочем, сейчас он выглядел слегка смущенным. Его приветствие прозвучало тише, чем обычно, да ему никто и не ответил. Молотки застучали вразнобой, их хор немного расстроился, но вскоре вернулся к прежнему ритму. Господин Лассаль потоптался на месте, потом направился к малышу Валери, который работал с ними лишь первый год. Тот устанавливал дно на большую винную бочку в

нескольких шагах от Ивара, рядом с мотопилой, и хозяин наблюдал за ним. Валери молча продолжал работать. «Ну что, сынок, — сказал месье Лассаль, — как дела?» Движения паренька вдруг стали неловкими. Он бросил взгляд на Эспозито, который стоял рядом и сгребал ручищами гору клепок, чтобы отнести их Ивару. Эспозито, не прекращая своего занятия, тоже посмотрел на него, после чего Валери, так и не ответив хозяину, опять уткнулся в свою бочку. Слегка озадаченный Лассаль постоял перед юношей, потом пожал плечами и повернулся к Марку. Тот, сидя верхом на скамье, медленными и четкими движениями заканчивал обрабатывать кромку днища. «Привет, Марку», — сухо сказал хозяин. Марку, не отвечая, старательно снимал с дерева тончайшую стружку. «Да что с вами происходит? — громко спросил Лассаль, повернувшись на сей раз к другим работникам. — Знаю, мы не договорились. Но это не должно мешать нашей работе. Да и чего вы этим добьетесь?» Марку встал, поднял днище, обвел ладонью кромку, проверяя работу, томно сощурился с видом глубочайшего удовлетворения и по-прежнему молча направился к другому работнику, собиравшему винную бочку. В мастерской слышались только стук молотков и визг пилы по

металлу. «Ладно, — сказал Лассаль, — когда вас отпустит, Баллестер мне сообщит». И он спокойно вышел из мастерской.

Почти сразу же после этого, перекрывая оглушительный шум мастерской, раздались два звонка. Баллестер, только что присевший свернуть папироску, тяжело поднялся и направился к маленькой задней двери. Затем молотки застучали тише, один из работников вообще остановился. Тут на пороге снова показался Баллестер. «Хозяин зовет Марку и Ивара». Первым намерением Ивара было пойти помыть руки, но Марку потащил его за собой.

Снаружи во дворе свет показался таким ярким и насыщенным, что Ивар буквально ощущал его на лице и руках. Они поднялись на крыльцо под жимолостью, на которой уже распустилось несколько цветков. Войдя в коридор, увешанный спортивными дипломами, они услышали плач ребенка и голос месье Лассаля: «Уложи ее после обеда. Если не пройдет, позовем врача». Хозяин вышел в коридор и пригласил их в маленький кабинет, где они уже бывали, обставленный в деревенском стиле, с охотничьими трофеями на стенах. «Садитесь», — сказал месье Лассаль, устраиваясь за столом. Они продолжали стоять.

«Я пригласил вас сюда, потому что вы, Марку, были уполномоченным от профсоюза, а ты, Ивар, работаешь у меня дольше всех, не считая Баллестера. Со спорами покончено. Я не могу, никак не могу дать вам то, чего вы просите. Дело улажено, мы решили возобновить работу. Я вижу, вы на меня сердитесь, и, честно говоря, мне это неприятно. Но хочу сказать одно: то, что я не могу дать вам сегодня, я, может быть, смогу дать, когда дела пойдут лучше. И если возможность появится, то сделаю это, не дожидаясь ваших просьб. А сейчас пора за работу. Он помолчал, словно о чем-то думая, потом посмотрел на них: «Ну, так что?» Марку смотрел в сторону. Ивар хотел заговорить, но не смог вымолвить ни слова. «Послушайте, — сказал Лассаль, — вы все упрямитесь. Это пройдет. Но, когда вы хорошенько подумаете, вспомните о моих словах». Он встал, подошел к Марку и протянул руку: «Чао!» Тот побледнел, его мечтательное лицо стало угрюмым, а потом злым. Марку круто развернулся и вышел. Лассаль, тоже побледневший, взглянул на Ивара, но руки не протянул. «Идите к черту!» — закричал он.

Когда они вернулись в мастерскую, работники обедали. Баллестер куда-то вышел. «Брехня», — только и сказал Марку, возвращаясь на рабочее

место. Эспозито, оторвавшись от еды, спросил, что они ответили; Ивар сказал, что ничего. Потом он сходил за сумкой, вернулся и уселся на свою скамью. Уже приступив к обеду, он вдруг увидел неподалеку от себя Саида, лежавшего на спине на куче щепы и уставившегося в окно, за которым голубело уже не такое яркое небо. Ивар спросил, покончил ли Саид с едой. Тот ответил, что поел инжира. Ивар прекратил жевать. На смену неловкости, не покидавшей его после разговора с Лассалем, внезапно пришло ощущение тепла и доброты. Он встал, разломил свой сэндвич и, не обращая внимания на отказы Саида, сказал, что на следующей неделе все наладится: «Тогда ты поделишься со мной». Саид улыбнулся и деликатно откусил кусочек от сэндвича, совсем небольшой, как будто не хотел есть.

Эспозито взял старую кастрюльку и зажег небольшой костерок из щепы и деревяшек, чтобы подогреть принесенный в бутылке кофе. Он сказал, что это подарок для всех работников от приятеля-бакалейщика, который услышал о забастовке по радио. Пустили по кругу баночку из-под горчицы. Эспозито наливал каждому кофе, уже с сахаром. Саид выпил свою порцию, явно с бóльшим удовольствием, чем ел. Эспозито, при-

чмокивая и ругаясь, допил остатки кофе прямо из горячей кастрюльки. В этот момент вошел Баллестер и объявил, что перерыв окончен.

Пока все поднимались и складывали в сумки бумагу и посуду, Баллестер подошел ближе и внезапно сказал, что всем тяжело и ему тоже, но что это не причина, чтобы вести себя по-детски, и что бойкот ничего не даст. Эспозито, все еще с кастрюлькой в руках, повернулся, услышав эти слова; лошадиное лицо его стало багровым. Ивар знал, что он скажет и что думали все работники: это никакой не бойкот, им заткнули рот, надо делать выбор, а злость и унижение иногда так больно ранят, что даже кричать невозможно. В конце концов, все они живые люди, и сейчас им не до улыбок и кривляний. Но Эспозито ничего не сказал, лицо его наконец смягчилось, и, пока все расходились по своим местам, он тихонько похлопал Баллестера по плечу. Снова застучали молотки, большой ангар заполнился привычным шумом, запахом щепы и старой пропотевшей одежды. Большая пила с визгом врезалась в свежий чурбак, который медленно подталкивал Эспозито, нарезая клепки. Соприкасаясь с деревом, пила подскакивала, осыпая большие волосатые руки, крепко сжимавшие чурбак по

обе стороны от рычащего лезвия, опилками, похожими на крошки хлеба. Когда очередная клепка была отпилена, слышался только шум мотора.

Сгорбившийся над фуганком Ивар чувствовал, как затекла спина. Обычно усталость наступала позже. Ясное дело, за те недели, что они не работали, он отвык от нагрузки. Однако Ивар подумал, что с годами становится все труднее работать руками, если речь идет не о простой подгонке. Если трудно разогнуться, это еще один признак приближающейся старости. Там, где главное сильные мышцы, работа, в конце концов, становится проклятием, она предшествует смерти, ведь не случайно по вечерам после тяжелого труда засыпаешь мертвым сном. Сын хочет стать учителем, он прав: те, кто разглагольствуют о выгодах ручного труда, не понимают, о чем говорят.

Когда Ивар выпрямился, чтобы перевести дух и отогнать дурные мысли, снова раздался звонок. Он звучал настойчиво, ненадолго замолкая, чтобы потом затрезвонить снова, еще более повелительно, и это было так странно, что все прекратили работать. Баллестер сначала удивленно прислушался, потом решился и медленно подошел к двери. Он отсутствовал несколько

секунд, а затем звонок наконец умолк. Работа возобновилась. Дверь снова резко распахнулась, и Баллестер побежал в раздевалку. Он вышел оттуда в парусиновых туфлях, натягивая куртку, сказал на ходу Ивару: «У малышки приступ. Я побежал за Жерменом», — и бросился к большим дверям. Доктор Жермен жил в том же квартале и присматривал за мастерской. Ивар без лишних слов просто повторил новость. Люди стояли вокруг него, смущенно переглядываясь. Слышался только шум работавшей вхолостую мотопилы. «Может, ничего страшного», — сказал кто-то. Они разошлись по местам, мастерская снова наполнилась шумом, но все работали медленно, словно чего-то ждали.

Примерно через четверть часа Баллестер вернулся в мастерскую, повесил куртку и, не сказав ни слова, вышел в маленькую дверь. Свет за окнами тускнел. Вскоре, в промежутках между взвизгиваниями пилы, впивавшейся в дерево, они услышали нарастающий звук сирены «скорой помощи», вначале издалека, потом все ближе, а затем машина подъехала, и стало тихо. Вошел Баллестер, и все бросились к нему. Эспозито выключил мотор. Баллестер сказал, что девочка раздевалась в своей комнате и вдруг

упала как подкошенная. «Ну и ну!» — произнес Марку. Баллестер покачал головой и, обернувшись к работникам, растерянно развел руками. Снова завыла сирена «скорой помощи». В грубой рабочей одежде, обсыпанной опилками, они стояли притихшие в мастерской, залитой желтым светом, беспомощно опустив натруженные руки.

Оставшееся время тянулось долго. Ивар чувствовал теперь только усталость и щемящую тоску. Хотелось поговорить. Но ни ему, ни остальным сказать было нечего. Лица молчавших людей выражали лишь горе и какое-то упорство. Иногда в его мыслях всплывало слово «несчастье», но, едва возникнув, исчезало, словно пузырек, который появляется на свет и тут же лопается. Хотелось вернуться домой, увидеть Фернанду, сына, свою террасу. Баллестер как раз объявил о конце рабочего дня. Машины остановились. Люди стали не спеша гасить огонь и складывать инструменты, потом один за другим потянулись в раздевалку. Саид оставался последним, ему предстояло убрать помещение и сбрызнуть водой пыльный пол. Когда Ивар вошел в раздевалку, огромный волосатый Эспозито уже стоял в душевой. Он повернулся к ним спиной и шумно намыливался. Обычно все посмеивались над

его стыдливостью; в самом деле, этот огромный человек, похожий на медведя, упорно не поворачивался к остальным передом. Но сегодня, казалось, никто этого не замечал. Эспозито вышел, пятясь, и обмотал ляжки полотенцем на манер набедренной повязки. Остальные тоже стали по очереди мыться, Марку шумно хлопал себя по голым бокам, как вдруг послышался звук медленно откатывающейся по стальному рельсу большой двери. Вошел Лассаль.

Он был все в той же одежде, но волосы чуть растрепались. Лассаль остановился на пороге, осмотрел просторную пустую мастерскую, сделал еще несколько шагов, опять остановился и бросил взгляд на раздевалку. Эспозито, по-прежнему с полотенцем на бедрах, повернулся к нему. Голый, он смущенно переминался с ноги на ногу. Ивар подумал, что Марку должен что-то сказать. Но тот оставался невидимым за стеной воды. Эспозито принялся поспешно натягивать рубашку, когда Лассаль тусклым голосом произнес «Доброго вечера» и направился к маленькой двери. Только Ивар подумал, что следовало бы его окликнуть, как дверь закрылась.

Тогда Ивар, не заходя в душ, оделся, тоже пожелал всем доброго вечера, но от всего сердца,

и ему ответили так же искренне. Он быстро вышел, взял велосипед, и, когда сел на него, спину снова свело. Близился вечер, и пришлось ехать через запруженный машинами город. Ивар ехал быстро, ему хотелось увидеть свой старый дом и террасу. Он ополоснется в постирочной, а потом сядет и будет смотреть на море, которое уже было рядом с ним, за оградой бульвара, более темное, чем утром. Но рядом с ним была и маленькая девочка, и он не мог не думать о ней.

Дома сын, вернувшийся из школы, листал иллюстрированные журналы. Фернанда спросила у мужа, все ли в порядке. Он не ответил, помылся в постирочной, потом вышел на террасу и сел на скамейку. Над головой сушилось штопаное белье, небо становилось прозрачным, над забором виднелось ласковое вечернее море. Фернанда принесла анисовку, два стакана, глиняный кувшин с прохладной водой и села рядом с Иваром. Он взял ее за руку, как в первые месяцы после свадьбы, и все рассказал. Закончив, он замер, повернувшись к морю, где быстро сгущались сумерки над линией горизонта. «Ох, он сам виноват!» — сказал Ивар. Ему хотелось быть молодым и чтобы Фернанда оставалась молодой, и тогда бы они уехали туда, за море.

Гостеприимство

Учитель смотрел, как те двое поднимаются по склону в его сторону. Один на лошади, другой пешком. Они еще не ступили на проложенную по крутизне тропинку, которая вела к примостившейся на холме школе — тащились еле-еле по снегу, меж камней бескрайнего пустынного плато. Лошадь временами оступалась, это заметно было. Слышать не слышно, а вот как пар из ноздрей вырывается — видно. Те двое, или один из них, местность знали. Они следовали точно по тропе, уже несколько дней скрытой под грязно-белым покровом. Учитель прикинул, что раньше как за полчаса им до вершины не добраться. Было холодно; он вернулся в школу за свитером.

Прошел насквозь через пустой заледенелый класс. По грифельной доске уже третьи сутки текли к устьям нарисованные четырьмя разноцветными мелками четыре главные реки Франции. Снег выпал неожиданно, в середине октября, после восьмимесячной засухи, минуя благодатный период дождей, и два десятка учеников, живших в разбросанных там и сям по плоскогорью деревнях, перестали приходить.

Оставалось дожидаться, пока распогодится. Дарю отапливал теперь только одну комнату, примыкавшую к классной и обращенную одним окном на восток — ту, где жил сам. Другое окно, как и окна классной, выходило на юг. С этой стороны, всего в нескольких километрах от школы, плоскогорье понижалось. В ясную погоду можно было различить лиловатую массу горного отрога у самого порога пустыни.

Отогревшись немного, Дарю возвратился к окну, откуда впервые заметил путников. Они теперь скрылись из виду. Стало быть, вступили на откос. Небо слегка просветлело: ночью снегопад прекратился. Утро обозначило себя грязноватым светом, ставшим лишь чуточку ярче по мере того, как облачный потолок отодвигался от земли. В два часа пополудни казалось, будто день еще только занимается. И все же не сравнить с тремя предыдущими, когда густой снег валил средь беспросветных сумерек, а шквалистый ветер сотрясал двойную дверь школы. В эти томительные часы Дарю отсиживался в комнате и выходил лишь присмотреть за курами да почерпнуть в пристройке угля. По счастью, грузовичок из Таджида, ближайшей деревни к северу от школы, завез ему припасы за два дня до ненастья. Через

двое суток он приедет снова.

Впрочем, имеющихся у него запасов хватило бы на то, чтобы выдержать целую осаду: комнатенка была завалена мешками зерна, которые местные власти оставляли ему для раздачи тем из детей, чьи семьи пострадали от засухи. Пострадали же все, поскольку все были бедны. Дарю ежедневно раздавал малышам положенную пайку. Сейчас, в непогоду, им ее сильно недоставало, что и говорить. Возможно, вечером к нему нагрянет кто-нибудь из отцов или старших братьев, и он снабдит их зерном. Дотянуть бы только до следующего урожая. Уже сейчас шли из Франции корабли с зерном, самое тяжелое время осталось позади. Но еще не скоро забудутся пережитые невзгоды, полчища одетых в лохмотья теней, блуждающих под палящим солнцем, прокаливаемые месяц за месяцем плоскогорья, скукожившаяся, иссохшая, буквально испепеленная земля, где камни под ногами обращались в пыль. Овцы падали тысячами, а порой и люди, там и сям, безвестно.

На фоне здешней нищеты он, живший чуть ли не отшельником в затерянной среди пустынь школе и довольствовавшийся тем малым, что имел, даже и самой этой суровой жизнью, чув-

ствовал себя барином — обладателем мазаных стен, узенького дивана, некрашеных деревянных полок и собственного колодца — да еще при еженедельном снабжении водой и продовольствием. И вдруг этот снег, обрушившийся нежданно-негаданно, не дав передохнуть дождем. Таков был здешний край, жестокий даже и в отсутствие человека. Присутствие людей, впрочем, ничего не меняло. Но Дарю родился тут и в любом другом месте чувствовал себя изгнанником.

Он вышел на насыпную площадку перед школой. Путники достигли уже середины склона. Он узнал верхового: это был Бальдуччи, старый жандарм, давний его знакомец. Бальдуччи вел за собой на веревке араба со связанными руками, тот плелся, понурив голову. Жандарм приветственно махнул рукой, Дарю не ответил, его вниманием владел араб, одетый в некогда голубую джеллабу, обутый в сандалии поверх носков из грубой нечесаной шерсти, на голове — узкая полоска материи, повязанная тюрбаном. Они приближались. Щадя арестанта, Бальдуччи сдерживал лошадь, так что продвигались они медленно.

Подойдя настолько, что его можно было услышать, Бальдуччи крикнул: «От Эль-Амера три

километра целый час идем!» Дарю не ответил. Он стоял и смотрел на них, толстый свитер делал его фигуру приземистой и широкоплечей. Араб ни разу не поднял головы. «Привет, — сказал Дарю, когда те взошли на площадку. — Зайдите погреться». Бальдуччи тяжело соскользнул с лошади, не выпуская из рук веревки. Улыбнулся учителю сквозь топорщащиеся усы. Маленькие темные глазки, глядевшие из-под нависающего смуглого лба, и обрамленный морщинами рот придавали его лицу выражение внимательное и усердное. Дарю взял повод, отвел лошадь к сараю и вернулся к гостям, ожидавшим его уже в школе. Проводил их в комнату. «Я затоплю в классе. Там будет удобнее», — добавил он. Когда он возвратился, Бальдуччи сидел на диване. Он отвязал веревку, на которой привел араба, и тот примостился на корточках возле печки. Руки у него оставались связанными, тюрбан съехал назад, он смотрел на окно. На всем лице Дарю сначала увидел только губы — огромные, полные, лоснящиеся, прямо как у негра; нос, однако, был прямой, глаза темные, с лихорадочным огнем. Сдвинутый назад тюрбан приоткрыл упрямый лоб, лицо с опаленной солнцем, но чуть обесцвеченной холодом кожей хранило выражение

встревоженное и непокорное, которое и поразило Дарю, когда араб, повернув голову, взглянул ему прямо в глаза. «Проходите в классную, — сказал учитель. — Сейчас я заварю вам чай с мятой». «Спасибо, — ответил Бальдуччи. — Ну и работенка! Скорей бы на пенсию». И прибавил по-арабски, обращаясь к пленнику: «Ну, ты, пошли!» Араб поднялся, держа перед собой связанные в запястьях руки, и медленно прошел в помещение школы.

Вместе с чаем Дарю принес стул. Однако Бальдуччи уже восседал на первой парте, а араб пристроился возле учительского помоста лицом к печи, расположенной между столом и окном. Дарю протянул было пленнику стакан с чаем, но, взглянув на его руки, растерялся и спросил: «Может, развязать его?» «Само собой. Веревка — это на дорогу», — ответил Бальдуччи, нехотя приподнимаясь. Но Дарю уже поставил стакан на пол и опустился на колени возле араба. Тот молча наблюдал за ним лихорадочно блестящими глазами. Когда Дарю освободил его, он потер одно об другое распухшие запястья, взял стакан и стал маленькими глотками быстро втягивать в себя обжигающую жидкость.

— Так, — сказал Дарю. — И куда же вы направ-

ляетесь?

Бальдуччи вынул усы из чая:

— Сюда, сынок.

— Хороши ученички! Вы здесь заночуете?

— Нет. Я вернусь в Эль-Амер. А ты доставишь вот этого товарища в Тингит. Его ждут в смешанной франко-мусульманской коммуне.

Бальдуччи дружелюбно улыбнулся Дарю краешком губ.

— Что за чушь! — возмутился учитель. — Ты шутишь?

— Ничуть, сынок. Таков приказ.

— Приказ? Да я ж не… — Дарю осекся: не хотелось огорчать старика корсиканца. — Короче, не мое это дело.

— Ух ты! Ну и что с того? На войне любое дело — твое.

— В таком случае я подожду, когда объявят войну.

Бальдуччи кивнул:

— Хорошо. Но приказ уже поступил, и тебя он тоже касается. Неспокойно нынче. Поговаривают о бунте. Считай, мы уже мобилизованы.

Дарю глядел насупившись.

— Послушай, сынок, — сказал Бальдуччи. — Я тебя люблю, ты должен меня понять. Нас в

Эль-Амере — на всю территорию маленького департамента — дюжина, мне надо вернуться. Мне велено вручить этого типа тебе и сразу назад. Там его оставлять нельзя было. Его деревня бурлила, отбить его у нас хотели. Ты должен завтрашним днем отвести его в Тингит. Двадцать километров такому молодцу, как ты, не помеха. А после — все. Вернешься к своим ученикам и уютной жизни.

Слышно было, как за стеной фыркает и бьет копытом лошадь. Дарю смотрел в окно. Облака отступали, по заснеженному плоскогорью все шире разливался свет. Когда снег стает, солнце снова воцарится и будет, как прежде, жечь камни. И снова долгими днями безоблачное небо будет изливать безжалостный свет на пустынное пространство, где ничто не напоминает о человеке.

— Н-да, — произнес Дарю, поворачиваясь к Бальдуччи. — А за что его? — И прежде, чем старик открыл рот, спросил еще: — Он понимает по-французски?

— Нет, ни слова. Мы его целый месяц искали, они его прятали. Родственника убил.

— Он против нас?

— Вряд ли. Хотя кто их знает…

— А почему убил?

— Какие-то семейные дела. Один вроде бы дру-

гому зерна задолжал. Точно не знаю. В общем, короче, зарезал родственничка садовым ножом. Понимаешь, как барана, чик!..

Бальдуччи провел рукой, будто лезвием, по горлу, чем привлек внимание арестованного: тот беспокойно уставился на жандарма. Дарю внезапно вскипел яростью к этому человеку, ко всем людям на свете с их гнусной злобой, беспрестанной ненавистью, бешенством в крови.

Но на плите закипел чайник. Дарю подлил чаю Бальдуччи, потом, постояв в нерешительности, подал второй стакан арабу, и тот снова жадно осушил его. Когда араб приподнял руки, Дарю увидел сквозь разрез джеллабы его тощую мускулистую грудь.

— Спасибо, малыш, — сказал Бальдуччи. — Ну, а теперь я пошел.

Он поднялся и направился к арабу, доставая из кармана веревку.

— Что ты делаешь? — сухо спросил Дарю.

Бальдуччи остановился в недоумении и показал ему веревку.

— Не надо.

Старик жандарм заколебался.

— Как хочешь. Оружие у тебя, конечно, есть?

— У меня есть охотничье ружье.

— Где?

— В чемодане.

— Надобно держать его возле кровати.

— Зачем? Мне нечего бояться.

— Совсем рехнулся? Если они взбунтуются, никто из нас не застрахован, мы все для них едины.

— Я сумею защититься. Я их издали увижу.

Бальдуччи расхохотался, но затем его белые еще зубы внезапно скрылись под усами.

— Издали, говоришь? Угу. Так я и думал. Ты всегда был немножко чокнутым. За это я тебя и люблю, мой сын тоже таким был.

С тем он достал револьвер и положил его на стол:

— На, возьми. Мне на обратную дорогу и ружья хватит.

Револьвер поблескивал на черной столешнице. Когда жандарм обернулся, учитель почувствовал, как от него пахнет кожей и лошадью.

— Послушай, Бальдуччи, — сказал вдруг Дарю. — Мне все это противно, и парень твой в первую очередь. Но сдавать я его не буду. Сражаться — пожалуйста, если надо. Но только не это.

Старик стоял перед ним и строго на него смотрел.

— Не дури, — произнес он медленно. — Мне, знаешь, тоже не все нравится. Связывать человека — к этому и с годами не привыкаешь, мне даже стыдно, если хочешь. Но нельзя им все позволять.

— Сдавать я его не стану, — повторил Дарю.

— Говорю же тебе, сынок, это — приказ.

— Нет. Так и передай своему начальству, что я его сдавать не стану.

Бальдуччи напряженно соображал. Он смотрел то на араба, то на Дарю. Наконец решился:

— Нет. Я им ничего не скажу. Не хочешь с нами заодно — дело твое, я на тебя доносить не стану. Мне приказали передать задержанного тебе, я это и делаю. Давай распишись.

— Это лишнее. Я не собираюсь отрицать, что ты мне его доставил.

— Не дерзи. Знаю, ты скажешь правду. Ты здешний, ты мужчина. Но подписать надо, таков порядок.

Дарю открыл ящик стола, достал прямоугольный пузырек фиолетовых чернил, красную деревянную ручку с пером «фельдфебель», которой писал ученикам образцы, и поставил подпись. Жандарм аккуратно сложил расписку и убрал в бумажник. Затем направился к двери.

— Я провожу тебя, — предложил Дарю.

— Не надо, — ответил Бальдуччи. — Ни к чему мне твоя вежливость. Ты меня оскорбил.

Он поглядел на араба, неподвижно сидевшего на одном месте, горестно шмыгнул носом и повернулся к двери.

— Прощай, сынок, — проговорил он.

Дверь за ним с шумом захлопнулась. Бальдуччи промелькнул в окне и исчез. Снег заглушил его шаги. За стенкой встревожилась лошадь, всполошились куры. Минуту спустя Бальдуччи снова появился за окном, ведя лошадь под уздцы. Он шел, не оборачиваясь, и вскоре скрылся на спуске, а вслед за ним и лошадь. Слышно было, как под откос мягко покатился большой камень. Дарю вернулся к пленнику, тот продолжал сидеть не двигаясь, но глаз с Дарю не спускал. «Подожди здесь», — сказал учитель по-арабски и направился было в комнату, но на пороге спохватился, вернулся к столу, взял револьвер и сунул его в карман. Затем не оглядываясь вышел из класса.

Он долго лежал у себя на диване, глядя, как меркнет небо, слушая тишину. Тишина более всего угнетала его в первые дни, когда он только вернулся с войны. Он просил места в городке у основания гряды, отделяющей высокие плато от

пустыни. Скалистые стены, исчерна-зеленые на севере и лиловато-розовые с юга, высились тут границей вечного лета. Место ему дали севернее, на самом плато. Поначалу он тяжело переносил одиночество и тишину в этом неблагодарном краю, населенном разве что камнями. Кое-где, правда, встречались борозды, на первый взгляд напоминающие пашню, однако прорыты они были для того, чтобы извлечь на свет камень, пригодный для строительства. Здесь пахали только затем, чтобы собирать голыши. Иногда еще по крохам выскребали землю, скопившуюся в углублениях, и подкармливали ею чахлые сады в деревнях. Камни и только камни на три четверти покрывали здешний край. Тут рождались города, расцветали, потом исчезали; люди селились тут, любили друг друга, вцеплялись друг дружке в глотку, потом умирали. В этой пустыне все — и он, и его сегодняшний постоялец — были ничем. Но Дарю прекрасно понимал, что вне ее ни тот ни другой не смогли бы жить полнокровно.

Когда он поднялся, из класса не доносилось ни звука. Дарю сам удивился той откровенной радости, какая охватила его при одной мысли, что араб мог сбежать, что он снова один и не требуется принимать никаких решений. Однако

арестованный был тут. Только теперь он лежал, вытянувшись между печкой и столом. Лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок. В таком положении особенно выделялись его пухлые губы, придававшие лицу обиженное выражение. «Пойдем», — сказал Дарю. Тот встал и пошел за ним. В комнате учитель указал ему стул возле стола под окном. Араб сел, все так же не сводя глаз с Дарю.

— Есть хочешь? — спросил учитель.

— Да, — ответил тот.

Дарю приготовил два прибора. Взял муки и постного масла, замесил лепешку, зажег маленькую газовую плитку. Пока лепешка жарилась, он сходил в пристройку за сыром, яйцами, финиками и сгущенным молоком. Поджаренную лепешку он поставил охлаждаться на подоконник, развел водой и согрел молоко, взбил яйца для омлета. Взбивая, задел рукой револьвер, лежавший в правом кармане. Тогда он оставил миску, вышел в класс и убрал револьвер в ящик письменного стола. Когда он возвратился в комнату, уже стемнело. Он зажег свет, подал кушанье арабу. «Ешь», — сказал он. Тот взял кусок лепешки, живо поднес ко рту и застыл.

— А ты? — спросил он.

— Я тоже буду. После.

Толстые губы приоткрылись, араб поколебался, но затем решительно принялся за лепешку.

Поев, он уставился на учителя:

— Это ты судья?

— Нет, я стерегу тебя до завтра.

— Почему ты ешь со мной?

— Потому что есть хочу.

Араб замолчал. Дарю поднялся и вышел. Принес из сарая походную кровать, разложил ее между столом и печкой, перпендикулярно собственной. Из большущего чемодана, поставленного в углу на попа и служившего полкой для папок с бумагами, извлек два одеяла, расстелил их на раскладной кровати. Затем остановился, не зная, за что еще взяться, и присел на постель. Больше делать было нечего. Оставалось только смотреть на араба — и он смотрел, тщетно стараясь представить себе его лицо искаженным от ярости. Он видел лишь глаза, сумрачные, но блестящие, и животные губы.

— За что ты его убил? — спросил Дарю и сам удивился неприязненности своего тона.

Тот потупился:

— Он побежал. Я за ним погнался.

Он поднял на Дарю вопрошающий взгляд, ис-

полненный страдания.

— Что теперь со мной сделают?

— Боишься?

Араб насторожился, отвел глаза.

— Жалеешь?

Несчастный глядел на него, раскрыв рот. Видимо, не понимал, о чем его спрашивают. Дарю почувствовал, как в душе закипает раздражение. Одновременно он ощущал неловкость, принужденность во всем своем большом теле, не помещавшемся между койками.

— Ложись! — произнес он нетерпеливо. — Я тебе постелил.

Тот не шелохнулся. Потом окликнул Дарю:

— Скажи!

Учитель обернулся.

— Жандарм завтра вернется?

— Не знаю.

— Ты пойдешь с нами?

— Не знаю. А что?

Арестованный встал, шагнул к постели и растянулся поверх одеял ногами к окну. Свет электрической лампочки бил ему прямо в глаза, он зажмурился.

— А что? — переспросил Дарю, стоя над ним.

Араб открыл глаза на ослепительный свет и

посмотрел на учителя, стараясь не мигать.

— Пойдем с нами, — сказал он.

За полночь Дарю все еще не спал. Перед тем как лечь, он полностью разделся: привык спать нагишом. Правда, оставшись без ничего, он засомневался: почувствовал себя уязвимым, и у него возникло искушение одеться снова. Но он только пожал плечами: и не таких встречал, если понадобится, этого противника в бараний рог скрутит. Со своей постели он видел, как тот неподвижно лежит на спине, зажмурив глаза от яркого света. Когда Дарю потушил свет, сумрак разом уплотнился. Понемногу ночь начала оживать за окном, где тихо дышало беззвездное небо. Учитель мог различить фигуру, лежавшую на соседней койке. Араб по-прежнему не шевелился, но глаза казались открытыми. Снаружи гулял ветерок. Возможно, он разгонит облака, и снова пожалует солнце.

Ночью ветер усилился. Куры забеспокоились, но вскоре утихли. Араб повернулся на бок, спиной к Дарю, и вроде как застонал. Дарю прислушался к его дыханию, оно стало громче и ровнее. Он слышал, как тот дышит совсем рядом, и не мог заснуть. Присутствие постороннего в комнате, где вот уже год он спал один, мешало ему.

Мешало еще и потому, что навязывало особого рода братство, хорошо ему знакомое и в данном случае совершенно для него неприемлемое: между мужчинами, спящими в одной комнате, — солдатами, заключенными — устанавливается таинственная связь, словно скинув вместе с одеждой житейскую броню, они воссоединяются ночью, преодолев различия, в извечном царстве усталости и сна. Дарю гнал от себя эти мысли, подобных глупостей он не любил, надо было спать.

Чуть погодя, когда араб едва заметно шевельнулся, учитель по-прежнему не спал. Шевеление повторилось, и Дарю насторожился. Медленно, как лунатик, араб приподнялся на локтях. Сев на кровати, он замер, не поворачиваясь к Дарю, будто напряженно прислушивался. Дарю не шелохнулся, он только теперь вспомнил: револьвер остался в ящике стола. Действовать следовало немедля. Однако он продолжил наблюдение: арестованный все так же машинально опустил ноги на пол, выждал еще немного и стал медленно подниматься. Дарю хотел было его окликнуть, но араб встал и пошел, теперь уже естественной походкой, только необычайно тихой. Он направлялся к двери, ведущей в пристройку. Осторожно отомкнув щеколду, он вышел и притворил за

собой дверь, но не до конца. Дарю не двинулся с места. «Смывается, — подумал он. — Скатертью дорога!» И все же прислушался. В курятнике — ни звука, стало быть, тот вышел на площадку. В эту минуту Дарю расслышал тихое журчание — что это было, он понял только тогда, когда фигура араба вновь обозначилась в дверном проеме; вошедший аккуратно закрыл дверь, неслышно прошел к кровати и лег. Тогда Дарю повернулся к нему спиной и заснул. Позднее ему казалось, что он слышит сквозь сон, как кто-то крадучись ходит вокруг школы. «Пригрезилось», — говорил он себе и продолжал спать.

Проснувшись, он увидел ясное небо; в щели плохо пригнанных рам врывался холодный и чистый воздух. Араб спал теперь, скрючившись под одеялом, раскрыв рот, полностью расслабившись. Но когда Дарю растолкал его, он страшно вздрогнул, вытаращился на Дарю, не узнавая его, безумными и до того перепуганными глазами, что учитель отступил на шаг. «Не бойся. Это я. Пора есть». Араб тряхнул головой, сказал «да». Лицо его обрело спокойствие, но выражение оставалось отсутствующим и рассеянным.

Кофе был готов. Они выпили его, сидя вдвоем на раскладной кровати, закусывая куском лепешки.

Затем Дарю отвел араба в пристройку и показал кран, где обычно умывался. Сам вернулся в комнату, сложил одеяла и походную кровать, убрал свою постель, привел комнату в порядок. Через класс вышел на площадку. На голубом небе уже вставало солнце; нежный яркий свет заливал пустынное плоскогорье. На склоне местами таял снег. Скоро там вновь оголятся камни. Присев на корточки над откосом, учитель озирал безлюдное пространство. Вспомнил Бальдуччи: он огорчил старика, вроде как выпроводил его, словно не хотел быть с ним заодно. В ушах еще звучало его сухое «прощай», и Дарю, сам не зная почему, чувствовал себя опустошенным и разбитым. В эту минуту позади школы кашлянул его пленник. Дарю предпочел бы его не слышать, он поднял и яростно швырнул камень — тот, просвистев в воздухе, утонул в снегу. Нелепое преступление этого человека повергало учителя в бешенство, но выдавать его властям — противно чести: сама мысль об этом была унизительна до крайности. Он проклинал одновременно и своих за то, что они подкинули ему этого араба, и араба за то, что убить он осмелился, а убежать не сумел. Дарю поднялся, потоптался на площадке, выждал, зашел в школу.

В пристройке, склонившись над зацементированным полом, его подопечный двумя пальцами чистил зубы. Дарю поглядел на него, потом сказал: «Пошли». Проследовал в комнату, араб за ним. Дарю натянул поверх свитера охотничью куртку, на ноги — походные ботинки. Стоя, подождал, пока тот накрутит тюрбан и завяжет сандалии. Они пересекли классную, и учитель указал спутнику на выход: «Иди». Тот не шелохнулся. «Я сейчас», — прибавил Дарю. Араб вышел. Дарю возвратился в комнату и собрал узелок с сухарями, финиками и сахаром. На обратном пути возле письменного стола он заколебался, затем шагнул через порог и запер дверь. «Сюда», — буркнул он и двинулся на восток, арестованный — за ним. Когда они чуть отошли, Дарю почудились позади какие-то звуки. Он вернулся, обогнул дом: никого. Араб наблюдал за ним, как видно, не понимая, в чем дело. «Идем», — сказал Дарю.

Через час они присели отдохнуть у основания какой-то известковой иглы. Повсюду таял и таял снег, солнце тотчас выпивало лужи, стремительно вычищало плоскогорье, и оно, становясь сухим, начинало вибрировать, как воздух. Когда они снова тронулись в путь, земля звенела у них под ногами. По временам далеко впереди

пространство с радостным криком рассекала одинокая птица. Дарю жадно глотал новоявленный свет. Чувство, похожее на восторг, зарождалось в нем от созерцания этого огромного знакомого пространства, окрашенного теперь почти целиком в желтый цвет под голубым куполом неба. Затем они шли еще час, спускаясь к югу, пока не очутились на приплюснутом взгорке, сложенном из хрупких пород. Далее плоскогорье круто уходило вниз, на востоке открывалась равнина, где глаз различал чахлые деревца, а на юге — скопления скалистых глыб, которые придавали всему пейзажу беспокойный вид.

Дарю поглядел пристально в одном направлении, в другом. На горизонте — только небо, нигде ни души. Учитель повернулся к арабу, недоуменно на него взиравшему, протянул ему сверток. «Возьми, — сказал он. — Здесь финики, хлеб, сахар. Можно продержаться два дня. Вот еще тысяча франков». Араб взял сверток и деньги и держал их перед собой, не зная, что с ними делать. «Теперь смотри, — сказал учитель и указал на восток. — Вот дорога на Тингит. Идти два часа. В Тингите администрация и полиция. Они тебя ждут». Араб глядел на восток, все так же прижимая к груди узелок и деньги. Дарю взял его

за руку выше локтя и, не слишком церемонясь, оборотил лицом к югу. Внизу, у основания склона, виднелась едва различимая тропинка. «Эта тропа пересекает плоскогорье. За день доберешься до пастбищ и первых кочевников. Они примут тебя и приютят, как у них принято». Араб повернулся к Дарю, в глазах его зрела паника. «Послушай», — начал было он. Дарю замотал головой: «Нет. Молчи. Дальше пойдешь один». Он развернулся, сделал два шага по направлению к школе, еще раз в нерешительности взглянул на неподвижно стоящего араба и продолжил путь. Несколько минут он шел, не оборачиваясь, слыша лишь звуки собственных шагов: гулкий стук по мерзлой земле. Затем оглянулся. Араб стоял все там же, над склоном, только руки опустил и смотрел вслед учителю. Дарю почувствовал комок в горле. Он выругался, махнул рукой и пошел дальше. В следующий раз он остановился не скоро. Когда он обернулся, на пригорке уже никого не было.

Дарю заколебался. Солнце стояло высоко в небе и начинало припекать голову. Он поворотил назад, пошел сперва неуверенно, затем все быстрей и решительней. Когда он достиг пригорка, пот лил с него градом. Он взбежал по склону и на вершине остановился, с трудом переводя дыхание.

Скопление скал на юге четко вырисовывалось на голубом небе, на востоке же равнина уже мрела от зноя. И там, в дымчатом мареве, Дарю с болью в сердце различил фигуру араба, плетущегося по направлению к тюрьме.

В тот же день учитель стоял у окна классной и глядел, не видя, на яркий свет, низвергающийся с небес на все пространство плоскогорья. За спиной у него висела грифельная доска, на которой среди меандров четырех рек Франции он обнаружил начертанную неумелой рукой надпись: «Ты выдал нашего брата. Ты за это заплатишь». Дарю глядел на небо, на плато и дальше, на невидимые ему земли, простиравшиеся до самого моря. В этом обширном краю, который он прежде так любил, он был один.

Иона, или Художник за работой

Бросьте меня в море… ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря.

Книга пророка Ионы, 1:12

Художник Жильбер Иона верил в свою звезду. По сути дела, только в нее он и верил, хотя испытывал уважение и даже своего рода преклонение перед верой других. Впрочем, в его собственной вере тоже имелся некий смысл: он был твердо убежден, что, пусть даже незаслуженно, многого достигнет. И вот, когда Ионе было лет тридцать пять, вдруг с десяток критиков внезапно стали оспаривать друг у друга славу первооткрывателя его таланта, он же при этом не выказывал ни малейшего удивления. Однако его безмятежность, которую некоторые приписывали самодовольству, напротив, объяснялась доверчивой скромностью. Иона скорее воздавал должное своей звезде, нежели своим заслугам.

Он удивился сильнее, когда один торговец картинами предложил ему ежемесячную сумму, которая могла избавить его от всех забот. Архи-

тектор Рато, с лицейских лет любивший Иону и его звезду, тщетно доказывал ему, что эта сумма всего лишь позволит сводить концы с концами и что торговец ничего на этом не потеряет. «Все равно», — отвечал Иона. Рато, который только своими силами добивался успеха во всех начинаниях, распекал друга: «Что все равно? Торговаться надо». Ничего не помогало. В душе Иона благодарил свою звезду. «Как вам будет угодно», — сказал он торговцу. И оставил должность, которую занимал в отцовском издательстве, чтобы полностью посвятить себя живописи. «Какая удача!» — говорил он. А про себя думал: «Удача по-прежнему на моей стороне».

Сколько он помнил себя, везение никогда не покидало его. Так, он был глубоко признателен родителям за то, что они не слишком донимали его воспитанием и у него было время мечтать, а также за то, что они расстались по причине супружеской измены. Во всяком случае, именно этот предлог приводил отец, забывая уточнить, что речь шла о довольно необычной измене: он не мог перенести, что его жена, воистину святая мирянка, не видя в этом ничего дурного, посвятила себя благотворительности и жертвовала собой ради страдающего человечества. Однако

муж претендовал на безраздельное владение добродетелями супруги. «Надоело, — говорил этот Отелло, — что мне изменяют с бедняками».

Для Ионы это недоразумение оказалось выгодным. Его родители, которые откуда-то узнали, что из детей разведенных часто вырастают убийцы и садисты, наперебой баловали сына, лишь бы задушить в зародыше возможность столь неблагоприятного развития. Чем менее заметными были последствия удара, как они думали, по психике ребенка, тем больше они тревожились: невидимые раны могли быть самыми глубокими. Стоило Ионе заявить, что у него все в порядке и день прошел удачно, как обычная родительская тревога становилась почти маниакальной. Они удваивали заботы, и у ребенка уже просто не оставалось никаких желаний.

Благодаря этому предполагаемому несчастью у Ионы наконец появился любящий брат в лице его друга Рато. Родители последнего, жалея бедного мальчика, часто приглашали его в гости. Их сочувственные речи внушили сильному и спортивному Рато желание взять под защиту друга, уже тогда восхищавшего его беспечным отношением к своим успехам. Из удачного сочетания восхищения и снисходительности родилась

дружба, которую Иона со свойственной ему беспечностью принял как должное.

Когда Иона без особых усилий закончил учебу, удача вновь улыбнулась ему. Поступив на работу в отцовское издательство, он занял там прочное положение и нашел свое призвание художника, пусть и окольными путями. Отец Ионы, первый издатель Франции, считал, что в силу кризиса культуры книга более чем когда-либо открывает путь в будущее. «История показывает, — говорил он, — что чем меньше люди читают, тем охотнее они покупают книги». Соответственно, сам он очень редко читал присылаемые ему рукописи, решался издавать их только из уважения к личности автора или же исходя из бесспорной актуальности сюжета. Ввиду этого, поскольку единственным неизменно актуальным сюжетом был секс, издатель, в конце концов, стал специализироваться на этой теме и занимался исключительно поиском интересных вариантов оформления и бесплатной рекламы. Таким образом, у Ионы, работавшего в отделе лицензирования, оказалось много свободного времени, которое требовалось чем-то занять. Так он открыл для себя живопись.

Впервые в жизни обнаружив в себе внезапную,

но настоящую страсть, он стал посвящать свои дни живописи и, все так же не прилагая особых усилий, показал себя в этом деле с лучшей стороны. Казалось, ничто больше его не интересовало, и ему с трудом удалось жениться в подобающем возрасте: живопись поглощала его целиком. На обычных людей и жизненные обстоятельства он реагировал лишь доброжелательной улыбкой, избавлявшей от необходимости принимать их всерьез. Потребовалась авария на мотоцикле, который Рато, с другом за спиной, вел слишком резво, чтобы Иона, заскучав от вынужденной неподвижности загипсованной правой руки, смог задуматься о любви. И снова он усмотрел в этом серьезном происшествии результаты доброго влияния своей звезды. Без него он не нашел бы времени посмотреть на Луизу Пулен так, как она того заслуживала.

Впрочем, по мнению Рато, Луиза вообще не заслуживала того, чтобы на нее смотреть. Будучи сам низеньким и сутулым, он любил только крупных женщин. «Не представляю, что ты нашел в этом муравьишке», — говорил он. Луиза и в самом деле была маленькая, смуглая, с темными глазами и волосами, но с ладной фигуркой и симпатичная. Большого и солидного Иону

муравьишка умиляла, тем более что Луиза оказалась очень предприимчивой. Ее призванием была активная деятельность. Это призвание счастливым образом гармонировало с флегматичным характером Ионы. Вначале Луиза решила посвятить себя литературе, полагая, что Иону интересовала работа издательства. Она читала все подряд и через несколько недель уже могла говорить о чем угодно. Иона восхищался ею и решил, что теперь может окончательно отказаться от чтения, поскольку Луиза сообщала ему достаточно информации и держала его в курсе основных современных открытий. «Не следует говорить, — утверждала Луиза, — что кто-то зол или уродлив, он просто хочет казаться злым и уродливым». Этот важный нюанс мог привести по меньшей мере, как заметил Рато, к осуждению рода человеческого. Луиза резко опровергла это, показав, что данная истина находит подтверждение одновременно и в дамских, и в философских журналах, что она универсальна и не подлежит обсуждению. «Как вам будет угодно», — сказал Иона и тут же забыл об этом важном открытии, мечтая о своей звезде.

Поняв, что Иону интересует только живопись, Луиза забросила литературу. Теперь она по-

святила себя пластическим искусствам, стала бегать по музеям и выставкам и таскала за собой Иону, который плохо понимал, что́ рисуют его современники, и стеснялся этого. Впрочем, его радовало, что он узнает так много обо всем, что касается области искусства. Честно говоря, на следующий день он даже не помнил имени художника, чьи работы только что посмотрел. Однако Луиза был права, безапелляционно напоминая ему одну из истин, усвоенных ею в период увлечения литературой, а именно что на самом деле никто ничего не забывает. Звезда, безусловно, защищала Иону, который мог без угрызений совести соединять удобство забывчивости с уверенностью памяти.

При этом чудеса преданности, которые демонстрировала Луиза, расцвечивали повседневную жизнь Ионы самыми невероятными красками. Этот добрый ангел избавлял его от необходимости покупать обувь, одежду и белье, что сокращает и без того короткую жизнь любого нормального мужчины. Она взяла на себя тысячи забот, изобретенных специально для пустой траты времени, от непонятных бланков службы социального страхования до бесконечно обновляемых правил налогообложения. «Да, конечно, — говорил Ра-

то, — но она не может пойти за тебя к зубному врачу». Луиза не ходила, но звонила и назначала самое удобное время приема; она занималась сменой масла в машине, номерами в гостинице на время отпуска, углем для отопления дома; сама покупала подарки, которые собирался дарить Иона, выбирала и посылала цветы и еще иногда по вечерам находила время зайти к нему постелить постель, чтобы избавить его от этих хлопот, перед тем как отправиться спать.

И так же естественно, с тем же успехом она оказалась в этой самой постели, потом назначила время посещения мэрии, отвела туда Иону за два года до того, как его талант наконец признали, и организовала свадебное путешествие таким образом, что им удалось посетить все музеи. При этом Луиза заблаговременно, в самый разгар жилищного кризиса, нашла трехкомнатную квартиру, в которой они и поселились по возвращении. Затем она произвела на свет одного за другим двух детей, мальчика и девочку, согласно своему плану, который состоял в том, чтобы родить троих, и который был осуществлен вскоре после того, как Иона оставил работу в издательстве и целиком посвятил себя живописи.

Впрочем, родив, Луиза стала заниматься толь-

ко детьми — вначале одним ребенком, а потом всеми. Конечно, она еще пыталась помогать мужу, но времени не хватало. Без сомнения, она сожалела, что забросила Иону, но решительный характер не позволял ей задумываться над этим. «Тем хуже, — говорила Луиза, — у каждого свое ремесло». Иона не скрывал, что эти слова привели его в восторг, потому что он, подобно всем художникам того времени, хотел, чтобы его считали ремесленником. Итак, ремесленника немного забросили, и ему пришлось самостоятельно покупать башмаки, хотя в этом не было ничего особенного, Иона не мог не порадоваться сложившемуся порядку вещей. Конечно, ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы пройтись по магазинам, но наградой за это усилие стали часы одиночества, которые так ценят люди, живущие в счастливом браке.

Проблема жизненного пространства волновала его гораздо больше, чем все остальные проблемы семейной жизни, потому что и пространство, и время вокруг неизменно сужались. Рождение детей, новая работа Ионы, тесное жилье и скудость пособия, не позволявшая купить квартиру побольше, оставляли весьма ограниченное поле для активной деятельности Луизы и Ионы.

Квартира находилась на втором этаже бывшего особняка восемнадцатого века, в старом квартале столицы. В этом округе жили многие художники, неизменно уверенные в том, что поиск нового должен вестись в окружении старины. Иона, разделявший их уверенность, очень радовался, что они поселились в этом квартале.

Их квартира, во всяком случае, была старинной. Правда, некоторые очень современные изменения делали ее оригинальной, прежде всего за счет того, что, несмотря на небольшую площадь помещения, люди могли наслаждаться в нем большим объемом воздуха. Невероятно высокие потолки и роскошные окна, украшавшие комнаты, свидетельствовали о том, что эти комнаты с величественными пропорциями предназначались для пышных приемов. Однако необходимость уплотнения городского жилья и высокие налоги на недвижимость вынудили прежних владельцев разделить слишком просторные залы перегородками, увеличив тем самым количество стойл, которые они сдавали за хорошие деньги стаду квартиросъемщиков. При этом они не позволяли снизить цену на то, что называли «большой кубатурой воздуха». Это достоинство не подвергалось сомнению. Просто

нужно было связать его с трудными обстоятельствами, вынудившими владельцев разделить таким образом комнаты с высоченными потолками. В противном случае они, разумеется, пошли бы на необходимые жертвы, чтобы предоставить дополнительные жилые помещения молодому поколению, в то время очень склонному к браку и к продолжению рода. Впрочем, кубатура воздуха обладала не только преимуществами. Из-за нее становилось трудно обогревать комнаты зимой, что, к сожалению, вынуждало владельцев повышать надбавку за отопление. Летом из-за большой площади застекления свет вторгался буквально во все уголки помещения — жалюзи отсутствовали. Владельцы не позаботились об их установке, безусловно, напуганные высотой окон и стоимостью работ. В конце концов, плотные шторы могли играть ту же роль и не создавали никаких проблем с себестоимостью, так как их оплачивали жильцы. К тому же владельцы не отказывались помочь им и предлагали шторы из собственных магазинов по самым низким ценам. Можно сказать, что жилищная филантропия была для них любимым делом. В обычной жизни эти новые аристократы торговали перкалем и бархатом.

Иона пришел в восторг от достоинств квартиры и без труда смирился с ее недостатками. «Как вам будет угодно», — сказал он владельцу по поводу платы за отопление. Что касается штор, он соглашался с Луизой, считавшей, что достаточно будет повесить их в спальне, а остальные окна оставить незанавешенными. «Нам нечего скрывать», — говорила эта простодушная женщина. Ионе особенно понравилась самая большая комната, потолок которой оказался настолько высок, что не могло идти и речи об установке на нем системы освещения. Войдя в квартиру, вы сразу попадали в эту комнату, откуда узкий коридорчик вел в две другие смежные. В дальнем конце квартиры располагались кухня и места общего пользования с закутком, носившим гордое имя душевой. Он и в самом деле мог бы заслужить это название, при условии, что там установили бы соответствующее устройство, поставили бы его вертикально и кто-то согласился бы стоять под благотворными струями, сохраняя при этом полную неподвижность.

Невероятная высота потолков и теснота комнат превращали квартиру в странное нагромождение параллелепипедов с огромным количеством стекол в окнах и дверях, где не хватало места

для мебели, а люди, терявшиеся в резком белом свете, казалось, колыхались, подобно поплавкам в вертикальном аквариуме. Более того, все окна выходили во двор, то есть находились на небольшом расстоянии от других таких же окон, за которыми можно было рассмотреть высокие очертания еще одних окон, выходивших уже во второй двор. «Это стеклянный кабинет», — восхищенно говорил Иона. По совету Рато было решено устроить супружескую спальню в одной из двух маленьких комнат; во второй в недалеком будущем предстояло поселиться ребенку. Большая комната днем служила мастерской для Ионы, а по вечерам и во время еды превращалась в гостиную. Впрочем, поесть можно было и на кухне, при условии, что один из супругов соглашался есть стоя. Рато, со своей стороны, увеличил количество полезных приспособлений в квартире. С помощью раздвижных дверей, откидных и складывающихся столиков ему удалось преодолеть недостаток мебели и в еще большей степени придать этой оригинальной квартире вид шкатулки с сюрпризами.

Однако когда комнаты заполнились картинами и детьми, настало время безотлагательно задуматься о новом жилище. Действительно,

до рождения третьего ребенка Иона работал в большой комнате, Луиза вязала в супружеской спальне, а двое малышей обитали в последней комнате и по мере возможности разгуливали по всей квартире. Новорожденного решили поместить в уголке мастерской, который Иона отгородил, расставив картины в виде ширмы; это давало возможность слышать ребенка и сразу мчаться на его призывы. Впрочем, Ионе ни разу не пришлось побеспокоиться, Луиза его опережала. Она не дожидалась, пока ребенок раскричится, чтобы войти в мастерскую, конечно, соблюдая все меры предосторожности, и всегда на цыпочках. В один прекрасный день тронутый этой предупредительностью Иона заверил Луизу, что он вовсе не так чувствителен и звук ее шагов не отвлекает его от работы. Луиза ответила, что дело еще и в том, чтобы не разбудить ребенка. Восхищенный проявлением материнской любви, Иона от души посмеялся над таким пренебрежением. В результате он не осмелился сказать, что осторожные шаги Луизы мешали ему больше, чем если бы она внезапно врывалась в комнату. Во-первых, потому что они продолжались дольше, во-вторых, потому что сопровождались целым представлением, и не заметить Луизу,

шедшую с широко расставленными руками, чуть откинувшись назад всем телом и высоко вскидывая ноги, было просто невозможно. К тому же этот способ противоречил заявленным ею намерениям, поскольку Луиза ежеминутно рисковала задеть какую-нибудь картину, которыми была заставлена мастерская. В этом случае шум будил ребенка, выражавшего неудовольствие доступным ему способом, кстати, весьма шумным. Отец, восхищенный силой легких своего сына, бросался его укачивать, но тут прибегала жена. Тогда Иона возвращался к своему полотну и с кистью в руке зачарованно внимал требовательному и властному голосу сына.

Именно в это время благодаря успеху у Ионы появилось много друзей. Друзья заявляли о себе по телефону или же наносили неожиданные визиты. Телефон, который, взвесив все обстоятельства, поставили в мастерской, звонил часто и всегда во время сна ребенка, чьи крики перекликались с требовательным сигналом аппарата. Если при этом Луизе еще приходилось заниматься другими детьми, она старалась прибежать вместе с ними, но чаще заставала Иону, держащего на одной руке ребенка, а в другой — кисти вместе с телефонной трубкой, из которой ему

передавали радушное приглашение на обед. Иона поражался этому желанию людей обедать с ним, несмотря на его неспособность поддерживать интересный разговор, и предпочел бы ходить в гости по вечерам, чтобы день полностью посвящать работе. К сожалению, друг по большей части располагал временем только на обед, причем именно в определенный день; он непременно хотел разделить это время с дорогим Ионой. Дорогой Иона соглашался: «Как вам будет угодно!» — вешал трубку: «Как он любезен!» — и передавал ребенка Луизе. Потом он возобновлял работу, но вскоре ему приходилось прерывать ее из-за обеда или ужина. Следовало раздвинуть картины, разложить стол и усесться за него вместе с детьми. Во время еды Иона посматривал на картину, над которой работал, и нередко, во всяком случае в первое время, раздражался, что дети слишком медленно жуют, каждая трапеза затягивалась. Однако, прочитав в газете, что есть надо медленно, чтобы пища лучше усваивалась, он каждый раз стал находить поводы подольше наслаждаться едой.

Иногда новые друзья наносили ему визиты. Что до Рато, тот всегда приходил после ужина. Днем он работал у себя в кабинете, к тому же знал, что

художники любят работать при дневном свете. Почти все новообретенные друзья Ионы принадлежали к породе творцов или критиков. Одни когда-то занимались живописью, другие собирались ею заняться, а третьи занимались всем тем, что уже было или будет написано. Конечно, все они очень высоко ценили творческий труд, и все жаловались на устройство современного мира, в котором так трудно сохранять вдохновение, а творец лишен возможности сосредоточиться. Они жаловались на это целыми вечерами, умоляя Иону продолжать работать, сделать вид, что их тут нет, и чувствовать себя совершенно свободно в их присутствии, ибо они не мещане и прекрасно понимают, чего стоит время художника. Иона, радуясь, что его друзья способны согласиться с тем, чтобы он работал в их присутствии, возвращался к своей картине, но при этом продолжал отвечать на вопросы, которые ему задавали, и смеяться над анекдотами, которые ему рассказывали.

Благодаря этой естественности друзья чувствовали себя вольготно. Пребывая в прекрасном расположении духа, они забывали о времени еды. У детей же память была куда лучше. Малыши прибегали, вливались в компанию, галдели, гости начинали заниматься ими, дети переходили

с одних колен на другие. Наконец квадрат неба, очерченный двором, начинал темнеть и Иона откладывал кисти. Оставалось только пригласить друзей к столу, угостить их «чем бог послал» и говорить дальше, до поздней ночи, конечно, об искусстве, но главным образом о художниках без таланта, плагиаторах или корыстолюбцах, которых, разумеется, среди них не было. Иона любил вставать рано, чтобы воспользоваться чудесными утренними часами. Он знал, что завтра будет трудно, что завтрака не дождешься, что он устанет. Но он также радовался, что за один вечер может узнать много вещей, которые обязательно принесут пользу, пусть и незаметную, его искусству. «В искусстве, как и в природе, ничего не пропадает, — говорил он. — Это как свет звезды».

Иногда к друзьям присоединялись ученики: Иона теперь давал уроки. Вначале его это удивляло, он не понимал, чему можно научиться у него, когда ему самому еще требовалось столько узнать. Художник, живший в его душе, нащупывал дорогу в сумерках — разве мог он указывать кому-то путь? Но он быстро понял, что ученик — это не обязательно тот, кто мечтает чему-то научиться. Напротив, гораздо чаще люди становились учениками ради бескорыстного удовольствия научить

чему-то своего учителя. И тогда он смог смиренно согласиться с избытком почестей. Ученики Ионы подолгу объясняли ему, что и для чего он написал. Благодаря этому Иона открыл в своем творчестве много довольно неожиданных побуждений и огромное количество всякой всячины, которую он вовсе не собирался туда вкладывать. Раньше он считал себя бедняком, а теперь благодаря ученикам внезапно оказался богачом. Иногда это огромное, до сих пор неизведанное богатство заставляло его испытывать что-то вроде гордости. «Все-таки это правда, — думал он. — Взять это лицо на заднем плане, оно ведь все затмевает. Я не очень хорошо понимаю, что они имеют в виду, говоря о косвенном очеловечении. Однако я довольно далеко зашел с этим эффектом». Но он очень быстро перелагал ответственность за это стесняющее его мастерство на свою звезду. «Это звезда заходит далеко, — говорил он, — а я остаюсь рядом с Луизой и с детьми».

Впрочем, ученики преуспели еще кое в чем: они вынуждали Иону проявлять излишнюю строгость к самому себе. Они так превозносили его в своих беседах, в частности говоря о его добросовестности и работоспособности, что это делало невозможным любое проявление сла-

бости. Так, он отказался от старой привычки съедать кусочек сахара или шоколада, после того как заканчивал трудный этап работы и перед тем как продолжить картину. Наедине с собой он тайно уступил бы этой слабости. Но укреплению его духа способствовало почти постоянное присутствие учеников и друзей, при которых он немного стеснялся грызть шоколадки и с которыми не мог прервать интересный разговор ради столь мелкой причуды.

Более того, ученики требовали, чтобы он оставался верен своим эстетическим взглядам. Иона, который долго трудился, дожидаясь, чтобы его посетило некое мимолетное озарение и реальность предстала перед ним в первозданном свете, не совсем ясно представлял себе, в чем заключалась его эстетика. У учеников, напротив, существовало на этот счет множество противоречивых и не терпящих возражений теорий, с этим они не шутили. Порой Иона с радостью сослался бы на такую скромную подругу художника, как прихоть. Однако, видя, как его ученики хмурятся перед некоторыми полотнами, не укладывавшимися в их теории, он вынуждал себя глубже задумываться над своим искусством, что приносило лишь пользу.

Наконец, ученики оказывали Ионе и другую помощь, заставляя его давать оценку их собственным творениям. В самом деле, не проходило и дня, чтобы ему не приносили какой-нибудь едва начатый набросок, причем автор ставил его между Ионой и картиной, над которой тот работал, чтобы свет падал на набросок наилучшим образом. Нужно было высказать какое-то мнение. Прежде Иона втайне стыдился своей полной неспособности судить о произведениях искусства. Все они, за исключением нескольких восхищавших его картин и откровенной мазни, казались ему в равной степени интересными и при этом оставляли его равнодушным. Теперь ему пришлось составить свой набор суждений, тем более различных, что его ученики, подобно всем столичным художникам, в общем обладали определенным талантом, и, когда они собирались вместе, приходилось подыскивать достаточно разнообразные нюансы, чтобы всем угодить. Эта приятная обязанность вынудила его подобрать собственные слова и выражения, чтобы оценивать творчество. Впрочем, эти усилия не ожесточили его доброжелательного характера. Он быстро понял, что ученикам нужна от него не критика, на которую они не знают, как реаги-

ровать, а только лишь поощрение, а еще лучше похвала. Просто нужно всех хвалить по-разному. Иона больше не довольствовался своей обычной любезностью. При этом он проявлял большую изобретательность.

Так проходила жизнь Ионы, писавшего свои картины в окружении друзей и учеников, которые сидели на стульях, расставленных теперь рядами вокруг его мольберта. Часто число зрителей увеличивалось за счет соседей, смотревших из окон напротив. Он беседовал, обменивался мнениями, изучал принесенные на его суд картины, улыбался появлявшейся Луизе, успокаивал детей и любезно отвечал на телефонные звонки, не выпуская при этом из рук кистей, которыми то и дело накладывал мазок на холст. В каком-то смысле его жизнь была совершенно заполнена, каждый час занят, и он воздавал хвалу Всевышнему, не позволявшему ему скучать. С другой стороны, чтобы закончить картину, требовалось много мазков; иногда он думал, что в скуке есть что-то хорошее, потому что от нее можно избавиться с помощью напряженной работы. Даже в редкие часы полного одиночества он чувствовал себя слишком усталым, чтобы наверстать упущенное. И в эти часы он мог лишь мечтать о

том, чтобы жизнь была устроена иначе, чтобы радости дружбы не мешали иногда скучать.

Он поделился этими мыслями с Луизой, которая, со своей стороны, переживала, что подрастающим старшим становится тесно в одной комнате. Она предложила разместить их в большой, отделив кровати ширмой, а ребенка перенести в маленькую комнатку, где его не будут беспокоить телефонные звонки. Поскольку младенец почти не занимал места, Иона мог устроить в этой же комнате свою мастерскую. В таком случае большая комната могла бы служить гостиной. Иона мог бы приходить и уходить, общаться с друзьями или работать — все поняли бы его стремление к уединению. Более того, необходимость укладывать спать старших детей позволила бы сократить время вечерних приемов. «Отлично», — сказал Иона по некотором размышлении. — «К тому же, — добавила Луиза, — если твои друзья будут уходить пораньше, мы сможем больше времени проводить друг с другом». Иона посмотрел на нее. На лице Луизы промелькнуло грустное выражение. Он с нежностью прижал ее к себе и поцеловал. Она прильнула к нему, и на какое-то мгновение они почувствовали себя такими же счастливыми, как

в начале супружеской жизни. Потом она встрепенулась: может быть, эта комната будет слишком мала для Ионы. Луиза вооружилась складным метром, и оказалось, что из-за нагромождения его собственных картин, а еще больше из-за картин учеников пространство, в котором обычно работал Иона, было почти таким же, как то, куда ему предстояло переехать. Иона немедленно приступил к переселению.

К счастью, чем меньше он работал, тем прочнее становилась его репутация. Каждую выставку ожидали и заранее восхваляли. Следует признать, что находились немногочисленные критики, в том числе из завсегдатаев мастерской, позволявшие себе нелицеприятные замечания. Впрочем, возмущение учеников с лихвой компенсировало эти мелкие неприятности. Без сомнения, настойчиво утверждали эти ученики, полотна раннего периода превосходят все остальное, но нынешние поиски предвещают настоящую революцию. Иона корил себя за некоторое раздражение, испытываемое всякий раз, когда он слышал, как превозносили его ранние работы, и рассыпался в благодарностях. Один Рато ворчал: «Чудаки… Им нравится видеть тебя неподвижным вроде статуи. Ну что с ними поделаешь!» Но Иона за-

щищал учеников: «Тебе не понять, — говорил он другу, — ты хвалишь все, что я делаю». Рато смеялся: «Черт побери! Я люблю не твои картины. Я люблю твою живопись».

В любом случае картины продолжали нравиться, и после тепло принятой выставки торговец по собственной воле предложил увеличить ежемесячное пособие. Иона принял это предложение с благодарностью, хотя и не без возражений. «Вас послушать, — заметил торговец, — так можно подумать, что вы придаете значение деньгам». Это добродушие покорило сердце художника. Однако когда он попросил у торговца разрешения выставить одну картину на благотворительный аукцион, тот поспешил выяснить, не идет ли речь о благотворительности, «от которой есть выгода». Этого Иона не знал. Тогда торговец предложил честно следовать условиям контракта, предоставляющего ему исключительные права в том, что касалось продаж. Контракт есть контракт. Их контракт не предусматривал благотворительности. «Как вам будет угодно», — согласился художник.

Новый уклад жизни дал свои результаты. В самом деле, теперь он чаще уединялся, чтобы ответить на горы писем, которые из вежливости

не мог оставить без ответа. В одних речь шла о творчестве Ионы, в других, куда более многочисленных, о тех, кто писал эти письма, — кто-то почувствовал в себе призвание художника и нуждался в ободрении, кто-то просил совета или финансовой помощи. После того как имя Ионы стало появляться в газетах, от него, как и от всех остальных, стали требовать осуждения самых вопиющих несправедливостей. Иона отвечал, писал об искусстве, благодарил, давал советы, отказывался от нового галстука, чтобы послать небольшое воспомоществование, наконец, подписывал справедливые воззвания, которые ему приносили. «Уж не занялся ли ты политикой? Предоставь это писателям и некрасивым девушкам», — говорил Рато. Нет, конечно, он подписывал только те письма протеста, которые явно не были связаны ни с одной партией. Впрочем, во всех письмах утверждалось, что их авторы совершенно независимы. Шли недели, и карманы Ионы раздувались от писем — он забывал о них, а новые все приходили. Он отвечал на самые неотложные, как правило, от незнакомцев, а те, на которые хотелось отвечать не торопясь, то есть письма от друзей, откладывал до лучших времен. Как бы то ни было, огромное количество

обязанностей не давало ему бездельничать и расслабляться. Он постоянно опаздывал и чувствовал себя виноватым, даже когда работал, что случалось все реже.

Луиза была все больше занята с детьми и выматывалась, делая по дому все то, что при других обстоятельствах мог бы делать Иона. Он страдал от этого. В конце концов, ему-то работа доставляла удовольствие, а у нее дело обстояло куда хуже. Он сразу замечал, что Луиза ушла за покупками. «Телефон!» — кричал старший, и Иона бросал картину, рассчитывая вернуться к ней позже, в спокойном состоянии, но его тут же звали снова. «Служба газа!» — кричал человек, которому открыл дверь кто-то из детей. «Иду, иду». Когда Иона отходил от телефона или от дверей, какой-нибудь друг, или ученик, или сразу оба, шли за ним в маленькую комнату, чтобы закончить начатый разговор. Постепенно все привыкли к коридору. Они там стояли, болтали, издалека призывали Иону в свидетели или же забегали в маленькую комнату. «Здесь по крайней мере, — восклицали входившие, — на вас можно хоть немного посмотреть, никуда не спеша». Иона умилялся: «И правда, в конце концов, мы совершенно не видимся». Разумеется, те, с кем он не встречался,

испытывали разочарование, и это его огорчало. Часто речь шла о друзьях, с которыми он бы с удовольствием встретился. Но ему не хватало времени, он не мог соглашаться на все подряд. Это отражалось на его репутации. Люди говорили: «С тех пор как к нему пришел успех, он возгордился. Ни с кем не общается». Или: «Он не любит никого, кроме самого себя». Нет, он любил свою живопись, Луизу, детей, Рато, еще нескольких человек, и ко всем испытывал симпатию. Но жизнь коротка, время течет быстро, и его собственные силы были небезграничны. Ему было трудно писать мир и людей и одновременно жить с ними. С другой стороны, он не мог ни пожаловаться, ни объяснить, как все это ему мешает. Потому что в этом случае его хлопали по плечу: «Ах ты счастливчик! Это издержки славы!»

Итак, почта накапливалась, ученики не допускали ни малейшего расслабления, и теперь в мастерскую хлынула светская публика — впрочем, Иона уважал этих людей за то, что они интересуются живописью, хотя вполне могли бы, как любые обыватели, следить за жизнью английской королевской семьи или думать о диетах. На самом деле речь шла в основном о светских дамах, отличавшихся большой про-

стотой нравов. Сами они картины не покупали, а просто приводили к художнику своих друзей в надежде, что те купят за них; часто их ждало разочарование. Зато они помогали Луизе, например готовили чай для гостей. Чашки переходили из рук в руки, перемещались через коридор, из кухни в большую комнату, потом возвращались, чтобы задержаться в маленькой мастерской, где Иона в окружении горстки друзей и посетителей, заполнивших комнату, продолжал писать до той минуты, когда ему приходилось отложить кисти, чтобы с благодарностью принять чашку из рук какой-нибудь прелестной особы.

Он пил чай, рассматривал набросок, поставленный учеником на его мольберт, смеялся с друзьями, прерывался, чтобы попросить кого-то из них отнести на почту пачку писем, которые он написал ночью, поднимал упавшего рядом младшего ребенка, позировал фотографу, а потом раздавалось: «Иона, телефон!» — и он все так же с чашкой в руках, бормоча извинения, пробирался через толпу в коридоре, возвращался, дописывал что-то в углу полотна, останавливался, чтобы пообещать прелестнице, что, безусловно, напишет ее портрет, и снова поворачивался к мольберту. Он работал, но вдруг: «Иона, подпиши!» — «Что

такое, — спрашивал он. — Почтальон?» — «Нет, это о кашмирских каторжниках!» — «Иду, иду!» Он бежал к двери, чтобы принять молодого альтруиста и его протестное письмо, с беспокойством интересовался, нет ли в этом чего-то политического, подписывал, предварительно получив ответ, но и замечания о своем привилегированном положении творца, которое налагает на него некоторые обязательства; и возвращался обратно, потому что ему собирались представить нового боксера-чемпиона или прославленного зарубежного драматурга, чьи имена он был не в состоянии разобрать. Драматург, не знавший французского языка, в смущении стоял перед ним минут пять, тогда как Иона с искренней симпатией кивал головой. К счастью, это безвыходное положение прерывалось вторжением обаятельного модного проповедника, мечтавшего, чтобы его представили великому художнику. Восхищенный Иона говорил любезности, нащупывал пачку писем в кармане, хватался за кисти, готовился вернуться к картине, но сперва ему приходилось благодарить даму, которая только что привела ему пару сеттеров, и, устроив их в супружеской спальне, Иона возвращался, чтобы принять приглашение на обед, затем бежал на

крики Луизы, утверждавшей, что сеттеры не приучены к жизни в квартире, и уводил их в душевую, где они принимались выть, не замолкая ни на минуту. Время от времени Иона ловил через головы людей взгляд Луизы и читал грусть в ее глазах. Наконец день подходил к концу, одни гости откланивались, другие задерживались в большой комнате и с умилением смотрели, как Луиза укладывает спать детей с помощью какой-то элегантной дамы в шляпе, сокрушавшейся по поводу того, что ей предстояло сейчас вернуться в свой особняк, где жизнь была раскидана по двум этажам, а ей так не хватает живого тепла, присущего семье Ионы.

Как-то в субботу вечером Рато принес Луизе замысловатую сушилку для белья, которую можно было закрепить на потолке в кухне. Он увидел забитую людьми квартиру; в маленькой комнате окруженный знатоками искусства Иона писал портрет дарительницы сеттеров, и тут же официальный художник писал его собственный портрет. По словам Луизы, этот художник выполнял государственный заказ. «Портрет будет называться «*Художник за работой*». Рато отошел в угол комнаты, откуда мог видеть своего друга, явно поглощенного работой.

Один из знатоков, никогда не встречавшийся с Рато, наклонился к нему:

— Слушайте, он не показывает виду, но у него есть проблемы!

Рато не ответил.

— Вы пишете? — продолжал собеседник. — Я тоже. Так вот, поверьте мне, он стал сдавать.

— Уже? — спросил Рато.

— Да. Это все от успеха. Против успеха не устоять. С ним все кончено.

— Так он сдает или с ним все кончено?

— Если художник сдает, с ним все кончено. Посмотрите, ему же больше нечего писать. Его самого напишут и повесят на стенку.

Позже, глубокой ночью, Луиза, Рато и Иона собрались в супружеской спальне. Один стоял, двое других сидели на кровати, и все молчали. Дети спали, собак отправили в деревню, Луиза перемыла всю посуду, Иона и Рато вытерли ее, все здорово устали.

— Возьмите домработницу, — сказал Рато, имея в виду гору тарелок.

Луиза меланхолично возразила:

— А куда мы ее денем?

Они помолчали.

— Ты доволен? — спросил вдруг Рато.

Иона устало улыбнулся:

— Да. Все так милы со мной.

— Нет, — сказал Рато. — Берегись. Не все добрые.

— Кто?

— Например, твои друзья-художники.

— Знаю, — ответил Иона. — Но это участь многих художников. Они не уверены в себе, даже самые великие. Поэтому ищут доказательств, судят, осуждают. Это придает им сил, укрепляет веру в себя. Они одиноки!

Рато покачал головой.

— Верь мне, — сказал Иона, — я их знаю. Их надо любить.

— А ты сам, — спросил Рато, — ты-то как? Ты никогда ни о ком слова дурного не скажешь.

Иона рассмеялся:

— Ох, я часто думаю о ком-нибудь плохое. Но просто я это забываю.

Он стал серьезнее:

— Нет, я не убежден, что состоялся. Но это произойдет, я уверен.

Рато поинтересовался, что об этом думает Луиза. Та словно очнулась от своей усталости и сказала, что муж прав: мнение их гостей ничего не значит. Значение имеет только работа Ионы.

И она прекрасно понимает, что малыш мешает ему. Еще бы, он растет, надо будет покупать диван, а диван займет место. Что же делать, пока они не найдут новую квартиру, побольше? Иона оглядел супружескую спальню. Конечно, она была далека от идеала, и кровать слишком широка. Но комната весь день пустовала. Он сказал об этом Луизе, и та задумалась. По крайней мере в спальне Ионе не станут досаждать: не осмелятся же люди, в конце концов, улечься на их кровать.

«Что вы об этом думаете?» — в свою очередь, спросила Луиза у Рато. Тот посмотрел на Иону. Иона разглядывал окна напротив. Потом он поднял глаза к беззвездному небу и пошел задернуть шторы. Вернувшись, он улыбнулся Рато, сел рядом с ним на кровать, но ничего не сказал. Луиза, явно измотанная, объявила, что пойдет принимать душ. Когда друзья остались вдвоем, Иона почувствовал, что Рато прислонился плечом к его плечу. Он не посмотрел на него, но произнес: «Я люблю рисовать. Я бы хотел рисовать всю жизнь, и днем, и ночью. Разве это не удача?» Рато посмотрел на него с нежностью: «Да, это удача».

Дети росли, и Иона был счастлив видеть, что они веселы и полны сил. Они ходили в школу и возвращались в четыре часа. Иона мог насла-

ждаться общением с ними еще по субботам после обеда, по четвергам, а также на протяжении целых дней во время частых и длинных каникул. Они еще не доросли до спокойных игр, но были уже достаточно большими, чтобы заполнить всю квартиру своими спорами и смехом. Приходилось их успокаивать, грозить им, иногда делать вид, что шлепаешь их. А еще надо было следить, чтобы белье было чистым, пришивать пуговицы — Луизы на все не хватало. Поскольку ни поселить у себя домработницу, ни даже приглашать ее в уютную тесноту, где они обитали, было невозможно, Иона предложил обратиться за помощью к сестре Луизы, Розе, вдове с взрослой дочерью. «Да, — сказала Луиза, — с Розой нам не придется стесняться. Когда захотим, можно будет попросить ее уйти». Иона обрадовался этому решению, способному облегчить не только жизнь Луизы, но и его собственную совесть, истерзанную переживаниями из-за усталости жены. Еще большим облегчением стало то, что сестра часто приводила с собой для поддержки дочку. Мир не видел никого добрее этих женщин; они были честны, добродетельны и бескорыстны. Они сделали все возможное, чтобы прийти на помощь супругам, и не жалели своего времени. Этому

способствовали и желание избавиться от тоски одинокой жизни, и удовольствие от благ жизни, которые они находили в доме Луизы. В самом деле, как и ожидалось, они никого не стеснили, и с самого первого дня родственницы чувствовали себя как дома. Большая комната превратилась в общую и служила одновременно столовой, прачечной и детской. В маленькой комнате, где спал младенец, складывали картины, а также ставили раскладушку, на которой иногда спала Роза, если приходила без дочери.

Иона занимал супружескую спальню и использовал для работы пространство между кроватью и окном. Приходилось просто дожидаться, чтобы в спальне вслед за детской навели порядок. Потом его уже не отвлекали, разве что кто-нибудь заходил взять одежду: в этой комнате стоял единственный в квартире шкаф. Что до гостей, число которых немного уменьшилось, то они быстро освоились и вопреки надеждам Луизы, не стесняясь, ложились на супружеское ложе, чтобы было удобнее болтать с Ионой. Дети прибегали поцеловать отца. «Покажи картинку!» Иона показывал им картину, над которой работал, и нежно обнимал их. Отсылая детей, он чувствовал, что его сердце полностью, до последнего уголка,

заполнено ими. В их отсутствие он испытывал лишь одиночество и пустоту. Он любил их так же, как и свою живопись, потому что лишь в них, единственных в мире, было столько же жизни.

И все же Иона стал работать меньше, хотя и сам не понимал почему. Он был по-прежнему трудолюбив, но ему стало труднее писать, даже в одиночестве. Он проводил это время, глядя на небо. Всегда отличаясь рассеянностью и способностью погружаться в свои мысли, теперь он превратился в мечтателя. Вместо того чтобы писать, он размышлял о живописи, о своем призвании. «Я люблю рисовать», — думал он, и при этом рука его, державшая кисть, не двигалась, а он прислушивался к доносившимся издалека звукам радио.

Примерно в то же время его репутация начала портиться. Ему приносили сдержанные и даже плохие рецензии, а некоторые из них были настолько злы, что у него сжималось сердце. Однако он говорил себе, что из этих нападок можно извлечь выгоду, так как они заставят его работать лучше. Люди, продолжавшие приходить в мастерскую, относились к нему с меньшим почтением, как к старому другу, с которым не стоит церемониться. Когда он хотел возобновить

работу, они говорили: «Да ладно, у тебя еще полно времени!»

Иона чувствовал, что они каким-то образом уже причислили его к своим собственным неудачам. Однако, с другой стороны, в этой новой солидарности было что-то благотворное.

Рато пожимал плечами:

— Ты слишком глуп. Они тебя совершенно не любят.

— Теперь они любят меня меньше, — отвечал Иона. — Немного любви — разве этого мало? Какая разница, откуда она берется!

И он продолжал беседовать, писать письма и рисовать по мере сил. Бывало, особенно по воскресеньям, когда после полудня дети уходили гулять с Луизой и Розой, ему удавалось писать по-настоящему. Вечером он радовался, что ему удалось немного сдвинуться с места с очередной картиной. В это время он писал небо.

В тот день, когда торговец сообщил, что, к большому сожалению, ввиду существенного сокращения продаж он вынужден уменьшить ежемесячную выплату, Иона не возражал, но Луиза явно забеспокоилась. Близился сентябрь, детей следовало одеть к школе. Она с неизменной отвагой принялась было за шитье сама, но ее

быстро опередили. Роза умела чинить одежду и пришивать пуговицы, но не могла считаться портнихой. Зато портнихой была кузина ее мужа, она и пришла на помощь Луизе. Время от времени кузина устраивалась в комнате Ионы, эта молчаливая особа сидела в углу на стуле и вела себя очень спокойно. Настолько спокойно, что Луиза предложила Ионе написать картину «За работой». «Хорошая мысль!» — согласился Иона. Он попробовал, испортил два холста, потом вернулся к начатому небу. На следующий день он долго ходил по квартире и размышлял, вместо того чтобы работать. Один из учеников, крайне взволнованный, принес длинную статью, которую Иона иначе не прочитал бы и из которой узнал, что его живопись чрезмерно расхвалена и устарела; позвонил торговец и в очередной раз сообщил о своей тревоге из-за падения спроса. Тем не менее Иона продолжал мечтать и размышлять. Ученику он сказал, что в статье есть доля правды, но что он, Иона, может рассчитывать еще на долгие годы работы. Торговцу ответил, что понимает его обеспокоенность, но не разделяет ее. Ему предстояло создать великую, действительно новую картину, все начнется заново. Произнося эти слова, он чувствовал, что говорит правду и

что его звезда где-то рядом. Достаточно будет все правильно устроить.

В последующие дни он пробовал работать в коридоре, потом в душевой, при свете электрической лампочки, потом на кухне. Но ему впервые стали мешать люди, с которыми он повсюду встречался, — и те, кого он едва знал, и свои, кого он любил. Он перестал работать и просто размышлял. В другое время года он написал бы картину на какой-то сюжет. Увы, приближалась зима, и до весны было бы трудно работать на пленэре. Тем не менее он попробовал, но потом отказался от этой идеи: холод пробирал насквозь. Иона проводил долгие дни со своими картинами, чаще всего сидя перед ними или же глядя в окно; он больше не работал. У него появилась привычка гулять по утрам. Иона ставил перед собой задачу сделать набросок: какую-то деталь, дерево, покосившийся домик, профиль случайного прохожего. К исходу дня так ничего и не выходило. Напротив, он не мог отказаться от любых искушений, будь то газеты, встреченный знакомый, витрины, уютное кафе. Вечера Иона проводил за тем, что непрерывно подыскивал отговорки, ибо совесть его была нечиста. Конечно, этот период пустоты пройдет, и он снова начнет писать, и

даже лучше. Просто сейчас работа идет внутри, а потом из этого темного тумана новым, чистым светом воссияет его звезда. А пока что Иона не вылезал из кафе. Оказалось, что спиртное дарит ему такое же возбуждение, какое дарила упорная работа в те дни, когда он думал о своих картинах с нежностью и отеческим теплом. После второй рюмки коньяка он уже ощущал себя и хозяином, и слугой мира. Просто теперь Иона наслаждался этими обостренными ощущениями в пустоте, в полном бездействии. Но именно в эти минуты он в наибольшей степени приближался к радости, составлявшей смысл его жизни, и поэтому теперь он долгими часами мечтательно сидел в шумных и прокуренных помещениях.

При этом Иона избегал мест и кварталов, куда часто ходили художники. Если он встречал кого-то из знакомых и тот заговаривал с ним о его живописи, его охватывал страх. Он хотел только одного — бежать, бежать куда угодно. Он знал, о чем говорили за его спиной: «Он считает себя Рембрандтом», — и неловкость от этого лишь усиливалась. Во всяком случае, Иона больше не улыбался, и старые друзья сделали довольно странный вывод: «Если он не улыбается, значит, доволен собой». Все это заставляло его пугли-

во озираться. Достаточно было, войдя в кафе, почувствовать, что его кто-то узнал, как в его душе воцарялся мрак. Какое-то мгновение он беспомощно стоял, смятенный и жаждущий дружбы. Иона вспоминал добрые глаза Рато и опрометью бросался вон. Однажды, когда он так покидал кафе, кто-то совсем рядом произнес: «Ну и физиономия!» Теперь он посещал только окраинные кварталы, где его никто не знал. Там Иона мог разговаривать, улыбаться, к нему возвращалась доброжелательность, никто ничего не требовал. Он обзавелся двумя-тремя не слишком разборчивыми друзьями. Особенно ему нравилось общество одного из них, обслуживавшего его в привокзальном кафе, куда он часто захаживал. Этот официант спросил, «чем Иона занят по жизни».

— Рисую, — ответил он.

— В смысле рисуешь картины или дома разрисовываешь?

— Картины.

— А, — отозвался собеседник, — трудное дело.

И больше они этой темы не касались. Да, дело трудное, но Иона должен был его осилить, как только придумает, как продолжать свою работу.

Мелькали дни и бокалы, появились новые

знакомые, ему стали помогать женщины. Он мог разговаривать с ними, до или после постели, а главное, прихвастнуть, они понимали его, даже если и не верили до конца. Порой казалось, что к нему возвращается былая сила. Однажды, когда его подбодрила очередная подружка, он решился. Вернувшись домой, Иона попытался вновь приняться за работу в своей комнате, благо портниха не пришла. Однако через час он убрал холст, тускло улыбнулся Луизе и ушел. Он пил целый день и провел ночь у подружки, впрочем, без особого желания. Утром Иона явился к Луизе и увидел на ее ошеломленном лице невыносимое страдание. Она хотела знать, спал ли муж с этой женщиной. Иона ответил, что нет, так как был пьян, но что прежде спал с другими. И впервые ему стало до боли жаль Луизу, когда он вгляделся в ее несчастное лицо. Он со стыдом осознал, что все это время не думал о ней. Иона попросил у жены прощения, сказал, что с этим покончено, что завтра все станет как прежде. Луиза не могла говорить и отвернулась, пряча слезы.

На следующий день Иона вышел из дома очень рано. Шел дождь. Он вернулся, промокший до костей, и принес охапку досок. Два старинных приятеля, зашедших узнать новости, пили кофе

в большой комнате. «Иона изменил стиль. Он будет расписывать эти деревяшки!» — сказали они. Иона улыбнулся: «Нет, ошибаетесь. Но я начинаю кое-что новенькое». Он зашел в маленький коридорчик, ведущий к душевой, туалету и кухне. Остановившись в том месте, где коридоры сходились под прямым углом, Иона долго смотрел на высокие стены, уходившие к темному потолку. Потребовалась стремянка, и он спустился за ней к консьержу.

Когда Иона вернулся, прибыло еще несколько человек, и, чтобы дойти до конца коридора, ему пришлось выстоять против проявлений любви своих гостей, которые были счастливы вновь увидеть его, и вопросов родни. В этот момент жена вышла из кухни. Поставив стремянку, он обнял Луизу и крепко прижал к себе.

Она посмотрела на него:

— Прошу тебя, не начинай сначала.

— Нет, нет, — ответил Иона. — Я буду писать. Я должен писать.

Но, казалось, он говорит сам с собой, его взгляд где-то блуждал. Он принялся за работу. На середине высоты стены Иона соорудил пол, обустроив таким образом своего рода узкие, но высокие и глубокие антресоли. К вечеру все было гото-

во. Взобравшись на стремянку, он уцепился за основание антресолей и, чтобы испытать свое сооружение на прочность, несколько раз подтянулся. Потом вернулся к гостям, и все были рады видеть его опять дружелюбным. Вечером, когда дом почти опустел, Иона взял керосиновую лампу, стул, табурет и подрамник. Под любопытными взглядами домочадцев он поднял все это на антресоли.

— Вот, — сказал он с высоты своего насеста. — Буду работать и не стану никому мешать.

Луиза спросила, уверен ли он, что сможет там писать.

— Ну конечно. Много места не требуется. Здесь удобно. Сколько великих художников писали при свете свечи и…

— А пол достаточно прочный?

Пол был прочным.

— Не волнуйся, — сказал Иона, — это отличное решение.

И спустился.

Наутро с первыми лучами солнца он взобрался на антресоли, сел, поставил подрамник на табурет, прислонив к стене, и так сидел, не зажигая лампы. Он ясно слышал лишь звуки из кухни или туалета. Все остальное казалось отдаленным

шорохом, а шум от посетителей, телефонные и дверные звонки, шаги приходивших и уходивших людей, разговоры звучали приглушенно, словно доносились с улицы или со двора. Более того, в то время как вся квартира была залита ярким светом, здесь царил полумрак.

Время от времени кто-нибудь из друзей приближался к антресолям:

— Что ты там делаешь, Иона?

— Работаю.

— Без света?

— Пока — да.

Он не писал, он думал. Прислушивался к собственному сердцу в полумраке и непривычной тишине, показавшейся ему могильной. Обращенные к нему звуки, доходя до антресолей, как будто его уже не касались. Это напоминало смерть во сне одинокого человека, когда утром в его доме настойчивые и резкие телефонные звонки разрывают тишину над телом, которое уже ничего больше не услышит. Но Иона жил, он прислушивался к этой тишине в самом себе, он ждал свою звезду, которая пока еще пряталась, но уже готовилась вновь взойти, засиять наконец неизменным светом над беспорядочностью этих пустых дней. «Свети, свети, — повторял он. — Не

лишай меня света». Она засияет снова, это несомненно. Но ему нужно было подольше подумать, потому что Иона наконец обрел возможность уединяться, оставаясь в семье. Нужно было открыть то, чего он до сих пор ясно не осознавал, хотя и знал всегда и всегда писал. Он должен был постичь наконец эту тайну, которая принадлежала не только искусству, он понимал это. Вот почему Иона не зажигал лампу.

Теперь он каждый день поднимался к себе на антресоли. Гости стали приходить реже, вечно хлопочущая Луиза разговоры не поддерживала. Иона спускался, чтобы поесть, а потом поднимался обратно. Целыми днями он неподвижно сидел в темноте. Ночью приходил в спальню, когда жена уже ложилась. Через несколько дней он попросил Луизу передать ему завтрак, и она сделала это с такой предупредительностью, что Иона растрогался. Чтобы не отвлекать ее от других дел, он предложил ей сделать кое-какие запасы и сложил их на антресолях. Постепенно Иона вообще перестал спускаться днем, однако к запасам почти не притрагивался. Как-то вечером он позвал Луизу и попросил у нее одеяла: «Я переночую здесь». Луиза смотрела наверх, запрокинув голову. Она открыла было рот, но не сказала ни

слова. Луиза смотрела на мужа с тревогой и грустью; он вдруг увидел, как она постарела, увидел, что усталость от такой жизни глубоко затронула и ее. А ведь ей никто никогда по-настоящему не помогал. Но прежде чем Иона смог заговорить, она улыбнулась с нежностью, от которой у него сжалось сердце: «Как хочешь, дорогой».

Отныне он проводил ночи на антресолях, откуда почти не спускался. Дом внезапно очистился от посетителей, потому что Иону теперь нельзя было увидеть ни днем, ни вечером. Одним говорили, что он уехал в деревню, другим, устав от лжи, отвечали, что он подыскал себе мастерскую. Один лишь Рато по-прежнему приходил. Он забирался на стремянку, над помостом появлялось его крупное добродушное лицо.

— Как дела?

— Лучше некуда.

— Ты работаешь?

— Ну да.

— Но у тебя же нет холста!

— И все же я работаю.

Продолжать диалог между стремянкой и антресолями становилось все труднее. Рато качал головой, спускался, помогал Луизе с починкой кранов или замка, потом, не поднимаясь на стре-

мянку, прощался с Ионой, который отвечал из темноты: «Пока, дружище».

Как-то вечером Иона добавил к своему прощанию:

— Спасибо.

— За что спасибо?

— За то, что ты меня любишь.

— Тоже мне новость! — сказал Рато и ушел.

Когда на другой вечер Иона позвал Рато, тот сразу прибежал. Лампа впервые оказалась зажженной. Иона с обеспокоенным лицом свесился с антресолей:

— Передай мне холст.

— Да что с тобой? Ты похудел, ты как привидение.

— Я в последнее время почти не ем. Я должен работать, и это главное.

— Сперва поешь!

— Нет, я не голоден.

Рато принес холст.

Перед тем как скрыться на антресолях, Иона спросил:

— Как они там?

— Кто?

— Луиза и дети.

— Все хорошо. Но было бы еще лучше, если бы

ты был с ними.

— Я их не покидаю. Ты скажи им, что я их не покидаю. — И он исчез.

Рато поделился своей тревогой с Луизой.

Та призналась, что и сама уже давно беспокоится:

— Что же делать? Ах, если бы я могла работать за него!

Она в отчаянии смотрела на Рато.

— Я не могу без него жить.

Рато с удивлением увидел, что ее лицо вновь стало как у юной девушки. Он заметил, что она покраснела.

Лампа горела всю ночь и все следующее утро. Когда приходили Рато и Луиза, Иона просто отвечал: «Не мешайте, я работаю». В полдень он попросил керосину. Коптившая лампа снова разгорелась ярким пламенем и светила до вечера. Рато остался поужинать с Луизой и детьми. В полночь он попрощался с Ионой. Подождал минутку перед освещенными антресолями, а потом молча ушел. На следующее утро, когда Луиза поднялась, лампа все еще горела.

Начинался прекрасный день, но Иона не замечал этого. Он повернул холст лицом к стене. Иона ждал, сидя в изнеможении, положив руки на

колени. Он говорил себе, что отныне больше никогда не будет работать, и был счастлив. Слышал, как хнычут дети, как журчала вода, как звякала посуда, разговаривала Луиза. Стекла больших окон дребезжали, когда по бульвару проезжал грузовик. Молодой, восхитительный мир все еще существовал, Иона прислушивался к прекрасной людской суете. Доносившийся издалека, этот шум не мешал переполнявшей его радостной силе, его искусству, тем невысказанным мыслям, о которых никто не знал и которые поднимали его на недосягаемую высоту. Дети бегали по комнатам, дочка смеялась, смеялась и Луиза, а ведь ее смех он не слышал уже так давно. Он любил их! Как же он их любил! Иона погасил лампу, но разве его звезда не продолжала сиять в наступившей темноте? Это была именно она, он узнал ее, его сердце наполнилось благодарностью, и Иона не отрывал от нее взгляд, даже когда бесшумно упал.

— Ничего страшного, — сказал чуть позже приглашенный врач. — Он слишком много работает. Через неделю встанет на ноги.

— Он поправится, доктор, вы уверены? — спросила осунувшаяся Луиза.

— Поправится.

В другой комнате Рато смотрел на совершенно чистый холст, в центре которого Иона крохотными буквами написал всего одно еле разборчивое слово, правда, оставалось непонятным, как прочитать его: «уединение» или «соединение».

Растущий камень

Машина тяжело повернула на грязной площадке из латерита. Фары вдруг высветили в ночи с одной, а потом с другой стороны дороги две деревянные лачуги, крытые жестью. Направо от второй в легком тумане виднелась башня из неотесанных балок. От вершины башни шел металлический кабель; невидимый в месте, где он крепился, кабель блестел, попадая в свет фар, а потом исчезал за насыпью, перегородившей дорогу. Машина замедлила ход и остановилась в нескольких метрах от лачуг.

С правой стороны от шофера из нее выбирался мужчина, который упорно силился извлечь себя из дверцы. Наконец, выпрямившись, он слегка покачнулся своим мощным телом колосса. В темноте рядом с машиной, усталый, тяжело вросший в землю, он, казалось, прислушивался к глухому рокоту мотора. Потом он двинулся по направлению к насыпи и вошел в конус света фар. Он остановился на вершине склона, силуэт его массивной спины вырисовывался во мраке. Через некоторое время он обернулся. Черное лицо шофера блестело над приборной доской и

улыбалось. Мужчина сделал знак, шофер выключил мотор. Глубокая прохладная тишина тотчас упала на дорогу и лес. Послышался шум воды.

Мужчина смотрел вниз на реку, обозначенную только спокойным движением темноты, отливающей блестящей чешуей. Более плотная и застывшая вдалеке ночь, видимо, была другим берегом. Однако внимательно присмотревшись, на этом неподвижном берегу можно было заметить желтоватый огонек, похожий на свет масляной лампы. Колосс обернулся к машине и покачал головой. Шофер погасил фары, снова сделал так несколько раз. И всякий раз на насыпи появлялся и опять исчезал человек, все более могучий и массивный в каждом появлении. Внезапно на другом берегу невидимая рука несколько раз подняла фонарь. Последний взмах — шофер окончательно выключил фары. Машина и колосс исчезли в ночи. При потушенных фарах река стала почти видима, во всяком случае, временами она вздрагивала своими продолговатыми мышцами. По обе стороны дороги на небе вырисовывались темные кущи леса, они казались совсем близкими. Мелкий дождик, смочивший час назад дорогу, еще моросил в теплом воздухе, утяжеляя тишину и неподвижность этой большой поляны посреди

девственного леса. В черном небе подрагивали запотевшие звезды.

С другого берега послышался лязг цепей и приглушенный плеск. Над лачугой, справа от все еще ожидающего мужчины, натянулся провод. Глухой скрип пробегал по нему одновременно с шумом рассекаемой воды, который доносился с реки. Скрип стал равномерным, шум воды еще усилился, потом стал совсем явственным по мере того, как свет фонаря приближался. Теперь уже можно было различить окружающее его желтоватое сияние. Сияние мало-помалу расширялось и снова сократилось, когда сквозь туман в свете фонаря стала вырисовываться квадратная крыша из сухих пальм, поддерживаемая по четырем углам толстыми стволами бамбука. Этот грубый навес, вокруг которого двигались смутные тени, медленно двигался к берегу. Когда он был почти на середине реки, в желтом свете отчетливо обозначились три маленьких человечка с обнаженными торсами, почти черные, в конических шляпах. Они стояли неподвижно, слегка расставив ноги и немного наклонив тела, чтобы сохранить равновесие под напором мощного течения реки, ударяющей о борт нескладного парома, идущего сквозь ночь. Когда паром еще

немного приблизился, мужчина различил за навесом двух рослых негров, одетых только в брюки из холстины и тоже в широкополых соломенных шляпах. Стоя бок о бок, они всем своим телом наваливались на шесты, медленно погружающиеся в реку у задней части парома, когда негры одним замедленным движением склонялись над водой, едва удерживая равновесие. Впереди три неподвижных молчаливых мулата смотрели на подступающий берег, не поднимая глаз на того, кто их ожидал.

Внезапно паром ударился о край причала, выступавшего над водой, которую осветил замигавший от удара фонарь. Рослые негры застыли, подняв над головой руки и уцепившись за концы погруженных в воду шестов, мышцы на их руках были напряжены, по ним пробегала непрерывная дрожь, сообщаемая, казалось, самой водой. Остальные паромщики забросили цепи вокруг быков причала, потом спрыгнули на доски и опустили какое-то подобие подъемных мостков, наклонно легших на переднюю часть парома.

Мужчина вернулся к машине и сел в нее, пока шофер заводил мотор. Машина медленно атаковала насыпь, выставив капот в небо, затем, опустив его к реке, стала спускаться. Притормаживая, она

катилась, скользила по грязи, останавливалась и трогалась снова. Въехав на причал под шум подпрыгивающих досок, она достигла края, где все так же молча мулаты выстроились по обеим сторонам, и медленно перекатилась на паром. Он чуть погрузился в воду, как только передние колеса коснулись его, и почти сразу же поднялся, чтобы принять всю тяжесть автомобиля. Потом шофер подвел машину к задней части парома и остановил ее перед квадратной крышей, где висел фонарь. Мулаты тотчас убрали перекинутые на причал мостки и одним движением прыгнули на паром, одновременно отвязывая его от грязного берега. Река выгнулась под паромом, подняла его на поверхность своих вод, и он медленно поплыл вдоль провода на конце устремленного к небу длинного стержня. Тогда рослые негры ослабили свои усилия и снова взялись за шесты. Мужчина и шофер вышли из машины и неподвижно встали у борта парома лицом к течению. Во время маневра никто не разговаривал, каждый продолжал стоять на своем месте, молча и неподвижно, кроме одного рослого негра, который сворачивал папироску из грубой бумаги.

Мужчина смотрел на пролом, откуда вытекала река, спускаясь к ним из бразильского леса. Здесь

река была шириной в несколько сотен метров, она прижимала свои мутные, шелковистые воды к бортам парома, слегка заливая его, и потом сливалась за ним в один широкий поток, тихо катящийся сквозь темный лес к морю и ночи.

Витал запах, идущий не то от воды, не то от рыхлого, низко нависшего неба. Теперь слышались тяжелые всплески под паромом и временами доносящийся с обоих берегов зов жаб или странные крики птиц. Колосс подошел к шоферу. Тот, маленький и худощавый, облокотившись на один из бамбуковых столбов, засунул руки в некогда голубой комбинезон, теперь покрытый красноватой пылью, которую они глотали весь день, пока ехали. С улыбкой, расцветшей на всем его хоть и молодом, но сморщенном лице, он глядел невидящими глазами на утомленные звезды, еще плавающие во влажном небе.

Но крики птиц становились все отчетливее, к ним примешивались какие-то незнакомые звуки, и почти сразу провод начал скрипеть. Рослые негры погрузили свои шесты и вслепую пытались нащупать дно. Мужчина повернулся к берегу, который они только что покинули. Тонущий в сумраке ночи и водах реки, он высился, огромный и угрюмый, как континент деревьев,

простиравшийся на тысячи километров за ним. Зажатая между совсем близким океаном и этим зеленым морем горстка людей, относимая в этот час течением по дикой реке, казалась совсем затерянной в бескрайнем мире. Когда паром стукнулся о новую пристань, казалось, будто они, разорвав все цепи, во мраке причалили к какому-то неведомому острову после долгих дней и ночей безумного плавания.

На берегу послышались голоса людей. Шофер расплатился с ними, и они странно веселыми голосами в этой тяжелой ночи по-португальски попрощались с уже заводившими машину путниками.

— Они сказали, что до Игуапы шестьдесят километров. Три часа езды — и баста. Сократ доволен, — объявил шофер.

Мужчина засмеялся тяжелым и жарким смехом, похожим на него самого.

— Я тоже доволен, Сократ. Только дорога была тяжелая.

— Слишком тяжелый, месье д'Арраст, — ты слишком тяжелый. — Шофер тоже смеялся и не мог остановиться.

Машина немного набрала скорость. Она катилась между высившимися стеной деревьями

и зеленой массой непроходимых дебрей, среди мягкого приторного запаха.

Беспорядочные траектории движения светящихся мух беспрерывно рассекали лесной сумрак, и время от времени красноглазые птицы ударялись о ветровое стекло. Иногда из глубин ночи до них доносилось странное рычание, и шофер поглядывал на своего соседа, забавно вращая глазами.

Поворот за поворотом, дорога пересекала маленькие речки, через которые были перекинуты подвесные мостки. Через час начал сгущаться туман. Заморосил мелкий дождик, размывавший свет фар. Несмотря на толчки, д'Арраст задремал. Теперь он уже не ехал по влажному лесу, но снова по дорогам ла Серры, по которым они катили утром при отъезде из Сан-Паулу. С этих немощеных дорог непрестанно вздымалась красная пыль, вкус которой они еще чувствовали во рту; насколько хватало глаз, пыль устилала скудную степную растительность. Тяжелое солнце, бледные потрескавшиеся горы, изголодавшиеся зебу на дороге и их эскорт — устало парящие распластанные в воздухе ястребы, долгое, бесконечно долгое плавание через красную пустыню… Д'Арраст вздрогнул. Машина остановилась. Теперь

они очутились в Японии: по обеим сторонам дороги тянулись дома с хрупкими украшениями, а в домах невидимые кимоно. Шофер разговаривал с каким-то японцем в грязном комбинезоне и бразильской соломенной шляпе. Машина тронулась снова.

— Он сказал: только сорок километров.

— Где мы были? В Токио?

— Нет, все японцы у нас приезжают сюда.

— Почему?

— Никто не знает. Они ведь желтые, ты же знаешь, месье д'Арраст.

Лес понемногу редел, дорога становилась более легкой, хоть и скользкой. Колеса буксовали по песку. Через дверцу проникало влажное, теплое, немного терпкое дуновение.

— Чувствуешь, — с видимым удовольствием сказал шофер, — это хорошее море. Скоро Игуапа.

— Если только у нас хватит бензина, — усомнился д'Арраст.

Он снова мирно уснул.

Рано утром, сидя на кровати, д'Арраст удивленно озирал больничную палату, где он только что проснулся. Высокие стены, до половины покрашенные коричневой известью, выше были

побелены в незапамятные времена, и лоскутья желтоватых корок покрывали их до потолка. Друг против друга стояли два ряда коек. Д'Арраст видел только одну смятую постель в конце своего ряда, но она была пустой. Слева от себя он услышал шум и обернулся к двери, где смеясь стоял Сократ, держа в каждой руке по бутылке минеральной воды.

— Счастливое воспоминание, — сказал он.

Д'Арраст встряхнулся. Да, больница, куда мэр города поселил их накануне, называлась «Счастливое воспоминание».

— Надежное воспоминание, — продолжал Сократ. — Они мне сначала приказали построить больницу, потом построить воду. А пока «Счастливое воспоминание» держит газированную воду, чтобы ты умылся.

Он исчез, смеясь и напевая, с виду совсем не обессилевший от непрерывного чихания, всю ночь сотрясавшего его и мешавшего д'Аррасту уснуть.

Теперь д'Арраст полностью пробудился. Сквозь зарешеченные окна он видел перед собой маленький дворик с красной землей, размытой дождем, который бесшумно моросил над рощицей крупных алоэ. По двору шла женщина, развернув над

головой желтую косынку. Д'Арраст снова лег, потом сразу же вскочил с кровати, согнувшейся и застонавшей под его тяжестью. В этот же миг вошел Сократ:

— За тобой, месье д'Арраст. Мэр ждет во дворе. Но, заметив всклокоченный вид д'Арраста, добавил:

— Не волнуйся, он никогда не спешит.

Побрившись и умывшись минеральной водой, д'Арраст вышел под козырек пристройки. Мэр, низкорослый человечек в очках с золотой оправой, казалось, был всецело поглощен угрюмым созерцанием дождя. Однако обворожительная улыбка преобразила его лицо, как только он заметил д'Арраста. Он напряг свое маленькое тело и, бросившись к колоссу, попытался обнять мощный торс «месье инженера». В ту же самую минуту перед ними затормозила машина с другой стороны невысокой стены, окружавшей двор, она заскользила по мокрой глине и как-то криво остановилась.

— Судья! — сказал мэр.

Судья, как и мэр, был одет в темно-синее. Но он был гораздо моложе или по крайней мере казался таковым благодаря своей элегантной фигуре и свежему лицу удивленного юноши. Сейчас он

шел через двор, направляясь к ним и грациозно избегая луж. В нескольких шагах от д'Арраста он уже протягивал руки и поздравлял его с благополучным прибытием. Он горд принять месье инженера, который оказывает честь их неприметному городу, он радуется неоценимой услуге, которую месье инженер окажет Игуапе, возглавив строительство маленькой дамбы; эта дамба спасет от затопления нижние кварталы. Повелевать водами, укрощать реки, ах, это великое ремесло, и бесспорно бедняки Игуапы запомнят имя господина инженера и еще многие годы будут поминать его в своих молитвах. Д'Арраст, побежденный столь неотразимым шармом и красноречием, поблагодарил за прием и больше уже не спрашивал себя, какое отношение к дамбе мог иметь судья. Впрочем, по мнению мэра, им следовало посетить клуб, где влиятельные горожане желали достойно принять господина инженера перед тем, как отправиться осматривать нижние кварталы.

Кто же эти влиятельные граждане?

— Ну, — сказал мэр, — я сам, поскольку я мэр, присутствующий здесь господин Карвало, начальник порта и некоторые другие менее значительные лица. Впрочем, вам можно не обращать

на них внимания, они не говорят по-французски.

Д'Арраст позвал Сократа и распорядился, чтобы тот разыскал его на исходе утра.

— Хорошо, — сказал Сократ. — Я пойду в Сад Фонтана.

— В Сад?

— Да, его все тут знают. Не надо волноваться, месье д'Арраст.

Больница, д'Арраст заметил это выходя, была построена на краю леса, густая листва почти нависала над крышами. На кроны деревьев, сливающиеся в единую поверхность, теперь ниспадала пелена мелкого дождя, которую густой лес бесшумно впитывал, как огромная губка. Город — около сотни домов, покрытых выцветшей черепицей, — простирался между лесом и рекой, отдаленное дыхание которой доходило до больницы. Машина въехала сначала на размытые улицы и почти тотчас же вырвалась на довольно просторную площадь, хранящую на своей красной глине между многочисленными лужами следы шин, железных колес и сабо. Низкие дома, облицованные разноцветной штукатуркой, замыкались в круг, за пределами которого виднелись две башни бело-голубой, в колониальном стиле церкви. Над этим голым пейзажем витал

запах соли, идущий от лимана. Посреди площади бродило несколько промокших силуэтов. У домов толклась пестрая толпа пастухов, японцев, индейцев-метисов, там же прохаживались мелкими шажками знатные граждане города, элегантные темные костюмы которых казались невероятно экзотичными. Люди неспешно сторонились, чтобы уступить место машине, потом останавливались и провожали ее взглядами. Когда машина встала на площади перед одним из домов, вокруг нее образовался молчаливый кружок промокших пастухов.

В клубе, представляющем собой нечто вроде маленького бара на втором этаже со стойкой из бамбука и металлическими столиками, собралось много почетных горожан. После того как мэр со стаканом в руке поздравил д'Арраста с благополучным прибытием и пожелал ему всяческого благополучия, все выпили тростниковой водки в честь гостя.

Но в то время как д'Арраст пил, стоя у окна, огромный верзила в бриджах и крагах подошел к нему, немного покачиваясь, и разразился быстрой и непонятной речью, в которой инженер уловил только слово «паспорт». Он помешкал, потом вытащил документ, который тот жадно

ухватил. Полистав паспорт, верзила явственно впал в дурное настроение. Он снова заговорил, потрясая паспортом перед носом у инженера, спокойно наблюдавшего за этим сердитым господином. Улыбающийся судья тотчас направился к ним и спросил, в чем дело. Пьянчуга с минуту изучал хрупкое созданье, позволившее себе прервать его, потом, пошатываясь все более рискованно, вновь потряс паспортом теперь уже перед лицом нового слушателя. Д'Арраст мирно уселся за столик и ждал. Диалог стал очень оживленным, и вдруг судья заговорил громовым голосом, который у него трудно было заподозрить. И верзила неожиданно отступил с видом ребенка, застигнутого на месте преступления. Судья еще гремел, когда он пошел к двери кривоватой походкой наказанного школьника и мгновенно исчез.

Судья сразу же объяснил д'Аррасту своим прежним благозвучным голосом, что этот грубиян — шеф полиции, который осмелился заподозрить, что у господина д'Арраста не в порядке паспорт, и что он будет наказан за свою выходку. Затем господин Карвало обратился к своим почетным согражданам, образовавшим круг, и, казалось, спрашивал у них совета. После короткой дискуссии судья принес д'Аррасту торжественные

извинения, попросил его согласиться, что только излишком выпитого можно объяснить такой недостаток уважения и признательности, а между тем весь город Игуапа так обязан ему; наконец судья попросил его соизволить самому выбрать наказание, которое подобает наложить на этого злосчастного субъекта. Д'Арраст ответил, что он против какого бы то ни было наказания, что это был незначительный инцидент и что он спешит на реку. Тогда взял слово мэр, утверждая с сердечным добродушием, что наказание действительно необходимо, что виновный будет арестован и что они все вместе будут ждать, чтобы их выдающийся гость соизволил решить его судьбу. Никакие возражения не смогли сломить эту улыбчатую, но непреклонную суровость, и д'Арраст вынужден был пообещать, что подумает. Потом решили посетить нижние кварталы.

Река уже широко расстилала свои пожелтевшие воды на низких осклизлых берегах. Они миновали последние дома Игуапы и находились между рекой и высокой крутой насыпью, где ютились хижины, слепленные из самана и веток. Перед ними прямо с насыпи начинался лес, другой берег тоже был лесистый. Но русло реки на глазах расширялось между деревьями

вплоть до едва различимой линии, скорее серой, чем желтой, которая была морем. Д'Арраст молча подошел к насыпи, на склоне ее разные уровни паводка оставили еще свежие следы. Размытая дождем тропинка поднималась к хижинам. Здесь стояли негры, молча глядя на пришедших. Несколько пар держались за руки, на самом краю насыпи рядом со взрослыми малыши-негритята со вздутыми животами и худыми ножками таращили свои круглые глаза.

Подойдя к хижинам, д'Арраст жестом подозвал начальника порта, высокого смешливого негра в белой униформе. Д'Арраст спросил у него по-испански, можно ли зайти в какую-нибудь хижину. Начальник был в этом уверен, он даже находил, что это удачная мысль и что господин инженер увидит очень любопытные вещи. Он обратился к неграм, долго с ними говорил, показывая на д'Арраста и реку. Те слушали, не говоря ни слова. Когда начальник закончил, никто не пошевелился. Он нетерпеливо заговорил снова. Потом окликнул одного из мужчин, который покачал головой. Тогда начальник отчеканил что-то коротко, повелительным тоном. Мужчина отделился от группы, повернулся к д'Аррасту и жестом показал ему дорогу. Но во взгляде его

сквозила неприязнь. Он был немолод, голова покрыта короткой седеющей щетиной, лицо худое и увядшее, однако тело еще молодое, с сильными сухими плечами и тугими мышцами, различимыми под полотняными штанами и разорванной рубахой. Они прошли вперед, сопровождаемые начальником и толпой негров, и вскарабкались на другую насыпь, более отлогую, где земляные, жестяные и тростниковые хижины едва цеплялись за землю и у основания были укреплены увесистыми камнями. Им встретилась женщина, которая спускалась по тропинке, временами скользя босыми ногами, на голове она несла наполненный водой жбан. Затем они пришли на маленькую площадку, по краям которой стояли три хижины. Мужчина подошел к одной из них и открыл бамбуковую дверь с петлями из лиан. Он молча посторонился, устремив на инженера тот же бесстрастный взгляд. В хижине д'Арраст сначала не увидел ничего, кроме угасающего очага прямо на полу в центре комнаты. Потом различил в одном из углов медную кровать с голым продавленным матрацем, в другом углу стоял стол с глиняной посудой и между ними подобие треножника, на котором высилась лубочная картинка, изображавшая святого Георгия. Это было

все, не считая кучи лохмотьев справа от входа, и под потолком несколько разноцветных набедренных повязок, сохших над огнем. Застыв на месте, д'Арраст вдыхал запах дыма и нищеты, вздымавшийся от земляного пола и перехватывавший горло. У него за спиной начальник хлопнул в ладоши. Инженер обернулся и на пороге, против света, увидел изящный силуэт черной девушки, которая ему что-то протягивала: он взял стакан и выпил крепкой тростниковой водки. Девушка протянула поднос, чтобы взять пустой стакан, и вышла; ее движения были такими гибкими и грациозными, что д'Аррасту вдруг захотелось ее удержать.

Но, выйдя за ней, он не узнал ее в толпе негров и почетных горожан, теснившихся вокруг хижины. Он поблагодарил старика, который молча поклонился и ушел. Начальник порта, шедший позади, снова пустился в объяснения, расспрашивал, когда французская компания из Рио намерена начать работы и может ли дамба быть построена до сезона больших дождей. Д'Арраст не знал и, по правде, не думал об этом. Он спустился к прохладной реке под моросящим дождем. Его непрерывно преследовал этот громкий вездесущий шум, он не переставал его слышать с самого своего при-

езда и не мог сказать с уверенностью, было ли это шелестом воды или деревьев. Добравшись до берега, он смотрел на далекую неясную линию моря, где на тысячи километров ничего, кроме воды, а далее Африка и еще дальше — Европа, из которой он приехал.

— Начальник, — спросил он, — а на что живут люди, которых мы только что видели?

— Они работают, когда в них есть необходимость, — ответил начальник. — Мы бедны.

— И это самые бедные?

— Да, самые бедные.

Судья, который подходил, то и дело поскальзываясь в своих изящных туфлях, сказал, что они уже полюбили господина инженера, который даст им работу.

— А знаете, — сказал он, — эти люди танцуют и поют каждый день.

Затем, сменив тему, спросил у д'Арраста, думал ли он о наказании.

— Каком наказании?

— Ну, нашего шефа полиции.

— Его нужно отпустить.

Судья сказал, что это невозможно и он должен быть наказан. Но д'Арраст уже шел по направлению к Игуапе.

В маленьком Саду Фонтана, таинственном и тихом под мелким дождиком, грозди причудливых цветов спускались вдоль лиан между банановыми деревьями и панданусами. Нагромождения влажных камней отмечали пересечения тропинок, где в этот час гуляла пестрая толпа. Метисы, мулаты, несколько пастухов тихо разговаривали или, не убыстряя шаг, углублялись в бамбуковые аллеи до того места, где купы деревьев и лесной поросли становились более плотными, а потом и непроходимыми. Там сразу же начинался лес.

Д'Арраст искал Сократа среди толпы, но тот внезапно оказался у него за спиной.

— Это праздник, — смеясь, проговорил Сократ; он оперся на высокие плечи д'Арраста, чтобы подпрыгнуть на месте.

— Какой праздник?

— Э, — удивился Сократ, стоя теперь лицом к д'Аррасту, — ты разве не знаешь? Праздник доброго Иисуса. Каждый год все приходят в грот с молотком.

Сократ показывал не на грот, а на группу людей, которые, казалось, чего-то ждали в углу сада.

— Вот, смотри! Однажды добрая статуя Иисуса приплыла с моря, поднимаясь вверх по реке. Ее нашли рыбаки. Такая красивая! Такая красивая!

Тогда они ее вымыли здесь в гроте. А потом в гроте вырос камень. Каждый год праздник. Молотком ты разбиваешь камень на кусочки, чтобы освятить счастье. А он продолжает расти, хоть ты его разбиваешь. Это чудо.

Они подошли к гроту, низкий вход в который виднелся над ожидавшими людьми. Внутри, в тени, усеянной дрожащими огнями свеч, сидевший на корточках человек бил в этот момент молотком по камню. Это был худой пастух с длинными усами; вскоре он встал и вышел из грота, держа в открытой для всех ладони кусочек влажного сланца, который он за несколько секунд перед тем как уйти осторожно зажал в руке. В грот, пригнувшись, вошел другой человек.

Д'Арраст обернулся. Вокруг, не обращая на него внимания, бесстрастно ожидали своей очереди пилигримы, мокшие под мелким дождем, спускавшимся с деревьев. Д'Арраст тоже ждал у этого грота, сам не зная чего. Говоря по правде, он уже месяц, с момента приезда в эту страну, все время чего-то ждал. Он ждал в алом зное влажных дней, под мерцающими ночными звездами, ждал, несмотря на свои обязанности — строительство дамб, прокладку дорог, — как будто работа, ради которой он сюда приехал, была всего лишь пред-

логом, поводом для какой-то неожиданности или встречи; он их даже не представлял себе, но тем не менее терпеливо ожидал их на краю света. Д'Арраст вздрогнул, никто в этой маленькой группе местных жителей не обращал на него внимания, и он направился к выходу. Нужно было возвращаться к реке и работать.

Но Сократ ждал его у двери, занятый оживленной беседой с низкорослым кряжистым человеком, скорее желтым, чем чернокожим. Его наголо выбритый череп еще больше увеличивал красивого очертания лоб; на широком гладком лице его красовалась очень черная борода, подстриженная квадратом.

— Это наш силач! — вместо представления сказал Сократ. — Завтра он совершит шествие.

Человек, одетый в морской костюм из грубой саржи, тельняшку с голубыми и белыми полосками под морской курткой, внимательно изучал д'Арраста, глядя на него черными спокойными глазами. В то же время он улыбался, показывая ослепительно белые зубы меж полных глянцевых губ.

— Он говорит по-испански, — сказал Сократ, поворачиваясь к незнакомцу. — Расскажи месье д'Аррасту.

И тут же, пританцовывая, он ушел к другой группе. Человек перестал улыбаться и с откровенным любопытством посмотрел на д'Арраста:

— Это тебя интересует, капитан?

— Я не капитан, — поправил его д'Арраст.

— Не важно. Но ты сеньор. Так мне Сократ сказал.

— Я нет. Но мой дед был сеньором. Его отец тоже, и все до него. Теперь в наших краях больше нет сеньоров.

— А! — смеясь, сказал негр. — Понимаю. Все стали сеньорами.

— Нет, это не так. Просто нет ни сеньоров, ни народа.

Тот, поразмыслив, спросил:

— Никто не работает, никто не страдает?

— Ну нет, работают и страдают миллионы людей.

— Тогда это народ.

— В этом смысле да, народ. Но его хозяева — полицейские или торговцы.

Приветливое лицо мулата замкнулось. Потом он проворчал:

— Хм! Покупать и продавать, а! Какая мерзость! А с полицией командуют и собаки.

Вдруг он рассмеялся.

— А ты не продаешь?

— Почти нет. Я строю мосты, дороги.

— Хорошо! А я кок на пароходе. Если хочешь, я тебе приготовлю наше любимое блюдо из черной фасоли.

— Хочу.

Кок подошел к д'Аррасту и взял его за руку:

— Слушай, мне нравится то, что ты говоришь. Я тебе тоже кое-что сейчас скажу. И тебе, может, это понравится.

Он увлек его ко входу и усадил на влажную деревянную скамью рядом с бамбуковой рощицей.

— Я был в море, открытом море Игуапы, на маленьком танкере, который делает каботажные рейсы и снабжает нефтью порты побережья. На борту вспыхнул пожар. Нет, не по моей вине! Да что там! Я знаю свое ремесло. Просто несчастный случай! Нам удалось спустить шлюпки на воду. Ночью море поднялось, оно опрокинуло лодку, и меня накрыло волной. Когда всплыл, ударился о шлюпку головой. И начал тонуть. Ночь была темной, море волновалось, и потом, я плохо плаваю; я испугался. Вдруг вдалеке я увидел свет и узнал купол церкви Доброго Иисуса в Игуапе. Тогда я сказал Доброму Иисусу, что, если он меня спасет, я понесу во время шествия на голове камень весом

в пятьдесят килограммов. Ты мне не поверишь, но вода сразу успокоилась, и мое сердце тоже. Я медленно поплыл и добрался до берега. Завтра я выполню свое обещание.

Вдруг он подозрительно взглянул на д'Арраста:

— Ты не смеешься, а?

— Нет, не смеюсь. Нужно выполнять то, что пообещал.

Тот хлопнул его по плечу.

— Теперь пошли к моему брату, он на реке. Я тебе приготовлю фасоль.

— Нет, — сказал д'Арраст. — У меня дела. Если хочешь, вечером.

— Ладно. Но сегодня ночью в большой хижине танцы и молебны — праздник святого Георгия.

Д'Арраст спросил его, будет ли он тоже танцевать. Лицо кока вдруг посуровело; впервые он отвел глаза куда-то в сторону.

— Нет, нет, я не буду танцевать, завтра нужно нести камень. Он тяжелый. Сегодня вечером я приду почтить святого. Потом рано уйду.

— Это долго длится?

— Всю ночь и немного утром.

Он как-то пристыженно посмотрел на д'Арраста.

— Приходи на танцы. А потом ты меня уведешь,

иначе я останусь, начну танцевать и, может, не смогу остановиться.

— Ты любишь танцевать?

Глаза кока плотоядно заблестели.

— О да! Люблю. И потом, там сигары, святые, женщины. Все забываешь и больше себе не хозяин.

— Там будут женщины? Все женщины города?

— Города — нет, но из хижин — да.

Кок уже снова улыбался.

— Приходи. Капитану я подчиняюсь. И ты мне поможешь завтра сдержать обещание.

Д'Арраст почувствовал, как в нем нарастает раздражение. Что ему до этого нелепого обета? Но он видел перед собой красивое открытое лицо, доверчиво улыбающееся ему; это черное лицо, казалось, излучало здоровье и жизнелюбие.

— Ладно, приду, — сказал он. — А теперь я тебя немного провожу.

Не зная почему, он тут же вновь представил, как черная девушка подавала ему «угощение для дорогого гостя».

Они вышли из сада, зашагали по грязным улицам и дошли до ухабистой площади; ее окружали невысокие дома, от чего она казалась еще более просторной. Теперь по штукатурке домов текла

влага, хотя дождь по-прежнему лишь накрапывал. Сквозь рыхлое покрывало неба доносился приглушенный шум реки и шелест деревьев. Они шли в ногу шаг в шаг, тяжелый у д'Арраста и упругий у кока. Время от времени кок поднимал голову и улыбался своему спутнику. Они направились к церкви, возвышавшейся над домами, достигли конца площади, потом прошли по грязным улицам, где теперь витали резкие и назойливые запахи кухни. Время от времени из какой-нибудь двери женщины с тарелкой или кухонной утварью в руках высовывали любопытные лица, потом исчезали. Миновав церковь, они углубились в старый квартал, зажатый между такими же низкими домами, и вдруг вышли на шум невидимой реки позади хижин, которые д'Арраст сразу узнал.

— Ладно. Я тебя оставляю. До вечера, — сказал он.

— Да. У церкви.

Но кок все еще удерживал д'Арраста за руку. Он явно колебался. Потом все-таки сказал:

— А ты никогда не взывал к Богу, не давал обещания?

— Пожалуй, однажды.

— При кораблекрушении?

— Вроде того.

И д'Арраст резко вырвал руку, уже повернулся, чтобы уйти, но в этот момент встретил взгляд кока. Он поколебался, потом улыбнулся.

— Могу тебе сказать, хотя это и не важно. Один человек умирал по моей вине. Тогда, мне кажется, я просил небеса.

— Ты дал обещание?

— Нет. Но я хотел бы дать обещание.

— Давно это было?

— Незадолго перед тем, как приехать сюда.

Кок взялся руками за бороду. Его глаза блестели.

— Ты капитан, — проговорил он, — мой дом — твой дом. И потом, ты мне поможешь сдержать обещание, как будто ты дал его сам. Это тебе тоже поможет.

— Не думаю, — улыбнулся д'Арраст.

— Ты гордец, капитан.

— Я был гордецом, теперь я одинок. Но скажи мне, твой Добрый Иисус всегда тебя слышал?

— Всегда? Нет, капитан.

— Но тогда как же?

Кок рассмеялся чистым детским смехом.

— Что ж, ведь он свободен, разве не так?

В клубе, где д'Арраст завтракал с почетными

горожанами, мэр сказал ему, что он должен расписаться в золотой книге муниципалитета, чтобы по крайней мере осталось свидетельство о великом событии — его прибытии в Игуапу. Судья со своей стороны нашел две или три новых формулировки, чтобы прославить, помимо добродетелей и талантов их гостя, простоту, с которой д'Арраст представлял у них великую страну, к которой имел честь принадлежать. Д'Арраст в ответ сказал только, что действительно имеет эту честь и что ему посчастливилось получить от компании подряд на эти длительные работы. На что судья, озадаченный его чрезмерным смирением, воскликнул:

— Кстати, вы подумали, как нам поступить с начальником полиции?

Д'Арраст, улыбаясь, посмотрел на него.

— Да.

Он счел бы личным одолжением и исключительной любезностью, если бы от его имени соизволили простить этого шалопая, чтобы пребывание его, д'Арраста, здесь, где он был так счастлив узнать этот прекрасный город и его жителей, началось в обстановке согласия и дружбы. Внимательно слушая его, судья улыбался и качал головой. Некоторое время он поразмышлял с

видом знатока над сказанным, затем обратился к присутствующим, чтобы они порукоплескали благородным традициям великой французской нации и, снова повернувшись к д'Аррасту, объявил, что удовлетворен тем, как закончилось это дело.

— Раз так, — заключил он, — мы сегодня вечером пообедаем с шефом.

Но д'Арраст сказал, что друзья пригласили его на церемонию в честь святого Георгия в хижинах.

— Ах так! — сказал судья. — Что ж, я рад, что вы туда идете. Вы убедитесь, что наш народ трудно не любить.

Вечером д'Арраст, кок и его брат сидели вокруг угасшего очага в центре хижины, в которой д'Арраст уже побывал утром. Брат кока, казалось, не удивлялся, что видит его снова. Он едва говорил по-испански и большую часть времени ограничивался тем, что молча кивал головой. Что касается кока, то сначала он заинтересовался соборами, потом долго толковал о супе из черной фасоли. День клонился к вечеру, и если д'Арраст еще видел кока и его брата, то уже едва различал в глубине хижины очертания сидевших на корточках старухи и девушки, которая снова его угостила.

Снизу доносились монотонные всплески волн.

Кок поднялся и сказал:

— Пора.

Они встали, но женщины не шевельнулись. Мужчины вышли одни. Д'Арраст помешкал, потом догнал остальных. Уже спустилась ночь, дождик прекратился. Чернеющее небо казалось текучим. В его прозрачной и темной мгле низко над горизонтом стали зажигаться звезды. Они почти мгновенно гасли одна за другой и падали в реку, как будто небо с отвращением отторгало эти последние вспышки света. Плотный воздух пропах водой и дымом. Совсем близко слышалось дыхание огромного, неподвижного леса. И вдруг издалека раздались пение и звуки барабанов; сначала глухо, потом отчетливее, они все больше и больше приближались, потом смолкли. Немного спустя показалась вереница черных девушек в белых платьях из грубого шелка и с очень низкой талией. Закутанный в красный плащ, с ожерельем из разноцветных зубов, за ними шел рослый негр, а следом беспорядочная толпа мужчин в белых пижамах и музыканты с треугольниками и барабанами, большими и маленькими. Кок сказал, что они должны присоединиться к процессии.

Хижина, в которой они оказались, пройдя вдоль берега несколько сот метров от последних хибар, была большой, пустой, относительно комфортабельной, с побеленными внутри стенами. На маленьком алтаре, украшенном пальмовыми листьями и утыканном свечами, едва освещавшими половину комнаты, красовалась великолепная лубочная картинка, где святой Георгий с торжествующим видом побеждал усатого дракона. Под алтарем, в нише, устеленной наждачной бумагой, укрывалась между свечой и миской с водой маленькая статуэтка из покрашенной в красный цвет глины, изображающая какое-то рогатое божество. Со свирепым выражением лица оно потрясало огромным ножом из фольги.

Кок провел д'Арраста в угол, где они остались стоять, прислонившись к перегородке у двери.

— Вот так, — прошептал кок, — можно будет уйти, никому не мешая.

Хижина действительно была полна мужчин и женщин, прижатых в тесноте друг к другу. Становилось жарко. Музыканты расположились по обеим сторонам алтаря. Танцоры и танцовщицы разделились на два концентрических круга, мужчины внутри. В центре стоял черный предводитель в красном шлеме. Д'Арраст, скрестив

руки, прислонился к перегородке.

Но тут вождь, прорвав круг танцоров, подошел к ним и сказал несколько слов коку.

— Опусти руки, капитан, — проговорил кок. — Иначе ты помешаешь появиться духу святого.

Д'Арраст послушно опустил руки. Все еще привалившись спиной к перегородке, он сам со своими тяжелыми и длинными конечностями, с лицом, уже блестевшим от пота, был теперь похож на какое-то животное, на какое-то внушающее доверие божество. Высокий негр внимательно посмотрел на него, потом удовлетворенно занял свое место. И сразу же затянул зычным голосом первые ноты мелодии, которую все подхватили хором под аккомпанемент барабанов. Круги начали вращаться в противоположных направлениях, исполняя причудливый танец, медленный и тяжелый, напористый, скорее походивший на топтание, слегка подчеркиваемое покачиванием бедер в каждом кругу.

Жара усиливалась. Однако паузы мало-помалу уменьшались, остановки делались все реже, и танец убыстрялся. Не замедляя ритма остальных танцующих, не прекращая собственный танец, высокий негр снова разорвал круги, чтобы подойти к алтарю. Он вернулся со стаканом воды

и зажженной свечой, которую воткнул в землю в центре хижины. Он полил воду вокруг свечи двумя концентрическими окружностями, потом, снова выпрямившись, поднял к крыше безумные глаза. Напрягая все тело, он неподвижно ждал.

— Святой Георгий приходит. Смотри, смотри, — вытаращив от возбуждения глаза, прошептал кок.

Несколько танцоров уже почти застыли в трансе, подбоченившиеся, с одеревеневшими движениями, с неподвижными и тусклыми глазами. Другие убыстряли ритм в конвульсиях, издавая нечленораздельные вопли. Вопли мало-помалу становились все громче, и когда они слились в один общий рев, предводитель со все еще обращенными куда-то кверху глазами сам испустил долгий, едва внятный, на пределе дыхания крик, в котором можно было различить какие-то слова.

— Видишь, — шепнул кок, — он говорит, что он на поле сражения бога.

Д'Арраст был поражен переменой в его голосе; он посмотрел на кока, тот, наклонившись вперед и сжав кулаки, с остановившимися глазами повторял на месте ритмическое топтание остальных. И вдруг д'Арраст заметил, что и сам он уже

какое-то время, не переставляя ног, всем своим телом танцует.

Но барабаны вдруг забесновались, и тут же разбушевался высокий красный дьявол. С горящими глазами, с четырьмя вращающимися вокруг тела конечностями он приземлялся попеременно то на одно, то на другое согнутое колено, убыстряя ритм до такой степени, что казалось, будто он в конце концов распадется на части. Но внезапно в самом разгаре действа он стал на колени и протянул одержимому короткую саблю. Высокий негр взял саблю, не переставая озираться, затем стал вращать ею над головой. В тот же миг д'Арраст увидел кока, танцующего среди прочих. Инженер не заметил, как тот вступил в танец.

В зыбком красноватом свете удушающая пыль вздымалась с пола и еще больше сгущала воздух, липнущий к коже. Д'Арраст чувствовал, как им понемногу овладевает усталость; он дышал все тяжелее. Он даже не заметил, как у танцоров появились огромные сигары, которые они теперь курили, не переставая танцевать; странный запах сигар заполнял хижину и немного пьянил его. Д'Арраст увидел кока, который, танцуя, проходил мимо него, и тоже курил сигару.

— Не кури, — сказал он.

Кок заворчал, не переставая отбивать такт, он уставился на столб в середине хижины с выражением боксера в нокдауне, затылок его сотрясала долгая дрожь. Рядом с ним толстая негритянка двигала справа налево своим звериным лицом, непрерывно исторгая какие-то звуки, похожие на лай. Но самые молодые негритянки погружались в жуткий транс, они не отрывали ноги от пола, тела их тряслись, и дрожь нарастала, доходя до плеч. Головы их тогда двигались спереди назад, как бы отделенные от обезглавленного тела. Вдруг в какой-то миг все зашлись в долгом, беспрерывном и однообразном вопле без вздохов и модуляций, будто все тело, мышцы и нервы переплелись вместе и породили это единое изнуряющее извержение голоса, в котором существа, дотоле безмолвные, обретают дар речи. Продолжая кричать, женщины одна за другой стали валиться на пол. Черный предводитель опускался на колени подле каждой, быстро и судорожно стискивал им виски своей огромной черной мускулистой рукой. Тогда они, покачиваясь, вставали, возвращались к танцу и возобновляли свои крики, сначала слабые, потом все более громкие и долгие, и так много раз, пока общий крик не ослабел, не иссяк, не выродился

в нечто вроде хриплого лая, который сотрясал их тела, как икота. Обессиленный д'Арраст, с мышцами, сведенными от его долгого неподвижного танца, придушенный своей собственной немотой, почувствовал, что шатается. Дышать было невозможно — жара, пыль, дым сигар, запах пота… Он поискал взглядом кока: тот исчез. Д'Арраст протиснулся вдоль перегородки и присел на корточки, превозмогая тошноту.

Когда он открыл глаза, воздух все еще был удушливым, но шум прекратился. Только барабаны отбивали бесконечный такт, под который во всех уголках хижины топтались люди, закутанные в белые ткани. Но в центре комнаты, теперь освобожденном от стакана и свечи, группа черных девушек в полусомнамбулическом состоянии медленно танцевала, позволяя ритму опережать себя. С закрытыми глазами, но выпрямившись, они на цыпочках слегка раскачивались взад-вперед, почти не двигаясь с места. У двух из них, тучных, лицо было закрыто вуалью из волокон рафии. Стояли они по обе стороны от другой девушки, нарядно одетой, высокой и тонкой, в которой д'Арраст вдруг узнал дочь хозяина хижины. В зеленом платье, охотничьей шляпе из голубого газа, заломленной спереди и укра-

шенной мушкетерскими перьями, она держала в руке зелено-желтый лук со стрелой, на острие которой была наколота разноцветная птица. На хрупком теле девушки медленно покачивалась, немного откинувшись, ее прелестная головка, а на неподвижном лице застыло выражение безразличной ко всему невинной тоски. Когда музыка стихала, она сонно покачивалась. Только усиленный ритм барабанов давал ей нечто вроде невидимой подпорки, вокруг которой она обвивала свои мягкие прихотливые движения, потом она снова останавливалась одновременно с музыкой и, раскачиваясь, чудом удерживая равновесие, испускала странный птичий крик, пронзительный и в то же время мелодичный.

Д'Арраст, зачарованный этим медленным танцем, созерцал черную Диану, когда перед ним возник кок — его гладкое лицо было теперь искажено. Его глаза уже не светились добротой, в них зажегся какой-то алчный огонек. Сухо, как если бы перед ним был чужой человек, он произнес:

— Уже поздно, капитан. Они будут танцевать всю ночь, но они не хотят, чтобы ты оставался.

С тяжелой головой, д'Арраст двинулся вслед за коком, который вдоль стены пробирался к двери. На пороге он посторонился, придерживая

бамбуковую дверь, и д'Арраст вышел. Потом он обернулся и посмотрел на кока, который стоял, не шевелясь.

— Пошли. Скоро нужно будет нести камень.

— Я остаюсь, — отрезал кок.

— А твое обещание?

Кок, не отвечая, потихоньку подталкивал дверь, которую д'Арраст придерживал одной рукой. Они постояли так секунду, и д'Арраст, пожав плечами, уступил. Он ушел один.

Ночь благоухала свежими душистыми запахами. Над лесом слабо светили редкие звезды южного неба, затушеванные дымкой невидимого тумана. Влажный воздух был тяжел, но после душной хижины он казался пронизанным дивной свежестью. Д'Арраст поднялся по скользкому склону, дошел до первых хижин, спотыкаясь, как пьяный, на ухабистых тропинках. От совсем близкого леса шел легкий гул. Шум реки нарастал, весь материк всплывал в ночи, и д'Арраста мало-помалу охватывало отвращение. Ему казалось, что его вот-вот вырвет всей этой страной, печалью ее бесконечных просторов, сине-зеленым светом лесов и ночным плеском ее огромных пустынных рек. Эта земля была слишком большой, кровь и времена года здесь смешивались в

одно целое, время плавилось. Жизнь здесь шла вровень с землей, и чтобы слиться с ней, нужно было лечь и спать долгие годы на этой грязной или иссохшей почве. Там, в Европе, были позор и гнев. Здесь — изгнание и одиночество среди этих дрожащих в истоме безумцев, танцевавших, чтобы умереть. Но сквозь напоенную растительными запахами влажную ночь до него еще раз донесся странный крик раненой птицы, исторгнутый спящей красавицей.

Когда д'Арраст очнулся с ужасной головной болью после беспокойного сна, влажный зной навис над городом и неподвижным лесом. Сейчас он ждал под портиком больницы, глядя на свои остановившиеся часы, не зная времени, удивляясь этому ослепительному дневному свету и тишине, царившей над городом. Голубое безоблачное небо давило на блеклые крыши ближайших к больнице домов. Желтоватые ястребы, разморенные от жары, спали на доме, стоящем против больницы. Одна из птиц резко отряхнулась, открыла клюв, явно собираясь взлететь, два раза хлопнула пыльными крыльями, на несколько сантиметров поднялась над крышей и снова упала, чтобы тотчас уснуть.

Инженер спустился к городу. Главная площадь

была пустынной, как и улицы, по которым он только что прошел. Вдалеке, по обеим сторонам реки и над лесом, стоял низкий туман. Зной падал вертикально, и д'Арраст поискал уголок тени, чтобы укрыться. И тут он увидел под навесом одного из домов низенького человека, подающего ему знаки. Подойдя ближе, он узнал Сократа.

— Значит, месье д'Арраст, тебе нравится церемония?

Д'Арраст ответил, что в хижине было слишком жарко и что он предпочитает небо и ночь.

— Да, — сказал Сократ, — у тебя дома только месса. Никто не танцует.

Он потирал руки, прыгал с ноги на ногу, вертелся и смеялся до упаду.

— Невозможные, все они невозможные.

Затем с любопытством посмотрел на д'Арраста:

— А ты ходишь к мессе?

— Нет.

— А куда же ты ходишь?

— Никуда. Не знаю, право…

Сократ снова расхохотался.

— Невозможно! Сеньор — и без церкви, без ничего!

Д'Арраст тоже засмеялся.

— Да, как видишь, дома я не нашел себе места. И тогда я уехал.

— Останься с нами, месье д'Арраст, я тебя люблю.

— Я бы остался, Сократ, но я не умею танцевать.

Их смех эхом отзывался в тишине пустынного города.

— Ах, — сказал Сократ, — я и забыл. Тебя хочет видеть мэр. Он завтракает в клубе.

Внезапно он направился к больнице.

— Куда ты? — закричал д'Арраст.

Сократ изобразил храп:

— Спать. Скоро процессия.

И уже на бегу снова захрапел.

Мэр только хотел предоставить д'Аррасту почетное место, чтобы тот лучше разглядел процессию. Он объяснил это инженеру и предложил разделить с ним мясное блюдо и рис, способный исцелить паралитика. Сначала они расположились в доме судьи на балконе против церкви, чтобы увидеть выход кортежа. Потом они пойдут в мэрию по главной улице, ведущей к церковной площади, по которой на обратном пути проследуют кающиеся. Судья и шеф полиции будут сопровождать д'Арраста, сам мэр предпочитал

участвовать в церемонии. Шеф полиции действительно оказался в зале клуба и непрерывно вертелся вокруг д'Арраста с неугасающей улыбкой на устах, расточая непонятные ему, но явно прочувствованные речи. Когда д'Арраст спустился, шеф полиции бросился прокладывать ему дорогу, открывая перед ним все двери.

Под тяжелым жарким солнцем во все еще пустынном городе два человека направлялись к дому судьи. Их одинокие шаги эхом отдавались в тишине. Но вдруг на ближней улице разорвалась петарда, и над всеми домами взлетели стаи отяжелевших ястребов с облезлыми шеями. Почти сразу же со всех сторон взорвались десятки петард, пооткрывались двери, люди стали выходить из домов и заполнять узкие улочки.

Судья засвидетельствовал д'Аррасту, как он горд возможностью принять его в своем недостойном доме, и пригласил его подняться этажом выше по красивой барочной лестнице. Когда д'Арраст поднимался, на лестничной площадке открылись двери, высунулись темные головки детей, тут же с подавленным смехом исчезнувшие. В красивой зале для почетных гостей были только плетеная мебель и клетки с оглушительно верещавшими птицами. Балкон, где они

расположились, выходил на небольшую площадь у церкви. Понемногу ее заполняла странно молчаливая толпа, неподвижная под зноем, ниспадавшим с неба почти видимыми потоками. Только дети бегали вокруг площади, резко останавливаясь, чтобы поджечь петарды: взрывы следовали один за другим. С балкона церковь со своими оштукатуренными стенами, с десятком ступеней, побеленных голубой известью, и двумя голубыми с золотом башнями казалась меньше.

Внезапно из церкви полились звуки органа. Толпа, обращенная лицом к портику, выстроилась по краям площади. Мужчины сняли свои головные уборы, женщины опустились на колени. Отдаленный орган долго играл разные марши. Потом со стороны леса донесся странный шум крыльев. Крохотный самолетик с прозрачными крыльями и хрупким корпусом, диковинный в этом вневременном мире, появился над деревьями, немного снизился над площадью и пролетел с рокотом большой трещотки над поднятыми к нему головами. Потом он развернулся и удалился к лиману.

Но в тени церкви снова привлекла внимание непонятная суматоха. Орган смолк, смененный теперь духовыми инструментами и барабана-

ми, невидимыми под портиком. Темнокожие кающиеся, облаченные в черные стихари, по одному вышли из церкви, собрались на паперти, затем стали спускаться по ступенькам. За ними шли белые кающиеся, несущие алые и голубые хоругви, далее маленькая группа наряженных ангелами мальчиков, братство детей Марии, с черными серьезными личиками, и, наконец, на разноцветной раке, несомой почетными горожанами, потеющими в своих темных костюмах, появилось изображение самого Доброго Иисуса с тростником в руке и головой в терниях, кровоточащего и покачивающегося над толпой.

Когда раку спустили со ступенек, произошла остановка, во время которой кающиеся попытались выстроиться. Именно тогда д'Арраст увидел бородатого кока. Тот только что вышел на паперть с обнаженным торсом, он нес на голове огромную прямоугольную глыбу, которая покоилась на пробковой доске прямо на его черепе. Твердым шагом спустился он по ступеням церкви, дуги его коротких мускулистых рук удерживали камень в горизонтальном положении. Как только он дошел до раки, процессия двинулась вперед. Из портика появились музыканты, одетые в яркие куртки и вовсю трубящие в свои

украшенные лентами трубы. При этих звуках кающиеся ускорили шаг и достигли одной из улиц, выходящих на площадь. Когда рака исчезла вместе с ними, в поле видимости остался только кок и последние музыканты. Под взрывы петард за ними двинулась толпа, в то время как самолет со скрежещущим лязгом поршней снова пронесся над последними группами. Д'Арраст смотрел только на кока, который был теперь уже далеко, плечи его, как показалось д'Аррасту, сгибались. Но на таком расстоянии он плохо видел.

По пустынным улицам, проходя закрытые магазины и запертые двери, судья, шеф полиции и д'Арраст дошли до мэрии. По мере того как они удалялись от фанфар и взрывов, тишина снова овладевала городом, и несколько ястребов уже возвращались, чтобы занять свои места на крышах, казалось, они пребывали там вечно. Мэрия выходила на узкую, но длинную улицу, ведущую от одного из внешних кварталов к церковной площади. Сейчас она была безлюдной. С балкона мэрии, насколько хватало глаз, видна была только ухабистая мостовая, где недавний дождь оставил несколько луж. Немного опустившееся солнце еще глодало слепые фасады домов по другую сторону улицы.

Они ждали долго, так долго, что д'Арраст, вынужденный смотреть на отблески солнца на противоположной стене, снова почувствовал, как возвращаются его усталость и головокружение. Пустая улица с опустевшими домами одновременно притягивала его и вызывала отвращение.

И снова ему захотелось бежать из этой страны; в то же время он думал об этом огромном камне, ему хотелось, чтобы это испытание побыстрее закончилось. Он только собирался предложить спуститься вниз, чтобы узнать новости, когда вовсю начали трезвонить церковные колокола. В тот же миг в другом конце улицы, слева от них, поднялась суматоха, и появилась возбужденная толпа. Издалека было видно, как она прижалась к раке, паломники и кающиеся вперемешку двинулись вперед по узкой улице среди взрывов петард и рева толпы. За несколько секунд они заполнили ее, приближаясь к мэрии в неописуемом беспорядке, люди всех возрастов, различных рас, в самых разных костюмах слились в одну пеструю лавину с вытаращенными глазами и вопящими ртами; из всей этой массы, как копья, торчали бесчисленные свечи, пламя которых испарялось в пылающем свете дня. Но когда они подошли ближе, и, казалось, толпа под балконом

поднимается по стенам, такой она стала плотной, д'Арраст увидел, что кока там не было.

Внезапно, даже не извинившись, он вышел с балкона, сбежал по лестнице и очутился на улице в громе колоколов и петард. Там ему пришлось выдержать напор ликующей толпы паломников со свечами, которых, казалось, смущало происходящее. Но, непрестанно раздвигая всем своим весом толщу людей, он расчистил путь столь решительно, что даже покачнулся и чуть не упал, когда оказался позади толпы, на краю улицы. Прижавшись к раскаленной стене, он подождал, пока восстановится дыхание, и двинулся вперед. В тот же момент на улице появилась группа людей. Первые шли пятясь, и д'Арраст увидел, что они окружают кока.

Тот был явно изнурен. Он останавливался, потом, согнувшись под огромным камнем, немного пробегал торопливыми шажками грузчиков или кули, рысцой нищеты, ставя ногу на землю всей стопой. Когда он останавливался, кающиеся в испачканных расплавленным воском и пылью стихарях подбадривали его. Слева молча шел или бежал его брат. Д'Аррасту показалось, что прошло бесконечно много времени, пока они преодолели пространство, отделявшее их от него. Почти

рядом с ним кок снова остановился и бросил вокруг себя угасший взгляд. Увидев д'Арраста, казалось, не узнавая его, он, однако, остановился и повернулся к нему. Маслянистый, грязный пот покрывал его посеревшее лицо, борода была в струйках слюны, коричневая засохшая пена склеивала ему губы. Он попытался улыбнуться. Но, неподвижный под своим грузом, он дрожал всем телом, только мышцы плеч были судорожно напряжены. Брат кока, узнавший д'Арраста, быстро бросил ему:

— Он уже падал.

И появившийся неизвестно откуда Сократ прошептал ему в ухо:

— Много танцевать, месье д'Арраст, всю ночь. Он устал.

Кок снова двинулся вперед своей прерывистой рысцой, но не как человек, стремящийся продвигаться вперед, а как бы убегая от раздавливающей его тяжести, в надежде облегчить ее с помощью движения. Д'Арраст, сам не зная как, очутился по правую сторону от него. Он легко положил на спину кока руку и пошел рядом мелкими торопливыми и неуклюжими шагами. На другом конце улицы рака исчезла, и толпа, теперь заполнившая площадь, как будто остановилась. Несколько

мгновений кок с братом и д'Аррастом по бокам продвигался вперед. Вскоре только двадцать метров отделяли его от группы, столпившейся у мэрии, чтобы увидеть его. Однако он снова остановился. Рука д'Арраста стала тверже.

— Ну же, кок, — проговорил он, — еще немного.

Тот дрожал, слюна снова потекла у него изо рта, в то время как по всему его телу струился пот. Он сделал вдох, пытаясь вдохнуть поглубже, и резко остановился. Потом еще подался вперед, сделал три шага и покачнулся. И вдруг камень заскользил у него по плечу, глубоко его порезав, готовый упасть на землю; потеряв равновесие, кок рухнул на бок. Те, что шли впереди, подбадривая его, с громкими криками подались назад, один из них схватил пробковую доску, а другие подхватили камень, чтобы снова навьючить его на кока.

Склонившийся над ним д'Арраст вытирал рукой испачканное кровью и пылью плечо, в то время как низкорослый кок, уткнувшись лицом в землю, задыхался. Он ничего не слышал и больше не шевелился, жадно открывая рот при каждом вдохе, как если бы он был последним. Д'Арраст взял кока в охапку и легко поднял его, будто это был ребенок. Он поддерживал несчастного в сто-

ячем положении, прижав к себе. Наклонившись всем своим телом, он говорил ему прямо в лицо, желая вдохнуть в него свою силу. И вот уже окровавленный и покрытый пылью кок оторвался от него с диким выражением лица. Качаясь, он снова направился к камню, который остальные немного приподняли. Но, остановившись, отсутствующим взглядом посмотрел на камень и покачал головой. Потом уронил руки вдоль тела и повернулся к д'Аррасту. Крупные слезы медленно текли по его опустошенному лицу. Он пытался заговорить, но не мог произнести ни слова.

— Ведь я дал обет, — наконец пролепетал он. И потом: — Ах, капитан! Ах, капитан! — Голос его потонул в слезах.

За его спиной появился брат, обнял его, и кок, плача, откинув голову, прижался к нему, побежденный, сдавшийся.

Д'Арраст смотрел на него, не находя слов. Он повернулся к толпе, которая снова что-то кричала вдалеке. И вдруг вырвал пробковую доску из чьих-то рук и направился к камню. Он подал остальным знак поднять валун, который почти без усилий водрузил на себя. Немного осев под тяжестью камня, напрягая плечи и слегка отдуваясь, он смотрел себе под ноги, слыша рыдания

кока. Потом тронулся мощным шагом, без остановки одолел пространство, отделяющее его от толпы, и решительно врезался в первые ряды, расступившиеся перед ним. Он вошел на площадь под гром колоколов и петард, между двумя рядами расступившихся зрителей, глядевших на него с молчаливым изумлением. Он продвигался тем же решительным шагом, и толпа открывала ему путь вплоть до церкви. Несмотря на тяжесть, давящую ему на голову и затылок, тяжесть, которую он ощущал все более, он увидел церковь и раку, казалось, ожидавшую его на паперти. Он шел к ней и уже прошел центр площади, когда вдруг круто, сам не зная почему, свернул налево и отклонился от дороги к церкви, вынуждая паломников противостоять ему. За спиной он услышал торопливые шаги, увидел, как перед ним со всех сторон открывались рты. Он не понимал, что люди кричали ему, хотя ему казалось, что он узнал португальское слово, которое все непрестанно выкрикивали. Вдруг перед ним возник Сократ, он испуганно таращил глаза, говорил бессвязно и показывал ему на дорогу к церкви.

— К церкви! К церкви! — выкрикивал Сократ вместе с толпой.

Но д'Арраст продолжал свой путь. И Сократ

посторонился, поспешно воздев руки к небу, в то время как толпа мало-помалу смолкала. Когда д'Арраст вошел на первую улицу, по которой он уже проходил с коком и которая, как он знал, вела к нижним кварталам, площадь осталась у него за спиной, напоминая о себе лишь неясным гулом.

Камень теперь больно давил на череп, и ему понадобилась вся сила его больших рук, чтобы облегчить ношу. Плечи его уже утрачивали свою гибкость, когда он дошел до первых улиц, образующих скользкий спуск. Он остановился и прислушался. Он был один. Поправив камень на пробковой доске, д'Арраст осторожным, но все еще твердым шагом спустился до квартала хижин. Когда он туда добрался, у него перехватило дыхание, руки, поддерживавшие камень, дрожали. Он ускорил шаг и наконец вышел на маленькую площадку, где стояла хижина кока, подбежал к ней, открыл ногой дверь и одним движением бросил камень в центр комнаты на еще тлеющий очаг. И там, выпрямившись во весь свой внезапно показавшийся выше обычного рост, вдыхая отрывистыми глотками запах нищеты и пепла, запах, который он теперь узнавал, д'Арраст вдруг ощутил, как в нем вздымается волна непонятной и трепещущей радости, имени

которой он не знал.

Когда вернулись обитатели хижины, они увидели д'Арраста, он стоял с закрытыми глазами, прислонясь к стене. В центре комнаты на месте очага лежал камень, наполовину зарывшийся в почву и покрытый пеплом и землей. Не входя, они стояли на пороге и тихо, с немым вопросом глядели на д'Арраста. Но он молчал. Тогда брат подвел к камню кока, который опустился на пол. Брат тоже сел, подав знак остальным. К нему присоединилась старуха, затем та девушка из ночи, никто больше не смотрел на д'Арраста. Все сели вокруг камня и хранили молчание. Только ропот реки проникал к ним сквозь тяжелый воздух. Стоя в тени, д'Арраст слушал, ничего не видя, и шум воды наполнял его душу бурным ликованием. С закрытыми глазами он радостно благословлял собственную силу, снова приветствовал возродившуюся в нем жизнь. В то же мгновенье тишину разорвал взрыв, показавшийся совсем близким. Брат немного отодвинулся от кока и, полуобернувшись к д'Аррасту, не глядя на него, показал на свободное место:

— Садись с нами.

Записные книжки (1951–1959)

Тетрадь № VII
Март 1951 года – июль 1954 года

«Сотворивший великое должен вдобавок его прожить»

Ницше

Предисловие к «И. и Л.»[115].

«…и тогда я полюбил искусство с той неистовой страстью, которая с годами не только не утихала, но становилась еще исключительней… Эта болезнь создавала для меня новые препятствия, и подчас очень трудные. Но она развивала свободу сердца, способность отвлекаться от человеческих интересов, всегда спасавшую меня от горечи и злопамятства. С тех пор как я живу в Париже, я понимаю, что это королевская привилегия (ибо речь идет именно о привилегии). Но дело в том, что я пользовался ею беспрепятственно. Как писатель я сразу же оказался в атмосфере вос-

---

[115] notes: 115

«Изнанка и лицо» (1937), первая книга А. Камю, опубликованная в Алжире. Данный отрывок предназначен для переиздания в парижском издательстве «Галлимар», который увидел свет только в 1958 г. — *Здесь и далее примеч. пер. Переводчик выражает свою глубочайшую признательность коллегам С. Н. Зенкину, Е. П. Кушкину, С. Роле и С. Л. Фокину за помощь и ценнейшие советы по переводу и идентификации литературных, культурных и политических реалий.*

хищения, и это, в некотором смысле, было раем на земле. Как человек я не испытывал страстей «наперекор». Моя страсть всегда была обращена к тем, кто лучше и значительнее меня».



Безумие XX века: смешивать абсолютное и логическое. Даже для таких разных умов, как Парен[116] и Арагон.

11 июня 1951 г.

Письмо от Режин Жюнье: она заявляла о своем намерении покончить с жизнью.



Творец. Разбогател на своих книгах. Но они перестали ему нравиться, и он решает создать Великое Творение. Он занят исключительно своим Творением, неустанно переписывая его. Постепенно в доме воцаряется безденежье, потом нищета. Все рушится, а он живет, и жизнь его ужасающе счастлива. Болеют дети. Приходится снимать квартиру, вся семья ютится в одной ком-

---

[116] notes: 116
Парен, Брис (1897–1971) — французский философ и эссеист.

нате. А он все пишет и пишет. Жена становится неврастеничкой. Идут годы, и в этом тотальном запустении он все пишет и пишет. Дети бросают его. В тот день, когда жена умирает в больнице, он ставит последнюю точку, и человек, сообщивший ему о несчастье, слышит в ответ: «Наконец-то!»



Роман. «Его смерть была лишена романтизма. Двенадцать человек посадили в двухместную камеру. Он стал задыхаться и потерял сознание. Он умирал, прижатый к засаленной стене, а все остальные отвернулись от него, устремившись к окну».



N.R.F.[117]. Любопытное место, призванное вдохновлять писателей. Но именно здесь они утрачивали радость письма и творчества.



[117] notes: 117

Nouvelle Revue Française — престижный литературный журнал, выходящий с 1908 г. в издательстве «Галлимар». Скомпрометировавший себя во время Второй мировой войны коллаборационистскими публикациями, был закрыт после освобождения Франции. Возобновлен с 1953 г.

Счастье требовало от нее всего, даже смерти.



Естественность не может быть врожденной — она может быть только приобретенной добродетелью.



Отвечая на вопрос о десяти самых любимых словах: «Мир, боль, земля, мать, люди, пустыня, честь, нищета, лето, море».



Голоса вечности: Деметра, Навсикая, Эвридика, Пасифая, Пенелопа, Елена, Персефона.



О свет! Так восклицают герои греческих трагедий, брошенные на произвол смерти или ужасного рока.

Человек 1950 года: занимался блудом и читал газеты.

У меня всегда было впечатление, будто я в открытом море: чувство опасности на пике высшего счастья.



Г.[118], или симулятор. Считая себя не от мира сего, он делает вид, будто живет в реальности. Играет и не скрывает своей игры. Да так хорошо, что невозможно поверить, что он всего лишь играет. Он симулирует дважды. И еще раз: часть его самого совершенно реально связана с плотью, наслаждениями, властью.



Принимать все, как есть, — разве это признак силы? Нет, скорее рабства. Принимать то, что уже случилось. А в настоящем — борьба.



Истина — не добродетель, а страсть. Поэтому ей никогда не быть милосердной.

---

[118] notes: 118

Гренье, Жан (1898–1971) — французский философ и писатель, школьный учитель А. Камю.



Языковые автоматизмы М.: Вообще. — В общем и целом. — При всем при том… Ну, знаете ли, да… ну знаете ли… — Мне кажется, она совсем не интересна. — Она никому не верит, это неприятно. — Да что вы говорите! Не могу поверить, это надо увидеть своими глазами. — Уникально. — Когда ее должны были оперировать… — Как вилки и ложки из разных сервизов. — Все это болтовня, вот и хорошо, платить будешь ты. — Ты только вспомни, знаешь, у нее был шик. — И пятое и десятое. — И вместе с тем… — Ты как экс-гибиционист (мужу, выходящему без свитера).



Там же. Один солдат, подшефный Огюсты, выразил ей признательность в следующих словах: «Мадам Пельрен, вы были для меня хуже, чем мать». Она рассказывает о бомбардировке Нанта. Застигнутая врасплох на улице, она с подругой спряталась под какой-то дверью. «На мне были лисьи меха и новый костюмчик. Когда все закончилось, я обнаружила на себе одну комбинацию. Подруга исчезла под развалинами. «Я стала вытаскивать ее за волосы. От нее осталось лишь…».

«А в это время муж мой предавался любовным утехам и вряд ли думал о том, что я выбираюсь из-под обломков… Накануне мне сделали паспорт. В графе «особые приметы» я поставила прочерк, на следующий день моя физиономия была неузнаваема».



Баптист, просидевший пятьдесят дней и пятьдесят ночей в темном карцере Бухенвальда. «Когда я вышел, концентрационный лагерь показался мне таким же прекрасным, как свобода».



«Единым существом они живут — те, кто в любой момент находят силы, чтоб расставание избрать». Гёльдерлин, «Смерть Эмпедокла».

Там же. «Ведь ты рожден для светлых дней».

Там же. «Пред ним в час радостной кончины, в священный день Божественное скинуло покровы».



Жестокость адмирала Колчака, как считает

Виктор Серж, позволила чекистам в русской компартии взять верх над теми, кто выступал за гуманность.



1920 год. Отмена смертной казни. В ночь перед объявлением декрета, чекисты убивают заключенных. Через несколько месяцев смертная казнь была восстановлена. Горький: «Когда мы прекратим убивать и проливать кровь?»[119]



Виктор Серж. «Все, созданное в СССР, было бы сделано гораздо лучше, если бы этим занималась советская демократия».



Предисловие к «И. и Л.». Мой дядя[120]. «Как и все

---

[119] notes: 119

Цитата взята из книги Serge V. Mémoires d'un révolutionnaire. 1901–1941. Paris, 1951. См. перевод книги на русский язык: Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. Пер. Ю. В. Гусевой, В. А. Бабинцева. Москва — Оренбург, 2001. С. 126.

[120] notes: 120

Ако, Гюстав (Acault, Gustave) — муж сестры матери А. Камю, работал мясником в Алжире.

в ту эпоху, он был вольтерьянец и проповедовал самое жестокое презрение к людям вообще и к собственной буржуазной клиентуре в частности. Блистал в жанре сатиры и анафемы. У него был сильный характер, и под его влиянием я стал трудным человеком. Теперь, когда он умер, мне грустно, когда я в Париже вспоминаю о нем».



Как войны способствовали распространению социализма в XX веке: Война 14 года воспламенила революцию 17 года. Война с захватчиком и гражданская война произвели Мао Дзе Дуна — 1939 год принес советскую власть в польскую часть Украины и Белоруссию, прибалтийские государства и Бессарабию. Война 1941–1945 приводит Россию на Эльбу. Война против Японии дает ей Сахалин, Курилы, Северную Корею. И еще были Финляндия и Южная Корея.



Персонаж романа. Раванель[121]. Абсолютный интеллект. Бухгалтерия терроризма. Светская

[121] notes: 121
Раванель, Серж (1920–2009) — герой движения Сопротивления.

скука. Воинственность. Полиция. Прокурор. См. также выше — новелла — Прокурор.



Принципы надлежит применять к великим делам. А для малых — достаточно сострадания.



Позиции цинизма и реализма позволяют рубить сплеча и презирать. Все остальное принуждает к пониманию. Поэтому для интеллектуалов первые более почетны.



В наше время мы работаем, не надеясь на настоящее вознаграждение. А они героически трудятся во имя персональной вечности.



Чего бы ни желал наш век, его главная цель — поиск аристократии. Но ему невдомек, что надо будет отказаться от той цели, которую громогласно назначил сам себе: от благополучия.

Аристократия не может возникнуть без жертвоприношения. Аристократ — это прежде всего человек, который дает, не получая ничего взамен. Он *сам себя обязывает.* Старый режим рухнул именно потому, что забыл об этом.



Уайльд. Он хотел поставить искусство превыше всего. Но величие искусства не в том, чтобы воспарить над всем и всеми. Наоборот, искусство должно во все вмешиваться. В конце концов, Уайльд понял это благодаря страданию. Его эпоха виновата в том, что без боли и рабства было невозможно узреть истину, а ведь она может быть и счастьем, если сердце его достойно. Век рабства.



Там же. Талант к жизни и талант к творчеству не существуют по отдельности. Талант един. И, разумеется, талант, создающий неглубокие произведения, способен лишь на легкомысленную жизнь.



Роман. К.[122] и ее платье в цветочек. Вечерние поля. Косой свет.



Я начинал с произведений, в которых отрицалось время. Постепенно я отыскал источник времени и понял, в чем заключается созревание. Этим долгим созреванием было само произведение.



Они отрекались от красоты и природы во имя интеллекта и его всепобеждающей силы. Фауст захотел породить Эвфориона без Елены. Чудо-ребенок оказался уродливым чудовищем, гомункулом из пробирки. Чтобы сотворить Эвфориона, недостаточно ни одного Фауста без Елены, ни Елены без Фауста.



Бунт — истинное горнило богов. Однако он порождает еще и идолов.

---

[122] notes: 122
Во французском оригинале «С.».



Смерть-бунт. История человечества — это история мифов, которыми люди прикрывали эту реальность. Традиционные мифы исчезли, и вот уже два столетия история бьется в конвульсиях, ибо смерть лишилась надежды. И все же достичь человеческой истины можно только, если мы, в конце концов, согласимся с идеей смерти без надежды. Не слепое смирение, но принятие границы в высшей точке напряженности бытия, совпадающей с точкой равновесия.



Роман. Погожий день. «Она шла по набережной Круазетт, покачивая телом на высоких каблуках. Еще раз посмотрела на себя в зеркало перед тем, как выйти из комнаты. Конечно, эти брюки из мягкой фланели слишком сильно облегали фигуру. И бедра казались шире плеч. Ну и что же — именно такими и должны быть настоящие женщины. И еще — слишком большая грудь. Но и это не катастрофа — только прибавляет женственности. А вон другие тела — там, внизу, где играли в волейбол: к ним надо еще хорошенько присмотреться, чтобы определить, кому они при-

надлежат — мужчинам или женщинам.

Маленький черный силуэт шагал на фоне моря. Между платком и очками можно было увидеть только две черточки, прорисованные кисточкой, на том месте, где раньше были брови, и еще белое выпуклое пространство лба, напрасно пытавшееся хмуриться под сверкающим солнцем.



Маленькая пьеса о соблазнителе.

Нет, я пью только воду — Поешьте — Я мало ем. Если я и выпиваю иногда, то только из соображений гигиены.

Что к желанию может добавить любовь? Неоценимое — дружбу.

Я не соблазняю, я уступаю.

Почему женщины? Не переношу общества мужчин. Они или льстецы, или судьи. Не выношу ни того, ни другого.

Полночь — ничего не случилось, командор не явился. Соблазнитель опечален. Собирается уходить. «Подойдите», — говорит Анна. «Нет, быть правым и счастливым в один и тот же день невозможно…» спохватывается. «Однако же, если вы правы, не остается ничего, кроме счастья. И

любви, в которую вы никогда не верили, хотя всегда верили в свои сны, которые называли Богом». Он смотрит на нее. «Значит поднимающееся во мне чувство и есть любовь? Наверное, да. Отодвиньте потихоньку все, что окружает это хрупкое растение. Тише, тише — освободите место для счастья».



Роман. Одна из тайн Б… заключалась в том, что она никогда не умела принимать, выносить или просто забывать болезнь и смерть. Отсюда ее глубинная отрешенность. Она заранее устала жить — просто жить, как живут другие, и хоть немного притворяться беззаботной и наивной для того, чтобы продолжать жить. И в глубине души она никогда не могла забыть. Ей не хватало наивности, чтобы совершить настоящий грех. Для нее жизнь — это время, сведенное лишь к болезни и смерти. И она не могла смириться со временем. Упорствовала в заведомо проигранной битве. А если и уступала, то ее уносило течением, тогда она походила на утопленницу. Она не от мира сего, она всем своим существом отвергала этот мир. Вот в чем причина.



Дордонь. Розовая земля, камни телесного цвета, красные рассветы, увенчанные чистым пением. За день цветок умирает и уже снова возрождается под косыми лучами солнца. По ночам заснувший карп спускается по плодовитой реке; стайки подёнок вспыхивают, словно факелы, подлетая к лампам на мосту, они оставляют на руках живое оперенье и покрывают землю своими крылышками и воском, из которых снова будет бить фонтаном неуловимая жизнь. То, что здесь умирает, не может исчезнуть навсегда. Это прибежище, верная земля. Путник, ты должен возвращаться сюда, в дом, где хранятся следы и память, и все, что в человеке не умирает с его смертью, но возрождается в его детях.



Неправда, что сердце изнашивается — эту иллюзию создает тело.



О тех, кто жертвуют счастьем во имя принципов. Они отказываются быть счастливыми

помимо тех условий, которые заранее придумали для своего счастья. А если они случайно его обретают, их охватывает чувство растерянности, и вот они уже несчастны, потому что лишились своего несчастья.



Трагедия о целомудрии.



Роман. В. (она была выразительницей и моей истины): Я ничего не хочу помимо того, что уже имею. Мое несчастье и наказание — в моей неспособности радоваться тому, что у меня уже есть.



Там же. Когда он был подростком, да и много лет спустя, в любви его привлекала одно — неизвестность. Он стремился к познанию. Отсюда множество приключений. Но приключения эти никогда не были абсолютно животными, у них всегда было начало, пусть и очень краткое. Этого начала зачастую вполне хватало для познания, особенно когда было мало что познавать, и если

он все-таки соглашался на связь, он заранее знал, что она не принесет ничего большего.

Так, люди, достаточно высокомерные, чтобы с бóльшим или мéньшим основанием верить в собственную самодостаточность, путали любовь и познание. Другие же осознавали свою ограниченность, и любовь их была единственной, ибо требовала от них всего, и требовала скорее бытия, чем познания.



Роман. А.В.[123], молодой американец, воевавший на войне (он был брошен на войну счастливым студентом-конформистом), приезжает в Париж. Он живет в Париже, проклиная Америку и страстно ловя отблески величия и мудрости, которые еще можно было прочесть на лице старой Европы. Богемная жизнь. С его лица сошел характерный для американцев лоск, оно утратило четкость. Появились круги под глазами. В конце концов, он заболел и умер в грязном отеле. И тогда он воззвал к той Америке, которую все это время он не переставал любить, и к лужайкам Гарвардского университета в Бостоне,

[123] notes: 123
Во французском оригинале «A.W.».

и звукам от ударов битами, и вечерним крикам, раздававшимся вокруг реки.



Роман. Первая часть: футбольный матч. Вторая часть: коррида.



Бывают вечера, сладость которых может длиться. Легче умирать, если знаешь, что такие вечера вернутся на землю и после нас.



Женщина, любящая действительно, всей душой, отдавая любви всю себя, без остатка, вырастает так безмерно, что нет ни одного мужчины, который не стал бы, по сравнению с ней посредственностью, ничтожеством и скупердяем.



Роман. В темной комнате уткнувшись носом в светящийся экран радиоприемника слушал музыку ребенок.



Роман. Два персонажа: немецкий друг. — Марсель Э.



Абсурд — не в мире и не в нас, но в противоречии между миром и голым опытом. И точно так же мера — не в реальности, не в желании, но… Мера есть движение, преобразование абсурдного усилия.



Дневник графини Толстой[124].

С. 45. Как Т. писала дневник.

Т.: «Опять дневник, скучно».

Графиня, 9 октября 1862 г. (свадьба была 23 сентября): «Так противны все физические проявления», — и в декабре настоящий крик женской души: «Если б я могла и его убить, а потом создать нового, точно такого же, я и то бы сделала с удовольствием».

Апрель 63 г. «У него играет большую роль фи-

---

[124] notes: 124

Камю цитирует по изданию: Tolstoï S. *Journal de la comtesse Léon Tolstoï 1862–1891, 1891–1897*. En 2 tomes. P., Plon, 1930–1931.

зическая сторона любви. Это ужасно — у меня никакой, напротив».

63 г. «Где я такой, какой я был», — говорил Т.

Сент. 67 г. «…я жалкая, растоптанная гадина, никому не нужная, никому не милая, ни на что не способная, с тошнотой и испорченными двумя зубами, с брюхом, дурным духом… и т. д.».

78 г. Мы узнаем, что Толстой читает за столом.

87 г. Он кричит, что его давно преследует мысль бросить семью.

90 г. Она тайком читает дневник мужа, который запирает его на замок.

Дек. 90 г. Он пишет: «Любви нет, есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни».

91 г. «Мне и так мучительно, что мы окружены прислугой».

91 г. Графиня рассказывает о том, что она не может привыкнуть к грязи и дурному запаху, исходящему от графа. *Там же*, с. 283 (97).

92 г. Графиня рассказывает, что Л.Т. был способен радоваться только физической любви.

Все, как она говорит, ей сочувствуют и считают ее жертвой.

Потом споры по поводу авторских прав с. 81 и 97, 131–137, 216, 145.

С. 88. Признание в двойной любви.

«…Люди, почему-либо болезненно сбившиеся с пути обыденной жизни, люди слабые, глупые, — те и бросаются на учение Льва Николаевича…»

«…этой ходульной фальши, которую он сам себе создал среди своих темных».

97 г. Он уходит из дома и возвращается только наутро.

97 г. Каждое утро он играет в теннис.

В 70 лет, проехав на лошади по снегу 35 верст, он признается в своей страсти к графине, которая пишет об этом с изумлением.



Прозвище, придуманное Сталину его товарищами (в 17 г.): «серая клякса».



Вершина счастья — и мне навстречу выходит ночь.



Никто не стремился так сильно, как я, к гармонии, отказу, окончательному равновесию, но мне

всегда приходилось добираться до них самыми опасными путями — через хаос, борьбу.



«Конечно, — говорил он, — мне страшно, что если я буду умирать, то умру не до конца, и под землей мне будет не хватать воздуха. Но я пытаюсь себя урезонить. Если я боюсь, что мне не будет хватать воздуха, значит я боюсь умереть. Надо выбирать что-то одно. Или я не умру и мне по-прежнему будет не хватать воздуха, но тогда это не должно меня тревожить. Или же я умру, но тогда к чему тревога?»



Роман. Жанна П. и ее машинальный жест.

Там же. Военные кладбища на Востоке. В 35 лет сын подходит к могиле отца и замечает, что тот умер в 30 лет. *Он стал старше его*.

Здесь покоятся арабы. Забытые всеми.



Роман. Мечтания в автомобиле по дороге в Берар.



В. Признаю, что действительно существуют люди более великие и истинные, чем другие. И в мире из них образуется невидимое и видимое общество, и это действительно оправдывает жизнь как таковую.



М. Смешная смерть после смешной жизни. Только смерть великих сердец не может быть несправедливой.

Испанские беженцы. Доменеч (гражданская война — война 39 г., Сопротивление, Бухенвальд — безработица), Гарсиа (которому А.Б. простил долг в 140000 франков. «Да ты — как я, никогда не разбогатеешь»), Гонсалес (существует два класса — и они не могут работать вместе — Не приемлет любезности хозяина — Он хочет, чтобы с ним обращались сурово), Бертомеу: Хорал (а потом он жарит сардины прямо у себя в кабинете).



Джеймс («Послы»). «Ненавижу себя, когда думаю обо всем, что мы, наверное, забрали из

жизней других людей, чтобы стать счастливыми, и что даже так мы не достигли счастья».



Мориак. Восхитительное доказательство мощи его религии: прийти к милосердию, минуя щедрость. Он не прав, бесконечно напоминая мне о страхе Христа. Кажется, я уважаю его больше, чем он, ибо никогда не позволял себе разглагольствовать о мучениях Спасителя по два раза в неделю на первой странице газеты для банкиров. Он называет себя писателем плохого настроения. Похоже, так и есть. Но плохое настроение порождает неодолимое желание использовать крест в качестве метательного оружия. Поэтому журналист он блистательный, но писатель второго ряда. Достоевский-жирондист.



Роман. «В такие моменты, закрывая глаза, он принимал удар наслаждения, подобно парусснику, внезапно взятому на абордаж в тумане: потрясенный от корпуса до киля, он бился в конвульсиях — от палубы до фока и всех его снастей и вант, идущих к бортам корабля, который еще

долго продолжал трепетать — пока не начинал медленно ложиться на бок. Потом было кораблекрушение».

Роман. Его поразило тогда, как мало у него дома было вещей. Только самое необходимое, никогда еще это слово не было более точным. Когда в одной из комнат жила его мать, она не оставляла за собой ни следа, разве что, изредка, носовой платок.



«Я жаждал самых возвышенных страданий, я взывал к ним, уверенный в том, что отныне обрету заключенное в них счастье (и буду способен насладиться им…)».



Если начинаешь дарить, то обрекаешь себя на невозможность подарить достаточно, даже когда отдаешь все. Да и возможно ли все отдать…



Никогда не говорите о человеке, что он обесчещен. Обесчещены могут быть поступки, общества, цивилизации. Но не личность. Ибо если личность не осознает бесчестья, она не может лишиться чести, которой никогда не имела. А если все-таки осознает, то получает страшный ожог, словно раскаленным докрасна железом провели по воску. Человек плавится, разрывается в огне невыносимой боли, но благодаря ей он может возродиться снова. Этот огонь есть пламя чести — она борется и утверждает себя в чрезмерности своей боли. Вот самое малое из того, что я ощутил в тот день, точнее, в ту секунду, когда поверил, по недоразумению, что действительно совершил низкий поступок. Потом все оказалось неправдой, но в ту единственную секунду я научился понимать всех униженных.



Декабрь 51 г.

Терпеливо жду медленно надвигающейся катастрофы.



Мои заявления по радио. Прослушав их, я на-

хожу себя отвратительным. Вот каким сделал меня Париж, несмотря на все мои усилия. Слишком долго я был один, с момента исчезновения «Комба» мне негде было говорить, защищать, свидетельствовать, если необходимо — оправдывать. Меня никогда не согревало душевное тепло других людей или хотя бы созерцание их щедрости. В конце концов, я превратился в лед, и ко мне пришел этот ледяной тон, слишком презрительный, чтобы передать настоящее презрение, но совершенно отвратительный, когда его слушаешь. Если я хоть на секунду ощутил бы настоящее доверие, я бы рассмеялся, и все уладилось бы.



Я понял, что такое вульгарность, благодаря некоторым великим буржуа, гордящимся своей культурой и привилегиями, как, например, Мориак: в определенный момент они начинают демонстрировать своего раненое честолюбие. И стремятся ранить других в то же место, куда ранили их, и, тем самым, обнажают настоящий уровень, на котором они живут в реальности. Тогда в них впервые торжествует добродетель смирения. Совершенно верно, маленькие нищие

— но в злости.



Я никогда особенно не подчинялся обществу и мнению. А если и подчинялся, то в самой малой степени. Но только что я сделал решающее усилие. Я верю, что в этом смысле моя свобода тотальна. Свободен, следовательно, благожелателен.



С каждым днем я все более и более ужасаюсь себе.



Жизнь Веласкеса. Комментарий к Веласкесу.

Мера. Они считают меру способом разрешения противоречий. Мера может быть только утверждением противоречия и героическим решением прожить его и преодолеть.



Лучшая защита СССР от атомной бомбы — меж-

дународная мораль, каковую он сам проповедует в своих публичных обвинениях. Единственный свой недостаток СССР компенсирует отсылкой к моральному суждению — тому самому, которое отрицается в его официальной философии.



Лицемерная несправедливость приводит к войнам. Неистовое правосудие ускоряет их приближение.



Марксизм ставит в упрек якобинскому и буржуазному обществу то же, в чем христианство упрекало эллинизм: интеллектуализм и формализм.



Пьеса. Он возвращается с войны. Все осталось по-старому, только он заговорил стихами.



Эмерсон. Всякая стена — это дверь.



Никогда ни на кого не нападать, особенно когда пишу. Время критики и полемики кончилось: Творчество.



Уничтожить *тотально* критику и полемику — отныне только постоянное утверждение.

Понять — всех. Любить и восхищаться — избранными.



Наихудшая судьба — дурное настроение. Знаю по собственному опыту. Это было настоящим искушением после многих лет блистания и силы. Я много раз уступал ему и узнал о нем предостаточно, а потом избавился от него.



Овербеку казалось, что безумие Ницше не более чем симуляция. У меня было такое впечатление от сумасшедших вообще. Возможно, такова и любовь. Наполовину симуляция.



«Предел» — это, наверное, всеобщая истина. Моя — если я считаю себя одним из многих. Но для меня одного — это невыразимая истина.



Гийу[125] о Шамсоне[126]: «Для него другой — это лишь потенциальный прерыватель».



На весь мир обрушиваются извергающиеся из миллионов чудесных механизмов потоки печальной музыки.



Иуда возводит в принцип предательство и ненависть ради того, чтобы свидетельствовать о Христе, хотя бы косвенно. Результат: XX век. Лагеря — из-за недостатка любви.



---

[125] notes: 125
Гийу, Луи (1899–1980) — французский писатель.

[126] notes: 126
Шамсон, Андре (1900–1983) — французский писатель.

Журналистика — это умственный бордель, как считал Толстой. Он хотел написать роман о том, что «нет в мире виноватых». Письмо умирающего Тургенева Толстому: «Я был рад быть вашим современником».



Роман (или пьеса) — Персонаж: Эллан — Fur. см. Heliosang.



Миф об Эвфорионе. Дитя современного титанизма и античной красоты. Гёте заставил его умереть. А он мог бы жить.



Встретил вчера Ф. Вианнэ[127], которого не видел со времен оккупации и чудесных дней освобождения Парижа. И тут же безмерная, до слез, ностальгия соратников.



[127] notes: 127

Вианнэ, Филипп (1917–1986) — французский журналист, участник движения Сопротивления.

Man of Aran[128]. Кошмарная жизнь рыбаков. Они вызывают отнюдь не жалость, а восхищение и уважение. Падение человека происходит вовсе не из-за бедности или беспрерывной работы. Его провоцирует подспудное порабощение на заводах и жизнь в пригородах.



Два часа ночи. Два любимых сна, которые я вижу многие годы. Один из них — постоянно являющийся в самых разных формах — о смертной казни. В эту ночь я внезапно проснулся, поэтому у меня в памяти осталось много подробностей.

Я иду на казнь. Со мной Скотто Лавина (алжирский друг, я мало с ним вижусь, но очень его люблю). Он говорит мне на ухо (группа ускоряет шаг): «Еще вчера жена мне говорила о N. и о N.». И я отвечаю: «Не надо произносить имен, ни в коем случае никаких имен собственных». Он говорит очень мягко, словно обращаясь к больному: «О! Простите». Кто-то из группы (там были надзиратели, чье присутствие я слабо замечал, и А. — она то возникала, то исчезала) спросил меня, почему не надо произносить имен собственных,

---

[128] notes: 128
«Человек из Арана» (1934) — фильм Роберта Флаэрти.

и я ответил, подойдя к огромной лестнице: «Хочу оставаться в сердце общего имени», — и повторял эту фразу с чувством какого-то умиротворения. Мои дети стоят на верху лестницы, по которой я поднимаюсь, по-прежнему, в быстром темпе, вокруг меня по-прежнему много людей, и, кажется, у меня связаны руки. (Еще у меня было такое впечатление, что меня подталкивали — все мы шли, наклонившись вперед). Жан идет к укромному месту, и я говорю при виде него (но зрение во мне словно еще не вполне развито, я вижу скорее нечто вроде зари — это было восторженное и тревожное открытие): «А потом он начнет все сначала». Я обнимаю детей и впервые плачу. Они, кажется, говорят мне, как обычно: «До свидания». Мы отходим от лестницы и оказываемся в здании, некоем подобии вокзала, из которого я выхожу только с А. и Верой. Вера сопровождала меня уже некоторое время — во сне я не знал, кто она такая, но после пробуждения я стал думать, что это была С.[129]. На ней была крестьянская одежда, в духе Центральной Европы, как у всех окружающих. Современный пейзаж, вокзалы, стройки, ночь, наполненная легким ветерком. Из вокзала, я

[129] notes: 129
Во французском оригинале «S.».

направляюсь к месту казни, по-прежнему решительно и без охраны, моя тревога усиливается и становится невыносимой. Но я догадываюсь, что у Веры есть старинный пистолет, который она украла на вокзале (у кого?). Убедившись в этом, кричу от радости: «О! Вера, я знал… (подразумевалось: ты все правильно сделала). Я так люблю тебя». Я беру пистолет и возобновляю свой бег. Мы приближаемся к группе работающих мужчин. Мне кажется, я немного колеблюсь, словно желая подождать еще, пожить еще. Но я вижу, что другие меня немного обгоняют. Пистолет оказался слишком длинный, и мне трудно приставить его точно к виску. Я поспешно стреляю, у меня мелькает мысль, что я так и не попрощался с А., да и вообще ни с кем. В моей голове раздается страшный треск. И я слышу фразу, что-то наподобие протеста, произнесенную одним из работающих мужчин (наверное, начальником), но ее содержание забыл в тот момент, как закончился мой сон.



Плутовской Роман. Журналист — От Африки ко всему миру.



Пьеса о любви.

Ваша мораль — не моя мораль. Ваше сознание — больше не мое сознание.



В. «Если сегодня нашли бы лекарство от смерти, я не согласилась бы его принять. Моя боль (смерть его отца и матери), мое счастье (его любовь) имеют смысл, только если я тоже должна буду уйти».



Эмерсон. «Может случиться, что сторонник этой доктрины (согласно которой у человека есть душа) обратится в бегство при виде дневника, написанного в ночи каким-то неизвестным негодяем, который и не ведал, что творил, обмакивая перо в грязь и тьму».



Там же. «Что нам еще остается, кроме того, чтобы считать достоверным следующее: избегая

лжи и гнева, мы завоюем человеческий голос и язык».



Там же. «Человек станет великим вовсе не благодаря своей совестливости. Величие происходит от воли Бога, как хорошая погода».



Роман. Оккупация, поезд Сент-Этьен — Дюньер, зимний вечер. Поезд переполнен, два купе отведены для германской армии. Незадолго до станции Фирмини один немецкий солдат обнаруживает, что у него украли штык, когда он отлучался в туалет. Крики бешенства. Тут же были схвачены двое рабочих, торопившихся к выходу, чтобы вернуться домой после трудового дня — их задержали в коридоре, и поезд уже стал отъезжать от станции. Протестовали они слабо, но было ясно, что они не виновны. На следующей станции солдаты высадили их. Они удалялись в ледяном тумане, смирившись с худшим.

Из поезда вышел очевидец произошедшего, он чувствовал себя несчастным. Он не мог следовать за ними. Он не знал, как их освободить. Он провел

ночь в зале ожидания, думая о них. Не оставалось ничего другого — только продолжать борьбу, чтобы такое не повторилось. А этих людей будут избивать и, возможно, они умрут.



Торо. «Пока человек остается верен самому себе, ему подчиняется все — правительство, общество, и даже солнце, луна и звезды».

Там же. Эмерсон. «Почитание человеком своего гения — лучшая религия».



Ницше — сестре, о проблеме с Лу: «Нет, я не создан для вражды и ненависти… До сих пор я никого не мог ненавидеть. И только теперь я чувствую себя униженным».

Необходимость, по его мнению, тех, кто устраивал заговор «против Александра», — они «завяжут новый гордиев узел греческой цивилизации после того, как он был разрублен».



То, что я сказал — я говорил ради блага всех

людей и той части меня самого, что принадлежит повседневности. Но другая часть меня знает тайну, которая никогда не должна быть раскрыта, и с ней мне суждено умереть.



«Лабиринтный человек ищет не истину, но всегда и исключительно Ариадну».



В Йенской клинике Ницше подолгу и в ясном сознании беседует с Овербеком обо всем, *кроме своих произведений.*



Гений — это здоровье, высокий стиль, прекрасное настроение на вершине разрыва.



Творчество. Чем больше оно дарит, тем больше получает. Растрачивать себя и тем самым обогащаться.



Бессмертен лишь тот, для кого все кругом бессмертно (Э.).



По мнению Эмерсона, американцы — чудесные механики, потому что боятся усталости и усилий: благодаря лени.



Каждый писатель, большой или малый, ощущает потребность сказать или написать, что гений обязательно бывает освистан современниками. Естественно, это неправда, так происходит случайно и редко. Но такая потребность многое объясняет.



Эмерсон 1848. «Как у нас получилось, что развитие механизации послужило на пользу всем, кроме рабочего. Прогресс нанес ему смертельную рану».



Там же. «Всякий человек имеет право на то, чтобы его отличали и судили о нем по тому лучшему, что было в его влиянии на других людей».

Древние и классики представляли природу женственной. В природе растворялись. А наши художники делают ее мужественной. Она сама врезается в наши глаза и раздирает их.



«Никакой психологии в искусстве». «Ибо вам самому ее не хватает». «Может быть, но таков закон творчества: Создавать из того, что есть. Потом вы должны будете судить не о том, что у меня есть, но о том, что я сделал».



Чтобы остаться в современном мире человеком, нужны не только неослабевающая энергия и постоянное напряжение, но еще и просто немного везения.

Роман. «Вопрос о любви отменился не сегодня. Вопроса о любви вообще никогда и не было. Я взывал к тебе из самых глубин своего сердца — многие годы после твоей любви. И взывал еще — после твоего *внимания*. Я не добился ни любви, ни внимания».



Пьеса. Д. Высокомерный, презрительный, отчаявшийся, категоричный.



Г.[130] прекращает писать роман из-за сцены, которую устроила жена. Он приезжает работать в Париж, но продолжение романа не получается. На самом деле, он и не *хочет* отыскивать нить повествования, чтобы сохранить мысль и оставить нетронутой всю свою злобу.



Он казнил их собственными руками: «Надо, — говорил он, — расплачиваться собой».

---

[130] notes: 130
Во французском оригинале «G.».



Тем немногим людям, которые открыли мне возможность восхищаться, я отдаю высочайший в моей жизни долг признания.



Благодаря сексуальной свободе мы можем теперь хотя бы осознать ценность целомудрия и превосходства воли. Опыт — какой угодно, женщины — сдержанные или свободные, пылкие или мечтательные, и ты сам — разнузданный или осмотрительный, торжествующий или вовсе не способный на желание. Круг замкнулся. Больше нет ни тайны, ни вытеснения. Свобода духа стала почти полной, мастерство — почти всегда возможным.



Проект. Возобновляемый словарь («для Хроник»[131]). Написать «Каприччо» (в духе Гойи).



[131] notes: 131

Имеются в виду «Злободневные заметки. Хроники 1948–1953», опубликованные в 1953 г.

В глубине моей души царит испанское одиночество. Выйти из него человек может лишь на «*мгновения*», но дальше он снова возвращается на свой остров. Потом (начиная с 1939 г.) я снова попытался быть вместе с людьми, заново пережил все этапы эпохи. Но тяжелым шагом, на крыльях воплей, под кнутом войн и революций. Сегодня я на пределе — и мое одиночество переполнено тенями и творениями, принадлежащими мне одному.



Игуапи. Мужчина на носу парома. Город, процессия. Мужчина, камень падают на землю. Гость берет камень, но проходит мимо церкви и идет к реке. Он загружает камень в длинную лодку и поднимается по реке к девственному лесу, где исчезает[132].



У меня будут оспаривать даже смерть. И все-таки мое самое глубокое желание сегодня — тихая

[132] notes: 132

Замысел рассказа «Растущий камень», который войдет в сборник «Изгнание и царство» (1957).

смерть, которая оставила бы в покое тех, кого я люблю.



Однажды вечером, рассеянно листая восхитительную книгу, я прочитал без запинки: «Как у многих страстных душ, пришел момент, когда ослабела вера в жизнь». Через секунду эта фраза снова зазвучала во мне, и я разрыдался.



Одна моя половина безмерно презирала эту эпоху. Даже когда я впадал в худшие свои заблуждения, честь всегда оставалась для меня высшей ценностью. И я зачастую приходил в отчаянии при виде чрезмерного упадка, охватившего наш век. Но другая моя половина готова была взять на себя и упадок, и общую борьбу…



Комедия о прессе.

— Нюансировать? Если я найду в вашем словаре еще одно подобное слово, то выставлю вас за дверь.

(Театральному критику) здесь у этого автора нет друзей. Значит, вы скажете, что дело в идеях. Сегодня во Франции, достаточно одного только подозрения в наличии ума, чтобы потопить человека. А вы будете на каждом шагу писать, что мы самый умный народ на земле. Публика допускает ум только внутри идиотских фраз.

Конец. На следующий день он напишет разоблачительную статью.

У публики нет памяти. Ее память — мы.

Сцена с читателем.

Обзор газет: тот, кто выставляет Христа напоказ на первой странице газеты для сытых. Прогрессист — друг лагерей и т. д.

3 действие — у него дома. Аскетизм.

Секретарю идеалистической редакции.

— Вашей газеты не заметно.

— Но ее читают.

— Газета создана для того, чтобы ее читали, но на расстоянии. Надо иметь возможность читать ее у соседа в метро.

— Тот, кто читает у соседа, не будет ее покупать.

— Нет, но он будет о ней говорить.

28 февраля 1952.

Открытие Бразилии, Вилла-Лобос — здесь к музыке возвращается величие. Шедевр — величия достиг только де Фалья.

Если мне суждено умереть сегодня вечером, я буду умирать с ужасным чувством, неведомым мне прежде, но сегодня причиняющим боль. Это ощущение того, что я приходил на помощь, и притом многим людям, но никто не придет на помощь ко мне… Мне нечем гордиться.



«Медея», сыгранная труппой театра «Антик». Не могу без рыданий слушать этот язык, мне кажется, что я наконец возвращаюсь на свою родину. Это мои слова, мои чувства, моя вера.

«Какое несчастье быть человеком, лишенным города». «О, сделайте так, чтобы я не остался лишенным города», — говорит Хор. Я — человек без города.



Немезида. Опьянение души и тела — не безумие, но комфорт и оцепенение. Истинное же безумие пылает на вершине бесконечной ясности.



Пресса не может быть истинной, потому что революционна. Она может быть революционна только потому, что правдива.



Ибсен («Кесарь и галилеянин»). После Олимпа и Голгофы — Третья Империя.



Полемика против Б.Ч.[133]. Это подъем целой массы тенебрионов. Читаю в словаре «Литтре»: «Тенебрион» — 1) друг интеллектуального мрака. 2) Вид жесткокрылых насекомых, которые в состоянии личинки живут в муке. Другое название — моль.



[133] notes: 133
«Бунтующий человек» (1951) — философское эссе А. Камю.

У наших проклятых поэтов два правила: проклятия и интриги.



Любовь к Богу — наверное, единственная, какую мы еще способны вынести, ибо несмотря на самих себя, мы всегда хотим быть любимы.



См. Ромен Роллан «Жизнь Толстого». С. 69. «Жизнь» в романе.

Там же. «Трудно любить женщину и не сделать ничего хорошего».



«Вакханки»[134]. Пенфей должен был бы сказать: «Мне не надо вашей чрезмерности. Я хочу умереть от своей».



Они — воплощение бунта, гордости, они —

---

[134] notes: 134

План пьесы, вдохновленной Еврипидом и Ницше. Далее в «Тетрадях» Камю будет называть ее «Вакханка».

непоколебимая стена, встающая на пути поднимающегося духа рабства. Эту роль они не уступят никому — а тот, кто посмеет бунтовать иначе, будет отлучен.

Так что же происходит? Один человек мечтал о самой честной газете своего времени, созданной самоотверженным и тяжелым трудом сотни людей, и он, так сказать, дождался, что эта газета перешла в руки одного продажного финансиста, и ему пришлось продавать свои услуги этому торговцу, с того момента, как все свободные люди покинули редакцию. А в это время другой человек, настраивавший и науськивавший против меня своего старого друга, пишет мне, что не стоит слишком верить словам этого старого поэта, а потом, внезапно испугавшись, снова пишет, умоляя не разглашать его письмо и маленькое предательство. Еще один человек сначала просит меня об услуге, а, получив желаемое, тут же бежит домой и крапает статью с оскорблениями в мой адрес, но потом, правда, он отправит мне новое письмо, чтобы смягчить впечатление. А вот еще один — из страха, что о нем будут плохо думать, поскольку он долгое время представлял издательство, злоупотребившее моим доверием — просит меня дать ему возможность объяснить-

ся; он получает письмо, в котором я отказываюсь, из чистого благородства, смешивать его с работодателем, и не теряя ни мгновения, настругивает эссе, в котором грустит по поводу того, что такие моралисты, как я, в один прекрасный день превращаются в полицейских.

Вот они, наши чемпионы, наши проклятые, спрятавшиеся под комфортабельной крышей проклятости и готовые выйти из-под нее только ради новых интриг. Вот кто гарантирует нам свободу, и они заявляют, что будут твердо держать знамя при надвигающейся грозе. Да ладно, первая же пощечина заправского полицейского поставит их на колени!



Фрагмент письма о «Б.Ч.».

Нас очень мало. Но истина предшествует действенности. Надо определить истину прежде, чем заботиться о действенности. К чему нам было бы быть миллионами, если первой заповедью нашей «церкви» было: «Ты солжешь?» Это вовсе не означает, что действенность не имеет значения. Ее значение — вторично. Выживание истины — не менее важная проблема, чем сама истина.

Эта проблема возникает *потом*. Вот и все. И ее тоже надо решать… Христиан было сначала двенадцать, а марксистов — двое.



Письмо А. Маке[135].

Кажется, мне удается идти по жизни и как художнику, и как человеку, в равной мере. Что вовсе не очевидно. Это возможно благодаря доверию, с каким, при всем смирении, отношусь к своему призванию… Мои будущие книги не отвлекут меня от злободневных вопросов. Но я бы хотел, чтобы они не подчинялись им, но подчинили их себе. Иначе говоря, я мечтаю о более свободном творчестве, с тем же самым содержанием… Тогда мне станет понятно, настоящий ли я художник.



Согласно Мелвиллу, рыбы южных морей — *прилипалы* — плохо плавают. Поэтому единственный для них способ передвижения — прицепиться к

[135] notes: 135

Маке, Альбер (1922–2009) — бельгийский писатель и литературовед. В начале 1950-х работал над диссертацией о творчестве Камю, состоял с ним в переписке. В 1956-м опубликовал в Париже книгу «Альбер Камю, или Непобедимое лето».

спине большой рыбы. Они опускают в желудок акулы нечто вроде трубки, откачивают оттуда пищу и преспокойно размножаются за счет усилий охотящейся хищницы, ничего не делая самостоятельно. Таковы парижские нравы.



Некоторая разновидность людей знает, кем она может свободно распоряжаться. Прежде всего, теми, кто проявляет, насколько хватает сил, щедрость и верность и кому благопристойность не позволяет использовать все эти преимущества.



«Вакханка». Два Диониса:

1) Бог земли. Черный Бог, мужественный Бог. Иакх[136], персонификация крика.

2) Азиат-декадент: вино и сладострастие, болтовня. Тот, кого не признавал Пенфей.

Убийцы не могли проходить инициацию в Элевсине (Нерон не осмелился), а также те, «чей голос был несправедлив».

---

[136] notes: 136

Иакх, или Иякх — греческое божество, связанное с элевсинскими мистериями, во время которых восклицали «иакх!» или «иякх!». Впоследствии произошла интерференция Иакха с Вакхом-Дионисом.

Второй день мистерий: «В море, мисты».

Дионис сам налегал на весла, чтобы попасть в ад.

3 бога в Элевсине: Иакх, Деметра (мать), Триптолем.

Смысл: смерть не приносит боли. Вся земная жизнь — суть смерть, смерть — избавление.

Отголоски у Луки: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие».

Дионис I воссоединит Пенфея: «Вот твой Бог, радуйся, но поклоняться мне может только тот, кто доказал, что никогда не уступит разврату души и тела, ложному богу, которого я всегда заставляю идти передо мной. Отныне тебе открывается мудрость.

— О, я сгораю от нетерпения ее узнать.

— Вот она: теперь ты завоевал право на безумие…»

Пенфей и Вакханка безостановочно кричат в то время, как падает занавес.

Или еще: «…Подожди же, пока все спят. Послушай. Все замолкает. Вот теперь ты имеешь право на безумие. Ты один. В одиночестве. И пусть оно убьет только тебя!»

Входит Дионис II, а за ним Дионис I, переодетый

в скептика-дилетанта (Силен?)«Наслаждаться, наслаждаться!»

Начало: старцы бегут к вакханкам.

Философ (Он убивает? Как он убивает? Хорошо ли, и т. д.? Он, умеющий так хорошо убивать, и я, умеющий так сильно рассуждать… Вместе мы сотворим чудеса. Я одолжу ему свои аргументы, и он убьет для меня.)

Поэт.

Жрец: жрец, что ты будешь с ним делать?

Торговец.

Нигилисты.

Вакханка: Она хочет туда пойти. Пенфей возражает: «Город надо сохранить. Город не должен быть принесен в жертву любви».

Дионис I и Пенфей: «Кто ты такой, чтобы выставлять напоказ столько добродетели? — У меня нет добродетели. — Разве ты страстно не желал женщин? Да. — Разве ты не брал их? — Да. — Разве ты не жесток? (*Бьет его.*)»

Пенфей разорван на куски. Дионис II и вакханки празднуют жертвоприношение.

Внезапно появляется Дионис I и заставляет их замолчать.

II — Кто заставит умолкнуть крики безумия?

I — Тот, кому ведомо безумие и кто умеет его

подчинить.

Там же. Такой человек, как я, раб, если бы ты только мог понять, что в нем. У меня достаточно гнева, чтобы дать Богу пощечину, и желания… чтобы заставить жену моего лучшего друга… Но мне противны эти псы, бегущие друг за другом, требующие от чужого желания, чтобы оно заменило их собственное. Я, добродетельный! (*взрывается от хохота*) По правде говоря, я хотел бы быть добродетельным, но кровь моя в огне, а мой ум, со всей его мощью, способен на всё.



В сорок лет смиряешься с отторжением части себя. О, если бы небу было угодно, чтобы вся нерастраченная любовь возродилась снова, и от нее расцвело бы в будущем произведение, на которое у меня сейчас больше нет сил![137]



…Все мужчины и женщины наваливаются на меня, чтобы уничтожить, без устали требуя своей доли, и никогда, никогда не подают мне руки,

---

[137] notes: 137
А. Камю исполнилось 40 лет 7 ноября 1953-го.

не приходят на помощь, наконец, никогда не любят меня за то, что я есть, и не хотят, чтобы я оставался собой. Они ценят мою безграничную энергию и считают, что я должен им отдавать ее и обеспечивать их жизнь. Но все свои силы я уже отдал изнурительной страсти творчества, а в остальном я самый нищий и самый нуждающийся из всех существ.



Роман. «У него не было больше сил любить ее. Живой в нем оставалась лишь способность страдать от любви, он испытывал только чувство лишения или отсутствия. Она не могла уже дать ему ничего, кроме страдания. А радость давно умерла».

Там же. «Можно было подумать, что она вся — воплощенная непокорность, и действительно, это существо, увенчанное пламенем, пылало, как мятеж. Но в еще большей мере она была воплощением всеприятия. “Я согласилась бы с тем, чтобы умереть сегодня (в тридцать лет), ибо я уже испытала много радостей. И если мне пришлось родиться снова, то я хотела бы прожить такую же жизнь, несмотря на все ее величайшие

горести”».



Я не верю тем, кто говорит, что от отчаяния они бросаются в сладострастие. Настоящее отчаяние всегда вызывает лишь боль или апатию.



Ну вот, и вы такая же шлюха, как все остальные!



Кто ничего не дает, ничего и не имеет. Самое большое несчастье не в том, что тебя не любят, а в том, что не любишь сам.



Я разрываюсь между бытием, тотально отвергающим смерть, и бытием, принимающим ее тотально.



Слишком много белых телец, недостаточно красных, а еще они пожирают друг друга: Франция в состоянии лейкемии. Она больше не в состоянии вести войну или произвести революцию. Реформы — да. Но зачем обманывать, обещая ей что-либо. Прежде всего ей надо обновить кровь.



Стиль. Недоверие к готовым формулам. Они подчас словно гром: грохочут, но света не дают.



Бухари — Джельфа — Небольшая пустыня. Нищета — крайняя, без единой капли воды — и она царственна. Черные палатки кочевников. Сухая и жесткая земля, и я на них похож: и у меня ничего нет, и я не могу ничем обладать.

Лагуат[138]. Перед скалистым холмом, покрытым сложенными слоями кремня (это огромное

[138] notes: 138

Лагуат, а также упомянутые выше Бухари (Ксар-эль-Бухари) и Джельфа — алжирские города. После посещения в декабре 1952 г. юга Алжира у А. Камю возникает замысел сборника рассказов «Изгнание и царство», который отразился в его заметках на последующих страницах «Тетрадей» (см. ниже — «Новеллы изгнания»).

пространство), из глубины горизонта черной волной набегает ночь, а в это время запад краснеет, розовеет, зеленеет.

Неутомимые ночные собаки.

Посреди оазиса стены грязи, над которыми сияют золотые плоды. Тишина и одиночество. Потом выходишь на площадь. Тучи веселых детишек вертятся, словно маленькие дервиши, и смеются во весь рот, сверкая зубами.

Может быть, пора поговорить о пустыне, где я нашел себе прибежище — Из глубины горизонта… И я надеюсь увидеть, как возникают сказочные животные, а может быть, просто найду там не менее сказочную тишину и очарование…



Г-жа В.Р. о Мальро, который собирался в Японию: «Туда едут только для того, чтобы вернуться». Но все мы немного такие.



Наивность интеллектуала 1950 года: он думает, что надо стать тверже, чтобы возвыситься.



Летнее солнцестояние. Новелла, в которой действие будет происходить в самый долгий день в году.



Цветы над высокими стенами вилл в богатом алжирском квартале. Другой мир, из которого я всегда чувствовал себя изгнанным.



Смерть консьержа. Его жена больна, она уже не вставала с большой кровати. В единственной комнате на маленькой раскладушке рядом с ней лежал мертвец, а еще недавно с ним можно было встретиться пару раз в день, заходя за почтой.

«До свидания, — говорила она, — мой дорогой, мой дружочек. Какой он большой! Это потому, что он действительно был большой…» Гроб выносили наскоро и в вертикальном положении. В траурной процессии шли только соседи. «Надо же, только три дня назад я пил с ним лимонад с мятой». — «Только я собрался заменить его двигатель на газовый».

На кладбище нас было четверо. Могильщик дал каждому по гвоздике, которые мы должны

бросить на гроб того, кому теперь уже все безразлично.



Едва переступив порог Бухенвальда, маленький француз просит разрешения поговорить с глазу на глаз со встречавшим его служащим, который тоже был заключенным: «Потому что, видите ли, мой случай исключительный, я невиновен».



Новость о дне ужасной жары *в Париже*.



Роман. Депортированный. Его жена и дети тоже были высланы. Они погибли. После возвращения этот мужчина, очень умный и мягкий, посвящает себя поиску убийц… Он вталкивает его в комнату. Говорит ему: «Я понял это там — нельзя убивать в том же месте, где унижают. Так будет чище. Вот телефон. Звоните. У вас есть время».



Пьеса о Возвращении и Истине.

Сцена I — Женщина и подруга ждут его.

Сцена II — Он возвращается и признается жене в присутствии подруги, что та была его любовницей.



Новая Бразилия. Урубу захрипел, раскрыл клюв, стал тщательно готовиться к полету, дважды похлопал по телу пыльными крыльями, поднялся на два сантиметра над краем крыши, упал и почти сразу заснул.



Одна за другой падали в море звезды, из неба выплескивались последние капли света.



В конце концов, он принес камень в самый нищий дом. Местные жители, не слова ни говоря, потеснились, чтобы дать ему дорогу. В тишине был слышен только шум реки. — Здесь мы последние, последние среди последних.



— Европа… Собаки.

— И я тоже собака. Я разнюхивал и блудил.

— Не вижу разницы.

— Очень маленькая. Мне стыдно.

— О! Да Вы богаты!

— Нет, не очень. Но даже будучи очень бедным, я всегда жил, как богач.

— Этого вы и стыдитесь?

— Именно. И того, что лгал о разнюхивании и блуде.

— Хорошо. Ничего не поделаешь.

— Нет.

Там же. — Мы не можем помешать себе. Мы не можем помешать себе. А потом приходит момент, когда мы не можем больше ничего.



Новелла «Высокие Плато». Мужчина приходит и сам объясняет, в чем состояло его преступление.

«Вот. Это дорога к Джельфе. Увидишь машину. Остановишь. В Джельфе есть жандармерия и поезд. А эта трасса, наоборот, проходит через Высокие Плато. В одном дне пути отсюда ты увидишь первые пастбища и кочевников. Они

примут тебя. Они бедны и несчастны, но гостю они готовы отдать всё.

Молчавший со вчерашнего дня мужчина только сказал:

— Это короли?

— Да, — ответил Пьер. — Они и есть короли.



Новелла «Молчание».

Рабочие возвращаются из мастерской (бочарное дело) после провала забастовки. Они молчат. Так проходит день в мастерской.

Во второй половине дня хозяина внезапно разбил паралич. Мастер сообщает об этом рабочему. Рабочий не разговаривает. После работы он начинает рыдать, положив руки на стол. «Надо же, надо же».



Сборник новелл — стремительный, на одном дыхании.

Побережье Тихого океана. Немая девочка. Она не сумела сказать ему, что беременна. Он берет ее на руки и бежит. Она умирает.

Новеллы под названием «Новеллы изгнания».

1) Лагуат. Неверная жена.

2) Игуапи — человеческая теплота, дружба чернокожего кока.

3) Высокие плато и приговоренный.

4) Художник, ограничивающий себя (название: «Иона»).

Потом он перестает писать. Он ждет, положив руки на колени. Теперь я счастлив.

5) Интеллектуал и тюремщик.

6) Смятенный дух — миссионер-прогрессист хочет приобщить варваров к цивилизации, а они отрезают ему уши и язык и отравляют в рабство. Он ждет приезда следующего миссионера и с ненавистью убивает его.

7) Новелла о безумии.

«Смятенный дух». «О лжецы, о лжецы! Уж я-то его знаю. Он подставлял подножки слепцам, называл нищих грязной рванью. Его прибили к стене гвоздями, о лжецы, и содрогалась земля. Только что мы убили праведника». Мораль была спасена. Вон он, его голова в стене. Когда они

приколачивали его, один гвоздь пробил голову насквозь, — я физически чувствую в своей голове, как в нее входит этот гвоздь. Какая каша! Какая каша! И потом, под конец, ему отрубили язык. Это после того, как он сказал: «Почему ты покинул меня?» Ему не позволили продолжать, не подпустили к столу, не дали перейти к признаниям…

Ненависть — вот слово: я открыл ненависть. Ненависть напоминает мне мятную пастилку, когда во рту ледяной холод, а в животе огонь. Нужно быть злым, быть очень злым. Но я раб, это очевидно. Но если я зол, то я больше не раб. Мне наплевать на их доброту.

…Вот он. В пустыне раздается большой взрыв. Он падает носом на камни, голова всмятку, но тело еще корчится. «Руки крестом, крестом руки», — прокричал было я. Но в тот самый миг в ненасытную синеву небес хлынули гейзеры серых и черных птиц. Где-то вдали шакал втягивал носом ветер и подкрадывался маленькими шажками к мертвецу.

В конце концов он был распят. Отче наш, иже еси…

Как можно получить прощение, если мы лжем, а другой и не ведает, что надо прощать. А значит, необходимо сказать правду хотя бы раз перед

тем, как умереть, или принять смерть без прощения грехов. Можно ли придумать смерть более одинокую, чем смерть человека, исчезающего, запертым наглухо в своих обманах и преступлениях.



Анти-Европа. Чилийское побережье Тихого океана. Пятнадцатилетняя девочка не отрывает от него глаз. В той лачуге она одна. Он расспрашивает ее. Она не отвечает, но пристально смотрит на него. Она немая. Безмолвная любовь на фоне моря.



Роман. «При виде ее самозабвенного наслаждения, я долгое время верил, что мы сообщники в сфере желания. И мне понадобилось много лет, чтобы понять: она и большинство женщин никогда не признавали никакого сообщничества, кроме любви».



Я всегда любил море и пляжи. А потом пустын-

ные пляжи моей молодости заполонили торговые лавки. Теперь я люблю только океан — там, где кажется невероятным даже само существование берегов. Но однажды на бразильских пляжах я снова понял, что для меня нет большей радости, чем идти по девственно чистому песку навстречу звучащему свету, наполненному свистом волн.



Роман. Во время оккупации он заметил, до какой степени он невольно становился националистом, когда любовался на бродячего пса, бегущего радостно за немецким солдатом.



Г.[139]. Он крайне обходителен, и трудно догадаться, насколько он раним. Для этого нужно время. И в течение всего этого времени рискуешь его ранить.



Роман. Разница ритмов у разных существ, а

[139] notes: 139
Во французском оригинале «G.».

также разница ритмов в одном и том же существе. Начав соблазнение, Д. тянет время. Потом внезапно звонит ей по телефону, проезжает 1500 километров, ведет ужинать и той же ночью овладевает.



Отныне я действительно одинок, но по собственной вине.



Мы хотим прожить чувства прежде, чем их ощутим. Мы ведь знаем, что они существуют. Традиция и современники приносят нам доходы с них — постоянные, но, впрочем, всегда ненастоящие. Выходит, мы проживаем чувства по доверенности. Используем их, так ни разу и не прочувствовав.



Роман. «Будучи бесконечно перед ней виноват, он каждый раз искал малейшего случая, когда она проявляла недостаточно, если не любви, то внимания. Тогда он осыпал ее упреками, но не

потому, что мог надеяться смягчить свою вину, но чтобы она разделила с ним состояние виновности и продолжала жить рядом, но теперь уже на пустынной земле, лишенной любви».



От всего этого уныния меня спасало только одно: я никогда не переставал верить в то, что за неимением лучшего слова, я называл «своей звездой». Но сегодня я больше не верю и в нее.



Саш («За пятью прутьями решетки»)[140]. «Без католицизма можно прекрасно прожить, но я совершенно не могу жить без мысли о Христе».

Цитирует Монтескье: «Если бы люди были абсолютно праведны, у них вовсе не было бы друзей».

Цитирует Бальзака: «Гений похож на всех, а на него — никто».

«Хорошо предает любовь только тот, кого любят».

---

[140] notes: 140

Саш, Морис (1906–1945) — французский писатель. Его роман «За пятью прутьями решетки» был опубликован в 1952 г.

«Каждый получает такую смерть, какую заслуживает».

«Больше всего неприятностей не от людей, которых ты обидел, но от свидетелей, которые хотят играть роль добровольных судей».



Моя трагедия не в том, что я одинок, но в том, что не могу быть один. Порой мне кажется, что отдал бы, наверное, весь свет, чтобы разорвать связь с миром людей. Но я сам — часть этого мира, самое мужественное — было бы принять и его, и свою трагедию.



Дать описание постановки «Дон Жуана» Мольера.



Пьеса. Человек, который *не может ненавидеть.*



Люди постепенно учатся жить. А я, для кого жизнь была столь естественна, постепенно разучивался жить, и так происходило до тех пор, пока мои мысли и деяния не вступили в резонанс со страданиями и бедами других людей или меня самого, с невыносимой тяжестью этого мира, которым я так наслаждался вначале.



Своры собак — они собираются в городах и глодают идеи.



Воклюз. Вечерний свет становится тонким и золотистым, как ликер, и медленно растворяет болезненные кристаллы, которыми порой было изранено сердце.



Пара. Только одно требование может ограничить все остальные. Оно требовало лишь не умирать, и я взывал к жизни.



Он хромал, поэтому надевал обычно шляпу набекрень.



Русский критик Разумник говорил по поводу пьесы Маяковского «Мистерия-буфф»: «Вопрос о глубочайшей мировой связи враждебно стоящих друг против друга исторического христианства и исторического социализма».



Шар[141] предлагает в качестве девиза: Свобода, Неравенство, Братство.



Материальный прогресс в очень большой мере улучшает человеческую природу сверх необходимого. Но он начинает вредить, если выходит за рамки этой меры, когда возникает богатство. На этой границе и держится истинное равновесие морали.



[141] notes: 141
Шар, Рене (1907–1988) — французский поэт.

Век ясности. Опасность катастрофы настолько высока, что она начинает совпадать с неизбежным уделом человеческого существования вообще. Принять правила игры сегодняшней эпохи — то же самое, что принять правила смерти. Наш век самой крайней опасности есть век высшей ясности.



«Тан Модерн»[142]. Они допускают идею греха и отказываются от благодати. Жажда мученичества.



Ад — это рай плюс смерть.



Ад здесь — в том, чтобы жить. Избежать его можно только тому, кто исключит себя из жизни.

---

[142] notes: 142

«Тан Модерн» — политический, литературный и философский журнал, основанный Ж.-П. Сартром и С. де Бовуар в 1945 г. В дальнейшем по тексту встречается сокращение Т. М. Здесь речь идет о полемике между Камю и Сартром по поводу эссе Камю «Бунтующий человек».



Что будет свидетельствовать о нас? Наши творения. Увы! Тогда кто? Никто, никто, разве только те друзья, что видели нас в мгновение озарения, когда сердце целиком доверялось другому человеку. То есть те, кто любят нас. Однако любовь — это молчание. Каждый человек умирает в неизвестности.



Сентябрь 52.

Полемика с «Т.М.». Атаки со стороны «Ар», «Каррфур», «Ривароль». Париж — джунгли, где дикие звери несчастны.



Парвеню революционного духа, нувориши и фарисеи правосудия. Сартр *вероломен* и в человеческом, и в духовном плане.



«Лучший Друг». Одно действие. N. в гостях у семейства Z. Они говорят об Y., лучшем друге

N., который опаздывает. N. долго расписывает его добродетели. Семейство Z. напоминает о недомолвках Y. по поводу N. N. постепенно разоблачает те самые добродетели, которые оказываются недостатками. Семейство Z. обращает внимание на благожелательное высказывание Y. об N. N. начинает обратное движение. Приходит Y., N. бросается к нему и обнимает. «О, — говорит Y., — как хорошо оказаться среди друзей».



Духоборы. Христианство — внутри человека. Оно умирает и воскресает в нас самих. У каждого христианина два имени. Одно телесное, другое духовное, данное Богом при его духовном рождении и в зависимости от его деяний. Это второе имя на земле не известно никому; его узнают в вечности.

Наш брат не умер, он изменил имя.



Духоборы. По-русски, это те, кто борются с помощью духа.



Собственность — это убийство.



Практическая мораль.

Никогда не обращаться в суд.

Деньги дарить или терять. Не извлекать из них прибыли, не заниматься их поисками, не требовать их у кого-либо.

Название: «Маленький трактат о практической морали» — или (для провокации)«О повседневной аристократии».



Полемика с «Т.М.». — Плутовство. Единственное их оправдание — ужасная эпоха. В конечном счете, в них чувствуется склонность к рабству. Они мечтали прийти к рабству каким-нибудь благородным путем, с большим количением мыслей. Но королевского пути к рабству не существует. Есть жульничество, оскорбление, предательство брата. А потом тридцать динариев.



Теплая вода на побережье Орана. Свет Афри-

ки: жадное пылание, сжигающее сердце. Я был слишком молод.



Порой глубокой праздничной ночью, когда алкоголь, танцы до самозабвения быстро приводили нас в состояние счастливого утомления, мне, по крайней мере на какой-то миг, казалось, что именно в той крайней усталости я наконец постигну тайну человеческого бытия и смогу когда-нибудь ее выразить. Но усталость исчезала, вместе с нею и тайна.



Брюнетьер еще задолго до Сартра выступал за театр ситуаций и против театра характеров. Тогда Копо сводил эту проблему к одной фразе: «Ситуация стоит того, чего стоят характеры».

Там же. Копо по поводу «ремесла» и «хорошо сделанной пьесы». Не смешивать «рецепт» и «ремесло». См. «Рассуждение о драматической поэме» Корнеля.



Любое общество, и в особенности литературное, стремится пристыдить своих членов в их высших добродетелях.



«Любовь издалека» в комедии дель арте. Романтическая «Принцесса Клевская».



Роман. «Все эти дни он ненавидел не ее. Ненавидеть в ней было нечего, зато почти все можно было любить. Он ненавидел в ней себя — и несостоятельность, и бедность, и бессилие любить то, что нужно было любить, и жить в том, что должно было быть достойным ее и его…»



Нация с денежными трудностями и любовными огорчениями.



«Непостоянство в любви так же чудовищно, как несправедливость в душе». Паскаль.



Там же. «Любовь и разум есть лишь одно и то же».



Надоедливой нищенке, проявлявшей настойчивость, хозяйка ресторана говорила, показывая на тех, кто ел лангуста: «Ну поставьте себя на место этих дам и господ».



Роман. Больная мать. Он бросился на грудь этой убогой женщине и зарыдал. Многие годы он не позволял себе ничего подобного ни с одним человеком — он ни у кого не просил защиты. Другие люди позволяли себе обращаться к нему с просьбой о помощи. Но сам он никогда не разрешал себе поддаваться слабости. Поэтому и выбрал воплощение бессилия и горя.



Пьеса: Леспинас[143] Элиза.

Действие I.

1) Элиза и д'Аламбер (она говорит ему о своей любви к Гонсальве).

2) Элиза и Гибер (сраженные внезапной любовью).

3) Признание Гибера Луизе (холодным тоном).

4) Весть о возвращении Гонсальве.

5) Гонсальве и Элиза.

Действие II.

1) Д'Аламбер и Гонсальве.

2) Элиза и Гонсальве (получает письмо и должен уйти — сцена прощания).

3) Д'Аламбер и Элиза.

4) Гибер и Элиза. Она уступает всепоглощающей любви:

«Значит у вас больше нет чувств? — Вы действительно так думаете?» Она поворачивается, слышит, как он бежит к ней и падает в его объятия.

Действие III.

Растерзанная любовь — Смерть Гонсальве. Она

---

[143] notes: 143

Пьеса посвящена жизни Жюли де Леспинас (1732–1776), прославившейся своим литературным и философским салоном, где собирались видные деятели французского Просвещения. Здесь Камю называет ее Элизой, в дальнейшем будет использовать имя Жюли (в набросках Камю — Julia).

в объятиях Гибера, д'Аламбер входит с письмом: «Он умер». Она читает и кричит: «Знаете, что он мне сказал? Что он счастлив умереть, уверенным в моей любви».

Сцена между Гибером и Элизой: «О! Теперь я люблю тебя», — говорит она.

Действие IV.

Любовь по недоразумению. Она хочет быть любимой Гибером, как была любима Гонсальве. Вы меня не любите. Свадьба Гибера.

Действие V.

Д'Аламбер и Гибер. Она больна. Ее нельзя увидеть. Она очень изменилась. Он признается в любви к Элизе. Д'А.: «Вы пришли слишком поздно. Так поступают те, кто не способны любить. Их страсть чрезмерна: напрасная любовь в тот момент, когда она совершенно бесполезна».

Последняя сцена: Смерть Элизы. «Ведь он заслуживал такой любви?»

— Да, Элиза. Но ты заслужила, чтобы тебя любили так, как ты была любима.

— Была ли я любима? Была ли я действительно любима?

Входит Гибер. «Гонсальве!» — говорит она.

Или же я умру без его прощения.

Чьего прощения, Гибера?

Нет. Гибер дал мне познать любовь, в которой нужно что-то прощать. Но тот другой — не знал, никогда не знал такой любви. Как он может простить?



Когда моя мать отводила от меня глаза, у меня всегда, глядя на нее, накатывали слезы.



Р.: Женится на женщине, у которой раньше был любовник (ее жених). Она открыто призналась ему в этом. Он говорит, что любит ее и что это не имеет значения. Ревность к прошлому. Вопросы и допросы ночи напролет. На следующий же день после свадьбы он берет билеты и едет в город, где живет бывший жених, чтобы «сделать отметину на его лице» (он прячет в свертке лезвия бритвы). Долгие годы он так и не может успокоиться. Пишет оскорбительные письма (Г-жа N. у г-жи А.). Потом заставляет ее, чтобы она уговорила свою подругу переспать с ним. «Я чувствую себя обиженным», — говорит он, а потом принуждает ее попросить о той же услуге у сестры и т. д. (запрещает поехать в страну ее детства, где она

познакомилась с N.) и т. д. и т. д. Пока не доводит ее до безумия.



Стихи сожалений об Алжире.



Это первое утро было скорее влажным, чем дождливым, марсельские мостовые превратились в парижские, и только разношерстная толпа напоминала о том, что здесь начинался другой мир. И вдруг — цветочный рынок на Канебьер. Полки ломятся от декабрьских цветов, покрытых перламутровыми каплями воды, сочных, блестящих. Анемоны, ноготки, нарциссы, гладиолусы…



В море. Море под луной, молчаливые пространства. Да, здесь я чувствую себя вправе спокойно умереть, здесь я могу сказать: «Я был слаб, но я сделал все, что мог».



Типаса. См. заметки.



От Лагуата до Гардая. Озера дайя и призраки деревьев. Растрескавшиеся шебки. Царство камней, в течение дня испепеляющих, а ночью леденящих, и, в конце концов, взрывающихся под ужасным давлением, рассыпаясь в песок. Камни повсюду. И на покрытом кусочками сланца кладбище Лагуата, где мертвецы обнимаются друг с другом под каменными завалами. И на скудных участках пахоты, которые иногда встречаются в пустыне, — здесь так просто выбрать среди камней наиболее подходящий материал для строительства. Если в этой стране и пашут землю, то лишь для того, чтобы собрать урожай камней. Земля так ценна, что ее соскабливают в углублениях между камнями и бережно переносят, словно причастие для умирающего, в большие корзины. Вода. Земля, обструганная до костей, до сланцевого скелета. Гардая и священные города, опоясанные охровыми холмами, одеты сами в латы красных стен.



Подобно тем камням в пустыне, на первый взгляд случайно сваленным в кучу и едва отличающимся от остальных нагромождений, — камням, что указывают людям, которых учит бедность, на таинственные пути, ведущие к воде или сухой траве.



На юге засуха, а значит, голод, — гибнет восемьдесят тысяч овец. Все население скребет землю в поисках корешков. Бухенвальд под солнцем.



В Вене на виселицах сидят голубки.



Во Франции для каждой профессии предусмотрена определенная доля участия иностранных рабочих. Скажем, в шахтах этот процент возрастает с глубиной. Франция — земля обетованная, но здесь требуются прежде всего рабы.



А. Б. Подавленный Люцифер Орана.



Не забыть — В Лагуате странное впечатление силы и неуязвимости. Договорился со смертью — значит, стал неуязвимым.



Объяснять ужасы современности через страх. А потом показательные процессы в СССР и т. д. Предательство левой интеллигенции.



«Злободневные заметки» — Не располагая никакой информацией, кроме официального сообщения Москвы, десять французских врачей, половина из которых евреи, подписывают заявление, приветствующее арест их советских собратьев, из которых 9/10 — евреи. Торжество научной мысли. Немного позже та же Москва заявляет о невиновности этих врачей, но их по-прежнему держат в тюрьме.



Пустыня и песочные часы.



«Злободневные заметки». Депутаты отказались передать жилищному строительству миллиарды, выделенные сначала для производителей алкоголя. Двойной удар: одновременно рост трущоб и производства алкоголя. Шестьсот якобинцев — гигантов свободы, стоят на коленях перед бистро.



Гуманизм. Я не люблю человечество вообще. Я испытываю, прежде всего, чувство солидарности, что не одно и то же. И потом, я люблю только отдельных людей, живущих или уже умерших, но люблю с большим восхищением и всегда стремлюсь, ревностно и страстно, сохранить или защитить во всех остальных то, что, волей случая или в один прекрасный и непредсказуемый день, делает их похожими на этих избранных.



Безумие Фабра[144], администратора Французского Театра. Он верил только в истинность мира зеркал. Все остальное было лишь отражением.



Бенжамен Констан — Дневник[145]. «Точность в материальных описаниях жизни привлекает того, кто стал одинаково безразличен ко всему».

О «Фаусте» Гете — удручающее суждение с. 59.

«…овладев тем, что придает цену жизни, — славой и свободой, все народы (так же, как и древние) ощутили в то же самое время, что надо уметь презирать жизнь и отказываться от нее. Читающие же нам наставления против самоубийства, оказываются именно теми людьми, чьи мнения превращают жизнь в нечто презренное и лживое, — сторонниками рабства и низости…»

«И я не знаю никого, кроме себя, кто умел бы чувствовать за других людей лучше, чем за себя, ибо меня преследует сострадание…»

Ср. с. 81. «Мужчины, которых считают суро-

---

[144] notes: 144

Фабр, Эмиль (1869–1955) — французский драматург, работал главным администратором Французского Театра в 1915–1936 гг.

[145] notes: 145

Цитируется по французскому изданию 1952 г.

выми…»

«Литература и слава нарушают жизнь, принуждая выставлять мнения напоказ и защищать их».

«Прогулка с Симондом. Он упрекал меня в том, что я проявлял мало интереса к нему и ко всем окружающим. Но никто не знает… мое положение далеко от нормального, поскольку связь с Бьондеттой вообще отняла у меня ощущение, что я могу свободно располагать своей жизнью…»

Ср. с. 133–134. «Амбиция значительно менее корыстна, чем это принято думать, ибо для того, чтобы жить в покое, надо приложить почти столько же труда, сколько для того, чтобы управлять миром».

«Жизнь моя утекает, как вода».

«И тогда у меня возникло чувство, настолько противоположное ощущению краткости земного бытия, что я не мог осознать его должного значения, чтобы прийти к сильному решению, не важно какому конкретно».

С. 201. О бесполезности споров с французскими литераторами: «Прежде, чем обсуждать вопрос, следовало бы разъяснить каждый тезис: в противном случае мы встретим лишь людей, которые будут упрекать нас в том, чего мы не

говорили, и мы только устанем от чистой потери времени… Надо писать, а не дискутировать».

«В отрицании религии есть что-то грубое и банальное, что меня отталкивает».

«Если человек щедр и не стремится выставлять это напоказ, то те, кто обогащаются за счет его щедрости, считают, что он всего лишь выполняет свой долг».

Ср. с. 226. «Нет смысла скрывать свое презрение, о нем всегда догадаются и никогда не простят».

Ср. с. 245. — Смерть Мадам Тальма.

— «…И все эти люди, называющие себя чувствительными, не подходят мне в компаньоны — ни в соперничестве, ни в несчастье, ни в смерти».

«…Когда приходится, помимо воли, переживать ненавистную ситуацию, даже малейшее усиление неудобства приводит в ярость».

Ср. с. 348. «Мое несчастье состоит в том, что я ничего не люблю, и из-за этого самые простые вещи становятся трудными».

«Моя душа живет в одиночестве. Я могу любить только вне благодарности или жалости. Не надо никого огорчать, но просто будем помнить, что в глубине души я не могу жить ни с кем».

У меня не сложилось впечатления, что, выступая сегодня в защиту интересов народа, церковь проявляет жалость — она уступает силе.

Роман. Она не верила в любовь, и он, любя ее, чувствовал себя смешным в проявлениях свой любви.



Cada vez que consider
Que me tengo de morir
Tiendo la capa en el suelo
Y no me harto de dormir[146]



Пьеса об альбигойцах.



Мне пишут: «На закате нашей жизни нас будут

[146] notes: 146

Испанская копла: «Каждый раз, когда я думаю, / Что я должен умереть, / Я кладу свой плащ на землю, / И я не могу насытиться сном».

судить по любви». Тогда приговор очевиден.



Она носила целомудренные платья, но тело ее пылало.



Социализм, по Зощенко, будет тогда, когда на асфальте расцветут фиалки.



Евреи существуют как культура вот уже 4000 лет. Единственные.



Толстой писал: «О жизни и смерти». Он пошел дальше и решил, что смерть не существует. Тогда его эссе стало называться «О жизни». Смотри дневник Татьяны Толстой[147], с. 131: История казни трех вольноопределяющихся.

---

[147] notes: 147

Цитируется по дневнику Т. Л. Сухотиной-Толстой, переведенному на французский в 1953 г.



Толстой признавался, что первое испытанное им чувство, когда к его дому подходил попрошайка, было крайне неприятным.

Он ушел с представления «Зигфрида» — с бранью.

Он ненавидел революционеров за невежество и гордыню: они хотят изменить мир, не зная, в чем истинное счастье.



15 февраля 1953.

Дорогой П. Б.[148].

Прежде всего, должен извиниться перед Вами за пятницу. Проблема была не в лекции о Голландии: в последний момент меня внезапно позвали подписывать книги для беженцев. Я впервые занимался подобным делом, и мне показалось, что было неудобно отказывать, надеюсь, что Вы простите мне это недоразумение. Но вопрос не в этом, а в тех отношениях, которые Вы называете трудными. Я бы сформулировал все, что я могу сказать на этот счет, в простых словах: если бы у

[148] notes: 148

Пьер Берже — журналист.

Вас было представление, хотя бы отчасти, о моей жизни и обязательствах, то Вы бы не написали ни одной строки своего письма. Но Вы не можете знать моей жизни, а я не могу и не должен Вам объяснять. Если бы то «высокомерное одиночество», о котором Вы сожалеете, как, впрочем, и многие другие, не обладающие, однако, Вашими качествами, и существовало, то это было бы для меня благословением. Но этот рай приписывают мне по ошибке. Вся правда в том, что за каждый час своей работы я постоянно борюсь с временем и с людьми, и чаще всего безуспешно. Я не жалуюсь. Я сам сделал свою жизнь такой, и я первый несу ответственность за ее разбросанность и ритм. Но когда я получаю такие письма, как Ваше, то да, мне хочется жаловаться или хотя бы попросить, чтобы меня так быстро не обвиняли. Чтобы все успеть, сегодня мне нужно три жизни и много сердец. А у меня только одна жизнь и одно сердце, вы можете оценивать их как угодно, и сам я знаю, что возможно они весьма среднего качества. У меня физически нет времени, и особенно внутреннего покоя, чтобы видеться с друзьями, как мне хотелось бы (спросите у Шара, которого я люблю как брата, сколько раз *в месяц* мы видимся). У меня нет времени писать для

журналов, ни о Ясперсе, ни о Тунисе, даже для того, чтобы возразить Сартру. Поверьте, у меня нет ни времени, ни внутреннего покоя, чтобы позволить себе заболеть. Когда я болен, моя жизнь идет кувырком, и потом неделями я нагоняю свои опоздания. Но самое страшное в том, что у меня нет ни времени, ни внутреннего покоя для того, чтобы писать книги, и я трачу по четыре года на то, на что, будучи свободным, потратил бы год или два. Впрочем, уже несколько лет творчество перестало дарить мне свободу — оно меня только закрепощает. И если я все же продолжаю, то только потому, что ничего не могу с собой поделать и предпочитаю его всему остальному, даже свободе, даже мудрости или истинной плодовитости и даже, увы! — дружбе. Я действительно пытаюсь организовать себя, удвоить свои силы и свое «присутствие», придерживаясь особого распорядка времени, планируя свои дни, улучшая производительность. Надеюсь, что когда-нибудь я справлюсь. В данный момент я не справляюсь, каждое письмо влечет за собой еще три, каждый человек — еще десятерых, каждая книга — сто писем и двадцать корреспондентов, а в это же самое время продолжается жизнь, и есть работа, и те, кого я люблю, и те, кто нуждается во мне. Жизнь

продолжается, и иногда по утрам, устав от шума, потеряв надежду перед необходимостью продолжать бесконечное произведение, заболевая от безумия мира, осаждающего меня на рассвете в газетах, убедившись, наконец, что я не справляюсь и что я всех разочарую, я ощущаю только одно желание — сесть и ждать, что придет вечер. Я ощущаю это желание и порой уступаю ему.

Можете ли Вы это понять, Б.? Разумеется, Вы заслуживаете того, чтобы Вас уважали и о Вас говорили. Разумеется, Ваши друзья не менее ценны, чем мои (не такие уж они и грамматики, как Вы думаете). Хотя я плохо представляю себе (и это не позерство), что мое уважение может быть для кого-нибудь ценно, но мне важно Вам сказать, что я действительно очень Вас уважаю. Но для того, чтобы это уважение превратилось в деятельную дружбу, необходим как раз настоящий досуг, длительное общение. Я повстречал много превосходных людей, это удача в моей жизни. Но невозможно иметь столько друзей, и в этом моя беда, и я вынужден разочаровывать людей, я это знаю. Понимаю, что это невыносимо для других, это невыносимо и для меня. Но так уж получилось, и если меня такого невозможно любить, то совершенно закономерно, я оказываюсь брошен

на произвол одиночества, которое, Вы же понимаете, не так высокомерно, как Вы говорите.

На Вашу горечь я отвечаю во всяком случае без горечи. Такие письма, как Ваше, исходящие от такого человека, как Вы, могут только опечалить меня, и они больше убеждают меня в том, что надо бежать из этого города, бежать от жизни, которую я в нем веду. Это самое большое мое желание, но пока оно неосуществимо. А значит, я должен продолжать это странное существование и считать, что высказанное Вами представляет собой плату, немного дороговатую для меня, которую надо заплатить за то, чтобы оказаться доведенным до такого существования.

Простите меня, в любом случае, за то, что разочаровал Вас. Заверяю Вас в своей преданности.

О театре.

«Законы» театра. Действие. Жизнь. Действие и жизнь в великих произведениях. Театр — это персонаж, характеры, доведенные до предела. Ситуации стоят того, чего стоят характеры. От незнания этой истины и происходят ошибки в понимании, в постановке и в интерпретации.

Соотношение стиля и театральной условности. К великому театру.



Роман. Трус, считавший себя смельчаком. Достаточно подходящего случая, чтобы он убедился в обратном — значит надо изменить жизнь.

Там же. Он решает бороться против нравственного искушения. Он *осознанно* уступает своим инстинктам, потому что это сильные инстинкты.



Немезида. Любовь может убить, причем безо всякого оправдания, кроме самой любви. Можно даже обозначить границу, на которой любовь оборачивается убийством других людей. В некоторой степени любви вообще не может быть без виновности — и личной, и абсолютной. Но виновность эта всегда одинока. Ее тяжело перенести, ибо у нее нет алиби разума. Ты один должен решить, любишь или нет, и один отвечаешь за все непредсказуемые последствия настоящей любви. Этому рискованному одиночеству человек предпочитает тепленькие чувства и мораль. Он

боится себя и за себя. Стремится избавить себя от одиночества, отвергая свое существование. И прежде всего, начинает искать оправдание, которое немного облегчило бы тяжесть его вины. Раз уж обязательно надо быть виновным, он, по крайней мере, будет не один. Борец.



В любви — ограничиться тем, что есть.



Роман. Тема энергии.



Пасифая любит быка из целомудрия. Ведь он представляет собой наслаждение в чистом виде — взрыв наслаждения, а не заученную последовательность надоевших действий, криков, тяжело дышащего сладострастия, наслаждений, повторяющихся годами во имя невозможного слияния. Бык — быстрый и огненный, как бог. Пасифая (когда он входит): «О чистота!»



Выбор мучеников — забвение или утилизация.



Добавить к «Осадному положению». Министерство самоубийства. «В этом году невозможно. Все ставки заняты. Заполните анкету на следующий год».



Зов плоти — странный, посторонний, одинокий, неутомимо устремленный вперед, а значит, неотразимый и требующий, чтобы ему слепо повиновались, — после стольких лет неистовства и в предвкушении еще многих лет чувственного безумия, вдруг разом отказывает и замолкает. Процветавший в привычке, возбуждавшийся от новизны и отрекавшийся от независимости лишь на миг, когда его соглашались насытить вполне! Как можно, если ты хоть немного себя уважаешь, согласиться в глубине своего сердца на такую тиранию? Чистота — вот свобода!



Честь держится на тончайшей ниточке. Если

удается продержаться, считайте, что повезло.



У меня страх перед своим ремеслом и призванием. Верному — пропасть, отступнику — ничто.



Храбрый галстук.



Роман. Оба сына отвернулись, когда их больная мать вынимала вставную челюсть перед тем, как пойти в операционную. Они знали, что она всегда стыдилась того, что у нее были вставные зубы.



Я никогда не находил никакого оправдания своей жизни, кроме творческого усилия. Почти во всем остальном я потерпел поражение. И если это не оправдывает меня, то моя жизнь не заслуживает прощения.



Люди переносят общество друг друга только благодаря телу и красоте. Однако тела стареют. Когда красота деградирует, в наличии остаются голые души — они сталкиваются теперь без посредника.



Одни люди страдают жестко, а другие — страдают гибко: акробаты, виртуозы (профессиональные) боли.



Два вульгарных заблуждения — спор о том, что было вначале: существование ли предшествует сущности или сущность существованию. И то и другое развивается и возникает одновременно.



Письмо от Грина[149]. Каждый раз, когда мне говорят, что я вызываю восхищение как человек, у меня создается такое впечатление, будто я всю

[149] notes: 149

Грин, Жюльен (1900–1998) — американский писатель, проведший большую часть своей жизни во Франции и писавший по преимуществу по-французски.

свою жизнь лгал.



Для Немезиды. Париж, 9 июля 53 г.

Милостивый государь, я долго не отвечал на ваше любезное письмо. Последние недели пролетели для меня как ветер. Я был тронут вашей симпатией и тем, как вы ее выразили. Мне очень понравился потаенный блеск ваших стихов, их атмосфера «солнца и лагуны». И я рад ощущать, что мы с вами согласны.

Чрезмерность в любви — единственно приемлемая из всех чрезмерностей — дана только святым. А человеческие общества умели проявлять чрезмерность лишь в ненависти. Вот почему им совершенно необходимо внушить непреклонное чувство меры. Чрезмерность, безумие, пропасть — вот тайны и риски для отдельных избранных личностей: об этом надлежит молчать, или, в крайнем случае, на это можно лишь очень отдаленно намекать.

Поэтому вечным истоком является поэзия. Ей надлежит доверить охрану тайн. Что касается нас, пишущих на языке всех людей, мы должны знать, что существует две мудрости, но время

от времени надо притворяться, что не ведаем о наивысшей. С наилучшими пожеланиями и сердечными приветствиями.



Я всегда отрицал ложь (я был не способен на нее, даже когда принуждал себя) только потому, что никогда не мог принять одиночества. Но теперь надо принять и одиночество.



Словно кто-то любимый умирает после долгой болезни. И хотя мы ничего не делали, только ждали, у нас осталось такое впечатление, что все это время нас долго били, а потом вдруг нанесли сокрушительный удар.



Некоторым людям требуется больше мужества для обычной уличной драки, чем для того, чтобы стоять на линии огня. Самое тяжелое — это поднять руку на человека и особенно ощущать физическую враждебность другого человека.



В. «Для меня существуют две ценности: нежность и слава».

Ниспослать божественную благодать на B.O.F.[150], или акулу бизнеса — вот это подвиг. А на преступника — слишком просто.



Ван Гог восхищался Милле, Толстым, Сюлли-Прюдомом.



В молодости Толстой поехал за счастьем в Санкт-Петербург. Результат: карты, цыгане, долги и т. д. «Живу совершенно скотски» (Толстой о Толстом, переписка 1879)[151].

Брат Толстого: «у него не было тех недостатков,

---

[150] notes: 150

B.O.F. — предположительно, «Beurre. Oeufs. Fromages» («Масло. Яйца. Сыр»), устаревшее сокращение для обозначения продуктов, продаваемых на рынке. Во время Второй мировой войны так презрительно называли торговок этими продуктами на черном рынке.

[151] notes: 151

А. Камю цитирует по книге: Tolstoï par Tolstoï: avant sa crise morale (1848–1879), autobiographie épistolaire, composée, traduite et annotée par E. Halpérine-Kaminsky. Paris, 1912. Это компилятивное издание, в которое вошли материалы из писем Л. Н. Толстого, А. А. Толстой, биографической книги П. Бирюкова о Л. Н. Толстом, воспоминаний С. А. Толстой и др.

которые нужны для того, чтобы быть большим писателем» (согласно Тургеневу).

Там же. Переписка, 3 мая 59 г.: «кому я делаю добро? кого люблю? — Никого! И грусти даже, и слез над самим собой нет. И раскаянье холодное…»

Там же. 17 октября 60 г., после смерти брата: «…правда, которую я вынес из 32 лет, есть та, что положение, в которое нас поставил кто-то, есть самый ужасный обман и злодеяние… как только дойдет человек до высшей степени развития… так ему ясно, что все дичь, обман, и что правда, которую все-таки он любит лучше всего, что эта правда ужасна».

Там же. 61 г.: Толстой вызывает Тургенева на дуэль, а тот представляет ему свои извинения.

Там же. 62 г. Обыск у Толстого: полковник читает его дневник. Т. пишет графине Александре Толстой, близкой к императорскому двору: «Счастье мое и этого вашего друга, что меня тут не было, — я бы его убил!» Александра пытается успокоить его, отвечая: «Будьте милосердны». «В сущности, нет ничего более безжалостного, как несправедливо обиженный человек, твердо сознающий свою невинность».

62 г. Встреча с Софьей Берс: «Я влюблен, как

не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится…»

65 г. «Я очень рад, что вы любите мою жену, хотя я ее и меньше люблю моего романа, а все-таки, вы знаете — жена».

См. с. 285. О замысле образа Андрея Болконского в «Войне и мире».

65 г. О рассказе Тургенева, который ему не понравился: «Личное, субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти, а тут субъективность, полная безжизненного страдания» (применить к Рильке, Кафке и т. д.).

65 г. Его безразличие к политике — постоянное — и упорное. «…а мне совершенно все равно, кто бы ни душил поляков».

В 50 лет он будет по-прежнему утверждать, что не надо читать газет (с. 405).

69 г. Открывает Шопенгауэра — с восхищением.

70 г. Бессонница.

71 г. О смерти одного друга. Не столько печа-

лится, сколько, скорее, «завидует»[152].

72 г. Страхову. «Но бросьте развратную журнальную деятельность».

См. с. 320. Восходящая волна, высшей точкой которой был Пушкин, а себя Толстой видит в нисходящем ее движении.

72 г. «Скука у меня бывает редко, но я ее очень радостно встречаю. Она всегда предвестница большой умственной энергии».

73 г. Другу. «Не живите в Москве. Для людей, которым предстоит упорный умственный труд, есть две опасности: журналистика и разговоры».

См. с. 366. О пустыне и первобытной жизни.

76 г. Доживать жизнь без уважения к ней — мучительно.

77 г. «Без религии жить нельзя, а верить не можем».

78 г. Он молился каждый день, чтобы ему даровали «спокойствия в работе». Увы!

См. с. 396. Против прогресса.



[152] notes: 152

Здесь А. Камю цитирует неточный перевод. В письме Л. Н. Толстого (10 июня 1871) другая мысль: «Очень хотелось написать «жаль о Борисове», но это совсем неверно, и завидно не верно, а тронуло меня это очень».

Они предпочитают ненависть, от нее они становятся меланхоличными и растроганными, даже сентиментальными. В каждом произведении можно измерить заключенные в нем суммы ненависти и любви, и нам придется смириться с нашей эпохой.



Лопе де Вега вдовел пять или шесть раз. Сегодня умирают реже. Поэтому сохранять в себе силу любовного обновления бесполезно, наоборот, ее следует притушить во имя новой силы — силы бесконечной адаптации.



Чувство долга иссякает потому, что остается все меньше и меньше прав. Только тот, кто непреклонен в борьбе за права, способен иметь сильное чувство долга.



Нигилизм. Маленькие лентяи, уравнители и болтуны. Они думают лишь о том, чтобы все отрицать, ничего не чувствуя и полагаясь на других

— на партию или начальника. Пусть партия, начальство чувствуют за них.



Они всеми силами стараются лишить человека надежды. Например, в литературе их постоянная забота — мешать писателю писать.

См. Д. М. Ненависть к писателям — ее можно подцепить, как заразу, в издательстве.



Добродетель вовсе не заслуживает ненависти. Но разговоры о добродетели заслуживают ее вполне. Наверное, никакие в мире уста, а тем более — мои, не вправе их заводить. Поэтому всякий раз, когда кто-то начинает разглагольствовать о моей честности (заявление Руа[153]), кто-то внутри меня начинает содрогаться.



Название: «Ненависть к искусству».



[153] notes: 153
Руа, Жюль (1907–2000) — французский писатель.

Художник и его время. Читать чудесные строки Толстого о художнике («Так что же нам делать» 378–379 и Р.Р.[154]. С. 113): «художник… тот, кто и рад бы не мыслить и не выражать того, что заложено ему в душу, но не может не делать того, к чему влекут его две непреодолимые силы: внутренняя потребность и требование людей».

И наряду с этим: «Все чувства нашего общества сводятся к трем: гордыня, сладострастие и усталость от жизни».

Восхитительные письма о его угрызениях совести (Р.Р. С. 189–190).



«Дон Джованни». Вершина всех искусств. Если перестаешь его слышать, значит, круг мира и людей замкнулся.



Емкий. Заостренный… Прошу об одном, нижайше прошу, хотя понимаю, что хочу слишком много: чтобы меня читали внимательно.

---

[154] notes: 154

Р.Р. — Ромен Роллан. Цитаты из книги «Жизнь Толстого».



Если сердце ребенка от всего ограждать, всю свою взрослую жизнь он будет требовать от окружающих такой же безопасности, — а ведь человеческие существа — это повод для проявления риска и свободы.



Роман. Ревность. «Я следил за тем, чтобы мое воображение не заблудилось. Я держал его на поводке».

«Супружеская измена — это обвинительный процесс перед тем или той, кого предали. Но приговора быть не может. Точнее, приговор заключается в вечном обвинении».



Фауст. Эндимион. Смерть короля. Ритуал — Пандора и конец золотого века.



Ферреро[155]. «Сорвать наконец этот маленький изысканный и столь редкостный плод с древа жизни, которое за многие годы зацвело лишь один раз: покой без угрызений совести».



Талант во Франции утверждает себя всегда *вопреки.*



Начиная с Колумба, горизонтальная цивилизация — цивилизация пространства и количества, сменила вертикальную цивилизацию качества. Колумб убил средиземноморскую цивилизацию.



Ферреро. Противоречие мира машин: благодаря скорости производства он создает изобилие, а для своего процветания нуждается в нищете.



[155] notes: 155

Ферреро, Гульельмо (1871–1942) — итальянский историк и писатель. Здесь и далее Камю цитирует его книгу «Две французские Революции 1789–1796», вышедшую в 1951 г.

Сначала — естественное.



Ферреро. Цивилизация нашего типа, постоянно стремящаяся к увеличению количества вещей и снижению их качества, непременно кончится оргией — огромной и грубой. И это правда. Конец истории, о котором говорят люди прогресса, — оргия.



Гегель. Мера — синтез качества и количества.



В отсутствие традиции у художника остается иллюзия, что он сам творит законы. Вот он и превращается в Бога.



Антей, погребенный у подножия мыса Спартель на атлантическом берегу современного Марокко.



Ферреро. Атлантика у Геркулесовых столбов — бесконечная красота: она вливается в узкий человеческий дух и обретает здесь свою предварительную форму.



Ферреро. Вечный голос кричит художнику: «Создавай произведения искусства и не занимайся эстетикой; открывай новые истины и не занимайся теорией познания; действуй и не заботься о том, чтобы проверять, ошибалась ли история или нет». *Там же*. «Верь в принцип, который ты проповедуешь, и не соглашайся на сделку. Но смирись, если принцип разрушается. Он был лишь моментом всеобщей истины».

См. с. 254. Сила общества имеет свои границы. Благодаря лишь концентрации и дисциплине оно создало греческую эпопею, трагедию и скульптуру, эстетику и мораль Платона и Аристотеля, римское право, итальянское искусство Средних веков и романское искусство в целом, Галилея, Паскаля, Расина, Мольера…

Потом открытие Америки, Французская революция, машины, эра производства.

Но, в конечном счете, это было необходимо

для того, чтобы накормить огромные и голодные толпы, кочующие или прозябающие по всему земному шару (проверить показатели прироста человеческой расы с XIII века). Может быть, за это мы и должны платить бесплодием.

Франция, чья смелость и гений совершили величайшую Французскую революцию, вместе с тем оказалась страной, которая в наименьшей степени уступила, из осторожности, безумию производства.



Ферреро. «Рано или поздно волевой акт ограничения свершится».



С некоторыми существами мы поддерживаем отношения истины. А с другими — отношения лжи. Последние не менее длительны.



Роман. «Мне нечего делать рядом с тобой. Я недостаточно любил тебя, и ты недостаточно любила меня, так что я не обязан отдавать тебе

свой последний отчет. Я должен всё уладить сам и умереть в одиночестве. Многие годы я ждал, что ты простишь мне грехи и примешь меня таким, какой я есть. Ты не сделала этого. И я остаюсь виноват, со своими грехами, и сегодня мне нужно привести себя в согласие с законом и самому разобраться с этими грехами. Оставь меня.

И прости мне все то зло, которое я тебе причинил. Если можешь, прости от всего сердца. Мне это нужно больше всего. Многие годы это лишение мешало мне жить. Если твое сердце могло бы запомнить только любовь, которую испытывало ко мне, то в смерти я обрету спасение, какого не мог получить при жизни».



Токвиль («О демократии в Америке»): «Можно подумать, что суверены нашего времени стремятся делать великие дела, используя людей. Я хотел бы, чтобы они подумали немного о том, чтобы создавать великих людей».

«Россия — краеугольный камень мирового деспотизма (Переписка[156])».

---

[156] notes: 156

Имеется в виду переписка Алексиса де Токвиля с Пьер-Полем Руае-Колларом, издание 1951 г.

Наполеон помог революции родить ее незаконного ребенка: деспотизм. Естественный тормоз деспотизма, по Т., — аристократия.

Эти умы, «которые, кажется, превращают вкус к рабству в нечто вроде ингредиента добродетели». Применимо к Сартру и прогрессистам.

«Чего же им недостает, чтобы оставаться свободными? Чего? Вкуса к бытию».



Там же. Токвиль. «Старый режим и Французская революция». Т. I.

Общая мысль: низвергнув аристократию и провинциальные свободы, королевская власть создала инструмент революции: централизм.

«Будет всегда прискорбно, что вместо того, чтобы подчинить знать власти законов, ее свергли и лишили корней. Действуя таким образом… они превратили свободу в незаживающую рану».

«Несвободные демократические общества вполне могут быть богатыми, изысканными, сладкими, даже великолепными, мощными, благодаря весу их буржуазной массы, в них можно встретить прекрасные личные качества, хороших отцов семейства, честных коммерсантов и

очень уважаемых собственников… но чего, осмелюсь сказать, никогда не увидишь в подобных обществах — так это великих граждан и особенно великий народ, и я не боюсь утверждать, что общий уровень душ и умов всегда будет только снижаться — по мере того, как к ним будут присоединяться равенство и деспотизм».

Там же, для наших прогрессистов. «Мы видели людей, которые думали компенсировать свое рабство по отношению к мелким представителям политической власти — дерзостью по отношению к Богу, и которые, отбрасывая все самое свободное, благородное, гордое, что было в доктринах революции, вдобавок похвалялись тем, что остались верными ее антиклерикальному духу».

Там же. «Казалось, что мы любили свободу; на деле мы лишь ненавидели хозяина».

См. с. 233. Главная идея современного социализма, согласно которой собственность на землю принадлежит в конечном счете государству, была выдвинута Людовиком XIV в его эдиктах.

См. с. 244. В 89 году французы были слишком горды, чтобы верить в то, что при свободе они могли жить на равных друг с другом. Затем…

См. с. 245. Портрет Франции.

В «Жалобных тетрадях» знать из Парижа и дру-

гих мест требовала разрушения Бастилии.



Шопен (родился в 1810 г.). Превосходный актер. Отказывается работать в Опере, будучи уверен в себе. Поздравляет Тальберга, который, как обычно исполнил ноктюрн, внеся в него изменения: «А кто же автор этого произведения?» Расточительный и щедрый. Но неумолимый в отношениях с издателями.

В Вальдемосе заблудившиеся в тумане чайки бьются обо все стекла монастыря.



Толстой в агонии выводил рукой в воздухе строки.



Согласно Монтерлану, истинный творец мечтает о жизни без друзей.



В лечебнице Бродмур, где перевоспитывают

душевнобольных преступников, разгораются кровавые споры по поводу пустой коробки от аспирина.



Идея для театра (в лечебнице для душевнобольных в Бродмуре): когда на сцену выходит злодей, появляется плакат: «Свистите». Когда герой: «Аплодируйте».



«Союз трех человек, связанных гибким сходством склонностей, качеств и настроений, образует, в глазах китайцев, верх земного блаженства…» Абель-Ремюза.

Там же. «Островной комплекс». Нужны две женщины. Ибо у мужчины три души, а у женщины — четыре. Треугольник неустойчив по отношению к четырехугольнику. Но когда четырехугольника два, он образует пирамиду — законченную и устойчивую.



В Эль-Кантара зима прерывается, здесь начина-

ется вечное лето. Черная и розовая гора. Согласно Фромантену.

Еще из Фромантена: в искусстве маленькие умы предпочитают детали.

«До последней минуты дня Сахара остается при полном свете. Ночь возникает здесь как внезапный обморок».

Читать «Великую пустыню» Дома[157].



Невозможно прожить все, о чем пишешь. Но мы всегда пытаемся это сделать.



Каляев — это зимняя любовь. Виктория — солнечная любовь[158].



Св. Иоанн. «Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата

---

[157] notes: 157

Дома, Эжен (1803–1871) — французский военачальник, политический деятель, писатель.

[158] notes: 158

Каляев И. П. (1877–1905) — русский революционер, персонаж произведений А. Камю «Праведники» и «Бунтующий человек», Виктория — персонаж «Осадного положения».

своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» Сблизить со «Смятенным духом», который говорит: «Если я не люблю Бога, то потому что не люблю людей, и в самом деле за что их любить?» Там же. Св. Иоанн. «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем».



Альтруизм — это искушение, подобно наслаждению.



Толстой: «Можно жить только покуда *пьян* жизнью». «Исповедь». 79 г.

В тот же период: «Ошалеваю от радости плотской жизни…», «…теперь лето и прелестное лето».



Гийу. В начале оккупации в Сен-Бриё — холодном и дождливом городе, пустые магазины. Утро, он идет по пустынным улицам под моросящим

дождем. По пустой площади проходит немец, одетый в плащ из клеенки, блестящей от дождя. Тогда под низким небом, охваченный ужасной печалью этого времени, Г. заходит в церковь и молится — будучи откровенным атеистом (молится Деве Марии, кажется). Потом выходит из церкви. С тех пор ему ни разу не удавалась попытка описать этот момент забытья или трусости (он говорит, что не знает): он не мог или не смел.



Роже Мартен дю Гар и смерть матери. От нее скрывали, что это был рак. Подменяли надписи на лекарствах и т. д. Но после ее смерти М. дю Г. преследует воспоминание о ее ужасной агонии, и он говорит себе, что не сможет этого вынести. Единственной надеждой было убить себя. Но найдет ли он в себе смелость? Он пытается, проводит несколько «репетиций» с револьвером, но в последний момент (нажать на гашетку) он чувствует, что ему не хватит смелости. Его тревога только усиливается, он ощущает себя загнанным в угол, пока не находит «способ». Он берет такси, подносит револьвер ко лбу. «Когда я доеду до третьего фонаря, я нажму на гашетку».

Вот третий фонарь, и он *чувствует*, как сейчас вот так нажмет. С этого момента — огромное чувство свободы.

Он говорит мне, что он больше не хочет ничего, и не хочет жить (см. его письмо). Анорексия, о которой говорил Жид. Внезапно в Ницце — надежда. Он видит на вывеске «Буйабес» на двери ресторана, и у него пробуждается желание. Это первое желание за последние месяцы. Он входит и ест с радостью. С тех пор его отпустило. Он пребывает, как он написал мне, в зале ожидания.

Самый человечный, то есть самый достойный нежности, из людей, которых я встречал.



Стендаль. «Что такое “я”? Не знаю. Однажды я проснулся на этой земле и обнаружил, что связан с моим телом, характером, судьбой. Буду ли я впустую тратить время, желая изменить их, забывая о жизни? Заблуждение! Я подчинюсь их недостаткам. Я подчинюсь своим аристократическим наклонностям после того, как десять лет совершенно искренне выступал против аристократии».



«Экспромт Философов» в форме комедии дель арте.



«Современное» название: Ненависть к искусству.



Писать естественно. Публиковать естественно и платить за все это надлежащую цену естественно.



Соотношение между критиком и творцом такое же, как между торговцем и производителем. Наш век торговли стимулирует удушающую плодовитость комментаторов — посредников между производителем и публикой. Нельзя сказать, что сегодня не хватает творцов, но слишком уж много развелось комментаторов, которые попросту топят изысканную и неуловимую рыбу в своей тинистой водичке.



Роман. См. заметки Вайсберга[159]. На допросе чекисты надевают ему на голову венок из золотой бумаги, украшенной свастикой, вешают на грудь большую свастику, затем избивают.

Там же. Старый портной-анархист четко объясняет свою точку зрения. Судья оскорбляет его: «Вы оскорбили меня, гражданин судья, я больше не буду отвечать на ваши вопросы». *Воспоминание о допросе: тридцать один день и тридцать одна ночь*. Сумасшедший дом!



Роман. 1-я часть. Поиски отца или неизвестный отец. У бедности нет прошлого. «В тот день на провинциальном кладбище… N. обнаружил, что его отец, умирая, был моложе, чем он в данный момент… покоящийся на кладбище был уже на два года младше своего сына, хотя положили его сюда 35 лет назад… Он понял, что ничего не знал об отце, и решил заняться его поисками…»

Рождение при переезде на новую квартиру.

2-я часть. Детство (или вместе с первой частью).

---

[159] notes: 159

Александр Вайсберг-Цибульский (1901–1964) — польско-австрийский физик, жертва сталинских репрессий, эссеист. Камю цитирует его книгу «Обвиняемый», вышедшую во Франции в 1953 г.

Кто я?

3-я часть. Воспитание мужчины. Неспособность абстрагироваться от телесных наслаждений. О! Невинность первых деяний! Но проходят годы, люди вступают в самые разные связи, и каждый новый акт плоти привязывает еще больше, проституирует и принуждает к продолжению.

Он не желает, чтобы о нем судили (и сам он старается не судить, по правде говоря), но не может этого избежать.

Два персонажа:

1) Безразличный: воспитан вне семейной среды. Без отца. Мать со странностями. В жизни он привык выкручиваться сам. Немного высокомерен, хотя и вежлив. Ходит всегда один. Посещает соревнования по боксу и футбольные матчи. Его единственная страсть — критические моменты. Тогда он забывает все остальное. Но от других он ждет нежности, на которую не способен сам. В нем есть что-то чудовищное. Патологически скрытен, потому что забывает большие части своей жизни и потому что его интересует мало вещей. — Он артист даже в своих недостатках.

2) Другой — чувствительный и щедрый.

В конце они встречаются (и это оказывается один и тот же человек) у матери.

О, отец! Я безумно хотел найти отца, которого у меня не было, и в результате обнаружил то, что у меня было всегда — свою мать и безмолвие.

Пять частей Квинтета соль минор Моцарта.



Любовь и Париж. Алжир. «Мы не умели любить».

Там же. Бедное детство. Жизнь без любви (но не без наслаждений). Мать — это не источник любви. Теперь самое долгое — научиться любви.



Два человеческих существа сближаются с помощью взгляда — одного только взгляда (к примеру, кассирша и покупатель). Когда возникает подходящий момент, они хватают друг друга в охапку. Что он может сказать? «У тебя есть время?»

Что она может сказать, как ответить?

«Я скажу, что выходила на минуту».



Прогресс — это оптимальное равновесие между двумя силами с одинаковым напряжением. Он учитывает пределы и подчиняет их высшему благу. Значит, прогресс вовсе не стрела, выпущенная вертикально вверх, что предполагало бы его беспредельность.



Пьеса. Его ждут. Он возвращается из лагеря. Он говорит правду о своей любви (потому что он согрешил: теперь он знает, что такое человек).

Сцена с женой в присутствии ее Филинта и Ж.[160] — жены Филинта. «Предположим, я спал с Ж… Впрочем, я не уверен насчет тебя и Филинта». — Филинт: «Нет. Не потому что Ж. не может быть привлекательной. И хотя я не люблю правду, скажу в виде исключения. Когда я понял, что между Ж. и тобой…» — «Как». — «Да, я знал. С этого момента между твоей женой и мной уже ничего не могло произойти. Потому что перекрестная ситуация отвратительна! Ты ведь тоже так думаешь? Так вы придете завтра на ужин? Ж. приготовит для вас свое коронное блюдо — заливное из дичи! Она делает заливное

[160] notes: 160
Во французском оригинале «G.».

из дичи бесподобно». Конец первого действия.

А твоя нежность? — Ну и что, моя нежность? Она существовала, с перебоями, как все на свете. — А остальное время? — Конечно, я лгал. — Я бы предпочла твою ложь. — Конечно, ты всегда любила сиесту. — Какое же ты чудовище! — А ты, мой ангел?

Там же. Предположим, мой сын дурак — Вот как! — говорит мой сын. — Ты прекрасно понимаешь. Ты протестуешь. Так реагируют дураки. Умный человек всегда допускает возможность, да что я говорю, не возможность, а вероятность быть в чем-то дураком. Итак, мой сын — дурак (смотрит на него). Однако не полностью. Он скорее притворяется глупым. Он хитер и знает, что благодаря глупости можно преуспеть, глупость — очаг, вокруг которого греется общество.

Там же. Сын приходит в общество. «Когда общественное и частное будут совпадать… — Твоя мать станет умной? Нет, но… Мы больше не хотим чужой жены? — Конечно. — Почему, разве твоя жена — совершенство? — Нет… — Ну вот, ты приходишь. Ты хочешь использовать общественную силу других людей для улаживания проблемок в твоей личной жизни. Брось это дело, мальчик мой. Убожество других людей — в частной жизни.

Можешь не опасаться, они уладят это дельце. Но не прикасайся к нему. О! не прикасайся».

Там же. Но он влюбляется в Доминик. И снова лжет.

Интеллектуал, просящий прощения.

«Хуже всего было Евангелие. Ну да, я читал Евангелие, сначала под рукой не было ничего другого, и потом я заметил, что между мною и Христом было больше общего, чем между мною и полицейским. Но ведь мир сегодня на три четверти состоит из полицейских или их почитателей».



Человек, живущий полной жизнью, отказывается от многих авансов. Потом, из-за той же самой полноты жизни, забывает о собственных отказах. Но авансы делались людьми, жизнь которых не так полна, поэтому они-то помнили. В результате человек открывает, что у него есть враги, и он очень этим удивлен. И вот уже почти все художники вообразили, что их преследуют. Но это не так, просто им мстили за их отказы и наказывали за чрезмерное богатство. В этом нет несправедливости.



«Первый человек».

План?

1) Поиски отца.

2) Детство.

3) Счастливые годы (болезнь в 1938 году). Работа, как счастливое сверхизобилие. Мощное чувство освобождения, когда она подошла к концу.

4) Война и Сопротивление (Бир-Акем и подпольная газета).

5) Женщины.

6) Мать.

Безразличный. Человек — совершенство. Недюжинный ум, ловкое и искушенное в удовольствиях тело. Он отказывается быть любимым из-за нетерпения и точного ощущения своей сущности. Мягкий и добрый во всем, что противозаконно. Циничный и жестокий в добродетели.

Ему все дозволено, ибо он решил покончить жизнь самоубийством. Цианистый калий. Участвует в Сопротивлении, проявляя тем самым невероятную храбрость. Однако приходит день, когда он должен воспользоваться цианистым калием, *и отказывается.*



«Первый человек».

«Поиски отца».

Больница. Мать (и бумага из мэрии, которую приносят двум малограмотным женщинам, чистящим картошку на лестнице, и надо привести помощника мэра, и отдать ему на чтение документ), пресса, Шерага, и т. д. Ему кажется, что отец начинает постепенно прорисовываться. Потом все стирается. В конце концов, не остается ничего.

Так всегда и происходит на этой земле, где 50, 70 лет назад… (далее неразб.).



В 40-м Майоль встречает художника В.Б.[161], румынского еврея, скрывавшегося от немцев в Коллиуре. Случайно встречает на улице, узнает в нем художника, приглашает к себе, чтобы посмотреть на его рисунки. На следующий день В.Б. приходит к М., который принимает его с распростертыми объятиями. В.Б. рассказывает о своем

[161] notes: 161

Браунер Виктор — румынский и французский художник-сюрреалист (1903–1966).

положении. «Мой дом — ваш дом», — каждый раз вместо ответа повторяет М. Велит принести кофе. Улыбаясь, М. открывает папку и, наконец, смотрит на первый попавшийся ему рисунок, выполненный в явно сюрреалистической манере. Женщина, тело которой превращается в дерево. Майоль взрывается: «Нет, только не это, это невозможно. Вон отсюда!»



Ницше. «Они все говорят обо мне… Но никто обо мне не думает».



«Позорный столб». «Его надо осудить. Надо осудить его подлую манеру казаться честным человеком, но при этом не быть им». От первого лица. Он неспособен любить. Он заставляет себя и т. д.



Вот, что одобряет левое крыло коллаборационистов, а мы обходим молчанием или считаем неизбежным; перечислим все подряд:

1) Депортация десятка тысяч греческих детей.

2) Физическое уничтожение класса русского крестьянства.

3) Миллионы узников концентрационных лагерей.

4) Политические заключенные.

5) Почти ежедневные политические приговоры за железным занавесом.

6) Антисемитизм.

7) Глупость.

8) Жестокость.

Список остается открытым. Но мне и этого достаточно.



Дневник Толстого. Три дурные страсти.

1) игра (борьба возможна)

2) сладострастие (борьба очень сложна)

3) тщеславие (хуже всех других страстей)



«…считаю, — говорит он в одном из писем своей бабушке, — что без нее <религии> человек не может быть ни хорош, ни счастлив… но не имею религии и не верю».

Там же. «…видеть *ужасную истину».*



Октябрь 53 г. Вот благородная профессия, при которой мы должны безропотно позволять каким-то литературным или партийным лакеям наносить нам оскорбления! В другие, так называемые позорные, времена, у нас по крайней было право на провокацию, и мы не выглядели при этом смешными, и еще у нас было право убивать. Глупо, конечно, так говорить, но тогда нас нельзя было так просто оскорблять.



Есть люди, религия которых заключается в том, что они всегда прощают оскорбления, но никогда о них не забывают. Я не из такого доброго теста, чтобы простить оскорбление, но я всегда его забываю.



Те, кто способны вдохновляться одновременно Достоевским и Толстым и с одинаковой легкостью понимают и того и другого, — натуры

опасные для самих себя и для других.



Октябрь 53 г. Публикация «Актуальных заметок II». Опись завершена: комментарий и полемика. Теперь — к творчеству.



Наутро после великих исторических кризисов просыпаешься больным, с дурным настроением, словно после бурной ночи. Однако нет аспирина, чтобы поправить физиономию истории, опухшую с похмелья.



Есть мысли, которые мы не высказываем и которые ставят нас над всем — в свободном и живом воздухе.



Говорят, что оказавшись в непреодолимом одиночестве после разрыва с Лу, Ницше гулял ночью по горам, возвышавшимся над Генуэз-

ским заливом, разжигал там гигантские костры и смотрел, как они прогорают. Я часто думал об этих кострах, их отблески плясали на фоне всей моей интеллектуальной жизни. Наверное, по отношению к некоторым мыслям и некоторым людям, повстречавшимся на моем веку, я вел себя несправедливо, когда, сам того не желая, ставил их лицом к лицу с этими пожарищами, что вскоре обращали их в пепел.



Мелвилл говорил о «Моби Дике» в письме к Готорну: «Вот тайный эпиграф к книге: «Ego non batiso te in nomine…»[162].

Там же: «Когда я писал эту книгу, я думал об аллегорической конструкции, на которой держались бы и книга в целом, и каждая из ее частей».

Там же. Закончив «М.Д.» и прочитав восхищенное письмо Готорна: «Я испытываю странное чувство удовлетворенности и безответственности; никакого желания оргий».

И далее: «Познакомившись с Вами, я чувствую, что покину этот мир с меньшей горечью».

Ср. Тема притчи «Счастливое поражение»: бла-

---

[162] notes: 162
«Я не нарекаю тебя именем…» (*лат.*)

годарение Богу за это поражение.



Ницше. Религиозных людей можно было бы воспринимать как художников первого ряда.



Ницше: «Утренняя заря». «Никогда не умалчивай о том, что можно подумать против твоих мыслей, никогда этого не скрывай. Торжественно поклянись. Это первый долг верности, который ты обязан отдать своей мысли».

«По ту сторону…»: «Если у тебя есть характер, то есть и типичные пережитки, которые постоянно повторяются». Тогда возникает вопрос: найти пережиток и дать ему имя.

«К генеалогии…»: «Каждый, кто хоть однажды воздвигал «новое небо», обретал необходимые для этого полномочия *в глубинах собственного ада».*



«Полифонизм» некоторых натур.



Ницше («Человеческое, слишком человеческое»): «Вскоре я заболел, и это было больше, чем болезнь, я устал от постоянного разочарования во всем том, что вызывало энтузиазм у нас, современных людей…»

…«Здесь говорит человек страдающий и терпящий лишения, но он говорит так, словно он не страдает и не терпит лишений».

…«Став отныне одиноким, я восстал против самого себя во имя всего, что действительно было мне противоположно и заставляло страдать».

Единственная и гигантская цель: познание истины.

Вечное возвращение: Превозносить все, что есть и поклоняться его возвращению. (Если бы не метафизика, только это и осталось бы.)

Записка к Лу (1882). «В постели. Острый кризис. Презираю жизнь».



Необходимость аристократии. В настоящий момент могу представить себе только два решения: аристократия интеллекта или аристократия труда. Но интеллект сам по себе — не аристократия. И труд — тоже (примеры в обоих случаях

очевидны). Аристократия — это не привилегия на определенные права, но прежде всего принятие на себя некоторых обязанностей, благодаря которым становятся законными и права. Аристократия — это самоутверждение и в то же время стремление быть незаметным. Чтобы забыть о себе во имя других (определение долга), интеллект не должен стремиться к привилегиям. Одни привилегии присущи аристократии изначально, другие являются полной противоположностью интеллекта. Она должна не утверждать или уничтожать себя, но утверждаемые ею ценности заставить служить другим. А значит, ей некуда идти, кроме как к труду, являющемуся и ее долгом, и ее пределом. С другой стороны, труд не должен приводить к сознательному или бессознательному отупению (всеобщее унижение интеллекта), которое может быть в равной мере и его сущностью, и его противоположностью (см. выше). Следовательно, труд должен стремиться именно к интеллекту. В настоящее время аристократия труда и аристократия интеллекта возможны только вместе, они должны признать друг друга, чтобы в один прекрасный день освятить единственный и высший образ человека.



Необходимость скрывать часть своей жизни придавала ему вид праведника.



Единственный источник аристократии — народ. В промежутке — ничто. Это ничто — буржуазия, которая на протяжении ста пятидесяти лет силится придать миру некую форму, а получается ничто, хаос, выживающий только благодаря своим старым корням.



Уолпол. «Его здравый смысл доходил до гениальности».



Использовать свои пороки, опасаться своих добродетелей.



Брупбахер[163]. «Никто не должен производить больше филантропии и морали, чем это получается естественным образом». Он полагал, что миссия воинствующего философа состоит в том, чтобы благоприятствовать развитию всех факторов свободы во всех классах общества.



У. Уитмен. «Когда свобода куда-то уходит, она уходит не первой. Она ждет, чтобы все остальные ушли, а она уходит в последнюю очередь».



Ван Гог, живший с Кристиной, женщиной из народа, бросил ее, когда она забеременела. Гоген, проснувшись среди ночи, видит Ван Гога, который склонился над ним и пристально смотрел. В лечебнице Сен-Реми граф Г. бил себя в грудь куском дерева, повторяя: «Моя любовница, моя любовница!»



[163] notes: 163

Брупбахер, Фриц (1874–1945) — швейцарский писатель-анархист. А. Камю цитирует его книгу «Социализм и свобода», опубликованную во Франции в 1954 г.

Салакру рассказывает следующую историю в примечаниях к четвертому тому своих театральных пьес: «Девочка, которой должно исполниться 10 лет, заявляет: «Когда я вырасту, то запишусь в самую жестокую партию». В ответ на расспросы она говорит: «Если моя партия придет к власти, мне будет нечего бояться, а если у власти будет другая, я буду меньше страдать, потому что меня будет преследовать менее жестокая партия». Я не очень верю в эту историю маленькой девочки. Но мне прекрасно знакомы подобные умозаключения. Это тайное, но действенное умозаключение французских интеллектуалов 1954 года.



Отец Достоевского порол и тех крестьян, которые с ним здоровались, и тех, которые не здоровались. По его мнению, в обоих случаях они проявляли дерзость. После того, как его жена, которую он мучил, умерла, он напивался по ночам и беседовал с ней, говоря то женским, то мужским голосом. Его убили. У него была разбита голова, а половой орган раздавлен двумя камнями. Через два месяца Д., который терпеть не мог отца, видит похороны, падает и хрипит.



Там же[164]. Спешнев (петрашевец — «ироничный, свободный и сильный человек») и «все за всех виноваты». Этимология фамилии Ставрогин: stauros: крест.



Ненависть русского человека к ограничивающей форме. Они довели революцию до конца. Бердяев отмечает где-то, что у них никогда не было Возрождения. Постоянная тоска, *там же*, по Бердяеву, отсутствие рыцарства привело к разрушительным последствиям для нравственной культуры России.



Были ли революционерами Карлейль, Ницше, Достоевский? Однако же их называют контрреволюционерами.



---

[164] notes: 164

По всей вероятности, А. Камю приводит здесь факты и цитаты из книги Arban D. Dostoïevski, le coupable. P., 1953.

Инсценировка «Бесов».

Ср. Бердяев: «Шатов, П. Верховенский, Кириллов — лишь части распавшейся личности Ставрогина, лишь эманация этой необычайной личности, в которой она истощается. Загадка Ставрогина, тайна Ставрогина — единственная тема “Бесов”»[165].

Идея Достоевского: отдельный человек идет к преступлению тем же путем, что общество — к революции.

Верховенский: «Самая главная сила — цемент, все связывающий, это стыд собственного мнения».

Ср. Гвардини, с. 40–41 и 202[166].



Священник, сожалеющий о том, что, умирая, он должен будет покинуть свои книги. А разве сильное наслаждение жизни вечной не превосходит бесконечно сладостной компании книг?

---

[165] notes: 165

Цит. по книге Н. А. Бердяева «Миросозерцание Достоевского» (франц. издание l’Esprit de Dostoïevski, 1945).

[166] notes: 166

Цит. по книге Романо Гвардини «Религиозный мир Достоевского». Париж, 1947.

Поражение при Дьенбьенфу. Как и в 40-м, смешанное чувство стыда и возмущения.

К вечеру стали очевидны итоги бойни. Политики правого толка поставили несчастных в беззащитную позицию, в то время как люди левых убеждений стреляли им в спину.

По Джонсону (Босуэлл)[167], безукоризненная учтивость состоит не в том, чтобы демонстрировать некие профессиональные качества, но в том, чтобы, наоборот, легко владеть любыми манерами при любых обстоятельствах.

Там же. «Повторный брак: победа надежды над опытом».

Там же. Друг Д.: «В свое время я пытался быть философом, но мне почему-то всегда мешала веселость».

Там же. — Вы увидите, если мы некоторое время пробудем вместе, мой брат станет очень занимательным.

---

[167] notes: 167

Цитируется по книге Джеймса Босуэлла «Жизнь Сэмюэла Джонсона». Париж, 1954.

— Я буду ждать, сударь, — сказал Д.



Сократ научился танцевать в зрелом возрасте.



Джонсон: «Никто не лицемерит, если речь идет о его развлечениях».

Перед смертью он придумал «любопытную мысль»: когда мы в могиле, мы не получаем писем.



Дон Жуан Фауст.

1) Добиться правоты.

2) Ничего не дозволено.

3) Он поддается на уловку францисканцев, которые убивают его.

Экс-ан-Прованс? Романтизм?

Сганарель будет г-ном Ничто из «Экспромта Философов». Именно он объявляет, что «Он не придет» (он делает выговор отцу Донны Анны, расспрашивавшего Дон Жуана о его пороках. См. «Экспромт»).

Дон Жуан — это Фауст, но без договора с дьяволом — (развить).

III действие, в Бразилии, среди рабов. IV действие, V действие — становится одиноким человеком. *Одиноким вместе со всеми.*

Д. Ж. Договор с дьяволом, но без дьявола. *Держать пари во имя мира*, чувства и наслаждения — это значит заключить договор с дьяволом. *Держать пари во имя правосудия* — то же самое.



По просьбе Массионьона я отправил президенту Республики ходатайство о помиловании приговоренных к смерти из Мохнина[168]. Через несколько дней я обнаружил в газетах ответ на свое послание: трое из приговоренных были расстреляны. *Через две недели после казни* глава кабинета сообщил мне, что мое письмо «привлекло внимание» президента и было передано в Высший совет прокуратуры. Замечтавшаяся бюрократия.



[168] notes: 168

Мохнин — город в Тунисе. Семь тунисцев были приговорены к смертной казни за убийство трех полицейских. Камю написал письмо президенту Франции 12 апреля 1954 г.

Два миллиона членов профсоюза на одиннадцать работающих. В 1947 году в профсоюзах было семь миллионов.



Пьеса. Счастливый человек. И никто не может его выносить.



В воде черепаха становится птицей. Большая черепаха теплых морей летает в глубинах вод, словно красавец-альбатрос.

Атональная музыка, музыка для голоса, для лихорадочного голоса современного человека.



Письмо к М.: «Не проклинайте Запад. Я сам проклинал его, причем в момент его расцвета. Но сегодня, когда он погибает под тяжестью своих ошибок и слишком долгой славы, я не буду его обвинять… Не завидуйте людям с Востока, принесшим свой ум и сердце в жертву богам истории. У истории не может быть богов, и только ум,

озаренный сердцем, является тем единственным богом, которого в многочисленных обличиях всегда приветствовали в этом мире».



Чехов: для писателя «главное не слава, не блеск… а уменье терпеть». «Умей нести свой крест и веруй».



Школа критиков: «законы» театра.

— Если я хорошо понял, милостивый государь, мне следует точно придерживаться тех самых правил, которые Эсхил, Шекспир, Кальдерон, Корнель, — в общем, все великие драматические гении, — непременно старались нарушить.

— Точнее, надо заметить, что только Шекспир, Эсхил и другие могли себе такое позволить.

— Если я последую вашим советам, мне никогда не быть ни одним из этих великих творцов.

— А вы хотите?

— Быть — нет. Но стать — да. Иначе, зачем вообще писать? У меня не получится, это почти очевидно. Но попытка сама по себе придаст моей жизни особый вкус, который вы отнимаете у

меня заранее. Ведь и Шекспир родился из сотни претенциозных и отчаявшихся психов, которые стремились быть Шекспирами. А вот Фейдо вышел всего лишь из Фейдо (на его пьесах я смеюсь, но редко дольше одного акта).



Пьеса. Король Лир сегодня — патриций, которого экспроприировали социалисты.

Там же. Калигула, обвиняющий не мир, но самого себя.



Смерть Марселя Эррана[169].



Добродетельные люди зачастую оказываются малодушными гражданами. Источник истинной храбрости — безнравственность.



[169] notes: 169

Эрран, Марсель (1897–1953) — французский актер театра и кино, театральный режиссер.

Экзистенциалисты утверждают: любой человек ответственен за то, что он есть. Этим объясняется тотальное исчезновение сострадания из их мирка агрессивных старцев. Однако они претендуют на то, чтобы бороться против общественной несправедливости. Это люди, которые сами не несут ответственности за то, что они есть; это нищие, не ведающие о своей нищете. И что выходит? Калека, урод, скромник. И, в конце концов, опять сострадание?



Перикл у могилы юноши: «Год потерял весну».



Когда он говорил обо мне как о «направляющем» (то есть показывающем правильное направление пути) одна часть меня, конечно же, раздувалась от глупого тщеславия. Но другая моя часть не переставала умирать от стыда на протяжении всех этих лет.

М.Э. У умирающих страшно скорбный вид, а у тех, кто присутствует при агонии, — тупой и провинциальный. Он был таким светским чело-

веком, и потом вдруг стал почти затравленным в том алькове, где он один…



Есть моменты, когда позволить себе искренность эквивалентно непростительной расслабленности.



«Первый человек». Этапы жизни Джессики. Чувственная девочка. Юная возлюбленная, стремящаяся к абсолюту. Настоящая возлюбленная. Осуществление, преодолевшее всю двусмысленность начала.

«Когда я любил ее больше всего, кто-то в глубине моей души презирал ее за все, что она сделала, пережила и чему подвергалась. В особенности за то, чему подвергалась. Я ненавидел ее за то, что она не дождалась меня до раннего утра и умерла. И я ненавидел ее в присутствии кого-то другого, кто внутри меня смеялся над этой смехотворной претензией».



«Иона». Жилищные проблемы. Потом картины скапливаются и занимают его место. Отсюда антресоль.

Когда он больше ничего не делает. «Он услышал, как они бегали по комнатам… эта была жизнь, шум, производимый людьми, как это было прекрасно. Девочка смеялась. Как он любил их! Как он любил их!»



Пьеса. Лжец.

1) Он лжет. Между двумя женщинами.

2) Он говорит правду.

3) Перед катастрофой он снова лжет. (Она рвет бумагу, которая освободила бы ее от лжи.)



Пьеса о невозможности одиночества. *Они всегда здесь.*



Роман. Дружба (моему сыну, который начнет все сначала).



Хуже всего человек переносит, когда о нем судят. Отсюда его привязанность к матери или возлюбленной, ослепшей от страсти; отсюда и любовь к животным.



Термоядерная бомба: всеобщая смерть соответствует уделу человеческого существования вообще. Значит, это просто правило. Мы опять приближаемся к первой и древнейшей из проблем. Достигнув бесконечности, мы снова начинаем с нуля. Второй срез проблемы: автором мирового бедствия является уже не Бог, а люди. Люди сравнялись с Богом, но сравнялись в жестокости. Значит, мы должны снова начать древний бунт, но на этот раз — против человечества. Нужно призвать нового Люцифера, который уничтожил бы мощь людей.



Странно. «Грязный еврей», — говорит большой. И маленький его бьет. Бить было необходимо. Но у него не было ни малейшего желания. Он вовсе не ненавидел это лицо, которое ударил… И у другого тоже не было ни малейшего желания. У него

не было желания называть евреем этого симпатичного маленького человека, и не было желания бить. Но он должен был ответить и ударил.



Фантастические притчи.



Христос-Пан.



Эстетика. Мы можем исходить из эмоции, и тогда получается крик. Или, наоборот, мы идем долгим и кружным путем фраз и слов — навстречу эмоции, еще живущей в нашей памяти, чтобы в конце концов достичь ее и воскресить, но уже не в виде крика, а большой волны, сила которой…

Там же. Если я произношу: «У него нос картошкой» — это звучит совсем не одобрительно, как, например, выражение «словно персик». Искусство — это хорошо рассчитанное преувеличение.



Любовь Шара и львицы из Ботанического сада. Он протянул руки к ее голове через решетку. Она его опрокинула. Она раздвинула свои короткие лапы…



На дорогах мира миллионы людей опередили нас, везде мы видим их следы. Но на море, даже на самом древнем море, наше молчание всегда будет первым.



Никто не заслуживает того, чтобы быть любимым, — во всю меру этого безмерного дара. А получивший этот дар открывает несправедливость.

Если бы я не уступал своим страстям, я мог бы вмешаться в этот мир, изменить в нем что-нибудь. Но я уступал, и поэтому я художник, всего лишь художник.



Кто-то во мне всегда изо всех сил старался быть

никем.



В конце этой длинной мысли — вдалеке — горит тотальное «да».



В тот миг, когда после стольких усилий я расставляю пределы, веря, что примиряю непримиримое, эти пределы взрываются и повергают меня в немое горе.

Тетрадь № VIII
Август 1954 года – июль 1958 года

15.8.1954.

Четвертая симфония соль мажор Малера для сопрано и оркестра. Иногда, слушая Малера, начинаешь больше ценить Вагнера — по контрасту: заметно, до какой степени Вагнер был властителем своего тумана. Но в других случаях Малер бывает очень велик.



16.8.1954.

Слова N.: «Почему мы не согласны с идеей вечной жизни? Не потому ли, что, в конце концов, речь идет о блаженстве, лишенном сознания, а мы желаем быть, а значит — осознавать, что мы есть. Но отчего же мы упрекаем этот мир именно в том, что позволяет нам обрести сознание: в наличии зла и страдания (в этом и заключается главное противоречие современного атеизма). Я, например, всегда принимала страдание с радостью — радостью бытия». Я отвечал ей, что в этом и проявляется гений. Гений? Да, гений жизни,

который только она — единственная, из всех, кого я знаю, совершенно естественно и гордо носит в себе.



17 августа. Берль[170].

Интеллектуалам легче сказать нет, чем да. Созерцая под конец жизни многочисленные тома своих произведений, доктор Реклю[171], защищавший Дрейфуса, обнаружил, что за последние два года он ничего не произвел. Ах да, Дрейфус: он действительно отдал два года жизни *изучению* его дела. А сегодня принимают решение, прочитав всего лишь одну статейку.

Потерянный вечер.



18 августа.

Выхода мне не найти. Самоубийство. Чего еще ждать тому, кто уже мертв? Кладбище Ане, где

---

[170] notes: 170

Берль, Эмманюэль (1892–1976) — французский историк, журналист, эссеист.

[171] notes: 171

Реклю, Поль (1847–1914) — французский хирург, автор многочисленных научных трудов.

вьюн раскалывает старую плиту.

Долгие годы я жил в заточении у ее любви. Сегодня я должен стараться хотя бы не думать о ней, не переставая любить. Казалось бы одной проблемой меньше, но как тяжело.



19 августа.

Ужасное утро. Во второй половине дня выставка Сезанна. В его ранних картинах есть что-то болезное и безумное (особенно бросается в глаза сексуальная одержимость). Подобное безумие необходимо подчинять жесточайшей дисциплине, какая и была присуща Сезанну. Только помешанные могут стать классиками, ибо у них нет выбора. Свое душевное расстройство С. умерил высочайшей требовательностью к себе, обратившись к натюрмортам и пейзажам, в которых он выявлял архитектуру, геометрию. Под конец жизни он вернулся к телам и лицам и снова впал в безумие — то самое, какое прежде ему удалось укротить. Кубизм — предписание врача [...неразб.].

Почта.



20 августа.
Почта. Убитый день.



25 августа.
Убитый день. Н.А. (Дерена сбила машина, он наполовину парализован и потерял рассудок. В то время, как он бредил в клинике, его жена и бывшая любовница опечатывали все его картины.)
«Врата ада»[172]. Японский фильм с небольшим американским акцентом. Но рядом с таким искусством все мы выглядим варварами.



22 августа.
Печальная и мудрая природа Иль-де-Франс.



23–24 августа.
Убитые дни. Обед с Берлем.



[172] notes: 172
Фильм Кинугаса Тэйносукэ (1954), получивший Гран-при Каннского фестиваля.

25 августа.

Работать все время, кроме утра. Музей Человека. Когда я выходил, мне казалось, что мой рот забит тленом и костяным прахом скелетов и мумий. Перуанская мумия: [...неразб.] истории. Кем она была?

Действие и письмо: Они не очень уверены в своей правоте, и эта неопределенность порождает несчастное сознание. Чтобы избавиться от него, они начинают писать. Они будут искать и находить новые аргументы, будут настаивать еще сильнее. Их противники поступят точно так же. Так будет происходить укрепление позиций. Многократно повторенные утверждения начинают превращаться в эквивалент действий. А вскоре и провоцировать их. В день победы у триумфаторов будет много обвинителей. Стремясь избавиться от несчастного сознания, побежденные признают свою настоящую вину и будут говорить, что не хотели этого делать. А потом победители, в свою очередь, станут побежденными и тоже будут отвечать, что не хотели этого делать. История — это бесконечное преступление, совершаемое невинными.

7 сентября.

Возвращение детей. Катрин не может заснуть, потому что боится умереть (из-за боли в груди). Они еще такие маленькие существа, но их уже терзает такой страх — в конце концов, что может быть ужаснее и возмутительнее?



8 сентября.

Мне звонит Н.А.: только что умер Дерен. Наполовину парализованный, сошедший с ума, преследуемый собственной женой, которая опечатала его картины. Н.А. в отчаянии. Ничего не поделаешь. Бедный Дерен, я так любил его суровую силу. Слишком живой для того, чтобы жить.



9 сентября.

N. (и ее семья) всегда смешивали любовь со страданием и тревогой. Любить — значит страдать от чего-то или во имя чего-то. Для меня любовь всегда была неотделима от состояния веселой невинности. Стоило мне повстречать N., как я утонул в чувстве вины и потерял способность любить реально.

20 сентября.

Меня страшит не смерть, но жизнь в смерти.

Уничтожение не может устрашить того, кто много прожил.

Для создания чувства вины или наказания вовсе не обязательно иметь Бога. Для этого достаточно людей. Строго говоря, Бог нужен, наверное, только для основания невинности.



21 сентября.

Как он будет проповедовать справедливость, если он не мог заставить ее управлять даже собственной жизнью?

Чтобы прикончить свою семью ночью, изрубив ее топором, убийца разделся.

М.: «Ты скрытен, добр и (компенсируя все, что есть отталкивающего в доброте) слишком горяч, и порой несправедлив».



5 октября.

Ночная декорация Роттердама, всеми светящи-

мися остовами своими устремленного ввысь над каналами.



Гаага.

Весь этот мир сгрудился на небольшом пространстве домов и воды, безмолвно прижавшихся друг к другу, и над городом шел дождь, долго, без передышки, и маленькие дети, некрасивые и капризные, управляли движением тихих машин, и прекрасные [...неразб.] решетки королевского музея, чтобы вымыть фронтоны роскошных декораций, а дождь все лил и лил не переставая, и пианист на трехколесном велосипеде [...неразб.] играл «Грусть» Шопена в сопровождении одного [...неразб.] виолончелиста, и нищий с изысканными манерами подбирал благодушно брошенные монетки, гроши, падавшие с мягким звуком, — они были предназначены гримасничающим индонезийским богам, что виднелись в витринах и невидимо носились по воздуху Голландии, представляя собой ностальгические мечты лишенных собственности переселенцев. О, далекий остров Ява, чьи сыны прислуживают здесь в кафе, а на улице по-прежнему льет дождь, и в мокром

воздухе витает чудесное воспоминание о девушке у двери, за которой скрывается неистощимый источник, свет для больного туберкулезом, и молчание старого брата Рембрандта, смотрящего на вечную страну своими бесстрастными глазами.



6 октября.

Целые дни льет дождь и дует холодный ветер [...неразб.]. Это было там, в Роттердаме, — в новом никелированном Роттердаме — и в вечно промокшем Амстердаме; и здесь, в Гааге, где взгромоздившиеся на велосипеды с высоким рулем люди, словно траурные лебеди, кружились в хороводе вокруг охладевшего Вигвера, между живыми угрями рыбного рынка и чудесными украшениями в уродливых витринах того же цвета, что и палые листья, приклеившиеся повсюду к земле, и копченые селедки, долго путешествовавшие по золотистым морям. О, Сипанго [...неразб.], Голландия, нежная Голландия, ты учишь смертельному терпению.



Обращение в серьезность. Серьезность — это

согласие на ложь и признанное убожество. В остальном — спокойная искренность.



«Дон Жуан».

Она: Я всегда знала, что вы меня не любите. Но я любила вас. Когда вы со мной разговариваете, вы смотрите иногда поверх моей головы.

Он: Я не соблазняю — я адаптируюсь.



26 октября.

Противоположность реакции — не революция, а творчество. Мир пребывает в состоянии вечной реакции, то есть бесконечного страха перед революцией. Прогресс, если допустить, что он вообще существует, заключается в том, что творцы самых разных убеждений открывают формы, торжествующие над духом реакции и инерции, и значит революция им вовсе не нужна. Революция неизбежна, когда иссякают творцы.



Согласно Кёстлеру, в прежней судебной систе-

ме Турции смягчающим обстоятельством мог выступить тот факт, что преступление было совершено кем-то [...неразб.].



Жимолость, этот запах связан для меня с Алжиром. Он плавал вдоль улиц, поднимавшихся к высоким садам, где нас ждали юные девушки. Виноградники, молодость...



По утрам белая роза пахнет водой и перцем.



«Жюли».
Последнее действие:
Ж. Я некрасива.
Д'Ал. Да.



Всё — во мне и в других людях, — что тянет меня вниз.



1 ноября.

Мне часто приходится узнавать, что я атеист, до меня доходят рассказы о моем атеизме. На мой взгляд, эти слова ничего не означают, они лишены смысла. Я не верю в Бога, *и* я не атеист.



Как творец, я дал жизнь самой смерти. Вот и все, что я должен был сделать, прежде чем умереть.



Павезе: «Мы дураки. Правительство оставило нам малую толику свободы, но и ту мы отдаем на откуп женщинам».



Рембрандт: слава до 1642 года, когда ему исполнилось 36 лет. Начиная с этой даты путь к одиночеству и бедности. Это более редкий и значительный опыт, чем просто жизнь неизвестного художника. О таком опыте еще никто ничего не сказал.



Б.К.[173]: «Эту духовную силу природа дает человеку не для того, чтобы он пользовался ею в одиночку. Она дарит ее для того, чтобы человек использовал ее за пределами собственной личности».

Там же: «Истинный творец органически зависит от закона удовольствия».



Шпенглер говорил, что душа России — это бунт против Античности. Похоже на правду. Бердяев говорил в том же духе: в России никогда не было Возрождения.



Текст об Эберто[174]. Посреди грота большой белый кашалот. Он фильтрует пищу зубами и захватывает только планктон вкусных авторов.



---

[173] notes: 173

Во французском оригинале «В.С.».

[174] notes: 174

Эберто, Жак (1886–1970) — французский театральный деятель, директор театра (носящего его имя), журналист и издатель. В его театре были поставлены пьесы А. Камю «Калигула» (1945) и «Праведники» (1949).

Реализм. Реалисты — все. Но никто в отдельности. В конце концов, важна не эстетика, но внутренняя установка.

Литература тоталитарных государств умирает не оттого, что ею руководят, но потому, что она отрезана от других литератур. Если художник изначально не открыт реальности всего мира, он калека.



7 ноября 1954.
41 год.



«Вакханки».

Сицилия. Наше время. Маленькая деревенька в окрестностях Палермо. И все, что из этого следует.

В перспективе — очень большие произведения. В любом случае что-то остается. Напр.: «Дон Жуан», «Фауст», в них заключено всё.



Исправить «Бунтующего человека» с. 225, 6 строка (рабочие, вместе монахов) и с. 228, 1 строка.



Письмо Дюперре[175]. «Революционные профсоюзы по-прежнему предаются своему главному занятию: поиску аргументов для того, чтобы разделиться по вопросу об общих принципах».



Название для новеллы: «Пуританин нашего времени».



24 ноября. 10 ч.

Сегодня утром приехал в Турин. Вот уже несколько дней мне радостно при одной только мысли вернуться в Италию. Я не видел ее с 1938 года, когда приезжал сюда в последний раз. Война, Сопротивление, «Комба», потом долгие

---

[175] notes: 175

Дюперре, Жан (1910–1993) — французский писатель и профсоюзный деятель.

годы омерзительной серьезности. Конечно, я путешествовал, но только для познания, а сердце мое молчало. Мне казалось, что в Италии меня ожидает моя молодость, и новые силы, и утраченный свет. И я хотел убежать из этого мира (своего дома), весь последний год уничтожавшего меня постепенно, атом за атомом, и, может быть, обрести окончательное спасение. Но вчера при отправлении поезда радость моя была уже не так сильна. Прежде всего, я устал, а еще была встреча с Гренье, я собирался поговорить по душам и не смог, и N. тоже не улучшила мое настроение перед отъездом. И все же ночью, между короткими периодами сна я почувствовал приближение счастья, пусть еще и далекого.

Сегодня просыпаюсь в 7 утра с мыслью, что мы в Италии. Прихожу в себя, открываю шторку: снежный и туманный пейзаж. По всей северной Италии идет снег. Меня охватил бешеный приступ смеха, хорошо, что я был в купе один. На улице было совсем не холодно. Однако ожидавшая меня на вокзале очаровательная И.А. говорила, что умирает от холода. Ее очаровательный французский язык с ошибками, спокойные и изящные жесты (она напоминала мне маму), ее раскрасневшееся от холода лицо, словно малень-

кий снежный цветок, постепенно возвращали мне мою Италию. К тому же мое сердце согрели итальянцы — и в поезде, и, позже, в отеле. Я всегда любил это народ, особенно сильно — по контрасту — ощущая свое изгнанничество среди французов, вечно пребывающих в дурном настроении.

Из окна моего номера в гостинице был виден Турин, на который беспрерывно падал снег. Я еще раз посмеялся над своим разочарованием. Но ко мне вернулась бодрость духа.



Турин под снегом и в тумане. В египетской галерее ежатся от холода мумии, выкопанные из песка и лишенные своих бинтов. Я люблю большие и широкие улицы, мощенные плитами. Этот город выстроен из пространства, а не из стен. Я захожу в дом № 6 по улице Карло Альберто, где работал Ницше, и где потом сошел с ума. Я никогда не мог читать без слез рассказ о визите Овербека: он вошел в комнату, где бредил обезумевший Ницше, который, охваченный внезапным порывом, с рыданиями бросился в его объятия. Стоя перед этим домом, я пытаюсь думать о Ницше

(всегда любимого мной со страстью, равно как и с восхищением), но у меня ничего не получается. Мне легче встретиться с Ницше, несмотря на тяжелое небо, просто гуляя по этому городу, который он так любил, и я понимаю почему.



Новелла. Заключенные концентрационного лагеря избирают своего папу, они выбирают того, кто больше всех страдал, и отвергают того другого — папу Римского, живущего в роскошном Ватикане. Они называют своего папу «Отцом», хотя он один из самых молодых, подчиняются ему во всем, умирают за него, пока не умирает и он сам, защищая своих детей (или же отказывается умереть и сохраняет свою жизнь, потому что ему надо защищать других, и это начало).



25 ноября.

Серый и туманный день. Брожу по Турину. На холме черепа в венках. Из самого сердца широких городских проспектов рвутся в туман бронзовые кони. Турин — город застывших лошадей: они замерли в таком же порыве, как и сумасшедший

Ницше, остановивший избитого погонщиком коня, которого он стал безумно целовать в морду. Ужин в Вилла Камерана.

26 ноября.

Долгая прогулка по туринским холмам. Вокруг — небо, заснеженные Альпы, то возникающие, то исчезающие в тумане. Свежий, влажный воздух, пропахший осенью. Город внизу покрыт дымкой. Вдали от всего — усталый и до странности счастливый. Вечером лекция.



27 ноября.

Утром еду в Геную вместе с И.А.; странное маленькое существо, чистое, у нее щедрая душа, сила воли, и в ней чувствуется осознанное самоотречение, удивительное в столь молодом возрасте. Ей хочется «смеяться и сожалеть». Что касается религии, то она верит в «отрешенную любовь». Она решительно похожа на маму, о которой я думаю с грустью. У меня всегда на сердце тяжелая, немыслимая смерть…

По всему Пьемонту и Лигурии дождь и туман.

Мы переваливаем через горы, возвышающиеся вдоль лигурийского берега среди заснеженных полей. Проезжаем по четырем туннелям, и снег исчезает, но по склонам, спускающимся к морю, с удвоенной силой хлещет дождь. Через два часа после приезда в Геную — лекция. Ужин во дворце Дориа. Старая маркиза — как будто высохла вся, остались только глаза и сердце. Выйдя на улицу, я гуляю по наконец-то вновь обретенной Генуе, умытой под большой водой. От черного и белого мрамора исходит сияние, а по самым обыкновенным улицам, городским артериями, разливаются огни.



С VI века по 1800 год население Европы никогда не превышало 180 миллионов.

С 1880 по 1914 год оно увеличилось со 180 до 460 миллионов!



Ортега-и-Гассет. Кто хочет знать, с кем он говорит — для того, чтобы писать.

Различает организованное общество и спонтанную ассоциацию.

Свобода и плюрализм — две доминанты Европы.

Философ и профессор философии, см. с. 26 — об истинной аристократии, страсти.



Гумбольдт. Для того чтобы человеческое существо обогащалось и совершенствовалось, необходимо разнообразие ситуаций. На поддержание этого разнообразия и должны быть направлены основные усилия либерализма.



В сегодняшней России торжествует индивидуализм в самой его циничной форме.



Ортега-и-Гассет. История — вечная борьба между паралитиками и эпилептиками.



Основой всякого общества является аристократия, ибо истинная аристократия есть тре-

бовательность по отношению к себе, без этой требовательности общество умирает.



Ортега-и-Гассет. Творческая жизнь предполагает режим строгой гигиены, большого благородства, постоянных стимулов, возбуждающих сознание, и добавим, творческая жизнь есть жизнь энергичная.



Как много теней копошится в узких переулках. Довольный и усталый.



28 ноября.

Долгая прогулка по Генуе. Генуя меня зачаровывает, она очень напоминает город, оставшийся в моей памяти. Из тугого корсета узких улочек, кишащих жизнью, вырываются на свободу величественные памятники. Здесь красота создается прямо перед нашими глазами, она излучает сияние в повседневной жизни. На углу улицы певец импровизирует на темы недавних скандалов.

Поющая газета.

Маленький монастырь Сан-Маттео. Порывы ветра вдавливают дождь в широкие листья мушмулы. Краткое мгновение счастья. Теперь надо изменить жизнь.

Вечер: отъезд в Милан, под дождем. Прибытие под дождем. То, что любил здесь Стендаль, уже мертво.



29 ноября.

«Тайная вечеря» — совершенно очевидно, что да Винчи был одним из источников итальянского декаданса. Монастырь Сант-Амброджо. Лекция. Вечером сажусь на римский поезд в раздражении от глупых светских условностей, которыми сопровождались мои лекции. Не могу вынести более получаса этого обезьянничества. Ночь без сна.



30 ноября.

Утром наконец-то над римскими окрестностями появилось солнце — бледное, но решительное. Как это ни глупо, на глаза наворачиваются слезы.

Рим. Еще один из этих отелей — шикарных и глупых, как и содержащее их общество. Завтра переезжаю. Смотрю вместе с Н. на рождение Венеры. Прогулка вдоль виллы Боргезе и Пинчьо: все небо словно расписано кистью с редкими волосками. Сплю. Последняя лекция. Наконец свободен. Ужин с Н., Силоне и Карло Леви. Завтра будет прекрасный день.



С 1 по 3 декабря.

Существуют города, подобно Флоренции или небольшим тосканским и испанским городкам — они словно носят на себе путника, поддерживая каждый его шаг и облегчая походку. А есть и другие, подобно Нью-Йорку — они сразу же тяжело опускаются на плечи и давят; в таких городах надо научиться постепенно распрямлять спину и видеть.

Рим тоже довлеет, но тяжесть эта осязаема и легка, его носишь на сердце как тело, состоящее из фонтанов, садов и куполов, и под ним можно дышать, чувствуя себя немного придавленным, но странно счастливым. Рим — сравнительно небольшой город, но порой его воздушные

перспективы взрываются на повороте улиц, и это разграниченное пространство, ощущаемое всеми фибрами души, дышит и живет вместе с путником.

Я уехал из отеля и поселился в том самом пансионе на вилле Боргезе. У меня теперь есть терраса, выходящая прямо в сады, и сердце мое бьется все сильнее от панорамного вида, который каждый раз я словно открываю заново. После стольких лет жизни в лишенном света городе, пробуждений в тумане, среди сплошных стен, я ненасытно впитываю в себя эту линию деревьев и небес, выстраивающуюся от Порта Пинчана к Тринита-деи-Монти, за которой вращается Рим со своими хаосом и куполами.

Каждое утро, еще немного пьяный ото сна, я выхожу на эту террасу, и меня застает врасплох пение птиц — оно настигает меня в самых глубинах моего сна, находит нужную точку, из которой сразу же высвобождается какая-то таинственная радость. Уже два дня стоит хорошая погода, и прекрасный декабрьский свет рисует передо мной устремленные ввысь кипарисы и пинии.

Здесь я сожалею о всех глупых и темных годах, прожитых в Париже. Там была сердечная причина, которую я больше не в силах переносить,

ибо она больше никому не нужна, а я оказался, в конце концов, на волоске от гибели.

Позавчера на форуме — не там, под Кампидольо, где, словно на дешевой распродаже, выставлены претенциозные колонны, а в его по-настоящему разрушенной части (рядом с Колизеем), потом на восхитительном Палатинском холме, с его неистощимым молчанием, покоем, — в этом мире, вечно рождающимся заново и вечно совершенном, я начал приходить в себя. Именно этому и служат великие образы прошлого, если только природа сумеет принять и приглушить спящие в них шумы: собирать вместе сердца и силы, чтобы они потом стали служить настоящему и будущему. Это чувствуется и на Аппиевой дороге, по которой мне удалось погулять лишь к концу дня, — я ощущал, что сердце мое переполняется так сильно, что жизнь уже готова покинуть меня навсегда. Но я знал, что она будет продолжаться, ибо во мне еще осталась сила, двигающая меня вперед, и после передышки это движение должно только ускориться. (Вот уже год, как я не работал, не мог работать, а у меня наготове было десять сюжетов, которые я считал исключительными, но не мог к ним подступиться. Из таких дней сложился целый год, и я не сошел с ума.) Как хорошо

было бы жить в этом монастыре, в этой комнате, где умирал Тассо.

Площади Рима. Площадь Навона. Сант-Иньяцио и другие. Желтого цвета. Под барочными переливами воды и камней розовеют бассейны фонтанов. Когда ты все уже видел, или, по крайней мере, видел все, что можно было увидеть, — какое великое счастье просто гулять, не стремясь ничего *познавать*.

Вчера ночью был рядом с Сан-Пьетро-ин-Монторио. При свете его фонарей Рим походил на порт, движение и шум которого только что замерли у подножья нашего молчаливого брега.



Как странно и невыносимо осознавать, что монументальная красота всегда подразумевает рабство, не переставая быть при этом красотой; не желать красоты — невозможно, но невозможно и желать рабства, ничто не может сделать его более приемлемым. Возможно, поэтому превыше всего я ставлю красоту пейзажа, ее не купить ценой несправедливости, и мое сердце чувствует себя в ней абсолютно свободным.



3 декабря.

Превосходное утро на вилле Боргезе. Утреннее алжирское солнце, струящееся через тонкие сосновые иглы и четко прорисовывающее каждую из них. И Галерея, наполненная золотистым светом. Меня очень интересуют скульптуры Бернини, восхитительные, но разочаровывающие, когда в них побеждает изящество, как, например, в чрезвычайно сюрреалистической Дафне (сюрреализм в изобразительном искусстве был, прежде всего, контрнаступлением барокко), и отвратительные, когда изящество исчезает вообще, как в обескураживающей Истине, которую открывает Суд. Вдобавок он еще и очень проникновенный художник (портреты).

«Даная» Корреджо и особенно «Венера, завязывающая глаза амуру» — Тициан написал ее в 90 лет, а от нее веет современной молодостью.

Картины Караваджо, которые я смотрел во второй половине дня (не те, что находятся в церкви Святого Людовика Французского), были совершенно великолепны благодаря контрасту между необузданностью и немой плотностью света. *До Рембрандта*. Особенно «Призвание

апостола Матфея»: потрясающе. К.[176] заостряет мое внимание на постоянном возвращении темы молодости и зрелого возраста. Моравиа уже рассказывал мне о том, что за человек был Караваджо: совершив множество преступлений, он скрылся из Тосканы на корабле, но здесь его ограбили, потом выбросили на берег, где он сошел с ума и умер (1573–1610). Моравиа поведал мне также настоящую историю семейства Ченчи, о котором он собирался написать пьесу. Беатриче была похоронена под алтарем церкви Св. Людовика Французского. В Риме мятеж, Французская революция. Один французский художник-санкюлот участвовал в разграблении церкви Св. Людовика Французского. Раскрывал могилы. Там был скелет Беатриче, ее череп лежал отдельно от скелета посередине гроба. Художник вынул череп и, поигрывая с ним, как с мячиком, вышел из церкви. Это последний образ, связанный с ужасной историей Беатриче Ченчи.

В конце дня я возвращаюсь на Джаниколо. Сан-Пьетро-ин-Монторио. Да, этот холм — мое любимое место в Риме. Высоко в нежном небе легкие, как дым, стайки скворцов кружатся во

---

[176] notes: 176
Во французском оригинале «С.».

все стороны, весело сталкиваются друг с другом, потом собираются вместе, чтобы спикировать на пинии, и, едва коснувшись их, снова взмывают в небо. Когда мы спускаемся вниз вместе с Н., мы обнаруживаем их снова, но теперь на деревьях — платанах Виале-дель-Ре, в Трастевере, причем в таком огромном количестве, что каждое дерево буквально гудит и стрекочет, на нем больше птиц, чем листвы. Наступает вечер, и оглушительный щебет заглушает все шумы этого густонаселенного квартала, смешиваясь со скрежетом трамваев и заставляя людей смеяться и запрокидывать головы, чтобы рассмотреть огромный рой из листьев и перьев.



В пансионе мною занимается высокий римлянин — брюнет с мягким и благородным лицом, у него простые и гордые манеры. Новелла. Любовь с художником. С его стороны — сплошное благородство.



Написать БАРОЧНЫЙ текст о Риме.

4 декабря.

Утро. Дворец Барберини. «Нарцисс» Караваджо и особенно та мадонна, которую обычно приписывают П. делла Франческа, но мне кажется, что она, скорее, напоминает о более утонченной манере Синьорелли. Как бы то ни было, она восхитительна.

Обед в Тиволи вместе с Моравиа и Н., потом мы долго гуляем по абсолютно безупречной вилле Адриана. Превосходный день, со всех сторон головокружительного и безоблачного неба струится равномерный свет на величественные кипарисы и высокие сосны, растущие на вилле. Широкие разрушенные стены ловят этот ровный свет своей облицовкой, похожей на пчелиные гнезда, и сами начинают источать сияние, словно мед из своих цементных сот. Здесь я лучше понимаю, чем римский свет отличается от любого другого, например, флорентийского — серебристого и рассеянного и, в конечном счете, более одухотворенного. Римский — скорее, кругл, блестящ и текуч. Он возбуждает мечты о теле, об изобилии счастливой плоти, об удавшейся жизни. Об еще более сочных далях. Пение птиц среди руин. При виде такого совершенства возникает

любопытное и счастливое ощущение, что всё уже сказано.

Ужин, Пьовене[177]. После трех десятков разговоров я наконец-то начинаю понимать, что же происходит на самом деле. Здесь нет борьбы мнений, но есть группировки. Либералов мало, бедность и эксплуатация нищеты и постепенный переход к инерции.



В сорок лет о зле уже не кричат, о нем прекрасно знают и с ним борются, в зависимости от того, как понимаешь свой долг. Только тогда возможно заниматься творчеством, ничего не забывая.



Создавая на картине Страшного суда (справа от алтаря) движение вознесения, Микеланджело снабжает тела тяжелыми мускулами, чтобы создать впечатление неотразимой легкости. Чем тяжелее, тем легче. В этом суть искусства.



---

[177] notes: 177
Пьовене, Гуидо (1907–1974) — итальянский писатель.

В апартаментах Борджиа: Риторика Пинтуриккьо, вооруженная мечом.



Сердце немного сжимается при мысли, что Юлий II приказал уничтожить фрески Пьеро делла Франческа (и других художников), для того чтобы Рафаэль мог расписывать его покои; плата за прекраснейшее «Освобождение св. Петра»?



«Снятие с Креста» Караваджо. Самого Креста не видно; Караваджо, несомненно, выдающийся художник.



6 декабря.

Серый день. У меня температура. Остался в комнате. Вечером встречался с Моравиа.



Роман.

Первый человек снова проделывает огромный

путь, а в результате раскрывает тайну: он не первый. Всякий человек — первый, и никто не первый. Поэтому он бросается к ногам матери.



7 декабря.

Отъезд с Николой и Франческо. Римская деревня. Ф. очень красив и выглядит отстраненно, при этом он человечен и общителен. Деревня Цирцеи. Приезд в Неаполь. Обед в Поццуоли — в ресторане, как две капли воды похожем на Падовани. В Неаполе лило, как из ведра, и лихорадка моя усилилась. А вечером небо прояснилось.



8 декабря.

Проснулся с очень высокой температурой. Вчера вечером я даже не мог закончить писать свои заметки. Но все-таки совершил длинную прогулку по «Барриос», за улицей Санта-Лючиа. Трущобы за Елисейскими полями. Через открытую дверь видно, как в одной кровати лежат по трое малышей, порой вместе с отцом, и они вовсе не смущаются, когда на них смотрят. Это развевающееся на ветру белье, что придает Неаполю

постоянно праздничный вид, — лишь следствие нехватки белья, ведь его приходится все время стирать. Флаги нищеты. Сегодня вечером Н. Ф. Потом мы уезжаем на влажной карроцелле, от нее пахнет кожей и навозом. У мужской дружбы всегда хороший вкус. Н. ведет нас в квартал Порта Капуана. Широкая улица, идущая вверх. На всех балконах стоят лампы с абажурами. И нищета выглядит как необычайный праздник. Перед церковью проходит небольшая процессия. Над плотной толпой, топчущейся в грязи среди капустных листов, разбросанных после утреннего рынка, колышутся знамена. А главное, взрываются петарды. За каждым святым. И о появлении Пречистой Девы тоже возвещают петарды. Стоящий у окна сумасшедший с застывшим взором, одним и тем же механическим жестом зажигает друг за другом десятки петард и бросает их в толпу, пока они не взорвутся, а вокруг бешено пляшут дети. Гостиницы для бедных. Здесь строили большие планы. Эскориал нищеты…

8 декабря.

Весь день провел в постели с температурой. В

конечном счете, я не смогу поехать в Пестум. При первом же улучшении придется возвращаться в Рим, потом в Париж, вот и все. Между греческими храмами и мной что-то происходит. И каждый раз в последний момент обязательно возникает нечто, мешающее мне приблизиться к ним.

Впрочем, на этот раз ничего таинственного. Этот год совершенно истощил меня и поставил на колени. Надежда найти новые силы и вернуться к работе была чистой сентиментальщиной. Лучше бы я потратил год жизни на то, чтобы построить себе заново здоровье и волю, а не бежал бы к свету, которым не в силах наслаждаться. Но тогда я должен был бы хотя бы немного освободиться от того, что меня угнетает. Вот какие мысли одолевают путника, заточенного в Неаполе, прикованного к постели и охваченного лихорадкой. Но это правильные мысли. К счастью, из своей кровати я могу видеть море.

Художник, друг Ф., полный невежда, должен сделать иллюстрации к «Страстям по Матфею» для одной радиопередачи. Он пишет святого в окружении прелестных женщин и насмешливых ангелов.

9 декабря.

Когда я проснулся, лихорадка прошла. Но я чувствовал себя разбитым и мне было не по себе. Тем не менее, я решил поехать (каждый раз я заряжаюсь энергией от сравнения с худшей ситуацией: сидеть взаперти и т. д.). Когда мы уезжали, ярко светило солнце. Сорренто (и прелестный сад Кокумелла), слишком декоративный Амальфи, где мы пообедали, потом я сел за руль, сменив уставшего Ф. В тот момент, когда мы, проехав промышленный район, потом странные земли, напоминающие Лимб (высокий тростник, тощие и ощипанные деревья), прибыли в Пестум, начинался закат. Здесь у души уже не осталось слов.

(Позднее) Я хочу пережить заново все, что произошло, когда мы в конце дня оказались в Пестуме. Нас приняли в гостинице неподалеку от развалин, поселив в доброй старой комнате — грубоватой, но очень чистой, с тремя кроватями, огромными и выбеленными стенами. Ко мне привязался какой-то пес. Солнце уже зашло, когда мы стали карабкаться на стены (поскольку ограждения были уже закрыты), чтобы попасть к развалинам. Со стороны совсем близкого и голубого моря еще шел свет, но стоящие напротив холмы уже почернели. Когда мы оказались перед

храмом Посейдона, в воздух разом поднялись все разбуженные вороны, произведя жуткий шум своими крыльями и криками, потом они принялись летать вокруг храма, обрушиваясь на него со всех сторон и опять взлетая, словно для того, чтобы прямо перед нашими взорами приветствовать чудесное явление некоего существа, созданного из камня, но живого и незабываемого. Сумерки, черный полет ворон, редкое пение птиц, пространство между морем и холмами, — я жадно впитывал все эти осязаемые и горячие чудеса, и охваченный усталостью и волнением, я был готов в любую минуту разрыдаться. Потом наступило состояние бесконечного восхищения, не передаваемого словами.

Вечер, молчание, вороны, похожие на птиц из Лурмарена, и кошка, и мои слезы, и музыка.

По утрам на развалинах в Типаса выпадала роса. Самая юная в мире свежесть на самой старой древности. Вот в чем заключается моя вера, и в этом, по-моему, главный принцип искусства и жизни.



10 декабря.

Вчера вечером я прогулялся до пляжа — среди тростников, крепостных стен и буйволов. Постепенно нарастал громадный и глухой шум моря. Пляж, теплая вода под светящимся и серым ночным небом. Когда мы возвращались, начинался небольшой дождь, а шум прибоя постепенно затихал за нашими спинами. Буйволы шевелились все тише и тише, потом опустили головы и стали неподвижными, как ночь. Нежность.

Я взглянул из окна на храмы в ночи и заснул. Так понравившаяся мне комната с толстыми и голыми стенами оказалась совершенно ледяной. Всю ночь было холодно. Я открыл свое окно, над развалинами шел дождь. Час спустя, когда мы выходили, синее небо, свежий и великолепный свет.

Бесконечное изумление перед этим храмом с огромными колоннами из розового губчатого камня, позолоченной пробки, — его воздушной массивностью, его неистощимым присутствием. К воронам присоединились и другие птицы, но именно вороны по-прежнему накрывали храм развевающимся во все стороны черным покрывалом и хриплыми криками. Свежий аромат маленьких гелиотропов, покрывавших окрестности храма.

Шумы: шум воды, собак, далекий рокот мотоцикла.

Сердце сжимается не от меланхолии по поводу разрушенных миров, но от безнадежной любви ко всему, что вечно длится в вечной молодости, от любви к будущему.

Еще раз прошел по развалинам между горами и морем. Как трудно оторваться от этих мест, где я впервые, после Типаса, ощутил абсолютное самозабвение.



10 декабря.

Продолжение. И все-таки мы поехали и уже через несколько часов оказались в Помпеях. Конечно, очень интересно, но за душу не брало. Иногда римляне умеют быть изысканными, но цивилизованными — никогда. Римляне — адвокаты и солдаты, но Бог знает почему их путают с греками. Они первыми по-настоящему разрушили греческий дух. Побежденная Греция, увы, не смогла, в свою очередь, одолеть их. Они заимствовали у Греции темы и формы великого искусства, но смогли создать лишь холодные подобия, которых лучше и не было бы вообще — тогда гре-

ческая наивность и великолепие дошли бы до нас без посредников. По сравнению с храмом Геры в Пестуме античность всего Рима и Италии просто рассеивается, как дым, а вместе с ней меркнет и комедия ложного величия. Инстинктивно сердце мое всегда это чувствовало, его никогда не трогала ни одна латинская поэма (ни даже Вергилий, которым я так восхищаюсь, но не люблю), но оно всегда сжималось при вспышке трагического или лирического станса, рожденного в Греции.

По возвращении из этого изысканного Бухенвальда — так я увидел Помпею, — вкус пепла и возрастающей усталости. Мы с Ф. ведем машину по очереди, и в 21 час, совершенно изможденный, я въезжаю в Рим.



11 декабря.

Весь или почти весь день в постели. По-прежнему температура, лишающая меня всякого вкуса к жизни. Любой ценой поправить здоровье. Мне нужна моя сила. Я не хочу жить легко, но я хочу иметь возможность быть на равных с жизнью, когда она сложна. Я должен управлять собой, если хочу идти туда, куда я иду. Во вторник — отъезд.

12 декабря.

Мне в руки попала газета. Парижская комедия, а я уж позабыл, что такое бывает. Гонкуровская премия — очередной фарс. На этот раз — «Мандарины»[178]. Кажется, я играю роль одного из героев. Речь идет о некоем авторе, поставленном в ситуацию (руководитель газеты, возникшей во время Сопротивления), а все остальное — сплошная фальшь: и мысли, и чувства, и поступки. Более того: меня щедро нагрузили еще и сомнительными поступками из жизни Сартра. Сплошная мерзость. Но не злонамеренная, а естественная, как дыхание.

Чувствую себя получше. Серый день. Над Римом дождь, поблескивают чисто вымытые купола. Обед у Ф.Г.[179]. Вечером один, лихорадка прошла.

13 декабря.

---

[178] notes: 178
«Мандарины» (1954) — роман Симоны де Бовуар (1908–1986).

[179] notes: 179
Во французском оригинале «F.G.».

Еще Караваджо. Церковь Санта-Мария-дель-Пополо. Меланхолия Рима, с его слишком крутыми и напряженными улицами. Поэтому так прекрасны площади: они словно освобождают. Над античным Римом торжествует барокко. Как древнеримские пары, застывшие в камне, у которых нет ничего общего, разве только то, что оба словно стержень проглотили. Между дворцами проскальзывают сумерки, разрушая горделивые фасады. Вечером М. рассказала мне о Бранкати и о его смерти. Ужин в одиночестве.



14 декабря. Отъезд.

Экзистенциализм. Когда они обвиняют себя, я уверен, что они делают это исключительно для того, чтобы обременить других. Кающиеся судьи.

Истинное предательство начинается от Луки — это он заставил умолкнуть крик отчаяния агонизирующего Иисуса.

В ответ на мое утверждение, что некоторые роли требуют от актера только виртуозности и могут служить средством для оттачивания ремесла и мастерства, М. сказала, что это ее не интересует. Она предпочитает играть только тех

персонажей, которые сочетаются с ее личностью, и тогда она может жить и чувствовать, что живет другую жизнь. И вывод: «Я люблю играть, потому что я героиня романа».



Мораль. Не брать того, что не желаешь (трудно).

Я всегда надеялся стать лучше. Я всегда решал делать все, что для этого необходимо. Удалось ли — другой вопрос.

Разве не был для меня мой брак утонченной чувственной авантюрой? Да, это было так.

Если расцветаю я, она увядает. Она не может жить без моего увядания. Значит, мы два противоположных полюса психологии.

Противоположность подпольного человека — человек, лишенный злопамятства. Но катастрофа одна и та же.

Этот мир извивается, как разрубленный червяк, лишь потому, что он потерял голову. Он ищет свою аристократию.

«Ла Мартиньер» — белый корабль, перевозив-

ший каторжников в Кайен и заходящий в Алжир за новым грузом (мой репортаж[180] о том дне, когда шел проливной дождь — баржа, полная бритыми наголо каторжниками — внутри две клетки, и т. д. — Я тоже проделал этот путь, но только в комфортабельной кабине) — Рассказ?



«Первый Человек». Он смеялся над амбициями. Он не хотел ничего иметь, он не хотел владеть, он хотел быть. Только к этому он стремился со всем упорством.

Когда же его частная жизнь была выставлена напоказ и растолкована множеству людей, она стала публичной, и стремиться к той цели потеряло всякий смысл.

Таковы жизнь (пустая) городов и невыносимые дни без любви.

Именно такая жизнь больше всего на свете интересует меня за последние десять лет.



«Первый Человек». «Размышляя обо всем, что

---

[180] notes: 180
Опубликованный в газете «Альже репюбликен» 1 декабря 1938 года.

он сделал не потому, что по-настоящему этого желал, а потому, что этого хотели другие, или просто потому, что другие поступали подобным образом при довольно сходных обстоятельствах, он понял, что все это вместе и образовывало жизнь, которую он делил с другими людьми, умиравшими, в конце концов, от того, что они не сумели прожить так, как действительно хотели бы».



«Первый Человек». Тема энергии: «Я буду главенствовать, но не пойду на компромисс. Компромисс, притворство, низменное желание власти, — это слишком просто. Но я буду действительно главенствовать, не делая ни единого жеста, чтобы владеть или иметь».

Единственный закон бытия — быть и превосходить самого себя.



«Иона». Обезумевшая консьержка (у нее умер сын): «О! Господин Иона, а вы понимаете?» и сразу же после этого: «Не ходите к господину Ионе, он бьет жену и детей».



«Первый Человек». Тема дружбы.

Не обладая большой культурой, М. вмешивается в великие произведения. Не задерживаясь, хотя бы из лени, на посредственности и инстинктивно распознавая великое.



«Первый Человек». Тема тревоги (см. Адлер. «Познание человека». С. 156). Движущая сила персонажей: желание власти, с точки зрения психологии.



«Дон Фауст или доктор Тенорио»: «Я никогда ничего не просил за то, что давал, я никогда не говорил о том, что сделал, я слишком мало уважал себя, потому что давал недостаточно, и я думал, прежде всего, обо всем, чего я никогда не давал. Но сегодня мне надо то немногое, что я сделал, мне нужны те люди, что находятся здесь. Те, кому я никогда не отказывал в своей руке и своей помощи, — пусть они говорят и свидетельствуют в мою пользу. *Все замолкают*. Тогда говорить буду

я. Тот...» (бунтующий текст).



«Первый Человек». С Симоной. Целый год он не может ее забрать. И потом бегство. Она плачет, и с этого все начинается.

Все происходит от моей врожденной неспособности быть буржуа, да еще и довольным буржуа. Малейшая видимость стабильности в жизни наводит на меня ужас.

Мое принципиальное превосходство над мошенниками в том, что мне не страшно умереть. К смерти я испытываю лишь ужас и отвращение. Но я не боюсь умереть.

Предательство левых интеллектуалов. Если их настоящая цель — сохранить революционный принцип в СССР, постепенно исправляя его извращения, то зачем русскому правительству отказываться от тоталитарных методов, раз оно заранее будет знать, что его всегда простят. На самом деле, только откровенная оппозиция людей левых убеждений на Западе может заставить это правительство задуматься, если допустить, что оно вообще сможет или захочет думать. Но еще на самом деле предательство наших интеллекту-

алов объясняется не одной только глупостью.

Почему слабость по отношению к удовольствию осуждается больше, чем слабость перед болью. Ведь боль производит порой несравнимо большие разрушения.



«Дон Фауст». В 1-й картине или в прологе Фауст желает все познать и все иметь. «Я сделаю тебя соблазнителем», — сказал дьявол. И Фауст становится Дон Жуаном.

Заключительная картина. Расплата. «Ну что, идем!» — «Нет, — отвечает дьявол, — ты должен делать это против воли, иначе умрешь, как все». — «Так умрем же — как все» (здесь мужской хор, который принимает героя в свои ряды: «Лучше поздно, чем никогда»).



Островной комплекс России и коммунистов (См. Адлер «Познание человека», стр. 154).



В «N.R.F.»: диалоги (ответы, вопросы) или вооб-

ражаемое письмо о «Злободневных заметках».



Роман. «В тот вечер не везло — На концерте стали хлопать после третьей части, решили, что симфония закончилась. Но громкие и осуждающие шикания указали ему, что частей должно быть четыре. И его еще долго преследовал взгляд соседей, тяжелый от недавнего экстаза и пережитого презрения».

Одна из новелл — во французском стиле («Иона»).

Половодье на Сене. Ночью река грохотала, я никогда не слышал ничего подобного.



Дон Жуан. Атеист-моралист обрел веру. Отныне все дозволено, поскольку кто-то может оправдать то, чего люди никогда не простят. Отсюда щедрая свобода нравов, увенчанная живой верой.

Стремление к творчеству так сильно, что не способные к нему выбирают коммунизм, — он обеспечивает им коллективное творчество.



Театр. Тимон — Бесы — Жюли — Экспромт — Пресса — Вакханки.

Данте допускал, что в споре между Сатаной и Богом были нейтральные ангелы. Он определил их в вестибюль ада. III 37.



17 февраля.

Прибытие в Алжир. С борта самолета, пролетавшего рядом с побережьем, город похож на горсть сверкающих камней, разбросанных вдоль моря. Сад отеля Сен-Жорж. О, гостеприимная ночь, к которой я наконец возвращаюсь и которая принимает меня, как прежде, со всей своей верностью.



18 февраля.

Как прекрасен Алжир утром. Жасмин в саду Сен-Жорж. Когда я вдыхаю его аромат, меня наполняет радость, молодость. Спускаюсь по городу, свежему, воздушному. Вдали сверкающее море. Счастье.



Смерть Франсуа, он тяжело болел. Его отправили домой из клиники, у него был рак языка. Он агонизировал в своей лачуге один, заливая стену кровавой рвотой и стуча кулаком по толстой и грязной стене, отделявшей его от соседей.



19 февраля.

У меня нет ни одного кресла. Немного стульев. Так было всегда. Не полное запустение, но и не комфорт.

Визит к торговцам Белькура. 3 умерших. Массоны. Марта. Александрина. Жюльетта. Зензен (оттопыренные уши, человек-змея, поет в кинотеатре «Альказар»).



«Первый человек».

В каком году родился Папа?

Не знаю. Мне было на четыре года больше, чем ему.

А ты в каком году?

Не знаю. Посмотри мою метрику.

Значит его бросила семья. Сколько ему тогда было лет? — Не знаю. О! Он был юн. Его оставила

сестра. Сколько сестре было лет? Не знаю. — А его братья? Он был младшим — нет, вторым. — То есть его братья были слишком юны, чтобы заниматься им. — Да, наверное поэтому и бросили. — Но они и не могли поступить иначе.

В шестнадцать лет ученик сельскохозяйственного рабочего в семье мужа его сестры. Его заставляли много работать.

«Он больше не хотел их видеть. Они ему надоели».

Там же. Он борется за арабское дело. Его взяли вместе с женой во время антифранцузского восстания. Он убивает ее, чтобы ее не успели изнасиловать, но ему самому удается выжить. Его судят и приговаривают к смерти.

Или еще: я боролся ради них 20 лет, и в день своего освобождения они убили мою мать.

Там же. Самоубийство N. на Сен-Жермен-де-Пре. Друзья Мефисто. Маринелла. Опьянение. Жан-Пьер, оскорбляющий N.: «Ты преуспеваешь во всем. Ты мне отвратителен».

20 февраля.

Типаса. Дожди и солнце. Налившиеся водой

стебли полыни. И потоки свежего света на мокрых развалинах. То же самое волнение — и всегда новое.

Какая удача родиться на свет среди холмов Типасы. А не в Сент-Этьене или Рубе. Знать об этой удаче и с благодарностью принять ее.



21 февраля.

Сияющий день. Сверкание моря и неба вдали сливается в общем блеске. Как всегда по утрам, сад и аромат жасмина, а сегодня еще и птицы ликуют.

22 февраля.

Туманы.



23 февраля.

Проснулся от солнца, затопившего мою кровать. День, как хрустальный кубок, переполненный бесконечным лазурным и золотым светом.



24 февраля.

Орлеанвиль. Очертания утренних гор напоминают изящные лепестки цикламена. В самом Орлеанвиле бараки и стройки: Дикий Запад. Молодой бригаде архитекторов удается избежать уныния, потому что они видят, каким будет этот город в будущем.



25 февраля.

R.U.A.[181]. Счастье от простой дружбы, благодаря которой я жил.



26 февраля.

Когда старая пчелиная королева давала жизнь двум молодым королевам, те или убивали, или изгоняли ее. И она оставалась умирать от голода на краю улья.

Таков смехотворный парад любви и его отвратительных требований, помогающий слабым и грубым людям жить и казаться.

---

[181] notes: 181

Racing Universitaire d'Alger, университетская футбольная команда, в которой А. Камю был вратарем.

26 апреля.

Отъезд из Парижа. Я удручен и совершенно опустошен из-за N. Альпы. Череда островов, постепенно выходящая нам навстречу: Корсика, Сардиния, вдали Эльба и Калабрия. Кефалония и Итака, но в сумерках все они едва различимы. Потом греческий берег, но это уже ночью. Мускулистая рука Пелопоннеса кажется темным и таинственным континентом, покрытым подснежниками и сверкающими вдали горными вершинами. Несколько звезд на еще светлом небе, и потом полумесяц. Афины.

27 апреля.

На восходе — ветер, облака и солнце. Я вышел что-то купить. Потом мы встретились с очаровательным 21-летним переводчиком, от него веяло восхитительной свежестью (я, кажется, говорил вам, что находился рядом с отелем, но это была неправда, и я все время бежал, боясь опоздать, поэтому сильно запыхался), он совершенно покорил меня, и я воспринимал его как приемного сына.

Акрополь. Ветер прогнал все облака, и с неба стал литься очень белый первозданный свет. Все утро меня не покидало странное ощущение, что я здесь живу уже много лет, и это мой дом, несмотря на языковые различия. Когда я поднимался на Акрополь, это впечатление только усилилось: не испытывая никакого волнения, я констатировал, что чувствую себя здесь «соседом».

Другое дело — там наверху. На храмы и лежащие на земле камни, которые ветер очистил, кажется, до костей, отвесно падало одиннадцатичасовое солнце, потом отскакивало, разбивалось на тысячи белых и жгучих светящихся стрел. Свет въедался в глаза, вызывая слезы, прорезал тело — быстро и болезненно, опустошая, делая доступным для чисто физического насилия, и в то же самое время совершая его очищение.

Глаза понемногу привыкали и медленно открывались, и экстравагантную красоту (да, меня больше всего поражала необычайная смелость этого классицизма) этого места воспринимал уже человек чистый, продезинфицированный светом.

И темно-красные маки, каких я никогда еще не видел, один из них вырос прямо на голом камне, [...неразб.], и мальвы, и переполненное

великолепными перспективами пространство, простиравшееся до самого моря. И лицо второй Коры, согнутая нога третьей — в Эрехтейоне…

Здесь хочется защитить себя от мысли, что все совершенство было уже достигнуто, и с тех пор миру остается лишь клониться к закату. В конце концов, эта мысль разбивает сердце. Мы должны всегда и все сильнее защищаться от нее. Такие мысли — смерть, а ведь мы хотим жить.

После полудня, гора Имитос фиолетового цвета. Пентеликон.

19 ч. Лекция. Ужин в таверне в старом квартале.



28 апреля.

Утро. С Маргаритой Либераки[182]. Дафнион. Конечно же, это Византия… Очаровательное место. Элевсин, где надо обладать большим воображением. Но местность до и после Элевсина очень красива. В храме два пути ведут к святилищу, второй — кружной, тайный путь, недоступный для непосвященных.

---

[182] notes: 182

Либераки (другая транскрипция имени — Лимпераки), Маргарита (1919–2011) — греческая писательница и драматург.

Капитальный смысл того, что я знаю об Элевсине. Развить.

В музее восхитительные фрагменты.

Обед в посольстве. Tiempo perdido[183].

После полудня. Агора. Гефестейон. Ареопаг; в небольшом музее Агоры статуи Гераклиона, Афины, Геракла. Узловатый и грубый Геракл, весь покрытый цветущей жимолостью. Потом я поднимаюсь на холм Муз. Солнце уже довольно низко над горизонтом, оно еще не дошло до той точки, когда на светлом небе будет четко прорисовываться красный диск. Но оно уже потеряло силу, ослабело и утратило форму. Из его разорванной окружности струится тонкий мед, он разливается по всему небу, золотит холмы и Акрополь, и покрывает все сладостным и неповторимым сиянием, от кубических городских построек, разбросанных по четырем концам света, и до самого моря.

Я спускаюсь как раз вовремя, чтобы успеть на свою лекцию, на которой было много споров. Выхожу уставший после двух часов непрерывных вопросов. Ужин в Пирее с Маргаритой Либераки. Курьезная личность — замкнутая и темная, но с

---

[183] notes: 183
Потерянное время (*исп.*).

внезапными всплесками жизни и смеха.



29 апреля.

Утро. Национальный музей. Здесь сосредоточена вся красота мира. Конечно, я знал, что меня должны растрогать Коры, но они оставили во мне чудесное ощущение, которое длится до сих пор. Мне разрешили посетить подвалы, куда их переместили во время войны, защищая от вторжения и разрушения. И там, в подвале, куда их забросила история, они по-прежнему улыбаются под слоем пыли и соломы, и эта улыбка через двадцать пять веков по-прежнему согревает, учит и внушает надежду. И еще здесь хранятся погребальные стелы, и та подавленная боль. Безутешная смерть на черно-белом лекифе не может смириться, что ей больше не увидеть солнца и моря. Выхожу в каком-то опьянении и чувствую себя несчастным от всего этого совершенства.

Потом мы едем на мыс Сунион. Полуденный свет еще немного в дымке, в нем словно зависли невидимые частички тумана, и пейзажи предстают в неполном виде, но и так они все равно поражают своими пространствами и широтой.

Пока мы приближались к Суниону, свет свежел и молодел. На мысе, у подножья храма ветра уже не было. Храм оставил меня равнодушным. Его мрамор слишком бел, слишком похож на штукатурку. Но действительно неописуемое впечатление производит сам мыс, над которым возвышается храм: он буквально врезается в море, подобно полуюту, и словно командует эскадрой островов в открытом море, а сзади — и справа, и слева, вдоль флангов из песка и скал пенится море. Бешеный ветер так сильно свистит между колоннами, что чувствуешь себя словно в ожившем лесу. Он взбалтывает лазурный воздух, втягивает атмосферу открытого моря, с силой смешивает ее с ароматами, поднимающимися с холма, покрытого мелкими и свежими цветами, и заставляет бешено биться без передышки — вокруг нас — лазурные полотнища, сотканные из воздуха и света. Спасаясь от ветра, свет спускается к подножью храма, постепенно становясь все чище и чище, словно лился из неподвижного источника. Вдалеке дрейфуют острова. Ни одной птицы. Море слегка пенится до самого горизонта. Мгновение совершенства.

Здесь совершенно все, кроме одного островка напротив — Макронисоса, на котором сегодня

действительно никого нет, но раньше сюда ссылали людей, и об этом мне рассказывали ужасные истории[184].

Мы обедаем рыбой и сырами в самом низу, на маленьком пляже, рядом с большими рыболовными судами в небольшом порту. К середине второй половины дня темнеют краски, затвердевают острова, расслабляется небо. Это момент совершенного света, самозабвения, когда *Все хорошо*. Но надо уезжать — у меня лекция. С трудом отрываю себя от этих мест, с которыми я не в силах полностью расстаться.

Но прежде чем отправиться в путь, мы снова замечаем с мыса остров Макронисос. Все время обратной дороги самый прекрасный, какой я здесь видел, свет озарял оливковые поля, фиговые деревья с какими-то особенно зелеными листьями, редкие кипарисы и эвкалипты.

Лекция. Ужин, во время которого я получаю сведения о депортации. Цифры, похоже, сходятся. Число депортированных было сокращено до 800 или 900. Этим-то мне и следует заняться.

---

[184] notes: 184

Во время гражданской войны (1946–1949) о. Макронисос был местом депортации политзаключенных, в 1946-м здесь был создан первый в послевоенной Европе концентрационный лагерь. В архивах А. Камю обнаружена обширная документация, посвященная Макронисосу.

30 апреля.

Национальный музей. Мне хочется снова взглянуть на высокого худощавого куроса. Репетиция «Гекубы». Всем этим греческим девушкам, кроме одной, недостает грации и стиля. Обед в Кифисии, в саду, где при нежном свете поют соловьи.

Вторая половина дня. Работа, потом холм Муз. На этот раз солнце близится к закату. И снова безумная радость от необычайной смелости Акрополя — его архитекторы играли не с гармоничной мерой, но с чудесной экстравагантностью мысов, островов, разбросанных по гигантскому заливу, и неба, похожим на широкую вращающуюся ракушку. Они создавали не Парфенон, но все пространство в целом, с его фантастическими перспективами. На всю эту эскадру островов и вершин, над которыми возвышался полуют скалы, внезапно падает вечернее умиротворение и […неразб.] на молчаливые корабли.

Вложенное письмо.

Мой дорогой N.

Мое сегодняшнее молчание касается только меня одного. Оно связано со слишком многими обстоятельствами моей личной жизни, чтобы я мог вам это объяснить. Впрочем, вы можете только порадоваться: если бы я стал говорить, то я не сказал бы того, на что вы надеялись, и никому не доставил бы удовольствия. В конце концов, у интересующего вас дела достаточно своих защитников (впрочем, признаю, что они были не слишком сильны в сложившихся обстоятельствах). Но ваше письмо побуждает меня высказать то, что я уже давно собирался сообщить вам. Тем более, что в великом конфликте, разрубившим надвое XX век, свой выбор вы уже совершили.

Вам известно, к примеру, что Восточная Германия уже давно получила вооружение, и что там работают несколько нацистских генералов, как, впрочем, и на Западе. И вам известно, что СССР несколько раз признавал за Германией право иметь свои национальные вооруженные силы. Но об этом вы не говорите. Потому что вы допускаете перевооружение, коль скоро оно происходит под контролем СССР, но вы его критикуете, если оно совершается под эгидой Запада. И так во всем. В крайнем случае (спросите

себя сами) вы бы согласились, чтобы Франция превратилась в народную демократию при покровительстве Красной Армии (и напомню, я сам защищал коммунистов против всякой «атлантизации» внутренней политики). Когда вы говорили или писали мне о подобных проблемах, ваше внутреннее убеждение было понятно, ваше возмущение было искренним лишь тогда, когда вы говорили о преступлениях наподобие дела Розенбергов. Однако вы предпочли молчание, отягощенное сомнениями, если речь заходила о подавлении бунта германских рабочих силами коммунистического режима (эта деталь важна, и мне кажется, что именно в такие моменты и происходила болезненная, но решающая проверка позиции интеллектуалов левого толка).

Мне кажется, что вы уже сделали свой выбор. Поэтому для Вас будет совершенно естественно вступить в коммунистическую партию. Не мне вас в этом упрекать. Я вовсе не презираю сторонников коммунизма, хотя считаю, что они совершают смертельную ошибку. Но я презираю, и очень сильно, тех интеллектуалов, которые являются коммунистами не будучи членами партии, и которые изводят нас своими псевдостраданиями светских кюре и, в конечном счете,

очищают свою совесть за счет рабочих-активистов.

Сделайте же хоть раз в жизни то, что вам хочется сделать, придите в согласие с самим собой. И вы увидите результат. Вы постоянно сравниваете две величины, но знаете и можете судить только об одной — об обществе, в котором мы живем, и вы ничего не знаете о другой. Коммунистическая партия не поможет вам понять, что такое народные демократии. Ей это не под силу. Но она поможет вам понять коммунизм, о котором вы еще очень мало знаете. Хорошо, если вы найдете в нем умиротворение, правило жизни. А если нет, то, по крайней мере, вы действительно поймете, в чем заключается проблема.

Я повторяю вам свои мысли только потому, что хочу избежать недоразумения. Перевооружение Германии должно быть осуждено в обоих случаях, иначе — все это обман. И если я по-прежнему считаю непростительными помощь Франко или «фруктовую» политику в Южной Америке, или колониализм, то я категорически не приемлю и той «фруктовой» политики, которая была навязана Франции стараниями России и безоговорочно поддержана французской коммунистической партией. В общем, я по-прежнему выступаю

принципиально против действий и методов того, что я называю кесаревым социализмом.

Впрочем, все это вам известно. Просто мои книги значили для вас значительно меньше, чем вы говорите. Более реальной была личная симпатия, которую вы ко мне испытываете. Но тот, кто принимает религию, тоже любит своих друзей и мать, но он должен их покинуть. Ибо я не хотел бы, чтобы у Вас оставались иллюзии: с того момента, когда Вы выберете ортодоксию, подобную ортодоксии коммунистической партии, Вы вступите в церковь. Не сомневайтесь, признайтесь себе в глубине души, что для интеллектуала коммунистическое искушение — то же самое, что искушение религиозное. В этом нет ничего постыдного, при условии, что вы уступите этому искушению честно и осознанно. Что касается меня, то вы сохраните мою дружбу, пусть и на расстоянии. Я прошу вас только об одном: если вы осуществите свой план, и услышите, что обо мне говорят «объективно», что я ужасный фашист, то постарайтесь если не отрицать — ибо это будет невозможно, — но просто попробуйте так не думать. От всего сердца желаю вам удачи, примите заверения в моей преданности.



Вечером народные танцы в «Безумце Джонни». Я стараюсь увидеть в этих танцах хоть что-то интересное, но танцовщики и особенно танцовщицы чрезвычайно некрасивы.



1 мая.

Рано утром отъезд в Арголиду. Берег Коринфского залива. Пляшущий, воздушный, наслаждающийся свет переполняет залив и острова в открытом море. Мы остановились на минуту на краю скалы, и получили в дар всю необъятность моря, открывшегося в едином изгибе. Море было подобно кубку, из которого мы большими глотками пили свет и воздух.

За час пути я буквально захмелел от света, моя голова переполнилась сверканием и молчаливыми восклицаниями, а в пещере моего сердца звучали огромная радость, бесконечный смех познания, после которого я способен принять все, что бы ни случилось. Спуск к Микенам и Аргосу. Микенская крепость — вся в маках, растущих густыми букетами и дрожащих на ветру над царскими могилами. (Вся Греция была в этот момент покрыта маками и множеством цветов.)

С крепости открывается равнина, простирающаяся до Аргоса и моря. Царство Агамемнона было не более десяти километров в длину, благодаря его пропорциям, создается впечатление, что под солнцем еще не простиралось более широкого царства. Развалины Микен — между двух высоких скал, в окружении огромных каменных глыб, под палящим солнцем, — сегодня они царят над этой дикой, незабываемой землей.

Руины Аргоса не представляют для меня большого интереса. Меня очень интересует Жорж Ру, молодой архитектор из Воклюза — очень живо увлеченный своим прекрасным ремеслом. Я немного завидую ему и горько упрекаю себя за потерянное время в последние годы и за свое глубокое падение. Мы обедаем в Азине, а перед этим я купаюсь на прекрасном пляже в прозрачной и холодной воде.

Во второй половине дня Эпидавр, где по случаю 1 мая веселые греки устроили настоящее празднество. Но с высоты театра, в плотном и влажном свете, заливающем плавные контуры оливковых деревьев, эвкалиптов, [...неразб.] и акаций, все шумы слышны словно в отдалении — огромном и нежном. Только слабые колокольчики бараньего стада перекрывают все остальные шумы, но и

они звучат вдалеке. К тому же здесь прекрасное время дня.

Вечер. Нафплион у моря, в час, который греки именуют царством солнца: небо становится пурпурным, а на горы и бухты ложатся сиреневые и синие краски.



2 мая.

Утром отъезд в Спарту, страшное солнце. Просторные долины, словно целые царства оливковых деревьев и гордых кипарисов, бесплодные горы, редкие деревушки, — Греция здесь безлюдна. По ней бродят только стада овец — то розового, то зеленого, то красного цвета. Под снежными вершинами Тайгета, в долине реки Эврот Спарта распростерла апельсиновые поля, их мощный аромат останется с нами навсегда. Над Мистрой среди руин летают горлицы. Тихий монастырь с побеленными известью стенами выходит на огромную равнину Лаконии, где растут шарообразные оливковые деревца, четко отделенные друг от друга и трепещущие под неутомимым солнцем.

На обратном пути мы спускаемся к Нафплиону

— залив, острова и горы вдали. Останавливаемся в Аргосе, где встречаем молодых археологов, работающих на раскопках. Мне сразу же вспомнилось то впечатление, какое на меня произвела маленькая группа архитекторов, восстанавливавших Орлеанвиль и живших в нем маленькой коммуной. Я мог бы испытать чувство счастья и умиротворения только в ремесле, в работе, совершаемой вместе с другими и близкими мне людьми. Но у меня нет ремесла, у меня есть только призвание. И работаю я в одиночестве. Я должен принять свою работу такой, какая она есть, и стараться быть достойным ее, что в данный момент не получается. Но я не могу отделаться от некоторой горечи при виде этих людей, счастливых от того, что они делают.

Мы возвращаемся в Микены; когда мы оказались на самой высокой террасе, солнце как раз зашло и между возвышавшимися отвесными скалами появилась прозрачная луна. Но перед нами у подножья темно-синих гор Аргоса простирается погруженная в темноту равнина, она тянется до более светлого моря с правой сторо-

ны. Огромное пространство, и молчание здесь так абсолютно, что даже звук выскочившего из-под ног камешка вызывает чувство стыда. Едва слышно, как вдали пыхтит поезд, ослица на равнине испускает жалобные крики, по склонам разносится перезвон колокольчиков пасущегося стада, словно звуки падающей воды. В этой дикой и нежной декорации [...неразб.] прекрасно. По буйно цветущим теперь макам, у самой земли пробегает легкий ветерок. На микенских львов медленно опускается самый прекрасный в мире вечер. Горы понемногу темнеют до тех пор, пока все десять хребтов, видневшиеся на горизонте, не сливаются в одну синюю дымку. Сюда стоило приехать издалека, чтобы насладиться этой большой частью вечности. После этого все прочее не имеет значения.



3 мая.

Утром работа. В тринадцать часов отъезд в Дельфы. Тот же самый свет, но теперь уже на меньших высотах — каменистых, без единого деревца. В такие минуты чувствуешь, что Греция — это, прежде всего, пространство изогнутых или

прямых линий, всегда обладающих четкостью. Земля рисует небо, придавая ему формы, но и небо не может, в свою очередь, не творить земные рельефы, гармоничная замкнутость которых образует свое пространство. И малейшая черта может разделить два великих царства: землю и ее двойника — небо. Когда мы приехали в местность, напоминающую лоханку, единственное облако, уже некоторое время росшее прямо на наших глазах, прорвалось и свирепствовало несколько секунд. Мощные градины с оглушительным шумом расстреливали машину. Через пять минут мы покинули «лоханку», снова увидели чистое небо и весело продолжили наш путь.



Дельфы. Грандиозное место, но прежде всего, поражает темно-зеленая река, толкающая мускулистые крупы [...неразб.] в глубине огромной долины к морю. Оливковые деревья растут очень тесно, и когда смотришь на них с такой высоты, они кажутся сплошной трепещущей дорогой, идущей к горизонту. А руины, пережившие ту же грозу, которая разразилась и над Дельфами, выглядят еще живописнее среди повеселевших

цветов и яркой зеленой травы. Черный орел застывает на несколько секунд на очень большой высоте, а потом исчезает из виду. День постепенно угасает, и с высоких скал опускается мягкий воздух, возвещающий о вечере. Я возвращаюсь на стадион, откуда выхожу счастливым.

Вечер. Четыре грека любезно приглашают меня потанцевать под звуки бузуки. Но в этом танце довольно сложные па. Было бы у меня время, я бы обязательно научился. Из моей комнаты видна долина, вся темная вплоть до маленького ожерелья огней, окаймляющего море. Луна, окутанная легкой пеленой, покрывает горы и затененные ложбины тонкой пылью света. Молчание — такое же огромное, как и все пространство — прекрасно.

4 мая.

Утром отъезд в Волос. Суровые горы, затем ламийская равнина. Горы снова становятся более мягкими и зелеными под восходящим солнцем, и перед нами уже открывается Фессалийская равнина. Первобытные хижины валахов — и широчайшие пространства. Ощущается близость

Востока. Волос. 80 % домов разрушены полностью или частично[185]. Весь город в палатках. Лучи солнца давят на брезент и пыльный город. Туалетов мало или вообще нет. Я задаюсь вопросом, как избежать эпидемии. Французский лицей тоже в палатке. И гладкое и свежее море тут же, рядом с разрушенным городом. Во дворе разрушенного дома меня принимает мэр города. Умный и элегантный человек. По моей не очень обдуманной просьбе появляется парикмахер, он стрижет меня прямо во дворе, среди людей, в обстановке самой очаровательной фамильярности. И еще о городе. Мессу тут служат на улице, есть палаточный госпиталь и т. д. Возвращаемся на автомобиле в Ларису. Потом едем на маленьком поезде. Из Ла́рисы в Салоники. Наступает ночь, и мы едем вдоль моря, сверкающего под луной. Доехали в 23 часа.



5 мая.

Работа. Обед с Тернером и полковником

---

[185] notes: 185

Здесь было землетрясение в 1955 г.

Брамблом[186] (или кем-то еще, сильно на него похожем). Византийские церкви. Маленький монастырь с павлинами. Святой Давид, святой Георгий, святой Димитрий. Двенадцать апостолов (святая София без особого интереса). Должен признаться, меня не очень трогает византийское искусство. Но мне интересно, как происходила эволюция с V по XII век, выявляющая связь между эллинистическим периодом и кватроченто. Например, в мозаиках и фресках с изображением двенадцати апостолов, нет жесткости и иератизма, типичных для первых веков византийского искусства. Здесь уже чувствуется предвестие Дуччо. Немного позже (вечером) я расспросил специалиста, который объяснил мне, что после падения Константинополя византийские художники эмигрировали в Италию.

Таким образом, восточное влияние постепенно исчезало.

Вечер. Лекция. Меня растрогала одна юная слушательница. Университетский прием. Ночью я отдыхаю на балконе своей комнаты, глядя на порт, каиков, море на уровне набережной, и наслаждаясь прекрасным запахом соли и ночи.

---

[186] notes: 186

Персонаж романа Андре Моруа «Молчаливый полковник Брамбл» (1918).



6, 7, 8 мая.

Обед с Т. на скале с видом на море. Сладостное время. Потом Т. играл мне свои последние сочинения. Надо уезжать. Самолет. Под нами в сверкающем море проплывают Спорады. Ужин с Мерлье[187]. В полночь за мной заходит Д., и мы убегаем в Пирей, где нас ждет г-н Альгадес со своим красивым куттером. Добрый толстяк — радостный и сердечный. Мы выходим из Пирея под пепельной луной, освещающей море теплым и ирреальным светом. Я счастлив, слушая, как под корпусом лодки бьется вода, и снова созерцая легкую пену, расходящуюся по обе стороны от форштевня. Но в какой-то момент мы замечаем, как из моря поднимается туман, разрастается и постепенно закрывает собой весь горизонт. Становится холодно и влажно. Альгадес говорит, что в этом архипелаге он не видел ничего подобного. Надо развернуть куттер, чтобы не врезаться в маленькие острова. Я спускаюсь спать. Не могу заснуть до шести часов. Через два часа просыпаюсь и поднимаюсь на палубу. Туман так и не

[187] notes: 187

Мерлье, Октав (1897–1976) — директор Французского института в Афинах с 1938 по 1961 г.

рассеялся. Альгадес и его помощник всю ночь не смыкали глаз, следя за тем, чтобы корабль не сел на мель. Но постепенно поднимается солнце: сначала бледное, оно прорезает туман и, в конце концов, рассеивает его. К одиннадцати часам мы мчимся (без парусов, потому что нет ветра) по неподвижному морю в блестящем и утонченном сиянии. Воздух так прозрачен, что, кажется, можно услышать малейший звук, доносящийся с линии горизонта. Солнце нагревает палубу, жара понемногу усиливается. В этот момент и появляется первый остров. Из-за вынужденного изменения маршрута мы проходим между Серифосом и Сифносом. На горизонте видны Сирос и другие острова. Они прорисовываются в небе с четкостью чертежа. На опрокинутом киле островов маленькие деревушки прилипли к склонам — они похожи на ракушки, белые окаменелости, оставленные везде отступившим морем.

Маленькие желтые острова, словно стога пшеницы в синем море.

Мы проплываем среди этих отдаленных островов по сияющему морю, по которому пробегает мелкая рябь, медленно идем вдоль Сироса, вскоре показывается Миконос, и в течение дня он вырисовывается все четче и четче, и вот уже

видна голова змеи, обращенная к Делосу, пока еще не видимому за Ринией. Заходит солнце — в этот момент мы оказываемся среди островов, начинающих менять свой цвет. Угасает золотой, возникает мальвовый, потом зеленовато-фиолетовый, дальше краски темнеют, и массы островов на еще сверкающем море становятся темно-синими. Тогда на воды спускается странное и великое умиротворение. Счастье, наконец-то, я готов плакать от счастья. Как бы я хотел удержать, сжать в руках эту невыразимую радость, зная, конечно же, что она исчезнет. Но она тайно продолжалась уже столько дней, а сегодня сжала мне сердце так откровенно, что мне кажется, она будет хранить мне верность, и я буду возвращаться к ней всегда, когда пожелаю.

Спускается ночь, и в Миконосе мы выходим на берег. Церквей столько же, сколько домов. Все белое. Мы бродим по маленьким улочкам, где как раз открываются разноцветные торговые лавки. На совершенно темных улицах нас встречает запах жимолости. Над белыми террасами слегка поблескивает луна. Мы возвращаемся на куттер и я засыпаю таким счастливым, что даже не ощущаю усталости.

Утром на выбеленные дома Миконоса падает

божественный свет. Мы поднимаем якорь, чтобы плыть в Делос. Море прекрасно, прозрачно и чисто, оно уже легко просматривается до самых глубин. Приближаясь к Делосу мы видим на ближайших склонах острова огромные гроздья маков.

Делос. Остров львов и быков, их изображениями покрыт весь этот остров животных, напомним еще и о змеях […] и больших ящерицах с темными телами, но со светло-зелеными хвостами и головами, и о дельфинах на мозаиках. Эрозия выветривала и откалывала мрамор, из которого были высечены львы, и создавалось впечатление, что это не мрамор, а каменная соль, немного призрачный материал, готовый раствориться при первом же дожде. Но и этот остров львов и быков был весь усеян руинами, похожими на ветхие коричневые останки, и среди этого тлена можно внезапно совершить восхитительные и свежие открытия (мозаики с изображением отдыхающего Диониса).

Остров развалин, а также и цветов (маки, вьюнки, левкои, астры). Остров искалеченных музейных богов (маленький курос). В полдень мы совершаем восхождение на вершину Кинтоса, а вокруг заливы, свет, красные и белые пятна; хоро-

вод Киклад медленно кружится по сверкающему морю вокруг Делоса, в едином движении, словно совершая некий неподвижный танец. Этот мир островов, столь тесный и просторный одновременно, кажется мне сердцем мира. И в центре этого сердца — Делос, и с вершины, на которой я нахожусь, я могу созерцать, при прямом и чистом свете мира, совершенный круг, очерчивающий мое царство.

Позже, когда мы вернулись к шлюпке, мы заметили прелестную греческую девочку-подростка, запросто одевающуюся на набережной. Шлюпка уже отходила от берега, и я поприветствовал ее знаками, а она тут же ответила красивой улыбкой. Добравшись до куттера я разделся и нырнул в прозрачную и зеленую воду. Она была ледяная, и я вернулся, сделав всего нескольких гребков. Потом мы возвратились в Миконос. Эта возможность промчаться по морю вдоль и поперек, от одного острова к другому, порождала чувство бесконечной свободы. Свободы, совершенно не ограниченной тем, что мир островов имеет естественные границы. Наоборот, именно этот круг и порождает ликование свободы. Достичь свободы для меня — вовсе не означает вырваться из этого круга и уплыть на Суматру. Но плыть

еще и еще — от абсолютно голого острова к другому, покрытому деревьями, или от скалы — до острова цветов.

В Миконос — за покупками. Мне больше нравится ночной город. Уходим в море поздно вечером. Странная грусть, напоминающая мне любовную печаль, при виде Делоса и Кинтоса, постепенно исчезающих за Ринией. Впервые я наблюдаю, как исчезает земля, которую я люблю, с мучительным предчувствием, что, может быть, я больше никогда не увижу ее до самой смерти. Тяжело на сердце. Снова меняющиеся краски — на море и на островах [...неразб.], паруса, мягко хлопающие при слабом ветре. Едва только нам удалось насладиться миром, поднимающимся от моря к небу, которое постепенно освобождалось от своего света — и уже за скалистым островком встает луна. Она быстро поднимается по небу, освещает воду. Я смотрю на нее до самой полуночи, прислушиваюсь к парусам, ощущая всеми фибрами души малейший удар воды о борт корабля. Свободная жизнь в море и счастье этих дней. Здесь все забывается и все рождается заново. Чудесные дни, проведенные в полете над водой, между островами, покрытыми цветочными венчиками и колоннами, при неутомимом

свете, — я стараюсь удержать их вкус во рту, в сердце, второе откровение, второе рождение…

Наутро поднялся сильный ветер, захлопали паруса, увеличился крен, и мы стремительно поплыли к Пирею под мощный грохот воды и полотнищ. Дождь света — капли падали и отскакивали от утреннего моря.

Отчаяние от того, что покидаю этот архипелаг, но это прекрасное отчаяние.



9 мая.

Отъезд в Олимпию. Дорога, идущая вдоль коринфского залива. Пляжи и заливы. Купание в Ксилокастроне. Я чувствую силу деревьев, вод, плодов свежей земли. Недалеко от Олимпии холмы, покрытые хрупкими кипарисами. Мягкость и нежность этих мест при сероватом (впервые!) свете. Высокие сосны и развалины храмов Зевса и Геры. Крики птиц, кончается день, и вскоре из заснувшей ложбины поднимается покой. Ночью я думаю о Делосе.



10 мая.

Серое утро — впервые — над долиной Алфея, которую я вижу из окна. Но на камни, кипарисы и зеленые луга падает мягкий свет. После Делоса я с особой силой ощущаю покой, царящий на этих холмах, мягкость тени, молчание, пропитанное легкими криками птиц. Музей. Вместе с фресками Сифноса в Дельфах, это вершина классической скульптуры. После Аполлона или трех фигур с восточного фронтона, или всевозможных Афин на метопах, Гермес Праксителя — слащавая удача, от нее разит декадансом. За ним, впрочем, были выставлены две превосходные терракоты большого формата — воин и Зевс, похищающий Ганимеда, — это свидетели великолепно иного искусства. Странные архаические бронзы, куросы, грифоны, статуэтки, словно явились прямо с Востока. Прогулка. Идет легкий дождь, и нежные и вымытые цвета долины — приятно мягки для глаз. Я очарован разнообразием пейзажей. Греции удается превратить свой ландшафт в абсолютное совершенство.

Общался с людьми из деревни, они любезно фамильярны. Свободны в манерах и движениях, но политической свободы здесь не существует.

Небольшой вечерний дождик. Взбираюсь на холм через заросли пахучих цветов. Деревенька

Фрония. Убогие дома. Дети в лохмотьях, хотя на вид совершенно здоровые.



12 мая.

Свежее и лучистое утро. Все больше начинаешь ценить тень под деревьями вокруг руин. Божественный свет. Купание и обед в Ксилокастроне. Чистая вода была не такой холодной, но главное, воздух стал прозрачен, и по другую сторону коринфского залива открылись горы во всей своей странной чистоте. При этом пейзаже в улыбке М. появилось что-то величественное. Так продолжалось во время всей дороги, а потом, очень скоро появился Афинский залив, острова, где можно было разглядеть каждый дом и каждое дерево. Я прекращаю описывать все это наслаждение, потому что оно стало меня переполнять. Наслаждение — целомудренное, простое, сильное, как сама радость и порождаемый ею воздух.



Гефестейон.

В светящемся и чистом небе кусочек луны, словно лепесток боярышника.

Вечер у Р. Д. Жимолость, залив в ночи вдалеке, таинственный вкус жизни.



13 мая.

Сегодня, перед самым отъездом, с вершины Афин я хочу окинуть мысленным взором эти двадцать дней стремительной прогулки по Греции, и они кажутся мне единым и долгим источником света, который я смогу хранить в сердце своей жизни. Для меня Греция — словно один длинный сверкающий день, растянувшийся вдоль морских переправ, и еще — словно гигантский остров, усеянный красными цветами и искалеченными богами, безустанно дрейфующий по морю света под прозрачными небесами. Запомнить этот свет, прежде чем вернуться в ночи дней…



14 мая.

Отъезд в Эгину. Тихое море. Горячее и голубое небо. Маленький порт. Каики. Восхождение на Афайю. Три храма, подвесившие в мировом пространстве голубой треугольник: Парфенон; Сунион; Афайя. Я заснул на плитах храма, в тени

колонн. Долгое купание в маленькой теплой бухточке Айя Марины. Вечером в порту продают большие лилии с удушающим ароматом. Эгина — остров лилий. Возвращение. Солнце катится вниз, теряется в облаках, становится золотым веером, потом большим колесом с ослепительными лучами. Снова дрейфуют острова, и вечером я окончательно покину их. Глупое желание плакать.

Вечером Варигерес и театр китайских теней.



15 мая.

Воскресенье. Византийский музей. Вместе с Д. в Кифисии, потом на афинских пляжах. Прогулка по морю под прекрасным ветром, переполненным светом. Для меня это момент прощания со страной, которая все эти недели щедро дарила нам одну долгую радость.



16 мая.

Отъезд в Париж, сердце сжимается.



Роман. Он смотрел на мину — блестящую, ослепительную от солнечного света, — она заслоняла собой двигатель. И он снова ощутил, как засочилась таинственная радость, вслепую заструился родник. То была радость Делоса, кругообразная, красная и белая, и круг этот вращался. В самолете, растерянно пикировавшем в сторону моря, над едва пробивавшимися молодыми всходами, жизнь начиналась заново, она была равна близкой смерти.



«Гостеприимство». Заключенный идет по дороге в тюрьму, но Дарю его обманул, он показал ему дорогу к свободе.

Роман. Гордый персонаж. Он не кричит от боли. Не уступает.

Человек из привилегированного общества открывает в зрелом возрасте жизнь рабочего. Ибо он хочет постепенно отрешиться. И этого никогда не достаточно. Стать рабочим, не то же самое, что родиться рабочим. В конце концов, за это надо умереть.

Я пытался быть универсальным человеком, и объединял в себе все. А потом…



«Первый человек». Семья Франсины. Семья Вольфромм.

От гения у римлян было лишь то, что мы называем этим словом в армии.

История создается из крови и отваги. Ничего не поделаешь. Когда раб берется за оружие и отдает свою жизнь, он, в свою очередь, царит, как хозяин и действует как угнетатель. Но когда впервые в мировой истории угнетенный будет царить с помощью правосудия, не занимаясь, в свою очередь, угнетением других, все завершится и все начнется наконец.

Моя статья о Гренье[188]. Тяжело. Словно вынимаешь одно за другим полена из пылающей печи. И тогда оказываешься перед черными головешками.

В Древней Греции тому, кто хотел получить судейское звание, было запрещено заниматься коммерцией в течение как минимум десяти лет.



[188] notes: 188

Здесь и далее речь идет о предисловии к новому изданию книги Р. Гренье «Острова» (выйдет в 1959).

«Жюли». Она полагает, что способна жить с двумя возлюбленными. Но когда Жильбер говорит, что он тоже будет жить с двумя возлюбленными, она не может разрешить ему то, что разрешала себе. Но она не может его судить. Отсюда ее позорная болезнь.

Довольно нежности, чтобы еще присутствовать… Такая самоотверженность подразумевает все-таки убежденность в ее пользе. У меня же ровно противоположное впечатление, и это меня обескураживает.

Каждый день — сильная боль и солнце. Он выздоравливает и в одиночестве поклоняется красному богу.

Мера и безумие. Мера в отношениях с другими; безумие, направленное против себя; принудить себя, согнуть себя. И то, и другое одновременно в обоих случаях.

У Иисуса было 300 миллионов современников. А впоследствии — 2 миллиарда.

В аду не горит ничего, кроме собственного «я» (святая Екатерина Генуэзская).

Единственная французская индустрия, где нет безработицы, это злоба.

«Первый человек». Так долго он был миролюбивым. И потом в один прекрасный день он согласился биться и рисковать жизнью. Его радость.



Итальянское *talento* означает желание.



«Первый человек». «Много лет спустя, когда, раздавленные под тяжестью забот, мы расставались вечером с чувством легкого разочарования от того, что в тот день нам не удалось по-настоящему любить друг друга, тот маленький победоносный жест, которым она приветствовала меня перед своей дверью, а я ждал за рулем своей машины, пока она уйдет, связывал этот, по всей видимости потерянный день крепкой нитью нашей упрямой любви и спасал ее от всякой горечи».

Там же. Невероятная жесткость Джессики при разрывах. Потеря любви — это потеря всех прав после того, как у вас были все права.

Пьеса. Человек, который сегодня *назначает*

себя королем.



Этьен[189]. Ревет, когда просыпается и когда он один.

В конце концов (если одна жизнь стоит другой жизни), приговоренный сам оправдывает смертные приговоры. (см. Мелвилл, в конце концов, признавший свое поражение в «Билли Баде»).



6 ноября 56 г.

Перед лицом постоянной угрозы тотального уничтожения в войне, то есть лишения будущего, какая мораль может позволить нам жить хотя бы в *настоящем*? Честь и свобода.



Я из тех, кого Паскаль восхищает, но не обращает в свою веру.

Паскаль — величайший — вчера и сегодня.



[189] notes: 189
Синтес, Этьен — глухонемой дядя А. Камю.

«Первый человек». Друг Саддок.

1) Молодой активист — Мой товарищ — кризис 36.

2) Друг — Возвращается к мусульманским обычаям, потому что его предали. Женится по воле отца. Боялся упустить свою незнакомую жену.

3) Террорист.

Позже у одного европейского друга изнасиловали и убили жену. Первый человек и этот друг берут оружие, ловят сообщника, пытают его, потом бросаются в погоню за виновным, настигают его и убивают. Их стыд после содеянного. История — это кровь.

Там же. Эпизод из Сопротивления. Лучше бы он стал героем R.A.F.[190]. Если уж быть убитым, то издалека. И не чувствовать постоянно присутствие, жестокость врага. Но нет, он мечтает о гигантских баталиях в горящем небе метрополий, из метро он идет в пыльные или грязные места, из Парижа в Сент-Этьен.

Там же. Сцена в Фобур Монмартр. В то время, как приближался стук эсэсовских прикладов по воротам и напуганные соседи проклинали

---

[190] notes: 190

Résistance Armée Francophone — одно из подразделений французского движения Сопротивления (букв. пер. — Франкоговорящая Армия Сопротивления).

участников Сопротивления, он смотрит на себя: на его лице презрение. Но почему презирать? Он избавляется от фотографии. После обыска эсэсовцев он уходит, испытывая небольшой стыд. Он обнаруживает при себе такой же компрометирующий документ.



«Первый человек». Пьер — профессиональный активист, Жан — дилетант. Пьер женат. Оба встречают Джессику. Жан и Джессика в качестве его старой любовницы. В один из перерывов она сходится с Пьером, потом бросает его и причиняет боль, а он, в свою очередь заставляет страдать жену. Так, вдали от собраний он узнает, что такое реальное правосудие. Жан, наоборот, научился любить Джессику, и благодаря любви он идет к людям. Пьер умирает рядом с Жаном (война, Сопротивление), который ненавидел его из ревности. И он помогал ему от всей души. Он — мужчина, которого она любила, хотя бы немного.

Там же. Открытие любви. Очарование М. А.



Джорджоне — художник музыкантов. Плавность сюжетов и живописания без четких контуров, взаимопроникновение форм, — женственность ощущается во всем, и особенно в изображении мужчин. Сухость чужда сладострастию.

Венеция в августе, и тучи туристов, которые вместе с голубями набрасываются на площадь Святого Марка, чтобы наклеваться впечатлений: они сами себе устраивают и отдых, и безобразие.



Парма. Здесь все по-прежнему. Маленькие площади, которые я любил 20 лет назад и которые существуют вечно, вдали от меня.



Роман. Не забыть Италию и *открытие искусства* — и религии, внезапно проявившейся в связи с искусством.

Каждый раз — мир в сердце. Но на этот раз, в уже давно подавленном, не способном на свежесть или волнение сердце. И все-таки Сан-Лео, и сердце открывается благотворному молчанию. Дорогая Италия, где я бы смог вылечить всё. На

обратном пути старый запах пыльных тропинок. Длиннорогие белые быки Романьи тянут скрипящие повозки. Запах соломы и солнца.

Сан-Лео — и желание остаться здесь. Написать список мест, где, как мне кажется, я мог бы жить и умереть. Всегда маленькие города. Типаса. Джемила. Кабри. Вальдемоса. Кабриер д'Авиньон и т. д., и т. д. Вернуться в Сан-Лео.



Урбино. Все эти маленькие города — полностью закрытые, строгие, молчаливые, замкнутые в своем совершенстве. В сердце суровых стен равнодушные персонажи «Бичевания» вечно ждут, а перед ними ангелы и высокомерная Мадонна делла Франческа. Сансеполькро. Христос воскрес. И вот он уже выпрямляется у своей могилы, как суровый воин. Новые фрески Пьеро делла Франческа. Долина Сансеполькро — еще одно место, куда надо вернуться к концу жизни. Широкая, ровная, под спокойным небом, она хранит свою тайну.

Я снова выхожу к морю — теплому и мягкому для мускулов.

Тяжесть Святого Креста. Мадонна дель Парто.

К концу своей жизни я хотел бы возвратиться на дорогу, ведущую вниз, в долину Сансеполькро, и медленно спуститься по ней, пройти по долине между хрупкими оливками и длинными кипарисами и в доме с толстыми стенами и свежими комнатами отыскать голую комнату с узким окном, откуда я мог бы наблюдать, как на долину опускается вечер. Я хотел бы вернуться в сад Прато, в Ареццо, и снова совершить прогулку по маршруту охранников крепости однажды вечером, чтобы увидеть, как на этой несравненной земле воцаряется ночь. Я хотел бы… Везде и всегда все то же желание одиночества, которое я даже не понимаю и которое похоже на объявление о смерти с непременным привкусом отрешенности.

Вернуться на площадь Синьории в Губбио и подолгу смотреть на долину под дождем. Увидеть Ассизи без туристов и мотороллеров, и слушать гармонии звезд на Верхней площади Св. Франциска. Увидеть Перуджу без отстроенных вокруг нее домов, и получить возможность посмотреть на хрупкие оливковые деревья на холмах, одним прекрасным свежим утром, на границе Порта-дель-Соле.

Но главное, главное, снова пройти пешком с

рюкзаком от Монте-Сан-Савино до Сиены, прогуляться среди оливковых рощ и виноградных полей, запах которых я снова ощущаю, по холмам из голубоватого туфа, простирающихся до горизонта, увидеть, как на закате возникает Сиена со своими минаретами, словно Константинополь совершенства; прийти сюда ночью, без денег и в одиночестве, заснуть рядом с фонтаном и быть первым на Кампо — площади в форме ладони, подобной руке, дарящей все то самое великое, что создал человек — после Греции.

Да, я хотел бы снова увидеть наклонную плоскость площади Ареццо, ракушку Кампо в Сиене, и поедать от души арбузы на жарких улицах Вероны.

Когда я состарюсь, я бы хотел, чтобы мне было дано вернуться на эту дорогу к Сиене, равной которой нет ничего в мире, и умереть там в канаве, окруженный лишь добротой этих незнакомых итальянцев, которых я люблю.



22 августа 1955 г.

Базилика Сан-Франческо в Сиене. 11 часов утра.



В музее Сиены один из многочисленных Страшных судов (Джованни ди Паоло). Справа среди блаженных — два друга, которые находят друг друга и выражают свою радость, поднимая руки. Слева — в аду — Сизиф и Прометей, которым продлили наказание.



Роман. Портрет скорпиона. Он ненавидит ложь и любит тайну. Деструктивный элемент. Ибо необходимая ложь служит консолидации. И вкус к тайне приводит к непостоянству.



Роман. Кузнечики — Землетрясение. Нападение на одинокую ферму — Нападение на Филиппвиль — Нападение на школу — Тайфун над Немуром.



Чувственный, побеждающий, в самом разгаре наслаждений и успеха, он вдруг отказывается от

всего и выбирает целомудрие, застав двух пятнадцатилетних детей, когда они открывали любовь на лицах друг друга.



Он хотел быть банальным, развлекался, танцевал, он говорил, как все, и у него были обычные вкусы. Но он всех смущал. По одному его виду все подозревали, что у него были мысли и занятия, которых на самом деле не было, или все-таки были, но он не хотел выставлять их напоказ.



«Первый человек». Мать, вынужденная бежать из Алжира, заканчивает свои дни в Провансе, в деревенском доме, который купил ей сын. Но в изгнании она страдает. Ее слова: «Это хорошо. Но здесь нет арабов». Она умирает, а он начинает понимать.

Название: Отец и Мать?



24 октября 1955 г.

Угрозы смерти. Моя странная реакция.

Они были вместе, невзирая на время. Но проходят годы, и она больше не смеет показываться перед ним голой при свете парижского утра.



Алжир. 18 января.

Тревога об Алжире, не покидавшая меня в Париже, наконец-то отпустила. По крайней мере, здесь я занят борьбой, и борьбой нелегкой, потому что общественное мнение против нас. Но именно в борьбе, в конце концов, я обретаю мир. Профессиональный интеллектуал, вольно или невольно, вмешивающийся в общественные дела лишь в письменной форме, живет, как трус. Свое бессилие он компенсирует обильным потоком слов. Мысль может быть оправдана только риском. Да и всё что угодно все равно лучше этой предательской и жестокой Франции, этого болота, в котором я просто задыхаюсь. Да, я впервые за последние месяцы проснулся счастливым. Я снова нашел свою звезду.



Преодолевая то, что неустанно всю мою жизнь делала из меня Франция, я попытался достичь того, что оставила в моей крови Испания и что было, как мне кажется, истиной.



21 января.

Угрозы по поводу сегодняшнего вечера и завтра.



22 января.

Поклонение. Загадка мира.



27 января.

«Первый человек». N. заявляет, что *только* К.П.[191] дала товарищам то, в чем они всегда нуждались. Разница в поколениях. Им тоже предстоит все узнать.



---

[191] notes: 191
Коммунистическая партия.

Любая художественная доктрина есть алиби, которым художник старается оправдать границы в своем творчестве.



Святой Августин жил в тоталитарном мире: в Поздней Римской империи. Марру[192] говорил: «Искусство жить в эпоху катастроф». Христианство испытывало двойное сопротивление — со стороны крестьян и со стороны аристократии. Гордость от принадлежности к Африканской Церкви. 14 лет верности одной женщине, которая родила ему Адеодата. Текст святого Павла, благодаря которому он вступает в лоно Церкви.

«Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти».

Он всегда боролся за то, чтобы защитить свой труд от внешних захватчиков. Его образ божественного «Солнца» освещает наш разум.

«При многословии не миновать греха».

---

[192] notes: 192

Марру, Анри-Ирене (1904–1977) — французский историк, специалист по первым векам христианства.

Страх целомудренный и страх рабский. «Ты можешь наслаждаться всем, но лица Моего не можно тебе увидеть. Выбирай». Никто не хочет всегда всем наслаждаться.

Те, кто обвиняют эпоху в том, что она является эпохой несчастья. «Они хотят не столько спокойного времени, сколько безопасности для своих пороков».

XVII век — век Августина.



Роман. Портрет В. Д. Тонкое и изящное тело с большими мощными руками и ногами танцовщицы. В ней все — действие, безудержная сила танца, в котором она раскрывается целиком.

Она ежегодно празднует тот день, когда у нее появился автомобиль. Она кладет только что купленное платье рядом с кроватью, чтобы просыпаться и сразу же радоваться, глядя на него.

Она выражает мысли только неопределенными словами. Ей надо пойти за кем-то в одно место, для того, чтобы пойти в другое место, где она должна что-то сделать… и т. д. Двойная или тройная тайная жизнь (напр., N.: «У меня обед»). «У меня нечистые мысли», — говорит она. Или

еще — о ком-то, кто наоборот, вовсе не внушает ей нечистых мыслей: «Телятина».

Мужчины, с которым у нее была связь. Ей кажется, что они другой расы, «словно зулусы», — говорит она. «Как можно не сочувствовать умному мужчине. Он понимает и видит то, что терпят другие, — терпят именно потому, что они не понимают и не видят». «Женщины, ожидающие от мужчины счастья на всю жизнь». «Непривлекательные женщины жадно стерегут своего единственного мужчину. Только привлекательные женщины способны на щедрость». «Не люблю очень молодых мужчин, они глупы. Мужчина всегда считает себя выше женщины, которую… Я готова принять подобное чувство от умного мужчины, но не от молодого дурака». Ее автомобильчик. «Не могу без него обойтись; я нежно люблю его за всю свободу, которую он мне дарит». Она хранит в нем старые и отвратительные старые башмаки, которые надевает для вождения, сбрасывая элегантные туфли в стиле Людовика XV. Впрочем, она везде сбрасывает обувь — в кино, ресторанах и т. д. Красивая ножка танцовщицы. «В моем квартале живут только бабульки и больные пеллагрой, поэтому я выделяюсь».

В гостинице, куда она приезжает с корзинами, заполненными румянами и туалетными принадлежностями, ее большая светлая растрепанная шевелюра [...неразб.].

«Надо честно себе признаться, известность — это афродизиак».

Если бы она стала миллиардером, а точнее если бы она вышла замуж за Онассиса, у нее была бы ванна из золота или платины (что очень подходило к ее волосам), наполненная ее любимыми духами, и она бы в ней отмокала.

«Машину свою я люблю больше, чем мать». Она любит время, в которое живет.

Она жадно использует любой повод, чтобы смеяться. Она страстно желает ухватить все, преуспеть во всем, испытать все удовольствия, какие существуют на сегодняшний день. Лыжи, море, танец, светская жизнь, рекламный успех. И она чиста в этом неистовом желании. Благодаря ему. «У меня есть защита». Ее слова: «Она опрокинула себе на голову омлет» (о блондинке); «она устроила бы бордель в стаде иезуитов»; «в этой сценке можно ходить ногами по стене или изображать повешенного поросенка, все равно будут хлопать». Когда у меня был перебинтован порезанный палец: «Ты похож на неуклюжего

плотника».

Вот, что я обожаю в В. и что меня притягивает в ней: принадлежа к совершенно неудобоваримому обществу, она угадала, что именно она сможет дарить другим, не мудрствуя лукаво (развить). В. и брак. Она будет верной женой, если выйдет замуж. У нее будет чувство долга перед несчастным, который… и т. д.

Ее свежие девичьи нижние юбки, они всегда видны, когда она садится.

«Не понимаю этих замужних женщин, которые надоедают своим мужьям. У них есть деньги, отец для их детей, безопасность, обеспеченная старость, и вдобавок ко всему этому они требуют верности. Это уже перебор». И еще: «В браке мужчина все теряет, женщина все выигрывает», и т. д. и т. п.



Дон Фауст и доктор Жуан. Лепорелло. Небытие.

Там же. Он становится актером. Театр о театре.

Там же. Фауст и молодость женщин (ср. Дюпюи).

Там же. Когда я влюблен, я не храню верность,

но я был бы влюблен в нее, если она мне была бы неверна.

Лепорелло: Небытие.

«Это ваш новый слуга?»

«Да, это философ. Я купил его в Париже».

Там же. Небытие. Я чувствую в вас сожаление, и оно меня смущает. Ничего, говорю же вам. Вы можете пригласить эту статую, увидите, она не придет.

Д. Ф. Ты в этом уверен? Пригласи ее.

Лепорелло идет к ней.

Д. Ф. Нет (колеблется). Да.

Лепорелло дурачится перед статуей.

Д.Ф. решает, что ему нужна целомудренность, он ищет и находит целомудренную девушку. Я был обращен уже давно. Но меня всегда сдерживало опасение по поводу того, что скажут мои друзья.

Старый доктор из пролога — ученый-атомщик. Он мог бы взорвать весь мир. Но это не тот случай; он хочет наслаждаться и знать.

Конец. Францисканцы заперли его в монастыре. Он отрицает их Бога и исповедуется им. Поклонение земному существу.

Если истинный творец окажется завтра один, он познает такую глубину одиночества, о какой не имела представления ни одна эпоха. Он должен будет в одиночку создать целую цивилизацию и служить ей. Однако цивилизация не может возникнуть без участия всех. И у творца будет подозрение, что эта цивилизация использует свой последний шанс и что он сам — один из последних, кто знает об этом.

Ф.М. У него на все найдется ответ, кроме приличий.



Перед третьей ступенью: новеллы о «герое нашего времени». Тема *суда и изгнания.*

Третья степень — любовь: Первый Человек, Дон Фауст. Миф о Немезиде.

Метод — искренность.



О История! Как просто раздумывать о ней вообще, но как трудно понять ее тем, кто испытывает ее на собственной шкуре.

У угнетенного нет никаких настоящих обязательств, потому что у него нет прав. Право

вернется только вместе с бунтом. Но стоит ему добиться прав, как на него сразу же будут наложены обязанности. Итак, бунт, как источник права, есть одновременно прародитель всех обязанностей. Так возникла аристократия. И вся ее история. Тот, кто пренебрегает своими обязанностями, теряет право и становится угнетателем, даже выступая от имени угнетенных. Но в чем заключается этот долг…



Роман. Депортированный, которого заставляют раздеться догола. Когда он снимает одежду, с манжеты отрывается одна пуговица и закатывается в угол, он подбирает ее.



Париж. Весна. Поздняя и внезапная. На всех каштанах встали восковые свечки.



М.: «Как я могу ревновать человека, который, как я знаю, должен умереть и ускользнуть от меня навсегда. Моя настоящая ревность — в том, чтобы

изо всех сил желать умереть вместе с ним».



«Растущий камень». Петух — А ведь это неплохо. Надо убить врага: а не он ли сам был врагом?

Д'Аррас: Да, он был врагом.

Петух: Здесь мы убиваем своих врагов, а потом будет Добрый Иисус.



У Солидор; мужчина по имени Барбара, исполняет свой номер травести (представившись светской женщиной) перед приглашенными: мать, бабушка и молодой человек — сын его тогдашнего любовника. Семейство радуется.



Июль. Палермо.

За три дня мистраль прочистил, отшлифовал все небо до самого тонкого его основания, до легчайшей пленки, прозрачной и голубой, раздувшейся от тяжелой золотой воды… и мы ждали, что она тоже прорвется, и поток желтого вина затопит землю ликующим потопом.

12 июля. Палермо.

О мистрале. Жаркие дни, я ждал его. В тот момент я поднимался на холм, покрытый ароматическими травами и мириадами малюсеньких окаменелых улиток. Он спустился с севера, очистил ближайшие горы, промёл небо до самого основания, взлохматил и протряс деревья, повыл в полях, загнал животных и людей в дома, воцарился, наконец… И т. д. И, разлегся на холме, перемолотил ракушки, устроил жестокую баню из ветра и солнца… праздник.

А.Б. рассказывает мне истинную историю об одном произведении ван Эйка. Вскоре после кражи заподозрили священника — помощника капитула. Тот признался. Он украл створку, потому что не мог видеть судей рядом с Мистическим Агнцем. Судьи поняли его мотивы, он получил отпущение грехов и дал обещание в день своей смерти рассказать о тайнике, где он спрятал дверцу. Наступает этот день. Последнее причастие. Он хочет говорить. Но его голос угасает. Он произносит непонятные слова и умирает.

В течение многих лет я утверждаю снова и снова главный принцип своего отношения к жизни — я отказываюсь покидать мир, его радости, его удовольствия, его страдания, и благодаря этому отказу я — художник.



Жан просит у меня снаряжение для рыбалки — я покупаю. Тщетно ищет червяков. Потом находит. Идет на рыбалку. Вылавливает шесть гольянов и рыдает при виде их агонии. Он больше не хочет ловить рыбу.



22 июля.

Легкая полная луна над тополями. Издалека Люберон выглядит почти белым и голым. Легкий ветер в камышах. Мы с мамой смотрим на эту чудесную ночь, и у нас одинаково сжимается сердце.

Но она уедет, и я всегда боюсь не увидеть ее больше.



«Немезида». Мысли, сосредоточенные на истории, презирают время, его последствия, его материальные и общественные строения. Для них история — нечто разрушительное.



Конец июля.

Ночи, наполненные луной и ветром. Большие [...неразб.]. Воклюз.



Можно сказать, что в этой стране ни одна партия не может слишком долго выдерживать усилий патриотизма. Так, правая партия не устояла в 1940 году, а шестнадцать лет спустя — и левая тоже.



Грозовая ночь. Утренний воздух сегодня легок, контуры чисты. На холме, затопленном свежим светом, ковер из розовых вьюнков. Аромат молодых кипарисов. Больше ничего не отрицай!



Когда ты знаешь только одно: я хотел быть лучше.



Музыка на трансатлантическом лайнере в южной Атлантике. Только музыка может быть соразмерна с морем. И некоторые пассажи из Шекспира, Мелвилла, [...неразб.].



Русский анекдот (полагаю, что вымышленный): Сталин якобы приказал Крупской прекратить всякую критику, угрожая, что назначит вдовой Ленина другую женщину.



Роман-конец. Мама. О чем говорит ее молчание. О чем кричит этот немой и улыбающийся рот. Мы воскреснем.

Ее терпение на аэродроме, в слишком сложном для нее мире машин и бюро, где следует бессловесно ждать, подобно тому, как на протяжении тысячелетий старые женщины всего мира, ждали, что мир пройдет. И потом совсем маленькая,

немного сломанная, она идет по огромному пространству к завывающим чудовищам, придерживая рукой гладко причесанные волосы…



Раз ничего не может искупить наши дни и наши действия, то не будем ли мы вынуждены возвысить их при самом ярком свете?



Роман. Этьен. Очень чувствительный. Яичный запах в тарелках. Отсюда микро-трагедии.



Париж. Красота — это совершенная справедливость.



Свобода — это не надежда на будущее. Это настоящее. И согласие с людьми, и мир в настоящем.



Революция — хорошо. Но зачем? Нужно сначала представлять себе цивилизацию, которую мы желаем создать. Уничтожение собственности — не цель, а средство.



Дед Толстого по отцовской линии посылал грязное белье из России в Голландию при первых снегопадах на санях, и они возвращались с выстиранным бельем незадолго до начала весны.

Толстой: «Как ни велико значение политической литературы, отражающей в себе временные интересы общества, как ни необходима она для народного развития, есть другая литература, отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы, самые дорогие, задушевные сознания народа, литература, доступная человеку всякого народа и всякого времени, и литература, без которой не развивался ни один народ, имеющий силу и сочность».

У Толстого был незаконнорожденный ребенок от Аксиньи (крестьянки).

Там же. Тургенев читает «Отцов и детей» Тол-

стому, а тот засыпает.

Там же. Графиня: «Он мне гадок со своим народом» (она переписала «Войну и Мир» 7 раз)

Там же. Толстой: «…ругательства расстраивают».

Там же. «…эгоизм — это сумасшествие».

Там же. Шекспир: «…страшная фальшь и гадость».

Оптина пустынь, которая привлекала к себе многих русских писателей, была основана в XIV веке покаявшимся разбойником.

См. Александра Толстая. Отец. Жизнь Льва Толстого[193]. С. 302 и особенно с. 444.

Толстой о Русско-японской войне: «В войне с народом нехристианским, для которого высший идеал — отечество и геройство войны, христианские народы должны быть побеждены». Там же — в его дневнике: «Преступно желаю смерти». И перед самой смертью: «Не унывай, Саша, все хорошо, очень, очень хорошо…».



Роман (конец). Она снова едет в Алжир, где

---

[193] notes: 193

Толстая А. Отец. Жизнь Льва Толстого. Нью-Йорк, 1953. А. Камю цитирует по французскому изданию Tolstoï A. Léon Tolstoï, mon père. P., 1956.

идут бои (потому что она хочет умереть именно там). Сыну мешают пойти в зал ожидания. Он остается ждать. Они смотрят друг на друга, стоя в двадцати метрах друг от друга, через три толстых стекла, и время от времени приветствуют друг друга знаками.



Рушится мир. Восток в огне. Вокруг нее люди раздирают друг друга, а М. на пустынном пляже где-то на краю Европы, на сильнейшем ветру, бежит наперегонки с тенью облаков на песке. Она — жизнь, и жизнь торжествующая.



Август 1956 г.

К.[194]. Я люблю это маленькое личико, встревоженное и ранимое, иногда трагическое, всегда прекрасное; это маленькое существо со слишком мощными запястьями, но ее лицо, всегда освещено каким-то темным и нежным светом, — светом чистоты, светом души. И когда на сцене она поворачивается спиной в ответ на оскорбление ее

[194] notes: 194
Во французском оригинале «С.».

партнера, это воплощенное маленькое несчастье, с хрупкими беззащитными плечами.

Впервые за много лет, я до самого сердца растроган женщиной, безо всякого желания, намерения, игры, я любил ее для нее, не без грусти.



Роман. После пятнадцати лет любви к Джессике он встречает молодую танцовщицу, обладающую почти таким же талантом, почти таким же огнем, как Дж. И в Жане рождается нечто похожее на его любовь к Дж. Словно он мог бы начать все сначала (и как если бы находящийся там же М.Э.[195] любил Джессику, ничего об этом не говоря). Но она молода, а он стар, и по-прежнему любит Джессику и свою любовь к ней. Он молчит. Отказывается. Жизнь не начинается сначала. Едва он обнаруживает, или ему это только показалось, что полюбил ее, как, охваченный ужасом, он решает никогда больше к ней не прикасаться. Мы хотим, чтобы все, кого мы начинаем любить, знали бы нас такими, какими мы были до встречи с ними, для того, чтобы они могли понять, что они из нас сделали.

---

[195] notes: 195
Во французском оригинале «М.Н.».



Вложенное письмо.

Я стар или скоро буду стар. Я потратил половину своей жизни на то, чтобы защищать одно существо, жертвуя другим и, может быть, частью себя самого. Ради нескольких месяцев или лет жизни я уже не могу отбросить то, что сохранял двенадцать лет. Я не могу разбивать кому-то сердце ради того, ради чего я уже разбивал другие сердца, подобно непослушному ребенку, ломающему все игрушки подряд.

Я всегда думал, что любовь или любое чувство, в конце концов, будет походить на то, чем оно было при своем рождении. И то, что я испытал перед тобой, это была любовь без желания владеть, дар сердца. Чувство собственности возникло позже, и оно было большим, но это не относилось к чувственности…

Может быть, поэтому мы и сможем создать некое сочетание, тайный союз, известный только нам одним, обязательство, договор.



Время перестало для меня существовать; по 10 часов в сутки в театре, расположенном в подвале,

при бедном, но жестком свете репетиционных ламп, я зачарованно следил, как в день скорби на этом маленьком личике, освещенном изнутри каким-то иным светом, отражаются все эмоции, какие только может породить на человеческом лице боль от жизни. Передо мной раскрывалось все самое глубокое, израненное, торжественное, безоружное, что может быть в человеке. И выходя из подвала, мы воспринимали как данность и внезапно нахлынувший дождь, и сладостную сентябрьскую ночь: они были знаками незыблемого порядка, декорацией волнений и страданий в сердце мужчины или женщины, — всего того, что в течение долгих недель заставляло меня жить и наполняло все мое существование.



К., персонаж романа. Молодая еврейка, ссыльная, служила в лагере эсэсовцам (сестра N.). *Она возвращается*. Она стала актрисой: 1) потому что умела потрясающе пародировать; 2) потому что это позволяло ей жить отдельно от мира; 3) потому что могла прожить все жизни, которые были бы значительно лучше той, которую она видела и прожила. И на ее лице: Бельзен и сострадание.

Именно этому и аплодируют.

Ее неловкость. Сжигает, сажает пятна, теряет, и т. д.

Они одни в машине после долгой ночной работы, пустой Париж, по железной крыше долго стучит дождь. На этом лице, освещенном через лобовое стекло только отсветом уличного фонаря, беспрерывно переливалась тень от капель воды, струящихся по стеклу. Они прижимались друг к другу вокруг этой тени в этом домике из железа, а вокруг них были улица, молчащий город, континент, огни мира, и он не отрываясь смотрел на это лицо, по которому струились слезы теней.



«Наши нежные, тайные, пустынные каникулы». Он встряхивал ветки деревьев над стенами, и капли воды лились на запрокинутое лицо его подруги. Он пил каплю за каплей, и они светились, как взволнованные и нежные глаза.



Воскресенье, 2 сентября 1956 г.

Медленное кораблекрушение и ее лицо утопленницы. Рождение.



Понедельник.
Постоянный дождь.



Вторник.
Дар в чистом виде. Ничего не требуя для себя.



Четверг, 6 сентября.

Невыносимая усталость и в довершение всего признание в любви.

Я хотел бы иметь возможность дышать — призывая память и верность в помощь своей любви. Но у меня все время сжимается сердце. Любовь к тебе беспрестанно раздирает меня. Ее израненные целования рук. Ее раздражающая привычка всегда оставлять что-то за собой.

Отец К. — Еврейский доктор — Во время оккупации остается в Париже. Умирает, сосланный в Биркенау. Тиф. Кремационная печь; «я думаю, что у него были золотые зубы». Он разошелся с женой, он был неистов, страстен, привлекателен. К. любила его. Ее жизнь началась в шестнадцать

лет после высадки союзников.

Париж, где солнце — роскошь, где стоит бешеных денег просто умереть, где больше нет деревьев — без счета в банке. И это Париж, желающий преподать урок всему миру.



Театр разрушает стены городов. А вот моль, которая хочет проесть в прах все театры, чтобы сделать их похожими на города.



В четырнадцать лет К. убегает ночью из дома в Эль-Биаре, сделав веревку из простыней.



К. — сердце жаждущее несчастья. Ее возмущение *против* собственного тела.



Любовь — трагическая, только трагическая. Трагическое счастье. И когда оно перестает быть трагическим, оно перестает быть, и человек сно-

ва бросается на поиски трагического.



Уничтожая естественную красоту, заваливая ее на больших пространствах промышленными отходами, индустриальная цивилизация создает и вызывает искусственные нужды. В результате бедность становится невыносимой, невозможной для жизни.



Помолодевший Фауст становится Дон Жуаном. Мудрый и старый дух в молодом теле. Взрывоопасная смесь.

Там же. Сцена, в которой Дон Жуан присутствует на собственных похоронах. Дон Фауст, или рыцарь Запада.



«Заря». Притча. Дон Жуан познания: такого Дон Жуана еще не открыл ни один философ, ни один поэт. Ему недостает любви к открываемым вещам, но у него есть ум и сладострастие, и он наслаждается чарами и интригами познания,

расширяя его до самых высоких и далеких звезд, до тех пор, пока, в конце концов, у него больше не остается целей для интеллектуального поиска, разве только абсолютно *болезненное* познание, он начинает напоминать пьяницу, который в довершение всего пьет абсент и неочищенную азотную кислоту. Поэтому, в конце концов, он и возжелал ада. Его *соблазняет* последнее знание. Может быть, оно тоже разочарует его, как все, что он знал. Тогда он должен будет остановиться навечно, он будет прикован к разочарованию и сам станет каменным гостем, и когда он возжелает вечерней трапезы познания, ее уже никто не сможет с ним разделить. Ибо во всем мире вещей не найдется больше ни одного куска для этого голодного.



Интеллектуалы прогресса. Вязальщики диалектики. В каждой голове они поднимают петли рассудка, распущенные фактами.



Безумная Жанна прожила сорок четыре года в маленькой комнатке без окон, где днем и ночью

горела лампа, она выходила лишь для того, чтобы пойти в монастырь по соседству и созерцать могилу мужа. Может быть, это и есть настоящая жизнь.

Деловой человек, которому все надоело, становится клоуном. Но не бросает ни дома, ни дел. Он просто наряжается клоуном.



N. N. После долгих поцелуев: «Как это было жестоко!»



Кюстин: «Противоречие между горячей душой и однообразием существования делает мою жизнь невыносимой».

Там же: «Сегодня, когда слово — это лишь переговоры между истиной и тщеславием»[196].



[196] notes: 196

Здесь и далее Камю цитирует по изданию: Custine A. de. Souvenirs et portraits. Monaco, 1956.

Два великих ума, которые небо подарило римлянам, — Лукреций и Сократ — покончили жизнь самоубийством.



После Брачных пиров — Лето. Праздник (1 — Футбол; 2 — Типаса; 3 — Рим — Греческие острова — Мистраль — Тела — Танец — Вечное утро).



Он потерял дочь. Теперь я стал стариком. Чтобы быть молодым, нужно будущее.



Избиение младенцев и жизнь Христа. Чтобы родиться виновным, надо умереть невинно.



Новый тираж «Падения», с. 73: «mélancholiques

rédditions», с. 126 corporation masculine[197].



Др. Шницлер. Прошел через много концентрационных лагерей. Он, в конце концов, остался в живых, потому что был *симпатичным*. Ему все помогали.



N.N., профессор: «Люди должны любить друг друга», «должны», «должны». А реальность вокруг него — неописуемый бордель.



Иногда я чувствую, как меня охватывает бесконечная нежность ко всем людям вокруг, — людям, что живут в моем веке.

---

[197] notes: 197

В метафорическом выражении «mélancholiques rédditions» содержится опечатка, надо писать «reddition» (букв. пер. «меланхолические капитуляции»). В окончательной редакции А. Камю использует выражение «mélancholiques abandons» (букв. пер. «меланхолические самозабвения»). В переводе Н. Немчиновой — «меланхолические излияния», подходящее к обоим случаям. Второе выражение переводится буквально как «мужская корпорация», это выражение используется и в переводе Н. Немчиновой.



Канадская проститутка в кафе рядом с «Фоли-Бержер»: «Мой отец объехал весь мир, я тоже, поверь мне, была в Германии, в Алжире, я слишком много страдала, умирала с голода, теперь я стала плохой, и моя мать не видела меня пятнадцать лет, мой отец подорвался на мине, и брат тоже, короче, я делаю это для тебя, потому что ты подруга, я жду уже достаточно, чтобы накормить деньгами семью, еще выйти с этим недоумком, о, как ужасно, я никого тут не знаю».



Н.: сдержанность — высшая сила.



М. говорит: «Христово племя — и то, и другое».



Пьеса. Один писатель (или ученый, или художник, или актер), утомленный общественным давлением, создал себе *в жизни* двойника. Рядом с ним возник очень достойный профессор — влю-

бившийся и впавший в детство: он хвастался, что умеет пить, водить автомобили, заниматься любовью, дзюдо, и т. д.



Параллельно с силой смерти и принуждения в мире существует и действует огромная сила, называемая культурой.

В Ветхом Завете Бог не говорит ничего сам, словами ему служат живые люди. Потому-то я никогда не переставал любить все священное в этом мире.



Н. реализовал себя. Он приумножил свой опыт, управляя им и ориентируя на самое великое существо и самую высокую эпоху, сочетая крайнюю степень свободы и строгую дисциплину, его непрекращающимся наказанием стала безустанно рискованная жизнь, его одиночество — осознанным и *расточительным,* соглашающимся склониться лишь перед существом мира, и только тайно. Больше не говорить, но делать, чтобы придать смысл более высокому слову, а

если и говорить, то только для… (Для теряющего память — дневник как инструмент подобной аскезы.)



Кюстин: «Арабская архитектура — искусство женственного народа (вырезанные листочки бумаги, которыми кондитеры покрывают свои коробочки с драже)». Он (Кюстин) приводит слова то ли Вольтера, то ли Дидро: «Русские сгнили, не успев созреть».



В 10 лет Ницше создает вместе с друзьями «Театр Искусств», где сыграли две написанные им драмы на античный сюжет.



Июнь 1957 г.

Закончился фестиваль в Анже[198]. Счастливая усталость. Жизнь, чудесная жизнь, несправедли-

[198] notes: 198

На этом фестивале А. Камю представил постановку своей пьесы «Калигула» и свою инсценировку пьесы Лопе де Вега «Рыцарь из Ольмедо».

вость, слава, страсть, борьба, — жизнь начинается еще раз. И еще раз заставляет меня всё любить и создавать всё заново.



15 июля.

Отъезд в Париж. Ночевка в Гере. Это мир отравительницы семейства.



17 июля.

Корд[199]. Молчание и красота. Одиночество большого дома, мертвого города. Я буквально ощущаю в себе течение времени, и ко мне возвращается дыхание. Вокруг Корда на идеальном круге холмов отдыхает небо — нежное, воздушное, облачное и в то же время светящееся. Ночью Венера размером с грушу закатывается с бешеной скоростью за западный холм. Она останавливается на минуту на линии хребта, потом внезапно исчезает за ним, словно жетон, мгновенно про-

[199] notes: 199

В Корде (департамент Тарн, Франция) находился замок, в котором коллега А. Камю по его алжирской журналистской работе, Клер Таргебер, устроила гостиницу. А. Камю написал предисловие к ее книге «Корд» (1954).

глоченный щелью. Вскоре замерцали мириады звезд, и млечный путь превратился в сметану.



18 июля.

Идет дождь. Сегодня утром дикая долина Аверона. Работа. Для меня стали невыносимы любые связи, я так обезумел от свободы, что сам все больше и больше усиливал одиночество, которое могло уже быть опасным. Я беспрерывно думаю о Ф., моей беде.

Вечер. Я в отчаянии от самого себя, от своей пустынной натуры.

20 июля.

Письмо от настоятеля по поводу Жоржа Дидье[200] — он погиб в автомобильной катастрофе в Швейцарии.



21 июля.

Уже несколько дней не прекращается дождь. Глубокая и сухая грусть.

---

[200] notes: 200

Дидье, Жорж — друг детства А. Камю, погиб в автокатастрофе в Швейцарии 9 июля 1957 г. См. также письмо А. Камю в Приложении.



22 июля.

Письмо от Ми, она рассказывает мне о своей семье и об их «злобных кутежах». Звонит по телефону любимому человеку, находящемуся в 700 километрах от нее, и не находит слов. «Я чувствовала себя ничтожной и радостной».



23 июля.

Истина. Истина!



24 июля.

Прекрасная и пустынная деревня, где разваливается буквально каждый дом. В разверстых гумнах, заполоненных крапивой, ржавеют старые бороны с колесами, словно старые и огромные пауки, населяющие это пустынное царство. Стремительный исход в города, заводы, — к массовым удовольствиям. Здесь, вокруг нас медленно умирает целая цивилизация, свидетельство тому — старые дома. Я сказал это М., она ответила, что ей кажется, что это не смерть, а

ожидание. Ожидания чего? — Мессии.



Все время идет дождь; я жажду света, как хлеба, и больше не могу себя выносить.



24 июля.

Отъезд в Руссильон. Море. Лекат. Возвращение 25-го вечером.



26 июля.

Превосходные утра. Захмелевшие ласточки.

Не любопытные: имеющиеся знания отвращают их от неведомого (Ш.[201]).

Буддизм — это атеизм, ставший религией. Возрождение *исходя из* нигилизма. Пример, по-моему, уникальный. Нам, борющимся с ниги-

---

[201] notes: 201
Во французском оригинале «С.».

лизмом, очень важно об этом подумать.



Невозможно требовать, чтобы страдание рассказывало о своих причинах. Тогда нам почти нечему бы было сочувствовать.



Корд. Каждый вечер я ходил любоваться на закат Венеры и восход звезд над ее постелью, разложенной на жаркой ночи.



Одна старая английская дама кончает жизнь самоубийством. Каждый день на протяжении многих месяцев подряд она отмечала в своем дневнике одно и то же: «Сегодня никто не приходил».



В конце «Подростка» (причем во всех трех вариантах) Достоевский устраивает иронический суд над Толстым.



Корд. 4 августа.
Мысли о смерти.



6 августа.
Посещение замка Кайла: одинокое и молчаливое место, вокруг которого весь мир словно только что умер. Я лучше понимаю то, что потом прочитал в дневнике Эжени де Герен: «Я бы охотно принесла обет затворничества в Кайле. Никакое место в мире не нравится мне так, как мой дом». И еще: «Где я буду? Где мы будем, когда снова вырастут эти деревья? Другие будут прогуливаться в их тени и наблюдать, подобно нам, за тем, как их будут ломать проходящие ветры».



Русские староверы полагали, что на левом плече мы носим маленького демона и ангела — на правом. Отсюда чисто театральная идея (для «Дона Фауста»?): ангел и демон вырастают пропорционально тому, как их кормят. В общем, тот *или* другой должен быть очень большим.

Мой персонаж возвращается вместе с двумя маленькими персонажами *одинакового роста.* Разговоры — между собой, персонажа с теми двоими, тех двоих — с персонажем и т. д.



«Легчайшая шелковая нить для меня невыносимее, чем для иных — свинцовое ядро». (Н.). Для меня тоже, увы.



Свидригайлов в «Преступлении и наказании»: *«одна комнатка <…> закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность».*



8 августа 1957 г. Корд.

После чтения «Преступления и наказания» я впервые почувствовал абсолютное сомнение в своем призвании. Я совершенно серьезно думаю отречься. Ведь я всегда считал, что творчество — это диалог. Но с кем? С нашим литературным обществом, принцип которого — злобная посредственность, и где вместо обоснованной критики

слышишь оскорбления? Или просто общество? Народ, который нас не читает, или буржуазный класс, который читает газеты и пару модных книг в год? На самом деле сегодня творец может быть лишь одиноким пророком, переполненным и буквально снедаемым безмерностью собственного творчества. А я — творец? Раньше я в это верил. Точнее, верил, что могу им быть. В этом-то я сегодня и сомневаюсь. И чувствую большое искушение прекратить эти бесконечные усилия, делающие меня несчастным даже посреди абсолютного счастья, отбросить пустую аскезу, отвергнуть голос, зовущий меня неизвестно куда. Я бы спокойно занимался театром, беззаботно писал бы драматургические произведения на случай и, может быть, даже стал бы свободным. На что мне уважаемое или честное искусство? И способен ли я вообще на то, о чем мечтаю? Если не способен, зачем мечтать? Надо освободиться и от этих мечтаний и согласиться на ничто! Как поступили некоторые другие, кто был гораздо значительнее меня.



12 августа.

К.С.[202]. «Величайшую жалость должна вызывать не боль, а гнусность. Самое большое несчастье — это чувствовать на себе позор. У вас такой вид, будто вы переживали только красивые, изысканные страдания». Это правда.



Эмерсон: «Тайна гения в том, что он не выносит вокруг себя никакого вымысла».



13 августа.
Отъезд из Корда.



Атональная музыка всегда драматична, хотя она и противопоставляет себя музыкальному романтизму. Отсутствие значения всегда патетично и драматично. То же самое — для живописи.



[202] notes: 202
Во французском оригинале «C.S.».

Комментарий к «Падению», потому что они не понимают. Выстроить и высмеять современную жизненную позицию и странную и непристойную светскость раскаяния в грехах. См. Честертон: «XIX век (то же самое — для XX в.) переполнен христианскими идеями, сошедшими с ума».

О том, что Ленин никогда не имел дело с массами. См. Шпербер: левые и четвертый пункт доктрины Трумэна.

Там же. Фрейд не ощущал никакого медицинского призвания, никакого «сочувствия страдающему человечеству».

Немезида. Глубинное родство марксизма и христианства (развить). Поэтому я против обоих.



Ослепшие любовники, убивающие на ощупь мужа-слепца.



Непрерывный Театр.



Притягательность религии для театральных

людей. Жизнь-сон и истинная жизнь.

Мне нравились увеселительные заведения (блестящие рестораны, дансинги и т. д.); люди придумали их для того, чтобы укрыться от жизни. Это сломалось во мне.

Необходимость противоположностей, прославление их. Где мера — там и противоречия. Солнце и тьма.



Пятнадцатилетний Ницше, ни слова не говоря, голой рукой выхватил горящий уголь из печи и показал его своим друзьям, потому что те высказывали сомнения насчет жеста Муция Сцеволы. След от раны остался у него на всю жизнь.

История о борделе (А.[203] С. 48). Козима, которую следует упрекнуть в том, что она уничтожила все письма Н. к В. «Трагическое познание и греческая радость». Терраса кафедрального собора в Базеле, где разговаривали Ницше и Буркхардт. «Современный анахронизм — невозможность жить в согласии с государством». *Там же*. «Аристократия

[203] notes: 203

Здесь и далее А. Камю цитирует книгу: Halévy D. Nietzsche. P., Grasset, 1944.

духа должна завоевать свою свободу по отношению к государству, которое сегодня держит науку в узде». — *Там же*. Человек предавался мечтам, лежа на тигре.

О пожаре в Лувре во время Коммуны, из-за которого Ницше рыдал и еще долго находился в подавленном состоянии: «Как ни сильна была бы моя боль, я никогда не стал бы обвинять их в святотатствах, являющихся лишь отражением всеобщего греха. Греха, над которым надо много думать». «Сделай так, чтобы меня похоронили как лояльного язычника, без обмана». Беспросветно печальный и экзальтированный после своего возвращения.

Проект «десяти лет медитации и молчания». Идея «маски». Похвала Наполеону в «Веселой науке». Приключение с мадам В.П. в 87 году, последняя — потрясающая — записка, адресованная Родэ. Родэ не ответил. «Лизбет, почему ты плачешь? Разве мы не счастливы?»



У меня было много предубеждений против рационализма. Но страсть моих собратьев по цеху… [неразб.].



8 сентября.

Кончина Робера Шаттэ[204]. Он был один, в больнице Вильжюиф.



Отказаться блистать, когда можешь блистать, нравиться и т. д. В небольшом количестве прикрасы необходимы, но в большом — они затмевают все. Прозябать (так долго, как потребуется) более плодотворно, в конце концов, чем болтать и выходить по пустякам.

Нам нужен не просто тот, кого бы мы любили, ничего у него не требуя, но тот, кого бы мы любили и кто ничего бы нам не давал.



Роман. Ми: в любви она дышала, как пловчиха, и одновременно улыбалась, потом плыла все быстрее и быстрее, выскакивала из воды и падала на горячий и влажный пляж, с открытым ртом, продолжая улыбаться, словно после столь-

---

[204] notes: 204

Шаттэ, Робер (1901–1957) — французский книгоиздатель-маргинал, друг Паскаля Пиа.

ких заплывов в гроты и в глубины вода стала ее сущностью, а земля оказалось пустыней, где, она — сверкающая рыба, — весело задыхалась.



Самый великий человек, самая большая духовная сила: самый, самая насыщенная… […неразб.].



Ницше. Нерелигиозный человек — в силу своей религии. Паскаль — по-своему — в конце концов, согласно Фоме — вера есть смелость духа.

Там же. Для него Христос: Спаситель-имморалист.



Кюстин. «Однажды спящий гигант проснется, и сила положит конец царству слова. Тщетно станут тогда обезумевшие от ужаса поборники равенства звать на помощь свободе древнюю аристократию; тот, кто берется за оружие слишком поздно, тот, чьи руки от долгого бездействия

ослабели, немощен»[205].

Там же о французах: «Они скорее изобразят себя в плохом свете, чем позволят о себе забыть».

Дон Фауст. Когда он превратился в Дон Жуана, сцена начиналась с громкого раската смеха, издаваемого человеком в кулисах, — таков был выход Дон Жуана.

Ницше. «Еще несколько тысяч лет по пути последнего столетия! — и во всем, что будет делать человек, обнаружится высочайший ум; но как раз тем самым ум и потеряет все свое достоинство. И хотя быть умным и останется необходимостью, но это будет столь обычно, что более благородный вкус воспримет эту необходимость как пошлость. Быть благородным будет тогда означать — иметь в голове глупости».



Библия родилась среди камней.

---

[205] notes: 205

Цитата дана в переводе В. А. Мильчиной по книге: Кюстин А. де. Россия в 1893 г. СПб., 2008. Здесь и далее А. Камю продолжает цитировать издание Custine A. de. Souvenirs et portraits. Monaco, 1956, в котором были собраны отрывки из разных произведений А. де Кюстина.

1 октября.

Визит Ж. Т.[206], которая решила перед отъездом в Алжир поведать мне, что она сделала. Месяц назад в Алжире. К ней обратились эмиссары F.L.N.[207], предложив встретиться с руководством, желавшим задать вопросы по поводу ее брошюры («Алжир 57»). Она согласилась. Встреча, потом подпольная сеть. Короче говоря, дом в Касба, где ее встречают две женщины. Потом появляются двое вооруженных мужчин. Возникает дискуссия. Ж.Т. объясняет им свои идеи: бездомность, объем приработков, происходящих из метрополии, и т. д. (ее мнение: они действенны, с политической точки зрения, но безграмотны, с экономической точки зрения). В этот момент один из них, похожий на главного, говорит: «Вы принимаете нас за убийц». Тогда Ж. Т.: «Но вы и есть убийцы» (это происходило вскоре после покушения в казино «Ла Корниш»). Она тут же замечает, что эти слова

---

[206] notes: 206

Жермен Тийон (1907–2008), французский этнолог, участница движения Сопротивления. А. Камю написал предисловие к американскому изданию ее книги.

[207] notes: 207

F.N.L. (Front de libération nationale), Фронт национального освобождения — социалистическая партия, созданная в Алжире в 1954 г.

вызвали сильнейшую реакцию у другого — слезы на глазах. Потом: «Я предпочел бы, чтобы все эти бомбы были на дне моря». «Это зависит только от тебя», — говорит Ж. Т. Они говорят о пытках. Я подавала жалобы, — отвечает она (она принимала участие в комиссии по концентрационной системе). Они приходят к соглашению: отмена терроризма против гражданского населения взамен отмены наказаний. Приблизительно в тех терминах, которые я предложила (но продолжение, увы…). Другой говорит по поводу резни: «Это Франция». «Рассказывай это своей бабушке, — говорит Ж.Т. — Я там была. Ты прекрасно знаешь — это F.N.L.». Главный делает знак, чтобы тот замолчал. Она вскоре узнает, что перед ней Али ля Пуэнт. При выходе она хватает его за галстук и трясет. «И не забудь, что я сказала». И он ей ответил: «Нет, мадам».

Вторая встреча после казни; она тогда узнала, что главный — Ясеф Саади. Двумя неделями позднее он был арестован.

И еще она показала мне сочинения 30 арабских школьников 11–12 лет, которым арабский учитель дал тему: «Что бы вы сделали, если бы были невидимыми?». Все взяли бы в руки оружие и убили бы или французов, или парашютистов,

или глав правительств. Я смотрю в будущее без надежды.



Утверждение, что раб попал в рабство, потому что предпочел смерти жизнь, ложно, с исторической точки зрения. Будапешт.



17 октября.

Нобелевская премия. Странное чувство уныния и меланхолии. В двадцать лет я был беден и гол, но именно тогда познал истинную славу. Моя мама[208].



19 октября.

Ужас от случившегося — ведь я этого не просил. В довершение всего подлые нападки, от которых становится тяжело на сердце. Как смеет

[208] notes: 208

После объявления о присуждении ему Нобелевской премии Камю позвонил своей матери в Алжир.

Ребатэ[209] говорить о том, что я мечтаю покомандовать взводами для расстрела, когда он был одним из тех приговоренных к смертной казни, для кого я, вместе с другими писателями Сопротивления, просил помилования. Его помиловали, а он оказался так немилосерден. Снова хочется уехать из этой страны. Но куда?

Творчество само по себе, искусство само по себе, оттачивание мастерства — каждый день, и разрыв… Презирать — это выше моих сил. Во всяком случае, я должен победить этот ужас, эту непонятную панику, в которые меня ввергла неожиданная новость. Для этого…

«Они меня не любят. Разве это причина отказать им в благословении?» Н.

Святые боятся совершаемых ими чудес. Они не могут любить эти чудеса и себя, их творящих.

Три приступа удушья за месяц, вдобавок еще и паническая клаустрофобия. Теряю равновесие.

Мои неустанные попытки вернуться к другим людям, с их общепринятыми ценностями, чтобы

[209] notes: 209

Ребатэ, Люсьен Ромен (1903–1972) — французский писатель, журналист и кинематографист, придерживавшийся фашистских убеждений.

восстановить собственное равновесие, не совсем напрасны. То, что я сказал или открыл, может и должно служить другим людям. Но только не мне, впавшему теперь в какое-то сплошное безумие.

29 декабря.

15 часов. Новый приступ паники. Ровно четыре года назад, именно в этот день заболела N. (нет, сегодня 29-е, значит, с точностью до одного дня). На несколько минут ощущение тотального безумия. Потом чувство опустошенности и судороги.

Успокоительное. Пишу час спустя.

Ночь с 29-е на 30-е: душит непрекращающийся страх.

30 декабря.

Продолжается с новой силой.

1 января.

Усиление тревоги.

Январь — март.

Сильные приступы больше не повторяются. Только постоянная смутная тревога.

5 марта.

Беседа с де Голлем. Я говорил о том, что могут начаться волнения, если Алжир будет потерян, а с другой стороны, о возможных волнениях в самом Алжире из-за ярости французских алжирцев, а он: «Французы и ярость? Мне 67 лет, и я никогда не видел, чтобы один француз убивал другого француза. За исключением меня самого».

Сравнить Францию с остальным миром. «В конце концов, — сказал он, — никто пока еще ничего не придумал лучше Франции».



Песня революционеров 1905 года: «Братья, к солнцу, к свободе».



Шпербер. «Ахиллесова пята»[210], с. 202: «Идея подменить самоубийство радикальным разрывом, не нова. Подобное стремление к категорическому отрицанию собственных поступков, к окончательному избавлению от них, часто обнаруживается в снах, которые видят люди, связанные с жизнью лишь логикой тела, но не отношениями с другими людьми: ни тем, что они от них получили, ни тем, что дали. Этот сон рождается из одиночества, способного разрушить всё и даже ту любовь, какую человек обращает на самого себя».

Кьеркегор потрясал перед Гегелем ужасной угрозой: прислать ему молодого человека, который попросил бы у него совета.

Достоевский после замечательной «Речи о Пушкине»: «За мое же слово в Москве — видите, как мне досталось от нашей прессы почти сплошь: точно я совершил воровство, мошенничество или подлог в каком-нибудь банке. Даже Юханцев не был облит такими помоями, как я».

Там же, после успеха своего литературного дебюта: «… сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдет

---

[210] notes: 210

А. Камю цитирует по изданию: Sperber M. Le talon d'Achille. P., Calmann-Lévy, 1957.

этот ад».

«Тут мысль, всего более меня занимающая: “в чём наша общность, где те пункты, в которых мы могли бы все, разных направлений, сойтись?”».

«Ни из-за какой цели нельзя уродовать свою жизнь» (развить).



Те, кому действительно есть что сказать, никогда об этом не говорят.



Марсель.

Алжир с борта «Кайруана». Двойная туча. Первая пена, и град на гребне волны, разбивающейся о корабль, и сильный ветер, разом овладевающий облаком, — скручивает, мнет, выжимает; и вторая туча, уже не такая тяжелая, кружево тонкого пара, поднимается вверх в виде тумана.

Крылья чаек, заломленные точно посередине / \/ — в форме крыши.



На палубе под сильным ветром среди веревок

сгрудились солдаты в бесформенных плащах с капюшоном и в платках на голове. В такие моменты человек перестает думать о параде и съеживается до насущных потребностей. Это история.

Я неподвижно стою на верхней палубе, чайки спускаются и продолжают рядом со мной свой спокойный полет. Упрямые чайки с выпученными глазами, ведьминскими клювами, неутомимыми мускулами. Морским птицам негде сесть. Разве только в изменчивые впадины зыби или раскачивающийся крест большой мачты.



Кондорсе: «Робеспьер — священник, и никогда не будет другим».

К *первичным* рефлексам, свойственным непосредственной природе человека или животного, Павлов относил «рефлекс свободы».



Власть неотделима от несправедливости. Хорошая власть — это здоровое и осторожное управление несправедливостью.



Никогда не говорить о своей работе.



Актер.



Ницше. «При изобилии живительных и восстанавливающих сил, даже несчастье обретает какой-то солнечный отблеск и порождает утешение…»

Там же. «Если мы всегда будем ожидать несчастья, неприятных сюрпризов и пребывать в состоянии озлобленности, мы будем невыносимы для других людей, и от этого пострадает и наше здоровье; такие натуры идут к собственному угасанию».

Там же. «Страх смерти — европейская болезнь».

Там же. «Счастье состоит в быстроте чувств и мыслей; все остальное кажется долгим, постепенным и глупым. Тот, кто способен ощутить полет луча света, будет переполнен счастьем, потому что он обладает большой скоростью».

Там же. «Портрет будущего человека: эксцентрический, энергичный, горячий, неутомимый,

артистичный, враг книг».

Там же. «Люди очень высокой культуры с сильными телами выше всех суверенов».

По поводу биофагов: Тетради Монтерлана, с. 82: здесь сказано всё — с совершенством и умеренностью.



Для себя: мне хотелось бы отдаваться целиком каждому из своих чувств по отдельности. Я всегда противопоставлял чувства между собой.



Типаса. Серое и мягкое небо. В центре развалин на смену звуков небольшого волнения на море пришел птичий щебет. Гора Шенуа — огромная и легкая. Я умру, а это место будет по-прежнему дарить всем красоту и полноту бытия. В этой мысли нет ничего горького. Напротив, чувство благодарности и уважения.



В Алжире дождь — вертикальный и тяжелый. Непрекращающийся. В клетке.



Алжирцы. Их жизнь в гуще и жаре дружбы, семьи. В центре — тело и его способности — и глубокая печаль, когда оно погибает — жизнь без горизонта — только сиюминутное, только круг плоти. Они гордятся своей мужественностью, способностью пить или есть, силой и смелостью. Они ранимы.



Зарезанная голубка.



Возвращение. «Кайруан». Буря. Непреодолимое желание броситься в воду. Одиночество и покинутость одного человека в бешеных волнах за кораблем, продолжающим свой путь.



Ступени выздоровления.

Оставить в покое волю. Отказаться от слова «надо».

Полностью убрать из головы политику ради гуманизма.

Написать о человеке, больном клаустрофобией. И создавать комедии.

Упорядочить свои отношения со смертью, то есть согласиться.

Быть согласным выставлять себя напоказ. Не умру же я от такого страха. Если бы от него можно было умереть, все было бы кончено. Или, в крайнем случае, риск неадекватности. Достаточно согласиться с мнением других людей. Смирение и согласие — вот чисто медицинские лекарства от этого страха.

Мир идет к язычеству, но пока еще отвергает языческие ценности. Необходимо восстановить их, придать вере языческий характер, эллинизировать Христа, и равновесие вернется.

Не оттого ли я страдал, что взял на себя чрезмерную ответственность?

Раз уж я оказался в пустыне и в состоянии безразличия, надо дойти до конца, чтобы достичь порога, и так или иначе переступить через него. Безумие или еще большее самообладание.

Метод: при первых признаках тревоги уско-

рить или замедлить дыхание. *Добавить* к этому немедленную отмену *всякого действия* и жеста.

Во-вторых: общая релаксация.

Долгосрочная перспектива: перенос и накопление энергии силы воли; или желание посредством приостановки этой воли или желания.

По отношению к обществу — признать, что я от него ничего не жду. Любое участие становится подарком, при этом ничего не ждешь взамен. Похвала или хула становятся тогда тем, что они и есть на самом деле, — ничем. В конце концов, уничтожение стадного чувства.

Уничтожить избитую мораль произвольного правосудия.

Оставаться рядом с реальностью людей и вещей. Как можно чаще возвращаться к личному счастью. Не отказываться признавать истины, даже когда истина вступает в противоречие с желаемым. Напр.: Признать, что сила тоже, — и по преимуществу — служит для убеждения. Истина стоит всех мучений. Только на ней может быть основана радость, которая должна увенчать это усилие.

Собрать энергию — в центре.

Признать необходимость врагов. Лучше, чтобы они были.

Систематически разрушать автоматизмы, от самого малого до самого большого. Табак, пища, секс, аффективные реакции защиты (или нападения; это одно то же) и *само творчество.* Аскеза: но не по отношению к желанию, которое должно остаться неприкосновенным, а к его удовлетворению.



Сосредоточить в своих руках величайшую власть — не для того, чтобы господствовать, но чтобы давать.



3 мая.

Почти полное восстановление, я даже надеюсь, что прибавилось сил. Теперь стал лучше понимать то, что всегда знал: влачащий свое существование и задавленный жизнью не может никому помочь, какие бы обязательства он на себя не взваливал. Только тот, кто властвует над собой и над жизнью, может быть по-настоящему щедрым и давать без усилий. Ничего не ждать и ничего не просить, кроме силы, дарить и трудиться.

Дневник.



Конец апреля 1958 г. Канны.

Каждый день выхожу в море. Буйки, обозначающие границы сетей (бутылки со свинцовыми флажками на пробковых поплавках), производили вечером нечто вроде позвякивания колокольчиков, призывающих морские стада. Ночь в порту: кричат корабли, постанывают мачты и мостки.

Свет — свет — и тревога отступает, она исчезает не полностью, но становится приглушенной, словно заснувшей в жаре и солнце.



30 апреля.

Мартен дю Гар. Ницца. Он еле передвигается из-за своего ревматизма суставов. 77 лет. «Перед смертью уже ничего не держится, даже мое творчество. Нет ничего, ничего…» «Да, это хорошо — не чувствовать себя одиноким» (и его глаза наполнялись слезами). Назначим встречу на июль

в Тертре[211]. «Если буду жив». Но это сердце не перестает всем интересоваться.



29 мая 1958 г.

Мое ремесло — в том, чтобы делать книги и бороться, когда свобода моих близких и моего народа оказывается под угрозой. Вот и все.



Художник подобен дельфийскому богу: «Не показывает и не скрывает: он обозначает».



Чехов: «Я не либерал, не консерватор… Мое святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались.

Вот программа, которой я держался бы, если бы

---

[211] notes: 211

Название замка Р. Мартена дю Гара в Белеме (Орн, Франция). В 1955 А. Камю написал предисловие для собрания сочинения Р. Мартена дю Гара, изданного в книжной серии «Библиотека Плеяды» издательства «Галлимар».

был большим художником» (Письмо к Плещееву. 1888).



Музиль: Великий проект, в котором должны участвовать все средства искусства, которых у него нет. Отсюда творчество, волнующее своими неудачами, а не тем, что оно говорит. Это непрекращающийся монолог автора, где местами блистает гений, но искусство никогда не озаряет его целиком.

Музиль. «У каждого из нас вторая природа, придающая невинность всем нашим деяниям».

«Обычная жизнь — средняя линия всевозможных наших преступлений».



Мама. Если бы мы достаточно любили тех, кого мы любим, то мы помешали бы им умереть.



9 июня 1958 г.
Снова еду в Грецию.



10 июня.

Акрополь. Не такое грандиозное впечатление, как в первый раз. Я был не один, мне надо было заботиться о своей компании. И потом мне мешала встреча с О. Акрополь — не то место, где можно лгать. Два часа на самолете до Родоса. За нами по морю дрейфуют острова, скалы. Распыление континентов. На Родосе мы сели посреди полей, где росла невысокая и цветущая пшеница, которую ветер заставлял бежать волнами к лазурному морю. Роскошный и цветущий остров. Прогулка ночью среди франкской архитектуры. Встреча с Р. Л. Брюкберже, объявившим мне о намерении разорвать с Церковью, но не отказывающегося от духовного сана. Я по-прежнему испытываю к нему живейшую симпатию. Прогулка на корабле с Мишелем Г. и семейством Прассинос.



11 июня.

Я покидаю корабль рано утром и отправляюсь купаться в одиночестве на родосский пляж в двадцати минутах от корабля. Вода светлая, теплая. Солнце еще в самом начале пути, оно греет не обжигая. Эти дивные мгновения возвращают меня

к тем ранним часам в Мадраге[212], двадцать лет назад, когда я выходил заспанный от своей тетки, жившей в нескольких метрах от моря, чтобы погрузиться в сонную утреннюю воду. Увы, теперь я разучился плавать. Или точнее, я больше не могу дышать, как прежде. Это не страшно, и я с сожалением ухожу с пляжа, где только что был счастлив.

В десять часов мы отчаливаем с Родоса, чтобы обойти северную оконечность острова и добраться до Линдоса.



12 ч. 30 мин. Линдос.

Небольшой почти полностью закрытый порт, созданный природой. Безукоризненная бухта. Мы бросаем якорь в абсолютно прозрачной воде. Над бухтой возвышаются белые дома селения, потом Акрополь, укрепленный средневековыми земляными валами, среди которых вырастают стволы дорических колонн.

До пляжа добираемся на ялике. Купание. В конце дня восхождение к Акрополю. Добравшись до широкой вершины, мы быстро поднимаемся

[212] notes: 212
Название пляжа рядом с Ораном (Алжир).

по лестнице, ведущей к огромной площади под открытым небом. С одной стороны она возвышается над портом, где мы бросили якорь, с другой, обрывается отвесно над головокружительной пустотой, — еще одной закрытой бухточкой — той самой, где высадился святой Павел. Над всеми этими пространствами кружат ласточки, опьяненные светом, они вертикально ныряют в пустоту и взмывают вверх с пронзительными криками. Наш день заканчивается у колонн — отсюда видны оба залива, горные вершины, разрастающиеся до самого горизонта, и прямо перед нами — безмерное море. Перед такой красотой ощущаешь бессилие — ее не уловить и не выразить словом. Но в то же самое время чувство благодарности при виде совершенства мирового бытия. По возвращении в город — маленькие ослики, вечерняя лодка… Ночью громкие ослиные крики.



12 июня.

В шесть часов я поднимаюсь на палубу, чтобы в последний раз увидеть мой любимый залив. На борту все спят, кроме капитана. Легким утром

запах Линдоса, запах пены, жары, ослов и трав, дыма…



Родос в 8 часов 30 мин.

Экскурсия в ущелье, переполненное только что родившимися бабочками. Сплошной ковер из бабочек — на траве, деревьях, гротах, — поднимается из-под наших ног молчаливыми и трепетными облаками. Удушающая жара. Возвращение. Отплытие в Мармарис, турецкий порт, в пятнадцати часах хода. Прибытие в семнадцать часов. Бросаем якорь посреди красивого, но темного залива. Издалека этот маленький город кажется нищим. Мы видим, как постепенно всё его население собирается у причала. К нам на борт заявляются турецкие полицейские и таможенники. Бесконечные объяснения для улаживания принятых здесь формальностей. Потом мы выходим на землю, где нас тут же окружает толпа нищих детей, которые потом будут следовать за нами повсюду по пятам. Бедность, запустение на улицах и в домах — нам становится настолько тягостно, что, не теряя времени, мы возвращаемся. После ужина — еще один визит

официальных лиц. Снова долгие, бесконечные объяснения (они не знают ни одного западного языка). Они забирают наши паспорта и т. д. Обещают вернуть в шесть утра. Капитан протестует… и т. д. На самом деле за ними надо будет пойти на следующий день утром.



13 июня.

Отплытие в семь часов. В одиннадцать часов остров Сими. Восхитительная греческая чистота. Даже самые бедные дома заново выкрашены известью, украшены, и т. д. Просто немыслимо, возмутительно, что турки смогли так надолго подчинить себе этот народ. Купание. Но клаустрофобия нарастает. В остальном — чувствую себя превосходно. В пятнадцать часов мы отплываем на Кос.



Кос.

Маленький порт вечером, где жизнь проста. Музыка. Радио-репродукторы кричат о событиях на Кипре — мне слишком хорошо знакомы эти интонации. Ужинаем при розовом свете.

14 июня.

Остров. Маленький храм на пляже с прозрачной водой. Купание и обед в Псамеросе. В крошечной бухточке пять белых и голубых домов, выкрашенных известью. В воду заходят девочки в рубашках и плывут к нам.

Каждый день чудовищное солнце… на нем нет дымки и оно не тяжелое, но светлое и четкое, настигающее своими лучами, свирепое…

В восемнадцать часов мы отплываем на Калимнос. На море короткие и свежие волны… За нами увязался десяток ребятишек с круглыми головами. Катина. На следующий день, 15 июня, она бежит до выхода из бухты и долго машет рукой. Полдень, купание в Леросе. Потом плывем на Патмос, к которому подходим через почти полностью закрытую бухту. Вечерний час.

16 июня.

Поднимаемся на мулах и ослах на Патмос к монастырю Св. Иоанна Богослова. С вершины виднеются два перешейка. Начинается мощный ветер (мельтем). У греческого мистраля те же

самые свойства: он прометает небо, извлекая из него чистый, четкий, напряженный, почти металлический свет. Но он мешает нам снова выйти в море, мы должны ждать здесь, пока оно не успокоится.



17 июня.

Отплытие в шесть часов утра, несмотря на мельтем, нам надо добраться до Гайдероса. Но море было совершенно разъяренное. После трех часов сильнейшей качки и волн, выплескивавшихся прямо на палубу, все на борту либо заболели, либо слегка помутились сознанием, корабль сбился с курса и поплыл к островам Фурни. Мы нашли пристанище в пустой бухточке, где значительно меньше задувал ветер, но, тем не менее, задувал. День ожидания. К вечеру ветер частично затих. Но для отплытия было уже слишком поздно.



18 июня.

Ночью снова поднялся ветер и задул с большой силой. Мы отказались отправляться в путь. Потом, поскольку ничего не изменилось, и хлеб и

особенно вода стали подходить к концу, около восемнадцати часов мы все-таки решили отплыть. Все собрались в капитанской рубке. Путешествие было непростым, но к двадцати часам тридцати минутам мы увидели огни Тигани (бывший Самос).

Сладость небольшого спокойного порта в ночи, после бурного моря.



19 июня.

Утром я пошел купаться один. Потом мы отправляемся на автомобильную экскурсию по острову. Это один из самых красивых островов — благодаря несметному множеству оливковых деревьев и стройных кипарисов, украшающих холмы и горы вплоть до самого моря. После купания мы обедаем в маленькой деревеньке на южном берегу. Стол стоит на улице. Вокруг нас играют толпы красивых ребятишек, потом они подходят поглазеть на нас. Одна из девочек, Матина, с золотистыми глазами совершенно растрогала мою душу. Когда мы уходили, она приблизилась к машине, и я взял ее за маленькую ручку. К вечеру Ипеон — разрушенный храм,

великолепные обломки которого, разбросанные перед морем среди камышей и овса, среди восхитительного пейзажа гор и моря, были еще раз разворочены недавними землетрясениями.

В кафе, куда наши шоферы пригласили нас зайти, они все вместе пустились в пляс под звуки радио — ко всеобщему удовольствию.

Поликрат, тиран Самоса, «гениальный государственный деятель и разнузданный тиран». Страшась собственной удачи — дерзкой и постоянной, а также своего постоянного успеха и сказочного богатства, он бросил в море дорогое кольцо, которое носил на руке, чтобы обмануть судьбу. Но рыба, которую подали на стол, вернула ему проглоченное кольцо. Он завершил строительство Ипеона, у него был роскошный двор, где большое место отводилось искусствам. Умер распятым — его погубил наместник Оройт, заманив в ловушку (522).



20 июня.

День в море, плывем к Хиосу. Утром к нам под форштевень приплыл ламантин. Он катался по волнам, заплывал вперед, раскачивался с изде-

вательским видом, потом заныривал в глубину. Немного позже в нескольких милях от берега ветер принес нам аромат олеандра. Во второй половине дня загорали и купались в бухточке, где вода казалась воздушной — так она была прозрачна. Прекрасным спокойным вечером мы заходим в Хиос.



21 июня.

Хиос. Турецкий квартал. Проезжаем по острову. Дома, огромные, из песчаника. Красная земля. Огромные оливковые деревья. Крестьяне, молотящие пшеницу с помощью копыт мулов в ослепительной жаре. Лето резни[213]. И в довершение — лепрозорий в узком овраге, засаженном эвкалиптами и заканчивающимся тупиком, в скалах. Ряд длинных обветшалых строений коричневого и темно-зеленого цвета. С наступлением вечера они пустеют — с их комнатами, где стоят большие железные кровати, покрытые грубыми коричневыми одеялами. Прокаженные

[213] notes: 213

Речь идет о жесткой резне, устроенной на Хиосе турками в 1822 г., о которой писали многие представители культуры того времени — Э. Делакруа, В. Гюго и др.

бродят под верандами — 11 женщин и 3 мужчины. У одних нет пальцев. У других огромные мутные глаза, желтые без зрачков и без век, словно огромные капли гнилой воды. Их природная веселость под широкими сероватыми одеждами — бесконечно бедными. Одна жалуется на то, что их хотят вывезти из этого несчастного места, чтобы переселить в другое… Танцы и смех — очень далеко за полночь.



22 июня.

К Митилене. Широкая расселина, изрезанная заливами и пляжами. Оливковые деревья спускаются почти до самого моря. П. заболел. Врач (Паритис). Поднимаемся к Айясосу. Купание. Я немного поплавал. Отплываем вдоль берега. В конце дня сотни морских ласточек, летающих у самой поверхности неподвижной воды, словно приподнимают наш корабль в воздух. Прибытие в Сигрис.

(Мы приплыли в порт на закате. Порой солнце закрывало от нас порт, потом исчезало за холмом, и в сумерках снова показывался порт…)



Сигрис.

Вернуться в Сигрис. Две закрытые бухты. Голые холмы. Вода — гладкая, свет вечера. Здесь завершаются мир и жизнь. И начинаются снова.

Ночью деревня, увиденная с борта корабля, освещенного кострами для праздника Ивана Купалы.

Отплытие ночью. Мы с Мишелем заступаем на вахту в полночь. На море ночь становится безмерна — после того, как на западе закатился лунный серп. Созвездия опускаются к горизонту, где из теней образуются новые острова. Утром Скирос, возвышающийся ярусами на гребнях гор.

В пятнадцать часов отплытие на Скопелос. Во второй половине дня Северные Спорады. Один, два, пять, десять, четырнадцать островов вылупляются прямо в море. Вечером Скопелос и его крыши с прорисованными известью гребнями. Жасмин, гранатовые деревья, гибискусы. Спокойная ночь. Утром Скиатос, и мы проплываем через Эвбейский пролив.



26 июня.

Халкида. Предисловие к Гренье: «каждое созна-

ние хочет смерти другого». Да нет же. Хозяин и раб. Учитель и ученик. История строится в одинаковой мере на восхищении и на ненависти.

Я бы пожелал этой книге молодого читателя, который бы походил на то, каким я был.

Подобно исканиям, какие Мелвилл описал в «Марди», мой поиск заканчивается размышлением об абсолютном и божественном.



Халкида.

Вечером — просторный и молчаливый Марафонский залив. Воды внезапно успокаиваются. Только короткий и тяжелый прибой. На огромный круг гор и ставший вдруг таинственным залив падает ночь. На водах спит красота.



27 июня.

Ранним утром, когда на окрестных холмах только начали трещать цикады, я купаюсь в неподвижных и свежих водах. Потом море и через двенадцать часов Кеа, остров с зелеными скалами, большая землистая устрица под немного затянутым небом. Но в ночи поднимается

южный ветер, и на следующий день, 28, мы были заблокированы в Кеа. 29. Отплытие утром при плохой погоде на море. Сунион. Свет. Идра, Спеце ночью. 30. Порос, Эгина и снова Айия-Марина, как четыре года назад. Чудесный остров в центре вращения света и пространства. Сюда надо вернуться.



1 июля.

Афины. Жара. Пыль. Идиотский отель. Усталость. 2. Дельфы. Снова необыкновенное восхождение по ступеням света. Я иду по собственным следам. Аромат вечера на маленьком стадионе. 3. Возвращение в Коринф. До Патр. Я один, купание, вода… Патры — это большой Оран — пыльный, некрасивый и оживленный город. 4. Олимпия. 5. Микены, Аргос. Высокие сосны Олимпии стрекочут цикадами. Греция, взрывающаяся от звучных ослиных криков в ложбинах долин, на склонах островов.



Павезе[214]. Пусть единственная причина, по которой мы постоянно думаем о себе, в том, что мы вынуждены дольше всего оставаться с самими собой, чем с другими. Пусть гениальность — это плодородие. Быть — значит, выражать, выражать без передышки. Пусть праздность продлевает часы, но ускоряет годы, а деятельность — укорачивает часы и удлиняет годы. Пусть все развратники сентиментальны, ибо для них отношения между мужчинами и женщинами — предмет эмоций, а не долга.

Там же. «Когда женщина выходит замуж, она принадлежит другому, а когда она принадлежит другому, нам нечего ей сказать».

Там же. Старая Ментина, которая семьдесят лет ничего не знала об истории. Она прожила «статичную и неподвижную жизнь». Это вызывает у Павезе дрожь. А если бы Ментина была его матерью?



Жить в истине и для истины. Истина того, чем ты являешься изначально. Отказаться от игры с

[214] notes: 214

А. Камю цитирует дневник Ч. Павезе, переведенный во Франции в 1958-м (Pavese C. Métier de vivre).

другими. Истина того, что есть. Не хитрить с реальностью. То есть принимать все ее своеобразие и бессилие. Жить в соответствии с этим своеобразием, вплоть до бессилия. В центре — творчество и безграничные силы человека, которым наконец было воздано уважение.



Возвращение. Обед с А. М. Он сообщает мне, что Массю и двое или трое его коллег подвергались пыткам, чтобы иметь право… (Разница: они сами это выбрали. Здесь нет ничего унизительного.) Странное впечатление.



Прошло десять дней после возвращения из Греции. Сила и телесная радость. Сон души и сердца. Где-то в глубине спит монастырь, крепость без прикрас, где молчание предается созерцанию.



Ложь усыпляет или мечтает, подобно иллюзии. Истина — вот единственная сила, радостная, неистощимая. Если бы мы были способны жить

только истиной и для истины: молодая и бессмертная энергия в нас. Человек истины не стареет. Еще одно усилие — и он вообще не умрет.

Приложение[215]

Письмо к Амрушу.

19 ноября

Мой дорогой Амруш,

Мне помешали ответить проблемы с временем и здоровьем. Хотел написать тебе длинное письмо, и не справлялся даже с самыми обычными письмами. И сегодня не справляюсь. Но спешу поблагодарить тебя за второе письмо, оно меня очень тронуло. Тем не менее, я должен сказать тебе всю правду насчет того, что я думаю. Нас могут разделить отнюдь не вопросы личного плана. Это ничто — по сравнению с тем, что происходит сейчас и готовится в будущем. Но меня очень шокировало то, что ты писал, причем несколько раз, вообще о французах в Алжире (в «Монд» и «Коммюн»). Ты имеешь право встать на позиции F.N.L. Я же считаю их в данный момент убийственными, а в будущем — слепыми и опасными.

---

[215] notes: 215

В переведенном здесь издании «Тетрадей» 1989 г. указывается, что последующие записи были приложены к Тетради VIII.

Но принимая эту сторону, ты все равно должен проводить необходимые различия, а ты этого не делаешь. Я отказался от попыток заставить услышать голос разума. И вопреки всякой надежде, я все же надеюсь, что когда-нибудь этот голос будет услышан. Но я считаю своим долгом высказать тебе, в приватном порядке, свою реакцию: ты должен знать, что когда стреляют или оправдывают стрельбу по французским алжирцам *вообще*, как таковым, — это стреляют по моим близким, бедным людям, не способным на ненависть; их ни в коем случае нельзя смешивать с несправедливым бунтом. Никакая причина, даже самая невинная и справедливая, не заставит меня отказаться от своей матери, которая сама по себе являет величайший смысл, какой я только знаю в мире.

Ты увидишь, я верю, в моих искренних словах отголоски нашей прошлой дружбы. Может быть, она вдохновит тебя на то, чтобы действовать во имя умиротворения и объединения, а не братоубийственного разъединения, — вот пожелание, которое от всего сердца хочет высказать твой брат по рождению и по небесам.

Альбер Камю.

Письмо к неизвестному.

3 апреля

Месье,

Я задержался с ответом из-за плохого здоровья, и я приношу Вам свои извинения. После того, как более года тому назад, я осознал, что окончательно отделило меня как от левых, так и от правых сил, по алжирскому вопросу, я решил больше не присоединяться ни к одной из публичных кампаний. Коллективные подписи — двусмысленные альянсы между людьми, имеющими совершенно разные мнения по другим вопросам, приводят только к путанице, существенно выходящей за рамки той цели, которой они хотят служить и которую они в результате только компрометируют. Но когда цель эта имеет смысл, а именно так и было в данном случае, я принял решение действовать исключительно в личном порядке, в тех условиях и в тот момент, которые мне кажутся нужными, несмотря на оказываемое на меня давление.

Об интересующих Вас вопросах я собираюсь говорить в книге, которая должна будет выйти в ближайшее время и за которую я несу полную ответственность. В любом случае я адресую свой ответ Вашей благонамеренности, и прошу Вас

верить в мои наилучшие чувства.
Альбер Камю



Письмо Герену

9 июня 1954 г.
Мой дорогой Герен,
Мне передали Вашу статью в «Паризьен» (я не читаю этот журнал и я не подписан на «Аргюс»). Нет, я не буду упрекать Вас в «неблагодарности» или «жесткости». Просто мне не нравится место и нелюбезная манера выражения. Мне не нравится, когда Вы говорите о том, чего не знаете, — о моей жизни. Если бы Вы ее действительно знали, Вы бы молчали. Но что касается содержания Вашей статьи, то Вы, разумеется, вправе говорить о том, что Вам не нравится в моих публикациях, и делать это без прикрас.
Я упрекаю Вас в недопустимом игнорировании общепринятых норм, согласно которым личное письмо не может быть опубликовано без разрешения его отправителя. Тогда, когда я Вам писал, я делал это вовсе не для того, чтобы мои откровенные письма, написанные свободным сердцем, были десять лет спустя выставлены перед пуб-

ликой. Вы имеете право делать этой публике признания и совершенно свободно говорить о тех, кто были Вашими друзьями, вы не имеете право заставлять этих друзей делать признания. Читая в том месте, где вы их напечатали, эти слова искреннего товарищества, адресованные другу в беде, я испытал невыносимое замешательство и даже какое-то отвращение, которые Вы должны были бы почувствовать раньше меня и за которое я не могу Вас простить.

Во всяком случае, мне хочется, чтобы Вы знали мое мнение на этот счет.

Ваш Альбер Камю



Письмо к неизвестной.

20 июля 1956 г.

Сударыня,

Я очень расстроен тем, что Вы мне говорите. Тем более, уверяю Вас, несомненно, речь идет о недоразумении.

Возможно, я и встречал врача, имя которого Вы называете, но это имя мне ничего не говорит. Следовательно, речь не идет ни об одном из моих друзей. И в любом случае, я не знаю его

достаточно для того, чтобы он мог позволить себе признание, касающееся третьего лица. К тому же представлять себе это и предполагать, что подобное признание имело место быть, и что я мог неосмотрительно использовать его — это значит мало знать меня.

Клянусь Вам честью, что подробности, описанные в «Падении», касаются только меня. Ваш друг — не единственный, кто любит высокие плато. Я тоже их люблю, и я на них жил. Как бывший туберкулезник, я действительно болен пневмосклерозом и страдаю клаустрофобией. Окружающие меня люди могут подтвердить Вам, что я испытываю ужас перед ущельями, гротами и всеми замкнутыми пространствами, что объясняется этим легким недугом. Часто подшучивают и над моим нетерпением перед спелеологами, о моей грусти в глубоких альпийских долинах и т. д. Каждая из деталей, которые поразили Вашего друга, может получить, таким образом, неопровержимое объяснение. Что же касается главного анекдота, вы понимаете, я не склонен пускаться в излишние признания. Тем не менее, позвольте мне, процитировать Вам одну фразу из письма, которое я получил в эти последние дни от одного из друзей: «У каждого из нас, без исключения, бы-

ла девушка, которой мы не пришли на помощь».

Ваш друг должен понять — это сама очевидность. Вы говорите, что он всегда читал меня с уважением и особенным интересом. Тогда он не может не знать, что я неспособен лгать на такие темы.

Повторяю Вам, я клянусь честью, у него нет ничего общего, абсолютно ничего общего с моим персонажем. Его никто не предавал, и если я правильно понял из Ваших рассказов о нем, он обязательно окажет своим друзьям самое сердечное доверие, без которого вся жизнь — лишь утомительное несчастье.

Первая причина сомнений, которыми терзается сегодня Ваш друг, кроется в изнуряющей жизни, которую ведем мы все, и, в особенности, те, кто помимо бесконечной тяжести современной жизни, осуществляет еще и свой личный труд. Как я могу не понять его? Иногда до конца дня я доживаю, стиснув зубы, и у меня часто возникает впечатление, что я хожу и работаю благодаря чистой силе воли, которая только и держит меня. Но в этих случаях надо не бояться проявлять снисходительность к себе и к своей природе. Надо возвратиться к более животной жизни, к отдыху, к одиночеству.

Надеюсь, что узнав мое мнение, Ваш друг снова обретет отдохновение и мир. Тогда я буду спокоен насчет того, что сам того не желая, вызвал волнение в достойном сердце. В данный момент я чувствую только грусть от того, что одна из моих книг причинила боль, в то время, как я всегда думал, что искусство — ничто, если оно, в конечном счете, не творит добро и не помогает людям.



Письмо г-ну Р.П.

Г-н Р.П.,

Ваше письмо я получил с большим опозданием, и сообщенная Вами весть о внезапной смерти моего друга, застигла меня тогда, когда все уже было кончено. Тем не менее, я благодарю Вас от всего сердца за то, что Вы подумали обо мне. Дидье был частью моего детства и юности, и позже, когда я встретил его, уже получившего церковный сан, мне было нетрудно снова полюбить его таким, каким он никогда не переставал быть для меня. Ибо он остался в душе тем же ребенком, и превратился в мужчину, обладавшего той же самой верой, которая стала более чистой и глубокой, и той же самой верностью. Скромность и посто-

янная деликатность, привнесенные им в наши отношения (увы, мы в силу различия наших жизненных путей оказались слишком отдалены друг от друга), могли только еще больше обогатить и сделать более ощутимой дружбу нашего детства. Столь резкий, столь неожиданный конец — большая боль для меня. Несколько часов назад мир для меня стал беднее. Я знаю, что для него смерть — это лишь переход, он умел говорить о некоей надежде. Но для тех, кто, подобно мне, любили его, не имея возможности разделить с ним эту надежду, печаль бесконечна. Вы правы, он навсегда останется для нас воспоминанием и примером. Верьте, я с благодарностью переношу часть нашей долгой дружбы на тех, кто его любил и кто имел счастье жить рядом с ним, и не сомневайтесь в моих — отныне — верных чувствах.

А.К.



В больнице N. открывает то, о чем я всегда знал (по причине подобного опыта [...неразб.] юность — также и по другой причине, солидарность тел, единение среди смертного и страдающего тела. Вот, что мы есть, — и ничего другого. Это плюс

человеческий гений во всех формах, от ребенка до Эйнштейна.



Нет, дорогой Доминик, быть несчастным не унизительно. Унизительным иногда бывает физическое страдание. Но страдание от самого бытия не может быть таковым, оно есть жизнь точно так же, как и это счастье, о котором говорит Бернар в своем тексте с убежденностью, которая меня так сильно взволновала.



Не знаю, стоит ли Вам об этом говорить, теперь вы должны просто жить как все остальные люди. Одним тем, что Вы есть, Вы заслужили счастье, полноту бытия, на какие мало кто способен. Если сегодня эта полнота не мертва, то это за счет жизни, ее счастья, она царит над Вами, хотите Вы этого или нет. Но в ближайшее время Вам надо пожить одной, с этой дырой, памятью, вызывающей боль. Мы все носим в себе эту инертность, — мы, я хочу сказать, те, кто не смогли быть на высоте со счастьем, и кто болезненно вспоминает о другом

счастье, проходящем[216] через память.



Иногда для жестоких[217] умов самое лучшее время — это время, вырванное ради работы, которая была вырвана у времени. Несчастная страсть.



ЗАМЕТКИ НА ЕЖЕДНЕВНИКЕ
Галь[218] и я во время манифестации.
Ты еще хочешь сделать глупость.
Хорошо! Ты не можешь прийти?
Альбер, я тебя побью.



Тот, кто был мне как брат и кто в моей семье ударил моего брата, умер.

---

[216] notes: 216
Это слово в рукописи А. Камю было написано не очень разборчиво, возможны варианты прочтения.

[217] notes: 217
Еще одно не совсем разборчиво написанное слово.

[218] notes: 218
Пьер Галендо, оранский друг А. Камю.



Слава — это монастырь.



N. Ее инициацией занимался учитель гимнастики ее матери. По просьбе матери, он провел с ней курс сексуальной инициации (в 15 лет). Потом убедил ее, что самое лучше — когда это совершается человеком искусства…

N. Ее друг по гастролям читал романы, напечатанные в газете, и повторял книжную фразу: «Прожить каждый час так, как если бы это был самый последний и самый прекрасный час», — восклицая: «Вот именно». Но, говорит N.: он даже не выходил из комнаты, чтобы погулять по городу и все время тратил на изысканную пищу и постель.

Мы — как бы христиане наизусть, — говорит N. И язычники тоже — все мы исповедуем язычество каким-то автоматическим шепотом. Его спутница со своим спортивным [неразб…], — он не может любить ее перед матчем, ибо должен беречь силы, — и после тоже нет, потому что у него нет сил, и по той же причине он не выходит. Утром он будит ее ударом колена по почкам,

чтобы она пошла делать ему завтрак… Она: «Я не занимаюсь любовью, не выхожу, исполняю обязанности прислуги, и это тянется уже три года».

Чернилами темниц
На рабских цепях,
На нежности
Расстрелянных лиц
Имя твое пишу —
Свобода.

Строки твои – решеток прутья.
Лик твой – засовы
Братские мучителей.
По приказу свыше
Имя твое пишу —
Свобода.

Преданная свобода,
Твои защитники где?
В ночи подвалов
Нежные очи в беде.
Имя твое пишу,
Каландр умирает.

Писать – легко,
Ужасно – умирать.
Пишу, пишу и пишу
Имя твое – «предавать»
На отчаянном друге твоем.

О! Что же сделал ты с юной моей,
Каландр? Когда вас убивают
Братья ваши, смерть нага.
Имя громкое твое пишу
Бесчестным пером.

Будущее преграждая,
Память стирая,
Имя твое пишу —
Свобода,
Заглавными буквами скорби.

Пьер Серман[219]

[219] notes: 219

Пьер Серман — это А. Камю. Набросок стихотворения, в котором А. Камю, по всей вероятности, пишет о жертвах коммунистических репрессий в Чехословакии, казненных в 1950 г., среди которых были Завис Каландра (1902–1950), упоминавшийся А. Камю в «Бунтующем человеке» (1951), Милада Горакова и др. Через стихотворение проходит осуждение знаменитого поэта Поля Элюара, бывшего сюрреалиста, ставшего затем ортодоксальным коммунистом и не выступившего в свое время в защиту Каландры. А. Камю пародирует знаменитое стихотворение Поля Элюара «Свобода» (1942), а также косвенным образом напоминает об элюаровском сборнике стихов под названием «Capitale de la douleur» (1926) (игра слов «Град скорби» и «Заглавная буква скорби»), а также о книге Бенжамена Пере «Бесчестье поэтов» (1945), в которой был раскритикован коллективный поэтический сборник поэтов Сопротивления под эгидой Элюара — «Честь поэтов» (1943).

Тетрадь № IX
Июль 1958 года – декабрь 1959 года

21 июля.

Я один, передо мной целый день для размышлений. Вечером ужин с Б. М. На месте М. — пустота, и я мучаюсь весь день. Пишу ей.



22–24 июля.

Ничего. Записывал на магнитофон «Падение». Письмо Ми («жестокие и чистые ночи»). Вчера вечером бродил по Сен-Жермен-де-Пре — в ожидании чего? Разговаривал с пьяным художником: «Что вы делаете в жизни? — я не в тюрьме — это плохо — нет, это хорошо», — и он пожирал по пять яиц вкрутую, запивая коньяком. Я в отчаянии от своей неспособности работать. К счастью, есть «Живаго» и нежность, которую я испытываю к автору. Отказался от поездки на юг.



Ничего. Запись «Падения». Распределение ро-

лей в «Бесах». N.R.F. Ужин с А.К.[220]. Ее любовь к М., который бессилен со своей женой. Но М. он доверился целиком. «Ему стало лучше», — говорит она. — «То есть?» — «Ну хорошо, это еще не мужчина, но уже больше не старик». Темная сторона жизни. Каждой жизни. Я проводил ее, потом прошелся по Сен-Жермен-де-Пре. Я просто жду — какая глупость. О! Если бы ко мне вернулись силы работать, это был бы свет, наконец-то. Маленькие хулиганы, переодетые в Джеймса Дина, повторяют его специфический жест, сложив руку ложечкой и поправляя безымянным пальцем слишком тесную ширинку на облегающих джинсах. Я думаю о голых и коричневых телах, которые видел прежде — в своей потерянной стране. Те были чисты.

26 июля.

Запись «Падения». Написал немного для предисловия к «Островам». Обед с К.[221] — ленивым и циничным человеком, которого заботят только

---

[220] notes: 220
Во французском оригинале «А.С.».

[221] notes: 221
Во французском оригинале «С.».

собственные удовольствия. Но он сам себе голова. Писатель он второстепенный. Но ни на кого не похож. Вскоре мы расстаемся. Он идет играть в покер, что наводит на меня тоску. А я возвращаюсь домой. По дороге видел, как девушка, довольно грубая, за которой шел араб, отталкивает его. «Я расистка», — запросто говорит она.



27 июля.

Закончил запись «Падения». Дон Джованни. Весь день серое небо. Вечером фильм о кубке мира по футболу. После своей победы молодые чернокожие бразильцы рыдали и прятали лицо от объективов. Это еще больше трогает меня и волнует, как прежде.



28 июля.

Ужин с Б.М. К нам присоединяется А.К. Над городом нависает гроза — и никак не разражается.



29 июля.

Утром неотступные мысли об Алжире. Слишком поздно, слишком поздно… Моя земля потеряна, и я больше ничего не стою.

30 июля.

Одинокий день. Бесформенная работа. Вечером у Набокова, Нараян[222], будущий преемником Ганди, объясняет нам, что такое деревенское и аграрное социалистическое движение в Индии (Виноба). Я восхищаюсь на расстоянии. По возвращении, проходя перед Эглоном, на световой рекламе вижу имя А.М. Вхожу. Я был счастлив с ней одиннадцать лет назад. Теперь она замужем за стюардом «Эр-Франс» и ездит с ним на рыбалку. И каждый вечер поет.



31 июля.

А.М. зашла ко мне на полчаса во второй половине дня. При дневном свете стали заметны отпечатки одиннадцати лет. Ей было 22 года, значит сейчас ей 33. Но мы много смеялись вместе.

---

[222] notes: 222
Нараян, Джаяпракаш (1902–1979) — политический деятель Индии.

1 августа.

Обед у Барро в Шамбурси. Небо все время черное от бесконечных гроз. Б. снова предлагает совместное творчество в духе Данченко — Станиславский. Во второй половине дня Колин Уилсон[223] — младенец, по-видимому Европа завоевала теперь и Англию. «Сегодня надо привлечь к вере в» [… неразб.], — я это прекрасно знаю. У меня та же вера, она никогда меня и не покидала. Но я выбрал путь своей эпохи со всеми ее горестями, чтобы не обманывать и чтобы утверждать свои идеи, пройдя через страдание и отрицание, так, как я это, впрочем, всегда и ощущал. Теперь я должен перейти к преображению: мне становится страшно перед ненаписанной книгой, я чувствую себя связанным. Может быть, мое поколение полностью исчерпало себя в живописании некоей тоски, и мы разучились говорить о нашей настоящей вере. Возможно, мы лишь готовим путь для мальчиков, идущих нам на смену. Об этом я и говорил К.У., и «если у меня не получится, я, в лучшем случае, оказался бы

[223] notes: 223

Уилсон, Колин (1931–2013) — английский писатель, создал в 1956 г. роман «Посторонний» (The Outsider), название которого перекликается с названием знаменитого романа А. Камю.

интересным свидетелем. Если у меня получится, я стал бы творцом».

Вечером я ужинаю с А.Е. и Карин, потом мы гуляем по Монмартру уже только вдвоем с Карин. Ночные сады омыты под луной, но темны. Карин 18 лет. Ее родители развелись. Она, не знаю почему, уехала из Швеции и зарабатывала на жизнь, работая моделью у одного второразрядного кутюрье, который эксплуатировал ее беспощадно. Тридцать пять тысяч франков за семичасовой рабочий день. Я всегда восхищался храбростью этих девушек середины века. В ее слегка мальчишеской красоте было что-то неторопливое, словно не от мира сего. Возвращение. Ее естественность. Она быстро подставила свой свежий рот, потом ушла, четкая и сдержанная.

2 августа.

Заставляю себя писать этот дневник, но чувствую сильнейшее отвращение. Теперь я знаю, почему никогда не вел настоящего дневника: для меня жизнь — это всегда тайна. Тайна отношений с другими (что всегда так расстраивало N.) и тайна по отношению к себе самому: я не

должен раскрывать ее словами. Тайна — глухая и не подвластная словам, этим-то она и ценна для меня. И если я все же заставляю себя писать дневник, то лишь потому, что панически боюсь недостаточности своей памяти. Но я не уверен, что смогу продолжать. Впрочем, я все равно забываю многое записывать. И не говорю ничего из того, что думаю. Например, мои долгие думы о К.



Суббота, 2 августа.

Вечером встречаю М. на вокзале, она будет до вечера воскресенья. Усталая и чужая. К вечеру она воскресает, и я счастлив.



Понедельник, 4 августа.

Обед с М. Во второй половине дня Доктор N. Он считает, что чувство долга, которое я испытываю, заботясь о здоровье N., заставляет меня жить «в стеклянном шаре». Его рецепт: свобода и эгоизм. Замечательная рекомендация, скажу я вам. И не такая простая для исполнения. Вечером К.



Вторник, 5 августа.

Во второй половине дня М. Долгий разговор. Мало кто зашел так далеко, как она в принятии жизни. 6 августа. Вечером вышли с Мишелем, Анн и г-ном Дансом. 7 августа. Снова ощущение, что М. отдаляется. Самое обжигающее существо, какое я знал, — на самом деле самое целомудренное. Ужин с Брисом Пареном у него дома, вместе с русской сиделкой и ее девятилетней дочерью. Как все религиозные умы, Б.П. пытается оправдать все несчастья необходимостью искупления. Я сказал ему, что в лучшем случае мы достигнем всего наихудшего, что было в диалектике. Он знает. Он думает над этим.



Пятница, 8 августа.

Одинокий день, как и почти все предыдущие. Пытаюсь организовать свою работу. Дождь идет уже 2 дня. Письмо от N.: «стандартные и бесформенные разговоры» (по телефону). Она горячая, свободная, правдивая.



Воскресенье, 10 августа.

Заболел. Воскресенье. 10. Понедельник 11. «Веревка». Ложусь в постель и засыпаю с ужасной головной болью. Дурная ночь. Днем из Марселя позвонила Ми; она в страхе и панике мечется из города в город. Советую ей вернуться в Париж.



Вторник, 12 августа.

Утром ко мне приходит К.[224]. Среда 13 августа. Обед с Шаром. Мы много смеемся. Во второй половине дня Ивернель[225]. Вечером ужин в гольф-клубе с М.Г., Анной и Р.Г.[226]. Вечер в полях для гольфа. Четверг 14 августа. Телефонный разговор с Ивернелем. Он читал ночью мою инсценировку «Бесов» и не мог оторваться. Он согласился на роль Шатова. Вечером ужин с Р. Он физически не меняется уже 20 лет. Но с тех пор, как у него обнаружилась нервная болезнь, что-то сломалось. Кажется, что он живет автома-

---

[224] notes: 224

Во французском оригинале «С.».

[225] notes: 225

Ивернель, Даниэль (1920–1999) — французский актер театра и кино, играл в 1955 г. в инсценировке А. Камю «Интересный случай» — по пьесе Д. Буццати.

[226] notes: 226

Во французском оригинале — M.G., R.G.

тически. Мы встречаем К. От ее естественности перехватывает дыхание (сразу подает руку, потом «заходите» — «нет» — «отчего же?» — «у меня встреча»), она беспрестанно что-то ест.



15, 16, 17 августа.

Все это время со второго числа было пустым. Невозможно писать, пока не обретешь снова вкус к жизни и энергию. И сердечное здоровье, которое в данный момент по меньшей мере трагично. Закончил читать «Живаго» с чувством какой-то нежности к автору. Неправда, что эта книга продолжает художественную традицию русской литературы XIX века. Она сделана гораздо менее умело, но это, впрочем, соответствует современной фактуре — длинные зарисовки отдельных мгновений. Но главная ее заслуга в другом: она воскрешает русское сердце, разбитое сорока годами лозунгов и бесчеловечной жестокости. «Живаго» — книга о любви. О любви, охватывающей сразу все сущее. Доктор любит жену, и Лару, и других тоже, и Россию. И умирает потому, что разлучен с женой, с Ларой, с Россией и всем остальным.

Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы,
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.

Пастернак не побоялся заново открыть этот истинный источник творчества и спокойно выпустить его на свободу посреди той пустыни.

Что еще? два вечера — 16-го и 15-го — делали запись вместе с М. Поэмы Шара. Ночь 15-го — прогулка по набережным Сены. Под Новым мостом молодые иностранцы (северяне) устроили концерт: лежа прямо на улице, обнявшись парами, они слушали импровизации двух своих соотечественников, которые играли на трубе и банджо. Немного дальше, на скамьях моста Искусств разлегся араб с портативным радио у головы, которое наигрывало ему арабские мотивы. Самый обыкновенный городской мост под горячим и дымным небом августовского Парижа.

Для «Жюли». Гибер — благородный прогрессист. Мора — образ старого мира.



18 августа.

Обед с М. Она нашлась. Вечером ужин с Р. Не пришел в себя. Депрессия.



19 августа.

Письмо от N. — печалит меня в очередной раз.



21–23 августа. Вечер.

Ми. Она наполнила эти дни красотой и нежностью. Долгая радость вовсе не отвлекла меня от работы, но, наоборот, повернула к ней. Сестра Ми умерла в 22 года от рака печени. Отец приказал ей смотреть на закаты: «Потому что ты — художник».

23 августа.

Смерть Роже Мартена дю Гара. Я все откладывал с визитом в Белем, и вот внезапно… У меня перед глазами этот человек, которого я нежно любил: он рассказывал мне тогда в мае в Ницце о своем одиночестве и о смерти. Его большое тяжелое тело, разбитое пополам кресельным столиком. И его прекрасные глаза… Его можно было любить, уважать. Как грустно.

25 августа.

Ужин с Брисвилем (и Терезой). Б.М. (и Виветт)[227].

26–29 августа.

Пример Джакометти. Ах! И М., и ее жизнь: «Тот, кто, подобно нам, в ранней молодости уже познал крайности жизненного опыта (в том числе славу и любовь), подходит к зрелости, не желая ничего исключительного — просто жизни».

Возвращение К.[228].

2 сентября в Л'Иль-сюр-ла-Сорг. Лучшим прин-

[227] notes: 227

Брисвиль, Жан-Клод (р. 1922) — французский писатель, автор эссе «Камю» (1959); Б.М. — Блок-Мишель, Жан (1912–1987) — французский писатель, переводчик, друг Камю по подпольной антифашистской деятельности во время Второй мировой войны; Виветт Пере — его жена, писательница.

[228] notes: 228

Во французском оригинале «С.».

ципом для этой тетради будет резюмировать время от времени (2 раза, например?) важнейшие события за прошедший период. В субботу, 30 видел Жамуа[229] и договорился с ней, что мы не будем сразу показывать «Бесов» в театре «Монпарнас». Несмотря на сухость и желчный вид, в ней есть несомненный шарм — строгие сандалии, маленькие и превосходно сложенные ноги, длинное тело и прекрасный печальный взгляд. Потом я позвонил Барро и сообщил о своем согласии. Спать лег рано. Ночью мне так и не удалось поспать, заснул в 3 часа, проснулся в пять, плотно поел и отправился в путь под дождем. Я был за рулем одиннадцать часов подряд, время от времени перекусывал печеньем, и дождь не отрывался от меня, пока я не доехал до Дрома, где он стал пореже, а около Ньона накатилась волна сильнейшего аромата лаванды, пробуждая и тревожа мое сердце. Знакомый пейзаж придает мне новые силы, и я приезжаю счастливым. Иль, где я внезапно почувствовал себя защищенным и умиротворенным в бедной комнатке отеля «Сен-Мартен».

В Иле я встречаю Рене Шара. Печально видеть

---

[229] notes: 229

Жамуа, Маргерит (1901–1964) — французская актриса и театральный режиссер.

его изгнанным из своего дома и парка (на этом месте теперь воздвигнут уродливый квартал дешевого жилья) и вынужденным ютиться в комнатушке отеля «Сен-Мартен». В Камфу посещаю семейство Матье; г-жа Матье, постаревшая Клитемнестра, носит очки. Что касается г-на Матье, то из деятельного распорядителя сельскохозяйственными угодьями он превратился в бессильного старика, не контролирующего даже свои естественные надобности. Я занимаюсь арендованным домом, он немного печален, но все-таки мил, с видом на Люберон. N. он наверняка не понравится. Но я постараюсь сделать его более комфортабельным. 3 сентября большая прогулка с Р.Ш. по дороге вдоль гребней Люберона. Я прихожу в восторг от неистового света, бесконечного пространства. Мне снова хочется здесь жить, найти подходящий для себя дом, наконец-то хоть как-то обосноваться. Вместе с тем, я много думаю о Ми и ее здешней жизни. За ужином г-жа Матье говорила: «Поглупели даже ласточки. Вместо грязи они берут для своих гнезд плодородную землю. Двенадцать из тринадцати гнезд Камфу развалились, и яйца погибли — это в первый раз за десятилетия». И Шар: «А мы-то надеялись, что хотя бы птицы поддержат честь».

4 сентября я по-прежнему жду телеграммы или телефонного звонка от N. по поводу ее прибытия вместе с детьми. Потом г-жа Матье передает мне, что N. задержится здесь только на четыре дня, а семья ее будет в Париже. Во мне поднимаются гнев и чувство отчуждения против нее и против себя самого, — я ведь по-прежнему ждал знаков нежности там, где их нет и не может быть.



30 сентября.

Потратил месяц на осмотр Воклюза и поиски дома. Купил дом в Лурмарене. Потом отъезд в Сен-Жан, чтобы повидаться с Ми. Сотни километров — в полной экзальтации — через ароматы урожая винограда. Потом большое пенящееся море. Удовольствие, подобное этим длинным разбивающимся волнам, которые сдирают кожу. Утром отъезжаю в Париж, розовый вереск в сосновых лесах. Еще двенадцать часов за рулем, и Париж.



О том, как *успешный* писатель приходит к нищему интеллектуалу (трущоба на Фобур Сен-Дени).



Пастернак: «…был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим *моцартовским* началом, *моцартовскою* стихией».



Ж. де Беер. «За адюльтер следует наказывать смертью. Тогда настоящих любовников можно было пересчитать по пальцам». И это даже неправда. Зачастую слабость сильнее страха.



17 октября.

Отъезд в Воклюз. Я потом обязательно опишу вкратце прошедшие 18 дней.



18 октября.

Выхожу из ночного поезда в Л'Иль-сюр-ла-Сорг — и попадаю в сухой и холодный мистраль. Прекрасная и большая экзальтация — целый день при сверкающем свете. Я это чувствую — ко мне

возвращаются все мои силы.



19 октября.

Непрекращающийся свет. Я стою в пустом доме, без единого предмета мебели, и долгими часами смотрю, как в комнаты залетают гонимые неистовым ветром мертвые красные листья девственного виноградника. Мистраль.



27 октября.

Возращение в Париж. В ночи обнадеживающие голоса, объявляющие названия станций. Станция «Насьон».



Не жаловаться. Не пользоваться тем, что ты есть, ни тем, что ты сделал. Если ты даешь, считай, что это уже было получено.



5 ноября.

Письмо от мужа Э.Б., в котором он сообщает, что его жена хочет покончить с жизнью, и просит меня вмешается. И я, так легко и часто — так глупо — чувствовавший ответственность за других людей, на этот раз ничего не ощущаю. Напротив, такое впечатление, что это настоящая засада. Впрочем, надо вмешаться.



7 ноября.

45 лет. Как я и хотел, день одиночества и размышлений. Прямо сейчас — начать отрешение, которое должно быть завершено к пятидесяти. В тот день я буду царствовать.



Демократия — не закон большинства, но защита меньшинства.



22 ноября.

Обед с Шаром и Сен-Жон Персом. Острова. Во второй половине дня Уолдо Фрэнк в печальной комнате.



Декабрь.

Репетиции «Бесов».

Кюни[230], с которым мы одного возраста, кажется, слишком стар, чтобы играть Ставрогина.

М.: Изменим роли, вот и все.

Л.: Да, но женщины будут бежать от нас, и мы умрем.



Ми. Ее чудесный аппетит.



3 марта.

Бьюсь, как рыба, запутавшаяся в сетях.



17 марта.

Смерть Пауля Оэттли[231] в 69 лет. На следу-

---

[230] notes: 230

Кюни, Ален (1908–1994) — французский актер кино и театра.

[231] notes: 231

Оэттли, Пауль (1890–1959) — французский актер кино и театра, дальний родственник А. Камю. Участвовал во многих театральных постановках А. Камю.

ющий день кончает с жизнью его старая мать (93 года).



Болезнь Катрин. Я отменяю свой отъезд на юг Франции. На сердце тяжело.



20 марта.

Маму оперировали. Телеграмма Л. дошла до меня в субботу утром. На следующую ночь самолет, отправление в три часа. В Алжире семь. Знакомое ощущение, когда подлетаешь к Мезон-Бланш: моя земля. Но при этом серое небо, сладкий и пористый воздух. Останавливаюсь в клинике, расположенной на возвышенной части Алжира.



В чистейшей палате — белые и голые стены: ничего. Носовой платок и маленькая расческа. На простынях ее узловатые пальцы. Снаружи — восхитительный пейзаж, спускающийся к заливу. Но ей больно от света и пространства. Она хочет, чтобы в комнате был полумрак.



Она говорит о Филиппе, с которым недавно обручилась Поль: «У него хороший отец, хорошая мать, хорошая сестра. Это люди старой закалки. А он отслужил в армии. Он увидел Поль на нефтеперерабатывающем заводе (скрещивает два указательных пальца). Тем лучше».



«Потом, когда я буду дома, доктор даст мне что-нибудь для восстановления». Она говорит: «Спасибо, господин доктор». Она не может ничего: она не умеет читать, не может шить и вышивать из-за пальцев, и слушать, потому что глуха. Время течет, тяжело, медленно…



У нее исчезли губы. Но ее нос — такой тонкий, такой прямой, большой благородный лоб, черные и блестящие глаза под гладкой костяной аркой.



Она страдает молча. Она *подчиняется*. Вокруг

нее сидит семья — тяжело, безмолвно, и ждет… Брат Жозеф, моложе ее на несколько лет, тоже ждет — словно ждет своей очереди — смиренно и печально.



23 марта.

Плохая ночь. Утром над заливом и холмами идет дождь. Глицинии: они заполнили мою молодость своим ароматом, своей таинственной и богатой страстью… Снова и неустанно. В моей жизни они были более живыми и настоящими, чем многие из людей… кроме того человека, который страдает рядом со мной и молчание которого не переставало говорить со мной половину моей жизни.



Всякую минеральную воду она называет «Виши».



Плоть, бедная плоть, ничтожная, грязная, падшая, оскорбляемая. Святая плоть.

Леопольд [Ф… неразб.] о Ницше: «согласие с жизнью, к которому привел союз между терпением и бунтом, есть вершина великого полудня жизни».

У нее всю жизнь была странная привычка сопровождать свою фамилию приставкой «вдова», и даже сегодня именно так и записано в ее больничных бумагах.

Она прожила в неведении о стольких вещах, кроме страдания и терпения, и сегодня продолжает испытывать физические страдания с такой же кротостью…

Люди, которых не затронула никакая техника, — ни газеты, ни радио. Они были такими сто лет назад и совсем не изменились в окружающем обществе.

Можно подумать, я осуждаю свою кровь. Нет? А! Ну, хорошо.

Запах шприцев. Холм покрыт акантами, тростником, кипарисами, соснами, пальмами, апельсиновыми деревьями, мушмулой и глициниями.

29 марта.
Возвращение в Париж.



Софокл танцевал и хорошо играл в мяч.



«Detras de la cruz esta el demonio»[232].



Уничтожить в моей жизни все, что не относится к этой бедности. Разориться.



Пастернак о Скрябине[233]: «Это испытано каждым. Всем нам являлась традиция, всем обещала лицо, всем, по-разному, свое обещанье сдержала».

---

[232] notes: 232
«За крестом стоит демон» (*исп.*).

[233] notes: 233
Камю цитирует по изданию Pasternak B. Essai d'autobiographie. P., 1958, в котором был помещен перевод «Охранной грамоты», откуда и заимствованы данные цитаты.



Там же. «…Самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновение, и лучшие произведения мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рожденьи».



Там же. «…И мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свидание с куском застроенного пространства, как с живою личностью».



Ницше. «Никакое страдание не могло и не сможет заставить меня давать ложные свидетельства против жизни, *такой какой я ее знаю*».

Там же. «Ему были знакомы шесть одиночеств,

Но даже море не было так одиноко…»

Об использовании славы в качестве прикрытия, за которым «наше собственное «я» снова сможет невидимым образом играть и смеяться над собой».

«Завоевать свободу и духовную радость, чтобы иметь возможность творить и не подчиняться тирании иностранных идеалов».

Исторический смысл не что иное, как замаскированная теология.

Н., северный человек, оказавшись внезапно под солнцем Неаполя, однажды вечером воскликнул: «И ты мог бы умереть, не увидев этого!»

Письмо Гасту 20 августа 1880 года, в котором он сожалеет по поводу дружбы с Вагнером: «…зачем мне эта правота по стольким вопросам — против него».

Человеку с большим сердцем нужны друзья, по крайней мере если у него нет Бога.

Люди, обладающие «долгосрочной волей».

Ницше открыл Достоевского в 87-м году благодаря «Подпольному духу»[234], он сравнивал это с открытием «Красного и черного».

Он открывает в 88-м году «Рассказы о браке» Стриндберга.



1 апреля.

---

[234] notes: 234

«Подпольный дух» — так назывался первый перевод «Записок из подполья», опубликованный в Париже в 1886 г.

Наоборот, любовь, но любовь невозможная. Прекратить *поиски*? Принимать. Сверхмощность в творчестве.



Ницше в 1887 г. (43 года): «В этот момент моя жизнь находится в точке полудня: одна дверь закрылась, отворилась другая».



28 апреля.

Приехал в Лурмарен. Серое небо. В саду чудесные розы, тяжелые от воды, сочные, как плоды. Цветет розмарин. Прогулка, и вечером по-прежнему пронзительно темнеют фиолетовые ирисы. Я разбит.



Многие годы я стремился жить, подчиняясь всеобщей морали. Принуждал себя жить, как все, быть похожим на всех. Говорил, что́ надо было сделать для всеобщего единения, даже когда сам чувствовал себя посторонним. И, в конце концов, катастрофа. Теперь я брожу среди обломков, вне

закона, истерзанный, одинокий и согласный на одиночество, смирившись со своей исключительностью и со своими недостатками. И теперь я должен восстановить истину — после целой жизни, прожитой в каком-то смысле во лжи.



Меня поддерживает хотя бы театр. Пародия — лучше, чем ложь: пародия ближе к истине: она ее играет.



Май.

Вернулся к работе. Продвинулся в первой части «Первого человека». Признательность этой стране, ее одиночеству, ее красоте.



Поездка в Арль. Сияющая молодость М. Троицин день, поездка в Тулон.



Телевизионная передача. Я не могу «показать-

ся», не возбуждая при этом реакций. Я должен без конца напоминать и повторять себе, что надо отказаться от всякой напрасной полемики. Возвеличивать то, что должно быть возвеличено. Обо всем остальном — молчать. Если не следовать этому правилу, то мне придется, при текущем порядке вещей, согласиться на то, чтобы платить и быть наказанным. Понимать, как делать шаги к выздоровлению. Сохранять драгоценное трепетание, полное молчание, обретенное мною здесь. Все остальное — не существует.



Вот уже пять лет я критикую себя, свои мысли и жизненные принципы. Поэтому те, кто разделял со мной такие же идеи, считают, что я имею в виду их, и очень сердятся на меня; они не правы, — я объявил войну самому себе, я разрушу себя или буду возрожден, вот и все.



Марсельские любовники. Под ясным небом сочное море, кричащий и пестро раскрашенный город, и бесконечно новое желание, утомительное поначалу и превращающееся — под конец

— в непрекращающееся опьянение… Только маленькие бухточки, белые камни и жгучее море света — целомудренны.

Гренье. «Маронитские отшельники» («Одно лето в Ливане»). «В том же самом гроте можно увидеть, к сожалению, почти стершееся, значительно более древнее маленькое распятие — на нем Христос с полусогнутыми ногами изображен в чем-то наподобие шаровар; оно сопровождается надписями на странжело (что это за язык, странжело)». Написать малопонятный рассказ под названием «Странжело».



21 мая.
Красный сезон. Вишни и маки.



В полдень шум трактора в долине Лурмарена… Он напоминает шум корабля в порту раздавленного жарой Хиоса, а я тогда пережидал в кабине полной тени; да, да, как сегодня, переполняясь

беспредметной любовью.

Я люблю этих маленьких ящерок, сухих, как камни, по которым они бегают. Они как я, состоят из кожи и костей.



Париж, июнь 59 г.

Я отверг моральную точку зрения. Мораль ведет к абстрагированию и несправедливости. Мораль — мать фанатизма и слепоты. Если ты добродетелен, ты должен рубить головы. Не говоря уже о том, кто проповедует мораль, не будучи сам на высоте. Головы летят, и неверный стряпает законы. Мораль разрубает надвое, разделяет, истощает. Ее следует избегать: лучше быть судимым самому и не судить более, говорить «да», объединять людей, а пока — мучиться в агонии.



Датчанка из Жоски.
Город, пьяный от жары.



Венеция с 6 по 13 июля[235].

Жара, тяжелая и мертвая, словно огромная губка, наваливалась на лагуну, отрезая пути отступления через мост Свободы, и повиснув над городом, давила на него, загромождая выходы из улиц и каналов, заполняя все свободное пространство между домами, близко стоящими друг от друга. Нет выхода — ни одной двери, ни одной лазейки, душная ловушка, в которой приходилось как-то жить и ходить по кругу. Целая армия безобразных туристов — озлобленных, одичавших, потных, рассвирепевших, разряженных в причудливые наряды, так и кружила, словно ужасная труппа огромного цирка, внезапно, к своему собственному страху, оказавшаяся праздной. Весь город был пьян от жары. Утром в «Иль Гадзеттино» можно было прочитать, что венецианцев, сошедших с ума от жары, препровождали в психиатрическую лечебницу. Повсюду валялись кошки. Иногда одна из них вставала, рисковала сделать несколько шагов по жгучему кампо[236], но ее подстерегало рыхлое и злое солнце, тут

---

[235] notes: 235

Камю был в Венеции на гастролях, на которых играли его постановку «Бесов» (театр «Ла Фениче»).

[236] notes: 236

Кампо — поле — в Венеции этим словом обозначают «площадь».

же валившее с ног. Над стоячей водой каналов возникали крысы, и через три секунды они кучами падали в воду. Эта рыхлая и испепеляющая жара кажется изглодала до самых костей и весь дряхлеющий город, и облупившуюся роскошь дворцов, и раскаленные кампо, и гнилые фундаменты и причальные сваи, и Венеция все больше и больше утопала в своей лагуне.

А мы все бродили, не в силах ничего съесть, и питались кофе и мороженым, и не способны были спать, и не знали, когда начинаются и кончаются дни и ночи. День мог застать нас на пляже в Лидо, в теплой и вязкой утренней воде, или на гондоле, плутавшей по потерянным каналам, в то время как небо становилось розовато-серым над черепицей, окрасившейся неожиданно в бирюзовый цвет. В те моменты город был пуст, но жара не слабела, — и в этот час, и вечером, она была всегда одинакова — жгуча и влажна, и Венеция продолжала выдерживать осаду, а тем временем мы, вырванные из жизни, с измученными от кофе и бессонницы нервами, отчаявшись когда-либо выбраться, старались хотя бы лишний разок-другой подышать, чтобы как-то просуществовать в этом странном времени без ориентиров и пауз. Мы — существа вне времени, но мы, как никто в ми-

ре, не желали ничего иного, кроме продолжения этого безумия — блуждающего и неподвижного среди неподвижного пожара, пожиравшего Венецию, час за часом, неустанно, и мы желали этого так сильно, мы буквально ждали мгновения, чтобы город, только что еще яркий, многоцветный и ослепляющий своей красотой, обратится разом в пепел и просто осядет, и даже не будет унесен отсутствующим ветром. Мы ждали, привязанные друг к другу, не способные разойтись, и тоже сгорали, но с некоей бесконечной и странной радостью, на этом костре красоты.



Д.Ж. разглядывает молодую и, кстати сказать, довольно некрасивую датчанку на террасе кафе, потом в театре. Подходит к ней, подсаживается рядом, потом проходит несколько мгновений — и они вместе встают. У меня сжимается сердце, когда я вижу, как смиренно она за ним идет. Подобное смирение — типично для всех девушек в такие моменты.



Ж. сообщает мне, что она беременна от П.; я ей

советую рассказать об этом ему. Он смеется и через час возвращается в отель — на глазах у Ж. — вместе с N. Ж. остается с N., который любит ее и молчит.



Роман. Между ними вспыхивает любовь — как страсть тела и сердца. Один пламенный день сменяет другой, и полное слияние, когда плоть так же чувствительна и взволнована, как и сердце. Они везде вместе, на яхте, и каждый раз желание возрождается со все большим трепетом. Для него это борьба против смерти, против самого себя, против забвения, против нее и ее слабой природы, и, в конце концов, он расслабляется и отдает себя в ее руки. И после нее не будет никого — он это знает, он клянется в единственном месте, где находит хоть немного святости. Церковь Святого Юлиана Бедного, где Греция сочетается с Христом, — здесь он решает исполнить свой обет, вопреки всему на свете; и за этим существом, которое он прижимает к себе, остается только пустота, и он сжимает ее все сильнее и сильнее, растворяясь в ней, раскрывая ее и почти раздирая на части, чтобы наконец спрятаться в ней

и навечно жить в ней — в наконец-то обретенной любви, там, где чувства сами распускаются пышным цветом и очищаются в негасимом пламени, там, где фонтан наслаждения — увенчан безграничной наградой. Это час, когда исчезают телесные пределы и в полной обнаженности сокровенного дара рождается наконец единое существо.



13 августа.

Отсутствие, болезненная фрустрация. Но сердце мое живет, сердце мое наконец живет. Значит неправда, что победило равнодушие. Благодарность, сильнейшая признательность Ми. Да, ревность — выступает в пользу духа. Ревность — это страдание от того, что видишь, как другой низводится до уровня объекта, и желание, чтобы все и всё признали бы в нем человека. Невозможно ревновать к Богу.



На долину спускался вечер, старые стены, бойницы, спокойные дома. Шуршание травы под моими ногами.

Сентябрь.

И. Прентан[237] просыпается в 11 часов, лежит в постели, обедает в постели около 13 или 14 часов, и потом еще остается в постели до конца дня в окружении «Франс диманш», «Матч», «Нуар и Блан», «Синемонд»[238], и т. д. и т. п., которые она поглощает.

Полушутя-полусерьезно я рассказываю Ми о глубокой старости, когда уже не будет ни восторга перед сущим, ни чувственных радостей, и т. д., и она начинает рыдать: «Я так люблю любовь!»

Прежде чем начать писать роман, мне нужно на несколько лет исчезнуть. Ежедневная концентрация, интеллектуальная аскеза и предельное самосознание.

---

[237] notes: 237

Прентан, Ивонн (1894–1977) — французская актриса и певица, особенно прославившаяся в период между двумя войнами.

[238] notes: 238

Названия французских периодических изданий.



Виновность одного народа? (Франция, как и Германия — Иуда — те, кто спят, и т. д.)



Как поживает Ваша дорогая матушка? Я имел несчастье ее потерять 3 месяца назад. О, я не знал этой подробности.



Сто сорок тысяч умирающих в день; девяносто семь в минуту; пятьдесят семь миллионов в год.



Левые, с которыми я был вместе, несмотря на себя, несмотря на них.

Во Христе кончается смерть, начавшаяся в Адаме.



Самым опустошающим в моей жизни усилием было укротить свою натуру, чтобы поставить

ее на службу самым большим замыслам. Мне удавалось это изредка, только крайне изредка.



Зрелому человеку продлить молодость может только счастливая любовь. Все иные разновидности любви ввергают в старость.



Большое несчастье, если не сможешь утратить чувствительности, достигнув тех лет, когда ты вынужден за все отвечать. Ведь именно благодаря этой утрате и получаешь свободу по отношению к ответственности, когда можно лишний раз не оглядываться на других людей.



Г-н Матье[239], преподаватель литературы, вышел на пенсию. Чтобы встретить смерть лицом к лицу, есть только рецепты классического гуманизма.

---

[239] notes: 239

Поль Матье преподавал литературу во время учебы Камю в Алжирском университете в 1932 г.



В каменных городах, где только ветер и дождь приносят воспоминания о лугах и небе.



Физическая любовь всегда была связана для меня с неотразимым чувством невинности и радости. Я не смог бы любить в слезах, я всегда люблю в экзальтации.



Море, божество.

На первобытной земле *много веков* без перерыва шли дожди.

Жизнь зародилась в море, и в течение долгих незапамятных времен, пока первая живая клетка превращалась в организованное морское существо, континент, еще не освоенный животной и растительной жизнью, был пространством камней, заполненным лишь шумом дождя и ветра среди великого и неподвижного безмолвия, через которое проносилась разве только быстрая тень больших облаков и вод, бегущих в океанские просторы.

После миллиардов *лет* первое живое существо вышло из моря и встало на твердую землю. Оно походило на скорпиона. Это было триста пятьдесят миллионов лет тому назад.

Летающие рыбы гнездятся в морских безднах, чтобы отложить в них свою икру.

В Саргассовом море два миллиона тонн водорослей.

Большая красная медуза рождается величиной с наперсток и вырастает к весне до размеров зонта. Она перемещается толчками, оставляя на свободе длинные щупальца и давая кров под своим зонтиком целым стайкам молодой трески, сопровождающих ее повсюду.

Рыба поднимается все выше и выше в своем ареале, она проходит через невидимую границу, взлетает и падает на поверхность.

В отличие от кальмаров, обитающих на поверхности и выбрасывающих чернила, кальмары морских глубин извергают из себя светящееся облако. Они скрываются в свете.

Твердая земля, в конце концов, — это лишь тонкая плита в море. В один прекрасный день будет царствовать океан.

Есть волны, которые доходят до нас с мыса Горн, пройдя путь в десять тысяч километров. В

358 году в восточной части Средиземного моря поднялась огромная волна и затопила все острова и низкие берега, забросив корабли на крыши Александрии.



Я — писатель. Не я, но мое перо вспоминает или совершает открытия.



Я не могу подолгу жить с людьми. Мне нужно немного одиночества — частицы вечности.



В окрестностях Люберона сбежала домашняя лошадь — она живет на свободе и в одиночестве в течение нескольких лет. Новелла? Один человек, который слышал о ней, пошел ее искать. Он обратился в свободную жизнь.



Для Немезиды (Лурмарен, декабрь 59 г.).

Конь черный, конь белый — человек одной

рукой удерживает обе стихии. Веселый бег сломя голову. Истина лжет, прямота скрывает. Скройся в лучах света.

Тебя наполняет мир, и ты — пуст: такова полнота.

Тихий шепот пены на утреннем пляже; он может заполнить мир, как грохот славы. Ведь и то и другое происходит из молчания.

Отказывающийся — выбирает себя, алчущий — предпочитает себя. Не просит, не отказывается. Принимает, чтобы отказаться.

Дни увенчаны пламенем льдов; спи в неподвижном пожаре.

Равномерно твердый, равномерно мягкий склон — склон дня. А наверху? Единственная вершина.

Ночь — сжигает, солнце — погружает во мрак. О, земля, которой хватает на всех. Если ты свободен от всего, ты в рабстве у самого себя. Если — раб других, ты ни от чего не свободен. Выбирай свое рабство.

За крестом — демон. Оставь их вместе. Твой пустой алтарь — где-то в другом месте.

Потоки наслаждения и морские воды одинаково солены. Даже когда штормит.

На троне — изгнанник, властитель — на коле-

нях. В пустыне — конец одиночеству.

По морю без передышки — через порты и острова, над водяными пропастями — бежит в лучах света радость — долгая радость, словно длинная-длинная жизнь.

Ты скрываешься под маской, а они обнажены.

В тот краткий день, что подарен тебе, согревай и освещай, не отклоняясь от курса.

Для отдохновения твоего взойдут миллионы иных солнц.

Под могильной плитой веселья первый сон.

Ветром сеянный, ветром скошенный, но при этом творец, — вот человек на все века, гордящийся своей мгновенной жизнью.



«Тщеславие человека возводит эти величественные жилища лишь для того, чтобы принять в них неминуемую гостью — Смерть — со всеми церемониями суеверного страха» (Конрад, «Ожидание»).

Святой Игнасий (духовный дневник) был «оскорблен»: он не получил от неба подтверждения того, что он был избран Святой Троицей. Но он желает «скорее умереть с Иисусом, чем жить с

другим». В аду он чувствовал бы себя несчастным из-за хулы, которой там предают имя Бога, а вовсе не из-за физических страданий.

Там же. Он говорит дьяволу-искусителю: «На место!». И еще: Бог — неизменный, а дьявол — неподвижный и меняющийся.



Для «Дона Фауста». Дон Жуанов больше нет, теперь любовь вообще свободна. Просто некоторые мужчины нравятся сильнее, чем другие. Но больше нет ни греха, ни героизма.

Дон Жуан Лопе де Вега: «Исполненное обещание» (перевести, и еще Зорилью). Роман Филиппа IV с монахиней Маргаритой де ла Круа (см. «Знаменитые судебные процессы в Испании»), см. также (с. 189 и след.) Дон Жуана и еще Дон Жуана, описанного Грегорио Мараньоном.



В «Притче»[240] (с. 388) приговоренный к смерти сначала утверждал, что невиновен, потом

[240] notes: 240

Роман У. Фолкнера, написанный в 1954 г. и переведенный на французский в 1958 г.

признал свою вину и смирился. Над ним петля, а он увидел, как к ветке подлетела птичка, села на нее и начала петь, и он схватился за петлю и закричал, что невиновен.



Итак, я выбрал тебя, и это поможет мне пройти трудный период, не страдая больше по поводу деталей того, что я признаю в принципе справедливым и законным…



Что еще мне помогало — справедливость — трудное принятие себя и других — это и есть творчество. Но с тех пор как я впал в кризис и бессилие, я стал лучше понимать то подлое желание владеть, которое всегда меня шокировало в других людях. Победить другого хочешь тогда, когда не можешь победить самого себя. И действительно, именно в этот момент мне необходимо чувство принадлежности, которое ты мне подарила. Поэтому мне больно не только от твоего исчезновения, но и от твоей лжи. Но это пройдет. Еще чуть-чуть пессимизма, и несчастье засияет во всем своем блеске: я снова стану самим собой.



Мне было больно от того, что ты сказала; это свершившийся факт. Но грусть моя не должна тебя печалить. Я был не прав, признаю. Я не мог сдержать пристрастность своего сердца, но я сумею сделать его справедливым. Мне будет легко опровергнуть тот несправедливый суд, который я совершил над тобой в своем сердце. Знаю, что я сделал все, чтобы ты от меня отдалилась. Всю свою жизнь, едва кто-нибудь начинал проявлять ко мне чувство привязанности, я делал все, чтобы он отступился. Конечно, виновата и моя неспособность давать обязательства, моя любовь к людям вообще, к разнообразию, мой пессимизм по отношению к себе самому. Но, может быть, я не так уж легкомысленен, как говорю. Первое существо, которое я любил и которому был верен, сбежало от меня, утонув в наркомании, в предательстве. Может быть, многое происходило из тщеславия, из боязни страдать еще, при этом я принял много страданий. Но мне тоже удалось от всех сбежать, и в некотором смысле я хотел, чтобы все тоже сбежали от меня. Я сделал все, чтобы довести до отчаяния N. Не думаю, чтобы она сбежала от меня или отдалась, даже если мимолетно, другому мужчине. Я не уверен [...неразб.]. Но она

этого не сделала благодаря своему внутреннему героизму, а не чрезмерной любви, которая всегда дает, ничего не прося взамен. Я делал все, чтобы ты сбежала от меня. И чем сильнее было обаяние того старого сентября, тем больше мне хотелось разрушить очарование. И ты действительно в некотором смысле сбежала от меня. Такова ужасная справедливость этого мира. Предательство за предательство, бегство любви за маску любви. Как человек, боровшийся за свободу и проживший все виды свободы, я знаю и признаю в данном случае важность и справедливость того, что тебе тоже, в свою очередь, удалось прожить одну или две свободы. И это не полный счет.

Во всяком случае, я постараюсь утешить себя, не только вспоминая об этой холодной справедливости, но и о привязанности и нежности, которые остались во мне. Иногда я обвиняю себя в неспособности любить. Может быть, это и правда, однако я был способен *избрать* несколько существ и верно хранить для них все лучшее, что было во мне, несмотря ни на какие их поступки.